

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1968

6



1968

ИЗВЕСТИЯ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 6

Июнь, 1968 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Из лирики, стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	3
Е. ГЕРАСИМОВ — Весна в Дубках, повесть	5
ДМИТРИЙ ОСИН — Три стихотворения	52
А. ТАРАСОВ — В семье, рассказ	54
В. ЛЕОНОВИЧ — Возле станции Иня, стихотворение	67
ИВАН ТАРБА — Пробуждение, Горы, стихи. Перевела с абхазского С. Кузнецова	69
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР — Двенадцатая, интернациональная	70
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ — Несколько слов о Вьетнаме	204
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. ЯНОВСКИЙ — Человек на Севере	228
В МИРЕ НАУКИ	
М. ПЕТРОВ, А. ПОТЕМКИН — Наука познает себя	238
Академик Н. КОНРАД — Письма русских путешественников	253
В МИРЕ ИСКУССТВА	
ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ — Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме)	269
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЛАКШИН — Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»	384
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	312
М. Хитров. «Полесская хроника» продолжается.— Ф. Левин. Три поездки писателя — В. Швейцер. Семейная история.— А. Дементьев. Роман о Маяковском.— И. Левидова. Бернард Маламуд рассказывает разные истории.	
<i>Политика и наука</i>	332
В. Борнычева. Ленин и статистика.— Г. Водолазов. Ленинский принцип историзма.— Г. Федоров. Где был Медвежий угол.— Л. Пономарева. Монархия. Республика. Диктатура.— С. Владимиров. Психология открытия.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Тринчер, К. Тринчер, Рутгерс. — Лидия Латеева. Страна, из которой мы все пришли.— Борис Гусев, Дмитрий Мамлеев. Смерть комиссара.— А. Студитский. Разум вселенной.— С. Н. Артановский. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур.— С. Иванов. Схватка с роботом.— И. Е. Верцман. Проблемы художественного познания.— Э. Мурзаев. Путешествие в жаркую зиму.— А. А. Елистратова. Английский роман эпохи Просвещения	351
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	357
«НОВЫЙ МИР» В 1969 ГОДУ	365
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	367

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

ИЗ ЛИРИКИ

С белорусского

* * *

Я исходил тропинок много,
Но к завершению пути,
К тому последнему порогу,
Мне все ж не хочется идти.

Мне прозевать бы то мгновенье
На пограничном рубеже...
Ведь вот не сознает младенец,
Что жив, что родился уже.

ПАРТИЗАНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

О телеграфе партизанском
Ни диссертаций, ни статей,
Он проще азбуки-морзянки,
А в чем-то, видимо, сложнее.

Пастушьей дудки звук певучий,
Рулады птичьей, волчий вой,
Зарубки на стволах и сучьях
Включил он в код секретный свой.

Телеграфист лесной, бывало,
Все расшифровывал на слух —
Зачем кукушка куковала,
Что передал трубач-пастух?

Дозорный, разрешив задачу,
Легко перелагал в слова —
О чем над речкой чибис плачет,
Кого зовет в ночи сова?

Приказы, данные разведки,
Согласно азбуке штабной,
Писались ножиком на ветке,
Лопатой на тропе любой.

В землянках уточняли планы,
Бой, как по нотам, разыграв.
Не зря любили партизаны
Свой безотказный телеграф.

Я БЫЛ СЕЛЬКОРОМ

Когда-то, ранней ранью,
Врагам наперекор
Носил я это званье
Высокое — с е л ь к о р.

Был зорким, но незримым —
Крестьянской правды страж,—
Писал под псевдонимом
К р а с н ы й к а р а н д а ш.

Карандашом владея,
В начале всех начал
Я злыдней и злодеев
Отважно обличал.

О, им бы рассчитаться
С писакою таким!
Но не могли дознаться,
Чей это псевдоним.

Ищи иголку в сене.
И надо ж! В ту весну
До умопомраченья
Влюбился я в одну...

Уж тут я не таился.
По-молодому скор,
Я ей в любви открылся
И в том, что я — селькор.

А там и вся округа
Узнала мой секрет.
...Я помню отчий угол,
Страницы тех газет.

Куда сильнее в ту пору
Гордился я, поверь,
Заметкою селькора,
Чем книгою теперь.

* * *

Уж лучше б крепкий был мороз,
А то с утра — холодный дождь.
Все небо наземь пролилось,
От сырости бросает в дрожь.

Фонарь расплылся надо мной,
А под ногой раскис песок.
И кажется, что шар земной
Весь, до Америки, промок.

Перевел Яков Хелемский.



Е. ГЕРАСИМОВ

★

ВЕСНА В ДУБКАХ

Повесть

1

Не те уже Дубки, что были после войны, когда я поселился тут. Случилось это сразу же, как только отменили продовольственные карточки. Решив тогда заделаться загородным жителем, я искал места подальше от столичного шума, но не слишком далеко, и нашел себе в Дубках подходящую избушку если и не на курьих ножках, то наподобие того.

Избушка на дубовых столбах под дранковой крышей, три дуба, стоящих в ряд и вровень макушками, укрывая ее от проезжей дороги, цветистый, желто-белый от густо высыпавшей ромашки лужок под дубами, высокие, в рост человека, лилово-синие заросли лупинуса под неокоренным частоколом — все это выглядело вполне по-деревенски, чего мне больше всего и захотелось вдруг после войны и всяких иных треволнений.

Дубки в ту пору были небольшим, никому не ведомым в Москве полурабочим-полудеревенским поселком. Когда-то стоял он на большой трактовой дороге, соединявшей два старинных монастыря. Тракт давно заглох, зарос лесом, о том, что он был, теперь свидетели только пруд и вековые березы, под сенью которых когда-то ютилась ямская станция с трактиром.

Электричка проходит тут глубокой выемкой с откосами, густо поросшими дубовым кустарником. Сойдешь с поезда на платформу — и высоко над тобой, как на горе, стоит зеленой курчавой стеной лес.

Помню, как, выйдя из вагона первый раз в Дубках, я увидел толстенную синичку-коротышку, сидевшую на кусте мелкого дубняка у самых перил платформы задом к остановившемуся поезду и усердно, как дятел, долбившую веточку.

Поезд ушел, я один стоял на длинной пустой деревянной платформе с маленьким, крашенным охрой павильончиком посередине и глядел на эту крошечную пичужку, как на ниспосланный мне небом дар. Бесстрашная чудо-синичка сидела так близко, что я мог бы, не сходя с места, дотянуться до нее рукой. Занятая своим делом, она не обращала на меня никакого внимания, так же как и на прошедший поезд, — все стучала и стучала носиком, мерно покачиваясь на ветке, словно заводная игрушка.

Я ждал, когда же она наконец обернется и увидит меня, но синичка, так и не обернувшись, перепорхнула на другой куст и снова деловито застучала. Только и слышно было что ее дробное постукивание по ветке.

Вот такой умиротворяющей душу тишины, такого покоя, близости птиц и зверей я и искал после войны.

От платформы электрички до поселка было тогда минут десять хода луговой тропинкой, огибавшей длинный и узкий, как река, пруд, наглухо затапанный ряской. На его высоком насыпном берегу, затененном старыми, обвисшими березами-плакальщицами с сухим плешивым мохом вокруг своих угольно-черных, будто обожженных комлей, можно было набрать по пути тонконогих черноголовых обабок — тут уж издали пахло грибами.

Пустынно было вокруг этого заброшенного пруда, у которого когда-то стоял придорожный трактир: по одну сторону — картофельное поле, ограниченное на взгорке густой железнодорожной посадкой засохших понизу елей, по другую сторону — заросшая сорным кустарником луговина, местами размытая проточинами полых вод. При быстром таянии снега вода сбегала со взгорка, наполняла пруд, рекой текла дальше к поселку и разливалась на его широкой, обсаженной дубами улице глубоким, долго не просыхающим озером.

Да, совсем, совсем уже не тот стал наш поселок, каким он был, когда я поселился тут. Бывало, без резиновых сапог весной и не высунешься на улицу, не то чтоб добраться до электрички, хотя до нее и рукой подать. Но весна всегда остается весной, и по-настоящему ее только и чувствуешь, когда шлепаешь по лужам, не глядя под ноги, и перебираешься по бревнам и жердочкам через бурные потоки полых вод в литых резиновых, не сгибающихся, тяжелых, как чугун, сапогах. Особой чудесной бодростью проникается человек в такой специфически загородной обуви. Вволю походил я в ней и весной и осенью, таскаясь в Москву на работу с большим чемоданом, в который, прежде чем из болота ввалиться в вагон столичной электрички, укладывал свои громоздкие сапоги.

А зимой в метель, когда черт ногу сломит, иной раз собьешься с заледеневшей тропинки и, подсвечивая под ноги карманным фонариком, тычешься туда-сюда по колено, а то и по пояс в снегу среди призрачно белых кустов. Кружат они тебя на одном месте, как ведьмы на шабаше, и вдруг в мятущейся тьме засветится какой-нибудь жалкий огонек; ну, слава богу, кажется, что жив остался.

Как памятны мне те послевоенные годы. Вкусил я тогда в полной мере все прелести деревенской жизни, с которой раньше сталкивался только в спешке газетных командировок.

Сейчас все это уже давнее романтическое прошлое. О нем напоминает мне темная подпалина на потолочной матице — след, оставленный десятилинейной керосиновой лампой, висевшей под жестяным абажуром над моим рабочим столом до тех пор, пока однажды ночью, стуча на пишущей машинке, я не заметил, что потолок надо мной начал дымиться. Когда сажа из коптившей лампы сыпалась мне на голову, я этого как-то не замечал.

Романтикой тех лет овевана и давно заброшенная в сарае толстая двадцатипятиметровая веревка, с которой, намотав ее на плечо, я ходил от одного колодца к другому, и тут и там выплескивая зачерпнутую ведром грязную жижу с лягушками и трухой колодезного сруба.

Человеку, добровольно сменившему московскую коммунальную квартиру со всеми ее современными удобствами на деревенскую избушку в забытых богом и районными властями Дубках, во всем этом чудилась бездна прелести.

Говорят, что в Подмосковье не найти было более захудалого поселка, чем Дубки. Ну и пусть, а зато соловьев, черемухи, грибов у нас было пропасть и царственный дубовый лес подступал к самым окнам.

Случалось, проснешься на сером, туманном после теплого ночного дождя рассвете, распахнешь окно и долго слушаешь, как где-то рядом кукушка вещает тебе вечную жизнь, и так тихо, словно не хочет, чтоб соседи твои услышали,— одному тебе кукует.

А теперь... Теперь моя избушка, стоявшая на краю поселка, оказалась в самом центре его — рядом с поселковым Советом, клубом, почтой, магазином и конечной остановкой автобуса, со скамейкой под дубами. Несколько лет уже автобус ходит к нам по бетонной с асфальтированным покрытием дороге, проложенной в Дубки из соседнего районного городка. В резиновых сапогах теперь уже нет нужды, так же как и в карманном фонарике: на электричку идешь асфальтовой дорожкой с уличными фонарями, горящими не только ночью, но часто и днем. И колодцы уже отошли в прошлое: на каждом углу стоят зеленые свежеразкрашенные водопроводные колонки с выложенными асфальтом площадками, на которые весной почему-то выползает множество полудыхлых дождевых червей.

Большим, благоустроенным стал наш ранее глухой безвестный поселок, и случилось это как-то вдруг, сразу, во второй половине пятидесятых годов, когда бурная волна послевоенного дачного и садового строительства, захлестнув по линиям электрички все ближнее Подмоскovie, докатилась и до Дубков.

В Москве заговорили: дачные места кругом заселены, всюду уже теснота и толкотня, а в Дубках пока еще пусто, тишина, воздух такой, что сойдешь с поезда и не надышишься, леса дубовые, и не так-то уж далеко от Москвы. А тут еще кто-то открыл, что ключевая вода в Дубках — та самая, за которой мы в сухие годы, когда колодцы пересыхали, ходили в лес под гору и в очереди стояли с ведрами у родничка Гремучий ключ,— чуть ли не целебнее самого нарзана, и старухи из Москвы стали ездить за ней в Дубки с бидончиками и бутылками, как за святой водой.

Росла слава Дубков, и улицы пошли расти у нас, как грибы после теплого летнего дождя. Начали индивидуальные застройщики, завозившие стройматериалы, приобретенные кто где и как мог, по ночам, украдкой, чтоб в пути не спросили накладной,— протянули улицу лугом вплотную к платформе электрички, а потом уже открыто, при свете дня засновали машины с грузами дачных кооперативов, строивших улицу за улицей по лесным опушкам. А вслед за дачными кооперативами расплодился по вырубленному осиновому мелколесью участки садоводов, покрывших своими садами и клетушечными домишками все косогоры окрест, один над другим, и проникших уже в такую даль, куда раньше забирались только грибники.

Да, не найдешь уже летом в Дубках тишины, покоя. Если еще на моей памяти на нашей платформе сходили с поезда один-два пассажира, то теперь под выходной день из вагонов валом валит народ и стеной идет по бетонной платформе, как в московском метро в часы «пик», плечом к плечу. Теперь не постоишь тут, не поглядишь на синичку, хотя бы она и сидела у самых перил платформы на ветке дубняка.

Но все это летом, а зимой в Дубках по-прежнему тихо. Люди живут только на одной нашей улице, по которой ходит автобус в район,— зимники, как нас называют в отличие от дачников: рабочие и служащие районного городка, из тех, кто упорно держится за свое усадебное хозяйство, народ многосемейный, с крестьянской закваской, да такие, как я, москвичи, которым нужно, чтоб радио за стеной не гремело день и ночь и чтобы утром не бегать из угла в угол, не приседать, не размахивать руками в прокуренной за ночь комнате, а вместо этого дрова поколоть или расчистить от снега дорожки.

Зимой в Дубках жизнь прячется по домам, из которых люди вылезают на улицу снежными траншеями. В иные часы только по этим траншеям да по печным дымам и видно, что в поселке люди живут. Днем пройдут кучками ученики — первая смена из школы, вторая в школу, — и до вечера редко встретишь на улице человека, а если встретишь, то разве что бабу с ведрами у колонки. Вечером после окончания рабочего дня, когда люди вернутся из города кто электричкой, кто автобусом, улица ненадолго оживет и снова опустеет до начала киносеанса в клубе. Пропорхнет в кино жмушаяся друг к другу парочками молодежь, часа через полтора вывалится из клуба толпой, разойдется, и на улице останутся лишь две живые души — ночной сторож Пантелей Кузьмич с ружьем и собака на цепи у магазина.

Правда, в воскресенье в Дубки наезжает из Москвы много лыжников, но все они уходят в лес по одной лыжне и нарушают тишину лишь на платформе электрички.

Вот и получается, что если в Москве устаешь от шума, то в Дубках во второй половине зимы уже начинаешь уставать от тишины и со дня на день все нетерпеливее ждешь, когда же солнце подыметесь повыше, прибавит света, станет пригревать и наконец у моего соседа Николая Петровича на дворе или на террасе закричит его старый громогласный петух.

А в нынешнем году зима была на редкость крепкая, устойчивая — с декабря стены по ночам стреляли от мороза, а с начала февраля, когда начались метели, часто нельзя было утром выбраться из избы без лопаты, — и поэтому я не забывал по вечерам отрывать календарные листки. Оторвешь, помотришь и ложишься спать в счастливой уверенности, что завтра день будет чуть посветлее.

2

Утром меня разбудил громкий барабанный стук по стеклу. Ну, конечно же, Попко явился. Один он может так бесцеремонно барабанить в окно.

Артем Богданович Попко стоял на открытой террасе в своей сбитой на затылок полковничьей папахе, в распахнутой шинели с белым шелковым кашне и показывал мне на багрово-пламенный шар солнца, которое уже поднялось над заснеженным забором и смотрело прямо в мое окно, махал обеими руками и кричал:

— Давай, давай! Живо одевайся и выходи!

Спросонок я подумал, не пожар ли, оделся впопыхах, выбежал в сени, распахнул дверь.

— Ох, и пень же! — воскликнул Попко. — Весна на дворе, а ты, бессовестный, дрыхнешь!

Я поглядел на термометр, висевший на стене террасы. Он показывал около двадцати градусов ниже нуля.

— Да куда ты смотришь?! — возмутился Попко. — Посмотри, какие райские яблочки зацвели у тебя в саду. — И потащил меня за угол дома. Действительно — что за чудо? На заснеженной яблоне рдели какие-то диковинные не то цветы, не то плоды.

Попко подтолкнул меня:

— Протри глаза и подойди ближе.

Я шагнул — и с белой яблони вспорхнула стайка красногрудых снегирей.

Попко схватился за бока и захохотал: любит он на правах старого приятеля подурочить меня так вот.

Я познакомился с Артемом Богдановичем вскоре после войны, ког-

да он, не раз горевший в танке, факелом выкидывавшийся из него, весь латаный-перелатаный, будучи на лечении своих ран и контузий в длительном отпуске, задумал написать роман о войне и объявил об этом во всеуслышание, явившись к нам в редакцию с Золотой Звездой на груди. Потом он часто наезжал ко мне в Дубки почитать свою рукопись.

Помню, сидел я за пишущей машинкой в балаганчике, сложенном из досок и жердей в самом дальнем углу участка, у забора, где летом только и можно было уединиться для работы. Сидел, стучал и вдруг слышу — забор трещит, кто-то лезет через него, сейчас завалит мой шаткий балаганчик. Вскочив, я увидел Попко, стоявшего уже на ногах. Отряхиваясь, с завернутой в бумагу бутылкой.

Когда Артем Богданович задумает нагрять невзначай, на голову тебе, не признает он тогда ни калиток, ни дверей. Маленький, верткий, упругий, он, как мяч, может заскочить в окно моей низкой избушки.

— Ба-а! — окинув взглядом мой легкий балаган и попятившись от него, воскликнул Попко в театральной восторге. — Да ты, я вижу, решил стать настоящим Робинзоном, только не хватает что шкуры на плечах.

С такой же быстротой, с какой он менял выражение лица, изображая попеременно восторг, испуг, ужас, Попко раскупорил бутылку венгерского токая. Два листа писчей бумаги, схваченные им со стола в моем балагане, мгновенно превратились в его руках в аккуратные бумажные стаканчики совсем фабричного вида — удивительный мастер полковник Попко на всякого рода ручные подделки.

— А ну, давай пей, пей скорее, и я прочту тебе новую главу своего опуса, — заторопил он меня.

У него уже было написано около двух тысяч страниц очень энергичным, но страшно неразборчивым почерком с невероятными завитушками и росчерками, в которых он сам с трудом разбирался, но конца романа все еще не было видно.

Присев на корточки, Попко развернул и разгладил свернутую в трубку рукопись. Быстро листая вдоль и поперек испещренные вставками и поправками, залепанные кляксами страницы, он отчаянно морщил лоб, потирал свою бритую, красную от натуги, всю в рубцах и шрамах голову, — искал все, что бы ему лучше прочесть, то и дело приговаривая:

— А ты пей, пей, не теряй времени попусту.

Сам он вина не пил: понюхает, пригубит и недовольно покривится:

— Нет, не тот уже букет, не тот, дрянь.

Найдя наконец в своей рукописи какой-нибудь выигрышный, на его взгляд, кусок, он с размаху хлопал себя рукой по темени:

— Вот! Вот! Послушай-ка — «...и встречный бой танков на марше в пересеченной местности».

Читал он, захлебываясь и спотыкаясь на каждой строчке. До меня доходили только боевые команды: «Вперед!», «Делай, как я!», «Броневой заряд!» — и боевые выкрики: «Дай ему, гаду... Готов! Следующего справа!.. Ага, и этот готов! Горит, как спичка... Еще дай! Давай, давай!.. Вот это да! Раздавил, как пустую яичную скорлупу. Ого! Вот это пресс!»

— Ну, как на твой взгляд — пойдет?! — спрашивал Попко, утирая мокрую голову мокрым уже носовым платком.

Надо было бы сказать: «Брось, Артем Богданович, мучить себя и людей! Не за свое дело взялся. Зачем тебе это нужно?» Надо бы, но как сказать, когда, садясь вечером за свой домашний письменный стол после служебного дня в своем инспекторском управлении, Попко ставил

возле себя на стул таз и кувшин с холодной водой и всю ночь напролет писал и писал, поливая из кувшина воду на трещающую от боли голову.

Нет, Попко работал над своим романом так рьяно, что духа не хватало сказать ему: брось! И я говорил, что раз конца романа еще не видно, то и судить о нем рано, но вообще-то надо иметь в виду, что писать романы по ночам, когда глаза слипаются и голова трещит, дело невысказанно трудное.

— Да, да, дьявольски трудное! — живо подхватывал он, загораясь, словно именно эти невысказанные трудности и увлекали его больше всего.

Но на этот раз, когда я снова заговорил о трудностях, Попко задумался и, как мне показалось, даже погрузился, а с ним это бывало чрезвычайно редко. В таких случаях он становился похож на малое, обиженное взрослыми людьми дитя, и мне было жаль его в этом столь несвойственном ему душевном состоянии.

С минуту просидел он еще на корточках — он часами мог пребывать в таком положении, — и вдруг грустная задумчивость вмиг слетела с него. Повеселев, Попко вскочил на ноги и схватил меня за руку.

— А что ты скажешь, если я отгрохаю себе хоромину по соседству с твоей избой? Будешь моим литературным советником?! — Не дав слова сказать, он потащил меня за руку. — Давай! Давай!

— Куда?

— Пойдем, пригляди мне участок для дачи.

Прошло немного времени, и Попко снова явился — возник перед окном с Золотой Звездой на груди, которую он после того, как засел за роман, стал надевать, только идя на службу или уезжая в очередную инспекционную командировку.

— Привет соседу! — провозгласил он. — Наша взяла!

Я подумал, что Попко опять по своему обыкновению дурачится, но нет — оказалось, что райкомхоз уже отвел ему участок по соседству с моим и он уже пригнал со склада машину с кирпичом.

— Давай, давай, помогай сгружать!

Начав строиться по ту сторону моего забора, Попко поднял шум и суматоху на весь поселок. Лето было сырое, машины с цементом, бревнами, тесом застревают в раскисших колдобинах. С ног до головы вымазанный в глине, Попко метался по дворам, собирая на помощь людей с лопатами, жердями, досками. Только и слышно было:

— Давай, давай!

А потом застучали топоры. С раннего утра до ночи стучали они у меня над ухом. Попко, подгоняя плотников, ставил им пол-литра за пол-литром — торопился постройиться, чтоб поскорее снова засесть за роман.

К осени рядом с моей приземистой и кособокой избушкой уже стояла сказочно быстро воздвигнутая Попко толстостенная, из отборного леса — хоть из пушки пали, не пробьешь — хоромина на высоком кирпичном фундаменте.

Но стены и крыша в дачном обзаведении — это еще далеко не все, это только самое начало того, чему конца нет. Сколько лет уже прошло, как Попко стал моим соседом, а он все еще что-то возит, строит, перестраивает, красит, роет, пересаживает — и все с таким же яростным рвением, с каким раньше воевал, а потом писал роман о войне, рукопись которого давно уже заброшена им в дровяной сарай на растопку печи. Теперь он сам диву дается:

— На черта нужна мне была эта писанина? — Смеется и ругает меня: — Это ты мне голову заморочил!..

Зимой он не живет в Дубках, только изредка появляется проведать свою дачу, забросить какое-нибудь новое инвентарно-хозяйственное

приобретение, окучить снегом яблони, что-нибудь починить или с кем-нибудь договориться насчет навоза, песка, опилок — и всегда шумно, с барабанным стуком в окна соседей, оповещая их — раньше, чем об этом закричат петухи, — что весна не за горами.

3

Вчера багровое солнце мглисто светило в морозном тумане, а сегодня, выйдя из облаков, засияло, как заново позолоченное, и на моих глазах столбик термометра за несколько минут поднялся с минуса десяти до нуля.

Напрасно принимался я за работу — не усидишь дома, когда с крыши в снежный сугроб беззвучно падает первая капель. Выйдешь и не скоро вернешься.

Николай Петрович, проходивший проулком в форменной фуражке заводской противопожарной охраны, кивнул мне с высоты своего саженного роста и крикнул:

— Пойдем, поглядим, как Митюха из Матренок гуляет в прощенное воскресенье.

Давно поселился Николай Петрович в Дубках. Сам он из рязанских мужиков, но деревенских ни во что не ставит — для него они все «митюхи».

Две дочери его окончили московские институты, вышли замуж за людей с положением, живут в Москве, солидные уже дамы, старшая приезжает в Дубки с мужем на собственной машине; сын с женой работает где-то на Севере, присылает домой хорошие деньги на воспитание своего чада, оставленного на попечение дедушки с бабушкой.

Говорят, что Николаю Петровичу нелегко далось его житейское благополучие, были у него тяжелые годы. Об этом можно догадываться и по его рано состарившейся, часто болеющей, хлопотливой не в меру сил супруге, но сам он, полный сознания собственного достоинства, даже в хмелю не обмолвится о своем деревенском прошлом. Выпить он любит, может и посидеть на лужке за керосиновым ларьком, но лишку не хватит. Строго блюдет себя Николай Петрович, лучший в поселке мастер по плотницкому делу. В праздники он медленно вышагивает по поселку, заложив руки в карманы, и посматривает на дела своих умелых рук. Много настроил он уже в Дубках добротных дач, и все без отрыва от производства, на котором служит в районном городе бойцом противопожарной охраны.

Скоро уже двадцать лет, как мы живем с Николаем Петровичем по соседству, но встречаемся только на улице и разговариваем только о погоде — ни о чем другом у меня не хватает смелости поговорить с таким важным, как он, человеком.

Сегодня на улице многолюднее, чем обычно зимой, — последний день масленицы, прощенное воскресенье, по случаю чего из Матренок примчался в Дубки Митюха, стоя в розвальнях и нещадно лупцуя вожжами коня.

Люди кучками высыпали на снежные глыбы, двумя хребтами нагроможденные снегоочистителем по обочинам дороги. И я вслед за Николаем Петровичем забрался наверх поглядеть, как кудлатый, без шапки Митюха, стоя во весь рост, гоняет запарившуюся лошадь от магазина до школы и назад, — давно уже не видел такого наш безлошадный поселок.

— А в районе сегодня, говорят, иностранных туристов катали вокруг монастыря на тройке с бубенцами, — сообщил, подойдя к нам и пожав руки своей скрюченной рукой, Пантелей Кузьмич, ночной сторож продмага, он же и сапожник, живущий в каморке при пожарном сарае.

Пантелей Кузьмич всегда в курсе всех районных новостей и при встрече, пожав руку, непременно сообщит о них с улыбочкой. Постукивая палочкой с гвоздем, вбитым в нее острием вниз, чтобы не скользила, он во все времена года ходит в одном и том же самодельном колпаке, похожем не то на монашескую скуфью, не то на домашнюю профессорскую шапочку, в ветхом, протертом до дыр ватнике, летом в опорках, зимой в валенках с рваными голенищами, но всегда очень чисто выбритый, туго подпоясанный, по-военному подтянутый, так что, при всей убогости одежды и обуви, имеет вид удивительно аккуратный, а гордостью осанки превосходит даже самого Николая Петровича, хотя тот с высоты своего роста и смотрит на него так, словно не может разглядеть, что это за козявка перед ним.

У Пантелея Кузьмича очень интеллигентные манеры, и человек он чрезвычайно вежливый. Заговорив на улице с людьми, он попеременно поворачивается от одного к другому и всем кланяется. Сообщив о тройке с бубенцами, он тут же похвалил Толстого: «Великий знаток лошадей был Лев Николаевич. Помните «Холстомера»?» — и с улыбкой поклонился по очереди мне и Николаю Петровичу.

— А почему сейчас лошадей не стало? — продолжал он и опять поклонился обоим. — Потому, что овса мало планируем. А между прочим, наши отечественные рысаки в большой цене за границей.

Этот интеллигентный разговор о лошадях был прерван супругой Николая Петровича Дусей, появившейся на улице с ведрами.

— Ах! — воскликнула она, увидев, что лошадь Митюхи навалила у магазина кучу тугих, как яблоки, катышей, бросила ведра, метнулась домой, прибежала назад с кочергой и помойным ведрком.

— Да брось ты срамиться! — сказал Николай Петрович.

Дуся махнула рукой, сгребла конские катыши кочергой в ведро и показала их нахмурившемуся супругу:

— Погляди, сколько навалила нам на огурчики. Это тебе не коровьи лепехи.

Пантелей Кузьмич поспешил отвлечь мое внимание в сторону от столь грубой материи.

— Помните, — обернувшись ко мне, сказал он, — сколько раньше воробьев слеталось на дорогу, как только солнышко начнет пригревать? А сейчас ни одного не увидишь на улице — нечем им тут прокормиться.

Да, чистые, как снежная целина, стали сейчас зимние дороги, не запахнет на них весной навозом, подумал я, вспомнив этот запах и воробьев, скакавших на весенних, оттаивающих дорогах в мои далекие юношеские годы.

4

До чего же хорошо, проснувшись утром, увидеть в окне поднявшееся над забором солнце, которое сегодня светит еще ярче, чем вчера, искрами стреляющий белый, чистый полог снега и вспыхивающую на лету, тоже как искры, капель.

Сколько лет я живу в Дубках, а кажется, что впервые все это вижу, словно только теперь открылись глаза, — вот что значит долгая зима, когда начинаешь думать, что конца ей не будет. Впрочем, какая же долгая — ведь еще только конец февраля, просто осточертело зимнее безлюдье в Дубках.

Окончательно решено — летом никуда не поеду, довольно набирать летних впечатлений в творческих командировках, буду работать, а сейчас в сторону все дела и рукописи: хочется почувствовать весну, как чувствовал ее когда-то, давным-давно.

Сегодня пасмурно, круг видимости сужен гуманом, облачная серость

стелется по небу, как дым, но все же весна продвинулась вперед еще на один шаг: термометр показывает выше нуля, на деревьях, словно они бисером обсыпаны, сверкают набухшие капли, снег, падающий крупными хлопьями, тает в воздухе, и слышно, как сыплется мелким дождиком. Снежная целина уже не проваливается под ногами, а, тяжело кряхтя, медленно оседает. За всю зиму я видел только одну стайку снегирей на яблоне да одну синичку в запорошенной снегом мусорной яме — ни ворон, ни сорок не слышно было, а сегодня они закаркали, затрещали на вершинах соседских берез. А у другого соседа на куче выброшенного из коровника навоза всюду зачирикали пропадавшие где-то зимой тощие, худые, как птенцы, воробьи. По снежной траншее прокрался чужой черный кот, потом я увидел его на перилах террасы — лежал, притаившись, и с зеленым блеском в глазах поглядывал в окно, но моя Машка все еще нежится и потягивается на печке. До чего блудлива, но не торопится идти на свидание с котом.

Поселок еще не ожил, но цепные собаки уже стоят на крышах своих будок и сторожко смотрят по сторонам, будто с минуты на минуту чего-то ждут. На одном дворе я увидел корову, высунувшую морду из открытых, загороженных слегой дверей сарая и тоже, казалось, заинтересованно ждавшую чего-то. Загляделся я на нее, а потом, обернувшись, заметил, что тут и там появившиеся в калитках люди пристально наблюдают за мной. Летом, после того как наедут дачники, никто не обратит внимания на праздного прогуливающегося человека, но зимой людям непонятно, чего ты бродишь по улицам, что выглядываешь, — по-деревенски подозрительны наши зимники к таким людям.

Повернув назад, я зашел по дороге к Пантелею Кузьмичу спросить, не готовы ли мои яловочные сапоги, отданные ему в починку на днях, как только закапало с крыши. Обычно он не принимает заказчиков у себя — его сидящая на цепи собака и близко не подпустит к порогу. На ее лай он выходит к заказчику сам и ведет с ним разговор на пожарном дворе. Но на этот раз собака Пантелея Кузьмича сорвалась с привязи и ошалело носилась по поселку, так что я мог беспрепятственно проникнуть в его каморку. Половину ее занимает закопченная снизу доверху печь и лежанка, на которой взрослому человеку не улечься, если он не подожмет ноги под себя или не свесит их вниз, как, надо думать. Пантелей Кузьмич и спит на своей тощей подстилке с кучей тряпья в изголовье вместо подушки. Печь с лежанкой оставляет свободной площади больше, чем того нужно, чтоб хозяин мог уместиться на своем рабочем месте у крошечного оконца, где я и застал его, забивавшего гвозди в новые подметки моих сапог. Перед ним стояла приставленная к лежанке колода, а в ней — заскорузлая алюминиевая миска с недоеденной пшенной кашей: видно, колода служит ему одновременно и столом и приступкой к высокой лежанке.

Смущенный убожеством каморки или конурки Пантелея Кузьмича — не знаю уж, как назвать это жалкое жилище при пожарном сарае, — я подумал, что и он, наверно, смущен моим вторжением, извинился, что не постучал, и сказал, что раз сапоги не готовы, зайду завтра, не к спеху.

— Да нет, зачем же вам затрудняться — сейчас будут готовы. Присаживайтесь, пожалуйста, — пригласил он, убрав с колоды миску с кашей и сунув ее себе под ноги.

Снова взявшись за сапог и вогнав в него еще один гвоздь, Пантелей Кузьмич сказал:

— Зачитался вчера книгой, которую вы мне дали, и большое получил удовольствие, интересные ставятся проблемы.

Он заходит иногда ко мне домой, остановится на пороге, извинится, что побеспокоил, попросит что-нибудь почитать, возьмет журнал или

книгу, еще раз извинится и уйдет. Возвращая прочитанное, он в долгие разговоры не пускается, похвалит или деликатно промолчит.

Непонятный человек Пантелей Кузьмич. Говорят, будто чуть ли не полжизни провел в лагерях, а за что — никому это не известно, говорят, может быть, бывший барин, а может быть, просто растратчик или вор. Я знаю только, что сейчас он живет круглым бобылем, любит почитать, посидеть с удочкой на озере, походить по пороше с ружьем и собакой и что если с кем-нибудь выпьет в компании пол-литра на троих, то, как я слышал, обязательно вытащит из кармана колоду засаленных карт и предложит попытать цыганское счастье.

Давно уже хотелось мне разговориться с ним, но все не представлялось случая. И сегодня, сидя у него в конуре на колоде в ожидании своих сапог, я думал: так кто же он — бывший барин или бывший вор? Не так-то легко отличить одного от другого, если оба полжизни просидели в лагерях.

— А какие именно проблемы, Пантелей Кузьмич, интересуют вас? — спросил я.

— Неуважение к личности, например. Откуда оно идет в наше время? — сказал он.

— А в чем вы его видите?

— Приходится сталкиваться в жизни с такими печальными фактами, — уклончиво ответил он.

Не клеился у меня с ним разговор, трудно было подступить к его прошлому. Из вскользь оброненных им слов я понял только, что когда-то у Пантелея Кузьмича была семья — жена и дети, — но по каким-то не зависящим от него обстоятельствам он потерял ее.

— А где семья сейчас? — спросил я.

— Не интересуюсь, — ответил Пантелей Кузьмич, стуча молотком.

— Что же это так?

— Чужие мне оказались люди, не оправдали себя, — сказал он о своей бывшей семье и выразительно поставил на этом точку.

Посмотрев в окно и увидев свою бегавшую по двору собаку, Пантелей Кузьмич вытащил из-под ног миску с не доеденной им кашей, сказал: «Извините, пожалуйста, Рекс вернулся, надо покормить» — и вышел во двор, а придя назад, заговорил вдруг о неувязке с пожарной машиной:

— Три года уже стоит у меня за стеной в сарае, а выехать не может, люди бегут на пожар с ведрами. А почему? Машину по разнарядке дали, а шофера в штате не предусмотрели. За такие неувязки я бы не какую-нибудь маленькую сошку, а, извините меня, самого главного пожарника в тюрьму закатал бы.

Бывает с ним так: рассыпается в любезностях, во все стороны кланяется, а коснется разговор вдруг чего-нибудь такого — и никому пощады не даст, головой затрясет, выпатит грудь.

Живет чуть ли не в собачьей конуре, а ох как блюдет свое достоинство Пантелей Кузьмич.

— Сколько с меня? — спросил я его, беря свои сапоги.

— Рубль тридцать шесть копеек, уважаемый.

Когда-то, имея с ним дело в первый раз, я хотел заплатить немного больше, чем он сказал, и пришлось покраснеть.

— Извините, я работаю по государственному преysкуранту.

Что за преysкурант? Кто ему дал его? Один бог ведает.

Возвращаясь домой с сапогами под мышкой, я всю дорогу размышлял о Пантелее Кузьмиче, но так и не решил, что он за человек. Надо будет как-нибудь сходить с ним ча охоту или на рыбалку — очень приглашает и хвалит своего Рекса. Я думал, что раз сидит на цепи и злая —

значит, простая дворняжка, но, оказывается, охотничья собака и благороднейшей крови, как сказал Пантелей Кузьмич, провожая меня и глядя по голове ласкавшегося к нему Рекса.

У себя в проулке я встретил Николая Петровича, стоявшего в калитке, по своему обыкновению заложив руки в карманы.

— Барину носили? — спросил он, кивнув на сапоги.

«Барин» — иначе Николай Петрович не назовет Пантелея Кузьмича.

Взяв сапоги, он оглядел их, постучал по подметке и спросил:

— Сколько же отдали?

Я сказал, он усмехнулся:

— Дешевка, но большего и не стоит.

Не любит Николай Петрович дешевых мастеров. Сам он втридорога берет, и отбоя от заказчиков у него нет. А у Пантелея Кузьмича клиентов мало, люди говорят: какой он мастер — в опорках ходит, из одной миски с собакой ест.

5

Подморозило. Заледенели в лесу глубокие ямки следов на тропинке, дугой согнутая лещина с погребенными под снегом вершинками и всякая мелкая лесная поросль оделись в прозрачные, сверкающие, как хрусталь, ледяные трубки и колпачки. По-весеннему уже все далеко насквозь видно в лесу, словно деревья стоят в безвоздушном пространстве: черные дубы, оливковые осины, светящиеся меловой белизной березы и темные ели со снежными навесами на нижних растопыренных лапах и с розовыми гроздьями шишек на острых макушках.

Трудно ходить по заледеневшим следам, и я, немного отойдя от последних, стоящих в лесу пустых дач, где в одиночестве неумолчно, звонко пиликала овсянка, остановился, поглядел вокруг, послушал, как ветер прошумел и затих, словно где-то в лесу промчался дальний поезд, и вспомнил вдруг, как некогда сладко дурманил голову запах наступающей весны, — вспомнил и вдруг снова почуял в стеклянно-прозрачном воздухе этот давно уже забытый запах. Конечно, это было только воспоминание, слабый отблеск минувшего, но на миг голова пошла кругом, как бывало...

Долго стоял я на опушке леса, все глядел на розовые гроздья еловых шишек, пока не услышал чьи-то тихие шаги. Ко мне подходил Иван Иванович, отец двух погибших на войне сыновей, с которым я познакомился несколько лет назад.

— Чем это вы залюбовались? — спросил он.

— Крепко подморозило, а все же весной здорово пахнет, — сказал я.

— Да, — ответил он, — скоро на могилки поеду.

Каждый год Иван Иванович ездит на могилы своих сыновей, и всегда весной, с тем чтобы до наступления опасной для его больного сердца жаркой погоды успеть обернуться. Ему уже под семьдесят, но на вид еще крепкий старик. И когда соберется в дорогу, парадно одевшись, в мягкой шляпе, с габардиновым, аккуратным сложенным на руке пальто шелковой подкладкой наружу — очень представительный мужчина. Так одевается он только в поездку на могилы сыновей. Супруга его рядом с ним выглядит простой деревенской старушкой. Молча стоят они на платформе в ожидании поезда. У него прямые и сурово сжатые губы, у нее слезы на опухших глазах. При подходе поезда он склоняется и целует ее, она всхлипывает, дает волю слезам и на прощание украдкой осеняет его крестным знамением. Бойтся Мария Гавриловна за мужа: дорога дальняя — могила одного сына на Волге, другого на Немане, — выдержит ли

больное сердце старика? В прошлом году она говорила, что больше не отпустит его, а он вот опять собирается в путь.

— Может быть, не стоит рисковать? — сказал я.

— Последний раз съезжу, попрощаюсь с могилками, — ответил он.

Иван Иванович не скажет «могилы», только — «могилки», словно сыновья его погибли детьми. Шла еще война, когда он начал разыскивать места их захоронения по тем скудным и ненадежным данным, которые получил в военкомате. С помощью местных жителей розыски продолжались много лет. Все свои очередные отпуска Иван Иванович из года в год проводил в этих поездках, а потом, когда началось так называемое перезахоронение и останки погибших в войну стали свозить из деревень в районные центры, он решил, говоря его словами, «прописать» обоих сыновей в этих укрупненных могилах. И это ему удалось сделать с соблюдением всех необходимых формальностей после долгих и тяжелых хлопот. Теперь он ездит на могилы, в которых, как свидетельствуют о том надписи на надгробных плитах, хоть и условно, но покоится прах его сыновей, — следит, в порядке ли они содержатся, сажает цветы, хлопочет о памятниках.

Всякий раз при встрече Иван Иванович приглашает меня зайти к нему. Сегодня тоже постояла мы с ним на лесной опушке, и он сказал:

— Может быть, заглянете ко мне?

Мария Гавриловна сидела у окна, скрестив на груди руки, в своей обычной позе и с тем же застывшим выражением скорби, которое не сходило с ее лица уже почти четверть века — с тех пор, как она получила похоронные на обоих сыновей. И как всегда, поздоровавшись со мной безучастным кивком головы, она тотчас отвернулась к окну, словно все, о чем бы мы ни говорили с ее мужем, не может иметь к ней никакого касательства.

Проходят годы, а в их небольшом доме — две комнатки с кухней — все остается так, как было до войны, только давно запущенный сад зарастает все гуще и гуще: через него уже не продерешься, стал, как глухой лес. Иван Иванович с женой занимает одну проходную комнату, а во второй хранится, как в музее, все, что было там при жизни сыновей: их по-солдатски заправленные койки, столы, за которыми они готовили уроки, книжные полки со стопками аккуратно сложенных учебников и тетрадей, глобус, футбольный мяч, гантели. В этой же музейной комнате висят рядом большие, увеличенные портреты обоих сыновей в форме младших лейтенантов, совсем еще юношей, попавших на фронт со школьной скамьи. На особой полке лежат, стянутые резинкой, пачки их писем, сначала из военного училища, потом с фронта, и папка с подшитыми документами — боевые характеристики и всякого рода справки, заверенные командирами частей, в которых они служили, и вся многолетняя переписка отца, связанная с розысками их затерявшихся могил.

Стараниями Ивана Ивановича папка с документами пополняется до сих пор.

Приведа меня сегодня к себе домой, Иван Иванович выложил на стол свою священную папку, надел очки и прочел мне письмо, полученное им недавно от бывшего замполита части, в которой служил один из его сыновей. Много лет разыскивал Иван Иванович этого человека и только сейчас сумел найти. Замполит писал:

«Дорогой Иван Иванович! В ответ на Ваш запрос о своем сыне могу подтвердить, что он служил в составе нашей доблестной гвардейской дивизии и погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками смертью храбрых, как истинный патриот своей родины. Что же касается обстоятельств, при которых он погиб, и где захоронен, затрудняюсь ответить Вам по давности истекших лет».

— Вот видите, сколько лет прошло, а все-таки разыскал человека, и человек с сочувствием отозвался, — сказал Иван Иванович и стал читать копию своего ответа бывшему замполиту с горячей благодарностью за память о сыне — копия эта у него тоже подшита к делу.

Он читал, а Мария Гавриловна безучастно слушала, глядя в окно. Мне кажется, что все эти поездки Ивана Ивановича на могилы, вся его бесконечная переписка с военкоматами и бывшими однополчанами сыновей — все это для нее ненужная суета, что она давно уже живет в каком-то ином, далеком от житейских дел мире, и если еще живет, то только потому, что ей страшно оставить мужа одного в пустом доме.

Когда-то, проходя мимо этого дома, я мельком глянул в полуоткрытую калитку и, увидев чашобу одичавшего сада, непроходимое сплетение живых и засохших ветвей яблонь и вишен, а под ним чахлую, глонувшую в тесноте, без света молодую поросль, подумал: и это в нашем поселке, где редко у кого найдешь клочок неухоженной земли, сорную травинку, где все перекапывают и рыхлят без конца с ранней весны до поздней осени! Решив, что дом необитаемый, я вошел в калитку посмотреть, что с ним стало, и в просвете кирпичной дорожки, которая среди садовой заросли вела к высокому крыльцу, увидел сидевших под ним на скамеечке двух стариков. Пришлось подойти к ним, поздороваться, извиниться за непрошеное вторжение. Так вот незначай и познакомились мы. Иван Иванович тогда еще работал на мебельной фабрике (соседняя станция по электричке), на которой за свою жизнь прошел все ступени от ученика столяра до заместителя директора. Сейчас он уже на пенсии и с весны до весны живет одной мыслью — о поездке на могилы сыновей. Можно быть уверенным, что как бы Мария Гавриловна ни отговаривала его — придет весна, и он снова поедет.

6

Вторую неделю весна силится перебороть зиму, то наступает, то отступает. Не успеет небо расчиститься, как с севера надвинется хмурая сизая туча с белой дымчатой каймой, распахнет свои крылья во весь горизонт, разбухнет, проглотит солнце и, обвалившись на землю сплошной стеной рыхлого снега, вмиг забелит влажные деревья, окутает их белоснежным пухом — и снова на земле царствует зима.

Но это только на день, на два, а то и на час. Иной раз кажется, что зима сама себя испугалась — пролетела тучей и замерла над лесом, глядя на то, что натворила. Снова приходится брать за деревянную лопату и, по пояс в снегу, расчищать свои только что расчищенные траншеи.

Солнца не видно — небо затянуто дымкой, оставленной убежавшей тучей, — но снег на крышах и деревьях пронзительно яркий, как на солнце, и воздух как после весеннего дождя, с крыш течет все сильнее.

У Николая Петровича петух раскричался. Вчера он кричал на террасе, а сегодня уже на крыльце. Я вышел в проулок по вновь расчищенной дорожке посмотреть на него — король, а не петух у Николая Петровича. Сюда повернется, туда повернется, потрясет своей багровой короной и бородой, которая у него чуть не до груди, распушит отливающую золотом шею, вытянет низко голову, тотчас задерет ее высоко, грозно прокричит и опять туда-сюда повернется — видят ли люди, как он могуч и красив?

Засмотрелся я на этого самодовольного петуха, и Дуся забеспокоилась, вышла на крыльцо, спросила:

— Чего это вы?

— Петухом залюбовался, — говорю.

Наверно, не поверила, подумала, не высматриваю ли я тес, — много у Николая Петровича навалено его на дворе. Зимой не видно было, а сейчас снег стал оседать, и доски кое-где выглядывают, скоро кой-кому может броситься в глаза, что леса у Николая Петровича, как на торговом складе.

Куда ни поглядишь, всюду что-нибудь новое увидишь. На участке соседа напротив, который уже несколько месяцев лежит после инсульта разбитый параличом, висится огромная береза со свисающими чуть не до самого низа ветвями — пристанище неугомонных сорок. Когда я сижу за своим рабочим столом, она вся на виду у меня, сплошь черная до половины ствола. Уж до чего знакома — и вдруг сегодня обнаруживаю, что из корня ее растут две молодые и не маленькие уже березки, обе атласно-белые, без единой черинки.

Походил я по свежее забеленному снегом поселку, и вдруг услышал — гуси гогочут! Выпустили их из сарая, грязные, будто в золе вывалялись. Как жадно хватали они снег, как торопливо совали его себе под перья — умывались, громко хлопая крыльями. Ну как не постоять, не посмотреть.

...Но нет, зима еще не собирается сдаваться. Вчера с моего самодельного, наклонно подвешенного на алюминиевых проволочках водостока над террасой непрерывно лило, как из крана, и всюду текло с крыши — где ни поставишь ведро, быстро перельет через край, — но вечером на расчистившееся до горизонта небо выпалили яркие звезды, и сегодня ударивший ночью мороз развесил по карнизу длинные, толстые и острые, как пики, сосульки, а сползший с крыши пласт снега так заледенел на весу, что я не смог обрубить его железной лопатой, и поэтому хоть и солнце светит, а в комнате темно.

Все заледенело, и похоже, что надолго, — вот тебе и весна! Термометр показывает десять градусов ниже нуля, и это — на солнце! Но Машке моей мороз уже нипочем. Шныряли коты вокруг дома, вызывали ее, выли от тоски — не шла, не слезала с печки, а вчера выскочила в форточку и забыла дорогу назад. Всю ночь дьявольские крики, стенания и шумная возня на террасе не давали мне спать. А сегодня Машка сидит на яблоне, скорчившись в три погибели, а соседские коты — черный, рыжий, тигровый — и четвертый, незнакомец с окровавленным ухом, сторожат ее, сидя кружком под яблоней, и тихонько фырчат друг на друга.

Трагедия у нас в Дубках с котами. У всех соседей вокруг коты, а сколько еще бездомных, брошенных осенью дачниками, живущих чем бог пошлет на помойке. Не выдержит Машка, выскочит в форточку, потом сама же не рада — жметя на дереве в осаде, пока я не разгону всех этих несчастных голодранцев, и после этого сама не слезет, ждет, чтоб ее отнесли домой на руках.

7

Стоят серые, мглистые дни, ночью подмораживает, днем то снежит, то в тумане проглядывает блеклое солнце, тихо постукивает капель, хрустко падают ледышки, снежный покров оседает все больше, все шире становятся темные лунки под дубами, и опять вовсю кричат воробьи на дворе моего соседа справа, Григория Кононовича, с которым мы уже несколько лет никак не можем договориться поставить наш общий, упавший от ветра и ветхости забор.

Григорий Кононович работает в лесном хозяйстве, иногда долго пропадает где-то далеко в лесу, а вернувшись, возит, пилит и рубит вместе со своими сыновьями дрова — заготавливает их для себя и для других,

кто с ним договорится, но не как-нибудь там «слева», а законно, по нарядам лесничества. Человек он солидный, если случается, что, сильно выпив, забушует, то только дома — на людях не позволяет себе этого, так же как и Николай Петрович, с которым у него бывают какие-то общие, должно быть, как-то связанные с лесом дела. Они земляки, оба перебрались сюда из-под Рязани — много их у нас тут, бывших рязанских мужиков, пустивших крепкие корни в Подмоскowie.

Замечательная у Григория Кононовича семья: сыновей и дочек не сочтешь, и все похожи один на другого, растут без присмотра — только встанет младенец на ноги и, смотришь, уже бегаёт по улице, пяти лет не пройдет, таскает ведра на коромысле — работающие все, низкорослые, но крепкие, как сам он и его жена Вера. Несколько лет Григорий Кононович был на пенсии по инвалидности, лечился после получения в лесу увечья, но все равно детей в семье прибывало из года в год. Двое старших окончили лесной техникум, работают с отцом в леспромхозе, женились, но из дому не ушли — пристроили себе по комнате с одного и другого бока избы, так что она стала раскорякой. Из дому, выйдя замуж, ушла только одна старшая дочь, остальные дети все подряд погодки — кто в школу ходит, кто по улице бегаёт, кто ползает, а самый младший еще не слез с рук матери.

Много лет уже я вижу свою соседку Веру с младенцем на руках. Недавно видел, как она корову доила, не спуская его с рук, а какой он, десятый или пятнадцатый, не знаю, давно уже сбился со счета.

Сегодня, зайдя к Вере за молоком, я застал дома Григория Кононовича, и оба глаза прятали друг от друга — сложные у нас с ним отношения. Тут и общий забор, о котором уже пора бы договориться, тут и дрова, на которые Григорий Кононович давно взял у меня задаток, но все не везет, хотя распутица уже на носу. Мне неприятно было напоминать об этом, тем более что Вера предупреждала, чтобы я не давал ему денег вперед, а он не хотел говорить о дровах при жене, но и промолчать было неловко передо мной. Так мы с ним и юлили глазами в разные стороны, пока Вера не вышла в сени за молоком, и тогда он сказал:

— Насчет дров не беспокойтесь, привезу, но теперь уже, видно, придется, когда дорога подсохнет, — и заговорил о заборе: — Слеги еще годятся, а столбы все гнилые, новые надо ставить.

О столбах-то и идет у нас спор: мне кажется, что они еще могут послужить, если их укоротить, а Григорий Кононович говорит:

— Курам на смех будем укорачивать.

Такие солидные, как Григорий Кононович, люди больше всего боятся, чтобы кто-нибудь не посмеялся над их забором или крышей. Еще недавно у нас были и толевые и драночные крыши, теперь же у всех шиферные, а заборы многие уже ставят на бетонных четырехгранных столбах.

Вера, вернувшаяся из сеней с банкой молока и услышавшая наш разговор, сказала с досадой:

— Все о заборе толкуете, а на его месте осины уже частоколом стоят.

Моя вина это — на моем участке вдоль упавшего забора как-то незаметно выросла она в бурьяне и глушит соседскую картошку. А что поделаешь, если какое бы дерево ни выросло на участке, срубить его хозяин не имеет права без особого на то разрешения, хлопотать в котором как-то вроде бы даже неудобно. Вера давно советовала мне потихоньку подрубать корни осин, чтобы они постепенно засыхали, но у меня духа не хватает: взялся было за топор, и руки опустились — хоть всего лишь осина, а все же живое дерево.

Вчера мартовское солнце стало слегка припекать, южные скаты крыш совсем оголились, но на северных снег лежал еще горбом. А сегодня...

Утром, когда я, разбуженный барабанным стуком Попко, оделся и вышел на крыльцо, он был уже на крыше своего дома.

— Го-го-го! — приветствовал он меня со своего поднебесья гусным криком и, как гусь крыльями, похлопывал себя руками по голой груди.

Такой физкультурзарядкой на крыше голый по пояс Попко ежегодно открывает весенний сезон дачных работ.

— Чего глаза таращишь, лопух! — прокричал он мне, берясь за лопату. — Тащи лестницу и лезь скорей на свою крышу, пока она окончательно не сползла тебе на голову.

Во всем, что касается дачного хозяйства, Попко считает своим долгом опекать меня, как маленького, и мне волей-неволей приходится мириться с этим — действительно лопух: решил следить за каждым шагом наступающей весны и не заметил, что вместе со снегом с моей крыши сползает и шифер, который продается в строго ограниченном количестве по каким-то спискам, утвержденным поселковым Советом.

— Давай! Давай! — торопил меня Попко, руша с крыши смерзшиеся глыбы снега. — Это тебе не Москва — дворников тут нет, все самому надо делать.

После того, как многолетний плод его литературных стараний был брошен в сарай, Попко в свободное от службы время беспечно вкушает сладость дачной жизни, главный смак которой состоит для него в том, что на даче все надо делать собственными руками.

Очистил он сегодня снег со своей крыши, навалил сугробище, прыгнул в него с лопатой, порезвился в снегу, перебрался на мою крышу, помог по-соседски, а потом, зайдя ко мне домой, бросил взгляд на печку и вздумал заглянуть в печную трубу. Вскочил на стул, открыл дверку, отшатнулся и в ужасе схватился за голову:

— Боже мой! Да как ты еще не сгорел в своей избе? Сажит-то, сажит сколько — бородой висит!

Все сейчас есть в Дубках — электричество, водопровод, кино, — но вот трубочиста никак не найти.

Пожаловался я на это. Попко посмотрел на меня и сокрушенно покачал головой:

— Трубочиста захотел! А еще какого рожна тебе надо? — Спрыгнул со стула и сказал: — Дай во что переодеться.

Хорошо в Дубках иметь такого соседа, как Попко, когсрый один может заменить целый комбинат бытового обслуживания.

Мне тоже хочется уметь все делать дома своими руками — дымоход прочистить, печку переложить, электропроводку сменить, да мало ли еще что нужно, чтобы хотя бы только не сгореть в своем доме. Но, увы, давно живу в Дубках, но печные трубы все еще не научился чистить и не знаю, что бы со мною было, если б не Артем Богданович.

Весна, скоро за моим забором зацветет сад Попко. Я тоже посадил десяток яблонь, еще тогда, когда Попко не было в Дубках, но у него яблони уже сомкнулись кронами, он уже ставит под них подпорки — к концу лета ветви гнутся под тяжестью плодов, не знает, куда девать их, в бочках с соломой мочит, маринует, — а я все еще жду, когда же наконец-то зацветет мой жиденский и чаклый садик. В прошлом году распустилось на одном дереве несколько цветков, завязалось даже одно яблочко — и то радость. Каждый день ходил посмотреть, растет ли. Росло, подавало надежды, начало было розоветь с одного бока, но не созрело: упало наземь, изъеденное червем.

Ходил со мной по моему саду как-то Попко, водил от дерева к дереву и показывал:

— Это надо бы поднять... А это опустить, да теперь уже поздно. Без ума садил, тыкал как попало, тут слишком глубоко, а там слишком мелко. — А под конец утешил: — Ничего, наберутся еще сил и зацветут, только усерднее поливай да вали побольше навоза и торфа.

Сколько уже я перевалил навоза и торфа, а Попко говорит все, что мало. Сегодня вот очистил он дымоход, гору сажки выгреб, вымазался в ней с головы до ног, быстренько умылся, куда-то побежал, но не успел я еще с уборкой управиться, опять ворвался и с порога замахал рукой:

— Давай выгружать, заарканил две машины с торфом, одну жертвую тебе — пользуйся моей добротой и гони шоферу десятку.

Ну как не воспользоваться случаем, если все в Дубках рвут друг у друга изредка таинственно наезжающие откуда-то машины с торфом и говорят, что при нашей почве торф — чистое золото.

Золото, а потаскай-ка его! Самосвалы свалили торф на улице, в наш гиблый проулок завернуть не рискнули: когда снег сойдет, придется перетаскивать на руках. А еще куриный помет привезут из птицевхоза, одну машину Попко, другую мне по его доброте — он уже где-то с кем-то договорился. Опять гони десятку, другую, опять перетаскивай ведрами целую гору. И так каждый год, а ни одного яблочка еще не съел.

9

Два дня дождило, стоял едкий, как дым, туман, вчера выпал первый настоящий, хлесткий дождь, сегодня на прояснившееся с утра небо снова вышло чистое солнце.

Наконец-то и ко мне на участок залетели воробьи. Сначала одна парочка села на сухой, голый куст сирени и запрыгала с ветки на ветку, а потом большая стая опустилась на провода и подняла суматошный гомон. Долго продолжался он: затихнет, как по команде, и снова, как по команде, подымет. Кто у них там дирижер?

По снегу бегут светло-зеленые ледяные ручьи, на взбухших прудах выступила такая же зеленая наледь, и сток полых вод быстро наполняет все наши большие и малые водоемы.

Они появились у нас после того засушливого года, когда единственный в Дубках старый, затянутый ряской пруд был вычерпан до дна и покрылся черными панцирными корками растрескавшейся от жары грязи. Следующим летом началось строительство водопровода, и машинист экскаватора, рывшего траншеи, пошел навстречу домохозяевам, пожелавшим воспользоваться его мощной техникой, чтобы обзавестись у себя на участке собственным прудиком или, сложившись с соседями, превратить в водоем какой-нибудь прилегающий к их владениям овражек, по которому бесполезно стекали весной полые воды. Строительство водопровода затянулось, на дальних улицах и ныне еще не закончено, зато все хозяева, не пожалевшие пятерки или десятки, поливают теперь огороды и сады из своих прудиков, а на больших прудах, омывающих несколько усадебных участков, развелись уже утки, гуси, рыба, и не только мальчишки, но и взрослые дяди сидят теперь у нас на задах своих огородов с удочками в руках, иные даже на специально поставленных для того у самой воды скамеечках.

Да, есть уже у нас водопровод, но летом в пору поливки садов и огородов, особенно когда огурцы цветут, вода из колонок едва течет, и возле них вырастают длинные очереди тележек с трехведерными бидонами. Поэтому-то весной в Дубках все хозяева зорко стерегут бегущие с пригорков ручьи, случается, и перехватывают их один у другого, каж-

дый направляет канавками воду в свой пруд, чтоб наполнился до самого края, а на случай, если потечет через край, роют глубокие, как колодцы, запасные ямы, соединяют их с основным прудом всевозможными водоспусками и водосливами, по которым весенние ручьи низвергаются на стоящими каскадами. Чего только не придумывают у нас хорошие хозяева, чтобы побольше уловить полой воды и удержать ее у себя на участке подольше.

Искусно оборудовал свой пруд Попко. Он у него глубиной метров пять, весь обшит тесом и покрыт деревянным щитом — не пруд, а целое подземное гидротехническое сооружение, из которого воду качает наверх насос с мотором. Но мне больше нравится мой пруд, густо обросший ивами, ольхой и березками, с трехъярусными мостками моей собственной конструкции, поставленными на сваях с таким расчетом, чтоб последний мосток находился как раз над той ямой, где пруд достигает наибольшей глубины. Весной все мое трехъярусное сооружение скрыто под водой, но по мере просыхания пруда мостки поднимаются над его поверхностью один за другим так, что пока пруд не высохнет, я могу спуститься к самой воде и дотянуться до нее ведром, не замочив ног. К сожалению, он очень быстро высыхает до дна, и Попко говорит, что никакого пруда не хватит напоить лес, который я насадил вокруг него. Наверно, он прав, надо бы вырубить вредные для пруда насаждения, но нельзя — порубка не разрешается, да и боюсь, что, если пруд оголится, он будет выглядеть обыкновенной ямой.

Приятно загонять к себе на участок полую воду, когда она начинает скапливаться под снегом и искать сток. Выйдешь в проулок в резиновых сапогах, докопаешься в зернистом, рассыпающемся по лопате снегу до натаившей под ним темной воды и шаг за шагом пробиваешь ей путь в низинку под ивы, где по ту сторону забора ждет ее мой обмелевший за прошлое лето пруд. Вода, смешанная с комками снега, сначала неслышно, крадучись, ползет за тобой, а потом, когда, ковырнув лопатой под забором, откроешь лазейку в пруд, сразу весело зажурчит, побежит все быстрее и быстрее, на ходу набирая силы, чтобы забурлить и запениться водопадом.

Все утро расчищал я путь первому в нашем проулке весеннему ручью, следя, как он подмывает и рушит снег, как набухает, вздымается спертый льдом пруд, и вдруг увидел своего соседа, о котором говорили, что он лежит разбитый параличом и, наверно, уже не подымет. Он стоял, опираясь на палочку, под старой березой — той, что у меня всегда на виду в окне, — и глядел на растущие из ее корня молодые березки, видно, так же как и я на днях, впервые обнаружил их сейчас и никак не поймет, откуда они взялись.

Мы не были с ним знакомы, я видел его только раза два через забор, что-то строившего или перестраивавшего у себя на участке. В прошлом году он поселился с женой напротив меня в старом доме, который долго пустовал. Поселился тихо, как-то незаметно, и до сих пор я ничего не знаю о своих новых соседях, кроме того, что они получили дом по наследству и что он очень старый — возни с ним не оберешься, как сказал мне Николай Петрович, перестилавший у них полы и не преминувший заметить, что делает это только по соседству: мелочная для него работенка.

Какое же это счастье, подумал я, пролежавши зиму больным, встать на ноги, выйти на оседающий под весенним солнцем снег и увидеть у себя на дворе эти милые белые березки, уютно укрытые старыми, развесистыми березами.

Обернувшись, мой неожиданно-негаданно выздоровевший сосед долго смотрел вверх, должно быть, на плывшие по небу облака, а потом, опу-

стив глаза и встретив мой взгляд, молча поклонился, и так низко, что я подумал, не самому ли богу, поднявшему его со смертного одра, поклонился он.

Мы шагнули навстречу друг другу, но нас остановил забор и глубокий снег под ним. Пришлось смущенно развести руками в знак невозможности преодолеть разделявшие нас несколько шагов.

После этого меня весь день не оставляло чувство какого-то праздничного беспокойства, то и дело гнавшее из дому посмотреть, как текут по проулку и улице ручьи, как с часу на час поднимаются пруды, как бугрится и темнеет на их залитой водой поверхности снежная наледь. Вечером я не раз выходил на террасу послушать, как где-то в темноте звонко булькает, льется и, кажется, уже переливается через край вода. И все время передо мной стоял в ватнике и ушанке блаженно-растерянно улыбающийся сосед, с которым я сегодня впервые поздоровался издали.

10

Вода бежит уже не зелеными ручьями, а мутными потоками. На углу нашей улицы она пошла поверху водосливной, проложенной под бетоном и асфальтом трубы, и чтоб ускорить спуск ее, кто-то разбил кирпичный парапет по обе стороны дороги. Однако комья пльвущего снега, сбиваясь в сплошную массу, задерживают течение потока, и в низких местах вода заливаает дворы, подступает к домам. Вооружившись деревянными лопатами, хозяева расчищают ей путь, гонят дальше, к большим прудам. Незачем уже людям рыть канавки для стока воды на свои участки: снега еще много — из него пока выступили одни пригревшиеся на солнце бугорки, — но все единоличные пруды уже наполнились до краев, а у меня еще вчера пруд начал переливаться каскадами по канавкам из одной ямы в другую, обнажая поднявшийся из воды зеленый, в трещинах лед.

Только у одного моего нового соседа, что напротив, пруд до сегодняшнего дня все еще лежал под снегом в пустой, почерневшей по краям яме: вода клокочущим ручьем текла мимо него проулком вдоль забора и разливалась на улице.

Постоял я сегодня у этой забытой хозяином ямы, глядя на нее через забор, и, пожалев соседа, упускающего свое добро, пошел за лопатой и стал прорывать канавку в его пустой пруд.

Вечером, когда я пришел посмотреть, как напсняется соседский пруд, он уже был полон и сам хозяин стоял над ним, опираясь на палочку.

— Так это вы? — заулыбался он мне, показывая на пенящуюся у его ног воду. — А я-то думал: кто же это нам преподнес такой подарок?

На этот раз мы уже вплотную подошли к его невысокому, донизу вылезшему из-под снега заборчику и поздороваться за руку.

— Михаил Прокофьевич Долгушин, — представился он.

— Говорят, тяжело болели? — спросил я.

— Да вот, инсультик изволил хватить, думал, немного уже осталось до семидесяти, не дотяну, но, как видите, выкарабкался, бог даст, и до восьмидесяти дотяну, покопаю еще грядки, — ответил он, посмеиваясь и бодро постукивая палочкой, а потом довольно погладил свои пухлые, как у женщины, щеки и сказал: — Знаете, какое это наслаждение — встать с постели и побриться. За болезнь зарос, как зверь. Сейчас каждый день бреюсь, смотрю на себя в зеркало и не узнаю. На что ни погляжу, все будто впервые вижу.

— Да, мне тоже иногда так кажется, — сказал я.

Мы посмеялись над собой — бывает вот так: доживешь до старости и все будто впервые видишь.

— Как тот шмель, которого я увидел вчера в окне между рамами, — сказал Михаил Прокофьевич. — Гляжу, ползет по стеклу, едва лапками шевеля. Сорвался, упал и опять полез. Раз десять срывался, а все-таки добрался до форточки и вывалился в окно. Искал я его потом под окном, но не нашел — наверно, набрался сил и улетел.

— Да, и мухи уже понемногу оживают. Скоро и лягушки в пруду заквакают, — поделился я своими скромными наблюдениями над природой.

— А вы не знаете, что это за крошечные и такие шустрые паучки бегают по снегу, как на лыжах? — спросил Михаил Прокофьевич.

Пришлось признаться ему, что пока я успел вооружиться только определителем растений, а определителя насекомых никак не могу раздобыть и поэтому что за паучки бегают, как на лыжах, сказать не могу, хотя видел их еще вчера и даже долго разглядывал, сидя на корточках под дубом.

Пока мы так по-соседски, стоя по разные стороны забора, разговаривали, на усыпанный красными ягодами куст шиповника села стайка каких-то довольно крупных и красивых птиц с длинным оперением.

— Смотрите, смотрите! — радостно воскликнул мой сосед. — Какие элегантные, и осанка какая благородная! Что за птицы?

— Не свистель ли? — осторожно высказал я свое предположение.

Слышал я, что есть такая красивая птица, залетающая к нам в Подмоскovie по пути в северные края, но видать еще не видал.

Полюбовались мы этими незнакомцами, посмотрели им вслед, когда они все разом дружно сорвались с куста шиповника, и Михаил Прокофьевич посетовал:

— Семьдесят лет прожил, а вороны от грача, пожалуй, уже не отличу. — Покрутил головой и сказал: — А ведь сельским хозяйством приходилось заниматься.

Завязывался интересный разговор, но его прервал наш поселковый врач Алексеевич, как его все зовут, заглянувший навестить моего соседа.

— Дорогуша мой, жду вас, жду! — закричал он и замахал ему рукой с крыльца.

Веселый, неугомонный человек наш врач, около тридцати лет проработавший на Колыме и в шестьдесят поселившийся в Дубках с молодой, красивой женой и грудным ребенком, который сейчас уже гоняет футбол и сшибает воровьев из рогатки.

Я часто встречаю его на улице, когда он после окончания приема больных в амбулатории бегаёт по вызовам на дом, прыгая в туфлях по снегу или между луж, зимой и летом с непокрытой головой, которая только на висках еще чуть серебрится.

— Если хотите жить, бросайте курить, — при каждой встрече кидает он мне на ходу и тут же, обернувшись, подмигивает, щелкает себя по шее и добавляет: — А рюмашечку-другую, тем более если есть коньячок, не вредно пропустить для здоровья, но — запомните! — обязательно в компании с врачом. — Погрозит пальцем и побежит дальше рысцой.

С обхода больных он обычно возвращается слегка навеселе, а со свадеб и поминок в обнимку с горляющими песни бабами, которые говорят о нем:

— Золотой души человек наш Алексеевич! Хоть ночью позови — не откажет, вскочит с постели и прибежит. Ну, конечно, и от угощения не отказывается, не без этого уж.

Весело справляются в Дубках свадьбы, но и на поминках у нас тоже не грустят.

Небо молочно-голубое, солнце расплывается в тумане мглистым пятном, и необыкновенно тихо вокруг, потому что за ночь полая вода пошла на спад, ручьи замерли в канавах, трубах и прудах.

Сходит последний снег, залежавшийся у меня под забором, где я в прошлом году посадил принесенную из лесу подснежную медуницу. Это был первый цветок, который я той весной увидел в сыром, осиновом с елью лесу. Одиноким лилово-розовым огоньком светился он на плотном настиле только что начавшей просыхать палой листвы, и над ним шумно кружился толстый мохнатый шмель. Мне вздумалось посмотреть, приживется ли этот дикий лесной цветок на усадебном участке. Осторожно вытащил я его с одним еще не распустившимся на стебле бутонем, с длинным разветвленным корешком, облипшим комочками сырой земли, принес домой и посадил у своего забора под осинкой. И он отлично прижился здесь, дня через два и бутон распустился. Потом я забыл о своем подснежнике, а сегодня вспомнил и пошел поглядеть, не зацвел ли.

Удружил мне Григорий Кононович: вчера поздно вечером, а может быть, сегодня спозаранку привез дрова и, ничего не сказав, свалил их с машины через забор как раз в том месте, где я посадил медуницу. Постоянно это: ждешь не дождешься, когда же он наконец привезет дрова, а потом, глядишь, привез уже, не то ночью, не то чуть свет, и в пожарной спешке свалил где попало.

Раздосадованный стоял я у груды березовых бревен, шаря глазами вокруг — не уцелела ли случайно моя медуница? Но нет, палый лист дубов и осин наглухо укрывал землю, ни одного зеленого ростка не видно было.

От погибшей под дровами медуницы мои мысли отвлекли тонкие грязные паутинки, которыми на непросохших еще местах была затянута прошлогодняя пожухшая листва. Такая же паутинка висела и на старом бурьяне, под кустами посаженного вдоль забора шиповника.

Так вот что, подумал я, вспомнив бегавших по снегу паучков. Ох и шустрые же негодяи: не успело солнце растопить снег, земля еще не ожила, а они уже расставили свои ловчие сети.

Тихо так, что я и не услышал, подошел мой новый сосед Михаил Прокофьевич.

— Что это вы тут разглядываете? — спросил он.

Я показал ему на развешанные под кустами паутинки:

— Посмотрите вот, что натворили ваши малютки паучки...

Он посмотрел, ткнул в паутинку палочкой и заулыбался:

— Ах, вот оно что!

Я вспомнил о большом, сграшном пауке, который все прошлое лето просидел на краю моего прудового мостка, как вахтер на посту: вступишь на мосток — мгновенно исчезнет, уйдешь — опять усядется на свое место, и никак не уследишь, куда он пропадает и откуда появляется.

Поговорили мы и о тех пауках и об этих и решили, что если внимательно приглядываться ко всему, то не надо далеко ходить или ездить вокруг света — много интересного можно увидеть и дома у себя под ногами, а затем Михаил Прокофьевич, постучав палкой по бревну, спросил:

— Где вы это достаете такие хорошие березовые дровишки? Гладенькие, ровные, бревно к бревну, как на подбор.

Он, должно быть, и зашел для того, чтобы разведать насчет дров.

— Сосед привозит, — сказал я. — В районе на складе одна осина.

— Да еще сырая, корявая, жена за зиму наплакалась, не горит, — пожаловался он.

— Так договоритесь с моим соседом, Григорием Кононовичем,— посоветовал я.— Никакой возни — сам выпишет на ваше имя в лесничестве, сам привезет и распилит, если захотите.

— Вот это хорошо! — обрадовался Михаил Прокофьевич.— А то сложно здесь, в Дубках, с дровами, машину сам не достанешь.

Посидели мы с ним на бревнах, посетовали на некоторые сложности загородной жизни, потом, вспомнив оборвавшийся у нас вчера разговор, я спросил, где же и когда он руководил сельским хозяйством.

— Да вот почти всю жизнь, с тех пор как мобилизовали с завода в политотдел МТС. Из одной перебросили в другую — и понесло, закружило,— сказал Михаил Прокофьевич и прочертил своей палочкой большой круг, по которому его носило, пока не занесло обратно в Москву, но уже не на свой завод, а в Министерство сельского хозяйства на канцелярскую работу, на которой он еще много лет досиживал до пенсии.

Помотав головой, Михаил Прокофьевич засмеялся и быстро досмеялся до слез. Утерев платком глаза, он начал вспоминать, где же именно и когда, в качестве кого работал, запутался в датах, районах, областях, организациях, много раз менявших свое название, и пожаловался:

— Болезнь память отбила, полный ералаш в башке, все как во сне вспоминаешь.

Подняв голову и посмотрев вокруг, он снова блаженно заулыбался — после болезни все еще, должно быть, не наглядится на мир божий, не нарадуется, что остался жив, и еще, быть может, покопавшись на своем огороδικе, научится, так же как и я, отличать морковь от укропа.

Осенью, поселившись в Дубках, он рьяно взялся за хозяйственную деятельность: дом приводил в порядок, перекапывал задернившийся сад, пока не хватил удар.

— Смотрите, бабочки уже летают, совсем весна,— по-детски обрадовался он, вынул вдруг из кармана ватника несколько где-то сорванных им веточек с семенными сержками ивы, осины, орешника, березы и сказал: — Поставлю в банку с водой на окне и понаблюдаю дома, как деревья в лесу цветут.

Потом мы долго смотрели на возбужденно бегавшего у нас под ногами одинокого муравья и гадали, чего это он так разволновался — пробежит быстро, покрутится на месте туда-сюда, замрет на несколько секунд и снова побежит.

— Загадка эти муравьи,— сказал мой сосед.— Куда ни глянешь — всюду загадка на загадке. Проглядел я в молодости природу. Да и что увидишь из кабинки машины? А вылезешь из нее в колхозе — тут уж вовсе не до природы.

Сидели мы на бревнах у моего пруда на весеннем солнце, которое, выйдя из тумана, приятно пригревало спину, и вспоминали, как ясно все нам было в молодости, как смело, не задумываясь, брались мы за любое дело, ничего не смысля в нем.

— А когда жизнь кое-чему научила, стариками уже стали,— сказал Михаил Прокофьевич и вздохнул: — Долгий век в наше время надо прожить человеку, чтоб набраться ума-разума.

— Долго, очень долго,— охотно согласился я.

За упавшим забором работающая ребятня моего соседа справа, Григория Кононовича, сгребала в кучи и жгла на кострах палые листья, прошлогоднюю картофельную ботву и всякий оставшийся с осени мусор.

Чуть пообсохнет земля — по всему нашему поселку начинают дымиться костры.

Смотрели мы с Михаилом Прокофьевичем, как высоко тут и там звывался и быстро опадал огонь, как тонкой веревочкой вились в возду-

хе голубые дымки медленно тлеющих костров, как ворошили и раздували их соседские ребятишки.

— Ох, как хочется еще пожить! — сказал Михаил Прокофьевич.

— Поживем,— подбодрил я его.

— Только бы войны не было,— вздохнул он.

Сколько лет уже слышишь эти вздохи! Дня не пройдет, чтоб не услышать.

12

Вчера под вечер нагрянул Попко и расшумелся, что весна идет семимильными шагами, а я корплю за столом и ничего не вижу: из птицевхоза куриный навоз привезли к нам, свалили на улице и по ночам соседи, наверно, растаскивают его.

— Давай, давай! — с утра подгонял он меня сегодня по своей неслучайной привычке и от избытка бродящих в нем сил...

Он уже в отпуске. С тех пор, как Попко обзавелся дачей, он всегда приурочивает свой очередной отпуск к сезону весенних садовых работ и, как только запыхает в кострах мусор, незамедлительно является в свою пустую, промерзшую за зиму хормину и всегда с замотанным в мешковину тюком саженцев на плече, которыми ежегодно обновляет сад, и с рюкзаком, набитым пачками нюхательного табака и кусками хозяйственного мыла, чем с некоторых пор многие наши садоводы стали заменять свои химические препараты — и слава тебе богу, а то, бывало, такое благоухание устроят в Дубках, что хоть нос затыкай.

До обеда таскали мы с Попко куриный помет — я ведрами, а он на своей громоздкой двухколесной грузовой тележке. Навалит доверху, впряжется, наляжет грудью и с места в карьер бегом. Не успеешь дотащиться до калитки с ведрами, как он в мокрой, прилипшей к телу майке уже катит назад пустую тележку, утирает с блестящей, как стеклянный шар, головы пот и кричит:

— Давай, давай! Пользуйся случаем согнать животик.

Николай Петрович, выйдя в проулок, стоял, заложив руки в карманы, поглядывал на нас и, конечно же, посмеивался про себя — знаю я, что смешат, ужасно смешат его дачники, тем более полковники, таскающие на себе навоз. Жена его Дуся попроще, она подошла ко мне и тихонько, на ухо спросила:

— Почему брали? — А потом, склонив голову, покачала ее на ладони, как делает, когда у нее зубы заболят: — Ох, как дорого-то, выгоды нет никакой брать.

Обедал я сегодня у Попко — потянул он меня к себе: любит угощать своими соленьями, вареньями и наливками. Сидел я у него на кухне за стаканом яблочного винца домашнего изготовления, а он, хлопоча у газовой плиты, все подливал и подливал мне из огромной бутылки, с трудом вытянутой им из глубокого погреба, и оживленно делился планами своих новых хозяйственных обзаведений, которым все еще конца не видно: прошлым летом возился с погребом, цементировал, чтобы вода весной не заливала, газовую плиту поставил, а сейчас вот задумал водопровод проводить в дом, оборудовать ванную комнату, теплую уборную.

— Не пойму, Артем, к чему тебе все это? — сказал я. — Только свою семейную жизнь разлаживаешь.

Не терпит его жена, музыкантша, дачной жизни, и из-за этого у них летом такие скандалы происходят, что Попко выливает теперь на свою бритую голову еще больше холодной воды, чем это бывало, когда сидел по ночам, строя ныне давно забытый роман.

— С Танькой все кончено, развожусь, опять, пока я был в командировке, свинью подложила мне,— сказал он, вываливая из банки в кастрюлю консервированный борщ.

— А что такое? — спросил я.

— Аборт сделала.

Не первый раз я слышу это. Долго прожил Попко с женой и не жаловался, что у них только одна дочка, а теперь вдруг разохотился — подавай ему во что бы то ни стало сына, но жена не желает больше родить. Из-за этого у них тоже идет война. Попко говорит: «Свинья — в детской школе работает, а детей нисколько не любит. Ей бы только на рояле бренчать». А жена его костит: «Эгоист! Романом своим мучил, а теперь на даче помешался, хочет, чтобы я работу бросила и огурцы солила».

Сам не свой стал Попко, заговорив о неладах с женой. Прокипятив борщ, выставил на стол все свои домашние соленья и маринады, угощал ими:

— Ешь, ешь, а то все попусту пропадает, — а сам только борща немного похлебал и начал голову потирать, тереть ухо, кривиться, морщиться. — Мне бы, знаешь, какую жену? Здоровую, высокую, — заговорил он, снова вдруг оживившись, вскочил, поднял руку над головой и показал: — Вот такую, чтоб дети пошли рослые, не в меня, а в нее.

Очень недоволен Попко своим ростом, говорит: «Мелок я для самого себя». И не потому ли он часто бывает невыносимо шумлив, словно из кожи лезет вон, желая показать, что хоть и мал, да удал. Жена у него тоже маленькая, к тому же худенькая, как девочка.

— Чего же раньше смотрел? — посмеялся я.

— После войны сгоряча, понимаешь, на интеллигентность потянул, — сказал он.

Давно уже я знаю Попко, а все никак не привыкну к его странностям.

Пошел он сегодня после обеда проводить меня, вышел в проулок, увидел на обочине шлаковой дорожки первый цветок нашей скромной мать-и-мачехи и разохался, вспомнив, как в южной степи роскошно цветут весной тюльпаны:

— Ох, и хорошо же в эту пору у нас в степи! — Стал расписывать тамошние прелести: — Такие травы, что волов не видно — одни рога торчат.

Знал я, что Попко уроженец южных степей и даже потомок каких-то взбунтовавшихся при Екатерине запорожских казаков, что мальчишкой был подпаском у чабана, поучившись в сельскохозяйственном техникуме, целыми днями не слезал с коня, мотался по фермам овцеводческого совхоза — сказочно прекрасными вставали в его воспоминаниях те давние времена, — но как и когда случилось, что он с коня пересел на танк, мне как-то и в голову не приходило спросить его, словно это так и должно было случиться.

Сегодня я спросил, и Попко, откинувшись назад, захохотал:

— А ты что, не знаешь, как у нас в тридцатых годах пересаживали с коней на танки? Вызвали и говорят: «Комсомолец? Кавалерист?.. Ну, так вот — пошлем тебя в танковое училище». И весь разговор. А ты как думал?

Нравились нам все эти мобилизации, призывы, сборы, военная или похожая на нее бездомная жизнь в вечных поездках, скитаниях с места на место — куда бы ни занесло, всюду, сидя на чемодане или на солдатском вещевом мешке, чувствовали себя, как дома.

Два дня на обсохшую уже и кое-где зазеленевшую землю сыпала колкая ледяная крупа, таяла и снова сыпала и сыпала, разводя повсюду мокроту и грязь, однако это нисколько не мешало Попко с утра до ве-

чера возиться в саду. То бегал со стремянкой, садовыми ножницами и пилкой от дерева к дереву, подрезая, округляя и без того круглые кроны своих яблонь, то сваливал под ними кучи торфа и навоза, а между делом заскочит ко мне и прокричит, что если я собираюсь всю весну стучать на машинке, то яблони у меня никогда не зацветут и лучше мне порубить их, оставив в саду одну осину.

И сегодня еще холодно, грязно и так ветрено, что, раскидывая под яблонями вынутую из поддувала печи золу, я всего себя запорошил ею, но небо уже прояснилось, в полдень заблестало солнце. Поглядев в окно, я увидел другого своего соседа, Михаила Прокофьевича, тоже копавшегося в земле, правда, не лопатой, а только палочкой, и не под яблонями, а под старой плакучей березой, покрывшейся уже нежной, молочно-зеленой кисеей. Что он там ищет или что нашел? Наверно, опять какую-нибудь букашку, жучка или личинку. Только выйдет солнце из-за тучи — и он уже с палочкой в руке, медленно, робко ступая, обходит свои владения, посматривает вокруг, заметит на коре дерева или в прошлогодней опавшей листве какую-нибудь букашку и внимательно разглядывает ее, как диковину, — все для него ново, все необыкновенно, чудесно, загадочно и прекрасно в нашем мире. Еще бы! Постоял человек на краю своей могилы, уже заглянул в нее и получил отсрочку. Теперь все для него вокруг сверкает и блещет. Подумал я так, вышел на террасу и услышал глухо доносившийся издали духовой оркестр, игравший что-то траурное.

В городе нынче не увидишь на улице похоронной процессии. В потоке машин промчится небольшой автобус с покойником, и никто не заметит этого — автобус как автобус, ничем не отличается от других, — никто не оглянется, не проводит человека в его последний земной путь ни взглядом, ни мыслью. А у нас в Дубках провожают умерших по старинке. Услышат люди шемящую душу музыку и один за другим выходят из проулков и калиток на улицу, стоят вдоль нее и, поджидая, пока приблизится гроб, спрашивают один у другого, кто же это помер, старый или молодой, знакомый или незнакомый, и, если знакомый, потолкуют о нем.

Везут ли гроб на машине или несут на перекинутых через плечо полотенцах, движется он медленно, так что хватает времени и потолковать об умершем, и подумать, что сам ты не бессмертный.

Когда, услышав похоронную музыку, я вышел на улицу, на углу нашего проулка уже стояли две мои соседки: Вера с очередным младенцем на руках и Дуся с подвязанной, раздувшейся от флюса щекой. Перепрыгнув через канаву, к ним подходила маленькая почтальонша Даша с тяжелой для ее хилых плеч сумкой, которую она носит с удивительной легкостью.

Бабка Даша, как все называют ее, самая старая у нас в поселке почтальонша. Сколько их уже сменилось на почте, и не старых, а молодых: потаскают сумку месяц и отказываются — сил больше нет, — а бабка Даша пенсию уже выслужила, но все еще не сдается, уходя в отпуск, говорит об этом так, словно извиняется, что будет отдыхать положенные ей две недели.

Вытащив из своей туго набитой сумки и подав мне газету, бабка Даша вздохнула:

— Алексеевича-то нашего как жаль. Прямо на ходу свалился человек.

Когда же это — вчера или позавчера? — я видел Алексеевича из окна, бежавшего куда-то, наверно, по вызову, с непокрытой головой под дождем, сыпавшим вперемежку со снежной крупой, и, наверно, уже успевшего перехватить у кого-либо из своих клиентов рюмашечку. дру-
гую. Уж до чего обычное дело: вчера жил человек, сегодня помер, но все

никак не можешь привыкнуть к этому, думаешь: как же это так — вчера ведь еще водку пил человек, хвалился, что бросил курить...

— Говорят,— продолжала словоохотливая бабка Даша,— возвращался Алексеевич с обхода больных, едва до дому добрался и сразу же свалился, а укола некому было сделать — красавица его в Москву укатила, в театр.

— Теперь может гулять,— сказала Вера, сильно, как на качелях, раскачивая на руках раскричавшегося младенца.

— Добилась своего, довела Алексеевича до могилы,— проговорила Дуся, держась за больную щеку, и пошел у них разговор о покойнике, медленно приближавшемся к нашему углу с музыкой и большой толпой провожающих.

— И зачем Алексеевичу было деньги в сберкассу класть на ее имя...

— Говорят, что, когда с Колымы вернулся, четыре тысячи новыми положил, а потом еще сколько-то добавил.

— Уж как старался Алексеевич убогатворить свою красу неписаную!

— Ей только давай, всю Колыму промотает на наряды...

Много лет знал я нашего врача, как-то и за бутылкой коньяка просидели мы с ним вечерок — нет, не жаловался он на свою жизнь и о Колыме вспоминал весело, говорил, что спирта у него там всегда было вдоволь. О жене говорил только, что познакомился с ней в пезде, возвращаясь с Колымы, и что скучно ей в Дубках, он понимает это — молодая еще, жизни не видела, хочет повеселиться, себя показать.

Видел я, как она царственно, ни на кого не глядя, похаживала по улице в длинных качающихся серьгах и узеньких брюках, и может, все, что плетут о ней мои соседки, только от этих модных, раздражающих их брючек.

Проплыл в многолюдной, движущейся по улице толпе высоко поднятый на машине, обложенный многоцветными венками с черными лентами в открытом гробу наш веселый доктор, оставивший добрую память о себе, прошла за ним, опустив голову, его молодая, недоброй славы жена с десятилетним сыном, и мои примолкшие на минутку соседки снова заговорили с бабкой Дашей, но теперь уже о своих будничных хозяйственных делах.

— Скоро надо коров выводить в стадо, а пастух все еще кобенится,— сказала Вера, вынув из кофточки грудь и сунув ее в ротик ребенка, продолжавшего кричать и так отчаянно вертеться в одеяльце, словно требовал, чтобы его спустили на землю побегать; пройдет месяц — и сам выползет на улицу, пройдет другой — побежит, а у Веры снова начнет расти живот.

Каждый год в эту пору все хозяйки, кто держит коров, собираются у продмага на крыльце договариваться с нашим кривоногим, горбатым пастухом. Нынешней весной уже два раза собирались, но все еще не договорились с ним — ломается, набивает себе цену, отказывается пасти без подпaska, говорит, что против прошлого лета коров опять стало много больше.

Кажется, тысячу раз это повторяется: испугаются бабы, что коров не под силу станет держать, порежут или распродадут их, мало у кого останется, а пройдет немного времени, осмелеют и снова одна за другой приводят телку или корову.

Дуся давно уже не держит коровы — куда ей, вечно больная, в амбулаторию бегаёт чуть ли не каждый день. — но коснулся разговор пастуха — так оживилась, что и про флюс забыла, поругав горбатого за то, что дорого дерет, сказала Вере:

— Петрович мой сомневается, как бы снова с коровой не прижали, а то я бы купила у тебя телку, если надумаешь продавать,

— Погожу пока,— сказала Вера.

— А я думаю, не купить ли мне козочку. Присмотрела одну,— сказала бабка Даша.— С козочкой все же веселее будет.— И вдруг спохватилась:— Ах, что же я заболталась, почта сегодня и без того запоздала,— и побежала бочком, сильно отмахивая одной рукой назад — уравновешивает так тяжесть сгибающей ее сумки.

Подходя к калитке, она на ходу вынимает из сумки газету, если есть письмо, вкладывает его в газету, чтобы не выпало как-нибудь из ящика, не затерялось, не намокло под дождем. Увидит хозяев — обязательно крикнет: «В газетке письмецо вам, не выроните случайно», не увидит сегодня — на второй или третий день, когда увидит, не забудет спросить, вынули ли из ящика письмо.

Бездетная вдова бабка Даша, одна у нее забота — чтоб не обижались люди на почту.

Засмотрелся я, как она шустро бегаёт в резиновых сапогах от калитки к калитке, отмахивая свободной рукой, и, когда обернулся, машина с лежавшим высоко в гробу Алексеевичем, свернув с асфальта на грязную дорогу к кладбищу, уже исчезла из глаз. И музыки не слышно стало, улица опустела. Только Вера с Дусей все еще стояли на углу, ругали пастуха и толковали о сене — где кто косить будет под заборами.

Трава еще чуть кое-где зазеленела, а соседки мои уже делят ее. Хотя у Дуси нет коровы, но на случай, если купит ее, она уже какой год косит, где только можно: и у себя в проулке, и на улице.

В сенокос у нас соседки дерутся из-за подзаборной травы, но до сенокоса еще далеко, и Вера с Дусей, проводив покойника и потолковав о своих хозяйских делах, мирно разошлись: Дуся, пошарив глазами вокруг, как постоянно шарит, словно боится, не потеряла ли что, юркнула к себе в проулок, а Вера с ребенком на руках затопала по асфальту, как солдат, — гул пошел по земле.

Посмотрев вслед одной и другой своей соседке, я подумал: у обеих дети успели уже окончить техникумы, институты, а сами они как были рязанскими бабами, так и остались ими, хотя давно уже живут в пригородном дачном поселке — вот уж где воистину деревня с городом перемешалась, так это у нас в Дубках.

14

Видел я вчера с террасы, как Дуся, идя со станции проулком, прижималась одним боком вплотную к забору. Чего это она? — подумал я, а потом заметил белевший у нее в руке узелок, вспомнил, что сегодня пасха, и понял: из города вернулась с освященным в церкви куличом в чистом белом платочке и прячет его от чужих глаз. Кажется, могла бы кулич и в сумке пронести или завернуть в газету, но, наверно, боится бога обидеть. И бога страшно, и людей тоже — как бы не пошли разговоры, что муж — боец противопожарной охраны, на службу ездит в форменной фуражке, а дома ест освященные в церкви куличи. Может быть, и за дочь свою боится — ту, что приезжает из Москвы с мужем в собственной машине.

Пугливый человек Дуся. Давно уже у нас перед пасхой куличи продаются в продмаге и все старухи возят их из магазинов в район святить в церкви, а она все еще опасается, не вышло бы из этого чего, как с коровой бывало.

Громче всех праздновала вчера пасху продавщица продмага, веселая толстушка Фрося, про которую говорили, что с тех пор, как она встала за прилавок, жизнь в Дубках веселее пошла. Уж очень приятно улы-

балась Фрося всем покупателям подряд, как хозяйка долгожданным гостям, для каждого у нее была припасена особая шуточка, от которой очередь, какой бы длинной ни была, покатывалась от хохота, а если в магазине была дешевая и не слишком соленая селедка, непременно рекомендовала всем взять ее побольше, пока всю не разобрали, и при этом так расхваливала ее, что стоишь и все время улыбаешься, а когда подойдет твоя очередь, забываешь, за чем пришел, и уходишь с одной селедкой, продолжая улыбаться.

Вчера — то ли потому, что близился конец месяца и покупатели дотягивали до полочки, то ли по случаю пасхи, к которой все покупается заранее, — под вечер, когда я зашел в продмаг, ни у прилавка, ни за прилавком никого не было. Фрося в своем рабочем халате стояла посреди магазина, помахивала платочком, поводила грудью и плечами, а потом пошла по кругу, выбивая каблуками дробь. Несколько застрявших в магазине гуляк, стоявших под горой сложенных у стены ящиков с пустыми бутылками, хлопали ей в такт руками. А зимний — до выводки коров в стадо — завсегдашней продмага горбатый пастух, который постоянно состоял у Фроси на подхвате, если понадобится комиссионное мясо нарубить или перетащить из кладовки к прилавку какую-нибудь тяжесть, пошел за ней вприсядку. Чего только он не выделял своими кривыми ногами на радости, что наконец-то бабы, честившие его горбатым чертом за новые, поставленные им условия пастьбы скота, пошли на попятную.

В магазин заходили люди, скупивались у дверей, хлопали в ладоши, криком поддавали Фросе жару, и она, тряся своими телесами, все громче била каблуками пол, а горбун все быстрее вился чертом у ее ног.

Такой гуляк-пасхи, чтобы в магазине люди не в очереди стояли, а плясали, я еще не видывал в Дубках и ждал, чем же это кончится. А кончилось это гем, что Фрося вдруг грохнулась и растянулась на полу, люди кинулись подымать ее, и как раз в этот момент из района примчалась милицейская, всегда удивительно вовремя поспевающая машина, в магазин решительным шагом вошли два милиционера, старшина с сержантом, и мрачно проследовавший за ними гражданин с портфелем объявил, что магазин закрывается на учет.

Часто закрываются у нас магазины на учет — и продовольственный, и промтоварный, и хозяйственный, — бывает, что надолго, и тогда продавцы обычно меняются. Фрося торговала всю зиму, и только пасха подвела ее.

Выйдя на улицу, люди толпились у синей милицейской машины, пока старшина с сержантом, выведя под руки едва державшуюся на ногах Фросю, не посадили ее в закрытый кузов. Хлопнула дверка, машина умчалась, но толпа еще долго не расходилась: люди жалели Фросю — другой такой веселой продавщицы не будет — и досадовали, что продмаг теперь не скоро откроется: придется проводить полную ревизию.

Николая Петровича вчера не видно было — праздновал пасху, не выходя из дому, — и я слышал только, как он дважды громко выпроваживал упиравшуюся Дусю в магазин. Сегодня Николай Петрович прошагал проулком перед моим окном с двумя висевшими на плечах оконными рамами, с топором за поясом и рубанком в руках — пришла пора открывать строительный сезон. До пасхи он работал у себя в сарайчике, где у него стоит верстак — заготавливал рамы, двери, косяки для какого-то привередливого заказчика, который в прошлом году разругался с плотниками, поставившими ему сруб, и теперь никого не хочет знать, кроме Николая Петровича. Завидная слава, да спрос на плотников в Дубках уже не тот, что был, когда улицы росли здесь, как грибы. Все застроено, остаются одни достройки и перестройки. Не потому ли мой

сосед, как я слышал, собирается скоро перейти из заводской противопожарной охраны, где он только три ночи в неделю дежурит, на производство в столярный цех? А может, и потому, что до пенсии осталось немного и, следовательно, мало интересовавшая раньше такого мастера, как он, зарплата теперь приобретает и для него существенное значение. Все, наверное, учитывает Николай Петрович.

Приходит весна, и обязательно появляется масса всяких неожиданных и неотложных нужд. Не будешь же сидеть дома сложа руки, когда с потолка польет на голову или вдруг обнаружишь, что фундамент за зиму треснул и вода из канавы ручьем хлещет в подпол. А то по случаю хорошей погоды приспичит вдруг что-нибудь покрасить или побелить, чтобы дом посвежее выглядел. А таких вещей, как цемент, толь, краски, в нашем хозяйственном магазине не держат — там все полки до потолка заставлены одной стеклянной посудой, преимущественно рюмками, стопками, стаканами и графинами разной емкости. Покрутишься в магазине и побежишь к завхозу районной больницы Серафиму Павловичу Белкину, у которого если сегодня чего-нибудь не найдешь, то он рассыплется в любезностях и завтра сам принесет на дом все, что тебе надо, и еще что-нибудь вовсе ненужное, что тоже возьмешь за его любезность — исключительно услужливый и шустрый старичок с розовой лисьей мордочкой, ну прямо как из Мюра и Мерилиза. Не люблю я его, но что поделаешь, если есть еще дыры, которые без него не заткнуть.

Как-то потребовались мне четыре трехметровые доски, чтобы заменить на террасе подгнившие половицы, а Серафим Павлович незадолго до того привез откуда-то целую машину старых толстых половых досок, хотя и трухлявых в торцах, но в середке еще крепких, так что трехметровые из них можно было выкроить. Пошел к нему, и он живо отобрал из штабеля четыре самых гнилых доски.

— Вам ведь все равно обрезать. — И в тот же день притащил их мне на тележке.

— Сколько с меня? — спросил я.

— Сколько не жалко, столько и давайте, но учтите, что поехали бы в город на склад, так еще неизвестно, есть ли там что. Может, и нет, а если есть, то полдня машину бы искали и шофер меньше чем за десятку не повез, а я вам на дом доставил.

Как не учесть всего этого, живя за городом!

Сегодня мне до зарезу надо было достать ведро цемента для заделки щелей в фундаменте и хотя бы кусок толя или пергамента, чтобы временно заменить им сползший со снегом с крыши террасы и разбившийся лист шифера.

Подходя к домам Белкина (их у него два — старый и новый, оба большие, с летними мезонинами, хотя жильцов всего трое — он со старухой да племянница), я услышал, что на дворе кто-то воев протяжно и тоскливо, как волк в ночи. Я подумал, что с собакой у Белкина что-то случилось, но это не собака выла, а он сам, сидя на бревне и обхватив голову руками.

— Что стряслось, Серафим Павлович? — спросил я, осторожно тронув его за плечо.

Он поднял встрепанную голову, посмотрел на меня мокрыми от слез глазами и взвыл так громко и на такой пронзительной ноте, что я невольно схватился за уши. Из старого дома вышла его хозяйка.

— Брось, Серафим, убиваться из-за этого проклятого дома — продадим на снос, — сказала она, а потом объяснила мне, что какое-то начальство из района только что было и велело рушить новый дом, потому что разрешение на постройку его, полученное в районе, отменено областью как незаконное. — Три дня поили и кормили техника с начальни-

ком, сколько водки выхлестали, а теперь говорят — незаконно! — возмущалась старуха. — И все из-за племянницы-суки, получила в городе комнату, съехала от нас и написала в область, что дом на ее имя незаконно поставили.

Слышал я, что ссорятся они с племянницей из-за нового дома, и вот как это обернулось.

Разговаривать с Белкиным было невозможно: затихнет и сейчас же снова схватится за голову и завоет во весь голос. Посмотрел я на его новый, обреченный на сломку дом, стоящий впритык к старому, и ушел в горестном раздумье: что же делать — ждать, пока Серафим Павлович придет в себя и снова откроет свою лавочку, или ехать за цементом и толем в Москву?

15

На днях топтался я у пожарного сарая, куда хозяева вели на прививку отчаянно мычавший и упирившийся скот, и посматривал, как Вера, схватив за рога свою взбунтовавшуюся кормилицу, крутила и задирала ей морду, в то время как иные, и не слабые мужики, бессильно волочились за рвавшимися с поводков коровами.

— Наблюдаете за жизнью? — с улыбочкой спросил меня Пантелей Кузьмич, выглянувший из своей затхлой, закопченной конуры при жарном сарае покурить на свежем воздухе, а затем, с церемонным поклоном пожав мне руку, сказал: — Помнится, было у вас намерение составить мне компанию на рыбалку. Может, сходим, поудим на Гремучем наших дубковских доморощенных бычков? Очень приятное кушанье в жареном виде, тем более если захватить с собой четвертиночку. Обожаю.

Как известно, бычки — рыба морская, в Москве ее можно достать только маринованную в томате, а у нас с тех пор, как появились пруды, этой рыбы развелось множество. Прославились Дубки своими доморощенными бычками — откуда только не ездят к нам автобусом и поездом рыболовы. Говорят, что за бычков нам нужно благодарить какого-то жезайственного монаха одного из соседних монастырей — он будто бы завез их в незапамятные времена с Азовского моря в свой монастырский пруд, откуда они уже как-то перекочевали в наши пруды.

Куда только не ездил я рыбу ловить, на самолетах летал в далекие, дикие места, а на своих прудах все не находил времени закинуть удочку. Так всегда, наверно, бывает, таковы уж по природе своей рыболовы — все ищут, куда бы заехать подальше, с той лишь разницей, что одни сюда ездят, а другие отсюда.

Договорились мы тогда у пожарного сарая, что Пантелей Кузьмич зайдет за мной в воскресенье пораньше, и сегодня утром он явился ко мне с удочками, с закопченным дочерна котелком и с закинутым за плечо одноствольным ружьишкой, как всегда туго подпоясанный по своей драной стеганке тонким, как веревочка, ремешком, чисто выбритый, с маленькими рыжеватыми, аккуратно подстриженными усиками под носом, которых я раньше не замечал у него.

— А ружье зачем? — спросил я.

— На обратном пути, может быть, постоим с вами на вечерней зорьке. Самое время сейчас вальдшнепу потянуть, — сказал он и посмотрел на мою верхнюю книжную полку, в тот угол ее, где стоит прочитанный им за зиму от корки до корки четырехтомник Аксакова. — Помните, как наш уважаемый Сергей Тимофеевич писал: нет более благородной и увлекательной ружейной охоты, чем охота на вальдшнепа. — Потом перевел взгляд на мое висевшее на стене ружье и спросил: — Извиняюсь, а вам приходилось стрелять по этой редкой в наших местах птице?

— К сожалению, пока еще не приходилось, — сказал я, снимая ружье.

Я обзавелся им около двадцати лет назад, как только поселился в Дубках, и с тех пор каждую весну снимаю его со стены, старательно протираю, чищу, смазываю и, заткнув стволы паклей, чтоб не запылились, снова вешаю на место в надежде, что когда-нибудь же подвернется случай пострелять, но такой случай все не подвертывается. А вот сегодня подвернется, подумал я, вынимая паклю из стволов своей бельгийской бескурковки.

— Дорогая штучка, — заметил Пантелей Кузьмич. — Хорошо, наверно, бьет?

— А вот посмотрим, — сказал я, и мы пошли с ним на Гремучий с удочками, с ружьями и всем, что припасли к ухе.

Когда-то Гремучим назывался бивший в лесу под горой родник, а теперь так называется и большой пруд, образовавшийся тут после того, как московские садоводы, проникшие в наши леса и застроившие здесь своими клетушками все косогоры, насыпали дамбу, перегородившую глубокую и длинную лощину, в которую стекает с горы родник.

Летом к Гремучему не протолкнуться: грязные, низкие берега, там, где пруд уходит в заболоченный, поросший мелкоколесьем и кустарником овражек, с раннего утра захватывают садоводы, склонные к рыболовству, а на высоких берегах, под дубами на одной стороне и под сосенками на другой, с утра до вечера кишмя кишат со своими семьями садоводы, предпочитающие отдыхать, загораая на солнце. Весной же, пока те и другие не покладая рук трудятся на своих садовых участках, безлюдно на Гремучем, только в устье затопленного оврага сидят два-три удильщика с длинными удочками, закинутыми в замусоренные заводи среди торчащих тут и там из воды коряг и пеньков.

В этот излюбленный бычками и карасями уголок и пробрались мы по скользким, перекинутым через овражек бревнам с Пантелеем Кузьмичом, украсившим себя по дороге букетиком медуницы и заячьей капусты, который он кокетливо заткнул под свою круглую шапочку.

Лилово-розово-белый букетик над ухом в сочетании с ружьем и коротенькими усиками придал Пантелею Кузьмичу задорно-петушинный вид не то обнищавшего дворянина на охоте, не то старого барского егеря.

— А вы, Пантелей Кузьмич, случайно не дворянского рода? — спросил я полусуто.

Он обернулся и игриво выпятил грудь.

— А что, разве похоже? Есть что-то такое, а?

— Есть, — засмеялся я.

— Кто знает, может, и есть, но, как говорится, покрыто мраком неизвестности, — сказал он с той же игривостью.

Мы перешли по длинной, гнувшейя под ногами доске на островок, заваленный выкорчеванными пнями, сели на них, закинули удочки, несколько минут молча следили за поплавками, а потом Пантелей Кузьмич, подняв голову, спросил:

— Слышите?

По всей лощине вокруг пруда, на обступавших его дубах, елях, соснах, на зазеленевшем уже в овраге ивняке, осиннике и ольховнике пикало, стрекотало, свиристело и высвистывало звонкое весеннее многоголосье слетевшихся сюда птиц.

— Каждая пичуга поет на свой особый лад, а заметьте, одна другой не мешает, — сказал Пантелей Кузьмич.

Долго слушали мы дружно слаженный птичий хор, стараясь различить и узнать отдельные знакомые голоса певцов.

— И заметьте еще, — продолжал Пантелей Кузьмич, — оперится птица, взлетит, запоет и так, как запела, всю жизнь будет петь, а человек очень редко когда поет своим голосом, иной до самой смерти под чужую дуду дудит.

— Это вы о поэтах и музыкантах? — спросил я.

— Вообще о человеке, очень в нем мало самостоятельности, — сказал он и, помолчав, добавил: — Извините меня, не знаю, отчего это идет, но сильна нынче в людях приверженность к моде, не нравится мне это.

Изголодавшаяся за зиму рыба жадно клевала. Мы вытаскивали и безвольно, как мертвые, висящих на крючке черных головастых бычков, и золотистых, трепетно бьющихся карасиков, кидали их в котелок с водой и под неумолчно гремевший хор окружавших нас певцов вели тихий разговор о бесконечном разнообразии природы и о непонятной приверженности людей к господствующим модам.

Блистало в глубокой чаше лошины зеркало пруда, опоясанного влади высокой дамбой, по которой идет дорога с садовых участков к электричке. Когда мы пришли на рыбалку, дорога эта была такой же безлюдной, как и берега пруда. Потом на ней появился быстро шагавший человек с рюкзаком на спине и связкой саженцев на плече.

— Садоводы уже идут, сейчас валом повалят с поезда, — сказал Пантелей Кузьмич, насаживая на крючок крошечного навозного червячка.

И садоводы повалили, сначала реденькой цепочкой, а потом все гуще и гуще, пока не посыпались из-за пригорка, как из торбы, один нагруженный тяжелей другого — с ведрами, чемоданами, заплечными мешками и теми самыми модными сумками, которые и в Москве пешеходы таскают за собой на двух игрушечных колесиках.

От Москвы до Дубков полтора часа езды на поезде, от платформы электрички до дальних садовых участков километра четыре — почти полдня уходит у садоводов на дорогу, но это их не пугает: хоть несколько часов, а все же покопаются в своих садиках. Не пугает и грязь, по которой приходится хлюпать лесом ранней весной, — после того, как земля оттает, не пропустят ни одного выходного дня, пусть даже дождь льет, все равно садоводы идут и идут цепочкой, с одного лесного пригорка переваливая на другой.

Поговорили мы с Пантелеем Кузьмичом о садоводах, как много их стало, какое оживление бывает у нас на платформе электрички и в пору весенних работ, и в пору сбора плодов и ягод.

— Звали они меня сторожить зимой свои участки, — сказал он, — солидные деньги предлагали, но я поостерегся.

— Чего? — спросил я.

— Будто и дела-то всего — живи и посматривай, чтоб домишки их не растащили, но не в моем это характере одному всю зиму прожить, не видя человека. Рекс хоть и умная, благородной крови собака, но разговаривать ее никак не научишь, а в поселке то клиент заглянет, принесет починить сапоги или валенки подшить, то сам выйдешь на улицу, встретишь кого-нибудь и поговоришь, — сказал Пантелей Кузьмич и после этого надолго замолк.

Прошли садоводы со всех утренних поездов, их растянувшиеся по дамбе цепочки с часу на час становились все более редкими и короткими, пока совсем не оборвались после того, как два отставших пешехода долго, с частыми остановками забирававшихся с дамбы на гору, наконец осилили ее и скрылись с горбами своей нелегкой поклажи на спинах в окаймляющем гору лесу.

К тому времени у нас с Пантелеем Кузьмичом уже плавало в котелке десятка три мелких бычков и карасиков, так что можно было поду-

мать и об ухе. Известно, какой это сложный священнодейственный процесс, какое колдовство начинается, когда за приготовление ухи берутся, по своим особым и каждого способом, такие специалисты этого дела, как рыболовы, — непостижимы их кулинарные тайны для непосвященных. У Пантелея Кузьмича все это оказалось несравненно проще. Пока я разжигал костер на окруженной дубами поляне, он слил сквозь пальцы прудовую воду из котелка с рыбой, наполнил его ключевой водой, кинул щепотку соли и подвесил котелок над костром.

— Чего тут возиться? Был бы аппетит, — сказал он и, закурив, сел у костра, по-турецки поджав ноги.

Не склонен Пантелей Кузьмич утруждать себя приготовлением пищи — не стоящая внимания мелочь это для него.

— Создаем себе разные материальные потребности и сами становимся рабами их, — обронил он как бы между прочим, поглаживая двумя пальцами свои рыжеватые усики, похожие на севшую ему под нос крохотную бабочку.

Незавидная щетинка, а ведь какое благородство придает она всему облику Пантелея Кузьмича.

К сожалению, букетик медуницы и заячьей капусты, сунутый им под свою шапочку, уже завял и жалостливо свисал с уха.

В ожидании незатейливо состряпанной ухи из неочищенных мелких рыбешек мы переговорили о многих высоких материях, на которые Пантелей Кузьмич умеет перевести любой разговор. Очень огорчает его, что у нас в Дубках на первом месте у большинства людей пока все еще стоят не духовные потребности, а материальные. Осуждает он за это, в частности, и наших садоводов:

— В такую даль все на себе таскают с горы на гору, а из-за чего? Все из-за того, извините меня за выражение, что никак не могут улучшить свою утробу. А много ли человеку надо, если не допускать излишеств в пище?

Заговорив об этом, Пантелей Кузьмич стал приводить в пример древних христиан, убивавших свою плоть в иудейских пустынях, индусов, китайцев, ссылаясь и на Толстого, а после ухи и того, без чего уха на рыбалке не обходится, разгорячившись, стал ссылаться и на самого себя, так что можно было подумать, что он ограничивает свои материальные потребности не по необходимости, а из принципиальных соображений.

Удивил меня сегодня Пантелей Кузьмич, с любопытством слушал я его и думал: где и когда он всего этого набрался и что скрывается «во мраке неизвестности», который он напускает на свое прошлое? И вдруг он словно прочел мои мысли. Когда мы покончили с ухой и вытянули из горлышка бутылки все до доньшка, Пантелей Кузьмич, посмотрев на меня сильно повеселевшими глазами, сказал:

— Вот вы заметили во мне кое-что такое и поинтересовались, не дворянского ли я происхождения, а между прочим, ничего такого во мне нет — никакой связи с деревней не имел, не только с помещиками, но и с мужиками не водился: до тридцать третьего года на заводе работал у станка.

— А потом? — спросил я, обрадовавшись, что теперь-то можно будет подступиться к его загадочному прошлому.

— А потом вот, — ответил он, выкинув вперед свою изуродованную, со скрюченными пальцами руку. — Производственная травма.

— На инвалидность перешли?

— Следовало бы, да сглупил. Предложили заведовать складом — я и пошел, не научен еще был.

Вот оно, в чем, оказывается, вся загадка состояла. Незачем было

спрашивать Пантелея Кузьмича, к чему это привело — и так ясно было, а сам он не стал распространяться, сказал только:

— Споткнулся, недоучел, что материально ответственному лицу нельзя полагаться даже на свое начальство, — и заговорил о пенсии: надо бы похлопотать о ней, право имеет, но все никак не соберется в город съездить — не любит просить, доказывать свои права, справки всякие собирать, унижительно кажется это ему.

До вечера просидели мы у Гремучего ключа, и весь день не умолкал вокруг нас разноголосый щебет невидимых в ветвях птиц. Непривычно это после долгой зимы, когда разве что трескотню сорок услышишь — вороны и те, говорят, улетают от нас на зимовку в теплые страны, так непривычно, что головой крутишь и не поймешь, что за переполох, что за веселье, с чего вдруг и откуда налетело к нам столько голосистых птиц, на какой праздник собрались. Нигде у нас весной не услышишь такого птичьего разноголосья, как на Гремучем, словно это не пруд, к тому же довольно грязный, а рай земной и птицы не накричатся, не нарадуются, что добрались до него через моря и горы.

— Неутомимые путешественники, — сказал Пантелей Кузьмич, послушав птичий гомон. — Во все страны света дорога им открыта, полная свобода дана, никаких государственных границ не знают, а все-таки раз здесь родились, здесь и птенцов выводят — великая это сила, против нее не устоишь.

Гладко, плавно течет его речь, когда он пускается в такие философские разговоры, словно книгу читает вслух с выражением и удовольствием, которое сквозит в каждом слове, в каждом повороте головы и движении бровей, — тянет Пантелея Кузьмича в таких случаях на декламацию.

Он говорил о птицах, а я думал о нем и к слову спросил, как же это все-таки случилось, что его собственные дети стали ему чужими.

— На что я им нужен, — сказал он. — Взрослые уже, оперились без меня.

— А где они сейчас?

— Затрудняюсь сказать вам.

— Неужели ничего, ничего не знаете?

— Кое-какие сведения имел, но лучше бы не иметь. Отказались они от меня, а я отказался от них.

Слишком уж легко, равнодушно говорил он об этом — должно быть, из гордости, чтобы я не заподозрил в нем обиды на судьбу.

Пора было идти на тягу: по дамбе уже шли на электричку садоводы. Отработав выходной день на своих участках, они налегке возвращались в Москву, оживленно переговариваясь на ходу.

— Ну что ж, пойдем, зорька обещает быть тихой, может быть, пошастливится на вальдшнепа, — сказал Пантелей Кузьмич, завернув в бумажку отложенных им для Рекса бычков и вскинув ружье на ремень.

Больше часа шли мы с ним лесом, огибая тропинками бесконечные садовые участки, ныряя из одного сырого, со струящейся на дне весенней водой оврага в другой; казалось, что далеко уже ушли в глубь леса — просвета не видно в чаще, — и опять тропинка выводила к изгороди или штакетному заборчику, за которыми, как ульи на пасеке, стояли рядами маленькие разноцветные клетушки в молодых, заваленных кучами торфа садах. (Садоводы сами добывают его в лесу на низких кочковатых полянках и таскают на свои участки мешками и корзинами.)

Солнце уже садилось, когда мы вышли на длинную, поросшую молодняком просеку в редком сыром осиновом лесу, где, как рассказывал мне по дороге Пантелей Кузьмич, когда-то одному нашему охотнику выпало счастье подстрелить вальдшнепа. Самому Пантелею Кузьмичу тако- го счастья еще не выпадало — случилось только раз издали послушать,

как эта прославленная охотниками благородная дичь хоркает и цыркает на тяге, и с тех пор он ходит каждую весну в далекий осинник за садовыми участками. но что-то не везет ему пока на охоте.

Выкурив по сигаретке, мы встали под осинами—я под одной, он под другой, чуть поодаль,— прислонились к стволам их, как полагается, с ружьями наготове, и замерли в ожидании тех сладостных для охотника звуков, которые должны были раздаться в тишине после захода солнца, когда все птицы замолкнут.

Ох уж эти классики, верим мы им, покупаем дорогие ружья, патроны набиваем, а потом сами же смеемся над собой. Давно все птицы замолкли, погасла и тихо светившаяся над просекой зорька, оливковые осины стали черными, но никакого хорканья или цыркканья не слышно было. Правда, когда от холода и сырости меня уже стала пробирать зябкая дрожь, я уловил что-то, как будто похожее на цыркканье. Но, увы, это было не цыркканье, а чирканье... спичек. В темноте вспыхнул огонек, другой, послышался хруст шагов, кто-то подошел к Пантелею Кузьмичу и громко сказал:

— Что же ты, друг сердечный, таракан запечный, на тяге стоишь, а членских взносов в общество охотников и не думаешь платить?

«Вот тебе и на, достоялись мы тут», — испугался я, что сейчас у нас отберут ружья, но все обошлось счастливо. Кто-то еще подошел с огоньком, засмеялся, и начался мирный разговор о том, что хотя вальдшнепы и не тянут, но все же хорошо весной постоять в лесу на тяге, только после этого надо обязательно как следует согреться, а то можно поостыть, с чем нельзя было не согласиться.

Большая компания собралась вокруг нас: один за другим из темноты появлялись на огонек охотники. Приглядываюсь — все знакомые лица. Наверно, не раз видел на улице, в магазине или, может быть, у нашей водопроводной колонки. Много, оказывается, у нас в Дубках охотников и некоторые даже аккуратно, без напоминаний платят членские взносы, как на это намекнули Пантелею Кузьмичу.

16

Цветет уже черемуха, смородина, крыжовник, медленно, листок за листком, и, пока только на отдельных ветках, распускаются вишни, сливы, и на яблонях начинают проклевываться почки.

Утром, когда я разглядывал их и гадал, распустятся ли какие-нибудь цветками или опять все почки дадут только листья, ко мне забежал с ранцевым опрыскивателем на спине Попко.

— Где тебя вчера носило до ночи?.. На тягу ходил?! — Расставил ноги, уперся руками в бока: — Ха-ха! Ну и чудило же ты со своим святым Пантелеем! С таким же успехом мог бы и у себя на участке постоять с ружьем под осинкой. — Потом поковырял ногтем почки на яблонях и обрадовал меня: — Ну, брат, пляши — нынче яблони у тебя зацветут — дождался... Давай, давай, перекапывай, заделывай навоз, опрыскивай, а как зацветут, лей больше воды под них, не жалея свой пруд.

У него сад уже весь перекопан, взбит граблями, как пух, расчесан вдоль и поперек. Сегодня он с утра до вечера опрыскивал его смесью мыльного раствора с нюхательным табаком — только и слышно было: апчи, апчи, апчи.

Куда ни глянешь, всюду идет рабочая горячка. Обихоживая свои собравшиеся наконец зацвести яблони у нашего общего с Григорием Кононовичем забора, загляделся я на его многоголовое семейство. Само-го его не видно было, загулял со вчерашнего дня, а семейство во главе с Верой работало в полном составе, перекапывая свою сплошь унавожен-

ную под картошку усадьбу. Двенадцать лопат насчитал я, действовавших, как одна землеройная машина. Двенадцать ног разом подымались и сгибались в коленях, двенадцать лопат разом врезались в землю, переворачивали пласт, рубили его короткими взмахами, и снова разом подымались и сгибались в коленях двенадцать ног — аж пыль гривкой вставала.

Как под музыку работали, без передышки, не разгибая спин, в одном ряду с хозяйкой все ее чада, взрослые, подростки и дети — не семья, а диво-колхоз, где нет ни одного отстающего, все идут как один, держа равнение на бригадира. Молча движется ряд, только и слышно, как разом смачно хрумкают лопаты, ребром рубя перевернутые с навозом пласты земли.

Окапывая яблони, я невольно вошел в ритм их дружной работы; и быстрые, в лад им, движения моей лопаты, которую Попко наточил мне на днях до сверкающего блеска, привлекли внимание Николая Петровича, возвращавшегося из города после ночного дежурства в военной фуражке. Остановившись у забора, он смотрел на меня с таким любопытством, словно увидел медведя или обезьяну, которая вдруг взялась копать землю.

Прошло уже время, когда копать у себя на огороде или в саду почиталось у нас занятием предосудительным для трудящегося человека, а я вот все еще не могу отделаться от чувства неловкости, когда меня застанут с лопатой в руке.

Всадив ее в землю и утерев локтем катившийся с лица пот, я поздоровался с Николаем Петровичем.

— Трудитесь? — сказал он со снисходительной улыбкой.

— Да, вот немножко.... Надо иногда для разминки.

— Конечно, почему же не побаловаться, если время позволяет, — понимающе обронил Николай Петрович.

Сам он ни в каком случае не возьмется за лопату. Для человека с таким ценным в поселке ремеслом, как у него, это пустое, нестоящее дело — одно баловство. Из уважения к себе он лучше пройдет по улице, заложив руки в карманы.

А Дуся вот, разрывающаяся на части, чтоб поспеть и по домашнему хозяйству, и на огороде, да еще приглядеть за внуком, торопливо пробежав с сумкой в магазин, по старинке кинула мне на ходу:

— Бог вам в помощь.

Муж и жена, а можно подумать, что люди разного имущественного положения — работница и хозяин. Вспомнил я знакомые рязанские деревни — как там мужики-плотники, издавна уходившие на заработки в город, свысока смотрели на своих пахавших землю баб. И тут, в Дубках, они строго блюдут те же дедовские порядки.

...В середине дня Григорий Кононович вышел из дому в исподней рубашке, потягиваясь, почесывая грудь и за спиной, прошелся по участку, постоял, глядя на свой работающий в двенадцать лопат колхоз, протер рукой заспанное лицо, недовольно скривился и пробурчал что-то под нос. Не иначе, как захотел опохмелиться, поискал и ничего не нашел: хозяйка, должно быть, припрятала вчера, чтоб слишком не перебрал.

Слова не сказав, Вера кинула лопату и зашагала своим тяжелым, солдатским шагом в дом: ничего не поделаешь, раз душа хозяина просит, надо ее убагодворить. На этом и держится у них семейный мир и домашнее благополучие.

Попко сегодня опять страшно расстроился. Под вечер пришел ко мне усталый, грустный, притихший, сказал, что спину у него заглохло от работы и потерять ее некому, попросил:

— Потри хоть ты, — и нагнулся, упершись руками в стол.

Потер я ему спину, побряхтел он, поохал, присел на террасе и стал жаловаться, что совсем расклеилась у него семейная жизнь, разные у него с женой интересы: и на даче его Танька не желает жить, и детей больше не хочет рожать, думал уломать ее, две недели как отпуск взял, не показывался в Москве, но на нее это не действует — он живет тут, она там и, видно, не собирается ехать к нему.

— Нет, придется разводиться, — сказал он и долго сидел молча, жалостно потирая опущенную голову, а потом вдруг вскочил и объявил: — Ищи мне скорей невесту, и знаешь какую? Такую, как твоя молочница Верка. Вот это баба, не баба, а танк! Мечта моей жизни.

Наскучило мне его балагурство. Только настроишься серьезно поговорить с ним, и бац — опять пошел выламываться. Раньше он только надо мной потешался, а сейчас вот и над собой начал.

Вывел меня Попко сегодня из себя — подай ему скорее невесту, разводиться будет и сейчас же, как только разведется, немедленно должен жениться. Сначала я посмеялся, а потом разозлился и сказал:

— Знаешь, Артем Богданович, брось ты это, очень уж сильно перебарщиваешь.

Попко пытался еще продолжать в том же духе, но когда я, махнув рукой, отвернулся от него, он притих, несколько минут стоял молча, смотрел поверх забора, разделяющего наши участки, куда-то мимо своей большой, пустой, неизвестно для кого построенной дачи с длинной, во всю стену стеклянной террасой, на которой по вечерам всегда темно, отчего дом, несмотря на старательно возделанный сад и клумбы с цветами, кажется необитаемым.

Посмотрел я на мощные кроны его хорошо укоренившихся яблонь — давно уже они обогнали в росте мои, — и грустно мне стало за Попко: ни к чему ему дача, сад, цветы, попусту тратит время и силы, так же как раньше тратил их на задавшийся ему на горе роман.

— Да, — сказал я, — неладно, Артем, получается у тебя. Ну, чего ты вдруг так вцепился в свою дачу, что семью готов променять на нее?

— И променяю! — Он стукнул кулаком по столу. — Пусть себе живет в Москве, а я найду в Дубках бабу попроще, которая детей будет рожать каждый год.

— И навоз таскать с тобой? — спросил я.

— А почему бы и нет, — сказал он, — если без навоза земля тут ни черта не родит... Ты не смейся, без земли не могу уже. Чуть повеет весной, с ума схожу в городе. Степь начинает сниться, тюльпаны, отары, табуны... Кто виноват, что война все это к дьяволу поломала? Агронома на всю жизнь превратила в танкиста.

Никогда еще Попко не жаловался на это — сегодня впервые, — я спросил его:

— Что это вдруг на тебя нашло?

— А как ты думаешь? Почему я вместо сельскохозяйственной академии попал в бронетанковую? — сказал он. — Потому что, вижу, как ни крути, а все равно воевать придется, мир на волоске висит. А потом, когда кончилась война, — началась международная тягучка, того и гляди снова война разразится. Только бы кончилась, думаю, эта тягучка, как кончится — сейчас же уйду в отставку. А она вот все не кончается, черт ее знает, когда кончится.

До темноты досидели мы с ним на открытой террасе; фонарь уже загорелся на углу проулка, осветив черные скелеты моих стоящих в ряд дубов. Скоро и они зазеленеют, но на нижних ветвях кое-где еще висят прошлогодние очерствевшие листья — держатся на одеревеневших черенках вопреки всем ветрам, которые трепали их зимой.

«Эти старики, может быть, и молодых переживут»,— подумал я. Бывает так. поест шелкопряд всю молодую зелень на дубах, останется только несколько прошлогодних, перезимовавших на деревьях листьев, и висят они, словно вырезанные из меди на веки вечные.

17

Вышел сегодня из дому, зажмурился от слепящего солнца, открыл глаза и увидел совершившееся за ночь чудо: на черной толевой крыше дровяного сарайчика лежала белая ветка яблони. Не один цветок распустился, а целый букет, сразу вся ветка — та, что зимой была погребена на крыше под толстым пластом снега, а потом, когда вышла из-под него, долго сверкала в ледяном, хрустально светившемся колпачке. Каждый раз, идя в сарай за дровами, мне приходилось пригибать под ней голову. Хотел было спилить, да пожалел, и вот она отблагодарила — первая расцвела белыми чашечками перламутровых с розовым налетом нежнейших лепестков, будто из райского сада упала на крышу моего дровяного сарая. И на других ветках уже ясно обозначилось много бутонов.

Я обошел все свои яблони — штрейфлинг, анис, коричные и антоновку,— сомнения больше нет: на всех начинают распускаться цветки. Сколько лет удобрял я свой сад, думал уже, что напрасны все труды, но все-таки хоть и с большим опозданием, но дождался наконец-то.

Хотелось скорее поделиться своей радостью, и я пошел к Попко, но его не оказалось дома: калитка заперта на замок. Куда это он умчался? Не разводиться ли уж? Или свататься? С ума сводит его весна, как мальчишку, а уже под шестьдесят. Сильной породы человек, изрубцевала, искорежила его война, а ему все износа нет.

Михаила Прокофьевича я застал в саду. В пальто и шляпе и не с обыкновенной своей палкой, а с городской, фасонно изогнутой тростью он тоже ходил от яблони к яблоне и разглядывал распускающиеся бутоны.

— Сколько яблочек-то будет, если только мороз не побьет цвет,— сказал он все с той же блаженной улыбкой, которая после болезни не сходит с его широкого, мягкого, как подушка, лица.

Мы походили с ним по его запущенному саду. Осенью Михаил Прокофьевич начал перекапывать его, но не много успел перекопать.

— Вот на этом самом месте хватил меня удар,— показал он, ткнув палкой под старой дуплистой яблоней, где кончалась черная перекопанная земля и начинался зазеленевший уже дерн.

Подошла его маленькая, не по погоде тепло одетая жена, в шерстяном, намотанном вокруг шеи платке, поздоровалась, не улыбувшись, и сказала мужу:

— Ну что ты тут расхаживаешь, когда нам надо ехать.

— Куда?

— Вот тебе и на! Да ты что, забыл уже, что мы к гомеопату собрались?

— А, к гомеопату, верно, верно,— спохватился Михаил Прокофьевич и, обернувшись ко мне, сказал:—С памятью все хуже становится. Ничего уже не помню, а что вспомню, сейчас же забуду.

Не сиделось мне сегодня дома, не работалось — чудесный, пол-летнему теплый день! Шмель шумно, как самолет, ворвался в окно, гонял я его и гонял, размахивая рукописью, но никак не мог выпроводить вон. Спрячется где-то, замрет, а только сядешь за машинку — опять начнет метаться вокруг стола и гудеть над ухом. Вынес машинку на террасу, но и тут беспокойно — трясогозка повадилась бегать по дорожке перед террасой. Взлетит, посидит на заборе и снова суетливо бегаёт туда-сюда.

Всюду какое-то непрестанное беспокойство — мелькание, порхание. Бабочки мечутся, как ошалелые, пчелы отчаянно жужжат — нет, не до работы сегодня.

Походил я по участку, постоял у своего пруда — и здесь такое же суматошное движение множества разных водяных клопов и маленьких черных, блестящих, быстрых, как блохи, жучков, по сравнению с которыми снующие под водой тритоны выглядят сомами.

Потянуло в лес, на озеро посмотреть, а что же там делается. Пошел и на углу нашего проулка встретил Ивана Ивановича, собравшегося на могилы своих сыновей, и провожавшую его на станцию Марию Гавриловну. Всегда Иван Иванович отправляется в эту пору, когда черемуха в самом цвету и яблони начинают расцветать, — и всегда в безоблачно солнечный день, обещающий, что погода будет держаться устойчиво. В ненастье он не поедет, если бы накануне и собирался, — словно на праздник едет и боится, как бы грязь, сырость, дождь не испортили ему поездку.

Сегодня все на нем — шляпа, костюм, ботинки — новое, видно только что купленное, за исключением габардинового пальто, которое служит ему только для этих торжественных поездок и, аккуратно сложенное на согнутой в локте руке шелковой подкладкой наружу, выглядит еще, как новое.

С серым в клетку, подобранным под цвет костюма и шляпы чемоданчиком вышагивал он впереди жены тем особым, мерным шагом, каким ходят на похоронах.

Дуся, пробежавшая с ведрами и коромыслом в руках, почтительно посторонилась перед ним и посмотрела ему вслед. Все у нас в Дубках знают Ивана Ивановича как отца двух погибших на войне сыновей, и хотя в поселке есть немало стариков, оставшихся после войны одиночками, к нему у людей особое внимание и почтение. Он уже давно стал как бы официальным лицом, представляющим всех родителей павших в войну сыновей. Марии Гавриловны это почтение не касается, ее не замечают, словно она при нем сбоку припека.

— А я к вам по пути попрощаться иду, — сказал Иван Иванович и спросил: — Может быть, проводите до станции?

Перед отъездом он заходит ко всем знакомым, к кому по пути, а к кому со специальным визитом, чтоб все было чин чинном, как это полагается, и чтоб напомнить людям о своих сыновьях.

Мы пришли на платформу за полчаса до поезда, сели на скамейку, и Иван Иванович сейчас же вытащил из кармана свои документы и стал проверять, все ли взял с собой, какие могут потребоваться ему в поездке, а им счета нет, потому что, кроме своих документов — паспорта, пенсионного удостоверения, трудовой книжки, характеристики с места последней работы и всех почетных грамот, которыми был награжден когда-либо, — он берет в дорогу и целую пачку справок о своих сыновьях. Конечно, на местах «прописки» сыновьях могил все местное начальство хорошо знает Ивана Ивановича, но может ведь случиться, что кто-нибудь перешел на другую работу, вышел на пенсию или помер — тогда ему придется заново представляться начальству, «а кто же без документов на слово поверит?» — как он сказал мне сегодня на платформе, перебирая свои бумаги.

— Да ты же дома уже тридцать раз все проверял, — сказала Мария Гавриловна со вздохом.

Неприятно ей, а может быть, и неудобно за мужа перед посторонним человеком, но Иван Иванович, полный своих забот, не замечает этого.

— Кому это помешает, если я лишний раз проверю, — сказал он.

Убедившись наконец, что все бумажки с собой, он положил их на место, во внутренний карман, застегнул его на пуговку, одернул пиджак, посидел немного, выпрямив спину, глядя прямо перед собой, а потом снова полез в карман, уже в другой, и вытащил записную книжечку с прикрепленным к ней зажимом карандашиком.

Книжечка эта тоже очень дорогой для Ивана Ивановича документ — в ней адреса всех, кто оказывал ему какую-либо помощь в поисках могил сыновей или когда-либо приютил его у себя на ночь. Во время своих ежегодных поездок он всем им наносит благодарственные визиты так же, как и районному начальству.

Перелистав записную книжечку, Иван Иванович отметил галочками адреса тех, кого он в прошлом году не застал дома и поэтому нынче должен навестить в первую очередь.

— Многим очень обязан я за сочувствие, — сказал он. — Как отца родного встречают, когда приеду.

Кто-то подошел, спросил:

— На могилки едете, Иван Иванович?

— На могилки, — ответил он, встав и поздоровавшись. — Последний раз съезжу, попрощаюсь и посмотрю на новое оформление — старое мне не нравилось.

До подхода поезда Иван Иванович говорил о недостатках прежнего оформления могил, имея в виду памятники, которые после его хлопот недавно заменены новыми, более фундаментальными.

Мария Гавриловна сидела отвернувшись, далекая от всех земных забот, и я думал, как ей, наверно, тяжело все это.

18

— Может быть, пойдем прогуляемся, — предложил мне Михаил Прокофьевич, очень подбодрившийся после того, как побывал у гомеопата, который велел ему принимать каждый час по девять крупинок из десяти коробочек попеременно то из одной, то из другой, а главное, побольше гулять, только потихоньку, чтоб не утомляться.

Один он далеко от дома уходить опасается, а ему хотелось пойти подальше, и мы пошли с ним потихоньку по главной улице поселка, от центра к окраине, где он выходит одним краем в лес, а другим на большое колхозное поле. Улица эта самая старая и когда-то была единственной в Дубках. Помню пустые, с заколоченными досками окнами, дома, заросшие бурьяном дворы, развалившиеся заборы, унылые, засаженные одной картошкой усадебные участки, одинокие, уцелевшие от вырубленной когда-то рощи дубы, которые только одни и оживляли улицу.

А сейчас, хотя здесь живут почти исключительно зимники, эта старая улица мало чем отличается от новых, застроенных дачами. Те же дома, старые избы, что стояли раньше, но как они принарядились за прошедшие годы! Поднимет хозяин избу на кирпичные столбы, покроет шифером, обошьет тесом или разбитыми ящиками из-под мыла, купленными в магазине, покрасит, поставит вместо потолка штакетный заборчик, и дома уже не узнаешь — вот как у Николая Петровича, который как-то незаметно превратил свою избу в нарядную дачу и даже поставил перед ней в палисадничке разноцветные скамеечки, или как тот черный шлаковый домишко с треснувшей стеной, которую хозяин из года в год подмазывал глиной, чтобы совсем не развалилась — теперь, облицованный белым кирпичом с полосками и зигзагами красного, он кажется новее самых новых.

Нынешней весной наш поселок выглядит особенно праздничным — никогда еще так обильно не цвели у нас сады. Сейчас только стало вид-

но, как много насадили их в Дубках за последние годы. Идешь посреди улицы, и по обе стороны ее в белых садах видны одни цветные — зеленые, желтые, голубые — фасады домов, их шиферные крыши с телевизионными антеннами да скворечники на высоких шестах.

Медленно шагали мы с Михаилом Прокофьевичем и часто, то тут, то там, останавливались, поглядывая на что-нибудь. Хорошо весной, когда солнце светит ярко, пройтись вот так, не торопясь и ни о чем не думая — всякую малость замечаешь и все тебя радует.

Села на обочине дороги в траву стайка скворцов, а потом какой-то одинокий скворец спустился и забегал вокруг стайки: с одного бока подскочит, с другого и быстро отскочит назад. Видно, хотелось ему присоединиться к компании, но что-то сдерживало его.

Чужой ли он, другого рода-племени или в ссоре со своими сородичами? Гадали мы и ждали, чем же это кончится. Жалко было его, одинокого, и вдруг, глядим, он уже скачет в общей компании, что-то клюет вместе со всеми. Взлетела стайка, и он с ними улетел. Что же было причиной его робости? Скворечни все ставят, а кто их, скворцов, знает?

Поговорили мы об этом, пошли дальше и увидели воробья, сидевшего на коньке затейливой калитки с резным карнизом и смотревшего вниз на маленькую мохнатую собачонку, которая сердито таякала на него из калитки, а между делом ловила у себя в шерсти блох. А он все смотрел и смотрел на нее, словно оторваться не мог от этого зрелища.

Понаблюдали мы и за этим любопытным воробьем, а потом загляделись на один маленький домик.

Старая улица, кажется, все, все здесь знакомо с давних пор, но этот домик, стоящий в глубине сада за новым забором на бетонных столбах с металлическими шарами наверху, я заметил сегодня впервые, и только благодаря блестящим шарам, которые, наверно, когда-то предназначались для украшения вышедших из моды никелированных кроватей. Домик игрушечно маленький, небесно-голубой, в белом кружеве наличников и карнизов, и к нему от калитки ведет посыпанная красным песком дорожка, обставленная по бокам белыми кирпичами и окаймленная рабатками уже цветущих тюльпанов, нарциссов, примул, маргариток и анютиных глазок, а в стороне от дома, между яблонями — беседка в легком светло-розовом плаще оплетающего ее каприфолия.

Хозяин этого радующего своими красками и цветами домика, увидев, что мы стоим у его калитки, подошел к нам. Это был не кто иной, как дежурный электромонтер Миша, которого мне не раз приходилось вызывать через поселковый Совет, когда пробки перегорали или провод на столбе обрывался.

— Не знал я, Миша, что вы хозяин такого чудесного домика и к тому же еще цветовод, — сказал я.

— Все дело в подборе колеров, а это, знаете ли, большое искусство, — важно заговорил он и сейчас же, покраснев от смущения, замолк.

Много у нас развелось любителей этого искусства, и чем только не украшают они свои дома и усадьбы!

Миша недавно, три или четыре года назад, отбыв военную службу, начал обзаводиться хозяйством — и какие уже успехи! Он странно доволен, что ему удалось устроиться на работу у себя в Дубках.

— А то пришлось бы каждый день таскаться в город на электричке, — говорит он, не мысля себе жизни в городском многолюдье.

А ведь так молод еще — совсем мальчишка, мужичок с ноготок, весь в веснушках.

Пригласив нас зайти к себе, Миша показал свои рабатки, клумбы, каприфолиевую беседку в саду, а затем провел на стеклянную террасу, и там мы остолбенели, увидев настоящую оранжерею с паровым ото-

плением и цветущие на столе огурцы. Длинные плети их с крупными яркими листьями свисали из наклонно поставленных ящиков и тянулись вверх по переплету и стеклу рам к свету, к солнцу множеством своих завивающихся колечками усиков.

Михаил Прокофьевич высмотрел под листьями маленькие огурчики и тотчас размечтался — вот бы и ему, если, конечно, здоровье это позволит, оборудовать у себя на террасе такую славную домашнюю оранжерею.

Протившись с Мишей, поговорили мы с Прокофьевичем и об этом — как бы оранжерею устроить, — а затем, выйдя из Дубков на проселок, который идет к голэ торчащей на бугре деревне Матренки, остановились на краю большого поля дружно идущих в рост озимых.

Я вспомнил узкую стежку в густой высокой ржи, пересекающую все это поле. Когда-то ходил я этой стежкой из Дубков до самых Матренок, и всю дорогу, километра полтора, стеной подымалась рожь, клонившаяся с обеих сторон к моим плечам усатыми колосьями, — хорошо росла она на этом некогда заросшем кустарником и раскорчеванном после войны поле. Потом матренковские колхозники перестали сеять рожь: сначала все поле из года в год засаживали одной картошкой, которая росла все хуже и хуже, а затем много лет подряд упорно сажали одну кукурузу, которая или вовсе не всходила, или, поднявшись на вершок, глохла в бурьяне. А нынче вот, впервые после долгих лет, снова посеяли рожь.

Порадовался я, глядя, как она вольно расстелилась изумрудным ковром от Дубков до Матренок, и сказал Михаилу Прокофьевичу:

— Ну, теперь и наши Матренки будут есть свой хлеб, если только не скосят рожь зеленой на силос или не потравят скоту.

— Как же это можно? — сказал он, высыпая из коробочки на ладонь гомеопатические крупинки, которые ему пришло время пососать.

Я промолчал, чтоб не мешать ему считать высыпанные на ладонь крупинки, а потом, когда Михаил Прокофьевич стал пересчитывать их — не ошибся ли в счете, — я подумал, что сейчас это для него, наверное, гораздо важнее того, скосят ли рожь на зерно или на зеленую массу для скота, как это еще кое-где практикуется. Подумал об этом, вспомнил, что с памятью у него становится все хуже, и мне стало не по себе: а может быть, он уже вообще ничего не помнит, болезнь стерла все прошлое и он, как младенец, живет только одним сегодняшним днем? Размечтался на исходе своих лет об оранжерею и счастлив уже.

Впервые я дал себе волю по случаю весны: хочу — работаю за столом, не хочу — закрываю машинку, берусь за лопату, копаюсь в саду или на огороде, а больше всего таскаю воду из пруда и лью под яблони. Удивительно успокаивающее, освобождающее от всех дум занятие, тем более когда сад в цвету, белый, как спустившееся на землю облако, полный неутомимо трудящихся пчел и кидающихся из стороны в сторону лимонных и черно-оранжевых мотыльков, которые в этом году мне кажутся какими-то особенно нарядными, бросающимися в глаза.

Алчно пьет воду взрыхленная земля. Вылешь под дерево сразу два ведра, и всю лужу мгновенно высосет — останется только влажный след и гладкая сырая вмятинка. Льешь и льешь, ведер двадцать опрокинешь под яблоню, и этого мало: все выпила земля и еще просит. Хочется напоить ее досыта и не жалко своего пруда, но хватит ли его? Опускаясь вниз со ступеньки на ступеньку мостков, пруд все выше поднимает свои крутые берега, осыпанные уже начавшими падать с ив сереж-

ками. Боюсь, что не хватит моего водоема, чтобы утолить жажду впервые зацветших яблонь. Вчера я полил только четыре ближайших к пруду дерева, вылив по тридцать ведер под каждое, и решил, что остальные яблони так щедро поить не придется, но сегодня мне стало жаль их и я продолжал лить по тридцать ведер, а на случай, если ошибся в счете и недодал, добавлял еще два-три ведра, чтоб ни одно дерево не могло пожаловаться, что я его обездолил.

Люблю смотреть, как при обильной поливке земля медленно впитывает пенящуюся в луже воду, а впитав ее всю, оставляет под яблоней плотную, жирную, долго не просыхающую пленку. За этим занятием и застал меня Попко, вернувшись из Москвы, где он пропадавал несколько дней.

— Ну, как дела? Развелся? Женился?— спросил я.

— Уладил,— сказал он, довольно улыбаясь и потягиваясь, как после сладкого сна.— Танька моя пошла на попятный. Во всяком случае я еще раз предупредил ее, что больше аборта не потерплю, пусть зарубит это себе на носу.— Потом посмотрел на лужи под деревьями и, словно в изнеможении, закрыл глаза под лоб.— Да ты что, спятил?

— А что такое?

Он показал на черную, быстро двигавшуюся на нас тучу.

— Сейчас с неба полетит как из ведра, а ты из пруда еще льешь.

И действительно... Вчера два раза громыхнуло, сверкнуло, но тем ранняя майская гроза и ограничилась, словно сил еще не набралась. А сегодня, увлекшись поливкой яблонь, я и не заметил, как она подкралась среди ясного дня. Ни разу не громыхнув, туча вдруг разразилась таким проливным дождем, что, кажется, минуты не прошло, как с водостока захлестало, и сразу забурливший в низинке под забором ручей, ринувшись в пруд, унес с собой огромную кучу прошлогодней листвы, которую я тщательно сгреб со всего участка с хозяйственным намерением употребить на компост для обогащения почвы в саду.

Весь мой труд пропал — напрасно яблони поливал, напрасно листья сгребал,— но зато, пока мы с Попко пережидали у меня на террасе громко, как кнутами, бивший по земле ливень и глядели на водяные пузыри, вскакивавшие и лопавшиеся в затопленном саду, мой наполовину уже вычерпанный пруд вновь наполнился доверху. Так и подмывало разуться и пуститься в пляс босиком под бешено шпарившим дождем, но вот беда — возраст уже не тот, чтоб можно было, забыв о нем, поскакать по лужам, как те пузыри. А Попко все же сунул свою бритую голову под хлещущий водосток и, отскочив, мокрый по плечи, попрыгал и пофыркал от удовольствия.

Дождь уже затихал, когда прямо над нами внезапно ударил и со страшным треском раскатился гром, а потом прошел какой-то мелкий треск, точно в воздухе что-то прыгало и взрывалось по цепочке. Вскоре дождь совсем затих, потянуло гарью и над начавшими уже зеленеть дубами поднялось легкое, как туман, облачко дыма.

— Горит! Пожар! — вскрикнул Попко и, перемахнув через перила террасы, побежал на улицу.

Я кинулся за ним в том возбуждении, которое при крике «пожар» охватывает не только малых, но и старых. В таких случаях всемлагается бежать, кому с ведром, кому с багром, кому с топором, но в спешке все забывают об этом и бегут сломя голову с пустыми руками — только бы успеть поглядеть, как горит, а то, может быть, и тушить уже нечего.

Горел дом на углу, как раз напротив водопроводной колонки, где вечно буксующими на повортке с бетонной дороги на грунтовую машинами вырыта глубокая яма с непросыхающей на дне лужей. У этой

ямы, наполненной сегодняшним ливнем до краев, уже орудовали пожарники, которые, надо отдать им справедливость, молниеносно примчались из города, и не на одной, а на трех новеньких, сверкающих красным лаком машинах. Сначала они пытались пустить воду в размотанный рукав из колонки, но напор в колонке, как назло, ослаб — вода текла тоненькой струйкой,— и, отказавшись от водопровода, пожарникам пришлось обратиться к дождевой луже. Пока начали качать из нее воду, дом горел, как факел, почти бездымно, охваченный высоко вздымавшимся пламенем, и от террасы осталась одна повисшая в воздухе крыша с огненной бахромой по карнизу.

Кто-то из мальчишек, бегавших под стрелявшими сверху искрами, ухватившись одной рукой за свисавший край горящего карниза, из всех сил пытался отодрать его, а другой рукой отчаянно отмахивался от искр, как от пчел. Появившийся тут и успевший уже вооружиться багром Попко, оттолкнув мальчишку, сам стал пробовать свои силушки, и крыша незамедлительно, затрещав, рухнула вниз, обнажив черную, обгоревшую стену сруба с открытой дверью, в которой, как в печи, полыхал огонь.

Не заметно было обычной на пожаре суматохи. Бегали только мальчишки и Попко, мелькавший среди них с багром в руке то тут, то там и растаскивавший с их помощью дощатые, окружавшие дом летние пристройки и сарайчики. Пожарникам, когда они наконец наладили подачу воды из лужи и ближайшего пруда, оставалось только поливать брандспойтами голую, обуглившуюся коробку сруба, за что они и принялись поспешно все разом как раз в тот момент, когда из района прибыл какой-то грузный, едва выбравшийся из машины начальник.

Под перекрестно бившими струями воды сруб пошипел, поклокотал, как самовар, подымился и затих, после чего сбежавшийся на пожар народ потерял к нему интерес и стал посматривать на застывшего, как монумент, начальника и на приехавшую вслед за ним докторшу, которая, выйдя из санитарной машины в белом халате, растерянно остановилась перед лужей.

Погорельцы, успевшие вытащить свое имущество на улицу и свалившие сначала все в одну грудку, теперь неторопливо разбирали, растаскивали и складывали его вдоль забора тремя кучами, из чего можно было заключить, что погорели три семьи — две молодые, с детьми, и старик со старухой, жившие, видимо, отдельно. Постояв возле их уличного табора, я услышал, как маленькая девочка, усевшаяся на горе матрасов и подушек, говорила матери:

— Мама, а Матрешка моя, наверно, сгорела — я ее дома забыла.

— Бог с ней, деточка, купим тебе другую, еще лучше, — пообещала мать, поправляя перед зеркалом растрепавшиеся волосы.

Спокойно и даже с веселым оживлением на лицах располагались погорельцы под забором, словно сейчас должна была приехать машина и перевезти их на новое местожительство. Посмотрел я на них, вспомнил прежних погорельцев — какое это бедствие было пожар — и подумал, пожаб плечами: на что они рассчитывают, где будут жить, почему и молодые и старики такие беззаботные, оживленные?

И вдруг до моего слуха дошел разговор Веры с Дусей, стоявших немного поодаль от погорельцев.

— Посчастливилось людям, — усмешливо хмыкнула Вера.

— Да, надо же было грозе так угадать. Не иначе, как бог послал, — сказала Дуся.

Я подошел к своим всеведущим соседкам и поинтересовался, кому это посчастливилось.

— О погорельцах толкуем,— ответила Вера и объяснила: — Оба молодые хозяина на заводе работают, давно уже квартиру хлопочут в городе, а им все отказывали: не к спеху, мол, свой дом имеете. Теперь уж не имеют права отказать. Как погорельцы в первую очередь получают.

— И страховку уплатят за дом.— добавила Дуся.

— Это само собой,— сказала Вера.— Лес на льготных условиях дадут, и старикам хватит на стройку.

— Пожалуй, покамест молодые квартиру не получают, погодят строиться-то,— заметила осторожная Дуся.

— До осени получают, а раньше не построятся. Сколько годов в тесноте жили, летом могут потерять.

— А как старики построятся, молодым опять же хорошо: летом на дачу будут приезжать.

Все обсудили мои соседки, далеко заглянув вперед, и получилось, что действительно погорельцами в Дубках быть сейчас одно счастье — и квартиру тебе в городе дадут, и дача будет.

Подошел Пантелей Кузьмич. Постукивая своей палочкой с гвоздем, он похаживал возле пожарища, улыбаясь и кланяясь во все стороны, как в праздник около магазина, когда там толкуются люди. Переложив палочку из одной руки в другую, он поздоровался со мной и заговорил:

— Помните наш разговор о пожарной машине? Так все и стоит безвыездно в сарае, а пожарники из города ездят к нам. Написали бы заметочку в газету, протянули бы пожарного министра, а то ведь некрасиво получается с его стороны. Или вот опять же — водопровод есть, колонки стоят, красят их, а воду пожарники качают, извините меня, из лужи. И заметьте, никто внимания не обращает, привыкли уже.

Женский крик прервал наш разговор. Докторша с санитарной машины кричала бежавшему от нее Попко:

— Товарищ полковник, куда вы? Я не отпущу вас без прививки — садитесь сейчас же в машину.

Попко, которого я давно уже упустил из глаз, бежал с забинтованной головой. Я кинулся к нему.

— Что с тобой?

Он схватил меня за руку и потянул за собой:

— Давай скорее, а то эта чертова баба в город увезет колоть от столбняка.

Только после того, как мы с ним скрылись за углом, он объяснил мне, что случилось:

— Понимаешь, доска саданула меня по голове, гвоздем немного царапнула, а какая-то дура с почты вызвала «скорую помощь». Вот эта чертова кукла и прицепилась ко мне.

— А может быть, все-таки нужно сделать прививку? — сказал я.

— Да ты что, совсем уже спятил? Или на войне не был? — Попко вытарашил на меня глаза, а потом испуганно оглянулся и снова потянул за руку, чтобы скрыться от «скорой помощи» куда-нибудь подальше.— Знаю я их, этих баб! Попади им только в руки — всего тебя исколот, а у меня и так живого места не осталось. Хватит, довольно покололи.

На войне самым страшным врагом его была медицина. Бегая из госпиталей, он один раз чуть не убится, когда спускался с третьего этажа на полотенцах.

Все одно к одному, посмеялся я потом про себя: и для Попко вот пожар — счастье, отвел-таки душу, растаскивая с мальчишками горящий

дом. Не был я с ним на фронте, но живо представляю себе, как он воевал. И сейчас еще опомниться не может, во сне кричит: «Дай ему, гаду!.. Еще дай! Давай, давай!.. Ого-го-го! Вот это дал!»

20

Хороша нынче весна — на глазах все жизнью полнится, льется через край, — да уж очень коротка она у нас под Москвой, не успеешь взглядеться на нее, пролетит, как на крыльях.

После недавнего грозового ливня все в садах и на огородах бурно пошло в рост, травяной покров у меня под дубами пышно расцвятился, быстро растущий лупинус, выкинув свои лилово-синие султаны, поднялся чуть не до забора, и медленно зеленевшие дубы как-то вдруг незаметно распушились: еще вчера стояли раздельно, а сегодня все три, сомкнувшись кронами, стоят перед террасой, как дружные, взявшиеся под руку молодцы. Красавцы, а приглядишься — и увидишь, что на них уже появились эти отвратные червячки шелкопряда, которые висят и корчатся на невидимых паутинках, словно десант паразитов, сброшенных на дубы врагом. Ничтожные, крошечные червячки, но их тьма-тьмушая и слышно, как шуршит поедаемая ими листва, кажется, что сыплется какой-то мелкий сухой дождик. Пройдет несколько дней — и если грачи не налетят тучей, как это иногда бывает, и не переключают всех этих парашютистов, то только что распутившиеся дубы снова оголятся и будут стоять, как опаленные огнем, пока червячки шелкопряда не превратятся в молевидных бледно-зеленых, почти белых бабочек, которые, когда тронешь ветку, падают с нее, словно лепестки отцветших яблонь. После этого дубы снова оживут, зазеленеют, но когда-то это будет, не раньше второй половины июня, а сейчас стоишь под дубом, прислушиваешься к зловещему шуршанию листвы и думаешь: жрет ее проклятый, ненасытный червь и, значит, считай, что весна уже кончается.

Да, наступает лето, скоро толкотно и шумно станет в Дубках. Еще вчера в нашем проулке раскатывал на велосипеде один Андрюшка, внук Николая Петровича, — третий год уже ожидает он у деда с бабкой своих укативших куда-то на Север родителей и нынче, пересев с трехколесного на двухколесный, ошалело носится на нем в красном, торчком стоящем колпаке. А сегодня уже не один, а три Андрюшки — повально пошли у нас Андрей — гоняются на велосипедах с диким гиком и визгом перед самым окном у меня. С ужасом думаю, что пройдет еще несколько дней, съедутся все наши московские дачники со своими Андрюшками и Наташками, взявшими моду собираться в нашем проулке со всего поселка, будто нет другого места в Дубках для велосипедных гонок.

А тут еще, как назло мне, завелся по соседству один страшно музыкальный старикашка с трясущейся головой, повадившийся по вечерам пасти в проулке двух коз с запущенным на полный звук транзистором. Усядется у меня под забором, приглядывает за козами, чтоб не забрались в чужой огород, и пока не стемнеет, трясет головой и крутит свою машинку, ловя в эфире душераздирающие джазы.

Многие у нас так привыкли к непрерывно гремящей над ухом музыке, что без нее ни работать, ни есть, а некоторые даже и спать не могут. Но я вот, как ни стараюсь, не могу привыкнуть к этому, и когда наехавшие в Дубки дачники, запустив свои приемники и радиолы, открывают настежь все окна, чтоб и соседи могли послушать, я в тихом бешенстве выскакиваю из-за своего рабочего стола, хватаю машинку и мечусь по комнате, не зная, куда бежать с нею.

Не спасает меня уже мой балаган в дальнем углу участка, где я находил тихое убежище, когда к забору вплотную подступал лес. Дачи

давно уже окружили меня тесным кольцом, и куда бы я ни толкнулся со своей машинкой, радио всюду настигает меня и глушит барабанным боем. Ну, как тут поймашь только что осенившую тебя, но уже успешшую ускользнуть мысль?

Пожаловался я сегодня на это заглянувшему ко мне за книгой Пантелей Кузьмичу.

— Не знаю, что делать, прямо хоть в подпол проводи электричество и залезай туда работать,— сказал я в отчаянии.

— Понимаю вас,— посочувствовал он.— Не предусмотрены у нас в Дубках творческие условия для писателей. Художникам вот хорошо — возьмут свои ящички, складные стульчики и пойдут работать в лес.

— Идея! — обрадовался я.— Почему бы и мне не так? Пишущую машинку можно поставить на пенек.

— Зачем же на пенек? — подумав, сказал Пантелей Кузьмич.— Разве вы не обратили внимания, сколько у нас в лесу брошенных туристами шалашей? Выберите себе любой и сколотите в нем столик. Все-таки удобнее будет.

Действительно, зачем же на пеньке, когда можно в шалаше — молодец Пантелей Кузьмич, отличную идею подал. Так я и решил: найду себе или сам поставлю шалаш в лесу где-нибудь у ручья, чтоб воду с собой не таскать, и буду ходить туда работать, как на службу. Надо только подальше от поселка и садовых участков, в каком-нибудь глухом волчьем овраге, куда ни один музыкант не заберется.

Каждый год бывает так, когда в конце мая с нашей платформы дачники и садоводы повалят по асфальтовой дорожке впритирку друг к другу, как в метро в часы «пик»,—какие только планы не приходят мне тогда в голову насчет того, чтобы укрыться где-нибудь от музыкантов, но, увы, где укроешься от них, если вот пастухи уже ходят пасти скот с транзисторными коробочками в руке.

1968.



ДМИТРИЙ ОСИН

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Когда черемуха отходит,
отходит горечь трудных дней.
И песню раннюю заводит
в кустах продрогших соловей.

И я не знаю, что со мною,
чего хочу и что ишу?
И все, как смолоду,—
весною
мне в жизни снова по плечу:

и подружить, и раздружиться,
уехать в дальние края,
и разлюбить, и так влюбиться,
как не влюблялся в жизни я,

с рук не спускать мальчишку-сына,
бродить, мечтать, работать, жить
и неизбежные простины
хоть на немного отдалить.

В свой срок недолго, ах, недолго
и я здесь пробыл — на земле,
пока весна в оврагах волгла
и терпкий цвет твой млеет во мгле.

Но вот пора моя отходит,
отходит горечь трудных дней.
— Прощай!
И пусть свое заводит
в кустах продрогших соловей.

* * *

Не все дождалось жены встречи;
не все домой пришли отцы.
Земля под мирным солнцем лечит
окопов рваные рубцы.

Листвой оделись земляничной
бугры и склоны, яр лесной;
маня отрадой непривычной,
все слаще дышит летний зной.

И запах терпкий, призабытый
тревожит душу вдруг опять
давнишней болью неизжитой,
что и доньше не унять.

Средь новых дел и новых тягот
сожмется сердце, как тогда,
и дрогнет болью —
словно с ягод
дохнет незримая беда.

И будет россыпь земляники
гореть и в тех грядущих днях,
как письма нетленной книги
о наших грозных временах.

* * *

Приходит срок последним датам.
Стою,
как видно, на краю.
Грядущее!
Твоим солдатом
я был в строю —
всю жизнь свою.

А что мое забудут имя
со всеми прочими, другими,
что не войду в бессмертный ряд —
хоть и винюсь — не виноват.

Я о тебе мечтал все время,
я пред тобою был в долгу.
И пал — в неизвестности, со всеми —
в горячке боя на бегу.

Пусть не остался,
затерялся
мой трудный след среди других.
Но за тебя
и я сражался
на дальних подступах твоих.



АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

★

В СЕМЬЕ

Рассказ

— **В** Сергея Спирина второго внука-то как зовут? — спрашивает старуха.

— Веньку, что ли?

— А? Генка?

— Венька. Вениамин. Тебе зачем он?

— Вениамин-то? Да ни за чем. Я помню, первый у них Костя родился, а этот Вениамин, стало быть.

Она была худа и седа, с усталой мутностью в глазах и сидела, уронив руки в колени. Лицо ее было детски-простодушным, беззащитным.

— Поотстали, мать, намного, — говорит дочь. — Не по нашей, знать, должности в именах-то копать.

Должность старухи была и проста и сложна. Шестьдесят лет матерью и еще сорок из них — тещей. Прошли уже дети и внуки. А теперь ждала правнучку из далекого азиатского города, чтобы полюбоваться на новый побег.

— Брюки-то утюжить сила нужна, — сочувствует она дочери, орудующей утюгом. — Не рукой жми, а плечом налегай, всем грузом дави, чтобы легче! Гладила, бывало, теперь уж сил нет. Отгладилась.

«Силы нет, а все разговариваешь», — думает дочь, ворочая широкой спиной.

— Не брюки это, мать, а юбка.

— Юбка? Это, должно, та, что к покрову шила?

— Не к покрову, а к Октябрьской.

— Ну, ладно, — соглашается старуха и неслышно шевелит губами. После каждой фразы она шевелит ими вхолостую, как парикмахер порожними ножницами.

Ей сегодня заметно легче, потому она и разговорчива. Недавняя тяжесть хвори сегодня отпустила ее. Сейчас ей в радость даже свой голос слышать: он обрел силу и звучность. И говорить хотелось обо всем, что с каждым днем ускользало из ее старческой памяти.

— Сам-то плащ взял или в костюме поехал? — спрашивает она, уже забыв о юбке.

Вчера внучка известила телеграммой: едет с мужем и дочкой в отпуск. Три года — промежуток немалый. Хозяин спозаранку отправился на станцию.

— Да уж в чем поехал, в том и ладно, — отмахивается дочь.

Видно, ей не всегда приходится печься о гладком слове. По хозяйству с утра до вечера, дел невпроворот. Солнце-то бежит без задержки, не ждет. И люди все шевелятся — кто навозец по двору в кучу загреб;

кто в огороде гнет спину; кто на задах мешок травы набрал. Колхоз-то, он тебе по осени картошки к избе телеги три ссыплет — и то хорошо. Двадцать соток усадьбы — земля не бог весть какая великая. А сумей выжать, чтобы к зиме — и капуста, и огурец, и помидор, и лучок, и там иной всякий овощ. Их-то выходить надо и поливом, и прополкой, и той же самой минеральной солью, которую тихим ночным часом не сдрейфь с колхозного загона взять. Она хоть и противна для души, такая работа, а только как воздержись, если подкормку, с вечера привезя, разбросать по посеву не удосужились, и к утру — гляди — от кучи самая малость. Посмотришь, как это у людей все гладко получается, и порешишь в дураках не оставаться. Когда-то там хватятся правленцы: «Подкормку, скажут, растащили». Да ее, может, не растащили, а в дело произвели. Под дождем она долго не продышит. Вот и определилай, каким тут боком дело повернуть. И опять же, не скажут «разворовали», а «растащили» скажут. А тащить и воровать — вроде бы вещи разные. И берешь-то, говоря по правде, часто не из-за алчности, а просто, чтобы простофилей не оказаться. Вот тебе она и усадьба. Коли позаботишься о ней — дышать будет. И на базар после свезешь урожай, и будет тебе на что и хлебца прикупить, и селедочки, и сахару. А завезут колбаску — и ее осилишь. А как же иначе? Таков он, летний день-то.

...Старуха же о зяте печется, пожалуй, не из-за жалости, а скорее по практической сметке: не заболел бы. Хозяин-то к ней не особенно ласков. А если случилось оставаться в доме без дочери, то и скарден, пожалуй. Борщом мясным за обедом подовольствуешься, и то спасибо. А уж насчет говядинки — не прогневайся. Да только и к этому старушечье сердце давно привычно. То есть оно не то чтобы очень уж смирилось, сердце, да только ради дочери чего не стерпишь! А обидой делу не поможешь. При силе была — весь труд на виду: из ее рук и блин, на ее руках и внуки, и подошник, и всякая грядка в огороде... И тогда ни похвал, ни признания не требовалось. А теперь... Она бы хоть и сейчас взялась, да попривал недуг и отпускает лишь на малое время, да и то не для большого развороту.

— У меня от головы отлегло, дочка, — говорит она, пробуя силу в сухих ладонях, — и с дыханием попросторнее. Мне бы чуток окриять, я бы еще за гусятами походила...

— Без тебя управимся. Сиди уж, работница.

— Как это без меня? А я разве лишняя?

— Не лишняя, а слабая.

— Ну, это я вот пока. А отлежусь — еще как встряну. Я во все встряну.

Может быть, она и впрямь верит в свою нужность в хозяйстве. А может быть, для самоутешения говорит эти слова или для самозащиты только.

Ее с утра беспокоит слишком ранний сбор хозяина. До станции два часа езды. В восемь, гляди, на месте будет. Раньше поезд в двенадцать приходил, авось расписание не изменилось. Четыре часа куда-то надо девать. Глотку зальет — костюм колесной мазью разделает. А сказать нельзя. «Без тебя знают».

— Поезд приходит в двенадцать, говоришь, — не выдерживает она. — Можно бы в такую рань и не ехать. Была нужда полдня без дела околичиваться.

— А ты почему знаешь? — Дочь в сердцах брякает утюгом. — Ты что, за людей время размеряешь?..

— Есть захочет — в столовую идти надо. С повозки брезент утащат, веревку какую сопрут...

— Да не сопрут, мать, не сопрут! У всякого свои расчеты... И какое твое дело, ей-богу?! Вот потому-то на тебя и Миша зол, что суешься не в свое дело.

Тяжело ей обидное слушать, да не отбрехнешься.

И вдруг что-то закололо под лопаткой, на голову навалилась тяжесть. Сила пошла на убыль.

Старуха щупает пальцами виски, пробует водить головой, боясь уступить, поддаться темной хвори. Больно уж некстати опять цепенит она тело.

— Что-то, дочка, сомкнуло... Отведи-ка, может, полежу до гостей, окряю...

И опять погружается в безмолвную запечную тишь. За открытым, затянутым марлей окном слышен шелест тополя, где-то по бумажной клейке сухими спинками стучат мухи да рушит избяную древесину жучок.

Старуха вздыхает, поворачивается на бок, и давняя рваная дыра в обоях на стыке бревен очерчивает раскидистое дерево на высоком речном обрыве и дальний берег, покрытый разливом. Оно ей знакомо, это дерево, оно было всегда древним и хозяйски венчало порядок и покой на сельском кладбище. Это было единственное, что древнее старухи и что, должно быть, переживет ее. Да еще речушка, выбегавшая из обширных болот. В летний зной она была тиха и незаметна среди густой осоки и купырьника. Зато по весне половодная ширь ее была видна из окна. Такой помнится и видится ей река с раннего детства, как большая ярмарочная дорога, проторенная для вечного движения. По ней идти и идти бы, пусть по самому окрайку, уступая место всему, что не терпит осторожности и медлительности.

За столь долгую пору хождения по земле ей бы надо нажиться досыта.

В ее жизни не было ни любования, ни сладости. Она все бежала и бежала по неровной комковатой борозде. Бежала без оглядки, все некогда было остановиться, передохнуть, потому что все зачатое ею росло и росло и требовало корма, а она, как скворчиха, все искала в земле без разгибу и ничего не успела увидеть вокруг.

А как же другие? Ведь и всяк так же бежит без передыху. Однако в старости не больно хватаются за жизнь-то. Еще и смерти себе молят. А может, напоказ это только?

Разобраться во всем этом было трудно, а желание жить от таких мыслей не уменьшалось. Старуха стыдилась этого желания и боялась признаться в нем людям, чтобы не обидеть их.

По широкой муравчатой улице двигалась подвода. Серая лошадь добросовестно тянула, упираясь осевшим задом и пособляя головой.

Хозяин и гость шагали по бокам телеги; на возке шевелила вожжами Ольга, а на руках ее покоилось сокровище из четвертого колена.

Зина смотрела в окно, не спешила пока выходить на крыльцо: от туда из-за липок видно плохо. Вот сейчас повернут — тогда уж.

Ну вот, повернули. Зинаида Игнатьевна оправила на себе праздничное и поспешила из горницы...

Под исполинским тополем, у груды старых бревен, на радостях запричитала. Была в ее причитании и материнская радость, и старание расположить и понаравиться, и показать досужей к новостям соседской стороне избыток своего счастья, чтобы злее завидовали.

Она целовала дорогих гостей, неуклюже топчась на холодящей сочной траве, усеянной гусиной зеленью, и все опасалась за зятя, за его не-

привычные к деревенской нечистоте модельные туфли. Обходцем караванчиком по тропке к крыльцу повела приезжих.

— Ну и напасено,— удивлялся зять, глядя на дровяной арсенал.— У вас, мама, топливная проблема...— говорил он, ступая на первую приступку ладного крылечка.

— Все, все сгорит,— окоротила зятя Зинаида Игнатьевна.— Дрова, они и есть дрова.

Задевая тяжелой кладью за косяки дверей, гости заходили в дом, не совсем зная, куда ставить чемоданы и сумки, что говорить и куда проходить самим. Видно, зять вносил основную долю скованности.

Он оглядывал все кухонное и хоть не пристально, и будто без задней мысли, однако чувствовалось — не просто смотрит, а запоминая, приравнивая все к чему-то иному, что, видно, считал тем, как оно должно быть.

А чего уж так и смотреть? Конечно, не городская хоромина с модными предметами, под краску, с блеском. Ну, а по-деревенски, однако, не так уж и плохо: у всех оно так. Конечно, мух многовато. А как же без мухи проживешь в сельской местности, когда и навоз тут же рядом, и всякий корм по двору понасорен? Без мух не обойтись. Стены бревенчатые не поскоблены? Так ведь по весне, к майским дням, только заведено скоблить, а если лишнее что по углам валяется, ну не грязь опять же. А так-то пол помыт и половиками позастелен. И новая клеенка на столе. А самовар! Один самовар чего стоит, почище твоего телевизора. Зинаида Игнатьевна гордилась самоваром с тонким чеканом и множеством медалей. Он чистился у колодезного песочка, протирался, откисал на квашеной мучной гуще и красовался потом на столе, умытый, сияя блескучей медью!

— Самовар! — приветливо улыбнулась Ольга и, сняв с измученной ноги туфли, сунула ноги в просторные веревочного хода шлепанцы.

Это была бабушкина работа. Еще в преднеповскую голодную бескормицу бабушка выкручивалась умением ладить и менять на рынке модную обувку на веревочной подошве за кусок хлеба, за шепоть соли. Ольга знала о том только по рассказам матери и бабушки.

— Проходите, проходите,— суежилась хозяйка, а в душе гомошилось только одно-единственное удивление: «Господи! Да где уж такого подцепила-то?! Знать, похитрее матери удалась, хоть и считалась с дымком-ветерком. Долго искала, да неплохо выбрала. Верно, хоть и постарше и сугуловат-худощав, зато уж сразу видать — благородный. Просторен и покладист».

— Оля, веди! — говорила она, открывая дверь горницы и старательно минуя запечную лежанку, с которой плоской буростью исхоженных пяток проступали старушечьи ноги.

— Бабушка?! — удивилась Ольга.

Она так не ждала сейчас увидеть бабушку, вернее, узнать ее по пяткам, по шиколоткам, видневшимся из-под накрытия!.. Будто воскресло что-то давно не проходившее по реестру вещей, державшихся в памяти. Ведь помнила же все подробности по дому: и сундук у двери на кухне, и посудный шкаф, и рукомойник, и фикус в горнице. Помнила Витькину хромку, всегда стоявшую в спальне рядом со швейной машинкой. Да, все, все. Даже самовар и зеленые шлепанцы не удивили. Они сами по себе были, без бабушки. Но как бабушка из памяти улетучилась — этого в толк взять не могла.

Зинаида Игнатьевна взяла у дочери девочку и повела дорожную чету.

— Ну, вот тут прохладнее, тут у нас повольготнее,— говорила она, а потом, выйдя, посмотрела на дочь из-за двери.— Дал бы бог ладу.

Она захлопотала на кухне, снова обнаружив в убранстве разлад. «Обжились, вросли в деревенскую серость, будто и ладно. А для городского-то...»

Лезли в глаза какие-то нечистые тряпки и лишняя утварь, невесть откуда сваленная на широких скамьях у стола. С черного посудного шкафа свешивались газеты, торчала сапожная щетка, скалка для теста; за кустарным промартельным зеркальцем — опять газеты и старые конверты. Да тут еще дремучей берлогой торчала открытая полость бабкиного лежбища. И все казалось тусклым, темным и возмущало хозяйку. Но она все же была безмерно рада и горда дочерью, и хотелось порадовать, не жалея живота.

Только клейко прилипало к этой радости горе за нескладную судьбу двоих сыновей, от которых ждали многого, а вышло негусто. Вот как бы им в жизнь-то втереться! Чтобы не с бокового хода, а в переднюю бы дверь, цветисто, напоказ, как этот... А то сгнули где-то. Один в партии у геологов ищет что-то, другой в северных морях рыбой промысляет. Конечно, не в колхозе ковыряться. А все же не то. Ну, ничего. Обтрется, обгладится. Дал бы бог ладу. Через зятя и мосток перекинуть можно.

Вошел хозяин с мешком под завязку и, сказав: «Вошину не пережни», — тут же вышел. Зина развязала мешок. Как гигантскую вафельную плиту, осторожно изъяла вошину и, понюхав, положила на сундук. Потом потянулись булки, духовитые и большие, килограмма по три каждая. Штук шесть их было, ржаных и еще немного меньше — белых с курганной фартовой горбушкой. А потом забрякало, затараторило длиннущее монисто баранок. И все легло на стол — внушительно и празднично, поражая светлостью и ярмарочным духом.

— Это, стало быть, ваши Лески, — объявившись вдруг из-за двери, сказал зять. Он был уже в белой шелковой майке, с огромным мягким полотенцем через плечо, с розовой мыльницей в руках. — Прелесть, суший рай, ей-богу. Водички бы...

— Есть, есть... Вот тут все... Можно вон с крыльца, там рукомойник тоже... Платенчик вот сюда! У нас тут не по-городскому. Как умеем...

— Да что вы, что вы!

Зять загремел умывальником, зафыркал в полную свободу, подтверждая плотную прижитость к месту, радуя хозяйку.

— Я ведь деревню, мама, хорошо знаю. Я сам в ней вырос. Давно только... Откровенно говоря, уже и забываться стало.

— Ну, а что ж с того, — поглядывая на булки и уже бодрясь, сказала теща. — И в деревне, поди, кому-то жить надо.

(Булки, булки завалили стол.)

— Оля, она тоже вот...

Зина не договорила, что же она, Оля, «тоже вот». Ей надо было обратиться все же — хорошо ли, что на столе такая хлебная гора? И выходило по быстрому расчету, что не след чураться хлебного избытка. Пусть хоть и перед таким ученым зятем...

— Она ведь, Ольга-то, тоже по релейным линиям каким-то.

Отирая упругое, жилистое тело полотенцем, зять пошел в сенцы, на крыльцо, а Зина, не мешкая, уже запахнула за собой горничную дверь.

— Ну, что он? — зашептала она.

Ольга громко засмеялась:

— Да не мечись ты, не мечись!

За окном — мужской разговор, дядя Миша давал последние распоряжения.

— Шибко не гони! — внушал он соседскому мальчонке. — У Шулкинки поил. Передай конюху!

— Эту реечку в частокол на графскую усадьбу только ставить, — говорил зять, любуясь ровными — одна в одну — тесаными жердочками.

Они с фабричным прилежанием были сложены в штабельки, иные стояли, прислонясь к поленнице грудками. Немало лежало еще в неошкуренном виде. Больше березовые, но попадалась и елочка, и осинка тоже была.

— Да нет, богато выйдет на тын такое ставить, — важно и с легкой обидчивостью возражал дядя Миша. — Грабельки тут у нас в соседнем колхозе наладили. Вот, по договору поставляем...

— Кустарный промысел?

— Он-он. Шибкое дело. Копейка опять же. Обещают свое организовать.

И уже опять зять вошел, свежий и свэйский такой. Полотенце на гвоздик прицепил, еще закинул ладонями волосы назад: поговорить, видать, охота.

— Что-то у нас сегодня этакое хлебное изобилие, — улыбочиво сказал он. Так и сказал — «у нас», будто не только что приехал, а и родился в этом доме. Очень хорошо сказал. — Зачерствеет может.

— Не зачерствеет. У нас не зачерствеет, — уверила хозяйка и, покликнув кур, вытряхнула в окно с большого хлебного блюда прошлодневные остатки.

Постучав подошвами в сенцах, бросив что-то на пол, загремел рукомойником на крыльце дядя Миша. Вошел в избу, топорща мокрые ладони. Теперь он завершил все дела, немалое за полдня сделал. И эти полдня дом без него был, хозяйского голоса не слышал.

— Разложила! — сказал он, обозревая стол, заваленный хлебом. — Будто хорошо!

Но не с особо истовым упреком говорил. Так просто, чтобы поворчать, как принято было. И гордость все же в нем своя жила, щекотала: «Попробуй без мужика-то, развернись!» Видно, понимала это и Зина.

— За вошину-то чем расплатился? — спросила она. И указала на дверь: — Они, что ли, дали?

— Свои, — оттерев руки, сказал хозяин.

— Как свои? Всего десятку брал...

— Ну, брал, брал... Чего тебе?

— Занял небось?

— Да в собесе же! — пальнул дядя Миша, сердясь уже.

— Не кричи, бестолочь! Бабкина пенсия, что ли?

— Ну-ну, пенсия, пенсия!.. Разговору сколько!

— Фу, бирюк! Толку не добьешься! — Зина махнула рукой и понесла четыре буханки на кухню.

А дядя Миша стоял рослый, в синем кстюме и коричневой косоворотке. Он походил сейчас на шеголеватого нижегородского приказчика. Зина любила его таким. Он знал это и, как бы пренебрегая этой своей картинностью, стоял и вахлацки почесывал ляжку.

— Вот тебе и толк, — отрезал он. — К людям иди! Раскухарилась тут!

И пошел в горницу.

* * *

Стол был празднично громоздкий и потому тесен. Женская забота — все на стол поставить, чтобы казался он внушительнее. Огурчик тут и соленый, и свежий, и в иной смешанной пище — тот же огурчик. Пряно парует затушенное мясо с каргофелем. Колбаска копченая.

Колбаска годилась, недаром привезена из города. Далековата колбаска, вилок не достать. Селедочка вот поближе, на зелени маслянится. Мучного тоже предостаточно. И тарелка своя перед каждым, и вилка, и рюмка с золотой опояской, и полотенца по коленям расстелены разные!..

— Не плохо, не плохо живете,— оглядывая по очереди каждого, начал Константин Николаевич.

И всем было радостно послушать образованного зятя. А у тестя глазки загорелись, и опустить их для скромности уже никак не мог, потому что его труд, его забота лежали перед всеми.

— А если в иной час,— вел свое зять,— жалоба прорвется, то, должно быть, оттого, что не совсем ровной шеренгой в наступление идем. Видимо, при быстрой атаке нелегко равнение соблюсти в рядах. Так, папа?

Дядя Миша на войне был, но в атаку ходить не случалось: интендантские заботы донимали. Однако он солидно кивнул головой, явно принимая слова зятя.

Бабушка сидела на диване, тут же, у стола, не особо шевелясь, как бы из опасения разладиться. Подушки буферно охраняли ее с боков и сзади. При чистой белой кофте она не казалась такой уж немощной. Пожалуй, даже державность и живое прозрение источало лицо ее. Только редкие седые прядки кое-где спадали и на белизне кофты казались темными. И оттого, что лицо было свежее, праздничное, угадывалось, каким оно должно было быть давно, в молодости. Она глядела вперед, в стороны — немного. Хозяина видеть шибко не удавалось: он тоже на диване слева сидел. А зять смотрелся весь, и внучка, и дочь Зина. Все ли она слышала? Но городской зять пришелся ей по душе. А когда из громкого разъяснения узнала, что он «деревенских кровей» немного, спросила:

— Большевик, должно?

— Беспартийный, бабушка.

— Ну и зря! — покачала головой старая. — Добрые посты небось ноне не залеживаются. — Пожевав губами, еще сообщила: — Двое в нашей семье не шибко пристроены, внуки мои. Местечко, может, сыщешь? Ребята головастые... — Но ее уже не слушали.

Пора было начинать. Дядя Миша прошелся по рюмкам бутылочным горлышком и наполнил до краев. Две рюмки с горькой стояли тут, у мужчин, две с вином красовались с женского краю.

— Ну! — торжественно сказал дядя Миша.

И все подняли рюмки в ожидании хозяйского тоста.

— Эт чтобы для извечного счастья, чтобы мир да согласие...

Кто знает, может, разговорясь, хозяин и еще сказал бы что. Да тут перебили.

— Ой, подождите-ка! — встрепенулась Ольга. — Костя, чего же ты?..

Она была не ахти какая красивая. Так, с немного вытянутым лицом богородицы, но свежая при своих двадцати восьми годах. Дебелость матери уже проступала в ней.

Сдвинув стул, повела негустой крашеной бровью, пошла к чемодану. И уже было все разгадано... И поставлены рюмки. Ждали.

Серая, в чуть приметную шашечку-квадратинку рассыпчатая материя тужко повисла на ее руке. Ольга слегка секанула ее ребром ладони.

— Тебе, мама.

— Да вы что это надумали? — говорила Зинаида Игнатьевна. — Куда мне такое?!

А уже прикинула и увидела себя в ладной дорогой юбке с коротким разрезом, со складкой. И жакет удлиненный, просторный на гладких плечах.

— Ну, спасибо тебе, доченька, спасибо, зятюшка, Константин Николаевич!..

— Это тебе, папа. От меня. Чешская. Вот, с этим галстуком.— Дочь приложила голубое к сиреневому.— Красотища... А это вот от Кости, на косачей ты просил.

— Эт штука по делу,— сказал отец.— С дребью у нас туговато. Зайчишки в питомнике малость пошаливают. Благодарствую.

— А это вот себе хочу сшить.

Ольга развернула и кинула на плечо что-то нежное, в мудреной расцветке.

— Хорошо?

— Да куда уж! — И, не удержавшись, посмотрела на старую мать.— Вот какие они дела, бабка. Видишь, какое добро нам с тобой.

И получилось после всего, будто малость чего-то не хватило.

— Это нам с тобой, мать,— сказала Зина и, поласкав материю, положила ее на колени матери.

— А где же, Оля, то, бабушкино, в мелкий горошек? — спросил Константин Николаевич.

— Стара. Ничего уж не нужно,— сказал дядя Миша.

— Оно себе. Слава богу! — поглаживая отрез, успокоила всех бабушка. В гуще смешанной семейной радости ее радость, должно быть, была самой емкой, без прихотей, и она благодарила бога, что так щедро наградил он ее великие многолетние ожидания.

— Ну! — еще раз сказал дядя Миша.

Но это «ну» было уже не то. Во-первых, потому, что сказано не внове. А во-вторых, тускловатость была в нем, в этом «ну», какая-то приглашенность, и это заметно было для всех, потому что все были взрослые, с опытными и даже чуткими сердцами. Только включались эти сердца, должно быть, не всегда вовремя.

— Ну! Эт чтобы для счастья, чтобы мир да согласие.

И тут все выпили, закусили и тут же еще наполнили рюмки. Константин Николаевич посмотрел на бабушку, и она смотрела на него, будто что-то доброе приметил в нем, приметил и обрадовалась и была благодарна ему за эту свою радость.

— Бабушке налить бы,— сказал зять, взяв непочатую наливку. Поставил перед бабушкой полную рюмку и виновато улыбнулся ей.

А бабушка сказала:

— Дай бог тебе!..

— Пусть пригубит символически,— сказал Константин Николаевич.

— Отгубилась,— грубовато-сочувственно изрек хозяин.— Годы не те.

— Пусть,— согласилась Зина.

Бабушка дотянулась, потрогала рюмку, скатерть погладила и, опустив в колени руку, сказала опять:

— Дай бог вам счастья!

Потом еще выпили, застучали по тарелкам, зажевали. Говорить стали громче. И пошло, потекло, будто давно уже сидят и не в первый раз.

А из спальни донеслось вдруг такое!.. Точно в отместку за предательскую забывчивость там зачмокало, закряхтело и посыпалось скрипуче-резко, будто канифолью натертое раздражение. Воцарилась тишина.

Ольга взяла на руки затомленную сном малютку и, вынеся в зал, приподняв, показала всем, как будто то был не младенец, только что опрудивший пуховую подушку, а золотой самородок неистощимой ценности.

— Дай-ка поглядеть! — оживилась бабка.

Сжав бархатистые кулачки и различив совсем близко старушечье лицо, существо пустило пузырь. Бабка пощупала ножки, в брюшко слегка потыкала, помяла.

— Хворью какой не мается ли? — сосредоточившись, спросила она.

— Поносики случаются.

— А-а! Поносики! Я и вижу. Дите, он на головку крепок. На сердечко тоже едрен. На кишечки квелый он, на желудочек он слабый. Я, бывало, молочком да угревом больше обхаживала. Маночка ему хороша. Даете маночку-то? То-то!

Она манила правнучку, шевеля двумя корявыми пальцами, забыв о внесенном ею разладе в то, что так складно началось и еще должно продолжаться. Уж не подходила ли та самая минута, на которую надеялась старуха, обещая «поправиться»?

— Тебе с ей мороки много! Оставить бы ее тут. Я вот, может, окрияю и побарую. У меня она небось будет справная. Его, дите, тоже с умом баровать надо...

Ей явно хотелось безраздельно овладеть младенцем. В глазах ее ожил доселе дремавший луч неистребленного призвания. Но слабость придавила его.

— Слаба стала, дочка. Умирать давно пора. А все вот...

— Так вот и живем-маемся, — гудел тесть. — Двигаемся, покуда ноги носят. Она вот с зари до зари охает да ахает. Куда с ней? А поверни на иное — кому нужна? Кто возьмет обузу? А у этой-то у самой через край ползет. Одышка, то да се.

— Жить надо! — щедро советовала Ольга бабушке и косила в окно. Там показалось что-то знакомое: из проезжих ли кто проходил в модном платье или еще что приметилось.

— В нашей жизни умереть нетрудно, — как открытие процитировала она чье-то почти наизусть. — Жизнь прожить — не поле перейти.

— Вот ведь как, — удивлялась бабка.

— Да. Мамаша с научными габаритами не совсем в увязке... — говорил Константин Николаевич. — Взять-то бабушку — не вопрос, — уже перекинулся он мыслью. — Да очень уж не транспортабельна.

— Вот так-то вот, — урезонил тесть.

— Нечего о бабке говорить! — отрезала Зина. — На кладбище и тут места хватит.

— Вишь вот? — опять сказал дядя Миша и, обидевшись, предался задумчивости.

В угрюмо-практической душе его исподволь рождалось доверие к зятю. Прост и надежно стоит. Такого опасаться нечего. Но была и особая зависть, что от себя в этот уровень поставить нечего. Пыли пустить для виду и той не доставало. На сельском миру хоть себя самого старался показать, а тут и это не удавалось. Зять был тонок и остер на слово, а ведь не особо ладен из себя. Ни с Витькой, ни с Игорем не поставишь. Те и косою и топором — и чем хочешь. Связаю в польской загороди вкрутят — любому мужику на удивление. Да только куда его, это связало-то? Всяк норовит — на чистое дело. В инженеры. А им вот не повезло. Может, он и сам виноват, что крут был, что на сельскую колхозную стезю направлял обоих. Считал, что в тракторе вся мужская видность на селе и полезность, как о том газеты пишут. Ан получилось не то. После армии на целине один сезон повкальвали и подались куда-то. А о доме и думать забыли. Хотелось под старость к сынам поближе притереться, а обернулось все иной стороной.

— С землей ноне шутить нельзя,— заговорил дядя Миша.— На ней не всякий работать может. В старину на ней иной сидел — ему податься некуда. Ковыряй знай, а то с голоду подохнешь. И ковырялся.— Он взял беломорину, помял.— Их ведь тоже вот двое у нас, а оба в разброде...

— Оба,— повторил зять, стряхивая с сигареты в пепельницу.

— Как две облигации теперича — чет или нечет. А сердце, поди-ка ты, болит. И поглядел бы глазком. А вот нету.

Он налил две стопки.

— Пишут? — спросил Константин Николаевич.

— Давно уж не слышать.

Сидели и говорили о разном, всяк о своем, цепляясь от одного к другому. И текло время, и вино текло...

— Первоначальная задача — величинное соотношение компонентов,— уже на хорошем взводе втолковывал Константин Николаевич.— Задача, так сказать, количественного порядка. Дело не из легких. Зато правильное решение дает новый материал предопределенных свойств. Качественная сторона дела. Диалектика.

— Говорили об этом и у нас тут,— отзывался дядя Миша.— По газетам тоже. Образцы достигнуть, и больше чтобы. А все туговато. По иной линии скользит, по иной застревает. Таратайку, скажем, двухколесную сработать — это уж нет. Колесиком вот как поприжать! А я бы на ней и атавки приволок, и навозец в огород, и всякое по хозяйству. А вот поди ты! Не учитывают.

— Ну, это — сфера чисто житейской экономики,— сглаживает ученый зять.— Тут свой масштаб, своя сфера приложения.

— Вишь вот? — остается при своем теще.— Вот тебе и образцы. Куда мужику без таратайки-то?

— Мне бы, я говорю, ученому теперь показаться,— о своем толковала бабка.— Он бы сразу отгадал, отчего у меня в голове такая ералаш деется.

— Да погоди ты с ученым,— машет рукой хозяин.— И без него отгадаем, отчего ералаш.

Он смотрит на зятя, ища поддержки в обидном для бабки слове, и, не найдя ее, качает головой.

При-тем-ной но-о-чи...—

вдруг протянул дядя Миша и осекся. Он уже захмелел изрядно.

— Эх, жаль, Витьки нет. Этот резанул бы на хромке.

— Витя по тюменским лесам, поди, шастает,— сказала Зина.

— Костя, а ты же говорил... Помнишь?.. — Ольга положила дочушку в колени матери, быстро со знакомого места взяла гармошку, пода-ла мужу.

— Можешь? — спросил дядя Миша.

— Да было... Любил... Первым парнем считался. С армии жизнь по иному руслу потекла.

Он поискал, поискал чего-то пальцами. Не больно давались голоса. А уже строилось. Из-под широко взятой ладони вырывалось доброе, богатое сдвоение.

— Пятнадцать лет...— бросил зять. И опять пошел, пошел. Лихо прядала рука, и уже лилась, раскачивалась вольность. И становилось ясно — он может. Все ждали. И вот из-под пальцев полилось с захватом: «ддай, ддай, вва, вва». Вот оно!

И дядя Миша опять потянул, утвердив кулак на столе:

Мы страдали, почертили.

А тот — с перебором, по грифу, по грифу, забираясь все выше, выше и уже урча на самой горе захлебом: вар, вар-вар. И покати́л вниз не спеша, не минуя ни единой пуговицы, и все к ладу, к ладу — пам, пам и еще ниже уже втяжку, со стоном, с неспешным подходом к начину.

Нас головушки четыре.

— Хиреет. Пустеет деревня,— со вздохом оборвал себя хозяин и уставился на зятя...— А ну-ка, чего-нибудь расходистое! — переждав, опять закричал он и убрал кулак со стола.

Теперь хозяин был весь во власти звуков. Чреда давних молодецких лет ожила в нем, помолодевшая душа просилась к излиянию. Плотная запотевшая шея крепко держала ладную поседевшую голову, и весь он казался без износу.

Костя исподволь подбирался к «расходистой», чтобы не перешибить мелодии. И вдруг накоротке запечатали пальцы «ват-ват, ват-ват»... А потом, с хитрым перескоком, громыхнула левая рука.

— Э-э! Заменжовочка! — подхватил хозяин и с места двинул на простор горницы. — Э-э-э! Хорохорочка!

Что-то подымало, звало на бесшабашную удаль; хмелели и ложились у ног, покоряясь, и подгулявшая радость, и позабытая скорбь. А с грифа сыпалось, сыпалось, не уставая, с перешибами, выпадали хитрые недотяжки и переигры, из которых нежданно выростали удары рослые, как восклицательные знаки в строке. И тогда хотелось бить ладонью по коленке, по груди, по подошве и по губам даже.

Хозяин вытянулся в свечку. Четисто шабрила подошва и подстывал каблук. Теперь он смотрел, не мигая, на испитое, но счастливое лицо бабки. Оно блаженно сияло доброй, необидчивой улыбкой, и небывалая душевная легкость все больше наполняла дядю Мишу. Не видя прежде какой-либо заметности в этом примелькавшемся одряхлевшем существе, он уловил вдруг что-то убедительно живое, притягательное и крайне необходимое ему сейчас. И это потому, может быть, что ожившее в нем ядрышко почти умершей простоты и доверчивости отзывалось только в счастливой душе старухи. И в открытой, свойской улыбке ее читалась вся его начисто теперь пропавшая грешность, о которой он ничего не знал и раньше, а только сейчас догадывался о ней и был несказанно благодарен старухе за это. В лице ее не было ни обиды, ни старческой скорби за то, что такая редкая шальная радость жизни, может быть, в последний раз разлилась во всю свою ширь. Старуха сейчас ничему не завидовала. Она радовалась, что у жизни оставалось так много про запас, благо, и ее потомству хватит.

«Ста-чи-чи, ста-чи-чи-чи» — высекал он по полу, предназначая теперь немощной теще в расплату все, что было недодано прежде.

Но он уже уставал. Нога уже не давала счёту, мызгала нога. Он тяжело дышал, потеряв цвет в лице, только ходили руки то к груди, то к загривку. Он еще смотрел на всех, но уже был тот взгляд не зовущим — удивляющим, а скорее печальным, просящим пощады.

— Будет уж беситься-то! — бросила Зинаида Игнатьевна. Она хорошо знала, на каком разжиженном масле работал супруг. Не косить небось, не дрова колоть — махнул, передохнул; передохнул — еще махнул. Тут гони, знай! Дух переведешь после.

Становилось ясно — дядя Миша не выдержит. Что-то сдало там, внутри, порастраченное, изработанное по полям, лесам, по покосным комариным болотам, по невзгодам и просто по годам, которых набиралось уже далеко за пятый десяток.

— Будет! — сказал он. — Сбавляй, спускай на тормозах! Ух!

Он сел, тяжело дыша и отирая лицо и шею полотенцем. С правой

руки игрока, как после короткого ливня капли с листьев, спадали остатки тихих, сиротливых звуков, костисто стучали клавиши. Слабел-мутнел день за окном, уже устававший от деревенской тишины и жаркого томления.

— Ну, уж закимарились! — тряхнул головой дядя Миша. — Носы повесили.

Опять зазвенело, забулькало.

— Я не буду, — сказала Ольга, — мне не положено.

За полувернутой ее фигурой из белой простынки проклевывались розовые пальчики: дитя тоже обедало.

Была уже та пора, когда первые душевные хмельные всплохи переходят в ровное постоянное свечение и неохота с ним расставаться. Лишь подливай в лампаду да подливай, чтобы не слабело пламя. И дядя Миша подливал.

А Константин Николаевич уже облюбовал мыслишку, и хотелось ею щедро поделиться с тестем.

— Папа!..

Он подвинулся со стулом, локоток у тарелки, на краешке стола уместил, заморщил лоб тонкой складочкой, глазами напрягся.

— Возвышенные чувства — не частый гость душ человеческих... — сказал он.

— В чем же и вопрос... — может быть, не в полной для себя ясности согласился дядя Миша.

— Вы заметили?.. Сейчас... глаза у бабушки?.. Они... как бы это сказать?.. — Он мучительно шуровал в памяти, пальцы в щепоти работали, ощупывали слова. — Они так на вас смотрели!.. Глаза...

Пальцы все стригли, все щупали пустое пространство. Костя с досадой опустил руку.

— Видение, папаша, видение!..

А дядя Миша не перебивал зятя. Он только малое время смотрел на него и видел только живую щепоть из длинных твердых пальцев. А потом уже смотрел мимо, куда-то в щель между стеной и комодом. Ему думалось свое и по-своему понималось. Туда, в темный прегал, проскальзывало все мелкое, оно же и ненужное. Без задержки проскакивало. Оставалось густое, цепкое, даже зримое. И все копилось, копилось, наплывая и загораживая угол — не перескочишь. И уже робость охватывала, тесно становилось. Впереди всего — не перемолоть, а времени и сил уже в обрез.

— Бежим больно шибко! — наконец сказал он, не меняя взгляда, как будто с собой говорил. — Делов у всех уйма. Не до нежностей.

Тут он встал, и уже скучной хозяйской заботой закоптилось лицо.

— Сыны, гляди, приедут, а у меня крыша не новая. Ноне с гнилой крышей сидеть — срам. Бабы вдовы смотри чего себе понастроили! А тут — мужик. А кровлю раздобыть по нашим местам тижало! Заботушка. Не столь делаешь, сколь мыслишь. И все вот так. Охлопотать — одно дело, оплатить — само собой, доставить — забота особая. А покрыть ищо? Подыщи!.. А баба пилит...

Он взял бутылку, примерил в ней количество, все еще размышляя, и вдруг глаза его ожили и крепко впилась в лицо зятя.

— До малых и старых руки не доходят, — уже зашептал у самой головы Константина Николаевича. — Всяк норовит друг перед дружкой... И в общем масштабе тоже. Одна погоня. Вот и пэраскинь, куда тут умягчатся?

Константин Николаевич со словом не спешил. Его слово было впереди. Оно говорилось не в один присест и уже, должно быть, по трезвости.

А теперь гуляли. И не захотелось закруглять. Разговор, разговор все воднился от хмеля. Тут же на табуретке у женщин стрекотала швейная машинка — затеяли какое-то мелкое шитье.

— Смотри чего надумали, — кивал в женскую сторону дядя Миша. — Не могут порядок соблюсти.

Ему, пожалуй, не важно это и было, все равно оно тут все вместе. У них свое, бабское. А с зятем и так поговорить можно.

— Вы там поближе... — гудел он сквозь стрекот и женский гомон. — Как, ежели в учете обстановки, Китай, думаешь, не прянет?

— Китай не прянет, — полюбившимся словом тоже козырнул Константин Николаевич.

— А я все располагаю, ежели в соображении политики Китай не прянул бы...

— Китай, папаша, никак сейчас не прянет.

— Так-то, говоришь? — удовлетворяясь, соглашался дядя Миша. И все подливал уже полюбившийся коньячок.

До самых сумерек, до вечернего коровьего пригона, сидели. Гуляли...



В. ЛЕОНОВИЧ

★

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ ИНЯ

Воздух тесный, воздух мглистый
пахнет мылом и водой.
На пружине на сталистой
между небом и землей —

деревянное корыто.
Лубяная колыбель
белой тряпкою накрыта,
человеку шесть недель.

Деревянная теплушка,
мокрой простыни клочок.
Стирка — сушка,
стирка — сушка,
тихий мальчик-грудничок.

В этот полдень, в эту стужу,
навещаю я ее.
Почему живет без мужа,
это дело не мое.

Ни о чем она не просит:
и вагончик не сквозит,
и газетку ей приносят,
и печурка не дымит.

Не посмотрится на сына.
В «монтаже» — одна. Давно...
Смотрит белая равнина
в запотелое окно.

Надо мальчику кормиться,
надо сесть ко мне спиной...
Этот воздух материнства,
одинокий и грудной,

этот запах сладко-кислый...
«До свиданья» второпях.
Эта зыбка на сталистой
на пружине, на стропах...

Где же горе, где обида? —
Двери настезь. В горле ком.
Вся равнина —
вся залита
материнским молоком!

Спи, младенец мой прекрасный,
среди бела-бела дня,
среди чудного пространства
возле станции Иня.



ИВАН ТАРБА

★

ПРОБУЖДЕНИЕ

С абхазского

Крепким сном я спал перед рассветом,
Пробудился вдруг в большой тревоге...
Что случилось снова в мире этом,
На нелегкой на моей дороге?

Словно воин, я вскочил с постели,
Давней боли повинуюсь мудро.
Оказалось — просто птицы пели,
За моим окном встречая утро.

В форточку, распахнутую ветром,
Песня неожиданно влетела,
В лучшем лете, на затишье щедром,
Выстрелом над ухом прогремела.

Ах, какой чудак я, пойте, птицы!
Вы простите память старой раны.
Я смыкаю медленно ресницы,
Для меня надежней нет охраны.

ГОРЫ

Сколько лет, сколько зим, сколько весен — не счесть! —
Вы стоите, касаясь вершинами звезд!
В чью, скажите мне, гордые, славу и честь
Поднялись вы во весь богатырский свой рост?

Чуть на вас погляжу — мнится мне всякий раз,
Что абхазская свадьба в долине шумит,
Всякий зван-приглашен, будет каждый из нас
Встречен с честью, обласкан, и пьян там, и сыт.

Длится свадьба, и полон веселия дом,
И разносятся песни, и счастлив жених,
И, как братья невесты, вы стали кругом —
Остроглавые, в бурках своих ледяных!

Перевела С. Кузнецова.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

★

ДВЕНАДЦАТАЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

1

До вокзала было недалеко, но я сделал знак шоферу потрепанного «рено». Уж если когда-либо имелось основание потратиться на такси, то именно сейчас, тем более что я даже не слишком твердо помнил, где находится этот захудалый для Парижа вокзальчик. Накануне, получая от Васи Ковалева напутствие, я удивился, почему надо ехать не с Аустерлицкого, как все нормальные люди, а с никому не ведомого вокзала д'Орсэ.

— Конспирация, понятно? — назидательно ответил Вася. — Народу там поменьше. И поезд удачный. Незаметный поезд.

Остальное было в том же духе. Можно ли проводить? Никаких провожающих. Что брать? Ничего не брать, разве заплечный мешок. Документы, фотографии, записные книжки с адресами и телефонами тоже сдать или оставить кому-нибудь на хранение. И чтоб в карманах ни единой бумажки.

Я свято выполнил все указания. На мне была коричневая бельгийская блуза с застежкой-«молнией»; в нагрудном кармане, кроме трех кредиток по сто франков, лежала лишь пачка сигарет «кэмл», а в кармане брюк — зажигалка. Крохотный чемоданчик вмещал смену белья со споротыми фабричными марками, носки, полотенце, несколько носовых платков и туалетные принадлежности.

Еще издали через портал вокзала я увидел Васю Ковалева. Он стоял спиной к входу и, судя по всему, изучал выцветшее железнодорожное расписание. Около кассы, хохоча и громко переговариваясь на незнакомом языке, толпилась явно подвыпившая компания белобрысых молодых людей в точно таких же спортивных блузах, как моя. Остановившись рядом с Васей, я в свою очередь принялся рассматривать расписание. Вася возвел глаза на электрические часы.

— Точно, — сказал он вполголоса и протянул руку. — Salut!

Я почувствовал в ладони острые края картонного билета и, зажав его в кулаке, сунул в брючный карман.

— Поезд идет через Лион, — заговорил Вася еще тише. — В Перпиньяне — через сутки. Там встретят. В купе будут наши ребята. Большинство из провинции, ты их не знаешь. Ответственным за группу назначен Семен Чебан, наш повар. С ним ты, верно, знаком, держи, — продолжал он без паузы, — тут сто франков.

— Своих хватит.

Лицо Васи медленно покраснело.

— С ума сошел? — суфлерским шепотом закричал он. — Я тебе, что ли, даю? Тебе партия на дорогу выделила. Индивидуалист какой выискался!..

Я поскорее потянул конверт из его пальцев.

Видимо, Вася очень сердился, потому что слово «индивидуалист» он употреблял как ругательство, превосходящее силой все непечатные.

— Ну, прощай.— Он стиснул мне руку.— Бей их там хорошенько. Нашим, кого встретишь, привет. И об убитых сообщайте,— ободряюще закончил он.

Я направился к единственному составу. Указатель подтверждал, что это поезд на Перпиньян. Ниже указателя на грифельной доске было выведено мелом: «Через Шалон-сюр-Марн, Шомон, Дижон, Шалон-сюр-Сон, Макон, Лион, Валанс, Авиньон, Ним, Монпелье и Нарбонн». Не поезд, а карусель какая-то! Но это бы еще куда ни шло, если бы в самом низу грифельной доски не красовалась писарская с завитушками приписка: «Omnibus». Остановки, следовательно, всюду, у каждой будки. Приблизительно в два раза дальше и в два с лишним раза дольше, чем на обычном скором Париж—Тулуза—Сербер, отправляющемся с Аустерлицкого вокзала. Нет, что касается меня, я не назвал бы такой поезд удачным.

Только что шумевшая у билетной кассы ватага белокурых туристов в одинаковых куртках обогнала меня. Они остановились у одного из вагонов третьего класса, собрались в кружок, подняли сжатые кулаки и нестройно запели «Интернационал» на непонятном своем языке. Когда я с ними поравнялся, они уже лезли в вагон, цепляясь рюкзаками и стуча по ступенькам коваными башмаками. Все стало ясно. Да здравствуют конспирация и Вася Ковалев!

Мой вагон оказался следующим. От головы поезда, близоруко всматриваясь в окна, приближалась худенькая черненькая барышня. Она заглянула в мой вагон и просеменила дальше. Я поднялся на площадку.

В коридоре со мной разминулся сухощавый брюнет, он тоже был в выделанной под замшу спортивной коричневой куртке на «молнии»—честное слово, получается нечто вроде формы! Я с досадой повернул ручку двери первого купе. В нем слышались голоса. Говорили по-русски. Но, едва дверь сдвинулась, голоса замолкли. Табачный дым за клубился передо мной. Пройдя на свое место к окну, я сунул чемоданчик под грязный деревянный диван. На противоположном уже сидели четверо; на моем — два места пустовало. Окно было закрыто. Я взялся за ремень.

— Никто не возражает?

Все безучастно молчали. Я приподнял раму и опустил до конца.

Худенькая французенка снова бежала вдоль поезда и растерянно заглянула к нам в купе.

— Лившиц! Лившиц! Володя Лившиц!..— позвала она и бросилась дальше. Вот тебе и французенка!

Поезд тронулся. Девушка, искавшая какого-то Лившица, остановилась на краю перрона и растерянно смотрела нам вслед. Дверь купе сдвинулась, и на пороге появился пассажир с портфелем.

— Чуть-чуть не опоздал.— тяжело дыша, выговорил он по-русски, ткнул портфель на свободное место у двери, закрыл ее за собой, снял берет, вытер оставшуюся после него влажную полосу несвежим платком и, закинув ногу на ногу, уселся на кончик скамьи.

— Чуть-чуть не считается,— подхватил мой визави, у которого архаическая прическа ежиком топорщилась над укороченной физиономией с низким лбом, узкими глазами, вздернутым, будто перебитым в переносице носом и похожим на пятку подбородком.— Жена фельдфебеля говорила: муж чуть-чуть да не прорщик. Так, Троян?

Загорелый, как араб, красивый, несмотря на грубоватые черты, Троян, на чье широкое плечо тот опирался, ничего не ответил. Вошедший тоже промолчал. Лишь низкорослый, неопределенных лет человек слева от меня одобрительно захихикал. Я осмотрелся. Упираясь затылком в угол, откинулся назад изможденный человек лет тридцати пяти, в пиджаке с чужого плеча, штопаных штанах и армейских ботинках; его напряженное, обтянутое пергаментной кожей треугольное лицо с выпуклым лбом, большим горбатым носом и сухими губами напоминало лик старой иконы. Глаза его были закрыты. Вот кого я определенно где-то встречал! Вероятно, это и есть Чебан. хотя для повара у него слишком аскетическая

внешность. Пока я его разглядывал, он раскрыл глаза, впери́л их в вошедшего последним и, не меняя позы, полулежа, спросил, выговаривая с затруднением:

— Почему опоздал... товарищ Дмитриев?

Тот посмотрел на него неприязненно:

— Я Дмитриев.

— Хорошо, Дмитриев... А почему опоздал?

— Вам-то какое дело?

— Вместе едем, всем дело... И потом, я здесь старший. Объяснитесь: почему опоздали?

— А я не опоздал. Тут уже говорили, что чуть-чуть не считается.

Сидящий возле меня визгливо рассмеялся. Снаружи затягивало паровозный дым, вместе с ним залетали мелкие частицы угля, сыпались на брюки и секли лицо; пришлось поднять раму, оставив небольшую щель.

— Ладно,— подумав, произнес Чебан.— Пускай не считается... Только вот чего, товарищи,— я ваш респонсаль, ответственный то есть. За восемь душ с собой отвечаю... Сами знаете, перед кем. Пока не перейдем границу... Прошу уважать.

— Все, Семен, в порядке будет. Ты не расстраивайся,— положив большую руку на сплетенные пальцы Чебана, проговорил его сосед.

— Я к тому... никто меня не знает. Ты вот, Ганев, да вон Алеша-студент...

Последнее, очевидно, относилось ко мне, хотя мне пришлось бросить университет еще десять лет назад. Однако я не опровергал Чебана: он явно нуждался в поддержке, а не в возражениях.

Заговорили о последних сводках и положении Мадрида. Дмитриев утверждал, что Мадрид вот-вот падет, если уже не пал.

Падение Мадрида и в самом деле казалось неминуемым. Так писали французские газеты самого разного толка, за исключением «Юманите», но и эта газета между строк осторожно подготавливала своих читателей к тяжелому удару. Да что «Юманите»! В недельной давности московской «Правде» на первой странице бросался в глаза заголовок: «Бои на подступах к Мадриду», а в очередном фельетоне Мих. Кольцова хотя и вскользь, между прочим, но все же было сказано: «Какова бы ни была судьба Мадрида...»

Чебан тем не менее вступил с Дмитриевым в спор. Его поддержали Ганев и человек лет сорока пяти, сидевший на моей скамье. За исключением торчащих густых бровей, в наружности его не было ничего примечательного. Он затынулся так, что сигарета сразу стала заметно короче, и принялся выпускать дым вместе со словами:

— Что я хотел сказать... При наступлении с запада и юго-запада Мадрид, согласен, не лучшая позиция. Кроме того, снабжать его обременительно, и фронт неплохо было бы сократить,— со всем, повторяю, согласен. Но Мадрид ведь не просто позиция, какую в штабах выбирают, Мадрид — столица. Завладей ею мятежники — это сразу придаст режиму Франко видимость законного, а кое-кому достаточно и видимости, чтобы его признать. Вот и выходит, что военная позиция — второстепенная, а политическая — первостепенная, главный козырь в гражданской войне.

— На войне, друг Остапченко, главный козырь — станковый пулемет,— беря в горсть, как бороду, свой голый подбородок, возразил мой визави.— Политикой в мирное время можно заниматься, а пришла война — знай войой, не отлынивай. Ставь, куда следует, свой верный «максим», ложись за щиток и строчи всюю.

— На войне, товарищ Иванов, без политики никак невозможно... Нигде нельзя... А на войне тем более... — Чебан неожиданно оживился, его, кажется, насмешила высказанная Ивановым несообразность.— Там не думать опасно. Не тех, кого нужно, постреляешь... А ты пулеметом... здорово владеешь? — В вопросе Чебана, обращенном к Иванову проскользнула почтительная зависть.

— Окончил офицерскую пулеметную школу. В Крыму. У Врангеля.

— То давно было... Новые системы — секретные, ты их и видеть не мог.

— Подумаешь, невидаль! Ну, дадут мне последнюю модель. Осмотрю, разберу, соберу, на полигоне немного пощелкаю — и весь секрет у меня в кармане, не беспокойся... А ты разве не воевал? — строго спросил Иванов у Чебана.

Тот вздохнул.

— Не воевал... Не служил в армии... Оружия не знаю. Шофер я, механик...

— Шофер там тоже пригодится. Но как вышло, что ты не служил? Тебе сколько лет?

— Тридцать.

— Ну и ну! Да ты старше меня выглядишь, а мне тридцать восемь.

Чебан только вздохнул.

— И ты, молодой, на фронте, понятно, не был? — Иванов обратился ко мне. — Тебе лет двадцать пять?

— Не был. А вообще спасибо.

— За что спасибо?

— За комплимент. Мне тридцать один.

— Ей-богу? Не дашь. Не то что наш респонсабль. Выглядит на десять лет старше. Или, может, больной?

Чебан в третий раз вздохнул.

— Болел... Всяко... бывало...

Вагон скрипел, гремел и качался. Опускались сумерки. Под потолком заблестела лампочка.

— Вот чего, братцы, — начал Иванов. — Мне Васька Ковалев говорил, что все мы вместе воевать будем. Так давайте знакомиться. Вас, парижан, трое, а нас, эльзасцев, целых пять человек, стреляные волки, друг друга не первый день знаем. Крайний с фланга — Дмитриев, служил верой и правдой в самотопах...

— Нельзя ли без шутовства? — перебил Дмитриев.

— Можно. Вполне обойдемся. Итак, Дмитриев, как я имел честь доложить, самотоп, иначе говоря — моряк, вечно юный мичман. А лет ему. мичману, от роду за сорок. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, за что оную бреет, и характер...

Дмитриев что-то пробормотал и отвернулся.

— ...и характер отвратительный, сами можете убедиться. Серьезного боевого опыта у мичмана Дмитриева нет и обращению с пехотным оружием не обучен. Бок о бок с самотопом, — Иванов с заметным удовольствием повторял этот термин. — старик Остапченко. Был поручиком еще при царе Горохе... Ты с пятнадцатого офицер?

— Произведен в подпоручики по окончании юнкерского училища в тысяча девятьсот четырнадцатом году, в августе уже командовал полуротой на реке Сан, — уточнил Остапченко.

— В дальнейшем его благородие подпоручик Иван Иванович Остапченко выслужился в поручики. Между прочим, он, шутки в сторону, чемпион Эльзаса по шахматам. Впритирку к поручику помещается Юнин, он же brave солдат Швейк. Этот всю жизнь в нижних чинах ходит.

Юнин захихикал. На Швейка он ничуть не походил: татарские скулы выдавались над его провалившимися щеками, обросшими рыжеватой щетиной, лишь нос, пожалуй, был швейковский — круглый и подвижный, как у ежа.

— Теперь Троян. — Иванов хлопнул его по плечу. — Он из Бессарабии.

— Земляк... — обрадовался Чебан.

— Троян, знайте, хлопцы, классный пулеметчик. Он мой друг, этим все сказано. Последние пять лет мы с ним в Метце на одном заводе ишачили. В заключение разрешите самому представиться. Я из терских казаков. Родился во Владикавказе, учился во Владикавказском кадетском корпусе. Вышел в военное училище, да не успел окончить — революция. Выпустили меня прапорщиком и направили к Деникину — помогать ему спасать Россию. Жил я тогда легко, воевал

слегка и был ранен легонько. После лазарета откомандировали в пулеметную школу. Отучился я в ней и получил приказ о производстве через чин. Сразу догнал Остапченко.

— Ничего, я не в обиде, — вставил тот.

— В погонах поручика отправился я воевать дальше, довоевал до самого Черного моря и в конце концов очутился в Галлиполи. Долго сидел я там на берегу, ждал, когда поплывем обратно отвоевывать у большевиков единую-неделимую. Ждал год, ждал другой, а на третий — мне двадцать три стукнуло — завербовался на работу во Францию. С тех пор в Эльзасе и живу, работаю, как каторжный. Но что смешно: рабочим человеком стал, а все думал, что временно это, все надеялся, что в один прекрасный день сойду с рук мозоли и снова буду я белоручка и офицер. Постепенно привык я, однако, к тому, что вот было у меня детство, было и кадетство, а потом вырос я большой и стал пролетарий-металлист. И начал тогда понемногу пролетарий умнеть: профсоюзы, то да се. Так, день за днем, пятнадцать лет незаметно и пролетело. Пятнадцать лет прожил я на чужбине, пятнадцать лет протосковал по родному краю. До смерти хочу домой. Домой, понимаете? К себе на родину, во Владикавказ. Как начались испанские события, я, понятное дело, республике сочувствовал, но как пошли разговоры, что если поехать добровольцем, потом уже наверно можно будет вернуться в Эсэсэсэр, сразу решил: еду! Троян, он к тому же самому пути по другой, по партийной логике пришел. Вот оба и едем. Будь что будет. Как говорится, либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

— Вот и я о-о-х как до дому хочу, — вдруг почти простонал Юнин.

Слушая Иванова, я внутренне возмущался. Я считал, что ехать в Испанию надо иначе, без всяких личных соображений. Однако возражать ему не приходилось. Так ставил вопрос не он один, тем более что и Вася Ковалев, и другие руководители «Союза возвращения на родину» уверяли, что политически проверенные товарищи, которых допустят к участию в боях против фашизма в Испании, безусловно получают потом советский паспорт и визу в СССР.

— За твоим языком не поспеешь босиком, — заговорил Ганев. — Я, как бывший учитель, тоже, видишь, поговорки знаю и среди них еще такую: языком капусту не шинкуют. — Он расставил ноги, опустил между ними широкую спину и выволочил из-под лавки допотопный кожаный баульчик, ни дать ни взять похищенный из театрального реквизита к сцене встречи Счастливецва и Несчастливецва. Оттянув запор, Ганев раздвинул баул и вынул толстобочную бутылку.

Достали и другие из своих мешков и чемоданов что у кого было — еду и питье. Налили. Чебан встал, держа чашку за ушко:

— Товарищи... Выпьем, чтоб доехать благополучно!

— За победу! — произнес Остапченко, тоже вставая и поднимая кружку.

Встали все. В купе сделалось тесно. Ганев оказался еще выше, чем я предполагал, высоким был и Троян.

— А еще за благополучное возвращение на родину, — когда разлили последки, добавил Иванов.

Выпитое подействовало по-разному. Счастливая улыбка не сходила с открытого лица Ганева. Побледневший Чебан оставался серьезным, но все время потирал руки. Голубые глаза Дмитриева помутнели, на щеках выступили багровые пятна. Остапченко сосредоточенно смотрел в одну точку, машинально, как жвачку, жуя сыр. По Трояну ничего не было заметно, он молча убирал с деревянного дивана измятую бумагу и объедки, выкидывая все за окно. Юнин непрерывно говорил; его веснушчатый носик покрылся капельками пота и двигался в такт словам.

— ...Домой да домой. Говорим, значит, про дом, а катим наоборот. Н-да. Совсем даже в другую сторону. А родного дома-то я скоро двадцать лет не видывал.

И Юнин рассказал похожую на множество других печальную историю мобилизованного малоземельного крестьянина, оставившего молодуху с малыши детьми на еще трудоспособного старика отца и посланного за тридцать земель

воевать с «немцем». На фронте Юнин показал себя хорошо, получил «георгия» четвертой степени, а также ефрейторскую лычку, но после февральской революции не выдержал еще одной весны в окопах и дезертировал. Сколько, однако, добравшись до своих, он из кожи ни лез, а накормить семью досыта в тот год было немислимо, и отец подучил Юнина, как поправить дела: для этого требовалось пробраться на юг и привезти мешок соли. Продав папаху, шинель и женин полушалок, Юнин пустился в путешествие на крыше вагона. Навстречу наступали белые. На каком-то полустанке охрипший комиссар убедил Юнина добровольно вступить в Красную Армию. В первом же бою он был легко ранен, остался в чужой деревне, а фронт ушел на север. Залечив рану, Юнин возвратился домой, но вскоре его мобилизовали деникинцы. Когда белые начали откатываться, шедший в аррьергарде полк, в котором служил Юнин, отстал. В полку верховодили кулаки. Договорившись с офицерами, они посрывали с них и с себя погоны и перешли к красным. Им поверили, назначили комиссаров и направили против белополяков. На новом фронте полк, перебив комиссаров, в полном составе перешел к врагу. Здесь новоприбывших перешерстили, и Юнин, как не слишком надежный, попал в саперную роту, которая специализировалась на строительстве походных отхожих мест. После демобилизации работы в Польше не нашлось, и Юнину не осталось иного выбора, как, подобно многим, подписать трехлетний контракт, по которому он получил французскую визу, прогонные и был доставлен в шахтерский городок неподалеку от Лилля. Чем только не приходилось ему заниматься, когда во время кризиса его уволили, куда не забрасывала его безработица! Был он и землекопом, и строительным рабочим, и батраком, и каменотесом, и снова шахтером, и возчиком, пока не осел на картонной фабрике в Эльзасе.

— Всего попробовал,— устало закончил он и улыбнулся грустной улыбкой, совсем не похожей на ту резиновую, растягивавшую его рот, когда он показывал, как его смешат остроты Иванова.

Сквозь однообразный поездной гул стал проступать стонущий звук — машинист начал тормозить: до сих пор, пока мы проезжали по электрифицированным пригородным линиям, остановок не было. Вскоре впереди показалась пустынная, плохо освещенная станция. Свисток отправления раздался прежде, чем поезд остановился. Залязгали цепи, вагон рвануло. И вот опять заскрипели стены, опять закачалось все, что висело.

Один за другим мои спутники засыпали. Я стал разглядывать их. Во сне все лица изменились, сделались опять незнакомыми. И вот с этими чужими людьми я еду в незнакомую мне страну, где уже более трех месяцев идет гражданская война. Мне сделалось как-то не по себе. Конечно, в беспричинном этом беспокойстве отчасти повинен коньяк. С другой стороны, не каждый же день я отправляюсь на войну, да еще добровольцем, да еще в Испанию. Самому не верится.

2

Момент, когда я окончательно решил ехать, запомнился очень хорошо, хотя я и не сразу заметил, что решение уже принято. Произошло это в первых числах сентября на митинге, на котором выступала Пасионария. Начинаясь он, как обычно, поздно, в восемь тридцать вечера, дабы все успели пообедать (во Франции никто и ни при каких обстоятельствах не посягнет на священный обеденный час), но предугадывая, что в данном случае даже Зимний велодром окажется мал, мы вышли в начале восьмого. Поезда метро, следующие в Отёй, были полны. На ближайшей к велодрому остановке из вагонов вышли почти все. На перроне теснились прибывшие на предыдущих поездах. Широкие железные лестницы, спускающиеся с эстакады, на которую здесь, перед Сеной, выведено метро, пространство под эстакадой и мостовая между нею и велодромом были запружены медленно продвигавшимися людьми. Под фонарями, по ту сторону бульвара, выстроились темно-синие каре полиции, но возле велодрома ажанов не было. вместо них порядок поддерживали распорядители с красными повязками на руках.

Вдоль тротуара бряцали кружками сборщики пожертвований, непрерывно приговаривая: «Помогите Испании, товарищи... Помогите республиканской Испании... Бросьте ваш обол в помощь Испанской республике...» У входов девушки, наряженные, как хористки из «Кармен», прикалывали к пиджакам и платьям входящих бумажные флажки с продольными полосами непривычной расцветки — красной, желтой и фиолетовой. Приставленные к девушкам энергичные молодые люди вносили на покрытие расходов по два франка; безработные вносили половину. До начала митинга оставалось еще около сорока минут, а внизу было уже битком набито, и вновь прибывающие, оценив обстановку, бросались наверх. Лишь под самой крышей мы обнаружили сравнительно свободный выступ галереи, где по крайней мере можно было стоять. Впереди, далеко под нами, находилась импровизированная эстрада. Фоном ей служили три громадных флага: посередине из багряного бархата с эмблемой Народного фронта, по бокам трехцветные — испанский и французский. Висячие прожектора, прорезая молочными конусами сумрак, заливали эстраду светом. Вдоль нее тянулся стол, покрытый краповым сукном. Гигантская бетонированная арена была сплошь заставлена бесчисленными рядами стульев; сверху мы видели, что они все до единого заняты. Плотные толпы стоящих окружали арену. На ярусах тоже негде было повернуться. Вероятно, за все свое существование велодром не вмещал столько народа.

Открытие митинга приближалось. Нас все крепче прижимали к перилам. Репродукторы испустили змеиный шип, и вдруг из них грянул бойкий марш. В последние полтора месяца мне не однажды приходилось слышать эту музыку: громкоговорители передавали «Гимн Рието», столетнюю испанскую революционную песню, принятую в качестве официального гимна республики.

Толпившиеся в проходе расступались и приветственно вздымали кулаки, давая дорогу большой женщине в черном платье. Она стремительно шла к трибуне, тоже подняв сжатую в кулак руку. Сзади торопилась беспорядочная группа сопровождающих. Женщина в черном легко взошла на помост и, по-прежнему держа у виска кулак согнутой в локте правой руки, повернулась к рукоплещущему велодрому; левой, в которой виднелся скомканный белый платочек, она оперлась на стол. Бледное лицо ее было сосредоточенно, воронье волосы гладко зачесаны назад и стянуты в тяжелый узел. Репродукторы смолкли. Секунда тишины — и весь велодром разом запел «Интернационал» в том походном темпе, в каком поют его французы.

На эстраду поднимались другие члены испанской делегации и устроители митинга. Отвсюду к трибуне, как по сигналу, устремились женщины и дети. Они несли Пасионарии цветы, в руках у нее быстро образовался огромный цветочный сноп. Она передала его смуглой девушке в мужском рабочем комбинезоне и рогатой пилотке, но снизу протягивали все новые и новые пучки цветов, и Пасионарии пришлось складывать их прямо на стол. Она застенчиво разводила руками, наклонялась к детям, и даже от нас можно было увидеть, как ее лицо озарялось улыбкой. Но вот оно опять стало серьезным, и Пасионария через плечо обратилась к девушке, которой отдала цветы, — по всей вероятности, своей переводчице. Девушка в пилотке положила цветочный сноп на свободный стул, подошла к председателствующему и передала ему поручение. Он привычно пощелкал пальцем по микрофону и округлыми фразами сообщил, что товарищ Долорес Ибаррури глубоко тронута оказанным ей приемом и сердечно благодарит за поднесенные ей цветы, однако, не считая себя вправе принять на свой счет столь волнующее проявление симпатии ко всем испанским антифашистам, просит возложить их к Стене коммунаров. Восторженные крики и шквал рукоплесканий открыли его слова. Пасионария уселась посреди испанских делегатов. Председательствующий объявил митинг солидарности открытым и предложил, как полагается, избрать почетный президиум. Но едва из репродукторов послышалось: «...мучеников Бадахоса», как единодушный вопль вырвался из сорока тысяч грудей. Напоминание о бадахосских жертвах бредило слишком свежую рану

Мятежники взяли Бадахос всего недели две назад. То была их первая побе-

да, но победа чрезвычайно важная и с далеко идущими последствиями. Овладев Бадахосом, фашисты не только осуществили соединение своего южного плацдарма с обширными территориями северной группировки, но и перерезали железную дорогу Мадрид—Лиссабон, а вместе с тем отняли у республиканцев контроль над последним оставшимся в их распоряжении отрезком границы с Португалией. Город, обороняемый оставшимся верным правительству батальоном пехоты и добровольцами из местных жителей, вооруженных пистолетами и охотничьими двустволками, штурмовали бандера иностранного легиона и табор¹ марокканцев, поддержанные полевой артиллерией и бомбардировочной авиацией; во втором эшелоне двигались отряды фалангистов. Победители, обозленные оказанным сопротивлением (их не смягчило и то, что им удалось вызволить из тюрьмы целыми и невредимыми триста восемьдесят своих сторонников), учинили, ворвавшись в Бадахос, таких масштабов бойню, что ее не удалось скрыть от иностранных журналистов. Представитель агентства Рейтер и собственный корреспондент реакционнейшего «Тан», нечаянно оказавшись очевидцами зверских репрессий, первыми добрались до ближайшего португальского населенного пункта и передали ужасающие свидетельские показания. За сутки после окончания боев мятежники расстреляли без суда на плацу казармы, у стены военной комендатуры и на арене для боя быков тысячу двести пленников; кроме того, восемьсот человек были перебиты поодиночке в домах и дворах.

Общее волнение на велодроме еще не улеглось, когда тот же баритон назвал «героических бойцов Ируна», и снова взорвался нечеловеческий рев ярости и боли; люди вскакивали, потрясая кулаками.

Хотя сражение за Ирун было в разгаре, чувствовалось, что под напором десятикратно превосходящего противника и за отсутствием боеприпасов упорство обороняющихся иссякает (действительно, Ирун пал в следующие же сутки), — а ведь дело шло о единственной сухопутной связи изолированного республиканского севера с Францией и через нее с правительственной Испанией. И потому митинг долго бушевал и не желал успокаиваться, пока председательствующему не удалось, перекрывая шум, предложить третьего кандидата — президента Испанской республики «его превосходительство дон Мануэля Асанью», а затем, без интервала, если не считать одобрительных аплодисментов, из репродукторов вырвалось имя Ги де Траверсе.

Бедному Ги де Траверсе, барселонскому спецкору профашистской парижской вечерней газеты «Энтрансижан», и во сне не снилось, что его когда-нибудь, пусть и посмертно, изберут в почетный президиум сорокатысячного собрания столичных пролетариев, но такая почесть была оказана ему не случайно. Посланный в «красную» Испанию за сенсационными очерками, он вопреки заданию не только талантливо, но и честно писал в свою нечестную газету обо всем, что наблюдал (редакция вычеркивала из его репортажей больше половины), пока, выполняя журналистский долг, не отправился сопровождать республиканских волонтеров в импровизированную морскую экспедицию на захваченный мятежниками крупнейший из Балеарских островов — Майорку; там он вместе с уцелевшими участниками десанта попал в плен и заодно с ними был расстрелян.

Последними были названы имена драгоценных заложников рабочего класса: Эрнста Тельмана и Эдгара Андре — одного из создателей и руководителей международного объединения профсоюзов докеров и моряков торгового флота; Эдгар Андре был особенно популярен; считали, что он автор повсеместно распространенного ротфронтовского приветствия поднятым кулаком.

В деловой президиум вошли испанские гости, представители от трех партий французского Народного фронта, от Всемирного антифашистского комитета, делегаты от заводов «Рено», «Ситроен», «Гочкис», «Испано-Суиза» и других. И вот председатель предоставил слово «члену коммунистической фракции палаты депутатов товарищу Андре Марти».

¹ Оба слова — «бандера» (исп.) и «табор» (тюрк.) — здесь означают батальон.

После горячо принятой речи Марти говорили еще несколько человек. Их старались слушать, но нетерпеливый гомон уже не утихал. Наконец председательствующий возвестил:

— Перед вами выступит депутат кортесов товарищ Долорес Ибаррури.

Пасионария порывисто шагнула вперед, и, покрывая овации, из громкоговорителей полился ее низкий мелодичный голос. При первом же его звуке воцарилась благоговейная тишина. В свете прожекторов было хорошо видно прекрасное бледное лицо Пасионарии и опущенные руки в широких, стянутых на запястьях рукавах, в левой по-прежнему был стиснут белый платок. Пасионария говорила по-испански, и никто не переводил ее речь, однако все сорок тысяч как завороженные ловили каждое слово чужого, удивительно красивого языка. По корням, общим с французскими, я сначала понимал неплохо.

— Мы пришли к тебе, народ Парижа, покоритель Бастилии, боец Коммуны, — медленно и торжественно произнесла Пасионария и вдруг вскинула свою голову сорокалетней мадонны и быстро-быстро закричала, запела, угловато рубя воздух левой рукой с зажатым платком, и я сразу перестал улавливать смысл и только напряженно вслушивался в цыганскую музыку этого гибкого, то чистого, то хрипловатого от волнения голоса. А он все громче разливался над сосредоточенным молчанием велодрома, и на фоне огромных флагов, на фоне сваленных в пестрые кучи цветов колыхался темный и прямой силует с однообразно взлетающей и падающей, напоминающей сломанное крыло рукой.

Как и все кругом, я неотрывно всматривался в каждое движение Пасионарии, и на секунду мне почудилось, что величайшая в мире драматическая актриса исполняет перед нами монолог из незнакомой древней трагедии. Но сейчас же я вернулся к действительности и напомнил себе, что эта поющая горькую песню античная героиня — бывшая судомойка в горняцкой харчевне, жена басконского рудокопа, родившая ему чуть ли не дюжину детей, из которых в живых осталось всего двое, что она кое-как сводила концы скудного домашнего хозяйства, кормила кур, стирала, штопала мужу носки... Но чем подробнее восстанавливал я в памяти общеизвестные факты биографии Пасионарии, тем необыкновеннее, тем непостижимее и таинственнее казалась она, эта, по выражению одного белогвардейского остролова, «пролетарская богородица», говорящая с нами от лица всех испанских женщин, а на самом деле — от лица самой Испании, — больше, чем говорящая: кажущаяся ее олицетворением... «Пасионария» — означает «страстоцвет», под таким псевдонимом она помещала свои первые статьи в провинциальной рабочей печати, а теперь нет на земле человека, который не слышал бы его. Но большинство и не подозревает, что это название цветка; широко известно основное значение слова: «неистовая», «страстная», ведь оно так к ней подходит! Мне рассказывал кто-то, что в Испании ее зовут Пасионарией только посторонние, свои же называют ее по имени: Долорес. А во Франции и среди коммунистов распространено прозвище, под каким ее знают все: и друзья и враги.

Я посмотрел по сторонам. Как ее слушают, как слушают! Не слушают даже, а внимают.

Пасионария внезапно остановилась и, как будто собираясь с мыслями, опустила голову. Над велодромом снова сделалось напряженно-тихо. А я только что начал было опять схватывать, о чем она говорит — о том, что испанский народ безоружен, что у него нет другого оружия, кроме самопожертвования... Но вот она вскинула голову и обвела взором верхние ярусы.

— Камарадас, — сказала Пасионария негромко, но настойчиво и как будто приблизилась к нам ко всем, до того все присутствовавшие почувствовали себя объединенными этим словом, тем доверием, какое было в него вложено. — Камарадас, — повторила она, и ее могучее контральто окрепло и зазвенело, и, вкладывая в каждый слог покоряющую убедительность, она отчетливо, словно диктуя, произнесла прозвучавшее классической латынью изречение, и каким-то чудом оно дошло до всех, все услышали. что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, и тогда в ответ грянул такой обвал рукоплесканий, такой оглушающий

гром восторга, какого еще не было сегодня. Он грянул и стих, а Пасионарию подхватило и унесло вдохновение, и опять я ничего не мог разобрать. Но разве, если с кем-нибудь случилась беда и он зовет на помощь, разве, чтобы понять это, необходимо понимать отдельные слова?

Она оборвала свою речь, порывисто повернулась и ушла с помоста. Не было ни оваций, ни воплей, ни пения. Медленно-медленно сорокатысячный митинг начал расходиться.

Взявшись крепко за руки, чтобы не потеряться в толпе, я и моя спутница вместе со всеми то переступали со ступеньки на ступеньку, то упирались в чужие спины. В горле мешая разговаривать, торчал твердый комок, как в детстве, если после обиды не удавалось выплакаться. На площадке между этажами образовался затор. Остановившись, мы взглянули друг на друга. Слезы в ее глазах еще не просохли, и сквозь них она пытливо всматривалась в меня.

— Что ты?— тихонько спросил я по-русски.

И без того прижатая ко мне, она придвинулась еще ближе, обеими руками взялась за отвороты пиджана и, всхлипнув, шепнула:

— Я знаю, ты решил ехать в Испанию.

3

За перегородкой глухо бухнула входная дверь, и дверь купе со скрипом поползла в сторону. Выходивший подышать свежим воздухом Ганев переступил через паз, по которому она скользила, и тихонько прикрыл ее за собой.

Осторожно присев на краешек дивана, он уперся ладонями в расставленные колени, вздохнул и посмотрел на меня.

— Так и не заснул?

Опять стало тихо,— уши до того привыкли к однообразному стуку колес и равномерному храпу, что не воспринимали их. Посидев молча, Ганев нагнулся, вытащил свой реквизитный баул, достал из него потрепанный французский путеводитель по Испании и Португалии, должно быть приобретенный за гроши у букиниста, раскрыл там, где была заложена пачка каких-то бумаг, аккуратно протер очки в пожелтевшей металлической оправе и при тусклом свете верхней лампочки углубился в чтение.

...Раскрыв глаза, я с удивлением обнаружил, что уже рассвело.

Из моих попутчиков кто уже проснулся, а кто просыпался, зевая и потягиваясь. Лица у всех были помятые, а глаза покраснели, лишь Троян сохранял пробивающийся сквозь смуглоту румянец.

Открылась дверь, и бледный от бессонницы Ганев приветливо пожелал доброго утра. За Ганевым появился Дмитриев.

— Помыться негде,— объявил он.— Гальюн — одна дыра, умывальника нету.

— Чистота — залог здоровья,— заговорил Иванов.— Ладно, умыться мы, предположим, кое-как умоемся. А вот что шамать будем? Вечером-то на радостях все запасы в один присест съели. И курево, верно, у всех подошло...

Чебан поерзал на своем месте и многозначительно объявил, что хочет «побалкачать с одним знакомым». Через полчаса он ввел к нам художавого брюнета в такой же, как моя, куртке, с которым я вчера столкнулся, входя в вагон.

— Мой старый друг... камарад Пьер из Брюсселя...

— Здравствуйте, товарищи.— по-русски и притом без малейшего акцента поздоровался камарад Пьер из Брюсселя.— Семен говорит, что у вас голодуха. Возьмите пока жратвы у нас. В термосе — у меня он бойскаутский, на шесть литров,— кофе, хлеб тоже найдется и какие-то консервы. Потом рассчитаетесь с нашим каптером. А захотите поесть посерьезнее, так через дверь один молодой француз, как полагается, со своим ливре милитер¹ на войну выехал. Он вам без всякого для себя риска чего угодно накупит. Пока же вот курите.— К моему востор-

¹ Военный билет (франц.).

гу, он положил на диван пачку «кэмл». — Берите, берите, у нас в Бельгии они дешевле: государственной монополии на табачные изделия нет и ввозной пошлины тоже, и без того большое Конго маленькую Бельгию неплохо кормит.

Перед уходом он посоветовал до поры, до времени вести себя поскромнее и без особой необходимости на остановках не выходить.

— Удостоверения личности ни у кого ведь нет, а без него при малейшем недоразумении запросто могут сцапать.

— Мы... даже из купе никуда... Разве вот напротив по нужде.

— Это уж лишнее! Осторожность осторожностью, а с ума сходить незачем. В одном нашем вагоне, кроме вас, двадцать четыре таких же гаврика — все купе заняты, — да в следующем едет на моем попечении целая орава не слишком благодарных фламандцев. Так что прятать головы под скамейки не обязательно.

Вскоре жизнь у нас наладилась. Сначала мы пили полуостывший кофе с бутербродами. Покурили. После остановки в Шалон-сюр-Сон плотно позавтракали. Опять вволю закурили. В Маконе черноволосый француз — его звали Лягутт — купил нам еще провизии, а специально по моему заказу — две бутылки знаменитого местного вина, и мы позавтракали вторично.

Благодаря опущенной раме и настежь открытой двери в купе не было душно, хотя снаружи стоял совершенно летний день. Ганев мирно отсыпался на освободившейся скамье. Юнин, Остапченко и Дмитриев превосходно заснули и не вытягиваясь. Лишь Чебан то усаживался в ногах Ганева и со страдальческим видом закрывал глаза, то выходил из купе и беспокойно прохаживался взад и вперед. Я понимал его тревогу: любой случайный провал угрожал уже налаженной системе доставки добровольцев в республиканскую Испанию. Партийной организации «Союза возвращения на родину» и так пришлось преодолеть немало препятствий, пока наконец удалось отправить первую группу. Мы были второй; третья ждала своей очереди. А всего набралось уже свыше ста записавшихся, что составляло не меньше десяти процентов общей численности «Союза» вместе с престарелыми, женщинами и детьми. «К ноябрю очень просто роту сколотим», — сказал мне как-то Вася Ковалев.

Однако вначале это было очень и очень не просто. Я убедился в этом, когда на следующий же день после памятного митинга на велодроме, заручившись рекомендациями от двух французских коммунистов, с которыми не один год работал бок о бок, а также действовал вместе во время июньской всеобщей забастовки, я отправился на улицу Матюрен Моро, где за широкими воротами под номером 8 ранее размещались революционные профсоюзы, а с недавних пор, после их слияния с Сежете¹, — разнообразные мелкие объединения вроде новорожденного союза мойщиков стекол, уборщиц и полотеров, в числе организаторов которого был и я. Именно здесь, в одной из бесчисленных грязных комнат огромного обшарпанного здания, мне надлежало разыскать нужного человека. Но когда после долгих поисков удалось до него добраться, он, бегло просмотрев обе рекомендации, приложенную к ним краткую автобиографию, а также просьбу направить нижеподписавшегося сражаться за республиканскую Испанию, с сожалением покачал головой и возвратил мне бумаги:

— Пришел бы на несколько дней раньше! А теперь у нас новое распоряжение: не посылать ни одного русского. Своих начали отправлять целыми пачками, других иностранцев после проверки — тоже. Будь ты кто хочешь: итальянец, поляк, хотя бы абиссинец. А русских — нельзя.

— Но почему?

— Комитет по невмешательству.

— Так я же эмигрант, с нансеновским паспортом.

— Я-то понимаю. Но ты попробуй кого другого убедить, что это белые русские сражаются за красную Испанию. Представь на минуту, что иностранные

¹ Сокращенное (по первым буквам) наименование бывших реформистских профсоюзов, после слияния с революционными сохранивших свое название (Всеобщая конфедерация труда).

военные корреспонденты наткнутся на фронте хотя бы на одного русского, и все: прямое доказательство, что Советский Союз нарушает свои обязательства.

— Но тебя никто не заставляет указывать, что я русский. Напиши, что я поляк или лучше югослав: если понадобится, я сумею объясниться по-сербски.

Он, как это любят делать французы, пожал плечами:

— Не могу. Мой совет: обратись на рю де Бюси. Насчет таких, как ты, у них в руках все нити. Рю де Бюси, десять. Знаешь?

Еще бы не знать! По этому адресу на захудалой — даром что она начиналась в двух шагах от Сен Жермен де Пре — улице де Бюси находился «Союз возвращения на родину». Я состоял в нем с 1933 года, печатал под псевдонимом статьи в журнале «Наш Союз», читал доклады о советской литературе, даже сочинил и поставил к какой-то годовщине политический водевиль с куплетами — в общем, был на все руки. Но внутреннее мое отношение к деятельности этого учреждения было весьма скептическим. Иначе и быть не могло: ведь за последние пять лет, при среднем списочном составе приблизительно в тысячу человек, уехали на родину через «Союз возвращения» трое, причем один из них сам себе составил протекцию тем, что все это время был чрезвычайно активным председателем оной пассивной организации.

Все же я последовал совету компетентного товарища.

Вася Ковалев отнесся к моей просьбе, как я и предполагал, без энтузиазма.

— Еще один вояка выискался, — по привычке часто моргая, высказался он. — И откуда вы все взяли, товарищи, что мы посылаем в Испанию? Кто-то распространяет провокационные слухи, а вы обрадовались. Хорошо еще, что до сюрте не дошло. — Он снова поморгал. — Еще бы специалистом был, но ведь ты же военного образования не имеешь.

Я помолчал. Ссылаться на то, что до революции я успел два года проучиться в Первом кадетском корпусе в Петрограде, а потом — после перерыва по не зависящим от меня обстоятельствам — закончил Русский кадетский корпус в Сараеве, не стоило. Вася сам был недоучившимся донским кадетом и не хуже меня знал, что военная подготовка в кадетских корпусах сводилась к обучению шагистике, а в старшем классе — к некоторым манипуляциям с незаряженной берданкой; в Югославии же и берданок не было.

— Вот видишь. Не можем мы тебя отправить, — продолжал Вася Ковалев. — И вообще никого не отправляем. Понятно?

Насчет «никого» Вася безбожно врал. Куда девался его предшественник, предыдущий секретарь? Правда, он бывший офицер-артиллерист... Еще раньше уехал в Испанию регент хора, безукоризненно вежливый, необыкновенно доброжелательный старик Глиноедский, — но он был царским подполковником и закончил артиллерийскую академию. Уехал и славный мальчик из Риги, мой тезка, Алеша Кочетков, — но и он, невзирая на возраст, как-никак «специалист»: отбывал воинскую повинность в Латвии.

— Ладно. Спорить не о чем, — твердо заключил Вася Ковалев. — Нельзя — значит нельзя. А заявление все же оставь на всякий случай.

Перелистав врученные ему бумаги, Вася вздохнул, заложил их в толстый оперный клавир с подходящей к случаю надписью на переплете: «Севильский цирюльник», вдвинул ноты обратно на полку нотного шкафа и запер его на ключ.

Через неделю я опять навестил Васю Ковалева. В ответ на мой вопросительный взгляд он вполголоса пробурчал, что пока ничего не известно, но что меня, тем не менее, утвердили в списке восемнадцатым.

— Не единогласно, учти. Один товарищ из правления возражал. «Несерьезный, говорит, человек, еще недавно в церковь ходил и стихами занимался, как бы не подвел». Скажи спасибо Сереже — вступился за тебя.

Еще бы. Уж кому-кому, а ему-то грех было бы не вступить за несерьезного человека, писавшего стихи: ведь пол «Серрежей» подразумевался Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой.

Окончательно вопрос о добровольцах из «Союза возвращения» был разре-

шен лишь во второй половине октября. Дело решила знаменитая телеграмма, в которой было прямо сказано, что освобождение Испании от гнета фашистов есть общее дело всего передового человечества. Вычеркнуть нас из состава передового человечества никто все-таки не решился. Однако нам позволили ехать в Испанию при одном обязательном условии: каждый должен забыть, что он русский, и все вместе мы стали официально именоваться «группой без национальности» или еще более загадочно — «языковой группой»...

— Лион скоро... Просыпайтесь.

Вернувшийся после унылого топтанья по коридору Чебан разбудил нас и довольно здраво предложил нам перед Лионом «рассредоточиться» (скорее всего это было выражение Пьера), потому что если какая полиция предупреждена насчет нас, то скорее всего именно лионская.

Мы разбрелись по вагону. У последнего перед тамбуром окна стоял Пьер и задумчиво смотрел вдаль, на блестящую под солнцем Рону. Он подвинулся, уступая мне половину пейзажа. Завязался разговор. Услышав, что я не состою в партии, Пьер искренне удивился:

— У тебя есть с ней расхождения?

Мне пришлось объяснить, что расхождений нет и что около двух лет назад я был принят в партию по месту жительства в XIX аррондисмане и каждую среду ходил на собрания ячейки. Вместе со мной в ней числились тридцать три человека, тоже не имевших партийной организации на работе. Собирались мы в темной лавчонке угольщика, где, между прочим, имелась и оцинкованная стойка, и даже два круглых столика: по чуть ли не средневековому обычаю угольщик, кроме торговли углем и стянутыми проволокой просмоленными щепками для растопки, занимался еще продажей вина распивочно и навынос. Моей главной работой в ячейке была подробная информация о содержании «Правды» за каждую неделю. Но однажды после собрания, когда все уже разошлись, секретарь ячейки, а им был сам угольщик, в молчании распробовав со мной не носившую этикетки бутылку редчайшего, по его утверждению, красного вина, проводил меня до двери со звоночком и вдруг, конфузясь, объявил, что «сверху» пришло указание насчет таких, как я, товарищей и что я должен немедленно перечислиться в «языковую группу» на рю де Бюси. Я не то чтобы обиделся, но мне как-то не захотелось быть таким членом партии, которого помещают в специальную колбу.

Пьер, улыбаясь, заверил, что прекрасно меня понимает, но тут же лицо его стало серьезным. Тогда я прибавил, что с тех пор, как вручил консулу просьбу о принятии в советское гражданство, вступление во французскую компартию не кажется мне верным, раз я собираюсь бороться в ней лишь до поры, до времени.

— Но вступление в партию нужно не только ей, вернее, не столько ей, сколько тебе... — начал Пьер. — И все же ты, не зная того, задел во мне большую струну. Скоро шесть лет, что я в партии, мне поручали — теперь скрывать нечего — довольно ответственные дела: вплоть до отъезда я входил в ревизионную комиссию брюссельского комитета да сверх того был одним из трех, на ком лежала вся работа среди иностранных пролетариев, живущих в Бельгии или часто в нее наезжающих, как, например, между моряками с судов, приписанных к бельгийским портам. И выходит, что для меня навсегда уехать на родную Кубань — все равно что дезертировать.

Я чувствовал к Пьеру все возрастающую симпатию и поделился с ним, до чего меня шокируют обещания насчет визы на въезд в СССР «потом».

— Понимаешь, предложение какой-либо награды тем, кто по доброй воле идет защищать правое дело, кажется мне просто непристойным. А как же едут французы, фламандцы — им-то никто ничего не обещал? Чем же мы хуже?

— Ничем не хуже. Но продолжай.

— Мне трудно до конца представить себя на месте того, кто идейно вступил в белую армию и сознательно воевал против большевиков. Понятно, не моя

заслуга, что в Октябрьскую революцию мне исполнилось двенадцать лет, но и не моя вина, что я родился в дворянской семье и меня мальчиком вывезли за границу.

Я разгорячился и говорил громче, чем следовало.

— Спокойнее, — коснулся моей руки Пьер. — Тем более что с моей стороны особых возражений не будет. Не забывай все же, что между нами есть и такие, кто обязан искупить свои грехи, если даже предположить, что степень личной ответственности в исторических событиях такого масштаба преувеличивать, да еще спустя почти двадцать лет, не стоит. Ведь не все же из нашего брата едут в Испанию незапятнанными. Я вот всего на три года старше тебя, а у Деникина служил.

Мне стало стыдно за свою бестактность, и я молчал.

— Во время последнего отступления дядя, брат моей матери, казачий офицер, заехал с ординарцем к нам. Мой покойный отец был из обрусевших немецких колонистов, фамилия моя Гримм, а мать — кубанская казачка. Переночевал дядя на кровати отца, а утром оделся, напился чаю и говорит: «Прощай, сестра. А ты, Петр, собирайся со мной. Настал смертный час России, ей теперь и юноши нужны». Дали мне запаленного коня, бурку, шашку и карабин. Мать, плача, благословила меня образом, и я, как ты выражаешься, «идейно» сделался бело-гвардейцем. Воевать мне, впрочем, не пришлось: до Новороссийска мы драпали, не оглядываясь, без арьергардных боев. Но во время драла дядька усиленно тренировал меня и в стрельбе и в рубке. Возможно, теперь пригодится.

Сбоку к Пьеру подошел бледный, как после болезни, большеголовый человек в очках и что-то зашептал ему на ухо.

— Сейчас, сейчас схожу, Володя. Опять мои уленшпигели расшумелись, — пояснил Пьер. — Ты пока познакомься с еще одним будущим соратником.

В будущем соратнике не было ничего от васнецовского богатыря. Он вяло протянул мне холодную руку и так невнятно произнес свою фамилию, что я не столько расслышал, сколько догадался.

— Лившиц? Послушайте, где же вы пропадали? Вас на вокзале в Париже какая-то девушка разыскивала...

— Моя сестра. Мы из Кишинева, но она учится в Париже, а я в Брюсселе. Почти три года не виделись: когда каникулы, я работаю.

— Она так вас звала! Неужели вы не слышали?

— Слышал. Но нам запретили с кем-либо в Париже общаться, даже писать. Ей, наверно, кто-то из друзей телеграфировал. Вот я и прятался от нее...

— Это уж чересчур...

— Чересчур или не чересчур, а дисциплина есть дисциплина, и всем нам необходимо себя к ней приучать. Иначе какие же из нас будут солдаты?

Пьер скоро вернулся, а Лившиц ушел. В противоположном конце вагона прохаживался взад-вперед Чебан, лицо его сохраняло прежнее величественное выражение. Я сострил, что он волнуется, словно классная дама, прогуливающая смолянок по Летнему саду, где табунами бродят гвардейские корнеты.

— Да, очень переживает, — мягко заметил Пьер. — У него очень развито чувство ответственности за порученное ему дело, ну, да и нервы пошаливают. Что ж удивительного: такая жизнь! Я ведь Семена давно знаю, никак не привыкну, что он Чебан, все хочется назвать его настоящую фамилию.

И Пьер рассказал мне историю Семена, который, оказывается, вовсе не Чебан. Он родился в глухом углу северо-западной Бессарабии, возле самой румынской границы. Когда в 1918 году, воспользовавшись гражданской войной, боярская Румыния откромсала Бессарабию от России, наш будущий респонсабль был еще мальчишкой. Но он навсегда запомнил драматические подробности крестьянского восстания, охватившего вскоре Хотинский уезд, населенный украинцами, не желавшими отходить к Румынии и тем самым возвращаться под власть помещиков.

Еще глубже запала в сердце мальчика память о свирепых карательных мерах, обрушившихся на крестьян после того, как румынские войска подавили восстание. Вот почему Семен, когда его призвали в королевскую армию, не счел возможным служить румынским порабитителям. Отец и юная жена согласились с ним. Они продали единственную корову, и Семен внес свой пай вербовщику, набравшему на заманчивых условиях лесорубов в далекую Канаду. Семен уехал накануне явки на медицинскую комиссию, и его объявили дезертиром.

Орудовавший по темным бессарабским селам вербовщик оказался жуликом: группа завербованных, в которую входил Семен, была завезена на забытый богом и людьми полустанок, не доезжая Ванкувера, и высажена. Не то что обещанного контракта, но и вообще никакого заработка там найти не удалось. Обманутые люди кое-как добрались до Ванкувера. Оттуда Семен, истратив на билет зашитые в подкладку куртки последние доллары, выехал на юг, к родственникам матери, эмигрировавшим в Канаду еще до мировой войны. Там свалившегося на голову сродничка устроили батраком к знакомому фермеру, но тем же летом ферма пошла с молотка. Семен нанялся по соседству к другому, однако сезон скоро кончился, и Семен остался без дела. Ему удалось было устроиться в городке на ночную работу мойщиком автомобилей, но объясняться с не знающим языка иммигрантом было слишком сложно, и его уволили. Он брался за любую работу: таскал кирпичи на постройке, носил рекламные щиты, опять мыл машины, побывал и в уборщиках и в сторожах.

Летом опять стал батрачить, но унаследованный от отца строптивый характер привел к тому, что к осени Семен оказался среди зачинщиков стачки батраков. Его арестовали и вместе с другими предали суду по обвинению в сопротивлении властям. Воспользовавшись его неопытностью, подкупленным переводчиком, а также и тем, что документы, по которым Семен прибыл в Канаду, были не совсем в порядке, суд, оправдав остальных, признал Семена виновным. Семен отсидел месяц в тюрьме, после чего ему предложили покинуть страну. Он перебрался в штаты и попал в Детройт на заводы Форда. Едва Семен освоил две-три операции, как при очередной перестройке конвейера был сокращен. Пришлось снова перебиваться с хлеба на воду, пока Форд не приступил к новому набору. Мало-помалу Семен овладел английским, настолько по крайней мере, чтобы поболтать с товарищами по работе о том, о сем. От разговоров на политические темы Семен старательно уклонялся, а тех рабочих, которые слыли коммунистами, опасливо обходил. Зато в профсоюзную организацию он записался и аккуратно платил членские взносы.

Но и принадлежность к профсоюзам завершилась для Семена плачевно. Он был задержан заводской полицией с листовками, призывающими к забастовке, обвинен в коммунистической деятельности и посажен за решетку. Отбыв положенный срок, Семен опять сунулся в Канаду, но его тут же сцапали как иностранного агента и посоветовали поскорее убраться из пределов доминиона.

Он нанялся матросом на первый попавшийся пароход, принадлежавший, как выяснилось, бельгийским судовладельцам. Случилось так, что на нем плавал Федор Галаган — бывший участник восстания на «Потемкине». Теперь, коротая в прокуренном кубрике свободные от вахты часы, Семен не только мог отвести душу, говоря по-украински. От старого морского волка и закаленного революционера он очень многое узнал, многое с его помощью осмыслил, и через некоторое время Федор Галаган выступал в роли крестного отца Семена при вступлении его в бельгийскую коммунистическую партию. Судовладельческая компания скоро пронюхала о нежелательном направлении мыслей ее нового служащего, и при первом удобном случае Семен был списан на берег.

У молодого коммуниста имелся теперь уже известный жизненный опыт, он владел тремя языками, и партия доверила ему работу в антверпенском порту среди докеров и матросов из русских и украинских эмигрантов. Активность, проявленная Семеном, привлекла к нему внимание сыщиков и закончилась допросом в полицейском участке. После нескольких недель содержания под арестом

Семен был признан «нежелательным иностранцем», и ему предписали покинуть территорию бельгийского королевства.

Однако деться ему было некуда. Пришлось остаться в Антверпене. Вскоре за невыполнение постановления о выезде Семена вновь арестовали и приговорили к трем месяцам тюремного заключения. А через три месяца препроводили по этапу к французской границе, и бельгийские жандармы указали тропинку, ведущую во Францию. «Алле-уп!» — сказали они, двинув Семена прикладом. Едва нежелательный иностранец оказался на французской земле, как был схвачен, и через несколько суток уже французский судья приговорил его за незаконный переход границы к трем месяцам тюрьмы с последующим выселением из республики. По прошествии их два французских гард-мобиля повезли его к бельгийской границе, довели до тропинки контрабандистов и, шарахнув в спину прикладом, в свою очередь сказали: «Алле-уп!» Наученный горьким опытом, Семен сумел проскользнуть мимо бельгийских постов и достигнуть Брюсселя.

— Он разыскал меня, — рассказывал Пьер Гримм. — Нам доводилось встречаться раньше, когда меня посылали в Антверпен разбирать конфликты в тамошней довольно пестрой партийной среде. Но тут я его еле узнал. Собственными руками я отскреб с него грязь в ванной, дал ему пару белья, старые брюки и пиджак; жена накормила его и ушла ночевать к подруге. Семен прожил у меня несколько дней, а там сжег свои заштемпелеванные румынские документы — при повторной судимости за невыезд ему грозил уже год — и поехал в Гент. Несколько месяцев он продержался среди гентских грузчиков и моряков, пока на него не донесли и он не был опять арестован. За отсутствием какого бы то ни было удостоверения личности и постоянного местожительства он получил три месяца за бродяжничество и еще одно постановление о выселении из Бельгии. Семен отсидел свое, затем, следуя раз навсегда заведенному порядку, его доставили к границе и выпихнули во Францию, сказав ритуальное «алле-уп!». В ту же ночь он вернулся, но в Антверпене полицейские осведомители снова опознали его, и теперь Семен просидел уже полгода. Следующее свидание с судьей должно было закончиться еще хуже, а потому, едва он, подписав бумажку о добровольном выезде в двадцать четыре часа, был выпущен, как по решению партии его перебросили к вам, в Париж...

Уже смеркалось, когда поезд медленно подходил к длинной платформе перпиньянского вокзала. Мы заранее столпились на площадке. Не дав вагону остановиться, Чебан прыгнул, за ним посыпались и мы.

Здание вокзала выглядело вымершим. Кроме носильщика, подкатывавшего двухколесную тачку к спальному вагону, двух монахинь и дежурного по станции, на перроне никого не было. Но прошло несколько секунд — и он заполнился сошедшими с поезда. Не зная, что делать, мы инстинктивно сгрудились около обжитого вагона. Но спустившийся последним Пьер Гримм, подавая пример, быстро направился за толпой приезжих, и все потянулись за ним. С карабинами и металлических касках навстречу неспешно вышагивала парочка полевых жандармов. При виде их не у одного меня, должно быть, захолонуло сердце, но они равнодушно разминулись с нами.

У выхода в город контролеры отбирали билеты, и, как всегда бывает, там образовалась пробка. Приблизившись, мы увидели железнодорожника в форме, взглядом приглашавшего проходить дальше. Возле служебного входа стояли еще двое, повторяя вполголоса по-французски:

— Сюда, товарищи, сюда. Поворачивайте сюда, товарищи. Выход здесь.

Свет в коридоре не горел, и, указывая нам путь, кто-то покачивал закопченным фонарем. Снаружи было совсем темно. К тротуару одно за другим подкатывали такси с выключенными фарами. Хлопали дверцы. Черные силуэты, сгибаясь, усаживались в поданную машину, и она немедленно отъезжала.

Чья-то рука подхватила меня под локоть, посадила, и я очутился в набитой людьми машине. Она рванулась и понеслась по слабо освещенному городу. На-

сколько я мог рассмотреть сидящих рядом, никого из нашего купе как будто не было. Все молчали. Влетев в темную, пустынную улочку, шофер вдруг включил фары, сделал опасно крутой поворот и, проскочив мимо каменных столбов, резко затормозил на площади. Фары погасли. Снаружи открыли дверцы, и мы, сидевшие друг на друге, вывалились в теплый мрак. Однако и в нем можно было определить, что мы находились не на площади, а скорее на плацу казармы или во дворе монастыря.

Кто-то невидимый, светя под ноги карманным фонариком, повел нас по неровно выложенным плитам куда-то вбок. Луч фонарика скользнул по арке входа, осветил стертые ступени. Мы, спотыкаясь, поднялись по сложенной из песчаника широкой винтовой лестнице и вошли под своды галереи. Здесь тоже не было никакого освещения. Чиркнула спичка — и я узнал озаренное вспышкой веселое лицо пытающегося закурить Лягутта, но спичку задули.

— Не курить, не курить, товарищи, везде сухое сено, — гулко прозвучал во мраке голос с твердым, нефранцузским произношением. — Ночь вам придется провести без курения и без света. На войне, как на войне, — прибавил он.

Фонарик осветил широкий проем без дверей, и мы вошли в огромную пустую комнату с каменным полом и светлыми пятнами квадратных окон не только без стекол, но и без рам.

— Устраивайтесь до утра, как сможете, — предложил незримый провожатый. — Спокойной ночи. Иду встречать других.

Я ощупью добрался до наваленного вдоль стен колючего сена и растянулся на нем, подсунув вместо подушки чемоданчик. Рядом, тихонько переговариваясь по-французски, укладывались другие. Оторвавшись от своих, я испытывал легкое беспокойство, но тем не менее мгновенно заснул и уже сквозь сон слышал, как к нам ввели еще одну партию.

Едва забрезжил рассвет, я проснулся. Из окон с вынутыми рамами тянуло ветерком. Слева от меня, раскинув руки и раскрыв круглый рот, спал на спине Лягутт. С другой стороны храпел кто-то неизвестный. Из-за него слышался знакомый посвист синички. Я оперся на локоть: так и есть, зарывшись в сено с головой, там спал Юнин. Через двух человек за ним я узнал латаный пиджак Чебана, а в самом углу свернулся калачиком Лившиц. Ни Ганева, ни Остапченко, ни Трояна, ни Иванова, ни Дмитриева с нами не было.

Кое-как отряхнув приставшее к брюкам и куртке сено, я достал туалетные принадлежности и отправился поискать, где бы умыться. В бесконечном коридоре мне встретились Иванов и Троян, чисто выбритые и с мокрыми полотенцами на плечах. Иванов рассказал, что во дворе есть два пожарных крана и помпа и что вода из помпы холодная, «аж зубы стынут».

Иванов не только нашел, где привести себя в порядок, он успел многое разузнать. Мы, оказывается, ночевали в старом городском госпитале. Догадливые люди из перпиньянской партийной организации использовали заброшенные полуразвалины в качестве тайного пристанища для транзитных путешественников. Местные власти смотрели на это сквозь пальцы, и полиция делала вид, что ничего не замечает: муниципалитет здесь в руках Народного фронта, да и депутатом от Перпиньяна избран при поддержке коммунистов социалист. Два дня никого через границу не переправляли, и сегодня в госпитале ночевало человек двести.

— Возможно, что несколько суток тут просидим. Питание, между прочим, не организовано, но напротив ворот есть бистро, открыто с шести утра и до десяти вечера, можно и пожрать, и выпить, и в белот сыграть. А три раза в день, говорят, прямо во двор приезжает торговец с тележкой и продает все: и хлеб, и сыр, и шоколад, и разливное винишко, и сигареты. В общем, не пропадем.

Когда через час мы впятером — Чебан, Лившиц, Юнин, я и тяготевший к нам Лягутт — подходили к столбам, на которых некогда висели чугунные ворота госпиталя, огромный, по краям поросший бурьяном двор кишмя кишел людьми.

В небольшом кафе через улицу был невообразимый гам и дым стоял коромыслом. Не то чтобы занять столик, но и пробиться к стойке нечего было и

думать. Но в возбужденной разношерстной и многоязычной толпе господствовало такое доброжелательство, что сравнительно скоро нам из рук в руки передали, что только требовалось, и сантим в сантим всю сдачу. Охрипшие, потные, но довольные хозяин и хозяйка быстро были в нескрываемом, не только коммерческом, восторге от своей случайной клиентуры и на здешнем французском языке, схожем с языком марсельских анекдотов, просили поскорее набить морду этим поганым «фасистам». Железные столики ходуном ходили под бухающими по ним кулаками спорящих о сроках разгрома мятежных генералов. Большинство было уверено, что после нашего приезда это вопрос двух-трех месяцев, но находились и пессимисты, считавшие, что дело может затянуться до весны.

Трудно было поверить, что наступили последние числа октября. Палящее солнце неподвижно повисло в зените, ни облачка не виднелось в побледневшем от жары небе. Но как ни припекало, люди по-прежнему толпились на горячих плитах, обсуждая напечатанные в газетах сводки и выражая беспокойство, как бы нам всем при такой волоките на границе не опоздать, чего доброго, к решающим боям за Мадрид.

Наступили вторые сутки нашего пребывания в заброшенном госпитале. В конце дня в палату, где я одиноко валялся на сене, перечитывая раннее издание «Депеш де Тулуз», вбегал Чебан.

— Лёш, тебя... Ищут тебя...

Не прошло и пяти минут, как я, несколько запыхавшись, уже стоял у передней и единственной дверцы старомодного автокара, в свое время, если судить по расцветке и ограждению для чемоданов на крыше, принадлежавшего туристическому агентству. Плотный, похожий на цыгана человек в пиджаке, но без галстука, с торчащей из пристяжного воротничка позеленевшей от пота медной запонкой спросил, как меня зовут, сверился с документами на гербовой бумаге и указал пальцем единственное еще не занятое откидное сиденье возле входа.

Среди находившихся в автокаре я не увидел ни одного знакомого лица. Как это ни странно, все вошедшие раньше меня были, словно на подбор, светлыми блондинами. Но даже среди них выделялся неправдоподобно желтыми прямыми волосами сидевший в глубине очень высокий молодой человек, скорее всего скандинав, с обожженным южным солнцем правильным лицом. Однако еще больше, чем мастью, великан поражал своим фантастическим туалетом: на нем было вызывающее сострадание в эту жару черное драповое пальто с бархатным воротником, белое шелковое кашне и в довершение всего лоснящийся котелок. Лет десять назад в глухой провинции так одевались пожилые приказчики, и то лишь на похороны, а в Париже — сыщики.

Распорядившийся посадкой поднялся сразу за мной и обвел всех взглядом. На секунду в его блестяще-черных, как маслины, глазах мелькнула смешливая искорка, но погасла, когда он заговорил с жестким здешним акцентом:

— Мы выезжаем, товарищи. Я сопровождаю вас до цели и отвечаю за все, что может случиться. Но случиться ничего не может. Мы пересекаем границу совершенно легально. Все вы, тридцать семь человек, испанские граждане, бывшие на заработках во Франции, но решившие в связи с событиями вернуться на родину. Испанский консул в Перпиньяне выписал на вас общий паспорт. На нем испанская въездная и французская въездная визы. Все, выходит, в полном порядке. Но беда в том, что таких испанцев, как вы, свет не видывал: все до одного, — он искоса глянул на меня, — все, кроме одного, настоящие альбиносы. Если вам не хочется, чтобы вас, а заодно и меня грызли клопы перпиньянской тюрьмы, соблюдайте абсолютное молчание, и не при таможенном осмотре, а уже ейчас, с этой вот минуты. Кто не сумеет удержаться, пусть объясняется шепотом. Окон не открывайте и не высовывайтесь, чтобы, если где-нибудь остановимся, никакой фашистский провокатор не смог попытаться поболтать с вами по-испански или по-каталонски. А ты, товарищ, там, позади, сними, пожалуйста, с головы свою дыню, зачем ты задумал подражать английским лордам?

Я оглянулся. Скандинав, по-видимому, не понимал по-французски и котелка не снял. Говоривший безнадежно махнул рукой, уселся на свое место рядом с шофером, где обычно помещается гид, и что-то проговорил на местном диалекте, потом опять повернулся к нам.

— Итак, о чем бы вас ни спрашивали на границе, вы глухонемые. Все меня поняли? Тогда вперед.

Шофер нажал на стартер. Машина затряслась, сдвинулась и выползла на пустырь за воротами. С полчаса мы, объезжая город, виляли по задворкам и наконец выбрались на мощеную дорогу, а с нее — на обсаженное вековыми платанами асфальтированное шоссе. Сзади меня царило поистине гробовое молчание. Прошел час. Шоссе стало подниматься в гору. Пошли повороты. Платаны сменились молодым, но довольно диким лесом. Непрерывно трубя, автокар пролетел через небольшое селение. Ему вслед смотрели с любопытством.

— Ну, ребята, скоро и граница, — сказал нам провожатый, когда мы опять въехали в лес, — держитесь, помните, что вы испанцы.

4

Заросшее ущелье, по которому пролегалo шоссе, вдруг превратилось в улицу: по обеим сторонам потянулись прижатые к склонам двухэтажные побеленные дома с чугунными балконами и с парадными прямо на гудрон — здесь не только для палисадников, для тротуара не хватало места.

Неожиданно автокар стал словно вкопанный у переезда через железнодорожное полотно, хотя шлагбаум был поднят. От крайнего домика справа, украшенного трехцветным флагом и овальным щитом с надписью «Таможня», отделились три гард-мобиля и в ногу направились к нам.

Если до сих пор в автокаре царила гробовая тишина, то сейчас ее можно было назвать загробной. Шаги жандармов звучали в ней, как удары в гонг.

Наш провожатый предупредительно развернул отпечатанный на тонком муаровом картоне паспорт, оптовый на весь гурт. Один из гард-мобилей с сержантскими шевронами на рукаве взял документ и бегло просмотрел его.

— Тридцать семь, — бросил он стоявшему рядом капралу.

Тот затенил сбоку глаза согнутой ладонью и через стекло принялся нас пересчитывать.

— Верно, — подтвердил он, отступая.

Сержант просунул внутрь. Мы, кажется, и дышать перестали.

— Запрещенного ничего нет? — спросил он и, не дожидаясь ответа, начал скороговоркой: — Наркотиков, золота в слитках, неоправленных драгоценных камней, денег во франках или иностранных дивизах, превышающих дозволенную сумму, огнестрельного оружия не охотничьего образца?.. — Он подмигнул. — Крупнокалиберной мортиры, например, э?..

— Проверь, — подсказал третий гард-мобиль, дружелюбно осклабясь.

Сержант ткнул пальцем в мой чемоданчик:

— Откройте.

Щелкнул никелированный замок. Сверху лежало непросохшее полотенце, и я приподнял его. Сержант оглядел носовые платки, тюбик зубной пасты, коричневых верблюдов на глянцевитых пачках сигарет.

— Мерси, мсье, — поблагодарил он и вдруг заговорил по-испански.

Я понимающе улыбнулся в ответ, но, надо думать, у меня это не слишком получилось, ибо сержант усмехнулся и уже опять по-французски заключил:

— Возвращаясь на свою родину, сударь, вы напрасно не захватили самоучитель испанского языка.

Левой рукой он возвратил интегральный паспорт нашему проводнику, заложил ее за спину под карабин и прижал два пальца правой к каске:

— Все в порядке. Можете ехать.

Автокар рванул с места, но тут же ему пришлось умерить пыл: путь пересекали рельсы. Машина, колыхаясь, переползла через них, проехала под вто-

рым шламбаумом и скатилась на продолжение прямой белой улицы. На ней не было ни души. Шагах в трехстах от переезда она заворачивала вправо. По всей вероятности, там, за поворотом, и находилась вождеденная испанская граница. Однако шофер, вместо того чтобы прибавить газу, взял к обочине и остановился.

— Вот вы и в Испании, — как ни в чем не бывало объявил наш провожатый.

Едва успел он договорить, как чей-то восторженный фальцет выкрикнул:

— De-e-bout!..¹

И тридцать семь глоток взревели такой «Интернационал», что старенький автокар ходуном заходил.

Ведавший нашей доставкой перпиньянский товарищ поспешно выскочил из машины, пересек шоссе наискосок и скрылся в первом от переезда доме. Как и на всех соседних, казавшихся вымершими зданиях, на нем висел, спускаясь почти до земли, невероятных размеров флаг, состоящий из двух сшитых по диагонали треугольных полотнищ — черного и красного. От кого-то из побывавших в Испании я уже знал, что это цвета иберийских анархистов.

Прошло не меньше получаса. Наконец наш проводник вынырнул из-под черно-красного стяга и, пряча коллективный паспорт в карман пиджака, опрометью бросился к автокару.

Шофер, едва лишь его шеф взобрался в машину, дернул так, что тот мешком плюхнулся на место, а я чуть не упал с откидного, без спинки, сиденья.

Дребезжа, как цыганская повозка, автокар лихо преодолел поворот, пронесся мимо заброшенной заправочной станции и, так и не встретив ни одного человека, вылетел из поселка. Тогда, будто избежав опасности, шофер откинулся в кресле и сбавил скорость.

Хотя переезда границы никто не заметил, начинало чувствоваться, что мы в другой стране, и не только из-за шоссе, которое было гораздо уже французских. Все здесь выглядело глуше, беднее. Главное же, что поражало — это безлюдье. Далеко в горах и у их подножий можно было разглядеть небольшие селения, но низменность, прорезанная прямым и узким шоссе, казалась необитаемой.

По мере того как смеркалось, шоссе делалось светлее, а земля по бокам темнее. Но вот в черноте, раздвигаемей прыгающим над шоссе конусом света, за сверкали и широко рассыпались в стороны электрические огни. Мы приближались к населенному пункту.

Под первым фонарем у въезда стояла кучка вооруженных людей. Один из них шагнул навстречу и поднял винтовку над головой, но наш шофер лишь потрубил и промчался мимо... Не проехали мы и полкилометра, как очутились в центре какого-то местечка. Пригасив фары и непрерывно гудя, автокар медленно продвигался среди густой, празднично разодетой толпы, от тротуара до тротуара заполнявшей главную улицу. На домах развевались черно-багровые флаги, изредка с подоконников свисали и другие — оранжевые в частую красную полоску. Перпиньянский товарищ не без самодовольства пояснил, что это национальные цвета каталонцев.

Осторожно раздвигая вечернее гулянье, мы добрались до площади с большим кафе, обставленным пальмами в кадках, пересекли ее и свернули в узкую улочку. Над нами, заслоня звездное небо, встали громадные темные стены не то средневекового замка, не то стародавней крепости. По въездному мосту, через напоминающие шлюз ворота, в которых разгуливал кутавшийся в одеяло часовой, автокар прошел короткий туннель и остановился в неосвещенном дворе.

— Прибыли, — со вздохом облегчения объявил перпиньянец.

Мы выпрыгнули на цементные плиты, разминая ноги. Из мрака к нам сбегались, топоча и перекликаясь по-французски.

— Эй! — на бегу кричал невидимый тенор. — Есть кто из Парижа?

— Есть, есть, — отвечало сразу несколько голосов.

— Ну, как там? — посыпались вопросы. — Что нового? Сена не пересохла?

¹ Вставай!.. (Франц.)

— Чтоб у тебя глотка пересохла!

— Кто тут из Клиши? А из Леваллуа-Перре? Из Нанси никого?

— Дайте им опомниться, товарищи, — услащивал наш гид. — Лучше покажите, где отдохнуть.

Но не дав ни нам, ни ему опомниться, во двор, качая снопами фар, влетел длинный белый автобус. Дверцы его распахнулись еще на ходу, и из них в световое пятно от фонарей автокара с гамом посыпались новые приезжие, оказавшиеся старыми моими знакомыми — конспиративными фламандцами в спортивных куртках. За фламандцами выгрузилось еще человек сорок, но никого из знакомых не было. С тем большим удовольствием увидел я Володю Лившица. Однако, протолкавшись к нему и обменявшись рукопожатием, я не успел его распрощать: чей-то привыкший распоряжаться голос объявил из темноты, что в отведенном для нас помещении, к несчастью, нет света, а кроме того, там уже спят и потому нам удобнее будет расположиться на ночлег в пустующих казематах, благо и ночь не холодная.

Неся разобранные железные койки, мы вдвоем с Лившицем добрались до самого дальнего из них. На пороге я чиркнул зажигалкой. Она успела озарить голые стены, цементный пол и — главное — отсутствие других ночлежников.

Проснулся я на рассвете от оглушающего жужжания множества мух. Лившиц, поджав колени к острому подбородку, безмятежно спал, без очков, и во сне лицо его выглядело по-детски беспомощным.

Снаружи распространялось празднично ясное утро. Солнце еще не перевалило через Пиренеи, но в прозрачную голубизну неба уже больно было смотреть.

На обширном плацу крепости, возведенной, несомненно, в начале века на одном из двух возможных путей продвижения французских войск, кое-где прогуливались по одному или по двое бодрствующие товарищи. Быстро шагая в ногу, меня обогнали человек пятнадцать — молодых, рослых, чисто одетых; по внешнему виду скорее всего их можно было принять за студентов. Они пересекли плац и по наружной лестнице, выложенной в самой высокой, обращенной на восток стене, поднялись на парапет и выстроились у флагштока под колышущимся на нем невероятных размеров анархистским флагом. Обратившись лицами навстречу еще не взошедшему солнцу, они подняли кулаки и стройно запели звучавшую, как бравурный марш, песню.

Как бы в ответ на нее первые солнечные лучи пучком озарили знамя, а потом упали и на поющих. Театрально освещенное утренним солнцем траурно-красное полотнище, развевающееся на сверхъестественно голубом фоне над декоративной крепостной стеной, и дружный хор сильных мужских голосов делали все похожим на сцену из какой-то оперы.

В дополнение из ниши крепостных ворот выступил, как и следует быть в добropорядочной опере, герольд с трубой в руке. Единственное, что портило дело — труба была давно не чищена, да и наряд трубача был скорее для оперетты. Расстегнутый солдатский френч спускался на серые полосатые брюки, а из-под них выглядывали белые полотняные тапочки. На голове красовалась надвинутая на самые брови рогатая пилотка с болтающейся на шнурке кисточкой, концы шелкового черного с красным шейного платка свисали на голую грудь. На левом плече горнист придерживал большим пальцем брезентовую перевязь направленной дулом в землю винтовки. Выставив ногу и вскинув горн вверх, как делают на парадах фанфаристы, он раскатисто протрубил несколько раз. Через несколько минут плац заполнился потягивающимися и зевающими людьми.

И тут я увидел, что по лесенке, ведущей из какой-то землянки, должно быть, открытой для порохового погреба, поднимается, щурясь от солнца, встречанный и неумытый Семен Чебан. За ним, обеими ладонями пригладивая прическу, показался Ганев, а дальше — все наше купе в полном составе.

Я кинулся к ним, и Семен раскрыл навстречу прямо-таки отеческие объятия. Мы погрелись на солнышке и побеседовали — не слишком, надо признать, оживленно: сказывался суточный пост.

Около одиннадцати все постояльцы крепости потянулись к столовой, расположенной в отдельном одноэтажном здании. Во главе со своими «ответственными» в ней сидели представители многих народов, и в неразборчивую разноглаголицу вплеталась то немецкая, то итальянская, то некая совсем непостижимая речь. Всего, по черновым подсчетам Володи Лившица, здесь было не меньше двухсот едоков. Потные кухари в грязных передниках бегом разносили пирамиды глиняных мисок и с ловкостью жонглеров расшвыривали их по деревянным столам; на каждом с одного конца рядами стояли пустые жестяные кружки, с другого — была свалена груда потертых алюминиевых ложек, а посередине сложены клетью узкие, как кирпичи, белые буханки. Разломив и попробовав крахмальную белизны крутой, неприятно пресный хлеб и разобрав ложки, мы с плохо скрываемым нетерпением ждали, пока миски, запускаемые рукой кухонного фокусника, поочередно докатывались по полированной поверхности до нас.

От непонятого блюда исходил очень сильный, но не очень приятный запах. Никто не мог сообразить, из чего оно приготовлено.

— Турецкий горох,— рассеял всеобщее недоумение Ганев.— Правильное название — нут. Сытно, но неудобоваримо.

Зацепив ложкой некоторую толику вышеупомянутых нутов, по величине похожих на разваренные желуди, он храбро сунул их в рот.

— Лопай, что дают,— хмуро заметил Иванов.— Посмотрите вон на Трояна.

— Рад бы, да очень уж непривычно,— пожаловался Дмитриев.

— В стране война,— строго напомнил Лившиц.— Привередничать стыдно.

Снова появились раздатчики. По двое они волокли сорокалитровые бидоны, в каких по всему белому свету развозят молоко, но принялись разливать из них по составленным в концах столов кружкам вино. Мутное и лиловое, как чернила, сладковато-терпкое, оно отдавало медным привкусом и ничуть не походило на сухие французские вина. Тем не менее принято оно было всеми благосклонно. Посыпались шутки, послышался смех.

Внезапно все головы повернулись к дверям. От них упругими шагами по проходу двигался очень красивый молодой испанец в защитного цвета рубашке с засученными рукавами и с повязанным по-пионерски черно-красным галстуком; широкий кожаный пояс на молодом человеке оттягивала спереди тяжелая кобура. Вошедшего сопровождал маленький, аккуратно одетый штатский с излишне самоуверенным лицом — по всей видимости, переводчик. Оба поднялись на небольшое возвышение в глубине, на котором стоял ненакрытый круглый столик. В разных местах зала зашикали, и настала полная тишина.

— Внимание, товарищи!— не напрягаясь, но так, что было слышно в отдаленных углах, провозгласил переводчик по-французски.

— Я этого человека знаю,— зашептал Володя Лившиц.— Он тоже из Брюсселя. А вообще-то из Польши. Зовут его Болек. Болеслав. Выходец из богатой и религиозной еврейской семьи. Порвал с ней. Играет заметную роль в студенческой партийной организации. Никак не подумал бы, что он здесь.

— Внимание!— повторил Болек.— К нам пришел представитель местных революционных сил. Он командир, или, правильнее, респонсаль, роты, несущей караульную службу в крепости, и тем самым является нашим гостеприимным хозяином. Камарада хочет сказать вам несколько слов.

Присевший в ожидании на край столика респонсаль караула соскочил и шагнул навстречу аплодисментам. Теперь, когда, горделиво вскинув подбородок и положив правую руку на кобуру, он повернулся лицом к нам, было хорошо видно, что это совсем еще мальчик, и притом поразительно похожий на недавнего кумира кинозрительниц обеих Америк и всей Западной Европы — на божественного Рамона Наварро.

Нельзя было, однако, не заметить, что готовившийся нас приветствовать представитель местных революционных сил по неизвестной причине охвачен негодованием. Он побледнел, ноздри его раздулись. Про его большие, как у женщины,

глаза Генрик Сенкевич сказал бы, что они метали молнии. В нетерпении прекрасный юноша даже топнул и срывающимся голосом быстро что-то прокричал сквозь наши рукоплескания и повелительно взглянул на Болека.

— Вы что, в театр пришли или в ночное увеселительное заведение? — не отстающей от возбужденного молодого испанца французской скороговоркой, только без всякого выражения, перевел Боек. — Зачем вы мне аплодируете, как полуголой танцовщице? Разве вы знаете, что я вам скажу?

Аплодисменты вмиг стихли. Наступила неловкая пауза, продолжительная, будто мы и впрямь сидели в театре. Не знаю, как другие, но я испытывал стыд за невольную совершенную бестактность. Дурацкий действительно обычай...

Разгневанный молодой человек, по-прежнему держась за кобуру, сделал еще шаг к нам и поставил ногу на барьер, смотря на нас свысока и в прямом и в переносном смысле слова. Мы доброжелательно выжидали.

Он сухо произнес обращение, но это не было ни «камарадас», ни «компаньерос», которых все ожидали.

— Иностранцы! — перевел Боек.

Многие переглянулись.

— От анархистов города Фигераса, от всех братьев-анархистов Каталонии я говорю тем из вас, кто ступил на нашу землю с честным намерением: салуд!

За одним из столов по инерции начали было аплодировать, но вовремя спохватились. Молоденький анархист презрительно покосился в ту сторону.

— Но имейте в виду, нам достоверно известно, что среди вас есть и такие, которые приехали сюда не для того, чтобы героически умирать рядом с нами, но чтобы после победы над фашистами помочь одной партии захватить власть и установить свою диктатуру. От имени Федерации анархистов Иберии, от имени миллионной нашей Национальной конфедерации труда предупреждаю: таких ждет позорный конец! — По его лицу пробегала нервная дрожь, нежный девичий рот искривился. — Верная гибель и вечное проклятие испанского пролетариата ожидает их здесь! Мы, вольные анархисты, мы, непоколебимые враги любых форм рабства, не позволим никому командовать нами! Долой всякую власть! Да здравствует либертарная революция! Да здравствуем мы!

Боек бесстрастно, но громко и отчетливо переводил одно звонкое восклицание за другим. На сей раз воля гордого юноши была уважена и аплодисментов не последовало: его выступление настолько не походило на приветственное, что слушатели несколько оторопели. Однако, несмотря на заключающийся в этой речи оскорбительный намек и сопровождавшие его угрозы, никто не рассердился. Почему-то этот дерзкий юноша не вызывал враждебного чувства. Подкупала его искренность, его самолюбивая взволнованность, а за болезненной мнительностью, за подсказанной кем-то подозрительностью проглядывала обескураживающая наивность. Интересно знать, что представлял собой теперешний респонсабль анархистского караула до начала событий. Кем он был: статистом на киносъёмках, лифтером в дорогом отеле, парикмахером или семинаристом?

Уловил ли он некоторую перемену в нашем настроении или ему самому были свойственны резкие переходы, но после паузы он совсем иным тоном обратился к Болеку, который автоматически продолжал переводить:

— Находясь в крепости, все обязаны соблюдать определенные требования. Вам надлежит вставать и отходить ко сну по сигналу, а также своевременно являться к завтраку, обеду и ужину, опоздавшим лица отпущаться не будет. Вы не имеете права отлучаться из крепости; двухчасовой отпуск для ознакомления с Фигерасом разрешается один раз каждому вновь прибывшему, но только по групповым спискам с назначенным за группу респонсаблем. И последнее: на случай налета авиации все обязаны переселиться в казарму, нижний этаж которой является надежным убежищем; ночевать в других помещениях и на открытом воздухе воспрещается.

Дав эти указания, анархист спрыгнул с помоста и устремился к выходу. За ним поспешил Боек. Про себя я отметил, что в похвальном стремлении поддер-

живать в казарме минимальный порядок начальник, то бишь ответственный караула, определенно отклонялся от анархистской догмы...

Первым мы выполнили последнее из его распоряжений, и еще до обеда все двести с чем-то человек вместились в беспорядочно заставленный железными кроватями громадный двухсветный зал на втором этаже центрального приземистого здания с плоской, засыпанной гравием крышей. Однако, чтобы попасть туда, надо было подняться по широкой каменной лестнице, нижние ступени коей тонули в жиже, продолжавшей прибывать из расположенных в полуподвале засоренных и вышедших из берегов казарменных уборных.

Днем с новой группой прибыл Пьер Гримм. Володя Лившиц спросил его, когда мы поедем дальше.

— Намечено на завтра, — ответил он. — Добирают людей на эшелон. Со мной приехали сто десять — значит, всего здесь человек триста, даже немного больше. Сегодня ждут еще сто — сто пятьдесят товарищей. А ночью сформируют поезд на Барселону.

Пьер Гримм добавил, что в редакции французских газет ежедневно поступают «абсолютно проверенные сведения», будто Мадрид пал. Но он держится. Впрочем, со стороны Толедо фашисты приблизились вплотную. Они из кожи лезут, стараясь во что бы то ни стало взять город к Октябрьской годовщине.

Наутро по указанию Семена мы собрались на цементной завалинке у входа в кухню. Замешкался только он сам, да еще не было Пьера Гримма. В ожидании их шел обмен мнениями, будет ли рота, в которой мы будем служить, называться русской или нет. Кто-то сказал, что это не важно. Дмитриев вдруг вспыхнул:

— Для меня это очень важно. Только когда стало ясно, что бунт испанских генералов опирается на Адольфа и Бенито, я почел своим долгом пойти на эту войну. Прежде всего я русский патриот и как таковой обязан вступить в бой с врагами моей родины там, где это представится возможным...

В этот момент и подошли Семен и Пьер. Семен объявил, что в Перпиньяне наша «языковая группа» была переименована в «группу без названия» и пополнена двумя людьми: в нее включили Лившица и Гримма. Пьера Гримма по настоянию Семена назначили вместо него респонсаблем.

— Никто не возражает? — спросил Гримм, обводя всех карими, без блеска глазами.

Все вздрогнули — но не от слов Пьера, а оттого, что за нашими спинами трубач трескуче заиграл испанскую побудку.

Отплевываясь от вони, из казармы один за другим пулей вылетали бывшие подопечные Пьера. Завидев его, они, радостно галдя, помахали руками, но задерживаться не стали и куда-то устремились. Лившица осенило:

— Пари держу, они побежали в кантину. Пошли за ними.

Шагая рядом с Пьером, я упрекнул его:

— Не понимаю, почему ты не одернул Дмитриева, когда он во всеуслышание заявил, что по убеждениям он прежде всего русский, а не интернационалист.

— Потому что я по убеждениям прежде всего коммунист. Сейчас мы в союзе не только с социалистами и радикалами, но и с любого толка антифашистами, если даже они страдают национальной ограниченностью. Коммунисты не собираются требовать от каждого, кто рядом с ними берет за оружие, чтоб он думал, как мы. Гитлеру помогло прийти к власти наше сектанство...

В кantine стоял дым коромыслом. За стойкой распоряжалась дородная, но подвижная женщина, отлично говорившая по-французски. Она успевала и разливать напитки по рюмкам, и производить валютные операции, меняя франки по слегка округленному курсу: два за песету. Однако и при этом цены на французские аперитивы были в два с лишним раза ниже, чем по ту сторону Пиренеев.

Мы заняли очередь за фламандцами. В глубине помещения я увидел Лягутта, жестикулирующего в компании таких же типичных, как он, представителей парижских предместий. Заметив нас, он подошел поздороваться, заверяя, что его

друзья сейчас уйдут и уступят нам свои стулья. Уже выходя, Лягутт познакомил меня с черноглазым и чернобровым круглолицым молодым французом.

— Тоже парижанин, из Jeunesses Communistes, зовут Белино.

Я пожал большую и сильную руку Белино, который, пощипывая тоненькие усики, с приятной улыбкой слушал Лягутта, объяснявшего ему, что я русский, но не советский русский, а белый русский, то есть не белый русский, а, одним словом, бывший белый русский...

После завтрака (он состоял все из той же сдобренной жестким мясом разваренной турецкой шрапнели, которая по-испански называлась «гарбансос», но в связи с прибытием пополнения отпускаясь в две смены и опоздал еще больше, чем всегда) мы вышли на залитый солнцем плац. Везде, где была тень, люди собирались в кучки. Звучали песни на разных языках. Облюбованную нами заваulinку уже заняла сплоченная группа немецких эмигрантов. Отбивая такт подошвами, они на мотив припева к советскому авиационному маршу «Все выше, и выше, и выше...» в унисон пели свои слова и через строчку, как рефрен, с воодушевлением прибавляли возглас: «Рот фронт!» Потом все, так же стуча башмаками, начали с речитатива: «Links! links! links! Links und links!..»

— Прямо тебе «Левый марш» Маяковского, — усмехнулся Лившиц.

Но те громко запели: «Die Jugend marschert...»

Осанистый пожилой немец с лицом Вагнера да еще и в берете отступил от поющих на несколько шагов и, прижав ладони к ляжкам, что-то выкрикнул. Сидевшие повскакали, те, кто стоял, засуетились, немецкая группа построилась и принялась маршировать, высоко вскидывая колени, как когда-то ходила германская пехота. В противоположном углу плаца, неподалеку от кантины, по четыре в ряд быстро шагали взад и вперед югославы.

— А что, если и нам потопать немного? — предложил Пьер. — Алеша, ты последним из нас муштру проходил, не забыл еще?

Я ответил, что, конечно, не забыл. Да и как мог я забыть, если окончил кадетский корпус в 1925 году, а строевой премудрости меня начали обучать еще с одиннадцати лет, когда я в Петрограде в 1916 году поступил в Первый кадетский корпус.

— Ну, раз не забыл — покомандуй, да построже.

Мы отошли подальше, к казематам, и я отдал предварительное приказание:

— Отделение, слушать мою команду!

Смехотворное это было отделение из десяти человек вместе с отделенным, и все в штатском, но я крикнул:

— Отделение, стан-новись!

Сперва произошла заминка. Но вот, расправив широкие плечи, Троян обозначил правый фланг, к Трояну присоединился застегнувший пиджак на обе пуговицы Ганев, к ним пристроились Иванов и Grimm, за руку подтянувший к себе Чебана, рядом с Чебаном, снисходительно улыбнувшись, стал Дмитриев, занял свое место Остапченко. Только Юнин и Лившиц никак не могли разобраться, кто из них ниже.

— Прекратить разговорчики! — вмешался я и, больше доверяя стародавнему солдату, чем вчерашнему студенту, распорядился: — Юнину быть левофланговым. Р-равняйся! Смирно!

Я обошел строй, оглядывая каждого. Кое-как рассчитались. Построились в две шеренги...

Когда часа через полтора мы, изрядно усталые (а я еще и охрипший), гурьбой возвращались к столовой, по всей крепости, отдаваясь эхом от ее стен, разносились разноязыкие командные возгласы.

Строевые занятия имели по крайней мере одно положительное последствие: ни в одной тарелке ничего не осталось.

При выходе из столовой мы наткнулись на целый митинг. Еще со ступенек я узнал нового своего знакомого Белино, окруженного кольцом французов.

— Еще чего! — сипло говорил здоровенный дядя с приплюснутым, как у

боксера, носом.— Нам это зачем? Мы завтра уезжаем. Пусть те, что придут после нас, если им захочется, и убирают.

— Что я слышу? Где нахожусь?— с комическим ужасом вторил ему маленький толстяк по прозвищу Бубуль.— Не вернулась ли ко мне моя юность? Может, я опять отбываю воинскую повинность и получил внеочередной наряд чистить клозеты?

Гримм спросил у вертевшегося тут же Лягутта, о чем идет речь.

— Да вот, понимаешь, Белино спрашивает ребят убрать это дерьмовое болото под дортуарами, а те отказываются.

— Ты не задумывался, товарищ,— задал Белино вопрос человеку с перебитым носом,— ты не задумывался, что скажут те, которые придут после нас и поселятся в здешней казарме? Они скажут, что до них здесь были свиньи, а не люди, и ни за что не поверят, что тут жили парижские пролетарии...

— Не мы это сделали!— закричал кто-то с искренним негодованием.— До самых первых волонтеров здесь уже было так. Тут стояла анархистская колонна, при них и забилось, а теперь, две недели спустя, нам в их дерьме копать? Несправедливо! Испанцы виноваты — пусть испанцы и убирают.

— Мы приехали им помочь,— мягко возразил Белино,— а так рассуждать — зачем было и ехать: пусть себе испанцы воют. И не надо забывать,— он улыбнулся своей открытой улыбкой и потрогал усики,— что после анархистов и мы с вами туда кое-чего добавили. Пойдем на склад, поищем, чем черпать будем.

Но двинулись за Белино и Лягуттом всего несколько человек. Оставшиеся молча смотрели им вслед. Потом один подумал-подумал и пустился вдогонку.

— Пошли и мы,— решил Гримм.— Зови, Алеша, остальных.

Но с остальными вышла заминка. Дмитриева, едва он услышал, куда его приглашают, всего передернуло, и он отказался. А Иванов, тот даже удивился:

— Чтс я, ассенизатор? Скажи своему Пьеру, что мы с Трояном явились сюда фашистов бить, а не сортиры чистить.

Спас положение Остапченко.

— Шагай-шагай, брат, не упирайся. Мы с тобой старые вояки,— сказал он Юнину,— должны знать закон: зовут — иди, дают — бери, а бьют — беги.

Втроем — Юнин впереди, за ним Остапченко и я — мы не успели пройти нескольких метров, как к нам молча присоединился Троян.

Через полчаса человек десять французов и мы, кто с брезентовым ведром в каждой руке, кто попарно с самодельными носилками, столпились у входа в казарму. Все начали разуваться. Большинство осталось в одних трусах.

Через час число добровольных ассенизаторов уже увеличилось вдвое и продолжало умножаться. Временные жильцы казармы высыпали на лестницу. Сначала они с брезгливым неодобрением разглядывали происходящее, но затем принимались, чертыхнувшись, снимать свои пиджаки, распускать пояса и расшнуровывать обувь. Еще во время первого рейса с носилками на пару с Ганевым я обнаружил, что рядом с нами, по-видимому, уже давно бегают вся группа рослых югославов, увидел я и многих из ехавших со мной в автокаре поляков, а среди них — высокого денди, расставшегося наконец с котелком гробовщика. Только что включились и немцы под дирижерством своего респонсабля с профилем Рихарда Вагнера. Венцом всего явилась для меня встреча с Ивановым, вышагивающим как ни в чем не бывало в парной упряжке с Трояном. А вскоре на Ганева чуть не налетела столитровая винная бочка, установленная на тележке для подвозки снарядов. Ее с хохотом выкатили с места погрузки три испанских анархиста из караульной службы. В результате, возвращаясь в казарму с пустыми носилками, мы каждый раз и удивлялись и радовались, с какой быстротой убывало вонючее месиво.

Незадолго до сигнала к ужину все было кончено. Тележка с бочкой, носилки, сломанные тачки, брезентовые ведра, палки, доски были свалены в кучу. На нее плеснули бензином и бросили спичку. До полутораста человек с удовлетво-

нием созерцали пламя костра, полуголые, усталые, но счастливые, что сделали нечто небесполезное...

На другой день мы никуда не поехали, не поехали и на следующий. Приподнятое настроение сменилось унынием. Наступили третьи сутки, а о нашем отъезде ничего не было слышно. Зато стало известно, что охранявший крепость отряд в этот день уходит на фронт, под Уэску.

Утром трубач, смахивающий на театрального герольда, в последний раз протрубил нам сигнал. Вскоре отряд собрался под сводом ворот и без всякой помпы удалился. Его место заняли какие-то, по определению Юнина, «цивильные» старички с черно-красными повязками на рукавах и вооруженные дробовиками.

После завтрака все поплелось в казарму и завалилось на койки, чтобы сном скоротать нескончаемое безделье. Лишь несколько французов и бывшие воспитанники Гримма потянулись в канину. На опустевшем плацу остались мы с Ганевым да немецкая группа, чинно усевшаяся в ряд на привычном месте послушать политбеседу своего солидного руководителя в байретском берете.

Ни они, ни мы не обратили внимания на въехавший в ворота грузовичок, на котором обычно подвозились продукты. Однако он почему-то остановился не у входа в кухню, а за углом, у глухой кирпичной стены, и тогда я заметил в кузове трубача и нескольких бойцов из ушедшего на фронт караула. Откинув борт, они на веревках опустили что-то длинное и тяжелое, закатанное в парусину, скорее всего ящик с оружием. Но когда парус развернули, оказалось, что в нем лежит статуя мадонны. Ее не без труда подняли и приставили к стенке. Беломраморная богоматерь стояла на круглом пьедестале, ногти босой ноги чуть выглядывали из-под складок хитона, изящно придерживаемого маленькой рукой, другая, обнаженная по локоть, прикасалась перстами к левой груди.

Прислонив статую к стене, бойцы разобрали винтовки и отошли. Тогда дверца грузовичка распахнулась и из кабины выпрыгнул знакомый нам двойник Рамона Наварро. Ему очень шла защитная пилотка с рогами и болтавшейся кисточкой. Через плечо на светлом ремне висел жандармский палаш в сияющих ножнах, по всей вероятности военный трофей. Восемь человек с трубачом на фланге выстроились. Подхватив эфес палаша под мышку, Рамон Наварро подбежал к ним и что-то закричал. Шеренга взяла винтовки на руку, по следующей команде подняла их к плечу и принялась целиться в мадонну. Красивый юноша неловкими рывками обнажил палаш и вздел его ввысь. Трубач прижал мундштук горна к губам. Грохнул залп, за ним послышался сильный треск. От стены полетели осколки, за клубилась пыль. Палаш снова сверкнул на солнце, снова рывкнула труба, снова прогремел залп, и снова защелкали рикошетирующие пули. Один из стрелявших дико заорал и, сев на землю, ухватился за ботинок. По-видимому, ему попало в ногу. Двое, отдав винтовки соседям, подхватили раненого под коленки и, согнувшись, потащили через плац к кордегардии. Занеся палаш, ожесточенный командир подскочил к статуе и сильно толкнул ее левой рукой. Статуя покачнулась. Он толкнул вторично. Мадонна медленно наклонилась и рухнула, как срубленное дерево. Анархист вспрыгнул на нее и, взвизгнув на манер джигитующего горца, ударил палашом по мрамору. Палаш звякнул и отскочил вбок. Ударивший болезненно охнул, ему отдало в руку. Подхватив палаш локтем, он злобно плюнул на расстрелянную мадонну и, не удаивая никого взглядом, с перекошенным лицом пошел к грузовичку. Шофер рванул, не дожидаясь, пока все взберутся в кузов, и последний боец, сорвавшись, долго гнался за машиной...

5

Всем хотелось смотреть на море, а потому с левой стороны к окнам было не подступиться и на скамейках теснилось по шестеро вместо четырех.

Французы, оказавшиеся основными пассажирами узкого, схожего с трамвайным вагона, выставили в окна привезенные с собой красные флаги, прибитые к самодельным древкам, на флагах желтой или белой краской были выведены

от руки надписи: «Привет героическому испанскому пролетариату от воинствующих коммунистов Вильяюифа!», «Защищая Мадрид, вы защищаете Париж!» — или предельно краткая: «Фашистов на фонари!»

За окном, медленно поворачиваясь, уходили назад ряды низкорослых олив, виноградные лозы с облетевшей листвой, виллы с мавританскими башнями, выцветшие шахматные доски убранных полей, среди которых лишь кое-где выделялись свежеспаханные полосы.

Над каждым поселком торчала готическая, а то и романская колокольня с непременными подпалинами поджога на каменных боках, а на каждой колокольне был водружен (иногда прямо на кресте) анархистский флажок. Но ни возле домов, ни на серых лентах асфальтированных дорог не замечалось ни малейших признаков жизни — было рано, все еще спали.

Наконец в одной сжатой отрогами гор низине я углядел пахущего крестьянина. Пахал он не плугом, а чем-то вроде сохи, и ею, а также как бы падающим вперед напряженным туловищем и упирающимися ногами напоминал людям моего возраста известную с детства картинку из хрестоматии — «Пахарь». Но едва поезд подошел поближе, стало видно, что это совсем не «ну, тащися, сивка!». Вместо сивки в оглобли был впряжен лопухий и долговязый мул, да и сам испанский земледелец ничуть не походил на длиннорядного русского орастая в посконной рубаше и лаптях. Это был высокий изможденный старик с темным, обожженным солнцем лицом, в люстриновом пиджаке, жилете, городских брюках и ботинках. Он услышал шум поезда, оглянулся, а увидев красные флаги, придержал мула, выпрямился и вскинул над головой кулак. Я смотрел на него и думал, что репортерам, слетевшимся сюда со всего света и выражающим сомнение, с кем испанский народ, не мешало бы взять интервью вот у этого мирного каталонского крестьянина, прервавшего пахоту, чтобы приветствовать красные знамена...

Получилось так, что из десяти ехавших вместе таинственных — без роду, без племени — путешественников я на весь прогон до Барселоны остался один. Разбудив нас около полуночи и обрадовав вестью об отъезде, Пьер заметил, что в дороге мы вовсе не обязаны держаться кучей, и что, по некоторым соображениям, нам не вредно бы несколько рассредоточиться. При посадке я указал Володе Лившицу и Ганеву на предпоследний вагон, осаждаемый меньше, чем другие, но когда взобрался на площадку, выяснилось, что, чересчур прямо восприняв замечание Пьера, никто за мной не последовал.

Одиночество, впрочем, не тяготило меня: я глядел в окно. Чем выше поднималось солнце и чем больше отдалялись мы от границы, тем разнообразнее и ярче делалась природа, тем оживленнее выглядели празднично украшенные флагами частые промышленные городки. Бухнувшая вагонная дверь заставила меня повернуться. Вошли трое: респонсаль немецкой группы, Болек и Гримм.

— *Attention, camarades!*¹ — провозгласил Болек, поскольку закусывавшие французы не обратили на их появление никакого внимания.

Продолжая бодро жевать, те повернули к вошедшим веселые лица. Немецкий респонсаль шагнул вперед и вытянул руки по швам, будто собираясь, как в Фигерасе, подать команду, но вдруг бессильно уронил голову и уставился в колеблющийся пол. Когда он снова выпрямился, в вагоне стало тихо. И сделав еще шаг, он громко заговорил, то сливая слова, то растягивая отдельные слоги. Однажды мне привелось услышать, как клекочет в клетке орел. Речь пожилого немца была похожа на этот клекочет. Я ровно ничего в ней не понял за исключением имени Эдгара Андре.

— Позавчера в Гамбурге, — перевел Болек, — на плахе, по восстановленному гитлеровцами зверскому средневековому обычаю, фашистский палач обезглавил топором любимого сына германского рабочего класса, вождя Союза красных фронтовиков нашего товарища Эдгара Андре...

Сидевшие с моей стороны пять поляков вскочили и, сжав кулаки на уровне

¹ Внимание, товарищи! (Франц.)

плеча, по-польски запели: «Вы жертвою пали...» Я встал и подхватил на русском. Французы, сдергивая кепки, молча поднимались с мест. Приложив скомканный берет к сердцу, седой немец прижался виском к вздрагивающему кулаку. Медальное лицо его выражало страдание и злобу.

Мне представился задумчивый взгляд живых красивых глаз Эдгара Андре на портрете, неоднократно печатавшемся в «Юманите». Они таки убили его! И как! Топором, чтобы всем нам было страшнее... Три года они пытали Эдгара Андре, три года старались доказать, что это он организовал кровавые столкновения между гамбургскими рабочими и коричневыми рубашками, а заодно обвинили его и в шпионаже, но едва приступили к судоговорению, единственный свидетель обвинения покаялся в даче ложных показаний. Тогда они решили обойтись без доказательств и приговорили Эдгара Андре к смертной казни за то, что он коммунист. Это произошло еще летом. Он отказался обратиться к Гитлеру с прошением о помиловании и вот — казнен.

(Я не знал еще тогда, что на следующий же день батальон, сформированный в Альбасете из немецких, австрийских, венгерских и других добровольцев, принял имя казненного и всего через пять суток после его смерти пятьсот вооруженных Эдгаров Андре ударили по ворвавшимся в северо-западные предместья Мадрида передовым частям генерала Франко и, отбив Французский мост, отбросили их за Мансанарес...)

Около половины второго, трепеща знаменами, наш поезд вошел под своды барселонского вокзала, а еще через четверть часа на мостовой строились чей-реста с чем-то человек. Командовал Белино.

— Устраивать сбор по группам слишком долго, а вы проголодались. Разберитесь скорее по четыре, лицом сюда. побыстрее, прошу вас, побыстрее. Через три часа мы должны отъезжать на Валенсию, а идти далеко, — приговаривал он, переходя от головы колонны к хвосту. — Еще раз прошу, побыстрее. Эй, парень, ты не заметил, что стоишь пятым? Сейчас мы пойдем обедать в казарму Карла Маркса. Никто из вас, сознавайтесь, в жизни не слыхивал, чтобы казарма носила такое название, а? И вот что, ребята. Весь город будет смотреть на нас. Старайтесь шагать, как альпийские стрелки на параде. Готовы? Пошли!

Первые ряды тронулись. За ними заспешили остальные, прилаживаясь в ногу. Белино, Болек, немец в берете, Пьер и другие респонсабли шли сбоку. Столпившиеся на ступенках вокзала и по тротуарам люди зааплодировали.

Сперва мы проходили по узким старым улицам, сходным с парижскими в районе Северного вокзала, но скоро свернули на вполне современный проспект. Здесь чуть не с каждого балкона свисал ковер, на котором лежало полосатое полотнище каталонского флага, — анархистские попадались значительно реже. Прохожие при виде нас останавливались и вздымали кулаки.

По пути справа на мраморной балюстраде сверкающего зеркальными стеклами здания показалось натянутое на громадный подрамник поясное изображение лохматого человека с цыганской бородой колечками и с подпухшими сердитыми глазами; на нем было нечто вроде архалука. Мне вообразилось, что это Пугачев, но под портретом красовалась подпись: «Miguel Bakunin». С изумлением поймал я себя на том, что вознесенное над революционной Барселоной недовольное лицо своеобразнейшего и противоречивейшего россиянина Михаила Александровича Бакунина, для вящей акклиматизации превращенного местными последователями в Мигеля, приятно пощекотало мое национальное самолюбие.

Проспект, осененный встрепанным Бакуниным, вывел нас на необозримую площадь. Я навидался ее на газетных клише и в киножурналах и опознал сразу: это на ней решалась в июле судьба города, да и всей провинции, когда подавлена была попытка фашистского переворота. А вон там, на дальнем углу, и знаменитый отель «Колон», где тогда засел генерал Годад со своим штабом, а теперь размещается ЦК Объединенной социалистической партии Каталонии. Об ориента-

ции этой партии красноречиво свидетельствует начинающееся под крышей и лишь немного не достоящее до парадного огненно-красное знамя со скрещенными серпом и молотом и с буквами «PSUC», а также соответственных масштабов портреты Ленина и Сталина на главном фасаде гостиницы над протянутыми вдоль карнизов транспарантами с лозунгами.

Наше шествие не осталось незамеченным. Из отеля «Колон» высыпала шумная толпа очень молодых людей, почти у всех на ремешке через плечо или на поясе висела пистолетная кобура. Те, кто не успел спуститься на площадь, выглядывали из окон; особенно много свешивалось с подоконников женских голов. Откуда-то из-под крыши срывающийся голос выкрикивал непонятные нам призывы, покрываемые неистовым «вива!». Под ноги нам полетели цветы. Растерянные, смущенные, с радостными глупыми улыбками, мы проходили все дальше, а восторженные крики не стихали.

Наконец наши правофланговые гулко затопали под сводами ворот. Снаружи казарма была как казарма — будничное, растянувшееся на квартал двухэтажное здание. Зато внутренняя архитектура его оказалась своеобразной: казарменные помещения с четырех сторон наглухо замыкали плохо вымощенный двор, пересеченный аккуратно выложенными дорожками; такой тюремный интерьер производил бы чрезвычайно унылое впечатление, если бы вдоль всего второго этажа не тянулась открытая галерея с чугунными перилами и множеством выходящих на нее дверей, сообщавших казенному солдатскому жилью легкомысленно театрального яруса.

На галерке этой сгрудились находившиеся в казарме милисьяносы. облаченные в новенькую, застегнутую до последней пуговицы форму; глядя на них, мы впервые смогли удостовериться, что не все испанцы щеголяют в черно-красных шейных платках. Гуще всего они столпились прямо над нами, против ворот, возле написанного на фоне клубящихся туч величественного старца с львиной гривой и огромной бородой. Видимо, чтобы никто не счел изображение запрестольным образом Саваофа, художник золотыми готическими буквами вывел внизу: «Samarada Carlos Marx».

Когда замыкающие ряды нашей колонны вразброд простучали подошвами под входной аркой, оратор, стоявший рядом с портретом и произносивший приветственную речь, пошел строчить, как из пулемета, а если и останавливался перевести дух, то милисьяносы раздражались рукоплесканиями и криками.

За час, проведенный в Барселоне, мы почти непрерывно пребывали в циклоне энтузиазма и, кажется, начинали понемногу привыкать. По крайней мере то смущение, которое я испытал во время прохождения мимо отеля «Колон», незаметно рассеялось: относящиеся к нам восторги уже воспринимались если и не как должное, то во всяком случае несравнимо хладнокровнее. Еще два-три подобных денька, и, глядишь, мы понемногу поверим, что заслужили такой почет.

После митинга нас провели в столовую. Покурить я вышел во двор. Там подобных мне приезжих в штатском окружали испанцы в форме. Если это были каталонцы — а им по геополитическим причинам, кроме родного языка, полагалось знать испанский, а сверх того невредно было хотя бы немножко кумекать по-французски, — то между гостями и хозяевами завязывались достаточно связанные разговоры. В остальных же группах какой-нибудь приветливо улыбавшийся милисьяно приближался к одному из наших ребят и, ткнув пальцем в живот, вопросительно выговаривал с каталонским акцентом французское: «Насионализтэ?» Вопросаемый отвечал: «Полоне». Вопросавший радостно переводил самому себе: «Поляко!» — с размаху хлопал красноречивого собеседника по спине и, удовлетворенный, с тем же вопросом переходил к следующему...

На вокзал мы возвращались не совсем тем же путем, каким пришли в казарму, и благодаря этому я увидел портрет второго после Бакунина русского европейца, тоже ставшего апостолом самого крайнего течения испанской политиче-

ской жизни. На фронтоне солидного буржуазного дома, утыканного черно-красными хоругвями, висела на тросах увеличенная во сто крат фотография престарелого Петра Алексеевича Кропоткина. Ни насусленный взгляд сквозь профессорские очки, ни раздвоенная, величественная борода не спасли его от фамильярности учеников: на шее бывшего князя был повязан узлом продетый через прорезы в портрете натуральный, матерчатый, только великанский анархистский галстук, а от плеча к плечу гирляндой тянулась понятная без перевода надпись, гласящая, что Педро Кропоткин есть «El jefe del anarquismo mundial». Одесную и ошуну шефа мирового анархизма красовались громадные буквы по три с каждой стороны: «FAI» и «CNT», с ввинченными в них электрическими лампочками, горевшими и днем. Эти буквы и раньше попадались на каждом шагу — на стенах фигерасской крепости, на каменных оградах кладбищ, на товарных вагонах, на трубах заводов, — потому я знал уже, что они означают — слева инициалы Федерации анархистов Иберии, справа название анархистских профсоюзов.

Заслышав приближение нашей колонны, группа анархистов, обмотанных пулеметными лентами и увешанных гранатами — ну, прямо статисты из старого советского фильма о гражданской войне! — вывалилась на балкон возле сурового Кропоткина и, вздевая к небу кулаки и карабины, начала громогласно скандировать: «Фаи! Фаи! Се-не-те!.. Фаи! Фаи! Се-не-те!..» Выглядели участники хора как-то расхлыстанно — волосы дыбом, подбородки покрыты многодневной щетиной, рубашки расстегнуты до пупа — и находились в состоянии такого возбуждения, что, казалось, балкон вот-вот рухнет под ними.

Проходя, мы в ответ тоже поднимали кулаки, и это, надо думать, понравилось бесновавшимся наверху, ибо они троекратно прокричали нам «вива!».

Состав из вагонов третьего класса, подобных везшим нас по Франции, уже поджидал у перрона. Хотя все окна в них были раскрыты (или выбиты), дышать в нагревшихся за день купе оказалось нечем, и мы нетерпеливо ждали сигнала к отправлению. Однако наши респонсабли, упрятав четыреста душ в это пекло, сами не спешили садиться, а беседовали, прогуливаясь вдоль поезда.

Прошло с полчаса. Из внутренних помещений вокзала послышалась размеренная поступь многих ног, и на перрон строем в две шеренги вышло человек сорок без оружия, в помятых английского типа гимнастерках с погончиками, в латаных на коленях летних солдатских брюках и в обмотках; на некоторых были широкополые брезентовые шляпы, другие откинули их на резинках за спину. Сзади всех, далеко выбрасывая костыли, неловко прыгал на одной ноге коренастый крепыш; ступня второй его ноги, согнутой в колене, была забинтована; рядом с ним шел юноша с перевязанной головой, несший в каждой руке по рюкзаку.

Подойдя к поезду, строй по команде остановился, повернулся и сбросил заплечные мешки. Раненые отошли и присели на скамейку, но к ним старческой рысцой подбежал немецкий респонсаль и повел их к середине поезда.

Проходивший мимо нашего вагона Белино рассказал, что это центурия Тельмана — вернее, то, что от нее осталось после двухмесячных боев. Она снята с фронта и вместе с нами едет в Альбасете.

О центурии Тельмана все мы читали в газетах. Она была создана не то в конце августа, не то в начале сентября и выступила на фронт из казармы, где мы сегодня пообедали. Сформировали ее немецкие добровольцы, главным образом проживавшие в Каталонии политэмигранты, но постепенно в нее перевелись ранее ушедшие на фронт германские и австрийские спортсмены, прибывшие в Барселону на международную рабочую олимпиаду, открытие которой было столь удачно приурочено к воскресенью 19 июля. Не приходилось удивляться, что, когда начавшийся накануне мятеж фашистов сорвал ее, среди представителей рабочего спорта двадцати национальностей нашлись пожелавшие принять участие в борьбе, предложенной генералом Годедом, хотя она и не предусматривалась программой олимпиады.

Высунувшись из окна, я жадно всматривался в людей, с самого начала понявших, что надо делать. Лица у них были обветренные, дочерна загорелые, изможденные, но, кроме сильной усталости, они еще носили отпечаток чего-то объединяющего их изнутри. Пожалуй, это было чувство собственного достоинства.

В наш вагон, где для них безропотно очистили места, тоже ввели восемь человек. Все эти восемь ветеранов были совсем молодыми, но когда они пробирались по проходу, я, давая дорогу, испытывал перед ними искреннее преклонение. Таким, должно быть, было преклонение Пети Ростова перед Денисовым или Долоховым...

Едва поезд тронулся, ехавшие в одном купе со мной Лягутт и Фернан — малорослый, хилый парнишка с Фигераса, как тень ходивший за Лягуттом, единственный, ради кого консулу в Перпиньяне не понадобилось кривить душой, потому что Фернан на самом деле был не Фернан, а Фернандо, чистокровный испанец, ребенком вывезенный во Францию, — отправились знакомиться с немцами. До одури накурившись и наговорившись, оба вернулись на свои места.

— Славные парни, — резюмировал Лягутт. — Но ничего особенного не рассказывают. Смеются: сами, говорят, увидите.

Проснулся я оттого, что поезд остановился. Вдоль вагонов бежали респонсабли и на разных языках кричали, чтобы все забирали вещи и выходили. Это могло означать лишь одно: мы прибыли в Валенсию. Приблизив часы к носу, я разобрал, что уже час ночи.

На перроне было немногим светлее, чем в вагоне, да и то лишь благодаря взошедшей луне, а так ни внутри вокзала, ни над путями нигде не горело ни единой лампы, и даже фонарики над стрелками оказались замазанными синим. Кто-то из тельмановцев пояснил, что на Валенсию недавно произвели налет и с тех пор она затемнена.

Обширная площадь перед вокзалом поражала полнейшим безлюдьем, неестественным даже ночью в таком большом городе.

Переговариваясь инстинктивно вполголоса, мы принялись самостоятельно, как в Барселоне, разбираться по четыре. Вдруг все услышали отчетливую немецкую команду: впереди нас строилась центурия Тельмана. Команда прозвучала вторично, и четыре десятка левых солдатских ботинок бодро ударили в асфальт. Мы потянулись за ними.

Идти пришлось недалеко: мы нанскось пересекли окруженную глыбами спящих домов лунную площадку и уперлись в многоэтажное здание. В неосвещенном парадном образовался затор.

— Чем могут накормить в ночное время? — Я узнал задребезжавший позади голосок Остапченко. — Дали бы хлеба с сыром и чем запить — вот и хорошо.

Протолкнувшись вместе со всеми в двери и раздвинув руками двойные портьеры, я попал в слабо освещенный синими лампочками холл какой-то гостиницы; следуя за чужими спинами, свернул влево к portalу, задрапированному, как вход в кино, тяжелым бархатным занавесом. За этой драпировкой была вторая. Я ощупью откинул ее и зажмурился от слепящего света.

С поддерживаемого массивными мраморными колоннами лепного потолка спускались, радушно сверкая хрустальными подвесками, многоярусные люстры. Под ними на покрытых новыми скатертями банкетных столах, уходящих, как белоснежные параллельные прямые, в зеркальную бесконечность, перламутрово сияли фарфоровые приборы, переливалось огнями разноцветное стекло бокалов и тускло отсвечивали серебряные соусники, ложки, ложечки, вилки и ножи — рыбные, десертные и простые. У стен, словно манекены, шпалерами застыли официанты в безупречных фраках, матовой чернотой изысканно подчеркивавших ослепительную белизну пластронов и девственно чистых атласных галстуков, повязанных бантом. Подавленные респонсабли шепотом уговаривали вваливающихся в зал поскорее занимать места.

Нас троих — Лягутта, Фернандо и меня — не разъединили ни мрак вок-

зальных переходов, ни толчея в дверях, ни бархатные барьеры, и теперь, не разлучаясь, мы пристроились поодаль от входа, на краю стола, протянувшегося под высокими, плотно занавешенными окнами. За ним уже расположились похожий на викинга поляк, ехавший со мной в автокаре, и еще один — рябой, тоже необыкновенно высокого роста. В последний момент заняли места Пьер и Володя Лившиц.

Посреди роскоши этого, несомненно, очень дорогого ресторана мы в своей залежанной грязной одежде и нечищенной обуви, растрепанные, с заспанными, вторые сутки небритыми лицами выглядели по меньшей мере дико. Внезапно за столом все смолкли, и в ресторане воцарилась внимательная тишина.

Я оглянулся. На пустующей эстраде для джаза, вытянувшись в струнку, стоял сухопарый седой человек в белом шерстяном смокинге, черном галстуке и черных брюках с такими складками, что ими вполне можно было резать хлеб. Вероятнее всего, это был метрдотель. Его бесстрастное холеное лицо, безукоризненный пробор, а больше всего пенсне со стеклами без ободков, на черном шелковом шнурке неотвязно напоминали портреты сэра Остина Чемберлена.

С минуту внушительный метрдотель простоял не шелохнувшись и вдруг взметнул кулак к потолку, и этот ставший за последние месяцы обыденным жест настолько не соответствовал сановной внешности этого человека и, может быть, именно потому приобрел у него такую выразительность, такую ритуальную серьезность, что весь зал разразился бешеными рукоплесканиями.

Когда аплодисменты начали спадать, метрдотель опустил кулак, повернулся туда, где отдельно, выделяясь выгоревшей на арагонском солнце формой и тропической смуглостью, сидели остатки центурии Тельмана, торжественно произнес: «Камарада!» — и заговорил по-немецки. Лицо его продолжало оставаться величаво-спокойным, но сильный, совсем не старческий голос вибрировал от волнения. Что он говорил, оставалось для меня, как и для большинства, непонятным, однако я мог наблюдать, как это действует на бойцов центурии. Они переглядывались, неловко усмехались, некоторые потупили глаза, а их соотечественники за нашим столом сдержанными междометиями или частыми кивками выражали одобрение оратору. А он, окончив короткую речь, резким толчком снова поднял старческий сухой кулак, и ветераны центурии, роняя стулья, повставали и, тоже вздев кулаки, но не просто так, по-штатски, а особенным образом — отдавая ими честь, — отрубили свои облетевшие весь мир два слова: «Рот фронт!»

— Camarades, — перейдя с немецкого на французский, продолжал испанский метрдотель, смахивавший на английского премьера, — товарищи из разных стран! Не буду повторять вам, что говорил вашим друзьям, прославленным мужем из непобедимой центурии Тельмана, но одно еще скажу. После этой ночи я обрел право утверждать, что недаром прожил полвека, поскольку мне посчастливилось увидеть таких людей, как они, ваши предшественники в подвигах, таких необыкновенных людей, как вы все. Дорогие товарищи! Сегодня, в канун революции, совершенной в конце октября тысяча девятьсот семнадцатого года в Петрограде, профессиональный союз тружеников валенсийских ресторанов возложил на меня приятное полномочие приветствовать вас, находящихся проездом в нашем городе, а в вашем лице всех иностранных добровольцев, явившихся, чтобы вместе с нами сражаться за испанскую свободу. А сейчас позвольте мне перейти от слов к делу и предложить вашему благосклонному вниманию праздничный ужин.

Он добавил необходимое «salut», но вместо того, чтобы сжать кулак, трижды повелительно хлопнул в ладоши. Восковые фигуры у стен встрепенулись и, взмахнув фрачными фалдами, гурьбой, как бегуны в массовом забеге на кроссе «Юманите», ринулись куда-то за ширмы и сразу же высочили, держа на вытянутых руках подносы, на которых возвышались хеопсовы пирамиды салатниц и судков, и помчались к столам.

В мгновение ока ловкие руки расставили между приборами уйму круглых, овальных, прямоугольных и черт его знает каких еще блюд с закусками, до того аппетитными, что наше благосклонное внимание оборотилось в алчность.

Должно быть, от усталости — было уже два часа ночи — у меня моментами пропадало ощущение реальности, и этот ночной банкет представлялся вдруг не то сновидением, не то отрывком из какого-то великосветского романа. Правда, порожденные полусуточным воздержанием ненасытный голод и неутолимая жажда, а также колючая щетина на щеках возвращали к действительности, — но тогда вопиющее противоречие между сервировкой, обслугой, качеством трапезы и нашим затрапезным видом делалось еще фантастичнее.

Уже в конце пира, когда были поданы сыры и фрукты, а в самую маленькую из четырех рюмок налиты, по желанию, кому херес прославленной марки, кому редчайший портвейн и даже немецкие товарищи несколько пообмякли и перестали следить, чтобы кто-нибудь из нас не накапал нечаянно на скатерть или не разбил бокал, — убогатворенный Лягутт спросил у объяснявшегося по-французски представительного испанца, обслуживавшего наш край стола:

— Спасибо тебе, приятель, за все. Но скажи ты мне, чего ради вы вздумали сегодня напялить на себя всю эту сбрую, будто вам предстояло подавать на приеме у президента республики, а не своим товарищам?

Тот вспыхнул:

— Завтра я уйду на фронт, не успею и выспаться. Там я буду одет, как все милисьяносы, и эту, как ты говоришь, сбрую, возможно, ношу сейчас в последний раз в жизни. Но послушай. Во фраках мы всегда прислуживали эксплуататорам и взапуски бегали перед капиталистами, крупными землевладельцами, оптовыми торговцами, биржевыми спекулянтами и другими нашими врагами. Так неужели вы, самые дорогие братья, заслуживаете меньшего уважения? И чтоб ты знал, никогда еще перед выходом на работу я так тщательно не брился, как этим вечером, и так долго не стоял перед зеркалом, повязывая бант.

Мы его поняли и были тронуты. Лягутт даже до слез...

6

Безоблачное испанское небо кончилось где-то за Валенсией. Под утро пошел дождь, и когда начало светать, сквозь его сетку можно было разглядеть в окна вагона низко ползущие над плоскогорьем рваные тучи.

Дождь шел и в Альбасете — и это был не южный ливень как из ведра, а холодный «осенний мелкий дождичек», словно мы были не в Испании.

Наш поезд давно отошел на запасные пути. Немецкую группу ждали какие-то делегаты, и она, не мешкая, двинулась в город, предшествуемая центурией Тельмана. За ней под командой Белино, тоже окруженного встречающими, ушли французы; Лягутт и Фернандо, оглядываясь, помахали на прощание из рядов. Потом, зябко ежась, удалились итальянцы, решительно зашлепали по лужам югославы, дошла очередь и до фламандцев. С нами остались одни поляки. Возглавлявший их Болек и наш Пьер отправились искать распоряжений, а мы мокли на перроне, посасывая нераскуривающиеся, отсыревшие сигареты.

Бессонная ночь в переполненном поезде, промозглый привокзальный воздух, намокшая одежда, а главное, неприветливая встреча там, куда мы так рвались, — будто никому мы здесь не нужны — действовали угнетающе. Коротко поздравив друг друга с Октябрьской годовщиной, все хмуро молчали, переминаясь с ноги на ногу под морозящим дождем.

Наконец со стороны станции появились Болек и Пьер, а между ними шел низенький человек в синем берете, опущенном на одно ухо, как носят горные стрелки, в синей куртке, синих галифе и синих обмотках на тонких кривых ногах; между круглых роговых очков торчал большой нос. Было слышно, как большеносый по-французски распекает Болека и Пьера за то, что они оставили нас под дождем. Однако, невзирая на такую заботливость, некто в синем мне не понравился. Подобные насмешливые и в то же время надменные лица характерны для кадровых французских офицеров, особенно когда они на публике обращаются к подчиненным; для довершения сходства альбасетский начальник похлопывал

себя по плоской икре стеком. Распорядился он, впрочем, толково, и скоро мы вместе с поляками сидели тут же, неподалеку, в длинном бараке, и ели горячее рагу.

От поваров-французов мы узнали, что иностранные добровольцы прибывают в Испанию не только через Фигерас, но и морем и что в Альбасете из них создаются интернациональные бригады. Жаль, что вы опоздали, сетовали повара, а то третьего дня была сформирована и уже отбыла на фронт первая бригада, в ее составе целый польский батальон, названный именем польского генерала Домбровского, командовавшего войсками Парижской коммуны.

После дороги нам предложили отдохнуть в реквизированном двухэтажном доме, все комнаты которого и даже лестничную площадку загромождали кровати. Польские товарищи, не сняв мокрой одежды, повалились спать. Нам не оставалось ничего другого, как последовать их примеру.

После обеда я отправился побродить по Альбасете. Дождь незаметно прекратился, и улицы оживились. На первом же перекрестке возле разносчика, продававшего значки, платки, флажки и портреты, на меня чуть не налетел размашисто шагавший боец в зеленой суконной форме и таком же берете с красной звездочкой. Вместо того чтоб извиниться, нахал рассмеялся мне в лицо, но не успел я прийти в негодование, как с радостью узнал Петра Шварценберга. Мы обнялись. Когда-то белый офицер из вольноопределяющихся, он не со вчерашнего дня состоял во французской компартии, а в «Союзе возвращения на родину» был одновременно и членом правления и членом партбюро.

От Шварценберга, или Шварца, как сокращенно звали его друзья, я узнал, что он прибыл на неделю раньше нас и записался в формирующийся франко-бельгийский батальон. Завтра или послезавтра всех французов, валлонов и фламандцев, а также вступивших в него человек двадцать иных национальностей перебрасывают для обучения куда-то поблизости.

Мы несколько раз прошлись взад и вперед по главной улице и уже собирались расстаться, когда я увидел возвращавшегося откуда-то Гримма.

— Познакомьтесь, Пьеры,— предложил я, потому что партийная кличка Шварца тоже была «Пьер». Они обменялись рукопожатиями.

Когда мы вернулись, Гримм рассказал о результатах своего визита в штаб формирования интернациональных бригад. Нам всем предстоит влиться в многочисленную польскую группу — поэтому-то нас и поселили на временное жилье с нею. Исключение делается лишь для артиллеристов, пулеметчиков и кавалеристов. Артиллеристы нужны до зарезу: создается трехпушечная батарея семидесятишестимиллиметровок.

— Опытные пулеметчики, как выяснилось, были еще во Франции взяты на учет,— продолжал Гримм.— Это относится и к вам, товарищи Иванов и Троян. Семен, ты тоже в списках как автомобильный механик. Имеющим опыт кавалерийской службы предлагается для начала записываться у своих респонсаблей, то есть у Болека,— меня забирают на формирование эскадрона. Остальные зачисляются в польскую стрелковую роту. Но мотивированные просьбы о переводе в другую часть будут приниматься во внимание...

Иванов и Троян утром ушли в штаб и вернулись вечером. Троян, понятно, молчал, но молчал не так, как всегда. Сейчас он не молчал, а умалчивал. Иванов сперва пытался подражать своему другу, но, конечно, не выдержал.

— Угадайте-ка, хлопцы, кто здесь главный инструктор по станковым пулеметам?— начал он, когда мы собрались вокруг их коек.— Пари держу, ни в жизнь не догадаетесь. И не пробуйте, ей-бо. Лучше уж я сам по секрету скажу. Так слушайте: советский командир, честное слово! Старший лейтенант по фамилии Войко. Специалист лучше Трояна и не хуже меня. Нам как родным обрадовался. Переводчик при нем шпак из Южной Америки, «гочкиса» от «викерса» не отличит, а названия деталей ни по-какому не знает. Познакомился этот това-

риц Бойко с нами, незаметно проэкзаменовал, а как дознался, что мы по-немецки можем, чуть на радостях не запрыгал. Завтра же начнем немцев обучать...

На следующее утро нас покинул Семен Чебан, а за ним — и Пьер Гримм. Перед уходом Семен, сокрушенно вздыхая, трижды облобызался с каждым; наиболее тяжкий вздох он испустил, прощаясь с Пьером. Пьер был менее сентиментален. Он ограничился тем, что пожал всем остающимся руки.

— А тебя я все же в конницу запишу, — сказал он мне. — Затребуем из польской роты. Слыханное ли дело, чтобы сын донской казачки в пехоте топал?

Нас оставалось шестеро — Ганев, Лившиц, Остапченко, Юнин, Дмитриев и я, — и мы почувствовали себя в какой-то степени осиротелыми, особенно потому, что после самороспуска группы перестали, по указанию Пьера, держаться вместе и в строю и за столом, стараясь раствориться в будущей своей роте.

Но уже за завтраком мы получили такую информацию, что все личное отступило на второй план. Правительство Ларго Кабальеро в полном составе, включая двух входивших в него (впервые в Европе!) коммунистов и четырех министров анархо-синдикалистов — последнее было на грани фантастики, — оставило столицу и перебралось в Валенсию чуть ли не в тот же самый день, когда мы там пировали. Переезд правительства мог означать лишь одно — неминуемую и скорую сдачу Мадрида.

Из сводок за двое суток явствовало, что бои идут уже в черте города, поскольку фашисты ворвались в его западное предместье Карабанчель. Сверх того, сообщалось, что они захватили один из мостов через Мансанарес. Да и вообще когда в сообщениях с фронта говорится после длительного отступления об успешных контратаках, но упоминаются новые наименования населенных пунктов — значит, отступление продолжается. А сейчас в сводках, кроме никому из нас до того не известного Карабанчеля, все время чередуются Французский мост, какое-то Каса-де-Кампо, по поводу которого Ганев, успевший заглянуть в свой бедекер, пояснил, что хотя в буквальном переводе Каса-де-Кампо означает охотничий дом, но в действительности это загородный парк «вроде Булонского леса в Париже или Сокольников в Москве».

Единственно обнадеживающим в известиях с мадридского фронта были упоминания об активных действиях республиканской авиации и танков: до недавней поры ни той, ни других в Мадриде не было, если не считать нескольких штук достойных музея танков «рено» образца двадцатых годов и еще интернациональной эскадрильи, организованной Андре Мальро, недавно закончившей свое существование из-за окончательного износа служившего ей архивного хлама, приобретенного в начале событий контрабандным путем и скорее смахивавшего на коллекцию отживших моделей вроде, например, переоборудованного в кустарный бомбовоз личного самолета абиссинского негуса Хайле Селассие I, на котором ему удалось в последнюю минуту ускользнуть от муссолиниевских конкистадоров.

Огласив последние новости, повар с повязкой респонсабля объявил, что сейчас в столовой состоится митинг, а потому нас просят не расходиться. Вышел Болек и повторил те же сводки и обращения по-польски; он еще не закончил чтения, когда позади него появилась группа пожилых поляков; почти всех я знал в лицо — кого по поезду, кого по Фигерасу. Болек скомкал концовку правительственного обращения и уступил слово «товажышу Мельнику» — грузному, с мясистым лицом и громадными руками, впрямь похожему на одетого по-городскому мельника.

Он сказал, что для порядка нам необходимо выбрать себе командира и комиссара, и от имени предварительно обсудивших этот вопрос старейших годами и достойнейших членов партии предложил в командиры роты какого-то Владека, «честного пролетария и бывалого солдата», а в комиссары Болека.

Не знаю, как остальные, но я был огорошен такой процедурой. Выходило, что выборное начало, невзирая на резкую критику газет, продолжало существовать. А Мельник уже брал быка за рога:

— Длуго розмавячы нема часу. Ктуры з вас ест згодны, поднощыче длоне!

Поднялся лес рук. Мельник бросил на нас взгляд исподлобья:

— Ктуры пшечив?

Против не было никого. Мельник повернулся, за плечо вывел стоявшего между старейшими членами партии низкорослого невзрачного дядю, подхватил под локоть Болека и вытолкнул обоих вперед.

— То е ваш довудца, а тенто комисаж. Слухайце их, хлопацн.

Выпихнутый Мельником на своего рода просцениум между группой старейшин и столами, наш единодушно избранный командир молча ухмыльнулся на встречу дружным хлопкам. Зато Болек немедленно приступил к исполнению обязанностей, обратившись к нам с речью.

Я не только не знал польского языка, но раньше даже никогда не слышал, как на нем говорят, однако, держа экзамены на аттестат зрелости по окончании дополнительного класса Русского кадетского корпуса в Сараеве, я обязан был литературу, историю и географию Кральевины СХС¹ сдавать на сербском, а позже, живя в Праге, я выучился чешскому. Знакомства с четырьмя славянскими языками (считая русский и разговорный украинский) оказалось вполне достаточно, чтобы хорошо понимать Болека, проявившего себя неплохим оратором.

Для начала он напомнил, что в те две недели, которые мы провели в пути и которые кажутся нам какой-то паузой, война не прерывалась: в ней паузы не было. Пока мы спали на мягких постелях или же любовались красивыми видами из окон поезда, испанские рабочие и крестьяне продолжали вести самоотверженную борьбу на всех фронтах. Особенно трудную и важную борьбу они вели за главный город страны — за непобедимый Мадрид. Под напором превосходящих сил противника, окропляя каждый шаг назад своей кровью, они вынуждены были отходить и отошли к самым стенам столицы. Для Мадрида наступили решающие часы. Его защитники бьются из последних сил. Именно в этот трудный миг к ним на помощь подошла первая бригада иностранных добровольцев. Вот-вот исполнятся сутки, как она вошла в бой. Однако натиск вражеских полчищ не слабеет. Мы с вами, укрытые от дождей крышей этой столовой, покуриваем после горячего завтрака, запитого стаканом вина, а братья наши мокнут и мерзнут в окопах, и тяжело-раненый не находит глотка простой воды, чтобы утолить предсмертную жажду. Наш долг — как можно скорее встать в боевые порядки рядом с ними. Наш долг — как можно скорее быть в Мадриде. Мы обязаны суметь подготовиться к выходу на фронт за одну неделю. А там — в бой! В бой за спасение Мадрида! В бой за освобождение Испании от гнета фашизма! В бой за общее дело всего передового и прогрессивного человечества!..

Рукоплескания и восторженные крики не утихали, пока наш «довудца» Владек не поднял руку, потребовав внимания. В возникшей тишине он предложил нам «ичь до дому» по одному, но не расходиться, а «чекать росказу». Мы протомились в комнатах до обеда, однако никакого приказа не поступало. Зато прямо из столовой Владек повел нас строем на склад, и уже меньше чем через час почти двести человек успели расписаться в гроссбухах: отдельно за пилотку с двойными, при желании опускающимися на уши, бортами, как у немецких пехотинцев на русско-германском фронте в 1915 году, отдельно за френч, отдельно за широкие штаны, стгивающиеся у щиколотки пряжкой, отдельно за негнувшиеся солдатские ботинки, отдельно за черный кожаный пояс и портупю с четырьмя подсумками, отдельно за вещевой мешок и за алюминиевую фляжку, обшитую суконкой.

Когда, закинув за спины битком набитые мешки, мы вернулись к себе, вышел обещанный «росказ»: немедленно переодеться и больше ни под каким предлогом штатского не надевать.

В следующие полчаса главным развлечением было хождение по разным комнатам обоих этажей, чтобы «людей посмотреть и себя показать». В форме все неузнаваемо переменялись, но шла она только высоким. Зато Остапченко, Лившиц и остальные коротышки стали казаться еще ниже, Юнин же, нахлобучивший пилотку на оттопыренные уши, выглядел комиком, пародирующим Швейка.

¹ Наименование Югославии до 1929 года (Кральевина Срба, Хрвата и Словенаца).

На второй день сразу после завтрака Владек вывел роту по мокрому автомобильному шоссе за город. За последними домишками, возле прижавшейся к обочине легкой машины, нас ждал сам Андре Марти в коротком белом полушубке нараспашку и в невиданных размеров берете. Около него держался тот большеносый очкастый человечек, который вчера приходил на станцию. Мы уже знали, что это Видаль, начальник штаба базы формирования интербригад, возглавляемой Марти. Их окружало несколько человек. В раскисшем от дождей поле Владек остановил нас, привел строй в порядок и вместе с Болеком направился к приближавшемуся Марти. На ходу Марти что-то сказал Видалью, и тот, подбежав поближе и приложив ко рту сложенные рупором ладони, прокричал, чтобы те товарищи, которые когда-нибудь в какой-нибудь армии служили в офицерских чинах, вышли из рядов. Я повернул голову к левому флангу и увидел, как Остапченко раздвинул строй и вышел вперед. Составив каблучки вместе, он поправил пилотку, одернул френч и, прямой, как оловянный солдатик, широко размахивая руками, зашагал к пригорку, где остановился Марти со свитой. У подножия холмика Остапченко четко приставил ногу и приложил кулак к виску. Засунув оба больших пальца за пояс, Марти смотрел на маленького Остапченко с высоты своего роста, увеличенного горкой, и, вероятно, обратился к нему с вопросом, потому что Остапченко спокойно завертел шеей — ему нужен был переводчик. Вмешался Видаль, вероятно, знавший немецкий. Объяснение состоялось, после чего Остапченко все тем же твердым шагом отошел в сторонку, к Владеку и Болеку.

Пронзительный фальцет начальника штаба вторично прорезал влажный воздух. Теперь предлагалось сделать сорок шагов окончившим любую военную школу.

Я находился в первой шеренге и, не размышляя, будто кто меня в спину толкнул, пошел с левой, считая про себя почему-то по-французски: un, deux, trois...

Смотря прямо перед собой и припечатывая подошвы, чтоб не споткнуться и не поскользнуться на неровной вязкой почве, я слышал, что по сторонам шагали не многие. Досчитав до «quarante», я остановился. Но до холмика, на котором расположился Марти со штабом, оставалось еще порядочно, и Видаль стеком сделал нам знак подойти поближе. Нас набралось человек до двадцати. Марти с помощниками спустился с подсохшего возвышения в грязь и начал обходить неровную шеренгу с правого фланга. Слышно было, что каждого спрашивают, какую военную школу он окончил и где. Дошла очередь и до меня.

— Белогвардейский кадетский корпус в Югославии, — выпалил я раньше, чем последовал вопрос, и, услышав, как это прозвучало по-французски здесь, на осеннем испанском поле, да еще в присутствии Андре Марти, сам ужаснулся.

— Фамилия?

Я ответил.

— Немец?

— Русский.

— Надо говорить: белый русский, — наставительно поправил Видаль.

— А я вовсе не белый, — возразил я возмущенный, — в белые годы не вышел.

— Место рождения?

— Санкт-Петербург.

— Сколько лет?

Я сказал.

— Непохоже, солидности мало, — отметил Видаль, уже отходя, и бросил кому-то через плечо: — Запиши командиром отделения.

Завершив обход, Марти, Видаль и сопровождающие направились к легковой машине, а мы вернулись в ряды, и рота вольным шагом выбралась на шоссе. Здесь Болек по списку вызвал новоиспеченных командиров и предупредил, что назначения временные и будут утверждены после испытания в бою.

За это время Владек перестроил роту строго по ранжиру, разбил ее на взводы, а взводы на отделения и развел нас по местам. Бывший поручик Остапченко со всем своим карпатским опытом был вознесен до командира взвода; я смущенно

держался сзади и в результате, оставшись последним, попал на левофланговое отделение. Мне подчинили шесть неполных рядов самой мелкоты, перед которой Юнин и Лившиц оказались гигантами — оба попали в предыдущее отделение.

Растыкав нас, Владек прошел по фронту, внимательно всех оглядывая. Пройдя мимо нас, он с неодобрительным видом остановился: нетрудно было догадаться, что — сам небольшого роста — он тех, кто ниже его, не ставил ни во что. На ломаном русском языке он сухо осведомился, говорю ли я по-польски, а узнав, что только понимаю, да и то с грехом пополам, еще сильнее нахмурился и, сплюнув, ушел к середине роты. Скоро он возвратился с молоденьким краснощеким пареньком моего роста и поставил его мне в затылок, сказав, что так оно будет лучше, потому как «тен Казимеж добже розуме по-росыйску».

Вернувшись к себе, мы прежде всего переместились, чтобы люди из одного отделения находились вместе, а отделения одного взвода — по соседству. Не успел я обжить новую койку, как отделенные получили распоряжение составить в двух экземплярах списки своих бойцов: один оставить себе, а второй сдать взводному; в списках необходимо было подчеркнуть фамилии тех, кто не служил ни в какой армии. Выяснилось, что из всей чертовой дюжины нашего отделения — вместе с Казимиром нас стало тринадцать — только он один отбывал воинскую повинность в Польше, все остальные по различным причинам действительной службы не проходили и не только никогда не стреляли из винтовки, но и видели ее лишь издали в руках жандармов или на военных парадах.

При составлении списка обнаружилось и другое, весьма парадоксальное обстоятельство. Поляки сравнительно рослый народ, и в левофланговом отделении польской роты не нашлось ни единого настоящего поляка. Даже Казимир на вопрос о национальности ответил, что он белорус; все прочие одиннадцать моих подчиненных назвали себя евреями — одни, употребляя определение «польский», другие, довольствуясь дополнением «из Польши». В большинстве они были, как и комиссар Болек, студентами бельгийских университетов, но трое назвали себя ремесленниками из Парижа.

Я передал копию списка Остапченко перед обедом, а выходя из столовой, случайно услышал, как Болек с тревогой сообщал Владеку, что, по его сведениям, процентов сорок роты не имело дела с огнестрельным оружием.

— Таких разве за одну неделю обучишь?

По возвращении нас ожидал сюрприз: привезли оружие. Владек приказал раздавать его поотделенно. Мы с Казимиром приволокли похожий на гроб деревянный ящик с непонятными литерами и цифрами. Ящик вскрыли прутот от кровати. В нем лежали завернутые в вощеную бумагу десять винтовок. Недостающие три принес от Остапченко пожилой боец; вместе с ними он доставил и охапку ветоши. Все принялись распаковывать винтовки и снимать смазку. Казимир, успевший сделать это первым, воскликнул:

— Гишпаньска. Але система нямецка: маузер. У нас в Польши таки самы.

— Ты знаешь эту систему?

— Ведаю.

— А ну, вынь затвор.

Затвор молниеносно очутился на раскрытой ладони Казимира.

— Поставь на место.

В мгновение ока затвор беззвучно вошел в канал.

— Так, — с миной знатока одобрил я Казимира. — Теперь повтори, да по-медленнее, чтобы все хорошенько видели.

После второго показа я смог бы, не потеряв авторитета, вынуть и задвинуть затвор, а после третьего — поправить того, кто действовал неправильно или неловко. За какой-нибудь час, пользуясь Казимиром как живым научно-техническим экспонатом, я ознакомил своих интеллигентов с чистой винтовкой, а когда доставили толстые брезентовые ремни, объяснил еще и как закидывать ее по команде за плечо и как брать к ноге.

В разгар занятий вошел Владек, сопровождаемый уже знакомым мне желтоволосым великаном-поляком, которого я принял за скандинава.

— Слухай, дружиновы,— сказал Владек,— поменяймысе: дай двух крутких, а я тебе того длугого. Бо никт з твоих карабин машиновы не поднесе.

Сообразив, что он имеет в виду ручной пулемет для нашего отделения, я пришел в экстаз и охотно отдал бы четырех «коротких» филологов и философов за одного его «долгого» богатыря. Поскорее совершив выгодный обмен и вычеркнув из списка две фамилии, я внес в него нового бойца и номер его винтовки. Он оказался французским шахтером по специальности и поляком по национальности, военного обучения не проходил и для отделения представлял интерес главным образом своим ростом, силой и связанными с ним надеждами на «карабин машиновы»; звали его тоже Казимиром.

Появление командира роты прервало наш семинар в чрезвычайно волнующий момент: неожиданно выяснилось, что у полученной нами винтовки нет предохранителя. Меня сильно беспокоила таящаяся в таком устройстве опасность, но едва мы снова приступили к его рассмотрению, как пришел Остапченко.

— Тебя, Алексей, да еще вон того хлопца,— он показал на меньшего из Казимиров,— требуют в штаб. Вы оба зачислены в кавалерию. Сдавайте винтовки и — ходу! — Остапченко очень спешил.

— Что они в бирюльки нами играют? Сегодня сюда, завтра туда. Никуда я не пойду!..

— Тогда ты один собирайся,— обратился Остапченко к молодому белорусу,— да поживей. Давай-ка мне винтовку. Вычеркни его из списка, Владимырыч, да собирай остальной народ. Через двадцать минут строиться. Обрато уже не вернемся,— торопливо договорил он и вышел.

Так наше отделение лишилось единственного эрудита, а я потерял незаменимое наглядное пособие.

Не успел Казимир выйти, как влетел Болек. Он сказал, чтобы немедленно укладывали вещевые мешки и выходили на улицу. Поужинаем и — в дорогу.

Это могло означать лишь одно: нас перебрасывают в один из центров обучения под Альбасете. Но на прямой вопрос кого-то из моих студентов Болек нервно ответил, что мы сегодня же выезжаем в Мадрид. Положение таково, что нельзя терять ни единого дня. На обучение времени не остается. Обучаться будем в боях: это наиболее эффективная форма военной подготовки...

В громком голосе Болека не было убежденности. Я не удержался и спросил его по-французски, принесут ли, по его мнению, хоть малейшую пользу на фронте те сорок с лишним процентов наличного состава, которым до сих пор не пришлось даже прицелиться из винтовки. В ответ Болек закричал на всю столовую, что мой вопрос — это чистейшей воды демагогия, и ему, Болеку, нашему комиссару, ответственному за морально-политическое состояние роты, очень хотелось бы знать, какую цель я преследовал, задавая этот провокационный вопрос. Мы прибыли в Испанию не учиться, а сражаться. а если кто не умеет стрелять, пусть пеняет на себя, такому незачем было приезжать, это ненужный балласт, ибо война, как всем известно, есть продолжение политики, а поему всякий политически грамотный боец, при всей его неопытности, стоит десятка наемников, сколько бы очков они ни выбивали, стреляя по мишеням.

Слушая Болека, я думал, что именно это-то и есть демагогия. Поднятый им шум не пробудил во мне ни негодования, ни обиды: я понимал, что Болек потому и выходит из себя, что втайне рассуждает примерно так же, как я. Но когда наша рота, примкнув тесаки, сдвоенными рядами маршировала по главной улице, направляясь в дальний конец города, и я шел во главе замыкающего отделения, меня одолевало чувство, близкое к унынию.

На плац альбасетской казармы польская рота вступила едва ли не последней. Весь плац был занят компактными четырехугольниками опирающихся на винтовки людей, и нас не без труда провели на его середину.

Справа от нас стояли строгие шеренги, одетые в темные вельветовые куртки и брюки с напуском на прочные ботинки с двойной подошвой; одернутые набок вельветовые, а то и бархатные береты с пятиконечной алой звездочкой, нашитой на месте кокарды, придавали бойцам бравый вид; под стать всему и винтовочные ремни были не брезентовые, а кожаные. Всмотревшись, я определил, что это немцы. Перед ближайшей из немецких рот аккуратно выравнялись восемь станковых пулеметов — вылитые «максимы», если б не отсутствие щитков.

Впереди нас находились французы. Слева расположилась самая многочисленная из собравшихся в казарме частей, но я никак не мог сообразить, из кого она состоит. Сбивало с толку, что чуть ли не каждый взвод в ней был обмундирован по-разному, винтовки и то были разных образцов. Держалась эти пестро одетые бойцы независимо и весело. Но их веселость не заражала меня, и тревога не рассеивалась. Я отчетливо помнил, что из одиннадцати вояк нашего отделения никто не умеет стрелять. Как поведем мы себя в первом бою?..

Раскаты горна заставили нас побросать окурки и подтянуться. Отыграв, трубач резко отдернул горн к бедру, и тотчас же из раскрытой двери за его спиной на галерею двинулись люди. Первым выскочил Видаль и отстранился, давая дорогу Андре Марти, шествовавшему в синей тужурке с портупеей и в берете вроде грибной шляпки. За Марти, торопясь, вышли еще несколько человек.

Андре Марти подошел к балюстраде и заговорил. Он привык выступать на городских площадях, и, несмотря на размеры плаца, где стояло тысячи две, я отчетливо слышал каждое слово. Голосом, хриплым, может быть, оттого, что в эти дни ему пришлось немало кричать, Марти бросил всего несколько фраз о тяжелом положении Мадрида, и сразу стало понятно происхождение речи Болека в столовой. Потом Марти медленно обвел плац глазами.

— От имени тех, кто направил меня сюда! От имени ваших товарищей, проливающих свою благородную кровь на берегах Мансанареса! От имени мадридских женщин и детей, которым грозит фашистская неволя! Я призываю вас на бой! — Марти снял берет, вытер лоб платком и надел берет опять. — Мне известно, — заговорил он теперь уже совсем другим, проникновенным, тоном, — что не все вы достаточно подготовлены к боевым действиям. Тот, кто сознает это, кто не уверен в себе, пусть выйдет из строя и станет в стороне. Никто вас не заподозрит в недостойной слабости. Такие поедут со следующей бригадой. А остальные в путь! Вперед, друзья мои, к победе! Вперед, волонтеры свободы!..

Когда Марти предложил всем, считающим себя недостаточно подготовленными, покинуть ряды, меня охватил испуг: а что, если сейчас все наше отделение в полном составе вдруг сдвинется с места и начнет проталкиваться туда, поближе к галерее? Я замер. Но никто не шелохнулся, да и нигде на плацу не было заметно ни малейшего движения.

— Ничего иного я и не ждал от вас! — раздался голос Марти. Он выпрямился и торжественно поднес кулак к берету. — С этого мгновения каждый из вас добровольно возложил на себя тяжкие латы воинской дисциплины! Поддерживать ее — и твердой рукой! — будет ваш командир бригады. Им назначен венгерский революционер генерал Поль... генерал Пауль Лукач, — поправился Марти.

Из стоявшей позади него группы штабных выступил небольшого роста плотный человек, очень хорошо, даже щеголевато одетый. На нем был тщательно выглаженный охотничий костюм и спортивные ботинки, недоставало лишь тирольской шляпы с кисточкой, чтобы довершить сходство с австрийским помещиком, собравшимся пострелять фазанов. Несмотря на свою франтоватость, этот венгерский военачальник вызывал невольное уважение: не так уж часто приходилось встречать революционеров среди генералов или генералов среди революционеров! Обратился он к нам, как и надо было ожидать, по-немецки, но выговаривал так твердо и тщательно, что я понимал большую часть.

Начал он с того, что считает величайшей для себя честью вступить в командование Второй интернациональной бригадой, которая в испанской республиканской армии будет именоваться Двенадцатой. В нее пока входят три батальона:

первый батальон Тельмана, сформированный на прочной базе центурии, уже прославившейся под тем же дорогим именем, в этот батальон, кроме трех немецких рот, включены — одна балканская и одна польская; второй батальон, итальянский, принял имя национального героя Италии, всемирно известного борца за свободу Джузеппе Гарибальди; третий батальон, франко-бельгийский, просил присвоить ему имя выдающегося деятеля французского и международного рабочего движения, нашего руководителя Андре Марти. В ближайшие дни к бригаде должны присоединиться: артиллерийская батарея, ожидающая в данный момент укомплектования материальной частью, и формирующийся эскадрон кавалерии...

Свое суховатое информационное сообщение командир бригады завершил небольшой дозой красноречия, выразив уверенность, что батальоны, носящие столь известные и ко многому обязывающие имена, не посрамят их, но пронесут сквозь дым сражений с честью.

Три немецкие роты выслушали речь на родном языке со всем вниманием. Все прочие, за редкими исключениями, слушали внимательно, не понимая.

А Лукач, вместо того чтоб возвратиться на свое место в свите Марти, еще ближе придвинулся к перилам, взялся за них сильными белыми руками, секунду поразмыслил и доверчиво наклонился к нам:

— Товарищи, я буду говорить с вами на языке Октябрьской революции...

Будто порыв ветра по лесу, по рядам пробежал взволнованный трепет. Обращаясь к своей бригаде по-русски, генерал Лукач должен был знать, что во всех трех батальонах вряд ли наберется и тридцать человек, могущих понять его. И тем не менее, заговорив на недоступном для его бойцов языке, он не ошибся. Единственного дошедшего до всех слова «товарищи» оказалось довольно, чтобы, ничего по существу не поняв в его речи, люди схватили в ней самое главное, как раз то, что он и хотел сказать: этот «венгерский генерал» знает язык Октябрьской революции.

Лукач говорил на ее языке с сильным своеобразным акцентом, порой неправильно употребляя падежи, но не подыскивая слова и уместно используя русские образные выражения. Моего сознания, впрочем, почти не коснулись те несколько общих фраз, какие последовали за первой: слишком уж поразило и обрадовало меня, что неизвестно откуда явившийся венгерский революционер оказался — в этом теперь не могло быть сомнения! — одним из тех мадьяр, военнопленных австро-венгерской армии, какие потом, в гражданскую войну, пошли сражаться на стороне большевиков. Впервые с сегодняшнего утра на меня снизошло спокойствие. Больше я не страшился ни за себя, ни за свое отделение. Раз наш командир оттуда, из СССР, раз за ним опыт Красной Армии — нам нечего опасаться собственной неопытности. Конечно, не я один ощутил внезапный прилив бодрости, — чувствовалось, что все на плацу прониклись доверием к своему предводителю.

Про себя я особо отметил несомненную одаренность нашего командира бригады. Только талантливый человек мог, не нарушая требований конспирации и соблюдая скромность, ничего по существу не сказав о себе, так в то же время исчерпывающе представиться подчиненным, да еще на почти никому не понятном языке.

— Комиссаром нашей бригады назначен член Центрального комитета итальянского Союза коммунистической молодежи Лунджи Галло, — прервал тишину Андре Марти.

Из-за его плеча выдвинулся очень худой, не худой даже, а какой-то весь узкий, брюнет с подвижническим, небритым и болезненно-бледным лицом; над большим лбом дыбились зачесанные назад непослушные жесткие волосы; глаза были посажены так глубоко, что издали виднелись лишь две черные впадины. Несмотря на ту же, что на Марти и Видале, темно-синюю форму, перетянутую ремнями, соединение аскетической худобы с сосредоточенно-серьезным лицом делало комиссара бригады удивительно похожим на сбросившего сутану аббата. «Овод, — промелькнуло у меня в голове. — Только что не красавец...»

По-французски, с неистребимым итальянским акцентом Галло пообещал, что будет краток: сейчас время не слов, но дел. Он сообщил нам, что защитники Мадрида выдвинули лозунг: «Не пройдут!» — и добавил, что, отправляясь к ним на подмогу, мы превратим этот лозунг в свой, проникнемся им так, чтобы, где займет позиции Двенадцатая, интернациональная, фашисты ни за что не прошли.

— No pasaran! — заключил он по-испански.

За комиссаром подошла очередь начальника штаба бригады. Марти объявил, что эту ответственную должность займет «германский рабочий Фриц», и к перилам шагнул тщедушный маленький немец в висящем на нем, как на вешалке, почему-то рыжем лыжном костюме и в крагах. Вытянувшись во весь свой незавидный рост и продемонстрировав при этом завидную, очевидно прусскую, выправку, он отсалютовал кулаком и отошел, не произнеся ни слова.

Снова выпрыгнувший на галерею трубач проиграл испанский «отбой», и церемониал формирования бригады был завершен. Андре Марти направился к дверям. Весело посмотрев в нашу сторону, генерал Лукач взял под локоть своего неприметного начштаба и проследовал за Марти, за ними потянулись остальные.

Все население Альбасете высыпало на проводы. Чем ближе подходили мы к вокзалу, тем гуще стояла толпа, тем уже делался оставленный для нас проход. Многие женщины плакали, держа над головой руку, сведенную в кулак, а другой — утирая слезы скожканным платочком. Чтобы пройти привокзальную площадь, нам пришлось смещать ряды, а потом, догоняя правый фланг, бежать по перрону. Толпа непрерывно пела «Интернационал». Если он и затихал, то сейчас же его опять запевали где-то в отдалении, пение приближалось и вот снова охватывало всю площадь...

Поезд отошел уже в сумерках. Почему-то в этот решающий момент все закурили, и едкий дым дешевого табака заглушил приятный смешанный запах машинного масла, железа и свежеевыделанной кожи.

Едва эшелон вышел в поле, как стемнело совсем. Смотреть стало некуда, и люди, проведя весь день на ногах, клевали носами. Как ни странно, но дремать, опираясь обеими руками на винтовку, оказалось гораздо удобнее, чем откинувшись на стенку, и очень скоро весь вагон затих.

7

Поезда не доходили до Мадрида. Тотчас же после выгрузки на каком-то полустанке за угол пакгауза ушли пулеметная и обе стрелковые немецкие роты; балканской же нигде не было видно. Мы опять остались одни.

Солнце всходило все выше. Хорошая половина людей разбрелась кто куда, но оставшиеся соблюдали остов строя. Вокруг него шло непрекращающееся движение: одни, набродившись вдоль путей, возвращались на свои места и тогда отправлялись прогуляться другие. Я тоже не устоял и решил поразмяться.

На отходящей от станции тихой улочке посреди белых, с закрытыми ставнями, кажущихся необитаемыми домиков возвышалась стена церкви, по низу исчирикканная политической полемикой. Обе железные створки бокового входа были раскрыты, за ними виднелись вторые, деревянные, двери, гостеприимно распахнутые в прохладную черноту.

За стертым каменным порогом я в недоумении остановился. Через разноцветные витражи врывались в полусумрак пучки солнечных лучей и, пробиваясь сквозь мельчайшую пыль, освещали внутренние руины не поврежденного снаружи храма. В нем не осталось ничего, не подвергшегося разрушению. На отшлифованных столетиями плитах валялись свергнутые с постаментов изваяния святых; у них были отбиты уши, носы и держащие книгу или благословляющие руки, а некоторые, как будто в чем-то особенно провинившиеся, обезглавлены. Стенная роспись, хотя и испещренная следами пуль, еще кое-как сохранилась, зато развешанные между колонн громадные картины, изображавшие этапы крестного пути, были или вовсе выдраны из рам и свисали лохмотьями, или по не-

сколько раз прободены тесаками. Слева, на запрестольном образе, некто, не поленившийся взобраться на лестницу, намазал богоматери усы. В центре на грязном ковре в обломках лежала главная люстра, а на ней — груды растрепанных богослужебных книг в пергаментных переплетах. Повсюду были разбросаны перевернутые скамейки, погнутые медные подсвечники, осколки лампад, бронзовые тиары и сияния, содранные со статуй. Нагажено было по всей церкви.

Мне было известно, что повсеместный погром церквей вдохновлялся анархистами, ибо это соответствовало и духу и букве их пропаганды. Знал я и то, что руководство коммунистической партии старалось по мере сил амортизировать их безрассудные удары. Ясны были мне и масштабы причиненного анархистами вреда. Красочные корреспонденции в сопровождении вызывающих содрогание клише о прокатившейся по испанским городам и весям, сразу же после подавления главных очагов мятежа, волне антиклерикальных беспорядков, переродившихся в откровенно антирелигиозные, не могли не вызвать в христианнейшей Европе волны враждебности. В частности, из насквозь католической Ирландии отплыл к Франко готювский добровольческий полк, дабы вступить за святую церковь. (Эти добровольцы были едва ли не единственными бескорыстными людьми во франкистском стане; насмотревшись на сатанинскую жестокость, с какой фалангисты утверждали веру Христову, новоявленные ирландские крестоносцы вскоре вложили мечи в ножны и отчалили восвояси.)

И однако, невзирая на все, я не чувствовал в себе права переложить полноту ответственности на плечи одних анархистов. Чем-то подобная позиция походила на мерзкое поведение чистоплотного перестраховщика Пилата — моя, мол, хата с краю. Ведь анархисты не были каким-то инородным телом в испанских событиях. Они составляли численно весьма объемистую часть Народного фронта. А раз так, их ошибки неизбежно делались нашими общими ошибками...

К роте я подоспел в последнюю минуту. Она уже готовилась выступить, и запаздывавшие, стуча башмаками, сбегались к ней с разных сторон.

Пройдя весь поселок, рота остановилась возле сельской таверны с облупившейся вывеской. На утрамбованной земле ее двора догорали под закопченными котлами костры, распространяя запах дыма и кофе. Выстояв в очереди, каждый из нас получил по манерке обжигающего, приторно сладкого питья и по выпеченному в виде кирпича белоснежному и безупречно пресному хлебу. Завтрак доставил тем большее удовольствие, что пора было обедать. Впрочем, угощавшие нас кашевары, принимая манерки, выдавали еще по одной полукилограммовой просфоре, по банке джема на восемь человек и по копченому окороку на взвод.

Мы составили винтовки в козлы, усадились около них на земле и сразу же после завтрака принялись за обед. При этом, не без ущерба для моих патристических пережитков, я ознакомился с деловыми преимуществами германского тесака перед русским трехгранным штыком, могущим служить пехотинцу лишь холодным оружием, тогда как тесаком нарезался хлеб, кромсалась ветчина и вскрывались консервы.

Все закурили крепкие испанские самокрутки, продающиеся в пачках уже свернутыми на фабрике — оставалось лишь провести языком и склеить, — но почему-то бумага была глянцевицей, и табак требовалось перекладывать в листок папиросной, вырванный из книжечки, и скручивать сызнава.

Подошли грузовики, и началась посадка. Наше отделение уселось в последнюю машину.

Едва мы тронулись, между тремя неугомонными парижскими ремесленниками разгорелся спор, на каких грузовиках мы едем. Носатый и тщедушный всезнайка, весь поросший цыплячьим пухом, но при этом носивший фамилию Ожел¹, утверждал, будто нас везут на советских грузовиках. Его приятели вдвоем на трех языках наперебой доказывали, что камионы — шведские, оттого они и деревян-

¹ Орел (польск.).

ные: в Швеции, как всем известно, много леса. Тот возражал, что в Швеции король, он не будет помогать республике. Спор тянулся бы до бесконечности, но вмешался еще один боец; находясь в саду, он слышал, как Владек, Болек и Мельник беседовали промежду собой. И Мельник объяснял, что нам подадут советские камионы марки «ЗИС-5», что их в Испанию прислано видимо-невидимо и что сделаны они грубо, зато недорого, выносливы и просты в управлении...

При въезде в какое-то село наш караван остановился. Когда я поднялся, чтоб посмотреть, в чем причина задержки, оказалось, что прямая улица по крайней мере на километр перед нами забита машинами, а около них собрались местные жители. К нашей тоже уже подбегали из крайних мазанок чумазые оборванные ребятишки, настоящие цыганята. За ними спешили худые загорелые женщины, все как одна будто в трауре, в черном, и молоденькие девушки в застиранных ситцевых платьях. Сзади шли темнотикие старики в латаных пиджачках и стареньких, как они сами, кепках. В руках у пожилых женщин были глиняные кувшины, те, кто помоложе, и девушки несли под локтем круглые плоские хлебы, а на тарелках и блюдах — головки очищенного лука и чеснока, нарезанный толстыми кусками домашний сыр, кружочки посыпанной красным перцем колбасы, виноградные гроздья. Приветливо что-то тараторя, женщины вставали на цыпочки, чтобы дотянуться до бортов машины, и предлагали свое угощение. Мы пытались отказать, но они так искренне огорчились, что пришлось сдаться. Кувшины с двумя горлышками пошли по рукам. Мы поочередно сосали густое красное вино, а затем набивали рты хлебом, сыром, луком, маслинами. Как только кто-нибудь, смущенно повторяя «мерси, мерси», опускал вниз пустую тарелку или миску, вместо нее появлялись две полные. Старики молча протягивали нам самокрутки, объясняя жестами, что их надо склеить слюной.

Вдруг вдалеке трижды проквашал клаксон. Наш шофер запустил мотор. Окружавшие отступили. Правые руки женщин были заняты опустевшей посудой, и они подняли левые, сжатые в кулак. Мы приветственно кивали, потом тоже подняли кулаки. Толпа притихла. Впереди стояли посерьезневшие детишки, за ними, положив им руки на плечи, старики, сзади женщины. Все смотрели на нас ласково и грустно, словно уезжали не мы, а их сыновья, мужья или братья. Лишь старики, приподняв к нам морщинистые лица, ободряюще улыбались беззубыми ртами. Продвигаясь за предыдущей машиной, наш шофер медленно выруливал на середину шоссе. Из толпы послышались прощальные возгласы. И тогда наш смешной спорщик вскочил на ноги, держа в одной руке винтовку, взмахнул кулаком другой и прокричал своим саксофонным голосом:

— Вива ла республика Эспаньола!

— Вива! — поддержали мы.

— Вива эль френте популар!

— Вива! — подхватил хор.

— Но пасаран! — во все горло прокричал Ожел и обеими руками вздел винтовку над собой.

— Но па-са-ран! — прогремели мы.

— No pasaran! — прозвенел женский голос.

— No pasaran! No pasaran! — вразнобой повторили старики.

Машина уже отошла метров на сто, а мы продолжали кричать, и крестьяне, не расходясь, смотрели нам вслед.

То же самое происходило и в следующих селениях. Скоро мы были настолько сыты, что не могли больше съесть ни кусочка и лишь пили то красное, то горьковато-сладкое белое вино и везде клялись народу: но пасаран!..

Поздним вечером измученные, но счастливые мы въезжали в уже спящий городок. Передние машины с немецкими и балканской ротами ушли куда-то в боковые улицы, а польскую подвезли к длинному одноэтажному зданию с высоко расположенными маленькими окнами. Внутри него было пусто; одна-единственная лампочка еле тлела под потолком; вдоль стен лежали вороха соломы.

Владек распорядился, чтобы все немедля ложились спать, имея винтовки

при себе, не раздеваясь и не снимая ботинок, потому как бригада еще с полудня зачислена в резерв мадридского фронта.

Повторять не понадобилось. Бойцы валились на солому, и богатырский храп сразу же волнами заходил над спящими...

— До брони! — рывкнул кто-то над самым ухом.

— До брони! До брони, товарище! Алярм! — встревоженно перекликались разные голоса.

— В ружье! — скомандовал неподалеку надтреснутый, но бодрый голос Остапченко, и я услышал его твердые шаги. — Тревога! В ружье! — повелительно повторил он. — Поднимай отделение, Алексей, и без суеты выводи строиться.

В полутьме люди собирались, отряхивали с себя солому, продевали руки в лямки вещевых мешков и продвигались к выходу.

Была звездная и неожиданно холодная ночь. Мы быстро построились с винтовками у ноги. Владек, бросив команду — соответствующую, видимо, русской «оправиться, можно курить», потому что все, став «вольно», зашарили по карманам, — и взял с собой нескольких человек с правого фланга, куда-то ушел. Перед строем появился Болек. Приподнимаясь на носках и поворачиваясь влево и вправо, он взволнованно предупредил, что сейчас нам раздадут боеприпасы, и мы выедем к фронту, и что он, Болек, надеется на нас. И действительно, с той стороны, куда ушел командир роты, приближалась вереница носильщиков с ним во главе, и каждый нес на согнутой спине ящик.

Подошел Остапченко и посоветовал брать патронов кто сколько хочет, но непременно по счету, а мне приказал записывать, чтобы приблизительно знать число выстрелов.

С грехом пополам я стал записывать в темноте; всех поразил Казимир: у него насчиталось двести пятьдесят патронов. Считая неудобным отставать от своего бойца, столько же взял и я; в подсумки входило всего по четыре обоймы, в карманах уместилось еще десять, а остальные двадцать пришлось уложить в мешок.

Разобрав патроны, рота пересекла площадь и поднялась немного в гору, к высокой каменной стене, окружавшей не то казарму, не то семинарию — во мраке было не разобрать. Владек и Болек, пересчитав ряды и приказав не шуметь, удалились. Прошло с полчаса. От площади донеслись голоса и шаги. В ночной тишине было слышно, как один из идущих споткнулся. Возвращались наши командир и комиссар. Владек, прижимая приклад к бедру, прорысил на свое место, а Болек, единственный в роте, кто не получил винтовки, но щеголял маленькой желтой кобурой на поясе, в которой мог прятаться разве что дамский браунинг, сухо уведомил нас, что для проверки готовности бригады была проведена учебная ночная тревога, что прошла она вполне удовлетворительно и что наша рота явилась в предназначенное ей место своевременно.

Утром, побрившись, умывшись до пояса и почистившись, мы всей компанией решили пойти поискать, где в этом городе можно выпить кофе. Едва выйдя из двери, мы увидели неразлучных Иванова и Трояна, оставленных в Альбасете. Они, несомненно, поджидали кого-нибудь из нас, но на почтительном расстоянии от хмурого часового. На радостях все бросились обниматься.

Выглядели Иванов и Троян — не нам чета. На обоих были вельветовые, как на немцах, береты, куртки и шаровары до земли, причем разные: на Иванове коричневые, а на Трояне темно-лиловые. Их чудесное явление объяснилось просто. Они приехали на грузовике с советскими «максимами» в расположение бригады вчера засветло, еще до ее прибытия в Чинчон — так назывался город, где мы ночевали, — и должны были, сдав груз бригадному офицеру-оружейнику, с той же машиной вернуться к своему старшему лейтенанту. Но так как бригады в означенном месте не было, а водитель ждать отказывался, Иванов и Троян выгрузили пулеметы прямо на площади, прикрыли брезентом и усьелись караулить, когда же поздним вечером сдали их кому следовало, решили в Альбасете не возвращаться.

И прославившая речь каламбурами, Иванов рассказал, как они с Трояном ни свет ни заря явились к командиру бригады, доложили, что привезли восемь родных «максимов» и двенадцать чужеродных «льюисов», а сами просят разрешения остаться в батальоне Тельмана пулеметчиками, но обязательно в одном расчете — третий номер они подберут себе сами. Командир бригады проверил их документы и разрешил. «За дезертирство на фронт,— сказал,— не расстреливают».

От Иванова мы узнали также, что ложная ночная тревога на самом деле была настоящей. Но доставившие нас в Чинчон грузовики, на которых предполагалось следовать дальше, остались без шоферов. Они разошлись спать по квартирам, и разыскать не всех удалось, как и вытащить из постелей тех, коих нашли. Из-за этого намеченную на сегодня операцию пришлось отложить, а чтобы не обескураживать бойцов, командир бригады придумал версию об учебной тревоге.

В кабачке Иванов предложил Лившицу вступить в их пулеметный расчет: — Хотелось бы, сам понимаешь, заполучить еще одного, такого, как мы с Трояном, да нет таких. Что ж поделаешь. Решили тебя позвать. Ты маленький — это удобно: всюду проползешь. Опять же, по-немецки кумекаешь.

Лившиц, не колеблясь, согласился. Его перевод в пулеметную роту Иванов обещал «проверить» в ближайшие дни.

8

— Алярм!

Я вскинулся на соломе. В полумраке вокруг меня шла кутерьма.

Посредине прохода расхаживал Владек и покрикивал:

— Прендзей! Розеспалисе, як цурки у таты! Выходьте! Выходьте! Збюрка! «Збюрка», думал я, торопливо шнуруя ботинок, несомненно, «сборка», скорее всего это «строиться». Надо запомнить.

Было два часа пополудни. Со звездного неба еще резче, чем накануне, тянуло осенним холодом. Толкаясь и теснясь, рота выстраивалась. Я проверил свое отделение. Все были налицо. Некоторые бойцы не то от холода, не то от волнения дрожали. Я тоже сразу продрог, и у меня постыдно застучали зубы, да так сильно, как бывало в отрочестве, при пароксизмах малярии. Опасаясь, как бы их частую дробь не расслышали мои подчиненные, я стиснул челюсти, но озноб не унимался.

Замешкавшаяся по сравнению со вчерашним подъемом рота поспешно прошла через площадь и остановилась у знакомой стены. Здесь, на ветру, было еще холоднее, но из темноты послышался немецкий оклик, и кто-то невидимый повел нас по кривой, неровно вымощенной улице. По ней мы вышли на окраины, свернули в сводчатые ворота и очутились на обширном церковном дворе. На нем было тепло и светло. Над костром бурлил большой котел. Вдоль строя протащили корзину с хлебом, суя в руки первой шеренги по белому кирпичу; его разрезали тесаком на колене и половинку передавали стоявшему в затылок. Около костра лежали груды немых манерок, из них вытряхивали кофейную гущу и занимали очередь. Веселый молодой немец литровым черпаком на длинной палке разливал кипящий кофе. Придерживая винтовку локтем, мы откусывали прямо от половины буханки и, обжигаясь, с наслаждением пили маленькими глотками.

Из церковного двора рота вернулась все к той же высокой стенке. Пока нас не было, здесь произошли перемены: между нами и площадью сновали силуэты грузовиков, а в дальнем ее конце развели огонь.

Еще десятка два пустых машин с притушенными фарами прошли на площадь. Несколько из них скоро возвратились и уперлись в наш строй. Взводы стали рассаживаться. Каждую машину набивали так, что пришлось стоять в обнимку.

Со стороны площади сквозь тихий рокот машин и негромкий говор прозвучали одинокие шаги и постукивание палки. Когда они приблизились, я даже в темноте узнал подтянутую плотную фигуру командира бригады; в руке у него была толстая трость.

— Wer ist da? Polnische compagnie?— задал он вопрос.

Никто не ответил. Он переспросил по-русски:

— Кто на машинах? Польская рота?

— Так-так, товажиш,— подтвердил выскочивший откуда-то Владек,— польска рота.

— Трогай! — со вкусом, как театральную реплику, выговорил по-русски командир бригады, и его трость застучала, удаляясь во мрак.

Машины двинулись через площадь по направлению к тому шоссе, по какому мы прибыли в Чинчон, и остановились. Тут вокруг костра толпились респонсабли в канадских полушубках; судя по долетавшим до нас возгласам, все они были немцы. Между ними с начальственным видом суетился маленький сердитый старик в металлических очках на крючковатом носу; полушубок висел на старике, как на вешалке.

Мимо нескончаемой вереницей шли грузовики с людьми. Это тянулось долго. Поочередно то один, то другой белый полушубок отделялся от костра, о чем-то спрашивал проезжающих, жестом задерживал какую-нибудь из машин, на ходу вскакивал в кабину и захлопывал дверцу. Строгий старикан визгливым тенорком покрикивал и на компактную людскую массу в кузове, и на отъезжавшего респонсабла, а возвратившись к огню, поднимал очки на лоб, заносил что-то в записную книжечку и опять опускал очки на кончик носа. Переполненные грузовики проходили все быстрее, интервалы между ними все увеличивались, а у костра все убывали и убывали канадские полушубки, пока не осталось двое: начальственный старик и еще очень высокий худой человек, тоже в очках. Когда промчались последние машины, оба немца пошли к нам. Болек выглянул из кабины.

— Kopf hoch, Moritz¹, — напутствовал своего компаньона высокий, прикладывая плохо собранную в кулак кисть к вязаной шапке с козырьком.

Старый Мориц петушком подбежал к одной из машин нашей роты.

— Schnell, schnell! Donnerwetter!² — кукарекал он.

— Тенто ест довудца батальону,— конфиденциально объявил Болек.— Писаж немецки. Людовик Ренн.

— Тен стары? — переспросил кто-то из кузова.

— А не,— засмеялся Болек, забираясь в кабину.— Тен длуги, цо стои. Стары ест у него за вшистцкего. Он не ест немцем. Ест польским израэлитом з Прус Всходних. З тех, з пелеэсовцув.

Передних качнуло на стоявших сзади, затем все выпрямились. Машина объехала догоравший костер. Я оглянулся на освещенную им рослую фигуру. Мне не случилось читать «Войну» Людвиг Ренна, но его имя я знал. Дворянин и бывший кайзеровский офицер, Людвиг Ренн после войны сделался коммунистом. Он побывал в СССР и принимал участие в международном конгрессе революционных писателей, происходившем в 1932 году в Харькове. Примерно за месяц до нашей отправки я наткнулся в «Юманите» на заметку, в которой сообщалось, что известный немецкий писатель-антифашист Людвиг Ренн прибыл в Мадрид и предложил использовать приобретенный им на франко-германском фронте опыт...

Наша машина, выехав на шоссе и догоняя другие, понеслась во весь дух и то проваливалась под ногами, словно пол быстро спускающегося лифта, то подбрасывала нас кверху, да еще и встряхивала несколько раз подряд.

По левую руку небо над горизонтом было освещено заревом, и сперва я решил, что там Мадрид, но тут же сообразил, что он должен быть затемнен. Это забрезжил рассвет. Однако вокруг нас было все так же сумрачно, пока левая половина неба не позеленела. Тогда вдруг, будто сверху повернули выключатель, сразу сделалось светло.

Вереница машин углубилась в невысокие округлые холмы. Узенькое шоссе завивляло между ними, но грузовик не уменьшил скорости, и нас опасно кренило

¹ Выше голову, Мориц! (Нем.)

² Скорей, скорей, черт подери! (Нем.)

на поворотах. Но на одном из них, особенно крутом, шофер вдруг пожелал обратить внимание на дорожный знак и принялся бережно выписывать очередное латинское «S». Глядя назад, мы смогли понять причину его внезапного благоразумия: справа, метров на десять ниже шоссе, лежал, задрав все четыре колеса в небо, такой же, как наш, новенький грузовик. Около него никого не было, лишь валялись обломки темно-зеленых досок. Нетрудно было вообразить, что сделалось с людьми.

Мы въезжали в построенное вдоль выпрямившегося шоссе спящее чистенькое селение, когда окончательно рассвело. Миновав прячущиеся в садах последние дома, машины спустились с шоссе на проселок, проехали по выкошенной ровной ложбине, похожей на обширное футбольное поле, и свернули влево. У гребня, ограничивающего поле с противоположной стороны, жалось несколько сот кутавшихся в одеяла людей. Они были вооружены винтовками и карабинами различных образцов, а некоторые какими-то охотничьими штуцерами и даже двустволками. Между бойцами попадалось немало молодых женщин, одетых и вооруженных так же, как мужчины, но выделявшихся издали видными сложными прическами, на которых кокетливо сидели островерхие пилотки с кисточками. Роту от роты отъединяли длинные палки от носилок, торчавшие, как древки спущенных флагов.

Мы выгрузились у почти отвесного ската какой-то высоты. Владек куда-то пропал. В его отсутствие роту построил Болек, повернув ее спиной к дороге и по рожным грузовикам, так что наше отделение оказалось правофланговым. Тут появился Владек и, торопясь, объявил, что бригада идет в бой и что батальон Тельмана будет наступать на ее правом крыле, а польская рота, не прошедшая подготовки, останется в арьергарде. Мы вскарабкались на холм. На вершине Владек, не перестраивая роту, приказал рассыпаться и, ткнув коротким пальцем во взбиравшихся по следующему холму немцев, предложил мне держать на них. Получалось, что по нашему отделению должна будет равняться вся рота. Проверив ее, Владек ушел налево, и вскоре оттуда передали приказание начать движение.

Взошедшее солнце грело нам спины. Было видно, как километрах в двух быстро поднимаются в гору темные фигурки. Я шел на своем месте, поставив правофланговым предназначенного для этого самой природой Казимира и объяснив ему, что он обязан не терять из виду правый фланг немецкой цепи, а если тот скроется из глаз, брать в створ камень или куст, возле которого он исчез.

Отделение разомкнулось от Казимира на пять шагов и, принимая во внимание тяжесть подсумков и ранцев, продвигалось достаточно быстро, так что идущий с моей левой руки боец соседнего отделения, который равнялся не по мне, а по Юнину, стал отрываться. Я покричал, чтобы Юнин с ним переменялся, и, когда в пяти метрах от меня затопал старый пехотинец, равнение восстановилось.

Делалось жарко. На спуске по цепи прошел Остапченко. Он нес винтовку на весу в правой руке, и лишь по розовым пятнам на щеках можно было догадаться, что подъем дался ему нелегко.

— Наступаем мы, — сказал он бодро, — на правом фланге арьергарда, но кто еще находится в нем — непонятно. Слева от нас никого, все уже впереди.

— А куда мы наступаем?

— На этот... Подожди... Вроде Лос-Анжелеса как-то. — Он достал из-за обшлага бумажку: — Серро-де-лос-Анхелес. Гора Ангелов, значит. И еще: гора эта — географический центр Испании, так сказать пуп испанской земли. Занять ее полезно хотя бы символически. Но центр центром и гора горой, а на всю роту один «льюис» перед наступлением выдали.

Начав подъем на другой, на пологий холм, мы увидели, как немецкая рота достигла его вершины и скрылась. Казимир вел нас правильно. Добравшись до верха, мы очутились на плато, покрытом пожелтевшей травой. Вдали, как разрозненная цепочка черного бисера, опять замаячила передовая рота.

За нами кто-то спешил. Оглянувшись, я узнал начальника штаба бригады Фрица. Он не запыхался, поднимаясь в гору, и легко нагонял нас.

Не зная немецкого, я послал навстречу ему Ожела. Подбежав, он приставил винтовку к ноге.

— Геноссе...

Геноссе Фриц остановился, волевое лицо его выразило неподходящую к нему растерянность.

— Не понимаю, дорогой, не понимаю, — без малейшего акцента остановил он Ожела виноватым тоном и умоляюще воззвал баском: — А по-русски, товарищи, никто из вас не говорит?

Я так и кинулся к нему. Немецкий рабочий Фриц, как странно охарактеризовал его Марти, явно был советским командиром, первым советским командиром, какого я за свою жизнь видел вблизи. Он обрадовался, кажется, не меньше моего. Вероятно, ему долго не удавалось ни с кем объясниться. Расспросив, кто мы такие, почему отстали, и выслушав ответы, он приказал догонять батальон и держаться за ним не дальше, чем на пятисотметровой дистанции. Пока я бежал к Казимиру, чтобы тот прибавил шагу, Фриц исчез, будто сквозь землю провалился.

Не прошло и получаса, как слева донесся сердитый окрик:

— Сту-уй! Сту-у-уй!..

— Стой, — передал по цепи Юнин.

Ко мне подбегал Владек.

— Доконд так, пся крив, бегнешь? Боишься же война скончи се без тебе? Не буйсе. Хватит войны до конца жиця.

Я не без запальчивости разъяснил, что выполняю распоряжение начальника штаба бригады. Рота меж тем остановилась. Бойцы, отдыхая, оперлись на винтовки. На Владека сказанное мною не произвело большого впечатления.

— Сядай, — указал он на траву и, закурив, уселся сам по-турецки.

На полузабытом им русском языке он принялся поучать меня в том смысле, что главное на фронте — неторопливость. Зачем самому лезть вперед? Понадобится — тебя пошлют, не беспокойся.

Владек выражал устоявшиеся убеждения участников первой мировой войны, вдоволь покормивших вшей в окопах. Здесь это звучало анахронизмом, но я не вступал в спор. Все-таки он командир роты и в боевом отношении стоит сотни победных мне дилетантов.

Долина внизу переходила в возвышенность, на которой зеленела густая роща. За ней торчали какие-то башни. Справа от рощи тянулась глубокая свежеврытая канава, хорошо заметная благодаря наваленному вдоль нее песку. К канаве быстро продвигались пулеметная и две стрелковые роты нашего батальона. Темные вельветовые костюмы и береты отчетливо выделялись на светлом, и поэтому особенно хорошо было видно отличное, как на параде, равнение цепей и геометрически точные промежутки между расчетами, весь тот образцовый порядок, в каком действовал батальон Тельмана. В центре уступами шла пулеметная рота, и хотя сами пулеметы были неразличимы, везущие их бойцы вырисовывались рельефно, а все вместе напоминало ожившую старинную батальную картину, не хватало лишь живописных клубов порохового дыма. Вдруг пехотные цепи рванулись вперед, охватывая канаву; ускорилось и наступление пулеметной роты в середине. «Да ведь это же фашистский окоп», — запоздало осенило меня, но мы уже спустились с холма, и кусты заслонили начало сражения...

Солнце стояло над головой и грело вовсю. От кустарника к нам торопился кто-то с белым полушубком на руке.

— Где командир роты? — издали выкрикнул он, и даже в нескольких этих французских словах слышно было немецкое произношение. — Где ваш начальник? Мне нужен ваш командир! — повторил он.

Ему показали влево, и он затрусил вдоль цепи, продолжая выкрикивать:

— Вы опаздываете, товарищи! Другие роты давно ведут огоны! Вы отстали! Скорей! Скорей!

Мы побежали, но уже через пять минут выяснилось, что без тренировки это не так просто. И до того было жарко, теперь же все взмокли, а тут еще пудовые солдатские ботинки вязли в песке, фляжка била по бедру, подсумки тянули вперед, а набитый патронами мешок назад.

Беспорядочной толпой мы пробежали с полкилометра до ивняка. Достигнув кустов, люди останавливались передохнуть. По двое, по трое они опускались на колени или, шумно дыша, даже ложились на поросший папоротником песок. Два опередивших меня бросельских студента из нашего отделения уселись, скрестив ноги, и, отдуваясь, пили из фляжек. Завидев меня, оба отвернулись. Я направился к ним, молча указывая вперед. Они довольно неохотно поднялись и присоединились ко мне. Навстречу прожужжал большой жук и стукнулся об землю где-то сзади. За первым пролетел второй и тоже упал за нами. Мои студенты пригнулись, и лишь тогда я понял, что это пули на излете.

Под следующими кустами опять сидели бойцы. Откуда-то на них налетел рябой боец первого взвода Гурский — друг Казимира, с которым тот меня познакомил еще в пути, и так заорал, что они из последних сил устремились вперед.

Дышать становилось все труднее, и, глотая воздух пересохшим ртом, я не столько бежал, сколько падал вперед, заставляя себя при этом переставлять ноги.

Внезапно я почувствовал облегчение. Это лопнула сначала одна, а за ней и другая ляжка вещевого мешка, и он, ударив по пяткам, свалился. Я вынужден был остановиться. Набежавший сзади Гурский поднял мешок и протянул мне. Обмотав лямки вокруг руки, я бросился догонять своих.

Навстречу все чаще летели пули, однако выше, чем раньше. Скоро мы с Гурским перешли на рысцу. Дыхание мое сделалось менее шумным, и тогда я услышал трескотню выстрелов. Оттуда, откуда она доносилась, пробирался, старательно обходя препятствия, очень бледный боец, поддерживающий раненую руку. Сзади, на некотором расстоянии, тоже смертельно бледный, с каким-то даже зеленоватым оттенком, спотыкаясь, брел Болек.

— Чи не потшебуешь помощи, комисажу? — останавливаясь, сочувственно предложил Гурский. — Где тебе ранено?

— Не едем ранны, — со страдальческим выражением отвечал наш комиссар. — Боли мне сердце. — И он схватился за карман френча.

Гурский мрачно посмотрел ему в спину и широким шагом двинулся дальше... Там, куда удалился наш батальон, все еще гремели уже различные винтовочные выстрелы, а где-то совсем далеко стрекотали пулеметы.

Широкая песчаная плешина, на которую мы взбежали, была усеяна залегшими. В нескольких десятках метров тянулся бруствер окопа, а за ним начинались оливковые плантации. Я уже смотрел на оставленный фашистами окоп сверху. Башни, поднимавшиеся за деревьями, при ближайшем рассмотрении оказались увенчанными крестами. Правее оливковых насаждений коричневело вспаханное поле, испещренное распластавшимися фигурами. Над нами летели пули.

— Клади се! Клади се! Ложись! — со всех сторон настаивали голоса.

Гурский послушался и с разбегу повалился на песок, а я продолжал лавировать меж прижавшимися к земле, пока не наткнулся на Казимира. В тот самый миг, когда, выставив мешок, я падал на локти левее и чуть позади Казимира, он выстрелил, и я увидел, что ствол его винтовки взметнулся вверх и она едва не вырвалась из рук, но Казимир, как на живое существо, навалился на нее туловищем и удержал. Ясно было, что он стрелял вообще впервые в жизни и не только не умел занять правильного положения при стрельбе лежа, но не подозревал и об отдаче. Пока я осмысливал это открытие, он дослал в ствол следующий патрон и выстрелил вторично, однако уже приоровился, и все обошлось без зримых последствий. Меня заинтересовало, по какой цели он бьет: с того места, где я устроился, неприятеля видно не было. Выдвинув вещевой мешок, я положил винтовку во вмятину на нем и попробовал оглядеться.

В десяти метрах правее меня расположился Юнин. Он тоже прикрылся набитым своим мешком, уперся раскинутыми носками в песок и, разстлав грязный носовой платок, разложил на нем обоймы, глаза его, однако, были полузакрыты, как у спящей птицы, — он отдыхал.

Еще дальше, за кустиком чахлого папоротника, лежал Ожел и, нахмутив огненные брови, азартно палил в кого-то мне невидимого.

Между Ожелом, Казимиром и Юниным разместилось еще несколько человек, но из нашего отделения не было никого. В беспорядочном беге перепутались не только отделения, но и взводы, и даже роты.

Повернув голову налево, я почти рядом увидел Дмитриева и почувствовал к нему известное уважение: несмотря на излишнюю полноту и сравнительно солидный возраст, он сумел раньше меня добраться до этой песчаной лысины. Правда, лицо его было пунцовым, а нос побелел, но все же Дмитриев добежал.

В отдалении прерывисто заперхал пулемет, и почти без интервала передо мной — кажется, рукой можно было дотянуться — с противным чмоканьем вошли в песок пули, отбрасывая колкие песчинки прямо в лицо. Казимир, как большущий краб, мгновенно переметнулся назад и вбок.

Слева оглушающе грохнул выстрел. Стрелял Дмитриев. После выстрела он так передернул затвор, что гильза отлетела ко мне, и снова приложился, но куда он целился — понять было невозможно: перед ним была та же панорама, что передо мной, — несколько квадратных метров песка, утыканного страусовыми перьями папоротника и усеянного распластавшимися телами, дальше глубокая рытвина, а за ней опушка рощи с огибающей ее справа брошенной траншеей.

— Что у вас на мушке? — спросил я, воспользовавшись относительным затишьем. — К чему вы зря патроны переводите?

Дмитриев и ухом не повел. Он снова нажал на спусковой крючок и, лишь перезарядив, снизошел:

— На мушке? Фашистская цитадель.

— Вы про те колокольни? До них же километра два. Туда не долетит, а долетит, так и голубю шишки не набьет.

— Идите-ка подальше с вашими непрошеными наставлениями... — озлился он.

Дмитриев не договорил. Фашистский пулемет, установленный, по-видимому, на одной из башен, откуда просматривался наш бугор, опять затакал, и опять пули загудели и зашлепали справа, потом простукали, как по глухим клавишам, перед нами и удалились влево. Когда пулемет стих, Дмитриев, с ненавистью покосившись на меня, забормотал, что он не кретин, чтоб лежать на простреливаемом месте, вскочил и грузно побежал, согнувшись в три погибели. К счастью, ему удалось спрыгнуть в рытвину до возвращения пулеметной очереди.

Я не мог не признать, что Дмитриев поступил правильно. Всем нам следовало бы перебраться туда же. Нужно только дожждаться следующей паузы и перебегать. Но вражеский пулеметчик, как назло, изменил тактику. Вместо того чтобы действовать по-прежнему, очередями, он задержал ствол в нашем направлении и вел огонь, словно по цели.

Вдруг сзади на нас обрушился ужасающий грохот, и плотный вихрь прижал мою спину, в висках часто заколотило: хорошо, что я успел вовремя сообразить, что это ударил по врагу наш станковый пулемет, находящийся в пяти шагах позади. Но едва я успокоился, как опять застучало спереди, и опять через мешок полетели в меня острые иголочки. Мне почудилось, что пули теперь ложатся ближе. Нестерпимо захотелось всем туловищем зарыться в песок, но пришлось удовлетвориться тем, что я приложился к нему щекой. Все вокруг, даже Казимир, прекратили стрельбу. Только проклятый пулемет продолжал реветь сзади.

Прикрывавший меня мешок встряхнуло. Наверное, в него попало. Скоро нас всех накроет неприятельский пулеметчик, а уйти невозможно: свой прижал к земле. Бессильное отчаяние охватило меня. Но постепенно из-под раздавившего меня страха начал пробиваться стыд: попав под первый же обстрел, я оказался жалким трусом! Внезапно страх сменился слепой яростью. Она душила меня, она искала выхода. Я грубо выругался вслух. Как это ни глупо, но непристойное ругательство немного облегчило душу. Ладно. Надо выбираться отсюда ползком.

Но только я взялся за лямки, собираясь толкать мешок перед собой, как наступила абсолютная тишина, будто уши заложило. Монотонно, как жнейка, стре-

котал в этой тишине фашистский пулемет да щелкали далекие винтовки; монотонно, как капли дождя, падали в песок пули. Я опасливо приподнял голову.

Из-за тополей, росших вдоль вспаханного участка, на котором в шахматном порядке залегли немецкие цепи, вышел долговязый человек в расстегнутом каюкском полушубке. Осмотревшись, он журавлиной походкой двинулся к нам. По росту и по штатской вязаной шапке с козырьком я узнал — хотя и видел его перед тем лишь ночью — Людвига Ренна. На полпути он остановился и призывно помахал рукой, в ней что-то белело, должно быть сложенная карта.

«Гочкис» опять закашлял с башни, и перед нами угрожающе заколебался песок. Продолжая лежать, мы выжидательно смотрели на длинную фигуру командира батальона, неподвижно стоящего под пулями, а он, опять поманив рукой, склонил голову, поднес карту к лицу и принялся делать на ней какие-то отметки. Тут до меня дошло, что его призывные жесты могут относиться ко мне: ведь и растеряв большую часть отделения, номинально я продолжал оставаться его командиром. Вскочив, я побежал, увязая в песке.

На ногах и, главное, без этого стреляющего в затылок «максима» все выглядело не так уж страшно. Приблизившись к командиру батальона, я заметил, что он держит в руке не карту, а обыкновеннейший блокнот и, расставив для устойчивости ноги циркулем, близоруко всматриваясь в бумагу сквозь круглые очки с тонкими золотыми ободками, что-то аккуратно записывает. Не отрываясь от своего занятия, он на хорошем французском языке спросил, почему польские товарищи избрали столь мало подходящее для отдыха местоположение. Отсалютовав кулаком к винтовке, я не слишком-то связно ответил. Он поднял худое, усталое лицо с резкими продольными складками, закрыл блокнот, сложил авторучку, спрятал их в карман френча, застегнул пуговицу и, дружески положив руку мне на сгиб локтя, посоветовал поскорее продвинуться вперед с этого опасного бугра, а перебравшись через дорогу и достигнув оливковых плантаций, ждать последующих распоряжений. От командира батальона исходило до того будничное спокойствие, словно разговор происходил не под фашистским обстрелом у подножия Серро-де-лос-Анхелеса, а где-нибудь в университетской аудитории и сам Людвиг Ренн был не отставным прусским офицером, назначенным здесь командовать батальоном Тельмана и в настоящий момент дающим указания неопытному бойцу, а преисполненным благорасположения профессором, по окончании семинара беседующим с одним из своих студентов. Я незаметно заразился его академическим спокойствием и — насколько позволяли растертые до крови ноги — твердым шагом отправился выполнять приказание.

В считанные минуты все лежавшие на бугре перебежали по одному к рытвине и скрылись там. Последним в нее скатился я. По дну рытвины пролетала колесная дорога с размытыми колеями. По ту сторону ее тянулась отвесная глиняная стена выше человеческого роста. Возле нее скопилось несколько десятков французов, попадались и поляки из других взводов.

Я передал Юнину, Казимиру, Ожелу с двумя его приятелями и еще несколькими подошедшим к нам полякам, что приказал Людвиг Ренн делать дальше. Пока я говорил, слева звонко хлопнуло. Все повернули головы. Там, где дорога поднималась в заросли ивняка, стояли две бронемшины с откиннутыми колпаками. Ближайшая из них дрогнула, и ее тоненькая пушечка снова выпалила. За первым броневиком пальнул второй, а затем и невидимый третий.

Броневики выстрелили еще по разу. Откуда-то спереди им ответила вражеская пушечка, вряд ли большего калибра, потому что на расстоянии ее выстрел прозвучал точь-в-точь, как елочная хлопушка. Снаряд негромко разорвался позади.

Из ближнего броневика высунулся по пояс стрелок в измазанной рубашке с засученными рукавами. Шлема на нем не было, и русые волосы разлохматились. Он повернулся к нам и, указывая поверх олив, прокричал по-русски:

— Давай-давай! Давай, братцы! В яме много не навоюете!

Положив обе руки на круглый борт, стрелок ободряюще улыбнулся, у него было скуластое и курносое лицо крестьянского парня из центральной России.

Как бы ни было, совет из броневика совпадал с отданными ранее распоряжениями командира батальона. Осталось его выполнить. Бросив на дорогу остервеневший мешок с оборванными лямками и дав Казимиру подержать свою винтовку, я ухватился за верх стенки, служившей нам прикрытием, подтянулся и заглянул за него. Передо мной простиралась покрытая высохшей и вытопанной травой лужайка, на которую не меньше, чем на оставленный бугор, шумно валялись пули. За лужайкой темнела оливковая роща, косо освещенная по вершинам начавшим склоняться за нее солнцем. Туда нам и надо.

Казимир положил винтовку наверх, подпрыгнул, лег, как садится на коня крестьянин, животом и, поболтав в воздухе ботинками, уполз. Ожел подсадил Юнина, тот протянул ему сверху руку. Остальные медлили. Я почувствовал, что должен подать пример. Взобравшись по осыпающейся стенке, я выпрямился и, подражая Людвигу Ренну, остался стоять над дорогой, пока все не вскарабкались на лужайку и не скрылись в оливах. Но едва я отошел от рытвины, как напускная невозмутимость покинула меня, и неожиданно для себя я пригнулся и побежал.

До цели оставалось немного, когда, заставив меня перейти на шаг, из олив показались санитары с носилками, на которых ничком лежал раненый. Подойдя поближе, я опознал широкую спину Дмитриева. Положили его неудобно: грудью на подогнутую руку; другую, с зажатым в ней головным убором, он подсунул под голову; ветер пошевеливал его пепельные, начинающие сесть волосы. На фоне зеленого брезента повернутая ко мне щека, лоб, сомкнутые веки и даже подбородок под двухдневной щетиной были матово-белыми, как у мертвеца.

— Что с вами? Куда вас ранило? — вскричал я, но Дмитриев не ответил.

— Ты его знаешь, этого поляка? — обернулся ко мне передний из тащивших носилки французов. — Да? Так не найдется ли у тебя несколько сигарет для него? Он, пока не потерял сознание, все просил курить, а у нас у самих нет.

Укрываясь от пуль, они зашли за растущую отдельно старую оливу и опустили носилки на траву. Я предложил обоим по сигарете, закурил сам, а оставшиеся в пачке положил неподвижному Дмитриеву в карман френча.

— Он тяжело ранен?

— Легко, — ответил передний и уточнил: — В зад.

— Тогда почему он без сознания?

— Крови много потерял. Что обидно: ранен-то он своими. Он был далеко впереди всех, уже за оливами, с самыми храбрыми, которые добрались до стены этого дьявольского монастыря, там и заработал свою пулю. Только прилетела она из тыла. И так ранен не он один.

С горечью смотрел я вслед удаляющимся носилкам. Я чувствовал себя виноватым перед Дмитриевым. Когда он вернется, я буду совсем иначе с ним держаться...

(Но Дмитриев не вернулся. Нигде и никогда больше мы не встретились. Много раз пытался я позднее разузнать, что с ним случилось, но безуспешно. Поневоле пришлось увериться, что он стал первой жертвой из нашей рассыпавшейся группы.)

Только через двадцать восемь лет я снова услышал о Дмитриеве. В свой недавний наезд в Москву рижанин Алеша Кочетков, отправленный, как я уже упоминал, из Парижа в Испанию раньше нас всех, еще в августе, припомнил, что во французском концентрационном лагере Гюрс, где, после отступления из Каталонии, содержалась значительная часть добровольцев интернациональных бригад, он знал немолодого человека по фамилии Дмитриев. Ничего достоверного о его дальнейшей судьбе мой тезка сообщить, однако, не мог...)

С належанного места, оставленного кем-то, не поленившимся вырыть тесаком среди обнажившихся корней выемку для головы, я мог рассмотреть границу олив-

ковых насаждений и открытое пространство за ней. Его замыкала высокая стена, с нашей стороны без ворот, тем более напоминавшая тюремную, что церковных башен снизу не было видно. Среди ровных рядов деревьев звучал непрерывный треск попадающих в стволы пуль, и на землю медленно, как хлопья снега, падали сбитые ими узкие, острые серебристые листья.

Время шло. Солнце окончательно опустилось за стену. Неположенный вечно-зеленым маслинам листопад продолжался, хотя мы перестали стрелять. Прекратили огонь и оставшиеся позади броневики. Лишь далеко справа продолжали строчить наши станковые пулеметы. В ответ со стены гремели очереди не то двух, не то трех «гочкисов», но били они не в нашу рожу, а через нее, стараясь, должно быть, отрезать подходы или подавить пулеметы.

Если днем наше отделение, которому надлежало находиться за правым флангом немецких рот, перемешалось с их левофланговыми, то сейчас я, по всей видимости, вклинился в расположение наступавшего в центре батальона Андре Марти. Меня мучило, что я оторвался от своих, тем более что я не знал даже приблизительно, где их искать. Однако под лежащий камень вода не течет, и я решил попробовать продвинуться вперед.

Вдруг оттуда донесся невообразимый гам, словно что-тостряслось. Все усиливаясь, он распространялся влево. Послышался беспорядочный бег множества ног. Прямо на нас, как табун перепуганных коней, мчались задыхающиеся люди.

— Nous sommes entouré, camarades!.. — орал один с перекошенным лицом. — Nous sommes entouré!.. On est vendue!..¹

Некоторые из лежавших по сторонам срывались со своих мест и присоединялись к убегающим. Двое или трое, выскочившие сбоку, перепрыгнули через меня, и чей-то пудовый каблук припечатал к почве пальцы моей левой руки. Я вскрикнул от неожиданности и боли, но беглецов уже и след простыл. Слышался лишь удаляющийся топот, да продолжалась монотонная, хотя и более редкая капель пуль по кронам маслин.

Поблизости не было ни души. Справа по-прежнему такали «максимы». Значит, если нас обошли, то слева. Я взглянул туда, и у меня перехватило дыхание. По меньшей мере взвод, неся винтовки на весу, двигался на меня. Сердце бешено заколотилось, но я тут же успокоенно перевел дух — несмотря на густеющие тени, удалось разобрать, что это французы. Они шли в тыл.

С наступлением вечера обстрел стал слабее. Нельзя было не сознавать, как бесполезно и рискованно оставаться в обезлюдевшей оливковой роще. Но в голове никак не укладывалась мысль, что наша бригада после всего могла так бесславно повести себя в первом же бою и, встретив отпор фашистов, сразу отступить. А потом, разве я не получил распоряжения Людвига Ренна войти в эти оливы и ждать? Как же отходить без приказа?

С сумерками стало холоднее, и я часто вздрагивал. Мне все время чудились передвигающиеся от дерева к дереву силуэты людей. Скоро спереди в самом деле донесся шорох. Я скорчился за своей маслиной, но, всмотревшись, выскочил из засады навстречу Лягутту и Фернандо.

— Как ты сюда попал и что думаешь делать здесь ночью? — удивился Лягутт. — Идем с нами. Не видишь, что ли, — фашисты ложатся бай-бай, а наши все до одного ушли в ближайший ресторан ужинать. Мы последние.

— Объясни, что произошло. Почему все ваши кинулись наутек?

— Во-первых, не все: мы же с Фернаном не бросились, как видишь. А во-вторых, здесь находилось лишь правое крыло франко-бельгийского батальона.

— И все-таки?

— Чего ты хочешь: паника! Вот Фернан клянется, что первый закричал про окружение сам командир батальона.

Командира франко-бельгийского батальона Мулена мне приходилось видеть издали. Мордастый здоровяк, он внешностью еще больше, чем наш Мельник, со-

¹ Мы окружены, товарищи!.. Мы окружены!.. Нас продали!.. (Франц.)

ответствовал этой фамилии в ее французском звучании. Однако Мулэн, как и Мельник, был коммунистом, а сверх того и офицером запаса, — маловероятно, чтобы он спровоцировал бегство.

— Пошли, — заторопил Лягутт. — Или ты надеешься выключить сигарету у фашистского патруля? Своих ребят здесь больше не встретишь.

Но он вторично ошибся. Едва я повернулся, как из-под ветвей ближней оливы на нас вынырнули двое «долгих» из польской роты; и как же я обрадовался, когда убедился, что это Казимир с Гурским! Подобрал винтовку, оброненную особенно спешившим беглецом, и перекинув через левое плечо лямки мешка, я двинулся за Лягуттом и Фернандо. Гурский и Казимир замыкали наше отнюдь не триумфальное шествие.

Прямая аллея вывела нас на ту же лужайку с одинокой оливой, возле которой я встретился с санитарями, несшими Дмитриева. Здесь толпились выбравшиеся из рощи французы и бельгийцы; среди них было не меньше пятидесяти поляков и даже несколько немцев. Все пытались перекричать один другого, возбужденно жестикулировали и, как потревоженные муравьи, непрерывно переходили с места на место. Возле каждой кучки споривших собирались слушатели, разочарованно сплюнув, отходили и тут же вступали в спор между собою, образуя новую кучку и в свою очередь собирая слушателей. То там, то здесь спор переходил в яростную ругань. Естественно, все шишки посыпались на командование. Командира бригады честили на чем свет стоит.

На холодном черном небе высыпали звезды. Страсти понемногу утихали. По двое, по трое люди выбирались из толпы и растворялись в темноте. Оставшиеся начали располагаться ко сну прямо на траве. Однако чей-то твердый голос, напоминавший тембром Белино, настойчиво потребовал, чтобы мы перебрались в расположенную поблизости траншею, где и теплее и безопаснее.

В оставленном фашистами окопе было темно, как в могиле, и так же, как из могилы, пахло сырой землей.

Прыгающие в него люди валились как подкошенные и моментально погружались в сон. Наступила глухая тишина. Хоть бы где собака залаяла или кто захрапел. Переговариваясь полусшепотом, два француза прошли над окопом взад и вперед, проверяя обстановку, и больше не появлялись.

...Разлепив глаза, я увидел над траншеей прозрачное небо рассвета. С трудом повернув затекшую шею, я с испугом убедился, что остался в окопе один как перст. Я вскочил. Лежавший под головой мешок тоже исчез, и — самое страшное — пропала моя винтовка. Чужая, подобранная мною, была здесь, а моя пропала. По имевшимся у меня представлениям, утеря оружия в бою грозила военнопольевым судом. Правда, вообще-то винтовка у меня есть. Ну, а если объявится ее хозяин или начнется проверка номеров?..

Там, где я стоял, окоп немного выгнулся, и продолжения его в оба конца не было видно. Я прошел немного налево и, к своему восторгу, обнаружил спящих Лягутта и Фернандо. Но сколько я ни тряс того и другого, разбудить не смог. Возможно, так же трясли и меня покидавшие окоп.

С ближайших олив взмыла стая воробьев, я насторожился, но с облегчением увидел выходящих из-за деревьев Казимира с двумя винтовками и Гурского с «люйсом» на плече.

Втроем мы быстро подняли на ноги Лягутта и Фернандо, а затем впятером проверили весь окоп в обе стороны и сначала наткнулись на мертвецки спящего Ганева, а в нескольких шагах от него на Ожела, свернувшегося клубком. В дальнем же аппендиксе обысканной нами траншеи мы нашли прижавшихся друг к другу Остапченко и Юнина. У Остапченко был сильный жар.

Всего нас набралось таким образом девять человек, вооруженных винтовками и ручным пулеметом, который нашел сегодня Гурский в кустах. Запасных дисков не было, но патронов имелось хоть и не вдоволь, а на первый случай достаточно.

Оставив Юнина около вышедшего из строя Остапченко, мы вылезли из окопа и отправились в оливы. Гурский с Казимиром заверили, что неприя-

теля там нет. Войдя под деревья, я поручил Ожелу незаметно подобраться поближе к Серро-де-лос-Анхелесу и поглядеть как и что. До его возвращения мы, стараясь не обнаруживаться, хорошенько обследовали рошу.

Солнце уже всходило, когда мы собрались на том же месте, где происходил ночной митинг. Перед нами возвышалась куча найденных трофеев: четыре диска к «лююису» в жестяных коробках вроде тех, в каких держат фильмы, две винтовки — одна с пятнами крови на ложе — и несколько десятков обойм. Присоединившийся к нам Ожел доложил, что в крепости, наверно, еще спят.

В ожидании бригады напрашивалось единственно правильное решение: нам необходимо остаться под оливами и, если фашисты вышлют разведку, открыть по ней огонь, но чтобы нельзя было догадаться, как нас мало. Для начала я послал Гурского за Остапченко и Юниным, а остальных развел по открытым вчера окопчикам, приказав стрелять по всякому, кто появится со стороны противника.

Вернувшись на лужайку, я застал там отоспавшегося и прибодрившегося Остапченко, вместе с Гурским он ковырялся в приبلудном «лююисе». Рядом сладко спал Юнин. Мне захотелось взять с него пример, но я безжалостно растолкал его, придал с четырьмя дисками Гурскому и, прихрамывая — до того натер ноги, — повел обних на позицию.

На обратном пути меня встретило радостное восклицание Остапченко — бригада возвращалась. Во всяком случае вдали виднелась пыль, поднятая движущейся походным порядком частью. Биноклей у нас не было, и, чтобы рассмотреть ее, пришлось долго ждать. Прошло минут двадцать, и мы с унынием убедились, что это вовсе не наша бригада, а какая-то беспорядочная, хотя и вооруженная толпа численностью не больше батальона. Чем ближе она подходила, тем виднее была удивительная ее беззаботность: она приближалась к противнику, не выслав голвной и коковые дозоры.

Из крепости пальнула вчерашняя пушечка, мелкокалиберный снаряд растолкал воздух над нами, и далеко позади подходящих поднялся черный фонтанчик разрыва. Видно, это были испанцы, они продолжали идти толпой. Пушечка выхлопнула вторично, и, хотя второй разрыв взметнулся еще дальше, батальон на ходу разомкнулся по обочинам дороги и несколько ускорил темп. Третий и четвертый разрывы поднялись ближе, и тогда батальон врассыпную бросился к траншее.

Чтобы расспросить, где наша бригада и когда можно ждать ее обратно, следовало немедленно связаться с прибывшими из тыла да заодно раздобыть у них хлеба и, главное, воды. На счастье, с нами был Фернандо. Я попросил Остапченко сменил его и прислать ко мне.

Молча выслушав мои инструкции, Фернандо закинул винтовку за спину и заковылял к окопу, издали во избежание недоразумений вздымая кулак. Возвратился он гораздо скорее, чем можно было ожидать, но никаких вестей не принес. Расположившийся в пустом окопе батальон входил в недавно сформированную испанскую бригаду с коммунистическим руководством — номера ее, понятно, Фернандо не сообщили. Респонсабли, с которыми он беседовал, не знали, где наша бригада, но некоторые бойцы утверждали, будто «лос интернасионалес» еще вчера вечером проследовали в грузовиках на Чинчон. Это было очень странно, однако, поскольку Фернандо уведомили, что батальону обещана смена не позже чем через неделю, рассчитывать на скорое возвращение нашей бригады именно в этот сектор не приходилось. Что же касается воды, то Фернандо, отвернув пробки и перевернув вверх дном свою и мою фляжки, продемонстрировал их совершенную сухость: батальон ел и пил в последний раз вчера на исходе дня и сейчас с нетерпением ждал подвоза воды и продовольствия.

Собрав всех на поляну, я приказал привести себя в порядок. Нас фактически сменили, и теперь мы имеем право отойти и присоединиться к бригаде.

Я повел свою еле волочившую ноги команду к дороге. Напрягая все силы, чтобы держаться молодцевато, и стараясь не смотреть в сторону окопа (очень уж было стыдно — помогли, нечего сказать!), мы выбрались на грунтовую дорогу. Она привела нас к шоссе. На нем пекло, как летом.

Пройдя километров пять или шесть и приблизившись к вытянутому вдоль шоссе селению дачного вида, через которое бригада проезжала вчера — Фернандо запомнил, что оно называется Ла-Мараньоса, — мы вступили в главную улицу и не смогли преодолеть охватившего нас уныния. Что мы не найдем здесь жителей, к этому все были заранее подготовлены, но Ла-Мараньосу никто не охранял — значит, в ней не было воинской части и рассчитывать на отдых и обед не приходилось. Предстояло тащиться дальше. Но куда? И где набраться сил для этого?

Растянувшись, мы брели по середине шоссе. Виллы по обеим его сторонам были необитаемы, двери их наглухо заперты, и даже ставни закрыты. Но, подходя к перекрестку, все ожило: до нас долетело тарахтенье автомобильного мотора. Однако не успели мы доплестись до площади, как на нее выехал зеленый грузовик и повернул от нас к тылу. Одновременно раздалась дикая крики. Сбоку на площадь, потрясая винтовками, выскочили трое в таких же, как на Лягутте и Фернандо, зеленых беретах. Они орала шоферу, чтоб он подождал, но тот или не слышал, или не понял, и машина продолжала удаляться. Исступленно вопя, трое бросились вдогонку. Им удалось достичь ее и, побросав в кузов винтовки, будто это были лопаты, кое-как уцепиться за борт. Повиснув на нем и извиваясь, как испуганные кошки, они, рискуя ежеминутно сорваться, отталкивались ногами, пока не перевалялись в кузов. Машина понемногу увеличивала скорость и скрылась из глаз. На улицах Ла-Мараньосы снова наступила безжизненная тишина.

Все мы были донельзя удручены. Разыгравшаяся перед нами сцена показывала, что вчерашняя паника имела продолжение. Особенно подавлен был Лягутт.

— Когда смотришь на подобные вещи, делается стыдно, что ты француз, — вырвалось у него.

Мы добрались до перекрестка, да так и кинулись — откуда резвость появилась — в глубину площади, к источнику: из вертикальной каменной плиты торчала позеленевшая бронзовая трубка с инкрустациями, по которой в бассейн стекала ключевая вода. Напившись, все в изнеможении растягивались в тени стены у коновязи на тверже бетона утрамбованной копытами земле.

Неподалеку приоткрылась и тотчас же захлопнулась входная дверь.

Я встал, взялся было за винтовку, приставленную к высохшему желобу, и застыл от неожиданности: с шоссе, постукивая тростью, к нам направлялся непонятно откуда взявшийся сам командир бригады. Ему оставалось до нас шагов тридцать, когда все без команды начали подниматься и одергивать под поясами измятые френчи. Тут я опомнился и сделал знак, чтоб построились.

Звучным и довольно сердитым баритоном генерал Лукач издала спросил немецки: кто мы и что здесь делаем? Я шагнул навстречу и по-русски отпартортовал, что мы, девять человек, отстали от своих и не знаем, где их искать.

Услышав русскую речь, он пытливо взглянул на меня и прервал тоже по-русски со своим особым акцентом: мягкие звуки он выговаривал, как твердые, и наоборот:

— Зачем говорить «отстали», не проще ли сказать «проспали»?

Я согласился. Ведь когда мы засыпали, в окопе было не меньше ста человек.

— Ничего не понимаю. В каком окопе? — опять перебил он недовольно. — Где вы его в Ла-Мараньосе нашли?

Я разяснил, что мы ночевали возле Серро-де-лос-Анхелеса.

— И вы прямо сейчас оттуда? Быть не может! — изумился генерал Лукач. — Оттуда же еще ночью всех отвели.

Я ответил, что нас никто не отводил и что мы сперва ждали бригаду, но, измученные жаждой и голодом, решили уходить, когда пришел испанский батальон. Командир бригады слушал, склонив голову на плечо и поглядывая на меня искоса. Он был чисто выбрит, и от него приятно пахло одеколоном. Узнав, что мы вторые сутки не ели, он не стал ни о чем больше расспрашивать.

— Идите за мной и двух человек возьмите.

Не только я, но и Гурский с Казимиром не поспевали за ним, когда он легким шагом двинулся в тупик к тому дому с закрытыми ставнями и некрашеной две-

рю, где кто-то был. По-видимому, за нашим приближением наблюдали сквозь какую-то щель, потому что едва генерал Лукач стукнул тростью в дверь, как она раскрылась. За ней стояли два немолодых тельмановца — жилистый боец и мелкий, щуплый респонсаль в накидке. Оба поднесли кулаки к беретам и грохнули каблуками. Командир бригады заговорил с ними по-немецки. Щуплый попытался было сдержанно возразить, но Лукач повелительно произнес короткую фразу, из которой я уловил два желанных слова: «цейн рационен». Оба немца послушно щелкнули каблуками, расстелили на полу возле порога кусок парусины и начали выносить и укладывать на него десять хлебных кирпичей, десять конусообразных банок корнбифа, обклеенных пестрой бумажкой с рогатой бычьей мордой в овале, десять жестянок яблочного джема, около килограмма шоколадного лома и двадцать пакетов испанских самокруток с приложением двадцати книжечек папиросной бумаги. За все эти сокровища я заплатил росписью в блокноте интенданта вынутым им из-за уха чернильным карандашом. Не обратив внимания на робкие наши возражения, генерал Лукач, ухватившись за четвертый угол, помог нам донести парусиновую скатерть-самобранку до коновязи и удалился, сказав:

— Кушайте, через полчаса я подойду, надо кое-что у вас разузнать.

Пир получился кратким: одни уснули, еще жуя, другие, более стойкие, — не докурив сигарету. Я один крепился, поджидая генерала Лукача, пока не почувствовал, что меня трясут за плечи.

— Проснись! Проснись же! Командир бригады! — будил меня Остапченко. Мотая головой, я, пошатываясь, поднялся на ноги.

— Потяни, — шепнул Остапченко, подсовывая раскуренную самокрутку.

Я успел дважды глубоко затянуться, выпустить дым и закинуть за плечо винтовку. Генерал Лукач сочувственно посмотрел на спящих, потом на меня:

— Устали? Сейчас ненадолго пройдетесь со мной. Тут близко. Поговорим, а там спите до вечера.

Дойдя до шоссе, он свернул налево.

— Из каких, вы сказали, батальонов ваши люди?

Я ответил.

— А по национальному составу?

— Один испанец, один француз, три поляка и четверо... — я замялся.

— Кто же четверо?

— Русские, — выговорил я. — Русские из Франции. Все в польской роте. Вместе ехали из Парижа. Собственно говоря, двое из Эльзаса. Из Парижа — Ганев, высокий такой, постарше, — не заметили? — и я.

— Как вас звать?

Я назвал свое имя и фамилию.

— Алексей? — почему-то обрадовался он. — Нет, правда?

— Так точно, Алексей.

— Хорошее имя. Уменьшительное: Алеша. У меня есть один очень-очень близкий друг, которого зовут Алеша. — Он произносил «Аль-оша» и немного нараспев.

(. . . Лишь в 1940 году в Москве, незадолго до ареста, впервые прочитав «Добердо» и дойдя до строк: «Вы знаете, как по-русски уменьшительное имя Алексея?.. А-л-е-ш-а. А-л-е-ш-а, Алеша, Алеша. Правда, мило?» — я догадался, что означала для Лукача в тот тяжелый для него день непредугаданная встреча с кем-то, кого звали так же, как Матэ Залка решил назвать своего самого положительного, хотя и недописанного героя. С тех пор я и думаю, что, если бы меня звали Эдиком или Валеркой, Лукач, по всей вероятности, совсем иначе отнесся бы ко мне, а значит, мое участие в испанской войне сложилось бы по-другому и эта книга, возможно, никогда не была бы написана.)

Через дворик, по которому, разинув клювы и жалобно квохча, бродили голодные и непоенные куры, командир бригады прошел в чистенькую кухоньку, а от-

туда в темный коридор. Дверь одной из комнат открылась, и из нее выглянул маленький начальник штаба.

— Вот русский парижанин Алеша, — ставя палку в угол и вешая фуражку, весело заговорил генерал Лукач. — Представь, совершенно случайно споткнулся, можно сказать, об него на улице. Он привел из-под Лос-Анхелеса целый отряд и располагает самыми последними данными о противнике.

— Ну? — обрадовался начальник штаба. — Давай, парижанин, к карте.

Стоя над разложенной картой, я рассказал все, что знал, и хотя я почти ничего не знал, и командир бригады, и начальник штаба, что-то отмечавший цветным карандашом, с интересом отнеслись к моим отрывочным сведениям. Больше всего их удивило и одновременно обрадовало — я заметил, как они переглянулись, — что окоп возле оливковой плантации занят испанским батальоном. А единственно, чему начальник штаба не хотел верить, — это что фашисты с вечера и почти до полудня не удосужились выслать разведку.

Я доказывал, что если бы фашистский патруль пробрался ночью, то неужели же они не бросили бы нам в траншею хоть парочку ручных гранат? А с рассвета мы сами ходили в оливы проверить, не осталось ли там раненых, и подобрать разбросанное оружие.

— Все правильно, — соглашался начальник штаба, — и все-таки удивительно. Ведь у них же, черт возьми, кадровая армия.

— Теперь, значит, так, — обратился ко мне генерал Лукач. — Сейчас мы с вами сходим в гараж, я скажу, чтоб вас всех доставили завтра утром с попутной машиной в Чинчон. А сейчас вы свободны до вечера. Выспитесь хорошенько. И лучше не на мостовой, а перебирайтесь сюда и устраивайтесь в кухне или во второй комнате. Товарищ Фриц и я, мы должны кое-куда съездить, вернемся поздно. Вы получите у интенданта вашего батальона чего-нибудь перекусить. А ночью попрошу вас и ваших товарищей по очереди подежурить. Договорились?

Солнце уже зашло, когда я отправился за ужином для командира бригады и начальника штаба, но, сколько ни колотил в дощатую дверь, мне не открывали. С опозданием я обнаружил, что в притолоку и в порог вбиты снаружи здоровенные костыли: интендантство эвакуировалось.

Ровно в полночь я вторично сменил часового. В этот момент на шоссе послышался шум мотора. Крохотная машина — четырехместный «опель» — медленно подъехала с выключенными фарами, и командир бригады устало ступил на асфальт. За ним выбрался начальник штаба. Я зажег найденную Ожелом свечу, для которой он вместо подсвечника использовал пустую бутылку, и, держа ее над головой, проводил приехавших в заставленную комнату с закрытыми и заложеными изнутри ставнями.

Минут через двадцать я постучался и внес многократно подогревавшийся самодельный ужин. Ни Лукач, ни Фриц не притронулись к вину, которое мы для них извлекли из погребка под кухней. К не меньшему изумлению, ни тот, ни другой не курили. Зато от приготовленной Лягуттом жареной курицы осталось меньше половины. Быстро убрав со стола, я пожелал спокойной ночи.

Выйдя к стоявшему на часах Гурскому и осторожно просунув рядом с ним винтовку между столбиками ограды, я как можно тише послал патрон в ствол. Холодная ночь была безоблачной, и в небе сверкали бесчисленные звезды, но на земле нигде не было ни огонька. В глазах от напряжения мелькали какие-то пятна, но, поморгав, я прогнал их. Ведь, кроме испанского батальона, между нами и Серро-де-лос-Анхелесом были только пустые холмы и оливковые плантации. Что мешаает фашистам подкрасться к Ла-Мараньосе? А за нашими с Гурским плечами отдыхают товарищи, отдыхают и советские командиры. Я трижды видел «Чапаева». Это не повторится. Мы с Гурским не проспим, а там проснутся и остальные. Пусть фашисты только сунутся. Мы уже не те, что позавчера утром: за битого двух небитых дают.

9

На рассвете командир бригады вышел во двор в домашних туфлях и в подтяжках, поддерживавших галифе. В руках у него были первоклассные, на тройной подошве, коричневые ботинки, щетка и коробочка сапожной мази, а под мышками краги. Подтяжки несколько шокировали меня: во Франции их, за исключением провинциальных нотариусов или отставных военных, давно никто не носил, и эта патриархальная принадлежность мужского туалета связывалась у меня с воспоминанием о деде с материнской стороны — черниговском губернаторе, о дядях, морских офицерах, но никоим образом не с представлением о красном командире.

Как ни рано поднялся генерал Лукач, он не застал нас врасплох. Чуть свет умывшись и позавтракав, все расселись на земле и предались традиционному времяпрепровождению воинов на биваке — чистке оружия.

— Вольно, вольно, — предостерегающе подняв щетку, предупредил командир бригады попытку встать. — Вы делом заняты. Опять же, и я не по форме одет.

Он пошел в дом, сделав мне знак идти за ним.

— Зная, что нас охраняют, я спал, как младенец, без сновидений, — проговорил командир бригады, — а проснулся и даже сам себе не поверил: по дому разносится аромат кофе. Хорошо!.. Писать по-французски умеете? Прекрасно. — Он положил лист чистой бумаги на письменный стол, где вчера начальник штаба раскладывал карту. — Садитесь, составьте список ваших товарищей, не забудьте и себя включить. Укажите фамилию, имя, год и место рождения, партийную принадлежность, национальность... или нет, национальность не надо, а лучше батальон и роту. Завтра же я всех затребую. Штабу бригады необходимо иметь охрану, надежнее мы вряд ли кого сыщем. Товарищ Фриц со мной согласен. Вас я думаю назначить ее командиром. Отдадите мне список и поскорее ведите свою команду в гараж, сами же возвращайтесь, поедете с нами в небольшую экспедицию...

Раньше, чем Лягутт успел собрать и помыть посуду, я представил список.

Командир бригады вместе со мной кропотливо разобрался в нем, спрашивал, что мне о ком известно, и вычеркнул Остапченко.

— Если взводом командует, то неудобно: нельзя оголять польскую роту, у них с командирами дело обстоит из рук вон плохо. Ты согласен, Фриц?.. Попросите, пожалуйста, товарища Остапченко ко мне, я хочу сам ему объяснить, чтоб человек не обиделся.

Невыразительное лицо Ивана Остапченко, когда он выходил от генерала Лукача, было сосредоточенным — больше того, на нем отпечатался оттенок некоторой важности.

Выстроив на шоссе свое сводное отделение, я уже собрался уводить его, как из калитки вышел командир бригады, пожелавший лично напутствовать людей. Постукивая в такт по асфальту острием палки, он похвалил проявленную нами в первом бою дисциплинированность и объявил о нашем зачислении в охрану штаба. Пока я переводил на французский, генерал Лукач подошел к стоявшему в первой шеренге Остапченко, подал ему руку и вполголоса произнес что-то, отчего тот порозовел, почти как вчера, когда у него повысилась температура.

Идя обратно и чуть не пританцовывая, настолько стало легче без мешка с обоймами, я издали обнаружил, что микроскопический автомобиль стоит перед домиком, где мы ночевали. Когда я подошел, уже начали усаживаться: Лукач и Фриц — на заднее сиденье, немец в вельветовом костюме, очевидно механик, устроился на краешке между ними, а запасной шофер откинул спинку второго кресла и сел рядом со своим коллегой, держа бачок с бензином на коленях. Больше в эту спичечную коробку на колесах было не втиснуться и котенку.

По приказанию Лукача я стал на подножку и, просунув руку внутрь, ухватился за какой-то выступ. Лукач, однако, не удовлетворился этим, он озабоченно

обратился по-немецки к механику, который тронул плечо свободного шофера и показал ему на меня. Тот, зажав бачок между ногами, продел руку под мою и крепко взялся за мой пояс.

— Ну, была не была, поехали, — сказал Лукач и откинулся назад.

Накануне я рассмотрел на карте начальника штаба, что не взятая нами цитадель, как прозвал ее Дмитриев, именуется по-испански «эрмита». По аналогии с французским «hermitage» это должно означать «скит», «пустынь». То-то вокруг настоящая пустыня, нигде ни души, как было и вчера на всем протяжении нашего хождения по мукам, от самой этой фашистской Троице-Сергиевской лавры и до Ла-Мараньосы. «А, должно быть, оттуда, с колоколен, — подумалось мне, — отлично видно, особенно благодаря тянувшемуся за нами шлейфу пыли, перегруженную нашу машину, с таким трудом взбирающуюся прямо волку в пасть. Как бы их пушчонка не бабахнула по нам...»

Надо думать, что моя мысль передалась шоферу, ибо он поиграл скоростями и, весь подавшись вперед, нажал на акселератор. К счастью, чем ближе подвигались мы к проклятому монастырю, тем ниже опускались его стены и башни, пока их окончательно не заслонила плантация оливок. Немного не дойдя до них, дорога повернула вправо и врезалась, огибая его, в крутой холм. Теперь ничего не стало видно, кроме глинистых откосов по сторонам и ясного неба над нами.

— Вон она, голубушка! Как оставили, так и есть! — воскликнул Лукач.

Впереди, прислонившись к срезу холма, стоял второй, точно такой же, как наш, бутылочного цвета «опель». Теперь было понятно, зачем мы сюда взбирались. Я соскочил с подножки, не дожидаясь, пока машина остановится. За мной выпрыгнул шофер с бачком. Механик вытянул из-под освободившегося сиденья цепь и, сдергивая сумку с инструментами, бросился к одинокому «опелю». Лукач и Фриц тоже вышли из машины, которая начала разворачиваться.

— Вот что. — Лукач взял меня сильными пальцами под локоть и, торопясь, отвел от машины. — На прямую тут до фашистов километра не будет. Мы, можно считать, на их территории и должны у них из-под носа угнать мою машину. Для меня это вопрос чести — все равно что бросить врагу коня, — а для них трофей. Управимся самое большее за десять минут. Не пойдет — возьмем на буксир. Поднимайтесь пока вон туда. В двухстах метрах начнутся оливковые насаждения. До них не доходите. Залягте шагах в пятидесяти. В случае чего бейте издали, близко не подпускайте. Живей-живей!

Я взобрался по откосу наверх. Здесь росла выцветшая трава, от нее пахло сеном. Не успел я шагнуть в нее, как раздался окрик командира бригады:

— Черт подери! Винтовку! Винтовку на руку!..

Сорвав ее с плеча и послав патрон, я побежал по лугу и, когда до оливок осталось совсем немного, упал в высокую, по колено траву. Было обидно, что генерал Лукач так грубо прикрикнул на меня. Вероятно, он считает всю эту затею довольно опасной, а мою неопытность принял за легкомыслие.

Сухая трава скрывала все, кроме неподвижных крон ближайших оливок. Я примял ее перед собой, но от этого видимость не сделалась лучше. Тогда я попробовал приподняться на локтях. Удалявшиеся вверх прямыми шеренгами одинаковые серые стволы открылись почти до почвы, но если кто-нибудь залег за ними или ползет ко мне, я все равно не увижу. Ничего не поделаешь: приказано лежать, и я лежу.

Так прошло, наверное, всего несколько мгновений, однако мне казалось, что назначенные десять минут уже истекли. Я прислушался. Было до того тихо, что звенело в ушах. Время будто остановилось. Вдруг с дороги донесся шум автомобильного мотора. Потом его опять не стало слышно. Прошло еще сколько-то времени, и до меня долетел негромкий свист. Я оглянулся и увидел поверх травы чью-то руку, размахивающую синей шоферской каскеткой. Вскочив, я пригнулся и во весь дух помчался по проложенному в траве собственному следу.

«Опель», в котором мы приехали, с выключенным мотором катился вниз по

дороге. В заднее окошечко его смотрел Фриц. Механик сталкивал с места вторую машину. Я хотел помочь ему, но изнутри Лукач нетерпеливым жестом приказал мне садиться. Винтовкой вперед я неловко полез на ходу и плюхнулся рядом с предупредительно отодвинувшимся командиром бригады. Механик вскочил за мной и закрыл дверцу. Потяжелевшая машина ползла, понемногу разгоняясь. Шофер попробовал запустить мотор, но он не заработал, зато «опелек» дернуло, и он едва не остановился. Однако уклон стал покруче, и машина опять разошлась. Новый толчок, и мотор, фыркнув, ровно застучал. Механик успокоенно откинулся в кресле. Выбравшись из глиняного коридора, мы свернули. Отсюда и почти до самой Ла-Мараньосы тянулась прямая светло-желтая ленточка спуска. Машина Фрица быстро удалялась в километре от нас, за ней висело облачко пыли.

Я позволил себе задать вопрос, отчего же все-таки машина не работала.

— Анекдот. Полез механик в мотор и, представьте, понять не может: все как будто в порядке. Мне же, еще когда выезжали, показалось странным, зачем шофер бензин везет. Я и спрашиваю механика: а вы проверяли, горючее есть? Посмотрели, а из резервуара и не пахнет. Не заправился, сукин сын! За такое следует голову снять, да этот чудак улыбается, как провинившееся дитя, и рассердиться нельзя. А будь фашисты поактивнее, недолго было и в плен попасть.

Лукач рассмеялся. Как раз в этот момент пушечка и хлопнула, прервав его заразительный смех. Полета снаряда мы из машины не расслышали, но разрыв наблюдали, как из ложи, и звенящий звук его долетел до нас после того, как рыжий султан левее и впереди машины Фрица начал опадать. Сразу же хлопнуло вторично, и второй разрыв совсем скрыл ее от нас. Мы невольно привстали на сиденьях, но когда дым отнесло, облегченно сели: темно-зеленый «опелек» как ни в чем не бывало катил дальше.

— Ох, накроют, — заволновался Лукач на третьем выстреле.

Бойкая пушечка выпустила еще пять или шесть снарядов, но теперь они и близко не ложились от цели. Наконец «опель» повернул в лощину, и назойливое орудие угомонилось.

— Теперь наша очередь, — предупредил Лукач.

Обернувшись вполоборота, мы взглянули на возносившийся над нами неприятно близкий монастырь. Прозрачный, как хрусталь, воздух сокращал расстояние, будто мы смотрели в бинокли. Отличная видимость была безусловно взаимной. Я отвернулся от заднего окошечка и в ожидании внутренне сжался. Тем временем машина поравнялась с первой воронкой. Напряжение во мне росло: сейчас как шарахнет! Следующая воронка заставила замедлить ход, она захватила правую часть дороги. Обогнув выбоину, машина рванулась вперед. Шофер явно решил выжать из нее все, на что она способна, и бедный «опель» козликотом запрыгал по жесткому грунту. Но ожидаемых разрывов не последовало.

— Фашисты не стреляли, когда завидели едущую в их сторону машину, потому что не были уверены, чья она, — рассуждал Лукач в ответ на высказанное мной недоумение. — Зато когда она возвращалась, сомневаться больше не приходилось, и они ее обстреляли. А когда машина ускользнула, раздосадованные артиллеристы, понятное дело, отвернулись от дороги. Им и в голову не могло прийти, что за ней пойдет еще одна машина, — откуда ей, спрашивается, взяться?

Фриц уже вынес вещи из опустевшего дома и был готов к отъезду, когда наш бежавший из фашистского плена «опелек» остановился впритык к своему двойнику. Командир бригады и начальник штаба обменялись короткими фразами; из них я понял, что Фриц едет отсюда прямо в Мадрид «проконсультироваться с нашими товарищами» и вернется к вечеру в Чинчон. Пожав Лукачу руку, он кивнул мне, сел в машину и укатил.

Подвезя меня до Чинчона и приказав шоферу остановиться на залитой солнцем площади, Лукач осведомился, найду ли я отсюда свою роту, и после моего «так точно» прибавил:

— Даю вам сутки на отдых, а послезавтра в семь тридцать будьте на этом самом месте. Пока, всего хорошего.

Польская рота помещалась там же, где раньше, — в бывшей конюшне.

Я прошел к Владеку, занимавшему вместе с Болеком каморку в глубине, но ни того, ни другого в ней не оказалось. Молодой поляк с подбородком, который беллетристы называют «волевым», сидел за столиком и читал Мельнику, лежавшему под полушубком на ближайшей из двух коек, какую-то бумагу вслух. В углу стояли два «льюнса»; один был наш — я не мог обознаться. Мельник приподнялся на локте, всмотрелся в меня и спросил, не с неба ли я свалился. Ответа такой вопрос не требовал, и я тоже спросил, где Владек, мне необходимо доложить ему о своем прибытии. Тогда Мельник объявил, что Владек больше ротой не командует, а командует вот он, Стефан, ему и надлежит рапортовать. Я так и сделал. Услышав, что я возвратился лишь до послезавтрашнего утра и что на меня, а также еще на пять человек должно поступить из штаба бригады письменное распоряжение, Стефан сделал каменное лицо: не очень-то красиво со стороны командования бригады забирать добрых жолнеров. И он холодно спросил, а нет ли распоряжений из бригады насчет доставленных отставшими лишних винтовок и карабина машинового. Я понял, что речь идет о «льюисе», и смог ответить твердым «нет», — раз мы выбрали оружие, о котором идет речь, когда были бойцами польской роты, то оно принадлежит роте. Строгие черты Стефана немного смягчились.

— А ты что, ранец свой потерял? — спросил Стефан, уже отпустив меня.

Я повернулся на пороге и со стыдом признался, что да, утерять.

— Погляди, не здесь ли он.

У стены, за его спиной, была сложена целая пирамида вещевых мешков. Я заметил на полу затоптанные концы возбуждавших надежду лямок и потянул. Он! Несмотря на всю свою серьезность, и Мельник и Стефан заулыбались той детской радости, которую я и не пытался утаивать. Да и как было не радоваться, если в чудом обретенном мешке хранилась, кроме прочего, еще и пачка «кэмл»!

Мое место на соломе оставалось незанятым. Я приставил винтовку к козлам, развязал мешок и принялся выпотрашивать его на одеяло. Все пришло в довольно неприглядное состояние, наложенные сверху двадцать обойм сделали свое дело, и, конечно, больше всего от них пострадали драгоценные сигареты: значительная часть их превратилась в труху. Когда я вынимал лежавшую на дне и будто изжеванную рубашку, из нее вывалилась пуля. Я вспомнил, что в мешок попало. Кончик пули оказался сплюснен, а сама она изогнута: явно угодила в одну из обойм, отчего и было слышно попадание. Неизвестно почему мне захотелось сохранить на память эту пулю, и я опустил ее в карман френча.

— Что, нашлась твоя торба? — спросил лежащий рядом и впопыхах мной не замеченный Юнин. — А ну-кася, дай я лямки присобачу, — предложил он, вытаскивая из-под подкладки своей пилотки кривую сапожную иглу с драгвой.

Большая теплая рука опустилась сзади на мое плечо — это был Ганев.

— Долго же тебя ждать понадобилось, мы и выспаться успели.

Подошел и Остапченко. Пока мы разговаривали, весьма кстати подвезли горячий обед. Поддерживая ложки хлебом, чтобы не капать, мы вчетвером умяли два переполненных котелка.

Мои товарищи успели не только выспаться, но и разузнать о многом, происходившем в наше отсутствие. Батальон Андре Марти действительно был деморализован самим своим командиром: десятки французских и бельгийских добровольцев письменно подтвердили то, что мы уже слышали от Фернандо, — Мулэн первый закричал про окружение. Хуже того, удрав вместе с подавшимися панике, он как в воду канул. В бригаде во всяком случае его нет. Поговаривают, что он бежал во Францию. В батальоне, после того как его командир смылся, человек двадцать, если не больше, обмотали шеи черно-красными платками и объявили себя анархистами. Никого, мол, не признаем и впредь без коллективного обсуждения выполнять приказы не собираемся. Вновь назначенный командир батальона,

судя по всему, слаб, а комиссар один с бузотерами справиться не может. Ему в поддержку комиссар бригады направил своего помощника — немецкого коммуниста и тоже писателя, как наш Людвиг Ренн.

— Что же касается батальонов Гарибальди и Тельмана, то в них, в общем и целом, как говорят докладчики, порядок, — продолжал Ганев. — Пошумели и успокоились. В нашей роте недовольство не совсем еще, правда, улеглось. Некоторые, например, винят во всем происшедшем тринадцатое число. Большинство все же продолжает считать ответственным за неудачу командование.

— Где же теперь Владек?

— Разжалован за нераспорядительность, — отвечал Ганев.

— А Болек где?

— Болек? Ты разве не знаешь? Хотя откуда тебе, в самом деле, знать... Болек... — Ганев понизил голос: — Болек расстрелян.

— Как расстрелян? — переспросил я растерянно. — За что?

— Толком ничего не известно. Я хочу сказать, нам, рядовым бойцам. Сегодня в роте было партийное собрание, но мы на него опоздали. Тех, кто молчит, я не расспрашивал, а те, кто болтает, говорят по-разному. Одни утверждают, что, когда тот самый Болеслав в третий раз покинул необстрелянных людей под огнем и ушел принимать сердечные капли на перевязочный пункт, два пожилых санитара, оба старые члены партии, потребовали, чтобы он взял себя в руки и немедленно вернулся в бой. Тот мало что отказался, но будто бы заявил, что он образованный партийный работник и приехал на организационную работу, а не служить пушечным мясом. Тогда они отобрали у него пистолет, отвели в сторонку и без лишних разговоров из его же пистолета и пристрелили. Между прочим, этому в роте верит большинство. Верит и одобряет. Всем нравится, что высшую меру наказания применили два брата милосердия...

— Все же это самосуд...

— По другим сведениям, — продолжал Ганев свой рассказ, — его арестовали лишь на следующее утро и передали, как симулянта и дезертира, в пятый полк, а там судили и за дискредитацию комиссарского звания расстреляли. Есть и третья версия, по моему мнению, наиболее правдоподобная. Если верить ей, он под конвоем отправлен в Альбасете — там разберутся...

...Мокрую от лившего всю ночь дождя чинchonскую площадь продувало ветром. Чтобы не опоздать к назначенному командиром бригады времени, я вынужден был встать затемно и теперь, прогуливаясь взад и вперед в указанном месте, с винтовкой прикладом кверху, так как продолжало моросить, основательно продрог. Наконец, вздымая брызги, подкатил омытый дождем «опель».

— Идите вон по той улице до конца, — приоткрыв дверцу, сказал Лукач, — на выезде стоит штабной автобус. Садитесь в него. Вас довезут до Мадрида, а оттуда в место сосредоточения бригады. Там уж сами постарайтесь отыскать меня. Если при посадке в автобус вас начнут допрашивать, кто вы да что, обратитесь к товарищу Тимару, он венгр, но из Парижа, вы с ним договоритесь, я его предупредил. Все. Постойте! У вас что, теплее ничего нету? Плохо. — Он потянулся к заднему сиденью, и в руках у него оказалась потрескавшаяся кожаная куртка. — Я достал для него, — Лукач кивнул на шофера, — но он все-таки под крышей. Берите, берите, потом видно будет...

Я зашагал в заданном направлении. Действительно, там, где начиналось шоссе на Мадрид, стоял небольшой, весьма элегантный автобус, ранее, должно быть, доставлявший с вокзала клиентов какого-нибудь отеля.

Не без робости поднялся я в штабную машину. В ней спинами к входу разместились на мягких сиденьях несколько человек, все как один в канадских полушубках и с поднятыми воротниками, по багажным сеткам были расставлены чемоданчики и чемоданы. Никто на меня и не оглянулся, не то чтоб о чем-нибудь расспрашивать. Но едва, сбросив с плеч мешок, я сел сзади всех, как шофер, словно только меня и дожидался, потянул какой-то рычаг, дверь медленно, со скрежетом закрылась, и автобус тронулся.

Ни мое появление, ни рывок автобуса не прервали оживленную французскую болтовню. Три или четыре пассажира, поддерживаемые остальными, старались превзойти друг друга в остротах по адресу шофера, с расчесанными на пробор жесткими, как проволока, серебристо-седыми волосами и необыкновенно красным, будто обожженным африканским солнцем, моложавым лицом.

Звали шофера Варела, то есть он был однофамильцем руководящего наступлением на Мадрид фашистского генерала. Это был вполне достаточный повод для вдохновения автобусных юмористов. Хоть и с твердым испанским акцентом, но с истинно парижской привычкой к словесному фехтованию он ловко отбивался от сыпавшихся на него шуток. Больше всех изощрялись двое: молодой круглолицый француз Клоди и цыгански-смуглый, вертлявый человек лет тридцати пяти. Вслушиваясь в его скороговорку, я сначала принимал его за марсельца, пока кто-то не окликнул его, и я узнал, что это и есть Тимар.

Из ехавших в автобусе я видел раньше только находившегося ближе всех ко мне суетливого старичка — того самого Морица, которого в нашей роте за его начальственную крикливость сперва сочли командиром батальона. Сейчас он задумчиво уставился в слепое окно. Когда Мориц не шумел и не суетился, его птичий профиль выглядел почти добродушно, и старик больше напоминал провинциального провизора, чем командира революционной армии.

Притормозив перед выездом на более широкое шоссе, по которому в обе стороны на бешеной скорости мчались машины всевозможных марок и типов, автобус свернул влево и тоже понесся сломя голову. Варела с юношеским пылом обгонял попутные машины, а то и целую колонну грузовиков, наполненных понурыми, кутающимися в одеяла бойцами. Возможно, что такая езда была рассчитанной мстью Варелы заметно присмирившим острословам.

На волосок ускользнув по крайней мере от десятка катастроф, мы въехали в предместья Мадрида, невзрачные, как любые предместья. Дождь прекратился, но распухшие низкие тучи продолжали ползти над крышами и на обледенелых тротуарах почти никого не встречалось. Понемногу дома вдоль широкого проспекта вырастали. Кое-где на них висели намокшие флаги, но вообще флагов, плакатов, портретов и надписей было значительно меньше, чем в Барселоне. Да и люди здесь выглядели отнюдь не празднично. У продовольственных магазинов толпились длинные очереди женщин в черном и под черными зонтиками, хотя дождь и перестал. Изредка между прохожими выделялся патруль штурмовой гвардии в темно-синей форме или несколько милисьяносов в сборном обмундировании. Среди сновавших по городу и без нужды сигнализировавших машин иногда попадалась анархистская с привязанным сверху для прикрытия от пуль тюфяком и грандиозным знаменем на длинном, как мачта, древке, делавшем автомобиль похожим на бот под черно-красным парусом.

Оставив справа серые громады административных зданий, автобус взял влево и, проехав по еще более широкой авеню, миновал облетевший парк и поднялся не то к дворцу, не то к музею, а от него выехал на большую покатуую площадь, сплошь заставленную понизу рядами грузовиков, между которыми толпились бойцы. По вельветовым костюмам тельмановцев я понял, что это наша бригада. На онемевших ногах я отошел от автобуса метров на сто и неожиданно узнал и площадь, и здания в верхней ее части: ведь я не раз видел их в киножурналах. Наша бригада сосредоточивалась напротив казармы Монтанья, где в июле решалась участь Мадрида, а в известной степени и всей Испании. Тогда, накануне восстания и в день его, расквартированные здесь части гарнизона незаметно начали пополняться переодетыми в штатское офицерами из околачивавшихся летом в столице, а также окрестными фалангистами. Всем им выдавалась форма, а к ней и оружие. Генерал Фанхуль, возглавлявший заговор в Мадриде, тоже явился в штатском и одним из последних. Переодевшись, он принял командование, но не предпринял решительных действий, опасаясь бдительности мадридцев, оцепивших казармы плотным кольцом. В результате на следующее же утро республикански настроенные артиллеристы и штурмовые гвардейцы при огромном скоп-

лении народа и при его содействии подтащили к казармам две пушки и, к восторгу окружившей их детворы, ударили прямой наводкой, а два правительственных самолета как раз в то же время сбросили на осажденных ультимативного содержания листовки. Воодушевленные такой демонстрацией технического могущества, большей частью безоружные люди бросились на штурм. Проявленной ими решимости было достаточно, чтобы колеблющиеся солдаты вышли навстречу с поднятыми руками и стали брататься с ворвавшейся в казармы толпой, однако из некоторых помещений упорствующие фашисты открыли стрельбу. Народ разъярился, и все, оказавшие сопротивление, были перебиты...

Я повернулся спиной к казарме. Вид забитой машинами и вооруженными людьми исторической площади наполнил меня радостным чувством: впервые после альбасетского плаца я увидел нашу бригаду в сборе и всем своим существом ощутил свою принадлежность к ней. А где-то в ее гуще находятся Ганев, и Лившиц, и Остапченко, и Троян с Ивановым, и Петр Шварценберг, и Юнин, и Лягутт в паре с Фернандо, и другие товарищи, с которыми я так сжился...

10

Двухэтажный дом, отведенный для командования бригады, выходил на главную улицу фасадом в два окна, то есть был чуть пошире собственной двери. Охрана штаба расположилась в единственном помещении внизу. Это была кухня с каменным полом и давно не топившейся плитой. Мебели здесь не оказалось никакой, а окно было заделано снаружи решеткой, так что это больше походило на арестантскую, чем на караульное помещение.

К концу дня прибыл Лукач. Он мимоходом заглянул к нам в кухню и поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж. Мне показалось, что он чем-то недоволен. Сразу же за ним подъехал озабоченный Фриц. Некоторое время до нас доносились их приглушенные голоса. Затем Фриц сошел вниз и уехал.

Приближался вечер. Я кратко инструктировал находившегося в карауле Юнина, когда снаружи донесся скрип тормоза и стук автомобильной дверцы. В коридор вошел горбоносый человек с живыми глазами. На нем был синий беретик без звезды; черную вельветовую блузу стягивал широкий пояс с крохотной кобурой. Незвизрая на полштатскую одежду и выступающий живот, в вошедшем угадывалась военная выправка. Он несколько аффектированно поднес к берету кулак и, очевидно, услышав еще с улицы, на каком языке объяснились мы с Юниным, обратился к нам по-русски с вопросом, здесь ли остановился командир Двенадцатой бригады. После утвердительного ответа он попросил:

— Доложите, что его хотел бы видеть Белов.

У него не было ни малейшего акцента, и, судя по фамилии, он был русским.

Раньше чем я взбежал до середины лестницы, на верхней площадке оказался Лукач, непричесанный, в домашних туфлях и расстегнутой куртке. Вероятно, мой топот разбудил его.

— Сюда, сюда. Поднимайся, товарищ Белов. Наконец-то. Мы прямо ждали тебя, дорогой!

Он стал сходить навстречу, и они обнялись на ступеньках и так, теснясь и неловко обнявшись, ушли наверх. Вскоре Белов спустился, забрал из машины канадский полшубок, чемоданчик, и она отошла. Сменяя часовых, я слышал, что разговоры на втором этаже затянулись далеко за полночь. Тем не менее Лукач и его гость поднялись с пасмурным рассветом, побрились, помылись под краном во дворике и уехали в Мадрид. Мы опять должны были охранять лишь оставленные наверху чемоданы, так что я с чистой совестью мог позволить себе пройтись. Дул пронизывающий ветер. Вытянувшийся вдоль прямого шоссе Фуэнкарраль расположен был километрах в пяти от предместий Мадрида. Городок этот, собственно, сам был предместьем. От главной улицы уходили в гору крутые переулочки. По узеньким тротуарам сновали бедно одетые женщины, шныряли дети; мужчин почти не попадалось, а если и попадались, то старики.

На раскрытых ставнях табачной лавки висели газеты и журналы. На обложке одного из них красовался представительный испанский военачальник с волнистыми волосами; из-под открытого френча вместо рубашки и галстука виднелся теплый, с воротом до горла, свитер. Разобравшись в тексте, я убедился, что это не испанец, а «герой обороны Мадрида командир интернациональных бригад генерал Клебер». Для меня было открытием, что интербригады объединены общим командованием, — я думал, что Клебер командует одной Одиннадцатой, — но принял новость как должное, тем более что этот человек на всех репродукциях выглядел веселым и уверенным в себе.

Я был уже в двух шагах от нашего дома, когда, обогнав меня, к тротуару бесшумно прижалась нарядная серая машина. За рулем сидел незнакомый шофер в круглой шерстяной шапочке, но через заднее окно на меня оглядывался командир бригады. Он опустил боковое стекло.

— Оставьте кого-нибудь за себя — и поехали.

Кинув два слова Ганеву и схватив винтовку, я сел в машину.

— Кольменар-Вьехо, — приказал Лукач.

Мягко взяв с места, машина полетела птицей.

— Какова?! Последняя модель фирмы «Пежо». Сто двадцать делает! — горделиво заметил он.

Мы ехали в противоположную от Мадрида сторону.

— Скажите шоферу — его зовут Луиджи, — что я очень прошу беречь машину.

Я сказал. Луиджи, смуглый, с ресницами голливудской звезды, снисходительно усмехнулся и молча кивнул.

— Он швейцарец, — пояснил Лукач. — Мне его рекомендовали как отличного шофера и уверяли, что он умеет говорить по-немецки. Шофер он в самом деле опытный, но родной язык его итальянский, может немного и по-французски. Объясняться с ним мне придется через вас.

Машина замедлила бег и, колыхаясь, начала перебираться через колдобины. На большом протяжении шоссе нуждалось в ремонте.

— Расскажите-ка еще раз про ваших людей, — предложил Лукач. — Спирок я тогда просмотрел, но, во-первых, он был на французском и, потом, некогда было.

Я рассказал, что знал, о каждом.

— Значит, на восемь человек один комсомолец — этот худой француз — и трое членов французской компартии? Интересно, что двое из них русские эмигранты.

— Из десяти, с которыми я приехал, в партпи не состояли только я и еще бывший морской офицер, его уже нет — ранен.

— А вы, простите за нескромность, почему беспартийный?

Я попытался вкратце объяснить.

— Очень по-интеллигентски, но понять можно. — задумчиво проговорил он. — Есть к вам еще один вопрос: скажите, что заставило вас и ваших, как я понимаю, случайных товарищей не отойти вместе со всеми и остаться там, под этим, будь ему неладно, Серро-де-лос-Анхелесом?

— Даже не знаю, как ответить, товарищ комбриг. Может быть, не у всех и было одинаково... Сначала, когда некоторые бросились бежать, я на них разозлился, но прекратить панику мне и в мысль не пришло. Потом одно время показалось, что я остался один, и стало, по правде сказать, жутковато. Но скоро выяснилось, что нас много, и дальше я поступал, как все... Не верилось, что при первом столкновении с фашистами мы отступили. Большинство считало, что бригада вот-вот вернется. А утром мы проспали. Если бы проснулись, вероятно, ушли бы с остальными.

— Не думайте, что это праздное любопытство. Вы сейчас подтвердили, что я предполагал, и должен прямо заявить: особенно гордиться вам нечем. Чувства ваши и тех, кто с вами был, заслуживают, разумеется, одобрения и уважения. Но не поведение. Вели вы себя, товарищи. — не обижайтесь — просто глупо.

Знай фашисты, они б вас перебили сонных, как Ирод младенцев. Сколько вас было?

— Боюсь ошибиться. Человек сто или полтора.

— Подумать! Без малого десять процентов боевого состава бригады чуть не погибли по собственному недомыслию! — Он начинал сердиться. — На войне так же необходимо соблюдать разумную осторожность, как, например, при переходе улицы в центре Парижа. Чтобы вы хорошенько поняли, расскажу вам одну историю...

И он привел пример, как из пустого фанфаронства, когда он был еще вольноопределяющимся «на одном из фронтов мировой империалистической войны», погибли сразу пять фендриков, только что выпущенных из военной школы.

— В столкновении человеческого лба с летящим куском горячего металла, — закончил он, — неизбежно проигрывает лоб, поэтому сознательный боец обязан уметь укрыться или хоть бы залечь, когда надо. И ничего постыдного в этом нет. Постыдно погибнуть по дурусти, не принеся пользы делу.

Влетев в Кольменар-Вьехо, машина плавно свернула к непомерно большой для такого маленького городка церкви. Вдоль выщербленных временем стен на освященной церковной земле располагалось нечто вроде кладбища автомобильных останков. Внутри в полумраке плавал запах не ладана, но бензина, а под куполом вместо колокольного звона раскатывался дребезжащий стук молотков: церковное здание использовано было под авторемонтную мастерскую.

Увидев командира бригады, от группы слесарей, обступивших изуродованный до неузнаваемости «ситроен», отделился и поспешил навстречу уже знакомый мне венгр Тимар. Следом за ним, обтирая ладони замасленной тряпкой, подошли знакомый с Ла-Мараньосы механик и еще несколько человек.

Лукач заговорил с Тимаром на их родном языке, и на Тимара это оказало такое действие, что я не мог узнать развязного остряка, которого видел в автобусе: командиру бригады внимал подтянутый офицер, почтительно повторяющий за каждой фразой: «Иген, эльфташ... иген... иген...»

Взглянуть поближе на командира бригады собралось довольно много людей, однако большинство продолжало работать. Обратившись к собравшимся по-немецки и отпустив какую-то шутку, на которую все ответили дружным хохотом, Лукач поочередно пожал всем грязные руки, взял Тимара под локоть и направился к выходу.

— Дельный человек, — сказал, когда мы отъехали, о Тимаре Лукач. — Исполнительный. Стоило попросить его проверить за сутки все узлы той машинки, какую мы с вами вытаскивали из-под носа у врага, чтоб поскорей передать ее Людвигу Ренну, так, вообразите, Тимар и его мастера за одну ночь управились. Я спрашиваю сейчас, где же «опель», а он, оказывается, давно у Ренна. Вы, кстати, знаете, что за личность ваш бывший командир батальона?

— Знаю, что он писатель и немецкий коммунист и еще что он из кадровых офицеров. Что он не дилетант, это чувствуется. — И я описал, каким видел Людвиг Ренна под Серро-де-лос-Анхелесом и какой он всем нам подал пример.

— Видите, А ведь он не просто писатель, как вы сказали, он знаменитый писатель, с мировым именем. Мог бы себе жить в Париже и книги писать, а вот одним из первых бросился сюда, даром что ему под пятьдесят. Да еще три года у Гитлера отсидел.

Я усомнился, можно ли считать Людвиг Ренна писателем с мировым именем.

— А вы «Войну» читали?

Мой отрицательный ответ Лукачу не понравился.

— Как же вы беретесь судить! А почему не читали? Не попадалась эта книга? Как-то странно вы о книгах говорите. Это хорошенькая девушка могла попасться вам на улице или не попасться, а книги по тротуарам не бегают, книгу надо потрудиться самому поискать.

Мысленно я изумлялся такому уважительному отношению нашего комбрига

к литературе. Правда, разговор шел о той, которая была посвящена войне, и все же.

— Вы небось думаете: странный, однако, тип этот генерал Лукач, — вмешался он в мои мысли, будто прочитав их. — Батальоны еще вчера подтянуты к передовой, а ему и горюшка мало, катается себе по тылам. Так ведь?

Я был поражен, узнав, что батальоны уже подтянуты к передовой, и протестовал слабо.

— Если хоть немного думать о завтрашнем дне, то нельзя не понять, при учете здешних условий, что боевые возможности нашей бригады целиком зависят от собственного транспорта. Посчитать, сколько мы за одну неделю потеряли драгоценного времени, которое могло быть употреблено на подготовку или на необходимый отдых. И все из-за того, что шоферы автоколонн подчинялись не нам. Фронт вокруг Мадрида широкий, резервов пока нет, станут нас дергать то туда, то сюда, и всякая переброска будет производиться с опозданием, по частям, ввести бригаду в действие придется тоже по частям, и скоро от нее останутся рожки да ножки. Нет, нет, я, еще когда нас от железной дороги доставляли в Чинчон, понял, что без собственного транспорта мы пропадем.

Машина, как лодка на волнах, снова заныряла по ухабам.

— Кое-что нам штаб обороны выделил: по три грузовика на батальон, четыре под батарею, автобус, на котором вы ехали, три легковые, пять санитарных. Это же капля в море! Знаете, сколько нам необходимо, чтоб бригада была на колесах? — Он похлопал ладонью по боковому карману. — Я подсчитал. Всего нам нужно иметь минимум семьдесят пять грузовиков, половину можно автобусами, и хотя бы пятнадцать легковушек. Где же их взять? Не знаете? А вы пораскиньте мозгами... Все равно не знаете? Не расстраивайтесь: никто не знает. А вот хитрый Лукач знает.

Мы приближались к Фуэнкаррало.

— Если б вы помотались с мое по здешним дорогам, вы бы, я уверен, тоже обратили внимание, как много брошено вдоль них разбитых, а то и просто неисправных автомобилей. У меня еще с Альбасете душа болит. Ведь шоферов тут, как блины, пекут: научился на газ жать да баранку вертеть — вот тебе и шофер, садись, поезжай. Откажет у такого машина, может, как мы с вами видели, просто бензин кончился или масло на свечу попало, а наш спец уже вылезает, ловит первую попавшуюся попутную и катит сообщить своему респонсابلю: мол, из строя вышла. Вышла так вышла — на тебе другую, благо конфискованных, особенно легковых, пока хватает. Смотришь, а он через два дня воды забудет налить, радиатор и распаяется. И опять спросу нет, никому не жалко — не своя же...

Справа промелькнул перевернутый вверх дном легковой автомобиль, все четыре колеса были с него сняты.

— Насмотрелся я на такие, как вот эта, картины, и однажды меня осенило: а что, если все брошенные водителями машины, пусть даже вдребезги разбитые, подбирать и свозить в одно место и хоть бы одну из трех склеивать? Так родилась мастерская в Кольменар-Вьехо, и помяните мое слово: к новому году, если все будет благополучно, бригаду станут называть по-новому — «досе бригада, интернациональ и мобиль». И мобиль, — повторил он с удовольствием. — Есть такое слово по-испански?

— По-французски есть, а по-испански не знаю.

— А нет — и не надо. Дело не в словах.

...В тот же день Лукач вместе с Галло роту за ротой обошел батальон Гарибальди, засевший во рву вдоль прифронтового парка. Я сопровождал их. Завершив обход, Лукач обратился ко мне:

— У меня есть для вас задание. Возьмите в Фуэнкаррале человека два из охраны или сколько найдете нужным и подъедете сюда, грузовичок я вам доставлю. Подымитесь вон по той тропке. Наверху найдете площадку. Эта местность

называется Камшо-дель-Поло, есть такая игра поло: вроде крокета, но на лошадях. В глубине там будет большой дом, но туда вы не ходите. В нем стоит штаб Дуррути. Сейчас они раздражены своим поражением, и вообще среди них подается такая вольница — лучше держаться подальше. А вот еще повыше, в сторонке, увидите беленый домик с черепичной крышей. Займите его. Выставьте сразу часового и никого, кроме своих, не пускайте. Это будет наш командный пункт. Мы переселимся еще до вечера.

В машине Лукач заговорил о Дуррути и о том, как тяжело командир анархистов переносит неудачу колонны. И Дуррути, и все его окружение были уверены, что стоит каталонским анархистам появиться под Мадридом, как фашисты побегут куда глаза глядят, а вместо того сами ходу дали. Ничего иного и ждать было нельзя при их страстном отрицании дисциплины. Сам-то Дуррути уже раньше, видно, понял, что без нее нельзя, раз провозгласил лозунг «Откажемся от всего, кроме победы!». Вряд ли, однако, большинство анархистов последует за своим военным вождем в его отказе от догмы. Поговаривают, что их ареопаг в Барселоне недоволен излишней самостоятельностью суждений Дуррути. Лукач прибавил, что при личном знакомстве Дуррути ему очень понравился: он энергичен, прям и, похоже, думает не о себе, но при этом, как ни парадоксально, болезненно самолюбив и горяч. чуть что — на стену лезет.

— А как он по отношению к вам держался?

— По-дружески. Даже лапой по плечу хватил. Но и настороженно тоже: не вздумай, мол, меня учить. Все же советника от наших товарищей, заметьте, принял. К общему удивлению Для него, понятно, особенного человека подобрали, горца. В масть, так сказать Джигита, одним словом. Зовут его Ксанти. Вы, возможно, его еще увидите. Мне говорили, что, когда Ксанти появился в колонне, с переводчицей, конечно... Очаровательная, должен сказать, девушка, аргентинка из Москвы... Короче, прибыл Ксанти с ней к товарищам анархистам. Дуррути на шее ему не бросился, но отнесся вежливо, познакомил со своими и ушел. Смысл я веду себя лояльно, назначили тебя ко мне — ладно, прогнать пе стану, но лично я в тебе не нуждаюсь. Сподвижники его тоже покрутились и разошлись. Остался Ксанти со своей Линой в одиночестве и видит, что во дворе группа анархистов собралась вокруг только что доставленных наших «максимов». Никто их, ясное дело, не знает. Ксанти туда, присел на корточки, стал показывать, объяснять, Лина честь по чести переводит. Провозился он до позднего вечера, а на утро — опять к пулеметам. Проснулся Дуррути, смотрит, а советский-то с его ребятами давно по петушкам. Он, однако, нашелся. Приближается к собравшимся, раздвигает их, обнимает Ксанти за плечи. «Видали, говорит, какого мне военного советника прислали? Дуррути плохого не дадут! Знакомьтесь поближе — это мой друг, русский анархист, «ун анаркиста русо»...»

В экспедицию к Кампо-дель-Поло я взял Юнина, Ожела, Фернандо и Лягутта. Тарахтящий, как мотоциклетка, фургончик быстро доставил нас до показанной Лукачем тропинки. По ней мы гуськом взобрались на вытопанную и порядком загаженную поляну. Над верхней частью поляны белело между деревьями небольшое здание типа охотничьего домика. Железные жалюзи на его окнах были опущены, дверь же не только распахнута, но даже сорвана с верхней петли. Войдя, мы наткнулись на полосатые матрасы, зачем-то вытащенные в переднюю, на них кто-то побросал снятые с вешалки пальто, дождевики, шляпы. На полу кухни стояли стопки тарелок, кастрюли, валялись пустые винные бутылки и сброшенные с полок жестяные банки, из которых высыпалось, перемешавшись, их содержимое — кофе, рис, соль, лавровый лист, мускатные орехи, толченый красный перец.

Ожел растворил жалюзи. В обеих комнатах, особенно в спальней, был еще больший кавардак. Видимо, здесь производили обыск. В спальней запертые на ключ дверцы шкафа были вскрыты, а ящики комода выдвинуты и перерыты. Повсюду было разбросано постельное белье, пиджаки, платья, брюки, туфли, рядом с пухлыми подушками без верхних наволочек лежал раскрывшийся бумажник с

торчащей из него пачкой кредиток; на стеганом атласном одеяле валялся золоченый, а может быть и золотой, браслет с часиками.

— Крепко, видать, пошарили буржуев! — вдохновился Юнин. — Чисто как у нас!

Я подумал, что нет, не совсем как у нас. Если обыск производили анархисты, то манерами они мало напоминали махновцев — да и одних ли только махновцев? — достаточно взглянуть на этот невыпотрошенный кожаный бумажник на полу.

Мы взялись за дело со всем усердием, чтобы до приезда Лукача привести командный пункт в порядок. В разгар уборки, когда мы с Лягуттом, сняв оставшиеся на кроватях матрасы, вынесли их наружу, чтобы выбить, позади что-то громко бухнуло, в спальню раздался треск и приглушенный вскрик Фернандо. Выронив матрасы, мы бросились к нему. Комнату, как дымом, заволочло пылью. Посреди, держа половую щетку наизготовку, стоял Фернандо. В потолке зияла рваная дыра. Только что подметенный пол был устлан штукатуркой. Я повернул голову к кровати: на чуть покачивающихся пружинах лежал острием на нас мелкокалиберный снаряд. Во рту у меня сразу пересохло — с секунды на секунду он должен был взорваться... Мы все трое рванулись к двери.

Снаружи бухнуло вторично, и сейчас же совсем близко за стеной, так, что в столовой посыпались оконные стекла, лопнула следующая граната. Налетев в передней на Ожела, я метнулся к выходу, но, по счастью, заппнулся о матрасы и благодаря этому не выскочил вон раньше своих подчиненных. Невидимая, но, судя по звуку, очень близкая пушечка тем временем снова выстрелила, над нами взвизгнуло, и за домом разорвался еще один снаряд. Новый выстрел, следующая граната — визг, удар, и с крыши во всех направлениях загудела черепица, а внутри опять ухнуло. Но мы уже расхватали винтовки и длинными скачками пересекали поляну — на сей раз я более или менее сознательно был последним, остальные уже достигали заветной тропинки, хотя зловерное орудие било именно с той стороны. До спасительного спуска оставалось немного, когда оно выхлопнуло мне прямо навстречу. Я мгновенно растянулся, но меня, словно тяжелой полушкой,хватило по лицу, и сделалось нестерпимо больно глазам. Полуоглушенный, я продолжал лежать, пока вернувшиеся назад Лягутт и Юнин, подхватив под руки, не уволокли меня с поляны. Понадобилось немало времени, пока я смог улавливать смысл довольно бессвязного лягуттовского монолога о том, как мне и Фернандо чертовски повезло: ведь если б первая и последняя гранаты разорвались, подобно пяти или шести прочим, и от него и от меня вряд ли много осталось бы.

Спустившись с шоссе, мы долго лежали в ювете, покуривали и молчали. с деланным равнодушием лоя ухом не столь уж отдаленное постукивание винтовки и пулеметные речитативы. Наконец вместо поджидаемого серого «пежо» оказалась доставивший нас сюда грузовичок. Рядом с шофером восседал старик Мориц.

Едва машина остановилась, как он проворно выпрыгнул и засуетился. подгоняя приехавших с ним, мешкавших с разгрузкой телефонистов.

Я объяснил, что торопиться не к чему...

— И откуда они, черт бы их душу подрал, могли вас увидеть, когда домишко этот ниоткуда, если не считать клуба анархистов, не просматривается? — недоумевал Лукач.

Он сидел с Беловым за огромным дубовым столом величиной с бильярдный в занятой под командный пункт вилле из трех комнат с верандой, выходящей на мутную речку. Вчера у нас забрали Фрица. Он был прислан в Испанию советником и не мог занимать командных постов. Лукачу удалось добиться, чтобы Фрица оставили советником при нашей бригаде, и сегодня он должен был возвратиться. Начальником же штаба был назначен Белов, оказавшийся вовсе не русским, а болгарским политэмигрантом; в мировую войну он был артиллерийским офицером.

— По карте стреляли, что ли? — продолжал Лукач. — Но тогда они долбанули бы в первую очередь по большому дому, где штаб, а не по той несчастной избушке на куриных ножках. Загадка!.. А здесь мне не нравится. Очень даже не нравится. Не сегодня-завтра, помяните мое слово, нас тут авиация накроет. Придет мост бомбить и в него, ясное дело, не попадет, а сюда влечит.

Я сидел между ними на табурете, напротив свисающей над столом массивной бронзовой лампы. Только что я обстоятельно доложил, почему не смог выполнить распоряжения командира бригады, все время чувствуя на себе изучающий взгляд Белова.

— Чего еще понять не могу, — не успокаивался Лукач, — откуда и зачем у них здесь, мать их перемать, мелкокалиберные пушки? Если, конечно, товарищ не ошибается... — Он повернул лицо ко мне. — Вы позволите называть вас просто Алешей? Не возражаете? Ну и хорошо. Так вот, если верить Алеше, неразорвавшийся снаряд был, как он говорит, «маленький», а выстрелы напоминали ему те, что он слышал в Серро-де-лос-Дьяволос. Выходит, у фашистов где-то поблизости легкая горная батарея, но тогда почему лишь одно орудие стреляло? Или пушечные танки появились?.. Беспокойно.

Белов сдержанно возразил, что батарея могла стрелять поорудийно, но вообще история действительно странная. Впечатление такое, словно артиллерийский наблюдатель фашистов рядом прятался.

В это время кто-то сильно стукнул в окно, по лампе брякнуло, и в стол перед мной ударилась пуля. Белов, осторожно потрогав, взял ее.

— Еще теплая. Тебе предназначалась. — Его выпуклые блестящие глаза встретились с моими. — Если б не лампа... Прет тебе сегодня, товарищ начальник охраны! На, сбереги на память.

Лукач встал, подошел к окну, прикоснулся к дырке в стекле и грубо выругался. Я сунул пулю в нагрудный карман, и пальцы наткнулись на другую, выпавшую из моего вещевого мешка, про которую я успел забыть. Если так будет продолжаться, их скоро наберется полный карман.

— Алеша, — заговорил Лукач от окна. — Через шоссе — может, видели — есть сторожка. Пойдите еще с кем-нибудь туда и срочно наведите в ней порядок. Отсюда перенесите самое необходимое — стол, предположим, стулья. Командный пункт будет там.

— Тесновато, — усомнился Белов.

— В братской могиле еще теснее, — отрезал Лукач. — Выполняйте, прошу вас.

Я вышел. Моросил холодный дождь. Сразу за виллой шоссе изгибалось вправо к бетонному мосту, последнему к северу от Мадрида мосту через Мансанарес. Белов показывал его на карте, он называется Пуэнте-де-Сан-Фернандо. Поскольку следующий мост, Пуэнте-де-лос-Франсесес, уже находился в руках франкистов, наш на всякий случай охраняла рота батальона Гарибальди. Продрогшие и даже промокшие в своих резиновых, но без капюшонов балахонах люди прятались под деревьями или сидели на самом мосту спинами к парапету, укрывавшему от порой долетающих сюда пуль.

Метрах в ста напротив виллы вжималась в лесистый холм каменная будка дозорного сторожа. Она состояла всего из одной комнаты и коридорчика, ведущего в кладовую с инструментами. Обстановки не было никакой, за исключением закрывавшего всю главную стенку черного двухэтажного буфета с колонками, напоминавшего кладбищенскую часовню. Единственное окошко выходило на мост. До нас здесь уже побывали постояльцы — пол был покрыт утрамбованным сеном. Многоспальная эта постель сократилась, к сожалению, вдвое, когда мы перетаскили сюда дубовый стол и полдюжины стульев.

Дождь монотонно барабанил по крыше. В такую погоду смеркалось рано, и еще не освоенный командный пункт быстро погрузился в темноту. Мориц, осуждающе ворча, водрузил на стол фарфоровую керосиновую лампу, вынутую из защитившего меня бронзового футляра. Пламя ее разогнало сгустившиеся по уг-

лам тени и осветило возлежавших на сене телефонистов и моих товарищей из охраны.

Лукач, подперев подбородок руками, не мигая смогрел на огонь. Белов подсел к командиру бригады, развернул карту и приступил к расспросам...

Пора было сменять часовых, и я повел к двери уже подготовившегося Лягута. Поверх поднятого ворота резинового пальто с порванной полрой он повязал кашне.

Когда я возвратился, Лукач отцепил от пояса электрический фонарик и протянул его мне:

— Возьмите-ка. Я хочу попросить вас сходить к Людвигу Ренну, а по пути придется между деревьями пробираться. Где батальон Тельмана, вы, конечно, не изволите знать? Слушайте внимательно. Отсюда пойдете все прямо, не сворачивая на мост. Как минуете, начнется парк. В нем сразу же по правую руку будут вдоль берега гарибальдийцы... За них я спокоен, — обратился он к Белову. — Галло сам с ними мокнет... Держитесь дороги и там, где она возьмет влево, набредете на тельмановцев. Явитесь к Людвигу Ренну и попросите приехать ко мне. Но если спит — не будите. Пусть ему, когда проснется, передадут...

Моросить не переставало. Там, где начинался парк, я наткнулся на ограду, но, не зажигая фонарика, определил, что чуть левее в ней есть проезд. Зато под высокими деревьями сделалось до того темно, что пришлось светить себе под ноги. По заглушаемому дождем невнятному шевелению угадывалось присутствие справа множества людей.

Стрельба с наступлением вечера немного ослабела, но пули все же то и дело щелкали по сторонам. В темноте пустого парка это производило еще большее впечатление, чем днем.

Людвиг Ренна я нашел в грязной халупе без дверей и оконных рам. Он полужелал на соломе, нескончаемые его ноги были покрыты канадкой. Рядом на бочонке, заслоненная от сквозняка кровельным листом, коптила керосиновая лампочка без стекла. Отовсюду неся храп. У Людвиг Ренна был вид тяжело больного, он натужно кашлял и мог объясняться только шепотом.

Мой бывший командир не узнал меня — мало ли не нюхавших порошу бойцов подбегало к нему в первом бою, — на приглашение же Лукача ответил, что будет у него рано утром.

...Идеально по обыкновению выбритый и распространяющий запах одеколона, Лукач приехал на командный пункт незадолго до рассвета и порадовал нас с Беловым заверением, что скоро подвезут пищу на всех, а пока предложил для подкрепления хлебнуть из термоса горячего кофе; остатки его командир бригады вынес продрогшему в карауле Юнину.

В разгар всеобщего завтрака, доставленного грузовичком и состоявшего из хлеба, корнбифа и холодного лилового вина, к сторожке подлетел мотоцикл. Он привез запечатанный сургучом пакет на имя Лукача, который, вскрыв конверт и посмотрев на официального вида бумагу, протянул ее мне:

— По-французски. Переведите, пожалуйста.

— «Командир интернациональных бригад генерал Эмиль Клебер, — начал я. — Командиру Двенадцатой интернациональной бригады генералу Паулю Лукачу...»

— Неточно переводите, — прервал Лукач. — Клебер — командир Одиннадцатой да еще этим сектором командует.

— Никак нет, совершенно точно. Так значится на бланке: «Командир интернациональных бригад»...

— Покажите! — Лукач потянул к себе бумагу.

Я показал ему все три признака множественного числа в клеберовском титуле, удивляясь неосведомленности нашего комбрига: ведь даже в иллюстрированных журналах это пропечатано.

— Ладно, продолжайте, — хмуро уступил Лукач.

Приказ, собственноручно подписанный Клебером, предлагал неотложно при-

ступить к смене Одиннадцатой, «истомленной до предела десятисуточными непрерывными атаками неприятеля на прикрываемом ею решающем направлении». В приказе предусматривались и подробности предстоящего передвижения: батальону Андре Марти предписывалось сменить батальон «Парижская коммуна» (тоже французский), занимавший позиции в Университетском городке, на левом фланге отводимого нам участка; батальон Тельмана сменял находившийся в центре батальон Эдгара Андре, а батальон Гарибальди заступал на правом фланге батальон Домбровского.

— Да пошел он к чертовой бабушке! — взорвался Лукач, не дослушав конца приказа, где указывалось, с кем и когда обязаны вступить в связь командиры фланговых батальонов по прибытии «в первую линию». — Это ж придумать надо: сменяться днем, когда там не то что ходов сообщения, а и окопов нет. Фашисты последними ослами будут, если не воспользуются нашей дуростью и не ударят во время смены!..

Он еще ругался, когда вошел Галло. Хотя я видел его вчера, мне почудилось, будто он похудел еще больше. Впалые его щеки вплоть до лихорадочно блестящих глаз заросли черной щетиной. Мне показалось также, что смысл непечатной фиоритуры Лукача по меньшей мере частично понизен Галло, потому что его потрескавшиеся губы тронула усмешка.

Увидев комиссара бригады, Лукач вскочил.

— Вот, товарищ Галло, полюбуйся, какой я получил дурацкий приказ.

Густые брови Галло взлетели. По-видимому, он не очень одобрял, во всяком случае в широкой аудитории, слово «дурацкий» в применении к приказу сверху. Не возразив, однако, ни слова, он взял бумагу тонкими длинными пальцами и принялся читать.

Вошедший с ним небрежно носивший форму человек с нервным лицом и быстрым взглядом заговорил с Лукачем по-немецки певуче-картавой скороговоркой.

Галло закончил чтение, и лишь теперь бр-зи нашего комиссара стали на место.

— Ну, что скажешь? — спросил у него Лукач, передавая бланк своему немецкому собеседнику. — Согласись, что глупость, и глупость, граничащая с преступлением. А кроме того, кто это дал ему право, после того как он сбросил ответственность за свою Одиннадцатую на шею Ганса, называть себя командиром интербригад вообще?

Галло не отвечал. Он лишь вполголоса бросил французскую фразу продолжавшему читать немцу, очевидно, тому самому своему помощнику, о котором рассказывал Ганев, что он германский писатель и что ему было поручено успокоить «забывший» после Серро-де-лос-Анхелеса батальон Андре Марти.

Так же тихо переведя для Лукача сказанное комиссаром бригады на немецкий, его помощник шутливо предложил согнутую калачиком руку Белову и повлек его к выходу. Галло и Лукач последовали за ними.

— Поедите, уберите хорошенько за собой, товарищи, — проходя, сказал Лукач, — чтоб было, где карту расстелить. И ставню с окошка снимите, давно светло.

Вернулись они минут через двадцать, развернули карту и, водя по ней пальцами, еще посоветались. По долетавшим до меня то русским, то французским, а то и доступным немецким словам я догадался, что главным аргументом Галло, убедившим Лукача подчиниться, было напоминание об ужасных потерях и бесконечной усталости Одиннадцатой бригады, проведенной в сражении не один день, как мы, но полные девять суток с одной ночью перерыва.

Положив блокнот на карту, Лукач набросал распоряжение Людвигу Ренну. Галло решил самолично отправиться в итальянский батальон и тут же написал приказ его командиру. Лукачу осталось только расписаться. Во франко-бельгийский шел помощник Галло, которого Лукач называл Густавом; фамилия его была Реглер, в свое время она встречалась в газетах в связи с саарским плебисцитом, а незадолго до отъезда из Парижа я где-то прочел, что немецкий писатель-анти-

фашист Густав Реглер совместно с Луи Арагоном и Эльзой Триоле доставили в Мадрид агитмашину, купленную на собранные среди левых литераторов деньги.

— А тебя, мой дорогой, я попрошу, и даже не попрошу, а молю Христом-богом, — положил Лукач руку на руку Белова, — доведи дело до конца: бери мою машину, обеспечь, чтоб батарея самое позднее через два часа была здесь, и выбери им позицию...

Оставшись за столом один, Лукач долго и сосредоточенно писал, перечел написанное, вложил в конверт и, послунив мизинец, заклеил. Потом коротко поговорил с Морицем, и тот повел из сторожки своих сгорбившихся под тяжестью катушек с проводом четырех малорослых телефонистов и присоединившегося к ним, тоже с катушкой на спине, Ожела, виновато покосившегося на меня.

— С этим рыженьким вам придется расстаться, — объявил Лукач. — Управитесь и с шестью. Связь — самое для нас важное.

Я прикинул в уме, сколько раз в сутки придется теперь сменять часовых.

— Будите мотоциклиста. Пусть заводит — и дуйте в штаб сектора, он знает, — прекратил Лукач мои бесплодные подсчеты. — Это большой дом с оградой, ближе к Эль-Пардо, по левой стороне. Опознаете сразу по скоплению машин. Пакет этот отдадите генералу Клеберу лично, в собственные, как говорится, руки. Держитесь с ним как можно более подтянуто впрочем, вы умеете. Чтобы вы знали, я доношу генералу Клеберу, что приступил к исполнению его приказа о смене. Однако при этом отмечаю, что во избежание лишних потерь правильнее было бы произвести ее прошедшей или будущей ночью. Еще я оговариваюсь, что в случае эвентуальной атаки неприятеля в момент нашего выхода на рубежи, занимаемые вверенной ему, генералу Клеберу, Одиннадцатой интербригадой, и особенно в момент ее отхода заранее снимаю с себя ответственность за неизбежные тяжелые последствия. Сверх всего я наставляю, чтобы командование сектора немедленно выделило нам ручных гранат из расчета хотя бы по одной на брата, иначе две тысячи штук, а также обеспечили нашу батарею снарядами.

Могучий «харлей-давидсон» доставил меня до ворот настоящего палаццо. Я прошел во двор и направился к подъезду, но стоявший на ступеньке милисьяно не пропустил меня, а нажал кнопку. «Вот где порядок», — одобрил я про себя.

Перед начальником караула, испанским юношей с забинтованной головой и серебряной звездочкой над левым нагрудным карманом, означавшей первый офицерский чин, я вытянулся, как перед фельдмаршалом, а на его «салуд» ответил, припоминая уроки маленького Фернандо: «Салуд, камарада альферес», после чего с чистой совестью переключился на французский.

Испанский прапорщик провел меня в большой зал с камином, диванами, креслами и гобеленами по стенам. Он предложил мне подождать, пока генерал Клебер позавтракает, и удалился. С того места, где я сидел, открывался вид на большую часть застеленного крахмальной скатертью стола. Он был уставлен вичными бутылками и пирамидами апельсинов в хрустальных вазах. Оживленно разговаривающих командиров обслуживали две черненькие испанки в платьях с оборками, распоряжалась же ими смуглая молодая женщина с необыкновенно длинной талией и до того огромными глазами, что у меня сердце екнуло, когда она взглянула в мою сторону.

— Э-э, брось на нее пялиться, друг, — присаживаясь на подлокотник кресла, посоветовал неизвестно откуда взявшийся толстяк, в котором я без всякого удовольствия узнал Бубуля. — Бесполезно. Это не простая курочка. Она краля (он сказал «gonzesse») нашего генерала. Можешь мне поверить, я работаю здесь поваром.

Гостиную торопливым, но легким шагом пересек стянутый в рюмочку испанец. За ним бежала совсем юная и, несмотря на негритянские губы, прехорошенькая испаночка в белом меховом комбинезоне.

Я поднялся. Сполз с подлокотника и Бубуль.

— Это советский майор. — пробормотал он, когда тот был в столовой. — И девочка русская, переводчица.

Судя по реакции завтракавших, испанец с испанкой, оказавшиеся советским майором и его переводчицей, принесли какую-то важную новость.

Из столовой донесся шум отодвигаемых стульев. Закуривая на ходу, некоторые командиры двинулись к залу. У портьер они замешкались, пропуская кого-то. Я оглянулся на Бубуля, но он исчез, будто его смыло. В гостиную вошел генерал Клебер. Я узнал его по портретам в журналах, но благодаря высокому росту он выглядел в действительности еще значительно, хотя и несколько постарше — в курчавых волосах просвечивала проседь. Волевое лицо с крупными чертами выражало внутреннюю силу. Обнаружив между обтянутыми атласом креслами мою помятую фигуру, он насупил брови. Перехватив винтовку левой рукой, я сделал к нему четыре четких шага и замер. Он что-то спросил по-испански. В ответ я выхватил из-за обшлага послание Лукача.

— От командира Двенадцатой интернациональной бригады, — доложил я.

Полные губы Клебера искривила усмешка, но он принял письмо. Оттенок высокомерного удивления, подчеркнутая поднятой на высокий лоб бровью, не покидал его выразительной физиономии.

Гостиную или приемную заполняли люди, выходившие из столовой. Слышалась испанская, французская, немецкая и английская речь.

К Клеберу подошел сзади советский майор с осиной талией.

— От Лукача. Не может приказа выполнить без предварительных литературных упражнений, — бросил ему через плечо Клебер на чистом русском языке, нисколько не стесняясь моим присутствием. — Возвращайтесь, — холодно обратился он ко мне, — и доложите вашему начальнику, что генерал Клебер предлагает ему поменьше заниматься писаниной и побольше своими прямыми обязанностями. Приказы надлежит принимать к беспрекословному исполнению и доносить об этом по форме. Еще доложите, что я любой ценой требую удержать позиции, занимаемые Одиннадцатой бригадой. Что касается просьбы насчет ручных гранат, распоряжусь, чтобы, сколько найдется, подвезли. В отношении же артиллерийских: батарея Тельмана может получить, если еще не получила, сегодняшний комплект — по пятнадцать, кажется, на орудие, — до завтра больше нет и взять негде.

От кружка гостей отделился и по-английски заговорил с Клебером поразительно красивый блондин в испанской форме — я решил, что это волонтер из Англии.

Отдав честь, я повернулся кругом и затопал к стеклянным дверям. Когда я взялся за надраенную медную ручку, меня своей неслышной пружинной походкой нагнал чернобровый майор.

— Передай Лукачу, что убит Дуррути. Если спросит, от кого узнал, скажи: от Ксанти...

Мотоциклист во весь опор мчал меня к мосту Сан-Фернандо, но я не замечал тряски: так поразило меня откровенно неприязненное отношение генерала Клебера к нашему комбригу. Но еще больше подавляло неожиданное известие о гибели Дуррути, и не потому лишь, что погиб один из выдающихся вождей, вышедших из самой гущи испанского народа, но и потому, что колонна его, состоявшая из социалистов и коммунистов, располагалась где-то по соседству с Одиннадцатой. Смерть Дуррути могла деморализовать анархистские колонны, а это неминуемо должно было отразиться на положении всего сектора.

(«...Дуррути был хорош, и свои убили его там, у Puente de los Franceses. Убили потому, что он хотел наступать. Убили во имя великолепнейшей дисциплины недисциплинированности», — негодует герой Хемингуэя в «По ком звонит колокол». Михаил Кольцов в записи «Испанского дневника», датированной 21 ноября, менее категоричен, он ограничивается предположением: «...кто-то прибежал и сказал, что на соседнем участке, в Западном парке, убит Дуррути... Шальная или, может быть, кем-нибудь направленная пуля смертельно ранила его при выходе из автомобиля перед зданием его командного пункта. Очень жаль Дуррути». Но

«Испанский дневник» печатался два года спустя, зато соответственное сообщение в «Правде», подписанное Михаилом Кольцовым и помеченное тем же 21 ноября, озаглавлено «Убийство Дуррути» и гласит: «При выходе из автомобиля перед зданием своего командного пункта на окраине Мадрида был смертельно ранен в грудь пулей тайного убийцы и затем скончался крупнейший деятель анархо-синдикалистского движения Буэнавентура Дуррути». Почести, оказанные анархо-синдикалисту «Правдой», которая поместила рядом с корреспонденцией Кольцова портрет покойного, а ниже — сочувственный некролог, сами по себе достаточно красноречивы.

Я, со своей стороны, могу присовокупить то, что в начале декабря по дороге в Аранхуэс доверительно рассказал мне Лукач. По его словам, Дуррути за краткое пребывание на мадридском фронте не только убедился в невозможности вести войну с регулярной армией фашистов без создания народной армии, скрепленной строгой воинской дисциплиной и подчиняющейся единому командованию, но дня за два до своей смерти заехал в городской комитет испанской коммунистической партии, чтобы открыто выразить свое согласие с коммунистами в этом вопросе. Находившиеся там товарищи пришли в ужас: узнай о визите Дуррути барселонские первосвященники ФАИ, и он — конченный человек: они никогда не простят ему «измены» и сумеют подорвать среди рядовых анархистов даже его авторитет, между тем он, Дуррути, бесконечно важен для общего дела именно своим влиянием на массы. Ему поскорее объяснили наивность его поведения и попросили, пока не поздно, уехать. Он послушался, но, очевидно, то ли его шофер, то ли адъютант был соглядатаем, и посещение Дуррути штаб-квартиры мадридских коммунистов сделалось известным руководству ФАИ. Ему вынесли смертный приговор, немедленно приведенный в исполнение скорее всего адъютантом: воспользовавшись отсутствием свидетелей и, в частности, отлучкой Ксанти, он из машины выстрелил Дуррути в спину. Лукач пояснил, что ему рассказал об этом один очень осведомленный человек. Следует добавить, что Ксанти до самой своей недавней смерти был твердо убежден, что Дуррути сражен кем-то из своих.)

...Приблизившись к домику шоссевого сторожа, мотоциклист выключил газ, и в наступившую тишину сразу ворвался далекий сливающийся гул вражеских пушек и совсем близко, в парке, грохот частых разрывов. Это могло означать лишь одно — наша бригада вступила в бой.

11

На командном пункте за мое отсутствие ничто не изменилось, только ближний край стола заняли некрашенные деревянные ящики с необычного вида телефонной трубкой в каждом. Лукач по-прежнему сидел за дальним концом и очиненным с обеих сторон наполовину синим, наполовину красным карандашом, то и дело переворачивая его, переносил обстановку со своей вынутой из планшета маленькой карты на большую — беловскую. Он поднял на меня глаза и опять опустил, продолжая работу. На сене похрапывала охрана.

Я доложил о выполнении приказания. Рассказал, как мне пришлось подождать, пока генерал Клебер закончит завтрак, и как много у него было гостей, и как он вошел и я подал письмо, а он прочел и приказал сообщить, что настаивает на удержании позиций любой ценой.

— Больше ничего не прибавил?

— Еще прибавил, что ручных гранат прикажет подвезти, а насчет артиллерийских сверж комплекта дать не может: их нет.

— И это все?

— Никак нет. Товарищ Ксанти просил вам передать, что Дуррути убит.

— Ох, черт подери! — Лукач бросил карандаш на карту и встал. — Как убит? Где?

— Не могу знать. Ксанти догнал меня, когда я уходил, и тихо сказал: «Передай генералу Лукачу, что Дуррути убит».

Лукач отошел к окошку, стекла которого чуть-чуть дребезжали от далеких разрывов. Сквозь это дребезжание слышались отдаленные громовые раскаты, будто приближалась гроза.

— Самолеты. — объявил Лукач. — Сюда летят.

Снаружи гул моторов был ясно различим. Гурский, спрятавшийся под деревом, вперил ястребиные глаза в серое небо. Лукач тоже смотрел с порога в высокие, но плоские, как потолок, облака.

Косым журавлиным клином плыли на нас девять машин. Заглушая шум боя, ревели в унисон двадцать семь моторов, но даже через их рев мы услышали выстрел Гурского. Перезарядив винтовку, он опять целился вверх.

— Остановите его. И не забудьте потом прочитать нотацию, — сказал Лукач. — Надо, чтоб человек знал разницу между часовым, охраняющим штаб, и охотником на перелетную дичь.

Гурский успел выстрелить вторично.

— Истробители! — вскрикнул Лукач.

Позади и гораздо выше трехмоторных бомбардировщиков торопились коротенькие черные крестики. Они скрылись за лесистой вершиной холма, у подножия которого притаилась наша сторожка.

— Я был уверен, что на бригаду, а они к Мадриду пошли, — проговорил Лукач, возвращаясь.

В тот же миг воздух заколыхался, и мы, будто через вату, услышали приглушенный холмом гул и среди него отдельные взрывы: бумм! бумм! бумм! бумм! Лицо Лукача исказила гримаса.

— Ах, сволочи! Опять по городу!..

Было тихо, когда я вывел Юнина на пост. Слух уже привык к отдаленному буханью фашистских пушек и к сравнительно близкому грохоту разрывов, что почти не замечал их. Но когда вдруг совсем рядом — даже в ушах зазвенело — громынула батарея, от неожиданности все у меня внутри сжалось.

— Наша ударила! Слава те, господи, — хладнокровно отметил Юнин, и я подумал, что он и в самом деле бывалый солдат.

Через полчаса залпы республиканской батареи прекратились. За окном снова заморосило, и чем дальше, тем сильнее. С передовой Лукачу принесли записку от Ренна. Комбриг пробежал ее глазами, передал Белову и стал расспрашивать связного про какие-то красные и белые дома, чьи они. Не удовлетворенный отрывистыми ответами, Лукач перечитал записку, вместе с Беловым разбираясь по карте, потом взял палку и, указав связному на дверь, последовал за ним.

Вернулся он один, сбросил брезентовый плащ, стряхнул с него воду в коридоре и аккуратно развесил на двух стульях.

— Батальон Тельмана, можно считать, утратил Паласете, — сказал он. — Удержаны лишь окраинные домики. Потери ужасные, особенно в польской и балканской ротах. Людвиг Ренн еле стоит на ногах, однако находится в наиболее угрожаемом месте, духом бодр и других подбадривает.

Через несколько минут на багажнике мотоцикла приехал бледный, серьезный, весь забрызганный грязью, как трут, отсыревший Галло. Отведя Лукача и Белова в простенок между буфетом и окошком, он тихо переговорил с ними, потом, не садясь и морщась, будто у него болело горло, проглотил сколько-то кусочков корнбифа, хлебнул кофе и умчался, подскакивая на багажнике «харлея», обратно в батальон.

Лягутт еще не убрал со стола, как подкатил знакомый «опелек». Но из него вышел незнакомый остроглазый человек с носом без переносицы, как у русских деревенских старух на рисунках Григорьева. Увидев, кто высадился из «опеля», Лукач поторопился навстречу, а Белов обеими руками подал гостю стул. Приезжий немец не говорил, а кричал, жестикулируя, как неаполитанец, но Лукач и Белов слушали его крик внимательнейшим образом.

В разгар его монолога ввалились Мориц и Ожел в прилипшей к телу, измазанной глиной одежде и с прили�анными дождем непокрытыми головами. Увидев незнакомого, Мориц вдруг выпрямился, словно аршин проглотил, лихо щелкнул каблуками и до того деревянно вскинул кулак, что перед нами возник не утративший былой выучки германский унтер-офицер. Судя же по тому, как он вытянулся, между Лукачем и Беловым должен был восседать по крайней мере фельдмаршал фон Людендорф.

Вскоре, однако, Мориц не преминул дать знать Ожелу, что «там тен... на краю... чи веджишь, кто то ест? Не веджишь? Ганс Баймлер! Ктуры еден на еден звытенжил Адольфа Хитлера!». Услышав это, я, насколько допускало приличие, принялсь в оба рассматривать необыкновенного человека.

Один из руководителей Баварской Советской республики, просидевший десять лет в крепости, депутат рейхстага и член ЦК германской компартии, Ганс Баймлер навлек на себя, кроме классовой, и личную ненависть схвативших его эсэсовцев стойкостью, с какой переносил ужаснейшие избиения. Палачи поклялись сломить его волю, довести до самоубийства, почитавшегося коммунистами слабостью при любых обстоятельствах. Запирая после допросов изнемогающего Ганса Баймлера в одиночную камеру, они как бы случайно оставляли в ней то бритву, то веревку. Но Ганс Баймлер и не помышлял о том, чтобы наложить на себя руки. Узнав, что потерявшие терпение нацисты собираются прикончить его и симулировать самоубийство, он решил на побег. Баймлер знал, что из Дахау убежать невозможно, но предпочитал смерть от пули врага при попытке к бегству гибели в застенке, сопровождаемой клеветой. И произошло небывалое: беглец не был обнаружен немедленно, не нашли его и на следующий день. И хотя в погону за ним были брошены все племенные овчарки рейха, Ганс Баймлер исчез бесследно. Когда же он через некоторое время объявился в Праге, а потом и в Париже, его восторженно встретили не только ранее эмигрировавшие товарищи — его ждало искреннее восхищение всех честных людей. Еще бы! Вступив, подобно Дмитрову (но в еще более тяжелых условиях), в единоборство со всемогущим гитлеровским государством, он одолел его и сумел обмануть собственную смерть.

И вот теперь я сидел за одним столом с ним на командном пункте Двенадцатой интербригады под осажденным испанскими гитлеровцами и разрушаемым нацистскими летчиками Мадридом. Было чему удивляться. Было и чем гордиться.

Сколько, однако, я ни всматривался в обветренное и загорелое лицо Ганса Баймлера, мне не удавалось обнаружить в нем ничего героического, вообще ничего необыкновенного. Кроме поразительно резких морщин и твердого взгляда — до того твердого, что он казался даже неприятным, — ничто не отличало его лицо от сотен лиц других пролетариев, в конце рабочего дня появляющихся с почти таким же жестким, но более усталым взглядом в воротах любого европейского завода.

Продолжая говорить все так же громко, Ганс Баймлер поднялся, сунул Лукачу и Белову прямую ладонь, запахнул слишком широкий полусубок, выкрикнул на прощанье, как команду, «рот фронт!» и направился к двери. Белов сопровождал его. Пока они брели по лужам к «опелю», Лукач через залитое дождем стекло провожал их глазами.

Из поступавших и читавшихся при мне за день донесений, а также из обрывков разговоров с очевидностью выяснялось, что Лукач как в воду глядел, предвидя, чем обернется смена, произведенная днем. Более или менее благополучно она прошла в одном франко-бельгийском батальоне, и лишь потому, что сменяемый батальон «Парижская коммуна» удержал в Университетском городке здание медицинского факультета, заслонившее подходы с тыла. Батальон же Гарибальди, продвигавшийся вдоль Мансанареса по достаточно просматриваемой местности, сначала навлек на себя огонь франкистских батарей, а когда стал приближаться к позициям батальона Домбровского, фашисты предприняли предсказанную Лукачем атаку, и поскольку никаких позиций там, собственно говоря,

не было, а удар наносился в тот самый момент, в какой одни отходили, а другие заступали на их место, то удержанная гарибальдийцами новая линия обороны оказалась позади прежней. Еще хуже пришлось батальону Тельмана...

— Знаешь, почему мы не видим марокканские бурнусы через это вот окошко? — спросил Лукач у складывавшего карту Белова во второй половине дня, когда положение несколько упрочилось. — Не знаешь? Очень просто: не могут же фашистские стратеги предположить, что нас тут одна тоненькая ниточка и в глубину до самого Эль-Пардо ни единого резервного батальона не сыскать. Им в данном случае помешала военная грамотность. — Он коротко просмеялся и сразу же стал серьезным. — Ну, и еще одно: ниточка-то держит! Значит, там, впереди, уже не вооруженная толпа, а добровольческая воинская часть. И если подумать, из кого она состоит, так подобных людей на свете еще не видано. — Он совсем мрачнел. — А мы их гробим без всякой пользы, безжалостно и бездарно. Я сейчас сам посоветовал Ренну попробовать завтра восстановить положение. А во что это обойдется? Подумать страшно.

Перед наступлением сумерек Мориц возился на крыше сторожки, умудряясь и там неизвестно на кого ворчать; Ожел и два других связиста перекинули по веткам деревьев провода. Потом они сняли со стола самый большой из ящиков, опустили в погреб, обнаруженный под сеном, и подсоединили сперва к чердаку, а там и к одному из оставленных ящичков. Выскочив из подпола, Ожел принял крутить ручку, приделанную сбоку ящичка, и крутил очень долго, будто молот кофе. Накрутившись вдоволь, он вынул из ящичка трубку, не то подул, не то поплевал в нее, вытер трубку рукавом, подал Лукачу и опять нырнул в погреб.

— Allo! Allo! — радостно закричал Лукач. — Bataillon Thälmann? Allo!..

Лукач оживленно заговорил по телефону, и даже я понял, что на другом конце провода — комиссар Рихард, через которого Лукач объясняется с обезголосившим Людвигом Ренном.

Закончив переговоры, Лукач шагнул к сидящему рядом Морицу, под мышки, как берут детей, поднял его со скамьи и расцеловал.

— Ты видишь, — Лукач обернулся к Белову, — он и знать не знает, что сделал. А без него кем я был? Рассудить, так кем хочешь: и связным, и политруком, и даже интендантом, но не командиром бригады, а нередко и просто пустым местом. А ты?.. Послушай меня, товарищ Белов. Этот человек — чистый клад, и мы с тобой должны лелеять и холить его...

К концу дня подтвердилось, что бригада удержалась на тех рубежах, на какие успела выйти утром, и с приближением темноты пробовала, как могла, закрепиться на них. Рыть окопы было нечем, да и слишком все устали, но индивидуальные ячейки, чтобы хоть лоб прикрыть, люди скребли понемногу; беда была лишь в том, что ямки эти заливало водой. Паласете же с окружающими домами было утеряно и представляло собой как бы занозу, впившуюся в тело бригады. К вечеру Лукач собрался в штаб сектора. Возвратился он, когда уже стемнело.

— Клебер категорически требует, чтоб мы восстановили положение у себя в центре. Он верно указывает, что, уступив врагу дома, расположенные по гребню, мы попали в очень невыгодные условия, а кроме того, посрамили доброе имя интербригад. Забыл он об одном: кто во всем виноват. Я хоть и напомнил, что просил отложить смену до ночи, но что после драки кулаками махать!.. Единственное, чего я добивался, это чтобы на завтра нам ставили ограниченную задачу — выпрямить наши позиции, а настоящую контратаку отложить. Сутки выторговал.

В начале второго дня промокший до нитки Мориц со своей никогда не высыхающей командой, которую Белов сочувственно прозвал «водоплавающей», соединил три праздных ящичка с остальными двумя батальонами и с батареей Тельмана. Теперь на ближнем краю стола все чаще раздавалось густое гудение. В большинстве случаев это были артиллерийские наблюдатели, посаженные в пехоту. Если же звонили Лукачу, трубку уверенно брал Белов, подолгу беседовавший со штабом Ренна и с батареей по-немецки, а со штабом батальона Гарибальди, как ни странно, на русском языке: его знал батальонный комиссар Роа-

зио. Когда же требовалось объясниться с франко-бельгийским батальоном, Белов протягивал трубку мне, и я переводил в обе стороны, быстро научившись отличать по голосам нового командира батальона Жоффруа от его комиссара Жаке.

— Что нам ценой невосполнимых потерь удалось на сегодняшний день задержать фашистское наступление здесь, у Паласете и Пуэрта-де-Иерро, — обратился к Белову куда-то собравшийся Лукач, — это немалое дело. Однако в Карабанчеле батальоны, наспех сколоченные из мадридских рабочих, и лучшие бригады пятого полка на различных участках мадридской обороны сделали ничуть не меньше, а уж Одиннадцатая, отбивая атаки на Умер и Араваку и контратаковавшая в самые грозные часы в Каса-де-Кампо, главное же, сумевшая отобрать назад половину Сиудад-Университариа, совершила, спорить нечего, несравнимо больше. Но что мы первые дотянули телефонный провод до переднего края — это превеликое достижение. С начала войны ни один еще республиканский командир не говорил по телефону с находившимися в сражении подчиненными, кроме, допустим, счастливой случайности, когда они располагались в доме, где на стене в передней висел аппарат, а линия каким-то чудом не была повреждена: звоните, пожалуйста, барышня соединит...

— Регнер рассказывает, что они, словно в мирное время, соединяют кого и с кем угодно. Будто бы и междугородная связь по сю пору действует и никем не контролируется, и при желании можно хоть сейчас позвонить в Бургос или Севилью, чем и пользуется «пятая колонна», — поддержал Белов.

Но Лукач, не слушая, продолжал:

— Теперь же многие возьмут с нас пример. А для чего мы тут, как не для того, чтобы во всех отношениях подать пример. И то, что мы сумели так скоро построить связь, непременно нам зачтется, особенно вот ему, — Лукач ткнул палкой в направлении откинутого над погребом люка, — нашему старому Морицу.

...Темнело, когда, обходя подлежащую моему контролю территорию, я увидел бесшумно и быстро приближавшуюся многоместную черную машину. Из нее вышел коренастый широколицый человек в кожаной куртке, обмотках и защитной фуражке, из-под козырька которой выбивался сидящий казачий чуб. Поправив кобуру и размяв ноги, приезжий спросил меня с несомненным кавказским акцентом:

— Скажите, такой Белов в этой избушке обитает?

Белов в этот момент зажигал свечу, вставленную в бутылку. Посмотрев на вошедшего, Белов бросил свечу и шагнул к нему:

— Товарищ Петров! Георгий Васильевич!..

Они крепко обхватили друг друга и так, обнявшись, постояли молча.

— Ну? Как живешь?.. — слегка задыхаясь, загворил Петров. — Я думал, ты, как в Альбасете решили, батареей командуешь — и вдруг слышу: начальник штаба Двенадцатой...

Дверь, чуть не слетев с петель, распахнулась, и, нагнув голову, чтоб не стукнуться о притолоку, через порог переступил молодой гигант с незнакомой системы ручным пулеметом за необъятной спиной: под левым локтем великан, очевидно шофер Петрова, держал набитый до отказа, но, похоже, отнюдь не документами, потертый портфель с медной застежкой.

— Сюда неси, Милош, сюда, — засуетился Петров. — Вот сюда, овде, овде на стол. Чувай се само, не разбей бутылку... Я привез перекусить. Рюмки найдутся?

— Зачем нам рюмки, когда есть кружки! — ответил Белов, зажигая свечу.

За исключением дежурившего в подполе Морица, я единственный был на ногах и, желая не мешать встрече друзей, выскользнул наружу. Дождь прекратился, но дул ледяной ветер, забиравшийся даже под кожанку. Не знаю, сколько времени гулял я по шоссе туда и обратно, пока вдалеке не послышались гулкие шаги Гурского, возвращающегося после посещения польской роты, куда я разрешил ему сходить.

На вопрос, почему у него такой понурый вид, Гурский лишь безнадежно махнул рукой. Я повел его к мосту. Там мы уселись спиной к ветру на холодный паплет, и Гурский принял рассказывать.

Оказывается, в нашей роте никого из тех, кого он хотел навестить, уже нету. По-настоящему нет и самой роты: всех оставшихся в строю, а среди них есть и с перевязками, не наберется и на два взвода. А между тем до позиций рота дошла в полной сохранности. Фашистская артиллерия лупила по ним с утра, но прямого попадания ни в один из домов, которые они занимали, не случилось; продрогшие хлопцы были довольны уж тем, что спрятались от дождя, да и выданные хоть по одной ручные гранаты тоже поднимали настроение. Что беспокоило командира роты Стефана и комиссара Мельника — это отсутствие связи, и когда вражеские пушки перестали стрелять, Стефан распорядился развалить кое-где ограды, чтоб легче было переходить от взвода к взводу. Но не успела рота по-настоящему занять позиции, как на дороге появились неприятельские танки. Они развернулись веером и пошли прямо на наших, строча из крупнокалиберных пулеметов. Что творилось в каждом домике, никто, понятно, не знает. Одно все видели: как навстречу головному танку выскочил комиссар Мельник и размахнулся гранатой, ио танк с десяти метров ударил ему прямо в грудь из пулемета, и комиссар упал. Из дома полетели в танк гранаты, но вреда ему не причинили, и танк прошел дальше, а на роту набегали марокканцы в фесках. В каждом доме, в каждом саду завязался отдельный бой. Стефан был тяжело ранен и лежал, как мертвый, и хлопцы решили, что он убит. Командование ротой снова принял Владек. Он пробирался по задам от дома к дому и везде приказывал, чтобы часть бойцов лезла на чердаки, откуда через слуховые окна виднее, куда целить, да и гранаты бросать легче. Но когда и Владека ранило, командовать стало некому. Началась неразбериха. На счастье, подоспел командир батальона и привел пулеметную роту; продвижение фашистов застопорилось. Но долго еще противник выбивал из занятых им домов и добивал забравшихся на чердаки и спрятавшихся в подвалах...

Сильнее всего удручала Гурского даже не гибель чуть не половины нашей роты, а то, что, отступая, бойцы не вынесли тело своего комиссара и оставили часть раненых. Я тоже нашел это ужасным... Мне удивительно живо представилось грубое, сильное лицо Мельника, добровольно, как говорили, уступившего комиссарские обязанности образованному Болеку, который на поверку оказался жалким болтуном. Потом я подумал, что в закрывшей прорыв пулеметной роте сражались Иванов, Троян и Лившиц, как-то они там? И вдруг меня будто кольнуло: я же забыл про Остапченко!

— Он было без вести пропал, — сообщил Гурский. — Один легко раненный поляк даже высказал подозрение, не перешел ли белогвардеец Остапченко к генералу Франко: чересчур упорно не желал он покинуть полуокруженное здание и других удерживал. И что думаешь. — немного оживился Гурский, — собрался я уже уходить, как принесли переданную через интенданта записочку от того верного царского слуги и ярого белогвардейца Остапченко. Пишет, что ранен, что спас его санитар, который сам потом получил пулю и лежит с ним в палате рядом, и еще написал, чтоб ждали и винтовки не ленились чистить, а то скоро их взводный вернется в строй и строго спросит, особенно с коммунистов. Но если и дальше так пойдет, кто ж его дождется?..

За час-полтора Белов и его гость так накурили, что пламя свечи еле пробивалось сквозь дымовую завесу.

— Вот, позволь тебе представить, — обратился Белов к своему приятелю, — Алеша. Прибыл сюда из Парижа. Сын белоэмигранта, но, как видишь, с нами.

— Не сын, а пасынок, — поправил я. — Отец мой никогда за границу не выезжал. Он бывший киевский губернский архитектор, перед революцией работал в Петрограде, с восемнадцатого живет в Москве. Последнее время, насколько знаю, преподает в архитектурном институте.

— Прости великодушно, я твоей анкеты не изучал, — извинился Белов. —

Могу и перепутать. Познакомься же. Это полковник Петров, инспектор пехоты у генерала Клебера. Товарищ Петров, как сам догадываешься, тоже болгарин.

Хорошо же сел я в лужу с «кавказским» акцентом!

— Здорово, пасынок эмиграции! — Петров протянул мне большую мягкую руку. — Коньяк принимаешь? Тогда налей. Чокнемся по случаю состоявшегося знакомства.

Петров еще не уехал, когда возвратился Лукач. Он недовольно повел носом на табачный дым, покосился на недопитую бутылку, сухо кивнул Петрову. Пристутствие его явно не понравилось нашему комбригу. Едва тот отбыл, Лукач забросал Белова вопросами:

— Что ему здесь надо? Клебер прислал? Надеюсь, ты не дал этому соглада-таю в наши дела нос совать?

— Он совсем не за тем, товарищ комбриг, приезжал, — обиженно возразил Белов. — Он завернул, чтобы со мной повидаться. Мы же, дай бог памяти, шестнадцатый год знаем...

Связавшись с батальоном Тельмана, а затем вызвав Роазио, Лукач вечером по обыкновению уехал в Мадрид.

Уже под утро где-то слева завязалась перестрелка. Вскоре один из телефонных ящиков зажужжал, и командир франко-бельгийского батальона Жоффруа крайне нервно сообщил, что по ним стреляют. Я передал это Белову. Он усмехнулся:

— Ты скажи, что на войне оно бывает.

Я перевел в трубку замечание начальника штаба бригады. Жоффруа был задет им за живое. Детонирующим тенором он прокричал сквозь шелканье мембраны, что, если б мы находились поближе к неприятелю, нам было бы не до шуток: положение складывается тревожное и он, капитан Жоффруа, считает абсолютно необходимым доложить об этом непосредственно командиру бригады, разговаривать же с кем-либо другим, по-видимому, бесполезно...

— Переведи ему, — сказал Белов, — что я прежде всего прошу его успокоиться. Это главное. Затем скажи, что командир бригады по-французски не говорит и объясняться с ним все равно придется через переводчика. Да генерала здесь сейчас и нет. Прибавь, что штабу бригады отчасти известна обстановка на участке. Известно, например, что батальон Андре Марти находится в лучших условиях, чем остальные. Он под крышей, а не под дождем. И он за каменной стеной. Без серьезной артиллерийской подготовки враг к медицинскому факультету не сунется, особенно если знает, что по соседству есть проход, прикрытый лишь грудью тельмановцев и гарибальдийцев.

Жоффруа, неоднократно порывавшийся перебить меня, заявил в ответ, что он уже решил — и комиссар Жаке полностью с ним согласен — письменно обратиться к товарищу Марти, чтобы носящий его имя батальон объединили с батальоном «Парижская коммуна» в одной бригаде, командир которой говорил бы по-французски.

Почти синхронно я повторял слова Жоффруа окончателно проснувшегося Белову. Он с досадой потер лоб.

— Чувствуется, что Реглера с ними больше нет, его пришлось временно направить на работу с ранеными. Дай-ка трубку.

На правильном, хотя и несколько замедленном французском языке Белов строго призвал Жоффруа к порядку. Как он, офицер французской армии, позволяет себе до такой степени распускаться! Если он не хочет, чтобы в отношении его были приняты дисциплинарные меры, пусть сейчас же прекратит истерику... Суровая отповедь Белова немедленно принесла результаты. Жоффруа заметно снизил тон и успокаивался. Зато я не мог успокоиться. Белов, оказывается, знал французский, к чему же он битую неделю притворялся? Я прямо спросил его об этом.

— Как тебе сказать... У меня очень-очень давно не было практики, и я в себе не уверен. Но главное — не вздумай только обижаться — я не был уверен в тебе. Ну, подумай, что про тебя известно? Можно считать, ничего за исключением такого настораживающего, сам понимаешь, обстоятельства, что ты русский, но не советский, то есть фактически белоэмигрант, пускай даже мальчиком вывезенный за границу, но воспитанный в махровой белогвардейской среде. Ведь так?

— Так, — признал я.

— Посуди сам, имел ли я право с закрытыми глазами довериться тебе, а не попытаться незаметно проконтролировать? В уверенности, что ни комбриг, ни я тебя не понимаем, ты разговаривал при нас по-французски, не стесняясь, как при глухих...

— Выходит, что ты меня как бы подслушивал?

— Вот-вот, — нисколько не смутился Белов. — А при этом, как ты выразился, подслушивании можно было по некоторым оттенкам многое почувствовать. Окончательно я поверил тебе, конечно, не по переводам.

— А по чему?

— Как тебе сказать... — Белов усмехнулся. — Присмотрелся...

На рассвете вслед за Лукачем съехались Фриц, Галло, Баймлер, Реглер и малорослый, неправдоподобно одинаковый в длину и в ширину командир батареи Баллер. Казимир едва успевал отгонять машины и мотоциклы. Видя, что предстоит совещание, я, не дожидаясь приказа, вывел все население сторожки на шоссе. Дождя не было, и мы, разбившись на кучки и поживаясь от утреннего холодка, покуривали.

Задолго до назначенной контратаки приезжие, кроме Фрица, отправились к своим местам, и мы смогли возвратиться восвояси. Началось напряженное ожидание. Через полчаса в отдалении возникло тяжкое урчание, и на шоссе показались наши танки. Они шли друг за другом гораздо медленнее, чем грузовики на первой скорости. Но, господи, сколько шума они производили! Когда грохот приблизился, Лукач и Фриц вышли посмотреть на них. Из открытых люков высовывались по пояс крепкие парни в кожанках. Молодые лица были охвачены шлемами с двойным гребешком наверху и чем-то вроде приплюснутых бараньих рогов по бокам.

Еще долго после того, как грозные машины скрылись из виду, до нас доносился гул, пока они где-то не остановились. Но тишина продержалась всего несколько минут — ее нарушила стоявшая позади батареи Тельмана, а после первого же ее залпа впереди разгорелась ружейная и пулеметная стрельба, сквозь которую пробивалось редкое уханье ручных гранат. Пули фашистов опять начали долетать почти до самого командного пункта. Заработала и вражеская артиллерия. Белов крикнул в подвал Морицу, чтоб тот вызвал немецкий батальон, но Лукач, меривший шагами узенькое пространство между буфетом и дверью, мягко приронул к спине начальника штаба:

— Может, воздержимся? Стоит ли в самом начале толкать их под руку? Людвиг Ренн еще нас с тобой поучит. Пусть себе действует самостоятельно. По надобится — сам к нам обратится.

Фриц, сверявший свою карту с беловской, встал, перекинул планшет через плечо, оттянул кобуру назад.

— Если не возражаешь, схожу туда — посмотреть на все своими глазами.

— Ой, как возражаю. Но возражай не возражай, ты же все равно пойдешь, — отозвался Лукач. — Об одном, родной, прошу: будь поосторожнее.

Не прошло после ухода Фрица и двадцати минут, как Мориц высунул из подпола и торжественно, как мажордом на великосветском рауте, провозгласил, что у телефона Людвиг Ренн. С ним говорил — точнее, сдержанно ему поддакивал — Лукач. Положив трубку, он рассказал Белову, что наступление началось с неудачи: танки еще не вышли на исходный рубеж, когда у шедшего вторым слетела гусеница и он загородил путь последнему. Первый танк тем не менее продолжал

двигаться один, поднялась в атаку и немецкая ударная рота. Но едва танк выбрался из деревьев, как спрятанное в доме напротив скорострельное орудие открыло по нему огонь и сразу же его подбило. Танк загорелся; к счастью, экипаж успел высочить. Ударная рота, само собой, залегла. Итальянцы, по сведениям Ренна, тоже не продвинулись. Он послал связного к командиру батальона Гарибальди, прося его подойти, чтобы договориться, как общими усилиями взять находящийся на высоте, в стыке между ними, зеленый дом, в котором засели два «гочкиса» и противотанковое орудие. Ренн надеется подготовить повторение операции к шестнадцати часам и просит ее санкционировать, считает, что, во всех подробностях согласованная с гарибальдийцами, она будет успешнее утренней...

— Вот теперь свяжись, пожалуйста, с итальянцами. Надо же знать, что у них и какое настроение.

Мориц подсоединил ближайший ко мне ящик. Говорили по-французски и как раз из батальона Гарибальди. Не растерявшись, я сунул трубку Белову. Он бросил мне укоризненный взгляд, но выслушал обстоятельный рапорт до конца, а затем изложил его содержание Лукачу. Поначалу у итальянцев все шло хорошо. Они быстро продвинулись туда, откуда отступили в первый день, но батальон Тельмана не наступал, и левый их фланг обнажился. Этим тотчас же воспользовались фашисты, ударившие по нему из пулеметов. Подавить эти пулеметы гарибальдийцам не удалось: прежде чем они выволокли свои пушки на прямую наводку, две были накрыты вражеским артиллерийским огнем. Пролежав под пулями свыше часа, гарибальдийцы были вынуждены отойти на первоначальные позиции. И все же стоящий на холме зеленый дом так досаждал всем, что в штабе гарибальдийцев согласны с предложением немецких товарищей и хотят сегодня же взять его.

— Наступление всего двумя, да еще потерявшими до четверти состава батальонами на эти высоты, где дома служат укреплениями, — покушение с негодными средствами, — резюмировал Лукач. — Я это и доказывал Клеберу. Но если после всех неудач и потерь народ сам рвется в бой, не считаю себя вправе препятствовать...

В шестнадцать с чем-то за рощей снова загремел бой. К вечеру стало несомненным, что и он завершился лишь частичным успехом. Гарибальдийцам, правда, удалось вскарабкаться по обрыву до самых стен зеленого дома, но, когда они попробовали проникнуть внутрь, подтвердилось то, что мы усвоили еще под Серро-де-лос-Анхелесом: штыком протаранить каменную или кирпичную кладку нельзя. В результате гарибальдийцы отхлынули ни с чем, унося убитых и раненых, среди последних был и командовавший неудачным штурмом капитан Леоне, до создания интербригад возглавлявший итальянскую центурию Гастоне Соцци. Зато тельмановцы, пусть и не дошедшие до ненавистного дома, а следовательно, практически не поддерживавшие достаточно соседей, все же продвинулись в заданном направлении и захватили несколько построек, а между ними — относившуюся к Кампо-дель-Поло конюшню...

Перед сумерками со стороны рощи донеслось цоканье подков. Юнин припал на одно колено и лягнул затвором. Я сдернул винтовку и уже набрал в легкие воздух, чтоб заорать «агагге», но своевременно узрел, что на нас надвигается не марокканская конница, а безоружный боец с повязкой на голове, ведущий под уздцы двух неоседланных коней.

Лошади, которых подводил к командному пункту тельмановец с забинтованной головой, очень походили на арабских, но были гораздо крупнее. Особенно хороша была золотисто-рыжая кобыла с белой звездочкой во лбу.

— Какие кони! — воскликнул вышедший на стук подков Лукач. — Откуда они? — И он повторил свой вопрос по-немецки.

Видимо, тельмановец — может быть, эльзасец — плохо знал немецкий, так как ответил по-французски, что лошади эти — трофей. Они вместе с другими найдены в захваченной сегодня конюшне. Командир батальона приказал интенданту отправить их в тыл, но бойцы роты, зная, что их генерал кавалерист, решили подарить ему эту красавицу, а для ординарца его отобрали гнедого.

— Переведите, что я от всей души благодарен. Лучшего подарка нельзя было придумать. Скажите, что я прошу довести коней до Эль-Пардо, где формируют наш эскадрон, и сдать командиру его майору Массару. И напишите Массару записочку, чтоб он принял их и берег. Нет, будет еще лучше, если я сам черкну Гримму. Это комиссар эскадрона, и ему можно по-русски, — пояснил он Белову. — Ах да, чуть не забыл: вам, Алеша, от него привет. Я как-то упомянул про вас, и вдруг оказывается — вы знакомы...

Кони были уже далеко, а Лукач продолжал смотреть им вслед почти влюбленными глазами.

— Ты, между прочим, — сказал он Белову, — дозвонись, прошу, до Ренна и сообщи, что меня удивило его распоряжение отправить куда-то там в тыл отбитых у франкистов коней, когда у нас самих эскадрон формируется. Прикажи от моего имени всех до одной отвести к Массару.

Лукач уехал и появился лишь наутро, но, занятый какими-то неотложными делами, провел с нами не больше двадцати минут: прочитал заготовленные Беловым в двух экземплярах, для командования сектором и для мадридского штаба обороны, рапорты за сутки, а также рапортчку о потерях и численности бригады, подписал их, покачивая головой, аккуратно сложил все четыре еще не переведенные бумажки, спрятал в нагрудный карман и снова укатил...

День, лишенный каких-либо событий, показался мне бесконечным, а ночь — которая по счету без сна! — форменной пыткой. Подперев щеки кулаками, Белов и я упрямо сидели за столом, но, сколько ни таращили глаза, ежеминутно засыпали, и тогда локти соскальзывали с него, и мы падали вперед головами. Даже двужильный Мориц ослабел; непривычная тишина стояла внизу, где он, никому не доверяя, сторожил коммутатор, и лишь тоненькая струйка табачного дыма, поднимающаяся оттуда, показывала, что старый унтер лучше нас борется со сном.

Утром Лукач, посмотрев на вылезшего из своей преисподней Морица, а затем переведа взгляд на моргающего воспаленными веками Белова, приказал им немедленно ехать в Фуэнкарраль и спать до вечера.

— Можешь ни о чем не беспокоиться, — успокаивал Лукач торопливо прихлебывающего горячий кофе Белова. — Вдвоем с Алешей мы как-нибудь без тебя управимся. А вернетесь — его спать отправлю, он хоть и помоложе, а тоже на мумию стал похож.

Еще до завтрака один за другим примчались из батальонов раскрасневшиеся от холодного ветра мотоциклисты. За перчаткой у каждого лежал суточный рапорт. Все, даже рапорт Людвига Ренна, были составлены на французском, и я вслух перевел их.

— Не ошибся я в Белове, — удовлетворенно промолвил Лукач. — Образцовый начальник штаба из него получается. Посмотрите, как порядок наводит. Теперь подбейте, пожалуйста, все цифры и сразу начисто пишите две бумажки наверх о состоянии бригады на сегодня.

Перед сменой постучал в окно стоявший в карауле Ганев, вызывая меня. Мы с Фернандо заторопились. Из тыла, влача шлейф сизого дыма, подкатил запыленный четырехместный «ситроен». Ветровое стекло его было в трещинах, крылья помяты, радиатор носил следы столкновения. Из него вышел чернявый молодой человек в штатском. На груди у него в светло-желтых футлярах висело два сверхъестественных фотоаппарата. Приятно улыбаясь, изящный молодой человек, по произношению чистейший парижанин, представился корреспондентом «Се суар» и «Регар» и прибавил, что хочет сделать несколько снимков с интернациональных добровольцев, обороняющих Мадрид, а так как необходимо, чтоб это были товарищи разных национальностей, он просит дать ему проводников во все три батальона. В заключение он представил пропуск, в котором на двух языках — испанском и французском — было напечатано, что подателю сего, товарищу такому-то, разрешается посещать районы боевых действий и военные власти повсеместно должны оказывать ему посильное содействие. Взяв пропуск, я отправился за указаниями к Лукачу.

— Хочет получить проводников в батальоны? Скажите пожалуйста! А съездить туда на мне верхом ему не хочется? Гоните его к чертовой матери! Понадавали пропусков кому не лень — всяким подлецам, международным литературным аферистам и даже патентованным шпионам, числящимся сотрудниками сомнительных изданий. А господа журналисты не столько в газеты пишут, сколько информируют Франко. Этот же вон еще и фотограф! Сегодня он нас на пленку, а завтра на наши головы бомбы посыплются. Нет и нет! Выпроводите его взашей. Не послушается — прикладом!

Я возразил, что «Регар» не сомнительное издание, а иллюстрированный еженедельник французской компартии; про «Се суар» же и говорить нечего — им руководят Жан-Ришар Блок и Луи Арагон. Лукач, слушавший меня с недоверием, как только я назвал Жана-Ришара Блока и Луи Арагона, уступил.

— Если так, ладно. Но сюда его не впускайте. Неровен час щелкнет, а мне фотографироваться не полагается. Про передовую тоже нечего и думать — пока светло, марокканцы с деревьев сами снимут этого вашего фотографа. Объясните ему все по-хорошему. А здесь что захочет, пусть себе на здоровье фотографирует.

Возвращая фоторепортеру его пропуск, я передал ему от имени командира бригады, что ни дать прожатого, ни тем более позволить самостоятельное посещение батальонов он не может: в дневное время это слишком опасно. Зато около командного пункта генерал разрешает фотографировать что угодно. И я обратил внимание приезжего на мост и живописный поворот Коруньского шоссе за ним.

Улыбка сползла с лица фотографа.

— Я, знаешь ли, военный корреспондент. Виды для открыток — не моя специальность. Вот этого мальчика я, пожалуй, зафиксирую.

Он навел один из своих телескопов на Фернандо и щелкнул. Небрежно бросив «salut», обидевшийся парижанин зашагал к своему драндулету.

Через неделю изображение Фернандо усмехалось с обложки «Регар» в газетных киосках Франции. К нам в штаб журнал завез Реглер. Равнодушнее всех отнесся к славе сам Фернандо. Ему почему-то представлялось более значительным совпадение, в силу которого он охранял мост, носивший имя его небесного патрона. Меня же портрет поразил. Забавная рожица Фернандо приобрела совсем новое выражение, превращавшее ее в полное значения лицо. Но не в лицо стоящего на страже солдата, а в лик вооруженного сына народа, веселого и одновременно уверенного в себе. Выпровоженный нами фоторепортер обладал глазом художника — ему удалось создать образ. И, отделившись от реально существующего маленького Фернандо, выросшего на чужбине испанского паренька, образ этот зажил самостоятельной жизнью, более длительной, чем жизнь самого Фернандо. Последнее подтверждается тем, что с суперобложки книги воспоминаний, изданной в 1960 году на словенском языке в Любляне и озаглавленной «Мы были в Испании», смотрит наш Фернандо, о котором я не знаю ровно ничего с 1936 года, с того хмурого декабрьского дня, в какой Лягутт был откомандирован из охраны штаба бригады обратно во франко-бельгийский батальон, и верный друг его Фернан отпросился туда же следом за ним.

И вот спустя тридцать лет я снова вижу Фернандо таким, каким он предстал в давнем номере «Регар». Его надетая набекрень пилотка украшена взамен пятиугольной красной звездочки трехцветной республиканской розеткой (ею Фернандо гордо подчеркивал, что он испанец). Шея закутана поддетым под вельветовую куртку полосатым шерстяным шарфом. На уровне слегка оттопыренного уха приходится рукоять тесака, примкнутого к висящей за плечом винтовке. Неправильное полудетское лицо освещает добродушная усмешка, однако за этим добродушием ощущается неколебимая стойкость. Где-то ты теперь, наш маленький Фернандо?..

(Ну, а насчет зафиксировавшего его для потомства фотографа, так оказалось, к нам приезжал приобретший впоследствии мировую славу Робер Капа, о кото-

ром после его гибели во время первой грязной войны во Вьетнаме Хемингуэй написал, что «он был большим и храбрым фотографом».)

В этот же день, что и корреспондент «Се суар», наш командный пункт у моста Сан-Фернандо навестили еще два корреспондента, представлявших, по их собственному определению, «умеренные» газеты — один бельгийскую, второй английскую, — а также молоденький советский кинооператор, так что Лукач в сердцах назвал этот день «днем печати».

У разъезжающих вдвоем английского и бельгийского журналистов не нашлось пропуска в прифронтовую зону — они якобы забыли его на письменном столе, — и я вежливо, но не дав им высадиться из машины, попросил этих рассеянных гостей вернуться за их «сальвокондукто» в Мадрид; кинооператора же принимал и уговаривал сам Лукач. По примеру с Фрицем я уже заметил, что некоторые советские люди получали в Испании не слишком-то подходящие псевдонимы. Кинооператор носил чисто испанское, но никак не соответствующее его спортивной наружности имя Кармен, избранное — поскольку оно произносилось с ударением на последнем слоге — под неосознанным влиянием Мериме или еще скорее Бизе.

Под руку пройдясь с бодро таскавшим на боку тяжеленную камеру юным кинооператором и, надо думать, доказав необходимость отложить посещение позиций, Лукач проводил его до солидной американской машины и дружески простился, причем улыбки обоих в равной мере соперничали с рекламой зубного эликсира.

— Способный хлопец, — как бы объясняя оказанное тому внимание, отметил Лукач. — Встречаться с ним самим мне раньше не приходилось, но я слышал о нем и знал его мать.

Я выразил удивление, почему способному хлопцу дали имя оперной героини, но Лукач возразил, что это вовсе не псевдоним, а настоящая фамилия. Молодого кинооператора звали Роман Кармен...

В середине дня приехал Петров с важными новостями: чтобы облегчить взаимопонимание между бойцами и командованием интербригад, решено перестроить их по языковому признаку. Отныне в Альбасете не только не будут соединять в одном батальоне рсты, с которыми его командир не может объясняться без переводчика, но постараются и бригады формировать по принципу одного языка. С той же целью в уже сформированных двух частях произведут перемещения: батальон Тельмана, оставив в Двенадцатой польскую и балканскую роты, перейдет в Одиннадцатую, а на его место нам передадут батальон Домбровского.

— Без меня решали, — ударил крепким кулаком по столу Лукач, — придется им перерешать! Чтобы я отдал лучший наш батальон! И почему мне вдруг стало с немцами трудно объясняться? Это с итальянцами и французами мне действительно трудно. Уж если хотят для общего удобства тасовать батальоны, пусть себе на здоровье забирают и Гарибальди и Андре Марти, тогда в Одиннадцатой все будут понимать по-французски, а у нас сосредоточатся немцы и славяне. И с теми и с другими мы уж как-нибудь сговоримся, тем более что и в батальонах Тельмана и Эдгара Андре много венгров, а кто с ними, кроме меня, докаляется?

Лукач уехал объясняться и вернулся к обеду расстроенный.

— Опоздал. Все уже за нашими спинами обделали, и Марти утвердил, чтоб его душу черт подрал!.. Ладно, ладно, — отмахнулся Лукач от укоряющих взоров Белова и Петрова. — Нечего так на меня смотреть. Без вас знаю, что он герой Черного моря и все прочее. Но, как говорится: «Онегин, раньше я моложе и лучше, кажется, была...» На старости лет наш герой мохом оброс, стал превеликим путаником и брюзгой, а главное, ничего самостоятельно не решает: или сверху ждет указаний. или же действует по указке Видаля и, что бы этот осел ему ни подсунул, все подмахнет. Почему бы ему не приехать сюда и на месте в наших

трудностях не разобраться? А то где же логика? По каким соображениям два французских батальона останутся разрозненными, а два немецких объединяются? И что итальянцы на девяносто девять процентов жили во Франции и по-французски кумекают, тоже из виду упущено. Почему бы их для простоты в одну бригаду с французами и бельгийцами не свести? Пусть бы Клебер ими и командовал, благо имя подходящее и полиглот: ему все равно, с кем и по-каковски разговаривать. Так ведь он вовсе не общего удобства ищет, а как бы свою бригаду за счет нашей усилить.

— Он же ее сдал, — возразил Петров. — Он на секторе остается, а Одиннадцатую у него Ганс примет, дело уже заматано.

— Значит, бескорыстно мне свинью подложил, — не сдавался Лукач. — Ганс-то ведь тоже, кроме немецкого, и английский, и французский, и отчасти испанский знает. Нет, никто меня не убедит, что Клебер в этом деле не участвовал...

— Что логики в данном случае не хватает, с этим вполне можно согласиться, — откашлявшись, начал Белов. — Но по твоим словам получается — может быть, мне показалось? — что итальянский батальон почему-то должен воевать обязательно хуже немецкого, и мне, признаться, невдомек, на чем ты основываешься?

— А ты что, до сих пор разницы не заметил? — загорячился Лукач. — Уж кто-кто, но я по мировой войне знаю, какие итальянцы вояки...

— Неужто? — грубовато перебил его Петров. — А тебе потом никогда не приходило в голову, что мобилизованные итальянские рабочие и крестьяне были уже тогда сознательнее и дальновиднее многих других? Или среди нас всерьез допустима мысль, будто существуют избранные расы прирожденных воинов и второсортные племена виноделов, пастухов и пахарей?

— Постояй-постояй, как ты говоришь? — изумился Лукач и вдруг до того искренне расхохотался, что и Белов и Петров невольно заулыбались. — Вот это, должен признать, поддели так поддели! Поймали бывшего подданного Австро-Венгрии на шовинистических пережитках!..

Из штаба сектора поступил приказ о выводе бригады в Эль-Пардо на десятисуточный отдых и переформирование, но относился он к оставшимся в ней батальонам Андре Марти и Гарибальди, которым надлежало отойти через сутки. Батальон же Тельмана, как наиболее пострадавший, сменялся немедленно, и приказ об этом был отдан накануне уже не Лукачу, а Гансу, еще продолжавшему командовать батальоном Эдгара Андре. Ганс затемно провел свой батальон на позиции не по шоссе, а по холмам, и смененные тельмановцы начали выходить и располагаться на привал по засыпанным сухой листвой полянкам под сомнительным укрытием нагих деревьев. Около десяти часов Людвиг Ренн и Рихард, его комиссар, заехали к нам проститься. Пока они распивали предложенный гостеприимным Беловым черный кофе с коньяком, я вышел посмотреть на бывший мой батальон.

Сразу бросалось в глаза, что он уже не тот. И не потому, что ряды его заметно поредели, — до того, как его построят, определить это было нельзя. Разительная перемена заключалась в ином: собрались сотни бойцов, а было тихо. Прежняя шумливая веселость куда-то улетучилась. Всматриваясь в тех, кто находился поближе, я, однако, не обнаружил и подавленности; как ни изнурены и ни бледны были давно не бритые лица, как ни портила их помятая, измазанная, а часто и рваная одежда, тельмановцы не выглядели жалкими, они лишь стали как-то проще, что ли. Пережитые лишения и опасности, страдания и смерть стольких товарищей сняли с оставшихся налет некоторой нарочитости, освободили их слова и жесты от почти неуловимой бессознательной театральности, бывшей неизбежным последствием особого положения интербригад и проявляемого к ним испанцами благодарного внимания, а больше всего — произнесенной и написанной по их адресу уймы громких слов. Теперь же ни один из тех, кого я

наблюдал с шоссе, не обращал внимания, смотрят на него или нет. Кто закусывал, кто курил, а кто шил или штопал — и все это с будничной естественностью.

Сколько ни искал я взглядом своих поляков, нигде не виделось их пепельного обмундирования. Я уже повернул обратно, когда на веранде виллы усмотрел прикрытые брезентом пулеметы и стоявших поблизости Иванова и Трояна, а заторопившись к ним, заметил и спящего на земле Лившица.

— Что тарачишься? Удивляешься, что мы живы? — хихикнул Иванов. — Его, как говорят, хоронить, а он в окно глядит!

Вопреки бодрому тону, Иванов выглядел плохо. Он осунулся, у глаз появилось много мелких морщинок. Троян изменился меньше, но тоже исхудал. Мы задымили. С момента, как я подошел к ним, во мне все росло ощущение неловкости, почти стыда. Они каждую минуту рисковали жизнью, а я отсиживался в сторожевой будке и разводил часовых.

Лежавший на вытоптанной траве Лившиц надрывно раскашлялся во сне.

— Разбуди-ка нашего дохлого интеллигента, Троян, а то еще пуще простудится, — распорядился Иванов. — Слаб, — пояснил он мне. — Старается, как может, но слаб, здоровье хлипкое.

Едва лишь Троян наклонился к Лившицу, как девичьи ресницы того испуганно затрепетали. Он поднял веки, сел, пошарил в кармане, поспешно надел очки с потрескавшимися стеклами и, увидев меня, радостно улыбнулся.

Опираясь руками, он с трудом поднялся. В эту минуту Иванова окликнули с веранды. Он отозвался по-немецки и ушел в виллу. И мне и Володе Лившицу было о чем поговорить, но непреодолимое молчание Трояна стесняло нас, и мы обменялись всего двумя-тремя общими фразами, когда возвратился Иванов.

— Пошли, ребята. Приказано разобрать машинки, почистить и смазать. Времени в обрез. Через час камионы подадут. Работать будем в комнатах. И теплее и песка не надует. Ну, бывай, Алексей батькович!

Он протянул мне огрубелую, потрескавшуюся руку. Троян до боли сжал мою ладонь. Оба зашагали к веранде. Володя Лившиц положил длинные грязные пальцы на мои, глядя через разбитые очки.

— Прощай, Алеша. Увидишь Пьера — передай привет. Скажи, что я держусь.

Он принужденно улыбнулся и, волоча слишком большие ботинки, побежал за товарищами.

(Ни с Ивановым, ни с Трояном, ни с Володей Лившицем я больше не увиделся, хотя рядом с Одиннадцатой бригадой мы оказывались и на Хараме в феврале, и под Гвадалахарой в марте. Но после того, как в начале января батальон Тельмана попал возле Паласио-де-Сарсуэла в окружение, оттуда вышло несколько десятков человек, и никого из троих среди них не было..)

Прошло очень много очень тяжелых лет. В 1957 году Латвийское государственное издательство выпустило сборник воспоминаний латышей и некоторых проживающих в Латвии русских — участников испанской войны. Понятно, как набросился я на него, и еще понятнее, до чего был поражен, прочитав в воспоминаниях Р. Лациса об относящихся к апрелю 1937 года встречах его в альбасетском военном лагере с Ивановым, которого еще в январе мы считали убитым. Вот что я прочитал: «В лагере я познакомился с бывшим белогвардейским офицером Ивановым. Он родился и вырос в Орджоникидзе. Ему было всего лишь двадцать лет, когда он окончил офицерское училище в деникинской армии. После разгрома Деникина он пятнадцать лет работал рабочим на каком-то парижском заводе. В Испании он уже шесть месяцев. Был ранен в руку, теперь вышел из госпиталя, но рука еще не обрела прежней силы и подвижности. Пока он руководит в лагере строевой подготовкой и учит солдат обращаться с разными видами пехотного оружия. Он сильно тоскует по своей родине и вечерами с восторгом говорит о том, что нигде на свете нет места красивее Орджоникидзе..»

В том же 1957 году, впервые после нечаянной встречи на Арагоне в начале июня 1937-го, то есть перед самой гибелью Лукача, я увиделся в Москве с другим участником сборника — Алешей Кочетковым. От него я узнал, что Иванов сидел вместе с ним в концентрационном лагере Гюрсе — одним из многих, куда правительство французской республики засадило отступивших из Каталонии испанских республиканцев и где содержалась большая часть нерепатрированных интеровцев. Ни Лившица, ни Трояна в Гюрсе Алеша Кочетков не помнил.

Прочитанное у Р. Лациса и рассказанное А. Кочетковым заставило меня приступить к собиранию новых сведений, пока я не смог наконец заключить, что из трех моих спутников под Паласио-де-Сарсуэла был убит один Володя Лившиц; Трояна же там лишь тяжело ранило одновременно с Ивановым. Но, сам с перебитой рукой, Иванов не только не покинул товарища, а умудрился оттащить его на более или менее безопасное расстояние и сдать санитарам соседнего испанского батальона. Судя по всему, дальнейшие пути неразлучных друзей разошлись. Попав в различные госпитали, Иванов и Троян получили по выздоровлении назначения в разные части, из-за чего и во Франции очутились в разных концлагерях, а бежав, присоединились к разным отраслям Сопротивления: Иванов — к партизанам, Троян — к подпольщикам.

Года за три до того, как писались эти строки, в крохотной московской квартире Николая Николаевича Роллера, бывшего парижского шофера такси, а в Испании — по специальности — командира роты Первого автотранспортного полка особого назначения при штабе Пятой армии, которой командовал Модесто, я повстречался с приезжим из Кировоградской области — тоже долголетним парижским таксистом и бывшим комиссаром роллеровской роты Георгием Владимировичем Шибановым. В ноябре 1943 года у него в парижской квартире собралось одиннадцать в разное время выбравшихся из концлагерей русских парижан, чтобы в присутствии представителя ЦК французской компартии основать под названием «Союз русских патриотов» одну из самых боевых антигитлеровских организаций. Г. В. Шибанов наряду с Н. Н. Роллером был активнейшим ее участником и — что особенно было для меня важно — начальником кадров. Едва поздоровавшись, я уже спрашивал, не знает ли он чего-нибудь об Иванове и Трояне.

— Иванов числился у нас не один, но если вопрос относится к тому, что сражался в Испании, то был и такой, по имени, если не ошибаюсь, Николай. Точно сейчас не скажу, но, помнится, убит. А вот Ивана Трояна — этого лично знал. Гитлеровцы вывезли его из лагеря к себе на работы, но он сумел вернуться во Францию, нашел связь и скоро стал инструктором от центральной организации сначала в Дижоне, а затем в Нанси. Действовал неплохо. Одна была с ним беда: каждое слово будто клещами приходилось вытаскивать. Он погиб. Попался на задании и был расстрелян. Сомнений, к сожалению, никаких. Наш человек вел наблюдение за тюрьмой, на глазах у него оттуда вывезли на расстрел полный грузовик узников уже в одном белье. Среди них был Троян.

Так устное предание постепенно уточняло послеиспанские биографии двоих из семи, ехавших в одном со мною купе, пока Алеше Кочеткову не посчастливилось в процессе подготовки его книги обнаружить у кого-то из старых друзей чудом сохранившиеся разрозненные номера издававшейся в освобожденном Париже на русском языке газеты «Советский патриот» и в одном из них, от 24 августа 1945 года, найти заметку под странным, на мой взгляд, заглавием: «Русские в борьбе с немцами», подписанную «А. Н. Т.». (Над расшифровкой означенных инициалов Кочетков долго ломал голову; не сомневаюсь, что за ними кроется сотрудничавший в этой газете с первых дней Ант. Ладинский, парижский поэт, последние годы жизни проведенный в Москве и советскому читателю известный как автор трех исторических романов.)

В заметке приводились некоторые полученные с мест списки проживавших во Франции русских, участвовавших в Сопротивлении, и среди них было напечатано: «Вот страшный список альгранжского отдела: Троян Иван, родился в Таганроге, лейтенант интернациональной бригады в испанской республиканской ар-

мии, активный участник подпольной борьбы с немцами, расстрелян в городе Нанси; Иванов Николай, лейтенант интернациональной бригады, участник партизанского отряда против немцев во Франции, убит; Дмитриев Василий, боец интернациональной бригады в испанской республиканской армии, убит...»

Этой заметкой раз и навсегда документально подтверждалось, что те три моих товарища по «языковой группе», в их числе и Дмитриев, которых я продолжительное время ошибочно считал убитыми в Испании, остались тогда живы, чтобы, оправившись от ран, продолжать до последнего вздоха драться с фашизмом на чужой земле, так и не повидав родины, возвращение на которую после конца испанской войны им было твердо обещано.

Впрочем, один из них вернулся посмертно. 19 ноября 1965 года Президиум Верховного Совета СССР опубликовал указ «О награждении орденами и медалями СССР группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии». По нему награждено шестеро героев, между ними: Г. В. Шибанов — орденом Отечественной войны I степени и тем же орденом II степени — И. И. Троян (посмертно). А 20 ноября я прочитал в «Правде» статью о награжденных, в которой сообщалось среди остального, что подвергнутый жестоким пыткам Троян «проявил большую стойкость и на допросах ничего не сказал». Последнее меня несколько не удивило...)

12

Последнюю ночь у моста Сан-Фернандо скучать не пришлось, хотя, казалось бы, больше делать было нечего — центр позиций бригады уже занял батальон Эдгара Андре во главе с новым командиром Одиннадцатой, а батальон Гарибальди, на правом фланге, должен был сменяться с четырех утра, чтобы успеть выйти к шоссе затемно. Но ровно в три, будто учуяв, что готовится смена, фашисты завязали жаркую перестрелку на левом фланге. Вопреки обыкновению она затянулась и делалась все интенсивнее.

Белов приказал мне вызвать батальон Гарибальди. Как назло, там в штабе телефон не отзывался. Я продолжал вертеть ручку аппарата, но тут из подвала вылез Мориц и сконфуженно объявил, что «с того ниц юж не бендзе», так как он послал сматывать провод.

— Сматывать? — занятый своими мыслями, рассеянно переспросил Белов. -- Зачем сматывать?

— А як же? — удивился Мориц. — Хыба брыгада не иде до другого мейсца? — Ну и что с того?

Мориц, держа руки по швам, признал, что он, конечно, поторопился, но людей мало, и погом разве это солдаты, с такими быстро не управиться, а не снять вовремя — как бы совсем провод не потерять.

— Значит, чтоб у нас была связь — это, по-твоему, необходимо, а на остальных начихать? Мы будем десять дней отдыхать и скатанный провод столько же пролежит без дела, а тем, кто нас заступает, ты и метра не оставишь? Так, что ли?

— Так, так, — подтвердил Мориц, довольный, что его правильно поняли.

Белов, до сих пор сохранявший самообладание, вдруг потерял его. Он вскочил, ногою пнул стул и закричал на Морица, что здесь ему не частная лавочка, а республиканская армия, и даже наши жизни принадлежат не нам — кто же этого не усвоил, тому не место в интербригадах...

Заметив, однако, по растерянному лицу Морица, что тот его не понимает, Белов остановился на полуслове, вздохнул, поднял стул и обыкновенным своим приглушенным голосом, но тоном, не терпящим возражений, принялся распекать Морица по-немецки. Теперь тот слушал с покорной готовностью, с какой дисциплинированные подчиненные внимают начальству, которое они ни в грош не ставят. Однако чем больше до Морица доходило содержание беловских требований,

тем сильнее менялась подвижная физиономия старика. Сперва на ней отражалось изумление, затем почтительное, но твердое несогласие, а к концу неподдельное отчаяние. Еретическая концепция Белова, нарушающая всякое представление о воинском имуществе, не вмещалась в седую голову начальника связи. Бедняга Мориц сник и, шепча что-то себе под нос, начал собираться с до того растерянной миной, что мне стало жаль старика, когда он, опечаленный, уходил в темную и холодную ночь.

...Уже стемнело, когда Лунджи привез Лукача и меня в Эль-Пардо — летнюю резиденцию испанских королей. Машина остановилась на пустынной площади перед одним из стандартных коттеджей.

— Забирайте вещи и выходите, — проговорил Лукач, — переночуем здесь. Домик для нас я еще вчера присмотрел, — продолжал он, вытаскивая одной рукой свой тяжеленный чемодан. — Они все пустуют, но я избрал этот, в середине. Оно все же надежнее, чем с краю.

С порога заставленной приличной мебелью комнаты он поочередно осветил во все углы, потом направил фонарь на портьеры и занавески.

— Никого нет и, кажется, не было. — Он подхватил чемодан и прошел дальше, в спальную. — Надеюсь, выспимся неплохо. Обратили внимание, до чего здесь тихо? Я, если не обидитесь, буду на кровати один, хоть она и супружеская. А вы спите на диване и лучше не раздеваясь. Мало ли чего? Война-то гражданская!

Я спросил, разрешается ли снять подсумки. Он засмеялся в темноте и ответил, что разрешается и что он дает так называемые общие указания, а детали предоставляет моему усмотрению. Не промахнувшись, он перебрал со своей постели на мой диван громадную подушку и одно из одеял.

— Знаете что? — снова послышался мягкий голос Лукача. — Не полнитесь, пожалуйста, перетащите сюда из гостиной кресло, я вам посвечу, и поставьте к двери. В случае кто полезет, оно нас разбудит, а то ключей здесь почему-то ни в одном замке нет...

За кружевными гардинами начинало сереть, когда простонали пружины и Лукач поставил на коврик короткие ноги в белых шерстяных носках. Я сбросил одеяло, тоже сел и пожелал доброго утра.

Он взглянул на часы.

— Первое утро на отдыхе. Как ему не быть добрым?

Пока я на ощупь брился, заметно посветлело. Из сумрака гостиной выступила мебель, потом проявился орнамент обоев, а на них картины в золоченых рамах и застекленные фотографии. Как только пустую, выставшую квартиру заселили мирные вещи, она стала обжитой и уютной. Будто мы заехали переночевать к знакомым и радушные хозяева вот-вот выйдут из своей комнаты и приветливо справятся, как нам спалось.

Выйдя на лестничную площадку, я услышал из коридора напротив довольное похрапыванье.

— Взгляните, что я нашел, — сказал Лукач из ванной. — Второй день горю, что одеколон у меня кончился. И вдруг такое счастье — почти не начатое обтиранье. Не хотите ли? Там еще хватит!

Богатырская голая рука протянула флакон из синего стекла. Я подошел взять его. Раздетый донага, невзирая на холод, Лукач, стоя рядом с ванной в резиновом тазу, энергично растирался влажным мохнатым полотенцем. Глаза мои задержались на его мускулистом торсе. Никогда прежде я не видел ничего подобного: не по росту широкая спина Лукача была изъедена какой-то ужасной болезнью: продолговатые светлые рубцы исполосовывали всю поверхность от плеч, лишь немного не достигая поясицы. Оглянувшись, он поймал мой взгляд.

— Белогвардейские шомпола, — просто пояснил он. — Следы от них остаются на вечную память. Да, у меня вообще памяток много, — добавил он весело, и лишь тогда я заметил на его теле белесые шрамы и странную, вроде маленькой воронки, вмятину. — Как-никак восемнадцать ран...

Я питал к своему комбригу уважение еще с того дня, когда слушал его речь на плацу альбасетской казармы, по мере общения оно все возрастало. Но теперь я почувствовал нечто близкое к преклонению. Я был потрясен, и даже не тем, что Лукач перенес подобную пытку, но поразительным отсутствием в его словах и тени рисовки.

Мы позавтракали втроем в спальню на ночной тумбочке. Луиджи, захватив пустой термос и полегчавшую сумку, спустился к машине. Вскоре покинули оказавший нам гостеприимство коттедж и мы. «Пежо» быстро доставил нас к ажурным стрельчатым воротам, за которыми прохаживался часовой в каске, державший в сложенных горстях обнаженный палаш. За воротами простирался до каменности утрамбованный двор. Вокруг него была вскопана замкнутая дорожка, по которой одна за другой рысили разномастные лошади, а на них в седлах с подвязанными стременами тряслись бойцы. По центру передвигался обучающий, волоча манежный бич, и по временам щелкал им, как в цирке. В стороне, ближе к воротам, стояли двое: ближний спиной к нам, другой вполоборота. В этом втором, невзирая на расстояние и очень изменявшую его фуражку, я сразу узнал Пьера Гримма. Он обратил внимание собеседника на машину командира бригады, и оба заторопились к воротам. Худощавый, а сейчас еще и похудевший Пьер благодаря форме выглядел все же не тощим, но стройным. Выражение же его лица и в комиссарской должности почти не изменилось: в нем, как и раньше, грустноватая серьезность взгляда сочеталась с добродушно-насмешливым складом рта. Рядом с Пьером на кривых ногах старого кавалериста шел вразвалку багроволицый брюнет со свисающими усами и орлиным носом. Под мышкой он нес кривую саблю в никелированных ножнах. Конечно, это и был командир эскадрона Массар.

Лукач выбрался из машины и, постукивая штатской своей тросточкой, пошел навстречу. Я за ним. Массар вышел на улицу, поставил блистающие ножны между носками сапог и звякнул, вскидывая кулак, громоздкими шпорами. Пьер остановился в полшаге сзади. Шпор он не носил. Лукач подал руку командиру и комиссару и оглянулся на меня:

— Поздоровайтесь же с вашим другом.

Я вторично отдал честь Массару и повернулся к Пьеру. Он взял меня за плечи:

— Рад тебя видеть...

Но Массар, слегка склонив ухо к Пьеру и раздвинув усы улыбкой, заговорил, и Пьер, не теряя времени, перевел шуточный вопрос: зачем это командир бригады нагрянул так рано, уж не рассчитывал ли он застать их спящими? Лукач отвечал, что заехал по дороге, но раз уж заехал, то хотел бы знать, каковы пригнанные вчера из Гвадалахары лошади. Массар, перейдя на деловой тон, сказал, что он расписался за тридцать шесть одров, четырех же, у которых сил осталось лишь до бойни добрести, не принял.

Неся саблю вертикально, на манер маршальского жезла, он проводил Лукача до машины. Пьер шел со мной. Я успел передать ему привет от Володи Лившица, сказал, что ему, по-видимому, очень трудно. Пьер вздохнул:

— Володя чрезмерно требователен к себе. Как бы не надорвался.

— На этом вашем Гримме весь эскадрон держится,— сказал Лукач, когда мы отъехали. — И говорить может, а комиссару без этого нельзя, и работать умеет не покладая рук, что встречается гораздо реже. А вот с Массаром беда. И ведь всем бы взял: опытный кавалерийский офицер, много лет во французской колониальной коннице прослужил... Коня знает и бойцов может обучить всему — и езде, и рубке, и стрельбе. Но пьет! Давно бы я его снял, да жалко человека, ведь тогда ему конец, а потом кого, спрашивается, на его место назначить? Ума не приложу, как дальше быть. Одно скажу: если Массар сдержит слово и до двадцатого представит боеспособный эскадрон, я все грехи ему прощу...

Из Эль-Пардо мы помчались к Мадриду и вскоре уже проезжали знакомое рабочее предместье, изуродованное следами недавней бомбардировки. Немного спустя пересекли озаренный по-летнему ярким солнцем центр. Несмотря на ран-

ний час, тротуары были переполнены спешащими на работу, а от гофрированных железных штор продовольственных магазинов уже протянулись очереди женщин с головами до пят в черном. По мостовым в разных направлениях сновали, неистово гудя, легкие машины. На перекрестках громко стучали и пронзительно названивали старомодные трамваи, обвешанные людскими гроздьями, совсем как в Петрограде в 1917 году.

— Сегодня опять бомбить будут,— заверил Лукач, поглядывая на ясное небо.— Арена для боя быков,— показал он на круглое сооружение слева.— Вы это зрелище видели?

Слегка смущенно, словно это было с моей стороны упущением, я признался, что нет, не приходилось, но, если верить Бласко Ибаньесу, оно захватывает, и потом я еще читал во французском переводе необыкновенно лирический роман одного американского писателя, так у него бой быков показан ну почти как мистерия в Обераммергау. Название трудно переводимо с французского: «Все же солнце поднимается», что ли. Автор — не знаю, правильно ли я произношу, ведь я не читаю по-английски,— Эмингвай.

— Хемингуэй,— уверенно поправил Лукач.— Название же этого романа в переводе на русский — «И восходит солнце», хотя у нас его называли «Фиеста». А вы его «Прощай, оружие!» читали?

Мой отрицательный ответ разочаровал Лукача настолько, что я почувствовал необходимость оправдаться. Ведь последние годы мне было не до чтения художественной литературы. Если прикинуть, что чистка двухэтажных витрин в универсальном магазине «Лувр» занимала в среднем семь часов в день плюс час на дорогу, да к этому прибавить еженедельную четырехчасовую вечернюю работу, да еще каждую субботу часа четыре отнимали окна в конторе кинофирмы Марселя Паньоля, а иногда приходилось соглашаться, чтоб не раздражать подрядчика, трудиться все воскресенье, то мой рабочий день составлял минимально десять часов (зато я и зарабатывал не меньше квалифицированного металлиста). При этом я ежедневно прочитывал пять или шесть газет: «Юманите», провезенную через всю Европу поездом «Правду», леворадикальный «Эвр», где международное обозрение вела Женевьев Табуи, милюковские «Последние новости», выходившее в середине дня, осведомленнейшее, поскольку оно обслуживало биржевых дельцов, «Пари миди» и, конечно, вечернее «Се суар»...

— И все равно для «Прощай, оружие!» время надо было найти,— прервал мои оправдания Лукач.— Лучший антивоенный роман.

Из Чинчона мы повернули к Аранхуэсу. Но прославленных красот его мне повидать не пришлось. У вьезда Луиджи остановился перед обособленно стоявшей виллой.

Входная дверь была приоткрыта.

— Можно?— по-русски спросил Лукач.

— Входите, входите. Кого б ни принесло, гостями будете,— откликнулся грубый голос.

Навалившийся в позе репинского запорожца на стол с неубранным завтраком, старательно писавший большой человек в длинном кожаном пальто повернулся к нам, и я убедился, что бритой, пускай и без «оселедца», головой, изломом бровей и тяжелыми скулами он и впрямь похож на одного из изображенных Репиным запорожцев.

— А, Лукач, здорово!

— Здравия желаю, Григорий Иванович.— Лукач, повесив палку на сгиб локтя, пожал могучую длань даже не привставшего Григория Ивановича и щелкнул каблуками.— Позвольте вам представить...— он на мгновение запнулся,— моего ординарца Алешу.

— Купер,— произнес сидевший, протягивая мясистую, но неожиданно твердую ладонь.

Из соседней комнаты вышел высокий, статный военный — этого не могла скрыть и полустатская одежда. Он приветливо, как с добрым знакомым, поздо-

ровался с Лукачем, а подавая руку мне, назваля совершенно фантастически — Вольтером.

— Коньяку выпьешь?— предложил Лукачу, подвигая рюмку, Купер.

— Вы же знаете, Григорий Иванович, не могу: контузия. Сразу голова разболится. Вот Алеша пусть выпьет — он парижанин, привык.

Мне очень хотелось попробовать коньяк, но, опасаясь показаться нескромным, я поблагодарил и устоял перед искушением, тем более что и Купер и Вольтер не без любопытства поглядывали на «парижанина». Я в свою очередь украдкой рассматривал их. До чего же они были разные, эти два советских командира. Купер до революции должен был бы служить, подобно Буденному, вахмистром в каком-нибудь кавалерийском полку, а в мировую обязательно стать кавалером всех четырех степеней солдатского «георгия». Вольтер же был совсем из другого теста: выправка, манеры, породистое лицо — все подсказывало, что он из молодых офицеров, примкнувших в революцию к большевикам.

Лукач поделился с Купером и Вольтером радостью: наконец-то бригада получила заслуженную десятидневную передышку и, будьте уверены, сумеет использовать ее как следует.

— Вы нас уже через недельку не узнаете,— пообещал он, приглашая своих собеседников приехать к этому сроку на бригадное учение.— Но раньше, чем на одиннадцатый день, чтоб ни случилось, хоть пропади все пропадом, ни одного человека на фронт не дам. Мне чрезвычайно бы хотелось, Николай Николаевич,— обратился он к Вольтеру,— чтоб вы нашу батарею проинспектировали. Командует ею один толковый мадьяр, тоже из Большой деревни...

На обратном пути Лукач подчеркнул, что приезд генерала Купера в Испанию весьма знаменателен.

— Он видный герой гражданской войны, участник обороны Царицына, еще с тех пор лично известный Сталину. Вообще-то он по специальности артиллерист, но здесь на ролях общевойскового начальника. Сначала помогал организовать оборону Мадрида, да там вышла одна неловкость, и его передвинули сюда — здесь уже другой фронт считается — советником к генералу Посасу.

— А Вольтер, он кто?— отважился я спросить.

— Он тоже артиллерист, но иной формации. Оч-чень образованный командир и не меньше того инициативный. Испанцы, между прочим, именуют его Вольтером, и я предпочитаю это ударение, не так нарочито получается.

Я похвастался, что сразу же угадал в Вольтере, или Вольтере, бывшего царского офицера и даже решил, что он непременно окончил не какое иное, а именно Михайловское артиллерийское училище.

(Мне и потом случалось присутствовать при деловых переговорах Лукача с полковником Вольтером, состоявшим советником при начальнике артиллерии республиканской армии. Наиболее часто коронель Вольтер появлялся в нашем расположении в период Харамского сражения, а в последний раз я видел его неподалеку от Фуэнтес-де-Алькария в разгар наступления муссолиниевского корпуса на Гвадалахару. К тому времени мне стала известна его подлинная фамилия. Не забыть, в каких условиях я услышал ее через пять лет.

В ночь на новый, 1943 год мы с бывшим секретарем комсомольской организации одного из химических институтов Академии наук Н. И. Родным и кем-то еще, уловив доносившиеся с другого берега реки Воркуты позывные Москвы, выскочили на снег из барака, репродуктор которого отключался с десяти вечера. Подобно гласу архангельскому, разносящийся над тундрой нечеловечески торжественный и по-человечески торжествующий голос Юрия Левитана провозглашал ошеломляющие итоги шестинедельного контрнаступления на подступах к Сталинграду. Восторг переполнил нас. Мы почти забыли о своей судьбе. Но во мне к этому восторгу примешивалась и гордость: среди перечисленных руководителей грандиозной операции я в раскатах левитановской валторны уловил «генерал-по-т

ковника артиллерии Воронова Н. Н.», а между теми, чьи войска отличились в грозных боях, расслышал предшествуемые генерал-лейтенантским званием настоящие имена еще двух товарищей по Испании — нашего Фрица и коронеля Малино, бывшего в середине января 1937 года советником при проведении Двенадцатой и Четырнадцатой интербригадами при участии бригады танков контратаки на Махадаонду.

С той внезапно озаренной победой ледяной и беспросветной воркутинской ночи миновало ни много, ни мало восемнадцать лет, когда Роман Кармен пригласил меня на премьеру его фильма о Кубе. В фойе Дома кино я увидел возвышающегося над нарядной публикой величественного маршала артиллерии и опознал в нем знакомого испанского коронеля. Кармен под руку подвел меня к нему, и плотневший, но все такой же, как и четверть века назад, прямой Н. Н. Воронов дружески со мной поздоровался. А года через два на одном из собраний новорожденной испанской группы Комитета ветеранов, на которое пришел и Вольтер, я напомнил ему о поездке Лукача к ним в Аранхуэс и не удержался, чтоб не похвастаться, как сумел тогда по внешнему виду, не колеблясь, угадать в нем артиллерийского офицера старой армии.

— Так-таки ничуть не колебались? — улыбнулся Николай Николаевич.

— Нисколько, — подтвердил я.

— Ну и ошиблись. Никакой я не царский офицер, а, как говорится, из простых, и не то что Михайловского артиллерийского училища не кончал, но и обыкновенного реального не смог по бедности закончить. Только после Октября поступил на командные артиллерийские курсы. Верно, они помещались в здании артиллерийского училища, но и то не Михайловского, а Константиновского.

Зато насчет Купера мои предположения оказались справедливы. Настоящее имя его я узнал тоже от Лукача, и действительно, комкор Кулик происходил из выслужившихся фейерверкеров. Его послеиспанская головокружительная, ничем, кроме старых заслуг, не оправданная карьера достаточно освещена в мемуарах многих крупнейших наших военачальников. Закончилась она, как известно, печально: маршал Кулик вышел из окружения переодетым в крестьянское платье, чуть ли не в лаптях, и довоевывал вторую мировую войну в доступной ему роли среднего артиллерийского начальника, а года через три после победы был неожиданно арестован и погиб...)

Как только мы вернулись, Белов кинулся к Лукачу.

— Неприятность, и большая, товарищ комбриг, — начал он вполголоса. — Тут за минуту до вас записочку доставили, от Роазио. Генерал Клебер неожиданно объявил им, что отдых прерывается, приказал привести людей в боевую готовность и ждать, пока подадут грузовики. У Посуэло-де-Аларкон, к западу от Касаде-Кампо, за Аравакой, фашисты наступают.

Лукач остался внешне спокоен, будто только того и ждал.

— В первую очередь необходимо заготовить приказ и в нем строжайше указать комбатам, командиру батареи, эскадрона, начальнику медицинской части — одним словом, всем, что, находясь в составе Двенадцатой интербригады, они подчинены ее командованию и не имеют права, помимо него, принимать никаких приказаний и распоряжений! Закончишь — сажай Алешу с Клоди переводить, а сам — на мотоцикл и в Эль-Пардо, к Гарибальди. Им, между прочим, при мне легкие минометы подвезли. Галло там?

— Там.

— А Реглер здесь не появлялся?

— Был. Уехал к французам.

— Молодец! Раз он во франко-бельгийском, я спокоен. Но Клебер, Клебер-то каков! Мало ему, что до сих пор батальон Домбровского в своем личном резерве держит, еще и гарибальдийцами через мою голову командует!.. Ничего другого не остается, как ехать в Мадрид. Отмены приказа не добьюсь, но нахлобучку

за свои действия Клебер от наших товарищей получит, иначе я буду не я. На случай до ночи не обернусь — прошу: франко-бельгийский тоже поднимай. Хочет того Клебер или не хочет, а переброшена к Араваке будет вся бригада. Не дам я ему выдергивать из нее батальоны, как карты из колоды...

Ночь опять прошла без сна. Телефонисты и охрана штаба двинулись в путь позади всех уже поздним утром.

После долгих блужданий мы подкатили по узенькой, но асфальтированной дорожке к стоящему посреди сада неприветливому дому. Ставни его были закрыты. Среди выцветшей травы чернели плешины от костров.

Минут через десять приехал Лукач. Он справился, где Белов, и вошел в дом.

За завтраком Петров, переведенный к нам на должность заместителя командира бригады вместе с батальоном Домбровского (и тоже по языковому принципу: он знал только болгарский и русский да еще с грехом пополам объяснялся по-сербски), информировал Лукача и Белова о положении к западу от Каса-де-Кампо. Он хорошо освоил этот участок раньше, в начале сражения за Мадрид. По мнению Петрова, фашисты предприняли наступление на Посуэло-де-Аларкон, желая лишь расширить опасно узкий выступ, который образывали в этом месте их линии. Позавчера с утра они крепко пробомбили обороняющую подходы к Посуэло недавно сформированную испанскую бригаду, вслед затем провели внушительную артиллерийскую подготовку и только тогда ввели в дело пулеметные танки, а за ними табор марокканцев.

Уже обстрелянная Третья бригада в прошлом познакомилась и с авиационной бомбежкой, и с артиллерийскими обстрелами, видывала она, правда издали, и танкетки, и даже марокканцев, но все это по отдельности. Когда же франкисты обрушили на нее весь набор сразу, а находившаяся у нее на фланге колонна Барсело дрогнула, то не выдержала и она. Однако ею командовал кадровый военный и в то же время сознательный революционер Франсиско Галан, один из двух братьев известного капитана Галана, расстрелянного в 1930 году за участие в восстании против монархии. Франсиско Галан сумел удержать бегущих. Клебер подкрепил его недавно спустившейся с Гвадаррамы колонной, задержал отвод в тыл домбровцев и прервал отдых батальона Гарибальди, чтобы Галан мог контратаковать и вернуть утерянное.

Мы заканчивали завтрак, когда где-то неподалеку началась бомбежка.

— Надо думать, в Посуэло, — прислушавшись, предположил Белов.

Лукач попросил Петрова неотлучно находиться при домбровцах, чтобы никто не вздумал воспользоваться их безнадзорностью и прибрать к рукам, а сам вместе с подъехавшим Фрицем пешком отправился на поиски командного пункта Галана.

Немного спустя впереди загромычала артиллерия. Петров перемотал обмотки, бросил: «Я пошел» — и удалился в сопровождении как из-под земли выросшего Милоша с ручным пулеметом за плечами и заменяющим погребец портфелем под мышкой. Бой как будто приближался. Белов курил сигарету за сигаретой.

Часа через полтора Лукач и Фриц вернулись, и Фриц тотчас же собрался уезжать. Его новая шестиместная американская машина осторожно разминулась с маленьким «опелем», которым он еще вчера пользовался. Из «опеля» выпрыгнул мертвенно бледный Реглер и опрометью кинулся в дом. В коридоре было слышно, как хлопнула дверь и прозвенел отчаянный выкрик:

— Beimler ist tot!

С порога я увидел расстроенное лицо Лукача; он обнимал припавшего к его плечу Реглера. Потом Реглер опустился на скамейку и рассказал, как все случилось.

Баймлер направлялся на позиции батальона Тельмана не то мимо Университетского городка к Паласете, не то мимо Паласете к Университетскому городку.

С Баймлером был Луи Шустер, причем Реглер говорил о нем почти тем же скорбным тоном, что и о самом Баймлере, да и Лукачу с Беловым этот Луи был, по видимому, хорошо знаком, я же почему-то до сих пор о нем и не слышал. Вел их командир батальона. Все трое были в белых полушубках. Когда подошли к простреливаемому пространству, раздалось всего два выстрела. Баймлер упал как подкошенный, но, упав, сжал кулак и отчетливо выговорил: «Рот фронт». Опустился на землю и Луи. Командир батальона побежал за санитарями. Они подошли через несколько минут, но Баймлер и Луи Шустер были уже мертвы.

— Какого идиота надоумило раздать руководящим товарищам эти дурацкие белые полушубки? — взорвался Лукач, упуская в гневе, что Реглер не понимает по-русски. — Мы скоро без командиров и комиссаров останемся! Включи, Белов, в первый же приказ запрещение показываться в них на передовой. А сейчас идем. Я отвезу тебя к Галану. Находишься при нем неотступно — куда он, туда и ты. Выцарапать у него батальон Гарибальди, пока Посуэло под угрозой, нечего и думать, но по крайней мере хоть знать будем, где он. Встречной операцией здесь больше не пахнет — не до жиру, быть бы живу, — хотя одну роту Галан уже втравил, но батальон в целом пусть так и останется у него в резерве. Когда стемнеет и бой прекратится, возвращайся сюда пешком. А я пока с Густавом в Мадрид смотаюсь. Гибель Баймлера — тягчайшая утрата и может на многом отразиться. Нужно все это взвесить. Ох, до чего же мы не умеем беречь людей...

Весь оставшийся день часовые бдительно охраняли самих себя да пустой дом — все командиры разъехались. И весь этот день в направлении Посуэло то усиливалась, то слабела канонада, сопровождаемая ружейно-пулеметной стрельбой. К вечеру, как бывало и у моста Сан-Фернандо, звуки сражения понемногу смягчились, а с темнотой и вовсе заглохли.

Наши командиры сошлись к ночи, и Петров успокоил Лукача насчет польского батальона: слишком за него тревожиться нечего, он расположен во втором эшелоне того фланга, где покамест тихо и, судя по всему, будет тихо и впредь.

Зато из беловского доклада вытекало, что гарибальдийцы попали в самую гущу событий. Едва Лукач, высадив начальника штаба, отъехал, как фашистское наступление на Посуэло возобновилось и снова на штурм его была брошена подержанная танкетками марокканская пехота. Батальон бригады Галана вместе с двумя подкреплявшими его пулеметными взводами итальянских добровольцев был выбит из окопов. Неприятель проник на улицы Посуэло. По требованию Галана майор Паччарди — командир батальона Гарибальди — должен был ввести его в бой. Раньше, однако, чем выступила первая рота, навстречу отступавшим бросился находившийся в штабе батальона Галло. Пристыдив и задержав отходящих пулеметчиков, он заставил их дать несколько очередей по перебегающим марокканцам и сам лег за один из «максимов». Это приобдрило растерявшихся бойцов и помогло командиру испанского батальона организовать новую линию обороны. Необыкновенно кстати появившийся броневик стал стрелять из пушки по танкеткам и по занятым врагами домам. А тут подоспел и батальон Гарибальди, выбил марокканцев из поселка и гнал до кладбища. Лишь под воздействием укрытых за его каменными стенами тяжелых минометов наступательный порыв батальона иссяк. Осколками одной из мин был ранен, к счастью легко, все время ободрявший людей личным примером комиссар бригады Галло, пострадали также перебежавший вместе с ним комиссар батальона Роазно и командир испанского батальона — эти двое посерьезнее. К концу дня гарибальдийцы не только заняли все оставленные республиканские окопы, но и отразили несколько контратак. Когда стемнело, их сменили бойцы гвадаррамской колонны.

Белов закончил свой отчет похвалами гарибальдийцам. Они действовали с подъемом и, что важнее, организовано. Этим, по мнению Белова, батальон в первую очередь был обязан своему командиру Рандольфо Паччарди.

— Но и то сказать, удивляться нечему. Он же в империалистическую капитаном был, не раз награжден за храбрость. Можно лишь радоваться, что он антифашист. Но угадайте, товарищи, кого я сегодня своими глазами видел в Посуэло?

Пари держу, не угадаете: Михаила Кольцова, честное слово. И где? В броневике! Израсходовав боеприпасы, броневик возвращался в тыл заправляться, но по дороге остановился у штаба Галана. Смотрю, а из него выскакивает Кольцов собственной персоной. Помахал стрелку, пересел в свою машину, она за домом пряталась, и был таков.

— Еще один, кому жизнь надоела, — возмутился Лукач. — Разве его за тем прислали?

На следующий день утром на Посуэло снова были сброшены бомбы, а как только «юнкеры» удалились, вражеская артиллерия принялась громить наш передний край. Вскоре загремели и мины. И снова фашистские генералы послали в атаку танкетки и марокканцев, и снова они выбили наших из окопов и заняли западную часть Посуэло. И снова Паччарди поднял батальон в контратаку и вернул все утраченное, а вечером снова передал отвоєванные позиции все той же колонне. И гарибальдийцев, понятно, снова задержали в резерве Галана.

Третий день не отличался от первых двух: как и в прошлые разы, защитники Посуэло не выдержали и отошли. Еще раз в бой пришлось вступить батальону Гарибальди, который вновь отбросил атакующих в исходное положение. И на четвертый день все было пошло по заведенному распорядку, но пообвыкшая испанская колонна на этот раз оказала весьма решительное сопротивление и со значительным уроном отбила врага. Еще более хладнокровно была отражена вторая попытка штурма. Командовавший колонной старенький полковник из кадровых любезно объяснял перемену в поведении его бойцов придавшим им уверенности дружественным присутствием за их спинами гарибальдийцев. Лукач объяснял это чудесное изменение иначе и всего одним словом: «Научились!»

Начало пятых суток поразило тишиной. Редко с передовой долетал одиночный винтовочный выстрел. Похоже было, что на этом участке фашисты выдохлись.

Невзирая на затишье у Посуэло, батальон Гарибальди был отпущен генералом Клебером на отдых лишь еще через четверо страховочных суток. Накануне долгожданного дня Лукач, радостно-возбужденный, приехал из Мадрида прямо к нам. Он рассказал, что приказ о переводе бригады в резерв фронта с местопребыванием в Эль-Пардо подписан самим генералом Миаха и что благодаря ходатайству Лукача перед коронелем Вольтером не забыта и батарея Тельмана. По случаю отвода Двенадцатой бригады в тыл генерал Миаха пожелал принять ее командира и не только восторженно отозвался о поведении батальона Гарибальди в боях у Посуэло, но и горячо поблагодарил за стойкость, проявленную всей бригадой у Пуэрта-де-Иерро, Паласете и Сиудад-Университариа.

— Вот ведь и знаю, что он пустое место, что на его кандидатуре все партии потому легко и сошлись, а все равно приятно, — рассказывал Лукач. — Да, чуть было не забыл! Клебер, по привычке минувя меня, выхлопотал за Посуэло для Паччарди производство в подполковники. Что ж, я искренне рад. Но Клебер этим не удовлетворился — самолично отдал приказ Паччарди.

В десять утра в бывшей комнате дежурного офицера главной эль-пардской казармы собрались выбритые и принаряженные командиры батальонов со своими штабами и командирами рот. Занятия проводил Фриц. Переводчиком к нему приставили меня, но двух языков не хватало, и каждый произнесенный мною французский период сопровождался неразборчивым гулом: это в кучках, образовавшихся из не понимающих ни Фрица, ни меня, велся под сурдинку перевод на итальянский, польский и бог его знает на какой еще язык.

Фриц увлеченным баском читал лекцию на актуальную тему «Батальон в обороне на открытой местности», аккуратно нанося мелом на доставленную из ближайшей школы классную доску кроки и схемы.

После обеденного перерыва занятия возобновились. Наконец, сбив мел с ладоней, Фриц предложил задавать ему вопросы, и они так и посыпались.

А тем временем взводные и отделенные должны были под общим наблюде-

нием Петрова обучать бойцов приемам стрельбы из винтовки, и когда мы вышли на плац, он был усеян расprostертыми гарибальдийцами.

Лукач, поравнявшись с поляками, пожал руку исхудалому, с торчащей из воротника длинной шеей командиру батальона, потом поздоровался с остальными и, опершись обеими руками о палку, принялся через сносно говорившего по-русски немолодого дядю с изрытым оспинами лицом расспрашивать, принесли ли им пользу сегодняшние занятия. Внимательно выслушав ответы и повеселев, комбриг объявил, что завтра из Альбасете должно прибыть пополнение.

Ночевали мы с Лукачем в Фуэнкаррале. Раздеваясь в темноте по возвращении из паломничества в Хунту обороны, он стал рассказывать, что генерал Миаха без обиняков поставил перед ним вопрос: как он относится к Клеберу?

— Не кривя душой я отвечаю, что в качестве командира Одиннадцатой интернациональной бригады Клебер совершил подвиг прямо-таки исторического значения, остановив фашистов в самый критический момент. Но Миаха, не дослушав переводчицу, как закричит на нее. Э, соображаю, да ведь он от меня совсем другого ждал. И действительно, переводчица смущенно бормочет, что роль Эмиля Клебера непомерно раздута иностранными корреспондентами, изобразившими его чуть ли не единоличным спасителем Мадрида. Тут меня наконец осенило: вовсе не к нам генерал Миаха хорошо относится, а это он Клебера терпеть не может и, прослышав про наши с ним нелады, видит во мне союзника. Ан нет, ми генераль. Я могу Клебера очень даже не любить за самовлюбленность и самонадеянность, за попытку превратить нашу бригаду в придаток своей, и вообще, чего греха таить, Клебер не раз пребольно задевал мое самолюбие. Но нельзя же совесть терять...

В конце третьего дня нахождения в резерве мы получили около шестисот человек пополнения. Больше половины составляли итальянские добровольцы, на втором месте стояли французы, но были и поляки, и югославы, и фламандцы, и валлоны, три румына и один грек. Все они прошли в окрестностях Альбасете не меньше чем десятидневную подготовку, но явились на фронт без винтовок, между тем созданный в бригаде небольшой запас из сданных ранеными и снятых с убитых был уже частично израсходован.

Гарибальдийцы сбегались к марширующим по плацу новым товарищам, возглавляемым небольшого роста респонсABLEM с печальными глазами, юношеским румянцем и седой головой. По дороге в Фуэнкарраль Лукач сообщил мне, что респонсABLE этот приехал из Советского Союза, что зовут его Гвидо Пичелли и что, хотя он молодо выглядит, ему должно быть за пятьдесят, поскольку он один из ветеранов, вступивших в бой с фашизмом при самом его зарождении. Еще в двадцать втором году — он был тогда коммунистическим депутатом от Пармы — Пичелли организовал в рабочих кварталах вооруженное сопротивление чернорубашечникам и отстоял город. Позже Муссолини сослал Пичелли на остров Липари, но тот ухитрился бежать.

— Как видите, он закаленный революционер, и его вступление в нашу бригаду надо считать ценнейшим приобретением. В согласии с Галло я порекомендовал Паччарди дать Пичелли роту. У него открытый взгляд и, что меня окончательно подкупило — не в обиду вам будет сказано, — удивительно тихий голос.

Три дня подряд я переводил Фрица. Четвертые занятия по программе отведены были чтению карты и съемке местности, но я на них не присутствовал, так как Лукач неожиданно дал мне поручение.

— Помещение у нас, — сказал он, — никуда не годное: всего пять с половиной человек — и то не помещаются. А меж тем нам пора обзавестись полноценным штабом, для него же раньше всего нужен подходящий дом, чтоб человек пятнадцать разместились, а также связь, охрана, обслуживающий персонал.

И он предложил мне сходить в местный комитет «Френте популар» и попросить для нас другой дом, побольше, желательно на окраине и по дороге к фронту.

— И знаете что? Для поддержания порядка возьмите пока на себя обязанности коменданта штаба. Я говорю «пока», так как вообще-то решил назначить вас своим адъютантом. Мне он положен и нужен, а из вас, полагаю, адъютант получится, вернее, получится. Коменданта же мы со временем подберем...

В новом доме я спал отдельно и потому так крепко, что не сразу услышал дребезжанье телефона, а проснулся, лишь когда Лукач, светя на паркет и бесшумно ступая ночными туфлями, уже прошел мимо меня в переднюю. Соразмеряя голос, чтоб никого не разбудить, и, видимо, не понимая звонившего, он все повторял «алло», пока не подоспел Ожел и не принялся в полной уверенности, что говорит по-испански, произносить в трубку искаженные на испанский лад французские слова. Одновременно он переводил то, что ему удалось понять, на то, что он считал русским языком. Я не заметил, как снова заснул.

— Алеша, — тихоноcko позвал из темноты Лукач.

— Что прикажете, товарищ комбриг?

— Жаль вас будить, да нечего делать. Тут ко мне из комендатуры обращаются. Я сам к телефону подошел, думал: может, Горев, а слышу — испанец. Они там задержали, понимаете, какого-то типа, заявляющего, будто он наш танкист и в то же время что он, черт его знает, протодьякон. Ерунда невообразимая. И эта помесь протодьякона с танкистом ссылается почему-то на меня. Сходите разберитесь.

Заспанный сархенто карабинеров провел меня к дежурному. Это был терпимо, но чересчур тихо говоривший по-французски подчеркнуто вежливый человек. Еле слышно дежурный пригласил меня сесть и сообщил, что у них содержится под арестом подозрительный иностранец. При обыске у него найден пистолет неизвестного образца с гравированной на вороненой стали пятиконечной звездой, а единственный документ — безличный разовый пропуск в Мадрид. Человека этого задержали при въезде в Фуэнкарраль. Он управлял легковой машиной, в которой была молодая женщина, не имевшая — и это после наступления комендантского часа — ни пропуска, ни даже удостоверения личности. Машина якобы приписана к одному из штабов, базирующихся на Алькала-де-Энарес, но дозволиться туда не удастся. Относительно сидевшей в машине женщины можно считать установленным, что хотя она действительно здешняя уроженка, однако не та, за кого себя выдает. Объясниться с задержанным невозможно: он повторяет единственное понятное слово — «танкиста» — и несколько раз назвал генерала Лукача.

Дежурный раскрыл тетрадь в клеенчатом переплете.

— Фамилия арестованного: Про-то-ди-а-ко-ноф, — прочитал он по складам. — Она вам чтонибудь говорит?

Фамилия арестованного мне ничего не говорила, но по крайней мере рассеивала основное недоразумение. Я попросил привести Протодьяконова. В комнату ввели рослого худого парня со спутавшимися черными волосами. Он был донельзя подавлен, но при виде меня оживился.

— Послушай, товарищ, — поспешно заговорил он. — Я тебя где-то видел. Объясни ты им: ничего я такого не сделал. Я ж водитель танка лейтенанта Погодина, а они меня, как неизвестно кого, схватили, всего обыскали, автомобиль комвзвода отобрали и даже мое личное оружие. Целую ночь ни за что держат...

Командира танкового взвода Погодина я немного знал: он как-то забегал в наш штаб возле Араваки. Выяснилось, что Погодин, шофер которого заболел, поручил водителю своего танка отвезти пакет в Хунту обороны. Когда Протодьяконов ехал обратно, его машину остановила уже в пригороде незнакомая девушка и попросила подвезти — это он понял — до Фуэнкарраля.

— И все. Больше, говорю тебе, ничего у нас не было, — заключил он, как мне показалось, с оттенком сожаления.

Я передал его рассказ сверхвежливому дежурному. Тот строгим полупешотом попрекнул его: неужели же товарищу танкисту неведом приказ, запрещающий возить гражданских лиц в машинах военного назначения? Хорошо, если под-

везенная этой ночью сеньорита окажется обыкновенной проституткой, а вдруг она шпионка? Вынув из ящика стола плоский пистолет, к которому, как к вещественному доказательству, уже был привязан шпагатом картонный квадратик с надписью, дежурный по комендатуре возвратил оружие Протодьяконову. Тот с отворачиванием оторвал картон, проверил обойму и мрачно сунул в брючный карман. Кабинет дежурного заполнили карабинеры в их серо-зеленом обмундировании. Они наперебой хлопали Протодьяконова по спине и совали ему склеенные самокрутки.

Мы вышли на улицу. Небо уже светлело. Карабинеры, весело гомоня, вручную выкатывали со двора послужившую орудием преступления машину.

— Ну, задаст же мне теперь старший лейтенант перцу,— уныло предсказал Протодьяконов.— Хоть бы ты вступился.

Но встреча, которую устроил ему Погодин, в беспокойстве за пропавшего товарища не ложившийся спать, ближе всего напоминала описанную в притче о блудном сыне. Едва Протодьяконов, пригнувшись, шагнул в низкую, накуренную и заставленную кроватями комнату, как Погодин, не произнеся ни слова, начал переставлять с подоконника на письменный стол начатые банки с консервами. Затем вынул из чемодана сразу две буханки хлеба. Приготовив таким образом «тельца упитанна», он выставил еще и не упомянутую в притче бутылку коньяка.

Пока изголодавшийся Протодьяконов орудовал вилкой и челюстями, Погодин, выслушав мою защитительную речь, произнес поучение своему подчиненному. Каждый новый абзац он начинал с одного и того же возгласа: «А еще комсомолец!»

Закончив речь, Погодин до краев наполнил коньяком три кружечки, подал одну мне, другую Протодьяконову, а третью поднял сам. Кто-то из возлежавших тяжело вздохнул. Погодин с неодобрением бросил взгляд в его сторону и снова устремил глаза на кружечку.

— Раз уж так кончилось, давайте будем здоровы. Но смотри, чтоб больше не повторялось. А еще будь благодарным генералу Лукачу,— вскинул он взор на вставшего и немного лишь не достающего до потолка Протодьяконова.— Заодно вот и ординарца его поблагодари.

Как осторожно ни ступал я, пробираясь к своей кушетке, Лукач проснулся.

— Ну, как там? Кого вы у них нашли?

Я доложил.

— Спасибо,— мягко поблагодарил он.— Я ведь хорошо понимал, как вам спать хочется, но все-таки послал. Ложитесь же теперь поскорее. Еще часок-другой дадут нам поспать, будем надеяться. Маловато, понятно. Война — это прежде всего недосыпание.

Не заставляя себя упрасивать, я поспешно раздевался.

— Недосыпание, помноженное на угрозу смерти,— помолчав, уточнил афоризм Лукач.

Я уже начал погружаться в свинцовый сон, но Лукач продолжал:

— Что вырученный вами танкист спит себе сейчас спокойно, должно до известной степени вас утешать. Но не стоит и преувеличивать. Его все равно выпустили бы завтра. Стоила ли овчинка выделки, подумаешь, беда какая: часом раньше, часом позже. Но кто его знал? А ведь человек просил помощи. Может, с ним была совершена несправедливость. А хуже несправедливости ничего нет. В конце концов весь пафос Октябрьской революции — в установлении справедливого общества. Да и здесь мы с вами почему? Потому что боремся за справедливость.— Он ловорочался в постели.— Вы не заснули?

— Никак нет, товарищ комбриг.

— Среди нас не должно быть спокойного отношения к несправедливости. Она все портит, все искажает. Будем терпеть ее — рано или поздно она обернется против нас.

13

Франко опять не дал нам использовать отдых: снова началось наступление фашистов, теперь на Боадилья-дель-Монте, южнее Посуэло, и обе интербригады, сперва Одиннадцатая, а за нею и мы, снова были брошены на фронт, так и не закончив обучения.

Одиннадцатой пришлось с ходу вступить в бой на фланге наступающих, и она остановила их перед Романильясом, скомпрометировав успех занявшего Боадилья-дель-Монте противника. Особенно отличился при этом французский батальон «Парижская коммуна» под командованием офицера резерва Дюмона, двадцать лет назад верой и правдой сражавшегося против «бошей» под Верденом, и в частности, как случайно выяснилось, против своего нынешнего командира бригады Ганса, в ту пору командовавшего ротой.

Наша бригада, подвезенная к противоположному, еще сравнительно спокойному флангу, осталась пока во втором эшелоне.

Ранним утром следующего дня я сопровождал комбрига в поездке на позиции. Пробежав знакомую дорогу до Эль-Пардо, машина выбралась на безопасную часть Коруньского шоссе и, миновав какой-то еще не проснувшийся поселок, свернула в лес. Здесь Лукач, сверившись с картой, приказал остановиться на краю заросшего оврага.

Из глубины его тянуло дымком. Цепляясь за кусты, мы спустились вниз. По дну протекал ручеек, а возле него, прикрытые от авиации кронами пиний, стояли две походные кухни и два грузовика. Около кухонь возились повара: одни что-то скребли и мыли в ручье, другие кололи дрова. По шейным повязкам из алой материи, издали бросавшимся в глаза, я определил, кто расположился в овраге: итальянские товарищи решили возродить стародавнюю традицию их боевых предков, волонтеров отряда Джузеппе Гарибальди. К нам подошел опирающийся на самодельную палку высокий осанистый старик с усами и бородкой. На носу его восседало старомоднейшее пенсне. Оно выглядело особенно нелепо в сочетании с тяжелой стальной каской, которую зачем-то он надел. Перед отправкой на позиции бригада получила каски: батальон Андре Марти — французские изящные и легкие, с гребешком, а остальные два батальона, как поговаривали, — чешские, котлом. Но я пока еще никого в каске не встречал. Приятно осклабясь, старик спросил, не прикажет ли чего генерал.

— Поблагодарите товарища Галлеани, — сказал мне Лукач, — и переведите, что я всего-навсего хочу пройтись по тылам бригады, где маскировка обычно хромает, и заодно посмотреть, что у нас на флангах творится.

Выбравшись из оврага, мы пошли вдоль фронта.

— Кого только не понаехало, — проговорил Лукач, — и старый и малый. В пополнении нашелся югослав, которому и семнадцати нет, а вот Галлеани почти шестьдесят, он уже в мировую был офицером со стажем. Образованный человек — адвокат. Он был коммунистом, и при Муссолини ему пришлось эмигрировать в Америку. У него собственная юридическая контора в итальянском квартале Нью-Йорка, а вот бросил все и приехал сюда. Поначалу, пока не появился Паччарди, он был командиром батальона, а сейчас — интендант. Но старик не может забыть, что ему поручали формирование батальона, и ревнует к Паччарди. Надо бы для общего блага забрать Галлеани к нам в штаб, да все не прикину, на какую должность его поставить, чтоб не обиделся.

Мы уже возвращались, не найдя на своих флангах, как и предвидел Лукач, ни души, когда вдруг слева грянул оружейный залп. Над деревьями прошумели снаряды и разорвались далеко в нашем тылу.

— Хотел бы я знать, куда они метят, — проговорил Лукач. — Там как будто никаких объектов для артиллерии нет. Вот опять. Сразу видно, что их артиллеристы не на голодном пайке, так и шпарят.

Едва мы выехали на шоссе, как обнаружили, что пролетавшие над оврагом снаряды ложатся на маленькое селенье, через которое часа за два перед тем

мы промчались по дороге сюда. Всмотревшись, Лукач знаком остановил машину и вышел на обочину.

— Незачем понапрасну машиной рисковать, — решил он. — Сойдем на развилке, оттуда мы с вами полем срежем и опять выйдем на шоссе, а Луиджи объедет проселками нам навстречу.

Чем ближе подходили мы к селению, тем с большими перерывами стреляли батареи, а вскоре и совсем замолкли. Нам хорошо были видны последствия обстрела: разбитые трубы, развороченные крыши, штукатурка, как оспинами, испещренная шрамами от осколков. Жители уходили из поселка по шоссе на Эль-Пардо. Вдоль него за противоположным концом селения темнело несколько глубоких воронок.

Возле одной, уткнувшись лицом в гудрон, одиноко лежал убитый. Его односельчане, не оглядываясь, уходили от своих разгромленных очагов, и расстояние между живыми и мертвецом быстро увеличивалось. Впереди растянувшейся вереницы, пугливо насторожив длинные острые уши, рвались из высоких хомутов мулы, с трудом удерживаемые своими хозяевами. Стараясь не отставать, за ними спешили женщины, некоторые с закутанными младенцами на руках, а те, у кого руки были свободны, гнали коз, несли кур или клетки с кроликами, придерживая при этом на голове связанное в узел тряпье. Дети тоже что-нибудь да тащили: кто глиняный кувшин, кто кошелку, а кто котенка; маленькие держались за материнские юбки. Исход завершали угрюмые небритые мужчины, толкавшие перед собой нагруженные всяким скарбом двухколесные ручные тележки или тянувшие на веревках навьюченных чем попало, не желавших торопиться осликов.

Двигаясь наперерез беженцам, мы оказались на Коруньском шоссе раньше их. Тут как раз подоспел и Луиджи. Он заранее развернулся и, высунувшись из раскрытой дверцы, приближался к нам задним ходом. Однако беспорядочно стучавшие копытами мулы уже нагоняли нас, и Лукач остановился их пропустить. Угадав в нем военачальника, крестьяне, проходя, приветствовали Лукача поднятыми кулаками.

Пропустив мулов, Луиджи подвел машину вплотную, но от кучки женщин устремилась к нам прямая, как жердь, простоволосая старуха. Лукач с выражением готовности поджидал ее, но вздрогнул, до того неожиданно кинулась к нему старая женщина, до того громко заголосила, требовательно дергая его за рукав иссохшей рукой, а другой тыча в сторону покинутого поселка.

Лукач, конечно, ни слова не понимал, о чем она вопила, но в ее голосе слышалась такая безысходная мука, что лицо нашего комбрига страдальчески сморщилось, и он, сунув мне трость, схватил вдруг растрепанную голову старухи в большие белые ладони, прижал к своему плечу и, приглаживая седые пряди, принался утешать почему-то по-русски:

— Ну, что ты, бабуся, что ты... Успокойся, милая... Перестань плакать, перестань, голубушка...

Как ни странно, бедная старуха, будто поняв, затихла и лишь жалостно всхлипывала, прилав к широкой груди Лукача. Руки других женщин бережно приняли несчастную от него и повели дальше. Комбриг почти вырвал у меня палку и шагнул к машине.

— Фуэнкарраль, — коротко приказал он и молча уставился в окно, потом повернулся ко мне: — Видели теперь, какая это подлость — война? Вот потому я всю жизнь и воюю...

Во второй половине дня бригада получила приказ сменить стоявшую перед нами колонну, и тогда выяснилось, что на левом ее фланге вообще никого нет, да и не было. Вернувшийся из Мадрида с сильной головной болью Лукач еле слышно сообщил, что на рассвете прибудет испанский добровольческий батальон, придаваемый нам, чтоб заткнуть брешь. Пока же он приказал командиру эскадрона подкинуть туда два спешенных взвода.

— Но батальон мы с вами, товарищи, получаем,— он даже голос повысил,— во! Комсомольцы, один к одному Называется «Леонес рохос».

— В переводе на русский это ни больше, ни меньше, как «Красные львы»!— весело пояснил Белов.

Еще не рассвело, когда к командному пункту, устроенному в доме лесничего, мотоцикл доставил двух худеньких парнишек, почти подростков. Застенчиво улыбаясь, они представились: один был командиром, второй комиссаром батальона «Леонес рохос». Лукач, дремавший в кресле-качалке, мгновенно встрепенулся и широким жестом пригласил их к карте, которую уже раскладывал Белов. Оказалось, что читать карту симпатичные мальчики не умеют.

— Ну, а стрелять они хотя бы умеют? — спросил Петров.

Разбуженный Фернандо через мое посредство перевел его вопрос, и юный командир, густо покраснев, ответил, что да, умеют: каждый боец при обучении выпустил по мишени три пули. О составе батальона застенчивый юноша сообщил, что тот всего неделю как сформирован мадридской организацией профессионального союза парикмахеров. Опасаясь, однако, нарушить бесперебойное функционирование столичных салонов, руководящие профсоюзные деятели порешили квалифицированных мастеров на фронт не отпускать, а записывать в батальон лишь подмастерьев и учеников.

— Оттого средний возраст не достигает у нас и восемнадцати лет,— сконфуженно, как бы чувствуя себя виноватым, закончил несовершеннолетний комбат.

Стараясь скрыть разочарование, Лукач сердито потребовал, чтоб с левого фланга немедленно вызвали командира одного из патрулирующих взводов и дали задание вывести необстрелянный батальон на предназначенное ему место обязательно до рассвета. Тогда обнаружилось, что батальон «Леонес рохос» лишь после полуночи вышел походным порядком из Эль-Пардо, куда прибыл поздно вечером также пешком, а значит, сможет добраться до нас самое раннее часа через два, то есть утром.

Лукач, уяснив это, вспылил так, что и про головную боль забыл. Он закричал, что неплохо было бы самого генерала Миаха и окружающую его банду королевских штабных чиновников прогнать пешечком из Мадрида до Эль-Пардо, а оттуда, не дав передохнуть, заставить шагать ночью под Боадилью.

Отведя душу, Лукач подержался за виски и обычным своим просительным тоном обратился к Белову. Тот выслушал его и уверенно увлек к выходу обоих позеленевших от бессонной ночи парнишек. Усадив их в машину, он помчался в Эль-Пардо, чтобы мобилизовать весь имеющийся там бригадный транспорт и бросить вдогонку бредущему в предутренней сырости батальону парикмахерских подмастерьев, чтоб поскорее доставить их на угрожаемый фланг.

Пока пять рот «Леонес рохос» высаживались из подходивших по одному грузовиков, разбирались по взводам и уходили в лес, начало светать, а когда последние бойцы, хрустя сучьями, скрылись из виду, фашистская артиллерия — гораздо раньше обычного — начала пристрелку. Лукач минут пять обеспокоенно прислушивался к ней.

— Пошли, — бросил он мне.

Мы преодолели около половины подъема, когда за холмом ухули замолкшие было неприятельские орудия и над кустарником возникло четыре ватных облачка.

Чем ближе подходили мы к вершине, тем чаще лопалась над нею шрапнель. Затем в кустарнике поднялась ружейная трескотня. Когда мы приблизились к нему, оттуда вышли трое раненых. Двое, совсем мальчуганы, видно, получившие ранения полегче, поддерживали под локти едва переставлявшего ноги третьего, несколько постарше, раненного в руку. Бледные, одетые в новенькую, не успевшую даже измяться, почему-то летнюю, форму, они тряслись мелкой дрожью на утреннем холоде.

— Стой! — подняв трость, приказал Лукач.

Он осторожно оглядел со всех сторон выставленную вперед пробитую кисть среднего из раненых и соболезнующе поцокал языком.

— Алеша, дайте-ка сюда ваш индивидуальный пакет.

У меня его с собой не было.

— Эх вы-ы, — осуждающе протянул Лукач. — А вдруг меня ранят, так вы и первую помощь оказать не сможете? Хорош адъютант. Счастье, что я запасливее вас.

Он приподнял полу куртки и, вытащив из переднего карманчика брюк круглый пакетик, вскрыл его. Затем умело наложил марлевый тампон на рану, забинтовал кисть, из остатка бинта сделал перевязь вокруг шеи и закрепил руку раненого.

— Возьмите у него карабин и подсумки.

Раненый лишь вздыхал.

— Ну, камарада, теперь марча туда! — Лукач легонько повернул раненого за плечо в ту сторону, откуда мы пришли. — Сервисно санитарно, понимаешь? Ну, и молодец, что компренде. Марча... А вы оба немедленно по местам! — прямо-таки рывкнул комбриг на двух других. — Назад в батальон! Вольвер! Ясно? — И он повелительно ткнул палкой вверх, за их спины, где стрельба между тем прекратилась.

Оба парнишки, проводив тоскливым взором удалявшегося, почти бегом направились к своим. Оказалось, они вовсе не были ранены, а просто сопровождали товарища.

— Уйти из-под огня кому не хочется, был бы законный предлог, — сказал Лукач, — а это вдобавок желторотики. Напомните мне сегодня же вставить в приказ параграф о порядке эвакуации раненых.

Неожиданно над кустами возникли голова и могучие плечи Милоша. Он продирался сквозь заросли, прокладывая дорогу Петрову.

— Проверка исполнения?.. — насмешливо спросил он Лукача. — Так здесь и одного из нас достаточно. С рассвета противник нигде во всем секторе активности не проявляет. Полагаю, отводит на отдых свои утомленные соединения, оставляя на переднем крае небольшие заслоны. Поэтому пройдем-ка к себе. Товарищей брадобреев я убедил начать окапываться на указанном рубеже. Меня поддержала вражеская шрапнель — она дала наглядный урок по технике безопасности.

— Жестокий для таких мальчиков урок, — вздохнул Лукач.

— Да, мамы их не для войны рожали. Но, может, прибавим шагу, — предложил Петров. — Хочу застать Фрица. Зародилась у меня одна мыслишка: а не попытаться ли нам, если подтвердится, что фашисты намерены передохнуть, перехватить инициативу и ночью отбить Боадилью?..

Вместе с Галло и Реглером они просовещались до обеда. Потом приехал прикомандированный к нашему штабу испанец, высокий, худой, горбоносый, с портфелем под мышкой и большим пистолетом «астра» в руке, словно он собирался вести нас в атаку. На нем были черные брюки, полуботинки с лаковыми носами и серый свитер с отвернутым воротником. Сойдя с мотоцикла, он снял с багажника сложенное полупальто и накинул его на плечи. Только по серебряной звездочке на шерстяной шапке можно было определить, что он носит офицерское звание, в остальном же (не считая, конечно, «астры») у него была вопиюще гражданская внешность.

В дверях столовой он козырнул, а затем непринужденно представился. Фамилия его была Прадос. Он оказался не студентом, как я предположил, а доцентом Мадридского университета. Главное же, он в совершенстве знал французский, говорил по-немецки да еще владел английским.

Молодой ученый сражался с самого начала. Он принимал участие в штурме казармы Монтанья, а немного спустя отправился в Гвадарраму преграждать путь колонне генерала Мола, прущей через горы на Мадрид. Знание математики привело Прадоса в артиллерию, и вскоре артиллеристы избрали его командиром бата-

реи. После того как пушки вышли из строя, уцелевший личный состав батареи откомандировали в пятый полк для формирования новой; Прадоса же партия послала в канцелярию начальника артиллерии республики, однако он перевелся наблюдателем в какой-то тяжелой дивизион (для которого, правда, почти не находилось снарядов), а оттуда был направлен к нам. Фриц и Петров, едва познакомься с Прадосом, поехали в Мадрид «подковываться», а Лукач сразу же отправился с ним в батальон «Леонес рохос». Пробыли они там довольно долго.

— Золотые ребята, — вернувшись, заявил Лукач. — Посмотришь в глаза: так и светятся. Дайте срок — обстреляются, не хуже гарибальдийцев будут.

Он отпустил Прадоса до вечера в Мадрид и в ожидании Фрица с Петровым прилегал отдохнуть, но не проспал и двадцати минут, как пришлось его будить: приехал Ратнер.

Помощник советского военного атташе комбрига Горева, небольшой, всегда тщательно выбритый и аккуратно причесанный, одетый в щеголеватый штатский костюм, майор Ратнер своею учтивостью скорее походил на дипломата, чем на военного. Начиная с Посуэло он нередко заглядывал к нам с поручениями от своего начальника, причем говорил исключительно с Фрицем или Лукачем и обязательно с глазу на глаз. Проведя и сейчас наедине с командиром бригады около получаса, Ратнер, перед тем как удалиться, поочередно и одинаково любезно пожал руку Белову, Морицу и мне.

Удивительное совпадение, но Горев прислал своего помощника сообщить, что, по имеющимся сведениям, фашисты, потерпев неудачу под Романильясом, приступили к перегруппировке сил и к сведению обескровленных частей в новые полноценные единицы. Надо полагать, это займет не день и не два, и таким образом защитники Мадрида получают некоторую передышку, которую необходимо наилучшим образом использовать — в первую очередь для укрепления занимаемых позиций, устройства наблюдательных пунктов и так далее. Командованию Двенадцатой интербригады Горев предлагал обдумать, не найдет ли оно возможным своими силами отбить Боадилья-дель-Монте.

Фриц высказался против ночной атаки.

— Мы с вами, дорогие друзья, до ночных действий еще не доросли. Лучше начнем дело под утро или часам эдак к семи.

Было решено до конца этой ночи рассредоточить на весь притихший бригадный фронт два батальона — франко-бельгийский и «Леонес рохос», — а батальоны Гарибальди и Домбровского вывести в резерв и на следующие сутки скрытно сосредоточить в лесу близ Боадилья-дель-Монте.

С наступлением темноты я опять стал разводящим, так как возле окруженного лесом дома надо было держать ночью по меньшей мере два поста, на что пяти человек никак не хватало, и потому начальник охраны Ганев от заката до восхода вновь превращался в часового.

Проведя ночь без сна, я после завтрака по совету Лукача удалился в крайнюю комнату, где ночевали заместитель комбрига и начальник штаба, но едва повесил винтовку, как услышал урчанье танка. Я тут же выскочил на крыльцо и лишь тогда перевел дух. Безжалостно кроша траками тонкое покрытие узенького лесного шоссе, к нам, пушкой назад, с откинутой крышкой люка, рывками продвигался «Т-26». Из башни выглядывал Погодин. Танк остановился в пяти шагах от невозмутимо преградившего ему дорогу Юнина.

— Привет! Нашел-таки вас! Я к твоему хозяину. Проводи, — спустившись на шоссе, крикнул он мне.

Погодин доложил Лукачу, что, кроме его вполне исправной машины, еще три должны быть отремонтированы к следующему утру и затемно прибудут в расположение бригады. Лукач усадил Погодина в кресло перед круглым столиком и налил ему рюмочку коньяка.

Я вышел распорядиться сменой часового, а когда вернулся, Лукач, водя карандашом по карте танкиста, убедительно просил его о чем-то.

— Очень бы, голубчик, полезно было. Это необходимая военная хитрость, и сделать ее тебе ничего не стоит. Знаю, ты спешишь, надо помочь своим в ремонте, но ведь вся затея и полчаса не отнимет.

Погодин вяло отнекивался: он не имеет указаний, получится с его стороны самоуправство.

— Лейтенант Погодин! — раздалось сзади.

Я оглянулся на резкий окрик и с удивлением увидел Фрица. Вероятно, он в своей комнате слышал весь разговор.

— Лейтенант Погодин! — повторил Фриц. — Уж не воображаете ли вы, что трусость украшает командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии?

Погодин обернулся. Увидев Фрица, он вскочил и вытянулся. Лицо его покрылось пятнами, но он ничего не ответил, а, вскинув кулак к шлему, повернулся кругом и, печатая шаг, вышел. Лукач с состраданием посмотрел ему вслед.

— Не слишком ли ты строго, дорогой? — мягко упрекнул он Фрица.

Натягивая перчатки, Фриц непреклонно молчал. В столовую вошел Прадос и, почище Морица щелкнув каблуками, подал Лукачу надписанный, но не заклеенный конверт.

— Чуть не забыл, — вынув из него бумагу с напечатанным на машинке испанским текстом и подписывая ее, признался Лукач; он по-немецки поблагодарил Прадоса и перевел взгляд на меня. — Сумели бы вы, Алеша, найти место, куда мы вчера ходили?

— Сумею, товарищ комбриг.

— Тогда придется вам, дружок, поспать немного позднее, а сейчас сходите туда, возьмите только вдоль кустарника примерно на километр вправо, до леса. Там найдете новый командный пункт испанского батальона. Отдайте это командиру или политкомиссару — кто первым встретится. А то все разговариваем да разговариваем, пора с разговоров на бумагу переключаться и приобщить наших льявта к необходимому канцелярскому минимуму с вытекающей из него ответственностью. Кстати, не забудьте, чтобы тот, кто примет, проставил на конверте дату, час и минуту получения и обязательно расписался.

— Куда ты? — окликнул меня Погодин, появляясь из-за танка, до сих пор не сдвинувшегося с середины шоссе, и вытирая ветошью испачканные руки.

Я объяснил.

— Садись, подвезу. Нам вроде туда же.

Он взобрался в башню и протянул мне руку. Танк взвыл и рванул с места. Прогнав моих ожиданий, многотонная машина была легка на ходу и бежала почти без толчков, равномерно качаясь, как челнок на волнах.

Вдавливая в землю кусты, мы влетели в мелкоколесье, и тогда я увидел, что небольшие деревья без сопротивления, будто камышинки, ложатся под грудь танка.

Не замечая моего восторга, Погодин в скупых словах изложил, чего добивался от него Лукач. Комбригу хотелось, чтобы погодинский танк показался противнику на различных участках, чтобы создать видимость, будто здесь находится танковая рота, и отбить охоту что-либо предпринять в ближайшие сутки, а также заставить оттянуть сюда имеющиеся поблизости противотанковые средства.

— На опушке придется колпак нахлобучить, там будем на виду, — предупредил Погодин, когда танк вломился в настоящий лес и, лавируя меж толстыми деревьями, безжалостно валил молодняк.

При закрытом люке стало не только темно, но и жарко, к запаху нагретого машинного масла начал примешиваться едкий дымок. Вдруг снаружи послышался частый стук, будто град ударил.

— Это нам как горох в стену, ихняя шрапнель! — прокричал Погодин, прильнув к светящей полоске толстого желтоватого стекла. — Абы чем другим не попотчевали! Давай, Вадим, отверни, — обратился он к водителю, — где потише. Да и человека пора высадить.

Когда я возвратился в штаб, здесь все уже знали, что мне удалось прокатиться в танке, и Лукач, приняв у меня пакет со школярским росчерком командира «Леонес рохос», принялся расспрашивать, куда Погодин направился дальше.

— Так я и думал, что в конце концов он все сделает, как надо, — удовлетворенно произнес командир бригады. — А что ему этого до смерти не хотелось, понять можно.

И он рассказал, что скоро два месяца, как советские танкисты не выходят из боев, не зная отдыха ни днем, ни ночью: днем — война, ночью — ремонт. Некогда бывает не то что поспать, но и поесть. Потери же у них пропорционально не меньше, чем в пехоте. Броню при прямом попадании любой снаряд прошивает; если жуть, сколько в танке горючего и взрывчатых материалов, то можно себе представить, до чего легко он превращается в крематорий.

— И не в одном этом суть, — продолжал Лукач. — На войне надо уметь не только умирать, но и убивать, а это совсем не то, что стрельба по мишеням.

Хотя четыре танка под предводительством Погодина и принимали участие в наступлении на Бoadилья-дель-Монте, но с ним самим я больше не видался, тем более что вскоре он был ранен и после госпиталя отправлен на поправку куда-то к морю. Летом 1937 года я случайно встретил Погодина на улице Валенсии. Рана его зажила, он загорел и в хорошем светло-сером костюме выглядел франтом. Узнав незадолго перед тем из «Правды», что произведенный в капитаны Погодин за «выполнение особых заданий партии и правительства» удостоен звания Героя Советского Союза, я обнял его и поздравил. Он пригласил меня к себе в гостиницу, налил, как некогда в Фуэнкаррале, рюмку коньяку и стал подробно расспрашивать о гибели Лукача.

В бесчисленный раз я повторил, как все случилось. О том, что Фриц был ранен в той же машине, Погодин не знал.

— Особенный человек был — не одинаковый с другими, — промолвил Погодин. — Счастье еще, что Фриц жив остался.

— А помнишь, как он тебя обидел? Я очень тогда огорчился.

— Никак он меня не обидел, — запротестовал Погодин. — Фриц — начальник справедливый. Я еще должен быть ему благодарным. Ослаб я, а он мне напомнил, кто я есть.

В номер, не постучавшись, вошел Протодьяконов, судя по благоуханию — прямо из парикмахерской.

— Можешь поздравить и лейтенанта, — подчеркнул его звание Погодин, — орден Красного Знамени получил..

Через двадцать лет Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск С. М. Кривошеин — в Испании он был полковником Меле — на мой вопрос о Погодине ответил: «Убит в Отечественную в звании полковника».

О Протодьяконове же бывший начальник штаба танкистов в Алькала-де-Энарес полковник в отставке А. А. Шухардин недавно сообщил мне, что он жив и работает в одном из московских научно-исследовательских институтов.

— Товарищ Фабер! — возвестил Ганев.

Но взамен неведомого товарища Фабера вошел запомнившийся мне советский майор Ксанти — тот самый, который был советником Дуррути, — с ним опять была хорошенькая маленькая переводчица в белом меховом комбинезоне, делавшем ее похожей на плюшевого медвежонка.

— Линочка! — просиял Лукач.

— Пр-р-ривьет, товар-р-рисчи, — жизнерадостно ответствовала Лина, и по одним раскатистым «р» можно было не колеблясь определить, что испанский — ее родной язык.

Ксанти поздоровался с Лукачем, со мной и через стол протянул руку Белову, причем тот снова назвал его товарищем Фабером. Я счел, что Белов путает Ксанти с кем-то еще, но в просвете двери, как в раме, поразительно напоминая

на темном фоне коридора старый портрет конкистадора, возник горбоносый Прадос и радостно воскликнул:

— Салуд, камарада Фабер! Лина, салуд!

Оставалось предположить, что Фабер — псевдоним Ксанти, но и это предположение оказалось несостоятельным, так как Лукач тут же назвал черноглазого советского майора с талией в рюмочку третьим именем — Хаджи.

На некоторое время Лукач, Белов и гость уединились, а когда, довольные друг другом, вышли и Лукач, отеснив Прадоса на второй план, стал любезничать с Линой, Ксанти присел за круглый столик, набросал на вырванном из блокнота листке несколько строк и отправил с ними раздумявшуюся в тепле девушку. Едва машина отошла, Ксанти предложил Лукачу «размяться».

Я снова собрался было прилечь, но Прадос принялся восхвалять Фабера и его самообладание, которое ему представился случай наблюдать в Аранхуэсе во время ужасающей бомбардировки. Я спросил его, почему он именует Ксанти фамилией карандашного фабриканта, но Прадос срезал меня, заявив, что, во-первых, так звали маршала Франции, известного военного инженера и предшественника Вобана, а во-вторых, что и Ксанти, без сомнения, тоже не настоящая фамилия — иначе все русские не называли бы его еще одним именем, которое не выговорить. Вообще же Фаберу вполне подошли бы и три конспиративные клички: он ведь за двоих, если не за троих действует, да и деятельность у него сверхсекретная. Прадос честно признался, что сам о ней не знает, но друг его работает с Педро Чека, членом политбюро. Так вот Педро Чека, по словам друга Прадоса, считает, что из находящихся в столице советских товарищей наибольшую пользу принес Фабер. И еще Педро Чека говорит, что Фабер — самый отчаянный, самый находчивый, а в момент опасности и самый хладнокровный из всех, с кем он имел в своей жизни дело.

(В связи с операцией под Боадилья-дель-Монте именно здесь в дополнение ко всему, сохраненному о нашем комбриге моей памятью, уместно присоединить и то, что в двадцать пятую годовщину его смерти рассказал мне Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи-Умар Мамсуров, когда мы с ним встретились в Центральном доме литераторов на вечере, посвященном памяти Лукача.

— Вот слушаю я все эти звучные речи, — по обыкновению медленно говорил Хаджи, — и почему-то мне припоминаются не какие-нибудь исторические слова или очень значительные поступки Лукача, а одна совсем, можно сказать, ничтожная мелочь. Было это во второй половине декабря, накануне дня, в какой ваша бригада намеревалась предпринять наступление на Боадилья-дель-Монте...

И Хаджи рассказал, как они с Лукачем отправились в командирскую разведку к тому месту на краю леса, где батальоны должны были сосредоточиться для броска, и как Лукач обрадовался невзрачному цветку, чудом распустившемуся в декабре, и, набрав полные руки камней, окружил цветок изгородью, чтоб его не растоптали идущие в бой.

— Непонятным мне тогда его поведение показалось, — прибавил Хаджи, — сентиментальным каким-то. А теперь, когда подумаю о Лукаче, невольно вспоминаю этот случай. Ведь вот как хотел человек воевать — чтоб лишнего цветочка его бойцы не раздавили...

Пусть мне не раз предстоит возвращаться к Хаджи в дальнейшем, но в этом отступлении вполне кстати добавить, что дошедшая до меня через Прадоса хвалебная оценка, которую давал ему «самый сдержанный из них», как охарактеризован Педро Чека в «Испанском дневнике», нашла недавно авторитетную поддержку в лице Фрица. Завершив абзац об одном из своих сподвижников по обороне Крымского перешейка, «человеке-легенде» А. В. Мокроусове, знакомом ему по Арагонскому фронту под псевдонимом Савин, бывший Фриц прибавляет: «За долгую свою жизнь я встречал много интересных людей, но, пожалуй, еще только один человек обладал такой же страстной целеустремленностью и неутомимой изобретательностью в борьбе с врагом — это генерал Х. Д. Мамсуров. В Испании

наш дорогой Ксанти (так его там величали) помогал защитникам республики организовать разведку. К сожалению, еще не настало время, чтобы в полный голос рассказать о деятельности этого человека, а когда настанет — люди будут читать, и удивляться, и радоваться, что среди нас живут такие натуры...»¹

Командирское совещание в ночь перед наступлением на Боадилья-дель-Монте, на котором мне опять пришлось подвизаться в качестве переводчика, безбожно затянулось, и я проснулся поздно. Прислушавшись к тому, что делается в доме, я догадался, что с наступлением не в порядке.

Оказалось, что в батальонах не сумели организовать продвижение через лес ночью и, вместо того чтобы начать действовать на рассвете, только недавно добрались до исходных позиций. Танки тоже опоздали. В результате начало атаки перенесено с семи на четырнадцать ноль-ноль в расчете на то, чтобы застать противника врасплох в обеденное время.

Впереди был почти целый час. Но вдруг задребезжали стекла: где-то недалеко бомбили. Вскоре в ящике зазудело. С командного пункта Паччарди сообщали, что девять «юнкеров» сбросили бомбы на лес, в котором сосредоточилась оперативная группа и танки. Танки невредимы, но в людях есть потери, хотя и небольшие.

— Терпеть не могу такие дамские выражения, — сказал Лукач, узнав содержание телефонного разговора. — Надо цифру называть, а то — небольшие. Для убитых они очень большие.

В начале третьего оба батальона двинулись в атаку. Сперва мы слышали непрерывный гул вражеской артиллерии, вскоре он начал затихать, и тогда сделались различимы редкие залпы единственной нашей трехорудийной батареи Тельмана. Затем и она смолкла. Белов приказал Морицу связаться с Паччарди, но линия оказалась повреждена. Тут, на счастье, подошел Петров.

От него мы узнали, что наступление сорвано. Весь расчет строился на внезапности, а ее-то и не получилось. Профилактической бомбардировкой противник не ограничился, а принял и другие меры — подтянул технику, в том числе и новейшую. Стоило танкам высунуться из-за деревьев, как их встретили противотанковые орудия: один был сразу подбит, а остальные отошли. Хорошо еще, что пострадавший легко отделался — ему заклинило башню и он допятился до леса. Пехоту перекрестным огнем «гочкисов» сразу отсекали от танков, а потом еще и артиллерийский заградительный огонь поставили.

— В общем, с моего одобрения Паччарди принял единственно возможное решение: отступить. Я хотел согласовать, но на линии был обрыв.

— Танки там все перепахали, ну провод и полетел к дьяволу, — пробормотал Белов. — Только от них и толку.

— Не успели мы вывести людей из-под огня, — продолжал Петров, — Клебер явился. Выслушал Паччарди, выслушал меня и, будто из духа противоречия, предложил с утра возобновить наступление. Я доказываю, что это бессмысленно, если сюда со всего фронта артиллерию не стащить, но разве Клебера переговоришь? Он заявил, что командование предполагает придать нам бронепоезд.

— И тебя, дорогой, и тебя, вас обоих я попрошу, — Лукач взял под руки Белова и Петрова, — сейчас же, не откладывая, как говорится, в долгий ящик, поехать по Коруньскому шоссе к Эль-Плантио и дальше, до переезда через железную дорогу. В двух шагах от него начинается туннель, где спрячется от авиации этот самый бронированный Змей Горыныч. Над входом в туннель стоит пустая будка. Мне сейчас доложили, что товарищ Купер не позже чем через час туда прибудет. Вы его там дождитесь и вместе подыщите по карте точку, откуда бронепоезду можно бы завтра с толком пострелять. Купер некоторый опыт по части

¹ Дважды Герой Советского Союза генерал армии П. И. Б а т о в. В походах и боях. Издание второе, дополненное и переработанное. М. 1966.

бронепоездов имеет. Я же, пока суть да дело, напрямик с Алешей пройду. Хочется мне на злосчастную эту Боадилью в бинокль посмотреть.

— Недурная получилась прогулка, — довольным голосом произнес Лукач. — Будто и не на войне. Вы согласны?

Лес понемногу редел. Появилась тропинка, ее пересекла другая, рядом завиляла третья. Незаметно они слились в дорожку, которая вывела нас в красивый парк. Мелкой растительности здесь уже не было, деревья далеко отстояли одно от другого — это были вековые богатыри с необъятными стволами. Справа завиделся просвет.

— Ну, вот и дотопали, — сказал Лукач. — Железнодорожное полотно пролегал вон там, а туннель, где маринуется бронепоезд, чуть впереди. Я не случайно говорю — маринуется. Дело в том, что он единственный не только под Мадридом, но чуть ли не на всю Испанию — уникам, одним словом. Им и дорожат вроде как священной реликвией — не дай бог потерять! В результате он все равно что потерян — бездействует.

Там, где была железная дорога, нарастал шум. Приближаясь, он переходил в громыханье. Должно быть, это шел бронепоезд. Но Лукач внезапно ринулся вбок и, присев за широким и прямым, как соборная колонна, стволом, нетерпеливо показывал, чтобы и я спрятался. Не успел я, кидаясь к ближайшему дереву, догадаться, что это вовсе не бронепоезд, а налет бомбардировщиков, как сквозь гул их моторов прорвался пронзительный свист, земля подо мной заколебалась, в лесу потемнело, и, сливаясь в один ужасающий удар, ухнуло подряд несколько взрывов.

В оба уха меня сильно кольнуло, и все звуки сделались приглушенными, как будто я, ныряя, набрал в уши воды. Я улавливал, однако, и удаляющееся гудение моторов, и даже глухой стук возвращающихся с неба камней. Едкий запах взрывчатки начал распространяться по парку, и на землю медленно опускалась похожая на пепел пыль.

Лукач выпрямился и зашагал дальше. Я бросился догонять его. Невдалеке, у срубленного бомбой и отлетевшего метров на десять от своего расщепленного пня громадного платана, мы увидели Петрова и Белова.

— Целы? А Григорий Иванович? Разве не подъехал? — прокричал Лукач.

Вместо ответа Белов вскинулся, как человек, которому напомнили о самом главном, и бросился бежать; за ним кинулся Петров. Побежали и мы с Лукачем. Поглядывая вперед, на Белова, я заметил, что брюки его разорваны от паха почти до колен.

Выбежав из парка, Белов повернул к путевой будке, окруженной давно потерявшим листву фруктовым садиком. Перед ним зияли две свежие воронки. Садик устоял, но с будки начисто снесло крышу и земля перед входом была усеяна битой черепицей.

Полкомнаты завалило рухнувшим потолком. Слева на стуле сидел Купер и о край стола выбивал из кепки черную пыль. Натянув кепку на бритую голову, Купер, пока мы входили, стряхнул куски штукатурки и кирпичные осколки с лежавшей на столе карты и, раскладывая ее, проговорил как ни в чем не бывало:

— Что ж, продолжать, по-моему, бесполезно. Хоть в бронепоезд и не попал, но ничего не возразишь: по нему целили. Теперь его из туннеля калачом не выманишь.

Купера прервал часто-часто запыхтевший где-то поблизости паровоз, залягали буфера.

— Так и есть, Григорий Иванович, — отозвался на эти звуки Лукач. — Слышали? Невредим и уползает к себе в нору. Но разрешите напомнить, что поддержка огнем с бронепоезда рассматривалась как необходимое условие повторного наступления. Без нее и так несолидная затея превращается совсем в абсурд. Я, по совести, на это пойти не могу. Так и скажу, кому нужно, а там пусть делают со мной, что хотят...

— Ты заранее не кирпичись. Приедешь нынче вечером в подвал и доложишь свое мнение. Что без артиллерии не воюют, Горев не хуже твоего знает.

Я прикоснулся к плечу Белова и обратил его внимание на чуть не пополам расפורшиеся брюки. Он глянул и покраснел.

— Да... В Большой зал Консерватории в подобном виде, пожалуй, не впустили бы. Одного не понимаю: где я так?

— А когда мы с тобой из-под «юнкерсов» улелетывали, — Петров усмехнулся, — ты слишком далеко ноги выбрасывал! Не воображай только, что ты один. Я ж не отстал. Просто у моих штанов нитки оказались крепче. Садись, поскорее зашивай.

— Легко сказать — зашивай, а чем?

На счастье, в нагрудном кармане запасливого комбрига нашлось несколько английских булавок, и Белов кое-как скрепил ими прорехи.

Вскоре после нашего возвращения в дом лесничего подтвердилось, что Купер был вполне согласен с Лукачем. Не успел комбриг уехать в Мадрид, как пришло распоряжение, которым повторение неудавшейся операции отменялось. Лукач тотчас же послал за Тимаром и обязал его за ночь перевезти батальоны Гарибальди и Домбровского обратно в Эль-Пардо. Находившиеся на передовой франкобельгийцы и «Леонес рохос» были без осложнений сменены под утро.

(Батальон «Леонес рохос» оставался в Двенадцатой интербригаде до середины января и участвовал в успешном новогоднем наступлении в районе Сигуэнсы. Громогласное наименование долго обыгрывалось у нас, и, пока шутки не приелись, новичков за глаза величали то «Красными котятками», то «Когортой рыкающих брадобреев», то еще как-нибудь. Однако это, в общем, безобидное зубоскальство длилось лишь до тех пор, пока, пообстрелявшись, батальон, которым вплотную занялись назначенный начальником оперативного отдела штаба бригады испанский майор Херасси, а также Густав Реглер, не стал вполне боеспособен. Ко взаимному огорчению, именно после этого батальон «Леонес рохос» у нас забрали и влили в одну из формируемых испанских бригад. Лишь немногие особенно привязавшиеся к нам мальчишки сумели в момент перевода незаметно осесть главным образом в батальонах Гарибальди и Домбровского.)

14

В середине следующего дня, когда штаб бригады покидал дом лесничего, Лукач приказал мне съездить в батальон Андре Марти, задержанный на всякий случай в небольшом местечке возле Коруньской дороги, и передать Жоффруа, чтоб он подготовился к погрузке. Машины подойдут самое позднее через час и покатают его ребят до эль-пардской казармы для продолжения прерванного отдыха.

— Оставайтесь там, — приказал мне Лукач, — пока не убедитесь, что всех вывезли, а то в последний раз они целый взвод в тылу забыли. И пусть за воздухом смотрят повнимательней: день летный.

Круглая площадь, на которую доставил меня мотоциклист, и вытянутая вдоль шоссе главная улица были пусты. Но из таверны на углу слышалось нестройное пение. Пели французскую «Молодую гвардию» на слова Вайяна-Кутюрье, популярную не только среди французов, но и среди революционной молодежи повсюду вплоть до Южной Америки. Где-то подальше охрипшие голоса орали еще и «Карманьолу», но до того фальшиво, что я узнал ее лишь по ритму.

Я пошел разыскивать батальонный штаб. Выяснилось, что это не так просто: из трюх, встреченных мною, двое, в зеленых беретах, цеплявшиеся друг за друга, как утопающие, лыка, что называется, не вязали, а третий, испанец в рогатой, обшитой красной тесьмой пилотке, хотя был трезв и даже понял, когда я повторил вопрос на сомнительном подобии кастильского, не имел ни малейшего представления, где помещается «эль эстадо майор де лос интернационалес».

Наконец мне повезло, и через раскрытые дощатые ворота низкого, с окошеч-

ками под крышей здания — вероятно, раньше в нем был хлев — я разглядел группу бойцов на корточках перед разобранным пулеметом. Повернув к ним, я услышал, что из полумрака кто-то окликнул меня по имени, и увидел поднявшегося навстречу Пьера Шварца. Он, как все мы, похудел и сильно изменился, кисть левой руки была перебинтована, но серые глаза смотрели уверенней, чем в Альбасете. На правой ладони Пьера лежала в замасленной тряпочке деталь пулеметного замка. Она помешала рукопожатию, и мы поцеловались, как парижане, не обнимаясь.

Пьер Шварц рассказал, что ранен еще в Университетском городке, но рана позволила остаться в строю, и сейчас он командир взвода пулеметной роты. По сравнению с другими в ней образцовый порядок благодаря ее командиру Бернару, пехотному лейтенанту резерва. Он социалист — конечно, левый, — но было бы неплохо, если бы все коммунисты вели себя, как Бернар. А то Жаке хоть и член коммунистической партии, но понимает свою роль так, словно политкомиссар должен быть заступником сражающихся масс перед эксплуатирующим их командованием.

Я спросил, что представляет собой Жоффруа.

— Задница, — кратко и исчерпывающе определил Шварц. — Не дурак, имей в виду, не трус, а именно задница. Пока не выпьет, все, кому не лень, на нем верхом ездят. А тяпнет — и давай громы и молнии метать, аки скимен рыкающий, хотя всем ясно, что он всего-навсего пьяный неврастеник. Удивительно ли, что в батальоне бедлам? А между тем люди в нем как люди. Есть, правда, и люмпены, но чего ж ты хочешь? Ведь французские и бельгийские добровольцы — это не политические эмигранты, как, например, немецкие или венгерские.

Узнав, что сейчас должны прибыть грузовики, Шварц заторопился: ему надо успеть дочистить и собрать второй «максим». Все же, сунув тряпицу с деталью одному из пулеметчиков, он взялся проводить меня к Жоффруа. По дороге я спросил о Белино. Но Шварц такой фамилии не помнил и ничего сказать не мог: похожий на того, кого я описал, толковый парень в батальоне был, только он, кажется, убит или тяжело ранен...

(С Белино я впоследствии раза два или три встретился. Случайные эти встречи были поневоле краткими. Если память мне не изменяет, первая произошла уже после сражения на Хараме. Так или иначе, но, оправившись от ранения, Белино окончил, помнится, офицерскую школу в Посорубио и лейтенантом вернулся в батальон Андре Марти, где командовал ротой. Сравнительно скоро он был ранен вторично, а затем служил в Четырнадцатой интербригаде. Со второй половины 1937 года я потерял его из виду. И вдруг в декабре 1962 года, читая в «Юманите» о похоронах последнего командира Четырнадцатой — Марселя Санье, я среди перечисляемых руководителей и членов «Содружества французских добровольцев» наткнулся на Фернана Белино. А летом 1966 года та же газета напечатала, что французскую делегацию на международном съезде участников интербригад, происходящем в ГДР, возглавляет Белино, и на несовершенном газетном оттиске в седом, как лунь, но с моложавым лицом представительном человеке я сразу узнал одного из героев этой книги.)

Не доходя до конца улицы, Шварц издали показал мне дом, где находился штаб, и ласково пожал мне руку. Но тут из глинобитной лачуги, перед которой мы остановились, вышел матово-бледный низенький француз с пистолетом на животе, как любят носить немцы, и попросил Шварца проводить его в свой взвод.

— О-о, товарищ Бернар! — воскликнул Шварц. — Подожди, Алексис, я хочу представить тебя командиру нашей роты. Это мой приятель, — обратился Пьер к Бернару. — Из штаба бригады. Он с поручением к капитану Жоффруа.

Бернар, о котором с такой похвалой отзывался Пьер Шварц, меня разочаровал. Уж слишком мал он был ростом, особенно несолидно выглядели его коротень-

кие ножки: в обмотках они были похожи на ножки бильярдного стола. Лицо Бернара было красивым, но непропорционально большим; бледность же командира пулеметной роты, оттеняемая коротко подстриженными черными усиками, просто пугала — казалось, он вот-вот упадет в обморок. Знакомясь, он, однако, с силой сжал мне пальцы и, скороговоркой произнеся положенное «enchanté», преувеличенно соответствующее нашему «очень рад», прямо-таки чарующе улыбнулся. Впрочем, женственно-прелестная улыбка тотчас сбежала с его губ. Бернар заинтересовался, в чем, если не секрет, заключается моя миссия. Узнав, что батальону предстоит немедленное возвращение в Эль-Пардо, он очень серьезным тоном заметил:

— Это будет не так легко: многие из ребят не в форме...

Вход в штаб батальона не охранялся. Я вошел в грязный коридор. Из раскрытой двери справа вырывался ужаснейший гам. Дальше по коридору была открыта вторая дверь налево, в комнату поменьше. В ней на расстеленных по каменному полу матрасах полулежал Жоффруа, рядом, скрестивши по-турецки ноги, сидел Жаке, оба были в некогда белых полшубках. Несколько человек, закутавшись с головами в одеяла, спали на соломе под окном. Здесь же мотоциклист надраивал фланелью свой и без того сверкающий «индиан». В комнате сильно пахло бензином, но это не мешало Жоффруа курить.

Исполнив положенное воинской субординацией, я передал Жоффруа, что было приказано, но второпях вместо необходимого в применении ко всему живому глагола «rassembler» употребил «ramasser», что тоже означает «собирать», но в значении подбирать с земли. Жоффруа усмехнулся и снисходительно исправил мою ошибку, а затем приказал владельцу «индиана» предупредить командиров рот, чтоб готовились к погрузке.

Не прошло и получаса, как в главную улицу втянулось десятка три грузовиков. Весело покрикивая, Тимар рассредоточил их по переулкам, и посадка началась, но если пулеметная рота с восемью «максимами» уже через десять минут заняла свои места, то остальные машины пока стояли полупустые, а то и вовсе пустые.

Тимар, отправив пулеметную роту, принялся ходить по домам, угощая собирающихся поскорее, но даже в тех случаях, когда его слушались и «ЗИС-5» более или менее быстро наполнялся, поднять опущенный задний борт было нельзя, так как из кузова неслись вопли, что не хватает Жана, или Франсуа, или сразу двоих Жаков и еще Анри.

Обходя квартал за кварталом, мы с Тимаром обнаруживали людей, находившихся то в излишне приподнятом настроении, то, наоборот, непобедимо сонных. Нередко нам отвечали воркотней, а порой и бранью, и тогда лишь парижское острословие Тимара разряжало наэлектризованную атмосферу. Иных нам приходилось выводить под руки и подсаживать, а двоих, мертвецки пьяных, мы, раскачав за руки и за ноги, закинули прямо на колени их товарищам.

В конце концов Тимар вышел из себя и потребовал, чтобы его проводили к командиру батальона. Повел обозленного Тимара я. В схожих с опустевшими стойлами помещениях царила тишина. В недавно такой шумной комнате справа не осталось ни души. Никого, кроме Жоффруа, возлежащего на грязном матрасе в позе давидовской мадам Рекамье и безмятежно покуривающего, не оказалось и в другой. Спокойствие Жоффруа окончательно взбесило Тимара, и он с места в карьер начал орать. Однако это не произвело на Жоффруа заметного впечатления, и когда Тимар выдохся, он ответил, что раз командир батальона болен гриппом и в текущие дела не вмешивается, среди его подчиненных неизбежно обнаружится беспорядок, иначе для чего бы в каждой армии назначали командиров батальонов да еще платили им жалованье. Тимар только рукой махнул и выбежал вон, я же объявил Жоффруа, что не так уж ошибся, произнеся «ramasser» вместо «rassembler»: батальон пришлось буквально подбирать с земли.

Уезжая, Тимар попросил проследить за отправкой двух последних грузовиков, отходивших от площади. Первый из них я нашел почти готовым в дорогу.

Зато второй был пуст, хотя возле него и собралось человек двадцать, о чем-то дискутирующих. Еще издали я различил в шумливой толпе Бубуля, как и многие, повязавшего анархистский шейный платок. Вообще анархистские цвета и значки ФАИ попадались сегодня в батальоне Андре Марти часто.

До грузовика осталось метров пятьдесят, когда на площадь вылетел серый «пежо». Проскочив мимо толкующихся возле «ЗИС-5», Луиджи притормозил, на ходу открылась дверца машины, и на шоссе вышел Лукач в коротенькой замшевой курточке.

Я заторопился к комбригу доложить, как выполняются его приказания, но гораздо раньше к нему приблизился отделившийся от остальных боец. Он был без винтовки, распоясан и даже без головного убора. За ним поспешал Бубуль. Оба ступали нетвердо.

Мне не удалось разобрать, что сказал нетрезвый боец, подходя к Лукачу, но командир бригады нахмурился и вопросительно, как бы в ожидании перевода посмотрел в мою сторону. Не получая ответа, подошедший хрипло выругался — это я уже хорошо расслышал — и схватил Лукача за плечо. Резким движением комбриг сбросил его руку, отступил на шаг и молниеносно выкинул вперед полу-согнутую правую руку, описав корпусом пол-оборота. Пьяный опрокинулся навзничь, а Бубуль, словно только того и ждал, подхватил его под мышки и поволок назад к грузовику. Лукач, не оглядываясь, подошел к «пежо», дернул дверцу и остановился, поджидая меня. Я помахал мотоциклисту, показывая, что уезжаю, влез за комбригом и, потрясенный происшедшим, опустился рядом с ним на сиденье.

Несколько сот метров мы проехали молча. Как ни нахально вел себя этот тип, но поступок Лукача представлялся мне несовместимым с образом революционного военачальника. Лукач между тем потер ладонью ушибленные косточки правой руки и вздохнул.

— Пропадает батальон, — огорченно произнес он. — И что делать, не представляю. Где для ваших французов командира взять?..

Машина бежала в направлении на Эль-Пардо. Лукач рассеянно смотрел в окно.

Мы проехали площадь перед королевским дворцом, взяли направо и помчались по шоссе, ведущему к мосту Сан-Фернандо. Немного не доезжая до того самого загородного особняка, куда я приезжал однажды к генералу Клеберу, машина убавила скорость и круто свернула в ворота. Стоявший на часах Лягутт распахнул чугунные створки, и мы очутились на забетонированном дворе, где выстроились прикрытые для маскировки перевернутыми ковриками и половиками машины Петрова, Фрица и Белова, а под ничего не скрывающими ветками фруктовых деревьев, растущих из оставленных в бетоне лунок, прятались штабные мотоциклы.

Внутри дом хотя и утратил господствовавший при Клебере военно-придворный стиль, но сохранял прежнюю роскошь и поражал непривычным простором. Ставни окон, выходявших на Мансанарес, оставались закрытыми, и во всей той половине горел среди бела дня электрический свет, а в зале радужно сверкала подвесками хрустальная люстра.

За ужином Галло предупредил, что его от нас забирают. Он будет назначен комиссаром-инспектором всех интербригад. Ведь, кроме двух сражающихся под Мадридом, уже формируется еще одна — Тринадцатая, и начинает формироваться Четырнадцатая.

— Не понятно только, почему, если создаются новые, надо ослаблять старые? Удивительная все-таки система! — негодуя воскликнул Лукач. — Спасибо еще, что у тебя есть заместитель и мы с ним сработались.

Но Галло сообщил, что вместо него к нам переводится комиссар Одиннадцатой бригады Марио Николетти. Реглер же, как и раньше, останется его помощником.

— Твой Николетти тебе не замена, — еще более недовольно отозвался Лукач.

Галло, сдержанно улыбаясь, возразил, что Николетти, несомненно, принесет на новом месте не меньшую пользу, чем принес на старом. Да и он, Галло, всегда будет рядом, в Мадриде, на калье Веласкес, сердце же его, где бы он ни находился, навсегда принадлежит родной Двенадцатой.

Проводив Галло, все собирались расходиться на покой, когда Мориц — почему-то шепотом — пригласил Лукача к телефону. Вернулся комбриг темнее тучи. Звонили ему из Мадрида. Приказано сниматься и к утру быть на северо-восточной окраине Каса-де-Кампо. С середины дня отмечается активизация фашистов в Университетском городке.

— Какую-то пожарную команду из нас делают, ей-богу, — заключил Лукач. — Где ни загорится или хотя бы дымом запахнет — давай. А все потому, что мы на своих колесах... Геноссе Херасси! — позвал он и начал по-немецки давать указания розовощекому, но преждевременно польсевшему испанскому майору, только что назначенному на пост начальника оперативного отдела.

Прадос уже успел рассказать мне про Херасси, что он парижский художник, принявший испанское гражданство всего пять лет назад, после падения монархии, поскольку он марран, то есть потомок испанских евреев, насильственно крещенных и, несмотря на обращение в католичество, изгнанных инквизицией из королевства еще в XV столетии. С тех пор предки Херасси жили в Турции, и будущий республиканский майор родился в Константинополе. Все эти пять веков по меньшей мере пятнадцать поколений рода Херасси, вернувшись к вере отцов, блюли тем не менее верность жестокой родине и сохранили в неприкосновенности звучную испанскую речь.

Когда разразился генеральский мятеж, Херасси, достаточно к тому времени признанный в Париже, а следовательно, и достаточно обеспеченный материально, бросил любимую работу и любимую жену с маленьким сыном, чтобы вместе с несколькими другими монпарнасскими испанцами встать в ряды защитников Ируна. После его падения Херасси не задержался во Франции, но теперь уже в сопровождении жены — польской украинки, надеявшейся принести пользу в роли переводчицы, — оставив ребенка на чьем-то попечении, выехал в Мадрид. До назначения к нам он успел повоевать и, командуя батальоном, отличиться.

Первое поручение Лукача — изучить до подхода бригады местность, на которой ей придется действовать, установить связь с соседями, собрать сведения о противнике, а также выбрать, где разместить командный и наблюдательный пункты, — все это вновь назначенный начальник оперативного отдела выполнил, по оценке комбрига, «на ять». Впрочем, энергия Херасси оказалась израсходованной втуне. Первые же два батальона — Андре Марти и Домбровского, — едва успев высадиться на опушке Каса-де-Кампо, были передвинуты к Университетскому городку и уже в восемь, имея в резерве гарибальдийцев и «Леонес рохос», контратаковали врага с задачей выбить его из Клинического госпиталя.

Бригадный командный пункт тоже был перенесен в чей-то пустующий дворец, как ни странно, не пострадавший ни от фашистской авиации или артиллерии, ни от последовательных постоев разных штабов. К сожалению, паласио это было расположено слишком далеко от передней линии, и Лукачу предстояло руководить боем вслепую. Не удивительно, что через час-полтора после его начала произошло недоразумение, которое мало было назвать досадным. Телефонист, прикомандированный к франко-бельгийскому батальону, на вопрос осведомленного о цели операции Морица, как оно там, с той поганой клиниккой, ответил, что она в наших руках. Мориц, в восторге, что первым может сообщить Лукачу счастливую весть, бросился к нему. Как назло, именно в эту минуту позвонил из Мадрида майор Ратнер, и довольный Лукач поспешил порадовать его приятной новостью. Однако через какое-то время Жюффруа доложил Белову, что овладеть Клиническим госпиталем без эффективной артиллерийской подготовки невозможно. Белов, не веря своим ушам, минут пять уточнял, правильно ли понял донесение командира батальона, после чего взял за бока Морица, и тогда выяснилось, что теле-

фонист просто-напросто спутал университетскую клинику со столь памятным французам медицинским факультетом, продолжавшим оставаться у республиканцев.

Белов уведомил обо всем Лукача. Комбриг пришел в ярость, потребовал, чтоб ему мигом дали этого типчика Жоффруа, и, хотя тот в данном случае не был виноват, гневно обрушился на него — через мое посредство — по телефону. Впрочем, словесные громы и молнии Лукача гремели лишь над моей головой, а до Жоффруа доходили только отблески далеких зарниц, ибо я взял на себя роль амортизатора.

В наказание за чересчур вольный перевод я вынужден был выдержать весьма выразительный взгляд Белова. Лукач же, пройдясь по столовой и уже остывая, сказал, что подобные безобразия неизбежны и впредь, пока батальоном будет командовать этот психопат Жоффруа, а комиссаром при нем будет такой олух, как Жак. Чувствовалось, что комбриг мучительно стыдится переданного им самим ложного сообщения. Собравшись наконец с духом, он связался с Ратнером, но до того, как открыл ему неприятную правду, вид у Лукача был такой, что на него больно было смотреть. Единственное, чем деликатный Ратнер наказал Лукача за дезинформацию, было предложение довести о ней до сведения оперативного отдела фронта. Тяжелую эту миссию комбриг переложил на Прадоса.

Непрерывно, как у швейной машинки, вертя рукоятку и вместо «алло, алло» настойчиво повторяя магическое «ойга» или еще для разнообразия «эску-ча, камарада», Прадос после нескольких отбоев дозволился-таки до некоего высокопоставленного тениенте-коронеля. Однако тот мало что отказался дослушать заранее заготовленный в письменном виде Беловым дипломатически покаянный документ, но и накричал на ни в чем не повинного доцента.

Во второй половине дня бой стал утихать, но Лукач, решивший во что бы то ни стало удержать на этот раз батальон Гарибальди в резерве и опасавшийся, как бы его, помимо командования бригады, опять куда-нибудь «не втравили», дал Паччарди строгое указание — ничего без ведома штаба бригады не предпринимать. С тою же целью он послал Херасси ко «львам», а Петрова на фланг, к его старым друзьям по Одиннадцатой — «домбровщикам».

Довольно скоро от Жоффруа позвонил Реглер. Пока Лукач дотошно расспрашивал его, высокие цветные — под церковные витражи — окна столовой угрожающе загудели. Фриц вышел на веранду. Я последовал за ним.

Было холодно, однако небосвод сиял ясной, как летом, голубизной. Высоко-высоко в ней появился уступчатый строй серебряных на солнце бомбардировщиков.

— Ого, восемнадцать,— сосчитал Фриц.

Гудя все громче, самолеты опустили носы и начали плавно снижаться вправо. За лесом прсгрохотало, и на пути бомбардировщиков возникла кучка распухающих снежков. Они не успели растаять, как республиканские зенитные орудия перешли на беглый огонь, но бомбардировщики, не нарушая строя, продолжали снижаться среди клубящихся вокруг них маленьких тучек вроде тех, на которых изображают херувимчиков с крылышками. Вскоре дворец задрожал от далекой массивированной бомбежки.

— Не пойму, что за цель они там нашли,— возвратившись с веранды, недоумевал Фриц.— Дорогу на Эскориал бомбят, что ли?

Прадос по просьбе Лукача принялся названивать в Мадрид, но безуспешно. В разгар этих бесплодных усилий раскрылась дверь, и Фернандо впустил необычайно красивого молодого блондина; я узнал в нем того самого одетого, как денди, английского волонтера, которого с месяц назад видел у Клебера.

— Омбре!¹ Дуран! — пылко вскричал Прадос, бросаясь к англичанину.

Они обнялись, хлопая один другого по спине и что-то приговаривая по-испански. Высвободившись из объятий Прадоса, вошедший подтянуто приветствовал Лукача, откуда-то знавшего его и дружески протянувшего руку. Поздоровался с

¹ Семейное испанское обращение. Буквально «человече».

ним, как со старым знакомым, и Фриц, после чего Лукач представил гостя Белову. При всей своей белокурости и голубоглазости, Дуран оказался настоящим испанцем, да притом еще испанским композитором. Сейчас композитор командовал бригадой, занимавшей позиции поблизости от нас, возле какого-то виадука. Дуран пришел к нам пешком узнать, кого это так бомбардируют фашисты где-то за Эль-Пардо. Убедившись, что установить связь не удастся, он пообещал заехать к нам на обратном пути из штаба сектора, куда он собирался попозже, и рассказать, что узнает.

— Вы посмотрите: один доцент, второй художник, третий композитор, — перечислял Лукач, когда Дуран, обвороживший всех, даже Морица, удалился. — Счастлив народ, интеллигенция которого в час решительных испытаний с ним...

Вряд ли Дуран успел дойти до своего командного пункта, когда Лукача вызвали в Мадрид. А уже к вечеру бригаду срочно, почти не таясь, вывели из Университетского городка и Каса-де-Кампо, чтобы кружным путем через Эль-Пардо отвести вновь на Коруньское шоссе, но далее, чем раньше, к западу. По наблюдениям фронтовой разведки, фашисты стали проявлять повышенный интерес к этому очень плохо защищенному району; именно в нем, судя по всему, и назревает опасность следующего их наступления.

Но едва бригада после преисполненной труда и тревог ночи успела там разместиться, как нарядный мадридский мотоциклист привез второй за сутки приказ. Белов почти без запинки перевел его Лукачу с испанского. Нам — как всегда, неожиданно и, как всегда, в сжатые сроки — предписывалось сменить к западу от Ремисы выводимую на переформирование колонну. Комбриг замысловато, хотя и без пафоса, выругался. Отсутствие у него прежней горячности свидетельствовало, что он начал привыкать к импровизационному стилю генерала Миаха и его окружения.

— Как говаривал император Наполеон: «Л'ордр, контрордр — сэ дезордр», — флегматично проговорил Петров. — Приказ, потом контрприказ — получится беспорядок...

Беспорядка, впрочем, не получилось. Тренированная в таких делах бригада, описав за несколько часов почти полную окружность (по прямой расстояние до Ремисы было два шага), перенеслась в еще не освоенную часть знакомого лесопарка, где батальон Домбровского немедленно вошел в соприкосновение с противником. Бригадный командный пункт на сей раз поместился в богатом двухэтажном особняке.

Докладывая Лукачу о местоположении батальонов, Белов отметил, что «Леонес рохос» рвутся в бой и обижены, что их держат в резерве. К несчастью, во франко-бельгийском батальоне настроение прямо противоположное. Человек сорок, заявившие о своей принадлежности к анархистам, отказывались ехать на позиции, ссылаясь на крайнее переутомление, и Реглеру понадобилось около получаса, а также все его красноречие, чтобы переубедить их. Жоффруа вел себя при этом крайне нерешительно, а комиссар Жаке сперва даже поддерживал забастовщиков.

Лукач распорядился, чтобы к нему немедленно вызвали Жоффруа и Жаке.

После обеда меня отозвал Ганев и попросил завтра же отчислить его из охраны в одну из польских рот. Я без обиняков спросил его, не в обиде ли он на кого-нибудь; он рассмеялся и ответил, что, конечно же, нет. Просто боится закинуть и незаметно превратиться в бородатого обозника. Тогда у меня возникло другое подозрение: не связано ли его нежелание оставаться при штабе со вчерашним назначением на должность коменданта серба Бареша?

Раненный в ногу еще в октябре где-то в Эстремадуре, куда была направлена для зачина партизанского движения первая группа добровольцев из проживавших в СССР политэмигрантов, югославский коммунист Бареш хотя и выписался из госпиталя, но передвигался, прихрамывая и опираясь на палочку. Представившись Лукачу и Белову, вновь назначенный комендант приступил к исполнению

обязанностей. Побеседовав с бойцами охраны, он затем переговорил с Ганевым. Не отсюда ли все?

Я попросил Ганева отложить окончательное решение на завтра. Правда, теперь рассмотрением его просьбы будет заниматься комендант штаба. Ганев с улыбкой возразил, что он ко мне обратился не формально, но из дружеской лояльности, поскольку до сих пор охраной распоряжался я. Что же касается нового коменданта, то Бареш уже предупредил, что собирается взвод охраны укомплектовать в первую очередь выписавшимися из госпиталей. Мне оставалось лишь просить Ганева не терять со мной связь.

В это время прибыл драндулет с Жоффруа и Жаке. Я провел их к Лукачу. Туда же вошел Реглер и затворил за собой дверь.

Сравнительно скоро Жоффруа вышел и, сохраняя свойственное ему в трезвом состоянии сардоническое выражение, уехал, а проводивший его до порога Реглер подозвал меня и объявил, что ему необходимо быть в Мадриде на совещании у Галло и потому собеседование Лукача с Жаке предстоит переводить мне.

То, что Реглер назвал собеседованием, было монологом. Лукач произносил его, я повторял по-французски, а Жаке слушал. Лукач придерживался дружески-доверительного тона и каждый раз, пока шел перевод, клал для контакта руку на обшлаг рукава батальонного комиссара.

Начал комбриг с того, что посочувствовал Жаке, который должен тяжелее всех переживать сложившуюся во франко-бельгийском батальоне ситуацию. А ведь изменить такое положение больше всего зависит от самого товарища Жаке. Мешает ему только одно: неправильное представление о своих функциях. Основная задача политкомиссара любого ранга — это обеспечение мало сказать беспрекословного, но еще и сознательного выполнения приказов командования. Для этого комиссар должен находить слова, западающие в сердца бойцов, а когда понадобится, и увлечь их личным примером. Одними словами согрет и сыт батальон, однако, не будет, и потому комиссар обязан делить с командиром заботы о своевременной доставке горячей пищи, а тем более боеприпасов, внимательно следить за одеждой и обувью бойцов, за регулярной сменой белья и, уж конечно, не забывать о раненых, а значит, контролировать работу санчасти. Кроме того, через находящихся в его подчинении политруков и политделегатов комиссар осуществляет еще наблюдение над морально-политическим состоянием своего подразделения, наблюдение, само собой разумеется, не назойливое, не превращающееся в соглядатайство. Надо ли подчеркивать, что в интербригадах, где объединены добровольцы различных национальностей и разных партий, а большинство составляют беспартийные антифашисты, комиссару-коммунисту необходимо обладать тактом и паче огня бояться, как бы не проявить сектантских замашек или же не пуститься обращать всех в свою веру и тем заслужить упрек в нарушении доверия, в недобросовестном использовании своего высокого поста.

Все это Лукач выговаривал так искренне и убежденно, что само собой разумеющиеся вещи казались открытием и заражали меня, заставляя строить французские фразы с особым старанием и даже с увлечением.

Однако на Жаке, по-видимому, не оказывали действия ни интонации Лукача, ни мой красноречивый перевод. Он сидел полусогнувшись, уперев глаза в пол. По одной этой каменной неподвижности можно было догадаться, что он заранее не согласен со всем, что бы ни пришлось ему здесь выслушать.

Лукач, видя это, прекратил свои увещевания и пожелал узнать, как же товарищ Жаке сам оценивает боеспособность франко-бельгийского батальона, почему там пьянство, а главное — откуда там тот дух раздражения и недовольства, которые отличают батальон от двух других интернациональных, не говоря уж об испанском.

Жаке поднял голову и, обращаясь ко мне, холодно ответил, что, если принять во внимание, до какой степени физического и нервного истощения доведены французские и бельгийские добровольцы, он не видит в их поведении ничего выходящего из нормы. Общее же недовольство обусловлено серией непростительных оши-

бок командования, начиная с Серро-де-лос-Анхелеса. Поколебленный тогда авторитет штаба бригады нельзя восстановить дисциплинарными мерами. Необходимо вывести батальон Андре Марти из Двенадцатой бригады и объединить с «Парижской коммуной», назначив командовать ими француза. Иного выхода нет.

Я повторил все слово в слово Лукачу. Он вздохнул, потом поинтересовался, сколько лет Жаке в партии. Тот ответил, что с тридцать четвертого, но не понимает, какое это имеет значение. Ему говорили, что командир бригады с восемнадцатого, но разве этим что-нибудь определяется?

— Враги народа, которых недавно судили в Москве, все насчитывали десятилетия партийного стажа, но разве он уберег их сперва от ошибок, а затем и от ужасных преступлений? А наш Дорио не был, что ли, членом политбюро?..

Я перевел и это показавшееся мне логичным замечание.

— Надеюсь, товарищ Жаке не хочет сказать, что долготейшее пребывание в партии превращает честного коммуниста во врага народа?— вставая, проговорил Лукач.— Если б оно не имело значения, год вступления в партию не вписывался бы в партбилет. Но это так, замечание в скобках... Попросите Жаке хорошенько обдумать то, о чем я ему говорил.

На следующий день Петров, как всегда, еще с утра отправившийся на передний край, опоздал к обеду, а это с ним редко случалось, и Белов был сильно обеспокоен.

К концу обеда на лестнице раздался сильный топот, будто по ней взбегало целое отделение. Грохоча башмачищами, на лестничную площадку взлетел Милош. Пилотка его сбилась на ухо. Лицо было перекошено. Дышал он, как загнанная лошадь.

— Пуковник е ранен!— завопил он, вбегая в столовую.

Мы повскакали с мест.

— Опасно ранен? Опасно?— дергая Милоша за рукав, переспрашивал Белов.

Но тот лишь растерянно обегал округлившимися глазами наши встревоженные лица.

— Свяжитесь с Хейльбрунном,— приказал мне сохранивший хладнокровие Лукач,— от него все узнаем.

В эту минуту на верхних ступенях лестницы появился сам Петров. Лицо его было землистого цвета, лоб усевали бисеринки пота, сивые кудри склеились на висках, побелевшей рукой он прижимал к груди фуражку и портупею с кобурой. Он двигался странно, выкидывая одну ногу в сторону, словно протез, и сразу же переступая на другую.

— Не ожидал, признаться, что Милош поднимет такую панику,— заговорил Петров, переводя дыхание.— Решил я завернуть сюда по дороге в санчасть и послал его попросить Белова спуститься на минутку ко мне. Слышу, шум поднялся. Пришлось самому наверх топтать, дабы убедить, что беспокоиться нечего. Хотя могло и хуже кончиться... Мы угодили под «гочкис».

Белов и я подхватили его под руки, бережно усадили в кресло и подставили под простреленную ногу второе, подсунув диванную подушку. Жадно проглотив с четверть стакана коньяка, поднесенного Беловым, Петров принялся рассказывать, как его ранили, но тут прибыл вызванный мной начальник медицинской службы бригады немецкий коммунист Хейльбрунн.

Забыв по обыкновению поздороваться, Хейльбрунн отстранил нас от Петрова, собственноручно обработал рану, наложил повязку и по-немецки объявил Лукачу и Белову, что кость не задета и недели через три, если не произойдет непредвиденных осложнений, геноссе Петров сможет танцевать.

Санитары унесли Петрова.

— Сколько я с ним ни знаком, а не перестаю удивляться его выдержке,— тоном, в котором сквозила гордость за друга, сказал Белов.— Пусть-ка мне покажут другого, кто б с простреленной ляжкой, не опираясь на палку и не помор-

щившись притом, взобрался бы на второй этаж, и все лишь для того, чтобы никто не тревожился.

— Да, крепкая закалка у человека, — согласился Лукач.

Нам так и не суждено было прожить спокойно даже остаток этого дня. Забрызганный гонец с прошнурованной книгой под мышкой — последним и полезным нововведением мадридских военных канцеляристов — привез Белову обшлепанный печатами конверт. Прочтя приказ, Белов тяжело вздохнул: бригаде предстояло этим же вечером смениться и вернуться в Эль-Пардо.

Новость была встречена ледяным молчанием. Его нарушил Лукач, из своего председательского кресла громыхнувший многоэтажной тирадой, действовавшей вроде команды. Все зашевелилось. Понеслись во все концы мотоциклисты. Заработали телефонные ящики. Потянулись к передовой Херасси и Прадос.

Пребывавшие в бригадном резерве батальоны Андре Марти и «Леонес рохос», а также эскадрон пришли в движение почти сразу, но батальоны Гарибальди и Домбровского, за день неоднократно подвергавшиеся артиллерийскому обстрелу, должны были оставаться, пока не подойдет сменяющая нас колонна.

Лукач тоже решил ночевать на месте. Несмотря на усталость, я и после того, как он задул свечу, долго не смыкал глаз. Сначала мешал холод, а когда толстое шерстяное одеяло понемногу согрело, я по дыханию Лукача определил, что и он не спит. Причина мне была ясна.

С час назад — мы уже хотели раздеваться — к нам постучал Херасси. Он только что приехал из Эль-Пардо и зашел доложить, что там делается. С Лукачем он говорил по-немецки, но кое-что я понял.

Херасси сообщил, что эскадрон, батальоны «Леонес рохос» и Андре Марти благополучно прибыли в Эль-Пардо и разместились на старых квартирах и что испанский батальон в полном порядке, в эскадроне сравнительно ничего, а вот во франко-бельгийском... — и, выдержав небольшую паузу, Херасси произнес незнакомое составное слово, судя по интонации, в высшей степени осуждающее.

После того как я запер за Херасси, комбриг буркнул, что хочет спать, но я-то слышал, как он ворочается с боку на бок. Вдруг он приподнялся.

— Раз вы не спите, я скажу одну вещь...

И он стал в сердцах жаловаться, до чего ему трудно с этими французами. Ведь и Жоффруа и Массар — настоящие алкоголики, вокруг них все разваливается.

Я высказал недоумение, почему же он не заменит Жоффруа и Массара.

— Да нечем, поймите вы, нечем, — вспыхнул Лукач. — И потом не в них одних дело. Мне, признаться, и бойцы не слишком нравятся. Вот уже два месяца я к ним присматриваюсь, и у меня впечатление, что в большинстве ваши французы какие-то полуанархисты.

Мне многократно доводилось выслушивать упреки в адрес «моих» французов, будто я не то сам француз, не то несу за них в некотором роде ответственность. Это задевало меня и за себя и за французов, но пока подобным образом прохаживались Петров и Белов, я терпеливо сносил их шутки. Принимать же такое всерьез и притом от Лукача было нестерпимо. Я тоже подскочил на своем матрасе и почти закричал в темноту, что если поставить такого, как Жоффруа, во главе гарибальдийцев, то и они в два счета разложатся, хотя среди итальянских или немецких добровольцев, поскольку и те и другие почти без исключения политэмигранты, случайных людей, естественно, меньше. Но все равно, будь у франко-бельгийцев подходящий командир, картина получилась бы совсем иная.

— Что ж прикажете делать, когда между нашими французами никого лучше Жоффруа нет? — уже спокойно вымолвил Лукач.

В ответ я рассказал о Белино, и о том, как он сумел организовать нас в Фигерасе, и как все признали его своим руководителем, и пусть даже он ранен, но когда выздоровеет, его бы и назначить командиром батальона. Но едва я кончил агитировать за Белино, в моем воображении встало бледное, но твердое лицо

большеглазого Бернара, его мушкетерские усики, милая улыбка. И неожиданно для самого себя я начал горячо убеждать Лукача, что Белино по излечении будет превосходным комиссаром, но что в батальоне Андре Марти есть и сейчас лейтенант по фамилии Бернар, которого можно без колебаний поставить на место Жоффруа.

Лукач так долго молчал, что я считал его спящим. Обиженный, я отвернулся от него и уже задремал, когда за моей спиной прозвучал негромкий голос:

— Доброй ночи. А этого вашего Бернара, как встанем, вызовите. Посмотрим, кого вы рекомендуете.

Было еще темно, когда я отправил за Бернаром пересаженного на мотоцикл Милоша, и еще до кофе мой протеже был доставлен на багажнике.

Лукач вышел ему навстречу. Оттого ли, что комбриг был натошак, или же он сожалел, что поддался на мои уговоры, но, окинув лейтенанта критическим взглядом и задержав его на обмотках, благодаря которым ножки Бернара выглядели еще толще и короче, Лукач кивком ответил на его приветствие и, не приглашая сесть, стал задавать отрывистые вопросы.

Бернар стоял перед комбригом, составив каблук, но ослабив одно колено, и отвечал в тон, односложно. В первую очередь Лукача интересовало его звание во французской армии, а также давно ли он в запасе и какая у него штатская профессия. Когда устная анкета дошла до партийности, Бернар произнес четыре буквы, обозначающие полное наименование французской социалистической партии.

Для ясности я перевел «ЭсэФИО» просто как «социалист».

— Теперь спросите, как он расценивает боеспособность батальона в целом?

— Крайне низко.

— Чем он объясняет это?

— Я не хотел бы касаться...

— Пусть не финтит, а отвечает прямо.

— Командование плохое.

— Есть ли у них в батальоне офицер, которому можно было бы доверить командование вместо Жоффруа?

— Да. Сержант пулеметной роты Пьер Шварц. Он храбр и бывший русский офицер.

— Не подходит. Нужен француз... Взгляните, однако, Алеша, где же там Белов или на худой конец Клоди?

У меня мелькнула нелепая мысль, что он решил назначить басовитого Клоди командовать франко-бельгийским батальоном, но раскрылась входная дверь, и — легок на помине — тот появился с поднятым, как полагается, воротником и с отпечатанной на «ремингтоне» бумагой между пальцами. Вручив ее Лукачу, Клоди бросил любопытный взгляд на Бернара, подмигнул мне и удалился. Комбриг повернулся к лестнице, переставил на ступеньку выше ногу, положил на нее бумагу и расписался.

— Переведите капитану Бернару, что приказ о его производстве в этот чин и о назначении командиром батальона Андре Марти, точно так же как и об освобождении с этого поста капитана Жоффруа и переводе его на командование пулеметной ротой, подписан мной и отправлен на подпись заболевшему комиссару бригады Николетти. Пока же, чтоб не тратить зря времени, вот распоряжение. В нем капитану Жоффруа предписывается немедленно сдать обязанности капитану Бернару. Предупредите, что я даю ему неделю для приведения их архаровцев в христианский вид. Через неделю буду спрашивать по всей строгости.

Слушая меня, Бернар одновременно просмотрел распоряжение и, сложив, спрятал в нагрудный карман.

— Пусть отправляется, — распорядился Лукач.

Я перевел Бернару, что командир бригады просит его отбыть в батальон. Бернар молча отдал честь, в упор, не мигая, посмотрел в глаза Лукачу, повернулся и пошел к выходу.

— Знаете, — начал комбриг, наматывая цепочку от ключей на палец, — пожалуй, вы не ошиблись в этом Бернаре. Ведь и ухом не повел, когда услышал, что так вдруг, здорово живешь, назначен командовать батальоном. И еще хорошо — ломаться не стал. Отдал честь и зашагал, даже не оглянулся. А между тем его назначение вовсе не синекура. Навести порядок в их бедламе не легко, да и не безопасно. А сначала я даже рассердился на вас. Ну, думаю, ничего себе, мальчика с пальчик подыскал.

После завтрака все заторопились обратно в Ла-Плайя. Первыми уехали Белов и его ближайшие сотрудники, а также Милош, возглавляющий трио мотоциклистов, затем смотали свое имущество телефонисты, загрузив им целый «ЗИС-5», за ними двинулись и мы с Лукачем в сопровождении полуторатонки с Барешем и охраной.

Перед бывшим клеберовским командным пунктом ждал на «индиане» мотоциклист из батальона Андре Марти. Пока открывали ворота, Бареш проковылял к французу, но поскольку тот не понимал ни по-русски, ни по-сербски, объяснить с ним наш комендант не сумел. Мне мотоциклист объявил, что привез письмо командиру бригады, но иначе как ему самому не отдаст. Я показал на Лукача, и мотоциклист вручил ему согнутый пополам листок. Лукач разогнул его, заглянул и передал мне.

Записка была от Бернара. Мелким, но четким почерком с правильно составленными знаками препинания и надстрочными ударениями — не даром новый командир батальона в мирной жизни был преподавателем лицея — он докладывал, что, приступая к исполнению своих обязанностей, встретил противодействие капитана Жоффруа, каковой до получения составленного по всей форме приказа не собирается выполнять предварительное распоряжение, ибо подпись под ним не скреплена печатью. Капитана Жоффруа поддерживает, если не подталкивает, комиссар Жаке, который не соглашается с решением штаба бригады на том основании, что преобладающая масса бойцов батальона сочувствует коммунистической идее, а потому назначение командиром социалиста противоречит принципам демократии. В заключение Бернар писал, что среди добровольцев идет бурное обсуждение всего этого, брожение в батальоне усиливается, и просил как можно быстрее прислать с надежным офицером обещанный приказ.

Пока я оглашал письмо Бернара по-русски, мне послышалось, что Лукач скрипнул зубами. Я поднял глаза, но нет: он был абсолютно спокоен, только прищурился.

— Садитесь в мою машину, — приказал он обычным голосом, разве лишь более чем всегда повелительным. — Возьмите двух человек, поезжайте в Эль-Пардо к французам, арестуйте Жоффруа и Жаке и привезите сюда. Действуйте решительно, иначе можете попасть в переплет. Выполняйте.

Он открыл «пежо», вытащил свой чемодан и понес к дому. Я крикнул Луиджи, что едем в Эль-Пардо, подскочил к остановившемуся сзади грузовичку и командовал Гурскому с Казимиром, чтоб мигом пересаживались в машину командира бригады. Согнувшись пополам и стараясь не ободрать «пежо» прикладами, они с двух сторон забрались на заднее сиденье. Я прыгнул к Луиджи.

Чтобы дошло до него, я по-французски приказал через плечо Казимиру и Гурскому примкнуть тесаки, пояснив, зачем и куда мы едем, и передал указание Лукача шоферу не покидать машину и держать ее наготове. В ответ Луиджи кивнул головой и довел скорость до ста двадцати километров. Не снижая ее и непрерывно сигналив, мы прорезали Эль-Пардо. Перед кирпичной казармой Луиджи взяв к левой обочине, машина накренилась и, угрожая трюбу, рванулась в раскрытые ворота. Распугивая находящихся на плацу, как кур, «пежо» описал дугу и, взвизгнув тормозами, остановился у ступенек батальонного штаба. Я выскочил и, закинув винтовку за спину, взбежал по ним; следом топали оба поляка.

В коридоре были люди, но, видя, что мы торопимся, они уступали нам дорогу. Через раскрытую дверь в конце его я увидел фигурку Бернара, полуокружен-

ного галдящими и жестикулирующими бойцами. В этот момент откуда-то сбоку, должно быть предупрежденный о прибытии генеральского «пежо», вышел Жоффруа. Судя по походке и насмешливому виду, он был трезв.

— Это всего лишь ты! — с облегчением воскликнул он. — А мне сказали — шеф. Чего ты здесь ищешь?

— Капитан Жоффруа, — отчеканил я и сам удивился, до чего у меня металлический голос. — Вы арестованы. Сдайте личное оружие.

Раньше, чем Жоффруа опомнился, я приблизился вплотную, расстегнул на нем кобуру и вытащил пистолет. Гурский с винтовкой в руке просунулся вперед, зашел за спину пожелтевшего Жоффруа и, положив ему на плечо свою лапищу, подвинул к выходу. Жоффруа, упираясь спиной, вяло переставлял ноги. Никто из находившихся в коридоре не проронил ни слова, но кто-то ринулся в дверь, из которой только что вышел Жоффруа. За ней слышались возбужденные возгласы, и в коридор выбежал Жаке.

— Вы сумасшедшие! — выкрикнул он. — Что вы себе позволяете! Хотите, чтоб вас укокошили?

— Товарищ Жаке, по приказу командира бригады вы арестованы, — повторил я тем же бряцающим голосом, запоздало почувствовав, что слово «камарад» не очень-то вяжется со всеми последующими, и шагнул к Жаке, но меня упредил Казимир. Он рывком оторвал от пояса Жаке кобуру, на которую тот уже положил руку, и подтолкнул его к Жоффруа.

Не теряя времени, Гурский и Казимир повлекли арестованных к выходу, за ними двигался я. Вдгонку заспешили несколько человек, и я тоже взял винтовку в руки, а выйдя на ступеньки, инстинктивно взвел курок. По плацу со всех сторон сбегались люди и обступали нашу машину, но позади в коридоре раздалось негромкое приказание Бернара, дверь за моей спиной сейчас же захлопнулась, и стало слышно, что ее запирают изнутри на ключ. В это же мгновение Луиджи на холостую так дал газ, что мотор взревел почище танкового. Одновременно он протянул руку назад и открыл левую дверцу, чего никогда не делал даже для Лукача. Казимир, сообразив, что крепкий Жаке способен на людях оказать сопротивление или хотя бы позвать на помощь, поспешно впихнул его перед собой в машину, не слишком деликатно усадил и опустил перед ним на одно колено. То же проделал со своим инертным подопечным и Гурский.

Сбежавшиеся числом до пятидесяти бойцы, некоторые молча, большинство же наперебой вопя и заглушая друг друга, так что, кроме отдельных ругательств, ничего было не разобрать, толпились с правого бока, а многие, чтобы не дать нам отъехать, — спереди, поэтому мне пришлось лезть в ту же дверцу и навалиться на Гурского, а он в согнутом положении тщетно старался закрыть ее за мной.

Луиджи между тем надавил на клаксон и рванул с места, но не вперед, а назад, где никого не было. Двое или трое из привалившихся к радиатору, потеряв равновесие, попадали. Откатившись задним ходом и с открытой дверцей метров на сорок, «пежо» снова затрубил и дернулся вперед с такой силой, что дверца захлопнулась сама собой.

С ревом, превосходящим сигнал пожарной машины, мы обогнули бегущую наперерез группу в анархистских галстуках и повернули к воротам. На счастье, их не закрыли. Часовой, правда, поднял, чтоб нас остановить, винтовку, но машина просвистела мимо, словно снаряд, и вылетела на улицу.

Вырвавшись на середину шоссе, мы увидели, что прямо на нас мчится неуклонно, как паровоз по рельсам, груженный снарядами ящиками выше верха кабины трехосный американский грузовик. Я невольно зажмурился. Однако Луиджи непостижимым образом увернулся. За надтреснутым ветровым стеклом мелькнуло искаженное ужасом лицо везущего снаряды шофера, грузовик, уже поравнявшись с нами, запоздало крикнул, и мы как ни в чем не бывало, словно не находились только что на волосок от смерти, быстро пересекли безлюдное Эль-Пардо и направились к фронту. Я осторожно перебрался через спинку переднего сиденья и со вздохом облегчения опустил на него, но едва стал отходить от избытка

сильных ощущений, как Луиджи указал сизым подбородком на Лукача, прогуливавшегося в обществе Реглера перед штабом. Завидев нас, Лукач сделал знак палкой, что надо развернуться, и Луиджи, проскочив мимо, как циркулем, артистически очертил скатами вписанную в дорогу окружность и остановился точно перед комбригом.

— Выходите,— обратился ко мне Лукач.— И ребятам скажите, пускай выходят. Товарищ Реглер хочет сам доставить этот ценный груз в комиссариат к Галло. Там окончательно и решат, куда их девать. Мое предложение: откомандировать в распоряжение Марти. Его кадры — пусть он с ними и цацкается.

Лукач молча отблагодарил Гурского и Казимира крепким рукопожатием, а меня обхватил за плечи и повел к дому. Я по порядку описал ему ход событий, не забыв рассказать о неоценимой помощи, которую оказал при этом Луиджи: одно то, как он вел машину, заранее вселяло в нас уверенность, а на недовольных должно было навести страх божий.

— Это вы верно говорите. За рулем на него находит иной раз настоящее вдохновение. А мне тут Реглер семейную сцену из-за вас устроил: как я мог поручить арестовать Жаке не политработнику того же ранга, а вам. Командира — это, мол, еще куда ни шло, но комиссара... Однако все хорошо, что хорошо кончается. Теперь остается надеяться, что Бернар нас с вами не подведет...

(Что Бернар не подвел, ветеранам Двенадцатой интербригады и Сорок пятой интердивизии хорошо памятно. Надеюсь, мне еще когда-нибудь удастся подробнее написать о нем, о его скромности, мужестве и доброте. Сейчас достаточно упомянуть, что спустя десять дней франко-бельгийский батальон на равных правах с другими участвовал в разработанном Фрицем новогоднем наступлении неподалеку от Сигуэнсы и выбил франкистов из Альгоры. Бернар был при этом ранен, однако через месяц вернулся в строй и доблестно командовал батальоном Андре Марти при отражении муссолиниевских дивизий от Гвадалахары.)

Попивая кофе, я старался пропускать мимо ушей гортанный крик, прорывавшийся из комнаты Белова, несмотря на то, что от столовой ее отделяло две двери и коридор. Крик время от времени сменялся настораживающей тишиной, но настораживаться было нечего — кричал часто приходивший к Белову командир балканской роты болгарин Христов, тишина же наступала, когда говорил Белов, а Христов слушал. Без крика он даже в переговорах с начальством обходиться не умел, да и вообще был личностью неумемной, даже ходил не как все люди, а с каблука, невероятно выбрасывая ноги, будто бегал на гигантских шагах. Вскоре Христов пронесся через столовую, за ним едва поспевал молдаванин Николай Оларь, во всех отношениях — и размашистыми жестами, и переливающейся через край пылкостью, и шумливой храбростью — дублер Христова.

После их ухода в столовую своей мягкой, слегка утиной походкой вошел Белов.

— Вынужден опечалить тебя, Алексей,— сказал он, присев бочком на стул.— Поверь, и я глубоко огорчен. Но мы на войне и должны быть готовы ко всему. Ганев убит.

— Чепуха,— возразил я с развязной уверенностью.— Его с кем-то спутали. Он же ушел в батальон, когда смеркалось, а тут как раз и смена.

— И тем не менее оно так,— не уступал Белов.— Мне сейчас ребята рассказали. Все правильно: и в батальон он заявился на ночь глядя, и боя не было, и все-таки убит. Невезение действительно ужасное. Вообще-то его собирались использовать связным, но на первую ночь поставили в охранение. Знаешь, как это делается: прибыл из тыла — значит, выпался. А что он полтора месяца недосыпал, кому какое дело... Перед рассветом Ганев выбрался из индивидуального окопчика и прикорнул в траншее, да, как назло, по полякам из минометов ударили. Видит он, что не заснуть, и попросился у командира роты, у Янека, назад отползти, за кустарник, там отоспаться. Янек позволил. Через какое-то время начал-

ся обстрел, мы еще недоумевали, что сие означает. И надо такое: первым же перелетом накрыло Ганева. С перевязочного пункта видели, как граната упала прямо мехонько на спящего. Подбежали санитары с носилками к воронке, но не то что раненого — и убитого-то не нашли. Начисто разнесло. Был человек и нет...

(...Когда летом 1958 года я гостил в Софии у тогдашнего болгарского министра иностранных дел Карло Луканова (мне стоило немало труда отвыкнуть называть его Беловым), мы с ним, говоря о прошлом, не забыли и Ганева. Вспоминал о нем в один из своих наездов в Москву и Семен Чебан, а по-настоящему Семен Яковлевич Побережник, о котором недавно писали «Известия» и который только в 1957 году, после новых жестоких злоключений, вернулся-таки на жительство в давно освобожденное родное село Клишковцы славного крестьянскими революционными традициями Хотинского района нынешней Черновицкой области. Ну, а кроме нас троих, еще хоть кто-нибудь на свете помнит Ганева? Трудно сказать. «Иных уж нет, а те далече...» Да и погиб-то он, не успев произнести для потомства какой-нибудь запоминающейся фразы, которую можно было бы рассказать журналистам, и не оставив после себя ничего вещественного, исчез без следа, и даже торжественно-горестные слова хемингуэевского реквиема о наших мертвых, спящих в земле Испании, к Ганеву неприменимы или применимы лишь весьма фигурально. Интересно, однако, что если из приблизительно трехсот русских добровольцев, отправившихся в Испанию через партийную организацию «Союза возвращения на родину», свыше ста было убито, то всего трое удостоились чести увековечения на изданной тридцать лет назад во Франции с благотворительной целью мемориальной открытке. И один из них — Ганев.

Вот она лежит передо мною, сама имеющая историю. Уже во второй половине 1937 года, будучи ненадолго командирован во Францию моим новым начальником Фабером-Ксанти, я приобрел ее в Париже на каком-то вечере в поддержку Испании. Когда в январе 1940 года, ровно через двадцать лет после того, как отчим вывез меня за границу, я возвратился в СССР, в моем чемодане вместе с бесчисленными фронтовыми фотографиями и другими испанскими сувенирами находилась и эта открытка. Вторично вернувшись в Москву, на сей раз через шестнадцать с половиной лет, я стал разыскивать мой испанский архив и хотя не обнаружил его, но в моем владении вновь очутились тринадцать драгоценнейших для меня фотографий, а среди них — упомянутая открытка.

Чтобы исключить ее использование в качестве почтовой карточки и не подвергаться налоговому обложению, на оборотной стороне была поставлена эллипсоидная печать с французским текстом «Международный комитет помощи испанскому народу», а в середине — до чего, однако, Вася Ковалев отошел от прежней конспиративности! — «Русская секция». На лицевой же в круге, занимающем большую часть открытки, — прескверный одноцветный отпечаток с откровенно ремесленной акварели: одномоторные бомбардировщики несуществующего типа долбят неизвестно чьи проволочные заграждения, на которые сверх того надвигается и бутафорский танк. Слева на эти условные ужасы войны наложен отрезок киноплёнки с тремя кадрами. В каждом — портрет. Над и под клише помещена надпись по-французски и по-русски, исполненная по последнему слову типографского шика того времени, то есть без знаков препинания и заглавных букв: «русские эмигранты погибшие в борьбе с фашизмом в испании», а в самом низу и тоже на двух языках: «цена 1 франк». Верхний из трех портретов отпечатан явно с фотокарточки, содранной с какого-нибудь удостоверения, скорее всего когда будущий герой Арагона еще был регентом хора, почему и сфотографирован в белой вышитой косоворотке, но даже подпись «Glinoetzku» не позволяет согласиться, что этот изможденный старик с непокрытой белой головой и провалившимися щеками — он. Под Глиноедским — Ганев в шинели и берете. Он получился великолепно, и французское начертание его фамилии могло бы понадобиться лишь тем, кто с ним не встречался. В третьем кадре — всегда веселый острослов Федя Лилле, он в таких же, как на Ганеве, шинели и берете, в зубах его гнутая трубка.

Лидле был убит авиабомбой значительно позже, летом 1937 года, под Брунете, на должности комиссара роты автотранспортного полка в армии Модесто, а командовал ротой его закадычный друг Николай Николаевич Роллер.

В общем, Ганев посмертно попал в достойное общество. Глиноедский был одним из организаторов Арагонского фронта, стал начальником его артиллерии, и хоронила «коронеля Хименеса Орхе» вся Барселона; благодаря Кольцову и Эренбургу доброе имя Владимира Константиновича Глиноедского вернулось на родину. Лидле у нас никому не известен, но он был очень популярен в Париже как один из создателей и руководителей русской группы унитарного профсоюза шоферов такси. Пав в Испании, Лидле оставил вдову и маленькую дочку.

Я всматриваюсь в фотографию помещенного между ними Ганева и поражаюсь, до чего он был молод. А тогда он казался мне пожилым. И как иначе: когда мы познакомились в купе грязного вагона третьего класса, везшего нас из Парижа в Перпиньян, мне только что исполнился тридцать один год, а Ганеву было за сорок...

Продолжаю с печалью вглядываться в его открытое, смелое лицо.

— Вечная память!

Древний возглас, пением которого завершается панихида, сам срывается с моих губ, хотя я отлично знаю, что он имеет в виду отнюдь не человеческую утлую память. «Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет...» Недавно появились новые звучные и обнадеживающие слова: никто не забыт и ничто не забыто. Они скромнее «вечной памяти» и мудро не определяют сроков действия. Было б, пожалуй, еще лучше, если б они оставались благим пожеланием: никто не должен остаться забытым... Ничем другим, как горячим желанием продлить, насколько это в моих возможностях, память о человеке, умершем на чужой земле за правду и справедливость, вызвано все, что рассказано здесь о Ганеве. Именно этим свидетельским долгом оставшегося жить перед павшими в Испании друзьями и товарищами из интербригад и перед испанским народом, первым вступившим в бой с фашизмом, продиктована и вся эта книга.)

15

В остававшуюся до Нового года неполную неделю нас больше не дергали. Это, однако, не означало, что в штабе бригады наступил покой. Начать с того, что Луиджи, получивший наконец возможность целое утро провозиться с мотором, опробуя затем машину на шоссе, был вынужден внезапно загорючить, чтобы не налететь на выскочившего из ворот штаба мотоциклиста. В результате «пежо» трижды перекувырнулся и завалился в кювет. Сам Луиджи отделался легко: пролежал с полчаса без сознания и вскочил как встрепанный; зато элегантную машину, превращенную в рухлядь, пришлось тащить в Кольменар-Вьехо, а взамен Тимар привел огорченному донельзя Лукачу последнюю новинку автомобильного рынка — весь будто вороненый восьмицилиндровый «форд».

Вечером того же дня настала очередь огорчиться мне: Лягутт за опоздание из отпуска в Мадрид на целые сутки был отчислен Барешем во франко-бельгийский батальон, а за дружкой по собственному желанию ушел Фернандо. Заодно осуществили свою давнюю мечту стать «домбровщиками» Гурский с Казимиром. Поддался общему поветрию и Юни, объявивший, что когда-то приходилось брать людей на мушку, потому что начальники приказывали, а сейчас ему самому охота снять хоть бы пяток гадов в отместку за Ганева. Так в штабе не осталось никого из тех, кто оберегал сон Лукача и Фрица в Ла-Мараньосе. Новая же охрана, подбрасываемая Барешем из залечивших раны ветеранов центурий, вскоре стала до того многочисленной, что не только по именам, но и в лицо запомнить всех ее бойцов было трудно.

Перед католическим рождеством Лукач обзавелся переэздчиком — барселонским строительным рабочим из венгерских политэмигрантов Крайковичем. И отныне на моем прежнем месте рядом с Луиджи восседал он, а я, сдав свою винтов-

ку Севиллю и благоговейно приняв из рук Лукача парабеллум, замечательный тем, что он не вмещался в стандартную кобуру, ездил, как адъютант, рядом с комбригом.

Тогда же оперативный отдел штаба пополнился еще одним офицером — переведенным из батальона Гарибальди почти шестидесятилетним капитаном Галлеани, — а среди штабных шоферов объявился Семен Чебан. По ходатайству Лукача Тимар уступил бывшего нашего респонсабля Фрицу за его мадридца, с которым тот мог изъясняться лишь жестами. Хотя ни у Семена, ни у меня времени на длительные собеседования не хватало — нам за целый день не всегда удавалось обменяться даже приветствиями, — но по крайней мере теперь я знал, что он тут, рядом, и мог часто с удовлетворением наблюдать, как Семен подает черную карету Фрица со столь сосредоточенным видом, будто это катафалк.

Однако главным событием конца года было снятие Клебера. Собственно, его официально не снимали, а в связи со стабилизацией положения всего-навсего упразднили сектор, которым он командовал, иного же назначения не дали, и Клебер оказался таким образом не у дел. Лукач, уведомленный об этом, возмутился, лишний раз обозвал генерала Миаха завистливой бабой и плешивым иезуитом, пошвыстал, смотря в окно, и приказал вызвать Луиджи. Вскоре «форд» уже подкатывал к высоким решеткам королевского дворца в Эль-Пардо. Оставив меня в машине, что он делал крайне редко, Лукач через вымерший двор направился к подъезду в левом крыле, где еще вчера помещался штаб сектора. Проведя там не больше двадцати минут, комбриг вернулся и, удовлетворенно откинувшись на сиденье, когда Луиджи помчал нас обратно, поделился:

— Может, продолжай Клебер сидеть у меня на шее, мне с ним никогда и не удалось бы поговорить по душам, а тут я сначала все неприятное ему выложил: и что не одобряю, как он вел себя с нашей бригадой, и что свою напрасно чужому дяде уступил. А потом высказал и другое. В частности, что не совсем зря называли его «спасителем Мадрида», пусть и нельзя так ни про кого отдельно выразиться, мы-то хорошо знаем, что только сам народ мог себя спасти. Но как ни крути, а в часы «пик» Клебер больше других сделал, чтоб отстоять город. И с ним откровенно поступили — неблагодарно и неблагородно. Да еще для самооправдания грязный слухок пустили, что он с анархистами против Ларго Кабальеро тайком договаривался. Убежден, что клевета!.. А все же странный он, между нами, человек. Всем хорош: и умен, и храбр, и распорядителен, и языками владеет, но к этому вот столечко бы скромности...

По-прежнему почти каждый вечер отправляясь в Мадрид, Лукач теперь брал меня с собою, и я побывал вместе с ним в лабиринте подвалов министерства финансов, где до войны хранился золотой запас Испании, а с недавних пор размещался штаб генерала Миаха.

Двадцать пятое декабря выдалось пасмурным, но не дождливым. В главный католический праздник в Мадриде ждали всяческих подвохов со стороны фашистов, и потому в продолжавшей числиться в резерве мадридского фронта бригаде была объявлена боевая готовность. Около одиннадцати Лукач решил съездить в Эль-Пардо взглянуть, как соблюдается этот приказ в батальоне. В пути комбриг рассказал, что, по словам Реглера, генеральный секретарь испанской коммунистической партии Хосе Диас обратился по случаю рождества Христова с поздравлением к верующим милосьяносам, встречающим этот день в опоясывающих Мадрид окопах.

— Вот молодец! — радовался Лукач. — Вот это политика! Так и должна вести себя коммунистическая партия, вся обращенная к народу, проникнутая к нему искренним доверием, а потому уважающая его традиции и привычки. С поповщиной можно бороться, только изжив ее в самих себе...

Машина, колыхаясь и проваливаясь, ползла по сильно разбитой дороге, ведущей из Фуэнкаррала к Эль-Пардскому шоссе. Луиджи нервничал, преодолевая рытвину за рытвиной. Мы уже подъезжали к маленькому поселку, за которым вы-

боин было меньше, когда Луиджи беспокойно вскинул голову. Из высокого «форда» были прекрасно видны три низко летящих бомбардировщика, заходящих на селенье. Луиджи прибавил газу. Машина запрыгала по ухабам. Мы миновали последний дом, когда стал слышен рев налетающих «юнкерсов» и свист падающих сзади бомб. Но могучий восьмицилиндровый мотор уже уносил нас от опасности, и грохот возник сравнительно далеко за нами.

Луиджи погудел, собираясь обогнать мчащийся перед нами «ЗИС-5». Внезапно, когда мы были в нескольких метрах от его задних колес, грузовик взял влево. Чтобы погасить скорость, Луиджи сделал все, что мог, и тоже повернул влево. «Форд» стукнулся правым боком о грузовик, левым проехался по каменной ограде, но тут «ЗИС-5» ударил нам во фланг, «форд» повернулся и врезался радиатором в фонарный столб. Весь этот лязг и треск продолжался какую-нибудь секунду, так что я не успел даже испугаться и только видел Луиджи, вцепившегося в баранку, как кошка, и прыгающего на ней, и Крайковича, подбрасываемого на сиденье и попадающего головой в скатанную и прилаженную под ветровым стеклом подушку комбрига. Лукач еще раньше, чем мы ударились о борт грузовика, успел, весь сжавшись, броситься вниз между передними и задними сиденьями и сейчас, когда машина стояла, а вокруг нее и в ней медленно оседало облако пыли, неторопливо поднимался. Я все время продолжал держаться за кожаную петлю и тоже остался невредим, только незаметно для себя ударился плечом о кузов — оно онемело.

Первым выпрыгнул из машины Лукач, потом выбрался Луиджи. Со слезами на глазах он остановился над разорванным радиатором и мотором, упершимся в ребристое железо фонарного столба. Вышел, потирая шею, и Крайкович. Последним открыл дверцу левой рукой я, правая не слушалась. Ступив на дорогу, я пошатнулся. Ушибленную руку тянуло вниз, будто к ней была привязана пятидесятикилограммовая гиря. Лукач, обойдя машину, бросился ко мне:

— Что с вами? Э-э, да у вас, видно, рука повреждена.

В правом плече действительно начинала расти боль.

— У вас или растяжение, или вывих, — заволновался Лукач. — Сейчас мы остановим, кто будет проезжать.

Как по заказу, из селения, над которым еще не совсем рассеялась грязная туча, подходила санитарная машина. Крайкович бросился ей наперерез.

Машина закричала тормозами. Лукач почти на руках поднял меня в нее. Крайкович, полуобняв, уселся со мной на нижние носилки. При тряске боль сделалась нестерпимой. Путь до нашего госпиталя, устроенного в усадьбе на берегу Мансанареса, показался бесконечным.

Крайкович помог мне подняться по ступеням. Из операционной вышел хирург красавец Хулиан, мадридская знаменитость и, как говорили, гордость той самой университетской клиники, которую мы недавно не смогли взять. Он отлично владел французским, и мы не раз с ним пикировались, когда он попадал в штаб. Стараясь шутками отвлечь мое внимание, он расстегнул и осторожно раздвинул воротник моего френча, заглянул. Ему подали обыкновенные портновские ножницы, и он взялся за мой рукав.

— Ты с ума сошел! — вскрикнул я. — Портить единственную куртку! Только через мой труп!..

Крик отдался в плече.

— Что ты, что ты, — рассмеялся Хулиан на мой испуг. — Я не собираюсь ее кромсать. Мы отнимем тебе руку как раз по шву, пришить рукав обратно будет легко.

Я собрался ответить в тон ему, но кто-то сзади закинул мне голову и, сбросив на лицо мокрую марлю, прижал ее. Я рванулся и потерял сознание.

Пришел я в себя на койке в маленькой комнатке. Косой потолок показывал, что она под самой крышей. У другой стены стояла прибранная кровать. Несмотря на неприятные ощущения, оставшиеся после хлороформа, я испытывал невырази-

мое облегчение. Плечо больше не мучало меня. Оно было туго стянуто бинтами, они неподвижно прижимали к телу и правую руку, положенную ниже груди.

Прошло несколько минут или часов, не знаю. В коридоре раздались сбивающиеся шаги и звон шпор. Ко мне ввели заплаканного молодого бойца с рукой на перевязи. Я узнал в нем белоруса Казимира, того, что помог нашему отделению ознакомиться с «гишпанской» винтовкой, а перед самым уходом на фронт был взят в кавалерию. Санитар уложил его и вышел. Я спросил Казимира, как он был ранен. Он, жалобно всхлипывая, объяснил, что, когда их польский взвод возвращался с похорон, его сбросил конь и, встав на дыбы, опустил одной подковкой прямо ему на запястье. Я посочувствовал Казимиру и полюбопытствовал, с каких это похорон они возвращались.

— Як то с каких? Комисажа захоронили.

— Кого-кого? — переспросил я безотчетно, но раньше, чем Казимир ответил, сердце мое сжалось: я понял кого.

— А нашего, с эскадрону. Гримм он звался.

Видно, я так ослабел, что из глаз полились слезы.

По распространившемуся в палате винному перегару я догадался, что Казимир упал с коня по пьяному делу. Мне сделалось противно и не хотелось ни о чем больше его расспрашивать, но он и без того принялся рассказывать, что Пьера похоронили на кладбище в Фуэнкаррале, где дальше будут хоронить всех убитых, кто из интербригад. На похороны послали польский взвод как самый справный, и когда Пьера засыпали, они дали три залпа, а потом оставили лошадей конноводам и пошли помянуть комиссара. А кони пьяных не терпят, потому жеребец и взбрыкнул так, что Казимир полетел через голову. Говоря постепенно все более связно, Казимир перешел к обстоятельствам, при которых был убит Гримм.

Спешенный кавалерийский патруль должен был охранять ночью подбитый танк, оставшийся между линиями, чтобы фашисты не утащили его. Гримм — а он, когда Массар заболел и был отправлен в Альбасете, стал и за комиссара и за командира — пришел проводить своих хлопцев. Из-за холода патруль сидел с пехотой в окопе, а у танка сменялись по двое. Гримм подполз к ним, увидел, что они мерзнут и робеют, угостил их для согрева коньяком, побеседовал о том, о сем, а потом встал и захотел обойти танк. Но фашисты услышали его шаги и враз ударили из пулемета. Гримм упал и позвать никого не успел, по животу ему очередь пришлась, мало совсем не перерезала...

Казимир скоро заснул, а я не мог спать. Мешала все растущая боль в плече, но еще больше мысли о Пьере Гримме. Почему-то мне не так даже было жалко его самого — хотя, конечно, ужасно жалко, — как его жену, которую я никогда не видал, даже на фотографии. Мне представлялось, как она живет одна в чистой комнатке аккуратного брюссельского отельчика и ждет от Пьера письма, а письма все нет, и вот приходят товарищи из городского комитета партии и говорят ей, что Пьер убит. Возможно, ей не удастся и побывать на его могиле, пока мы не победим...

Лукач, как обещал, приехал ко мне, хотя уже была ночь. Он погладил меня по щеке, спросил, очень ли больно, положил на тумбочку апельсин и, пожелав скорейшего выздоровления, уехал. Навестил он меня и на другой день, несмотря на то, что, судя по его торопливости, был очень занят. На третий день он присел на край постели и вполголоса, чтоб не разбудить Казимира, сообщил, что бригаду перебрасывают в горы, далеко от Мадрида, где готовится наступательная операция.

— Принесем фашистам новогоднее поздравление. Фриц, золотая голова, замечательно все продумал. Пока больше ничего не скажу. А вас я распорядился эвакуировать в тыл. Будете поправляться на берегу моря. У вас ведь довольно неприятная история. Хейльбрунн считает, что есть опасность потерять руку, высохнет, как у этого молоденького врача, у Пуччоля. Вывих с разрывом сумки и связок не шутка. Да еще трещина в плечевой кости. Месяца на полтора, а то и на два нам придется расстаться, а вернетесь, я всегда вас к себе возьму.

Я стал умолять никуда меня не эвакуировать. Выздороветь я прекрасно смогу и здесь, а занимать место, предназначенное для кого-нибудь из раненых, и в машине, и там, на юге, когда я пострадал по собственной глупости в нелепой автомобильной катастрофе, — можно от стыда с ума сойти. А главное, я не хочу отрываться от нашей бригады, я так ко всем привык.

Глаза Лукача сделались еще ласковее.

— Я сам к вам привык. Хотел послать вас к морю для вашего же блага. Ладно. Переезжайте в Фуэнкарраль и ждите, пока мы все вернемся. А там я организую вам лечение у какого-нибудь хорошего специалиста в Мадриде.

За двое суток до Нового года я лежал на кожаном диванчике у двери в комнату Лукача. Поселиться, как прежде, с ним я не захотел, так как совсем не спал от боли и боялся, что буду беспокоить его.

Бригада уже перебазировалась из-под Мадрида в горы возле Сигуэнсы. Туда же перекочевал и штаб. Кроме Лукача и меня, на фуэнкарральской вилле оставался только Бареш и часть охраны. Перед своим отъездом Лукач присел на мой диван:

— Ну, смотрите, чтоб к нашему возвращению вы встали. Я договорился, врач будет к вам заезжать. Плохо вы, ничего не скажешь, встречаете Новый год, а он ведь особый — в нем исполняется двадцатая годовщина Октября. Мы-то в бою будем — лучшей встречи сейчас не придумаешь. Но ничего, война затягивается, достанется и на вашу долю. Одно я вам хочу на прощанье сказать: мы с вами необыкновенно счастливые люди и нам еще будут завидовать. Как бы ни повернулись дальше события, но Мадрид его защитники отстояли, и в лоб фашистам его уже не взять. А в этом есть и наши с вами труды. И помяните мое слово: пройдут годы и даже десятилетия, а про оборону Мадрида и про интербригады не забудут. И когда мы доживем до глубокой старости, и пройду я, уже седой старик, или, предположим, вы, по улице Парижа, или Будапешта, или Москвы — все равно, — и попадетесь навстречу парочка, она остановится, посмотрит тому старцу вслед, и молодой человек скажет своей девушке: «Ты знаешь, кто это прошел? Думаешь, обыкновенный старик? Нет. Ты учила по истории, как в Испании сражались с фашизмом? Так вот, этот старик один из тех, кто был под Мадридом»...

1963—1967.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ

★

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЬЕТНАМЕ

Гоффредо Паризе (род. в 1929 году) — известный итальянский писатель, автор шести романов. Наибольший успех выпал на долю его третьей по счету книги «Красивый священник» (1954) — острой сатиры на провинциальные нравы фашистской Италии, а также романа «Хозяин» (1965), отмеченного премией «Виареджо» — крупнейшей литературной премией Италии — и переведенного на многие языки, в том числе на русский («Иностранная литература», № 8, 1966). Публикуемые ниже заметки писателя о Вьетнаме даются с некоторыми сокращениями.

К СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Для меня — большая честь, что мой очерк «Несколько слов о Вьетнаме» публикуется в журнале «Новый мир». Я рад, что русские читатели романа «Хозяин» познакомятся с моими впечатлениями о войне, которую тоже ведут «хозяева».

Я сожалею, что мне не представилась возможность побывать в Северном Вьетнаме; ведь идейно я — с ними. Но я не жалею, что пожил среди американских солдат, воюющих в Южном Вьетнаме: это помогло мне понять, что войну ведет вовсе не американский народ. Почти все американские солдаты, с которыми мне довелось разговаривать (а они тоже народ!), не сочувствуют этой войне, не понимают ее, а выполняют свои тяжкие обязанности, как конторщик — опостылевшую работу: «от сих до сих».

Правда, я встретил нескольких высших офицеров-фанатиков, которые считают вьетнамскую войну чем-то вроде крестового похода против коммунизма, а вьетнамских партизан — дьявольским наваждением. Однако для подавляющего большинства американских военнослужащих вьетнамская война — дело чужое, потому они и выполняют его формально, отчужденно, с тяжелым сердцем.

С тяжелым сердцем вернулся домой и я. Мне было горько за американский народ и больно за прекрасный народ Вьетнама. Мое желание поехать туда еще раз, самому принять участие в военных действиях неодолимо. Я бы хотел быть сейчас в Ханое или в любой другой точке Северного Вьетнама, но непременно участником событий. В ближайшее время я, должно быть, выеду туда. Не могу спокойно отсиживаться в Риме, в то время как там в неистовой, смертельной схватке решается судьба не только Вьетнама, но всего мира.

Хочу пояснить, почему я назвал свой очерк «Несколько слов о Вьетнаме». Я хотел подчеркнуть, что мой писательский труд был очень скромным, как, впрочем, и проделанная работа. Я просто рассказал то, что видел, не более. Я надеюсь, что советские читатели хотя бы в какой-то мере разделят со мной то безмерное золнение, сочувствие и восхищение, с какими я смотрел на борющийся Вьетнам.

Гоффредо Паризе.

* * *

Д. З. 1, 30 марта, 21 час 30 минут.

Сегодня — мой первый день на войне. Я нахожусь на границе демилитаризованной зоны, чуть южнее семнадцатой параллели, где в последние дни идут тяжелейшие бои... Лагерь наш разбит в самой восточной точке этой зоны, в двух-трех километрах от моря (от Тонкинского залива), среди бескрайних песчаных дюн, усеянных кустистыми холмиками. Тут — кладбище. «Марины» (солдаты морской пехоты) установили свои минометы за голубыми оградами семейных усыпальниц, похожих своими очертаниями на уткнувшиеся в песок лодки. В каждой усыпальнице по несколько могильных холмиков, одни побольше, другие поменьше, в зависимости от возраста умершего. Круглая, в туманной дымке, совершенно китайская луна, побродив немного по горизонту над морем, клонится к закату; через час ее не будет.

Минометы начали палить по лежащей впереди продолговатой дюне. Выстрелы следуют один за другим с интервалом в несколько секунд; мина с легким свистом проносится по небу, с минуту видна ее траектория, потом — вспышка наподобие молнии, гулкий удар и грохот взрыва.

Я вырыл себе в песке на кромке леса небольшое укрытие: нас могут обстрелять из минометов или того проще — подползти вплотную и атаковать. В нашем отряде человек тридцать, остальные сто пятьдесят патрулируют небольшими группами близлежащий район и вернутся на рассвете. Как бы то ни было, участок к югу от лагеря, поросший не внушающим доверия мелколесьем, не защищен, а окопчик мой именно тут.

Весь день, много часов подряд, шагали «марины» гуськом (а я вслед за ними) по истинно райским местам, мимо крошечных рисовых плантаций, мимо кокосовых пальм, банановых деревьев и укрывшихся в их тени крестьянских домиков.

Мы переходили через теплые ручьи, нам попадались водоемы со свежей родниковой водой. Стояла сильная жара, но морской ветер приятно охлаждал кожу. Крестьяне сидели на пороге своих домов и смотрели, как мы бредем по узкой плотине, перегораживающей рисовые поля. В глазах их не было любопытства, а было равнодушие людей, привыкших к печали. Я заходил в их дома; это лачуги из досок и плетеной соломы с глинобитным полом, но чистота в них безупречная. Посередине — алтарь (они исповедуют культ предков), курятся палочки ладана; у стены — большая кровать из тека, стол, табуретки. Дома остались лишь женщины, молодые и старые, да дети. Куда подевались мужчины?

— Воюют.

«Марины» пристраиваются на отдых под кустами, в дома не заходят, детей к себе не подпускают. Боятся, что все, включая дома, заминировано.

Какой-то малыш протянул мне только что срезанный кокосовый орех, я с большим удовольствием напился. «Надо расплатиться», — подумал я и вынул из кармана двадцать пиастров (сто лир). Это половина сайгонской цены, но, видимо, по здешним понятиям двадцать пиастров — солидная сумма. Решив, что я богат, подбежали и другие ребята, сгрудились вокруг меня, протягивая руки. Кокосовым молоком меня угостили без всякой задней мысли, просто потому, что таков закон гостеприимства: раз ты к нам пришел, ты наш гость: ни о какой плате они и не помышляли. Но стоило мне вытащить деньги, как все стали наперебой требовать кто авторучку, кто часы: видно, для них что вещи, что деньги — все едино. Какая-то девушка увязалась за мной — хотела унести пустые консервные банки, но солдаты ее прогнали. Сержант приказал зарыть банки в землю. Он пояснил мне, что «все надо уничтожать, дабы не попало в руки противника». Немного погодя ребята пришли снова и, воспользовавшись тем, что американцев разморило от усталости, откопали банки и, ни слова не говоря, следуя за своим хроменьким вожакom, все-таки унесли их к себе.

¹ Демилитаризованная зона. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Отдых длился с двенадцати до трех. С запада подошла рота южновьетнамских солдат. Они цепочкой перебрались через ручей и направились к югу. Солдаты тащили на себе минометы, боеприпасы, провиант на коромыслах. С ними плелся пленный вьетконговец¹: руки связаны за спиной, на глазах повязка.

В данный момент менее чем в тысяче метров от нас началась атака. Небо усеяно осветительными ракетами, снаряды бьют прямо по пальмам. Кто стреляет, не пойму: то ли американская артиллерия, то ли восьмидесятидвухмиллиметровые минометы северовьетнамцев. Канонада длится минут двадцать без перерыва, после чего включаются пулеметы, трещат винтовочные выстрелы. Потом вдруг все стихает.

Я проспал беспробудным сном пять часов кряду — даже не слышал пальбы, которая длилась еще два часа. Разбудили меня комары. Сейчас три часа утра. Атака прекратилась, ночь тихая, ясная; на песке лежит толстый слой марли — тумана: он колыхается на высоте десяти — двадцати сантиметров от земли. Когда я проснулся и обнаружил, что окутан этой белесой паутиной, я руками развел ее в стороны, будто собираясь пуститься вплавать или взлететь.

Я ощупью добрался до двух артиллеристов, расположившихся в нескольких метрах от меня, попросить средство от комаров. С самого утра я только и делаю что побираюсь: то клянчу еду, то сигареты, то воду. У меня самого ничего нет. Но эта необходимость просить, вернее, эта внутренняя отрешенность от вещей, порождает удивительно блаженное ощущение легкости, неуязвимости перед лицом смерти. Ничего не иметь — это так важно! Более того, это немедленно дает тебе право на все.

Я натираю составом от комаров лицо, шею, руки. Комары, как по мановению волшебной палочки, улечиваются. Вокруг меня образуется ореол пустоты и, стало быть, неуязвимости. Расовирепевшие насекомые в бессильной злобе беснуются, жужжат в отдалении. Время от времени грохочет миномет, Я спрашиваю, где стреляют. Мне показывают на то место, откуда началась атака.

— Точная цель вам задана?

— Цель — ВК².

— Вы уверены, что они именно там?

Солдат пожимает плечами:

— Надо полагать...

Донг Ха, 31 марта.

Сегодня утром на рассвете я покинул приморскую базу и на вертолете вернулся на вчерашнее место, в Донг Ха. Это небольшой передовой пост в нескольких километрах от демилитаризованной зоны, где одна палатка с несколькими койками отведена для ПИО («Press Information Office») ³. Здесь живут кинооператоры и пресс-атташе корпуса морской пехоты. Иностранных журналистов что-то не видно. Со мной все очень любезны. Один корреспондент, перед тем как уехать в отпуск в Бангкок, оставил мне во временное пользование две фляги и водонепроницаемую ткань — укрываться ночью.

Поразительно, как тут все организовано, какой комфорт повсюду, даже на передовой! Все — к вашим услугам. Каждый окоп — уголок Америки. Вечером «марины» могут преспокойно накачиваться охлажденным пивом любой марки, могут сидеть у телевизора и смотреть программу для вооруженных сил, передаваемую с помощью искусственного спутника, или пойти в кино на открытом воздухе, где ежевечерне демонстрируется три цветных фильма. Телепередачи я видел. Они состоят, как правило, из скетчей с участием старых прославленных кинозвезд — таких, как Дин Мартин, Майк Руни, Фрэнк Синатра и им подобные. Все они в очень преклонном возрасте. Лица изборождены морщинами, по-американски дряхлы, к тому же на экране все время какая-то белая рябь. Они рассказывают анекдоты, отпускают шутки насчет войны,

¹ Вьетконговцами американцы называют партизан, бойцов Народных вооруженных сил Южного Вьетнама.

² Сокращенное «Вьетконг».

³ Информационный центр (англ.).

вьетконговцев, острят по поводу взаимоотношений между солдатами и сержантами. Подобно заштатным конферансье, они сами подают знак, когда надо смеяться, смеются своим остроумом первыми. Смеются каким-то профессиональным, деревянным смехом, символизирующим пресловутый американский оптимизм,— запрограммированным, неестественным смехом, способным развеселить разве что детей младшего возраста. Но все американские телезрители во Вьетнаме послушно его подхватывают.

Каждое утро и каждый вечер в палатку ПИО является майор или полковник, который информирует нас о передвижении войск и о военных операциях, проводящихся в данном районе. Одна из таких операций разворачивается сейчас в Кам Ло, примерно в двадцати пяти километрах от базы, и состоит в прочесывании обширного участка холмистой местности. Производят ее отдельные отряды, концентрическими кругами. Сегодня ночью я отправляюсь с ними.

14 часов.

До зоны операций мы долетели на вертолете за двадцать минут. На фюзеляже в виде герба — «белый кролик» из «Плейбоя»¹. Эта девица играет ведущую роль в вооруженных силах США, она же — главный козырь «замирения». Ее обнаженные прелести можно увидеть повсюду: в жалких сайгонских бараках, где торгуют живым товаром, в каждой солдатской палатке, в каждой траншее, вырытой в джунглях, в каждом самолете и вертолете. «Плейбой» — это без всякого преувеличения символ Америки. Во Вьетнаме голых девиц из «Плейбоя» куда больше, чем американских и южновьетнамских флагов.

Мы летим над районом, до ужаса изуродованным бомбежкой. Это холмистая местность, поросшая мелким лесом с прогалинами, на которых через каждые несколько метров зияют чудовищные воронки. Земля испепелена напалмом, деревни сожжены. Уцелели кое-где лишь католические церкви. Розовые, голубые, с двумя колокольнями, они очень напоминают наши деревенские церкви.

Воронки от бомб, сброшенных бомбардировщиками типа «Б-52», — необъятных размеров: метров тридцать — сорок в диаметре и двадцать в глубину. Пейзаж вплоть до самого горизонта — лунный.

Мы приземляемся на небольшой прогалине, откуда идет желтый дым: это «марины» подают дымовой сигнал. Я представился капитану, молодому красавцу гигантского роста. Этаким гунн или древнегреческий атлет в цветовом варианте «техникolor». У него почти белые глаза, ослепительные зубы; руки, двумя могучими стволами выступающие из бронированного жилета, сплошь покрыты татуировкой. Татуировка — синяя, черная, фиолетовая и красная — выполнена с величайшей скрупулезностью. На одной изображена ухмыляющаяся морда какого-то чудовища с глазами-щелочками, мечущими искры, на другой — эмблема корпуса морской пехоты: орел со змеей в клюве. От этого человека веет какой-то легендарной мощью, нам, европейцам, неведомой, а посему таинственной и пугающей. Это не тот молодой гунн, который знаком нам из истории, а его современная копия, сконструированная из новейших материалов по его образу и подобию.

Жара невыносимая. Солнце в зените, обжигает. Укрыться негде: низкий кустарник кишит муравьями и комарами. Почва раскалена, жар проникает даже через толстые резиновые подметки, невозможно устоять на месте.

Один из солдат принял меня за француза и завел разговор на своем нью-орлеанском наречии, но понять его оказалось почти невозможно. Когда я объяснил, что я итальянец, ко мне подскочил парень по имени Кармело Чиполлоне, родом с Сицилии. Ему девятнадцать лет. Он тут же затараторил по-итальянски. «Марины» окружили нас, восклицая со смехом:

— Mafia, italian mafia!² Свой свояка видит издалека!

¹ «Белый кролик» — фотография красотки, позирующей в полуобнаженном или обнаженном виде для американского «журнала для мужчин» под названием «Плейбой».

² Мафия, итальянская мафия! (Англ.)

И в самом деле, Кармело тут же выразил желание поделиться со мной всем, что у него есть. Сицилийский диалект свой он еще не забыл, шпарит всюю. В США он живет одиннадцать лет. Я интересуюсь, участвовал ли он в боях. Он отвечает, что рота его уже имеет на счету четыре «имбоскаты» — засады. Услышав знакомое слово, к нам подошли другие солдаты; каждый хочет рассказать, как было дело.

Слушая их, я понимаю, что для этих ребят война протекает в какой-то нереальной атмосфере, очень похожей на сон.

Все, с кем мне приходилось разговаривать, тотчас сообщали, сколько месяцев, дней и часов осталось им до возвращения домой. Я попытался копнуть поглубже, выяснить, что они думают о причинах вьетнамской войны. Оказалось, понятия ни о чем не имеют! Вьетнам рисуется им чем-то вроде Луны, населенной невидимыми таинственными существами — лилипутами, или же вроде дьявола, непрерывно плодящего чертенят и гномов, как в средневековой причке. Вопросы они не задают, а молча и безропотно делают, что им говорят, — с покорным, наивным послушанием, какое можно наблюдать у некоторых глухонемых. Их гнетет сознание какой-то безысходности... Впрочем, оно у американцев в крови.

У некоторых в вещмешке есть книжка. Чаще всего это «покет бук»: на обложке — полуобнаженная красавица или нацистский офицер с хлыстом в руке; или же «вестерн» под названием «Муки и восторг». Но ни у одного из солдат нет книжки о Вьетнаме.

Один оказался владельцем бензоколонки компании «Амоко» на одной из автострад Небраски. Он ни разу в жизни не выезжал из своего штата: из Небраски прямым сообщением прибыл сюда; не видел Сайгона, понятия не имеет, что из себя представляет Вьетнам и где он расположен, политикой никогда не занимался, газет не читает. О Вьетнаме знает только одно: что здесь «тапу, тапу VC»¹ и что их надо захватывать живьем.

Мы заговорились: пора, капитан уже формирует патрули.

Подобно густому гребешку, мы пробираемся сквозь чахлый кустарник и мелколесье, эгибаем воронку от бомб, предусмотрительно проложивших нам путь. Блуждаем часа три, пока не соединяемся с другими патрулями, шедшими нам навстречу с противоположной стороны. Духота, как в турецкой бане.

1 апреля, на рассвете.

Пишу с трудом: очень дрожат руки. Дрожит все внутри, и дергается правое веко. Вчера вечером на закате все было тихо и спокойно, как вдруг раздался выстрел из миномета. И тотчас после этого начался настоящий ад. Я сразу бросился наземь. Вокруг рвались снаряды, меня засыпало землей, над головой со свистом пролетали осколки. Минометный огонь длился минут двадцать без единой передышки. Меня всего трясло, хотя внутренне я был совершенно спокоен. Думал о дорогих мне людях, но мысли путались. Надо было сосредоточиться и сообразить, как лучше укрыться. Я стал шарить вокруг, нет ли небольшого пригорка, но ничего похожего не обнаружил. Попытался разглядеть, что происходит, но надо мной стояла густая туча пыли, не было видно ни зги. Я пожалел, что не залег в воронке, мимо которой прошел всего за несколько минут до этого, — о таком убежище можно было голько мечтать. Но до нее было метров десять, а двигаться я не хотел, да и не мог. После того, как взорвались первые снаряды, я отчетливо слышал треск пулемета — где-то рядом, совсем рядом. Мне и теперь казалось, что поблизости раздаются, так сказать, «малые» шумы: вот звякнула вставляемая обойма, послышались приглушенные голоса. Когда я поднимал глаза, я видел, как отламывались, взлетали кверху и падали ветки кустов, под которыми я лежал. Я слышал, как орали и матерились капитан и солдаты. Я ломал себе голову: где американцы и где атакующие? Через двадцать минут минометный огонь сменился треском пулеметных очередей, взрывами ручных гранат и винтовочными выстрелами. Иногда наступала тишина, нарушаемая лишь проклятиями и воплями раненых.

Стало быстро темнеть. Я вглядывался в сгущавшиеся сумерки; в воздухе все

¹ «Много, много ВК» (англ.).

еще висело черное облако пыли, и рассмотреть, кто рядом со мной перебегает и стреляет, было невозможно. Так я и пролежал в полузабытии в течение всего боя. Внезапно стало светло, холмы залило резким искусственным светом. Я расслышал гул самолетов: они сбросили осветительные ракеты.

Согнувшись в три погубели, я потащился назад, к воронке. На дне ее я увидел четверых солдат с пулеметом. Они подали мне знак, чтобы я спрыгнул. Так я и сделал. Двое легко ранены. У одного располосована вся спина, рана сильно кровоточит, но он, видимо, ничего не чувствует. Первое, что я спросил, было:

— Сколько их?

Солдаты, разумеется, не знали.

Половину ночи я провел, прислушиваясь к голосам и стонам раненых. Казалось, кто-то дышит натужно, тяжело, совсем близко, в нескольких метрах от нас. Потом я свалился и заснул. Который был час, не знаю. И спал до сих пор. Сейчас оветает. Наступило утро 1 апреля. Ничего себе — первоапрельская шутка!

1 апреля, 12 часов дня.

Я проснулся от гудения вертолетов, увозивших убитых и раненых. Они пролетали над самой головой, на высоте одного-двух метров, вздымая волну горячего ветра. Из одного вертолета вырвалась окровавленная простыня; она трепыхалась на ветру, как знамя. Я вылез из воронки, впервые за много часов распрямился и пошел через лес к прогалине, где был сборный пункт. Солдаты рыли окопы. Руки и спины их были в кровь исцарапаны осколками мины и колючками. Многие перевязали царапины бинтами, залепили пластырем, но большинство ограничилось тем, что наспех продезинфицировало их какой-то настойкой цвета семги.

Я подошел к молодому капитану, стоявшему у полевого телефона, и спросил, что произошло.

— Засада, — ответил он. — Минометы были установлены вон там, — указал он на низкий холм по соседству с нами. — А пулеметы были здесь! — Он кивнул в сторону небольшого леса.

— Сколько их было?

— Не знаю.

— А каковы потери?

— Семнадцать убитыми и тридцать шесть ранеными. Только что кончили отправку.

— Американцев сколько было?

— Сто двадцать. Лейтенант тоже убит.

— А среди вьетконговцев есть убитые?

— Да, но сколько — не знаю. Сейчас прочешем местность, тогда выяснится.

Я следую за ним. В пятидесяти чetraх от прогалины, на небольшой возвышенности обнаруживаем пулемет. Рядом с пулеметом, в нескольких шагах от него, — трое убитых. Совсем мальчишки: лет по шестнадцать — семнадцать, не больше. Тела обезображены глубокими ранами; у того, что помоложе, разможен череп. Пострижены, как все новобранцы: затылок и виски наголо, а посередине чубчик. Чубчики слиплись от запекшейся крови. Судя по тому, что вокруг белели обрывки бинтов, ночью они пытались перевязывать раны. Немного подальше — опять бинты, резиновая обувь цвета хаки, колониальные соломенные шлемы. Поднимаю один такой шлем и вижу: внутри чернильным карандашом нетвердым мальчишечьим почерком с завитушками написано: Нгуен Ван Кхан 9—12—1966. Это дата вступления в армию; значит, провоевал неполных четыре месяца. Из нагрудного кармана торчит авторучка, заправленная синими чернилами. Часов ни у кого нет, личного оружия тоже. Возможно, прихватили с собой те, кому удалось уйти. Впрочем, если убитые были пулеметчиками, личного оружия у них не было. Поодаль под кустами я разглядел куски нейлоновой ткани, несколько гранат и мешочков с мелким вареным, липким, как патока, рисом. Ни у одного из убитых нет удостоверения личности, все имущество — серый картонный коро-

бок, а в нем две бутылочки нашатыря, два бинта и кусочек мыла величиной не больше фишки домино, аккуратно завернутый в бумажку и перетянутый резинкой.

Немного погодя я обнаруживаю в кустарнике еще двоих: вокруг них тоже белеют зацепившиеся за кусты бинты. Сведенные судорогой руки их вдвое меньше моих. Солдатская форма защитного цвета из некачественной материи; неизменная авторучка — самое ценное их достояние, которое уже никогда им теперь не понадобится, худенькие птички затылки, остриженные накануне атаки... У одного замечаю на запястье нарисованные лиловыми чернилами «часы» с цифрами, стрелками и ремешком; наши деревенские школьники из бедных семей тоже рисуют себе такие. Вдруг под кустом у моих ног возникает какой-то дрожащий комочек с поднятыми руками. Увидев, что у меня нет оружия, он, сложив руки, отвешивает по-вьетнамски поклон. Я не знаю, как быть... Надо бы сделать вид, что я его не заметил, но вслед за мной «марины» прочесывают местность...

Я решаю сказать ему, чтобы он скрылся, обращаюсь к нему по-французски, но он не понимает, не отвечает мне. Он продолжает сидя отвешивать поклоны, а на лице — мольба, ужас, боль. Голова его все время клонится набок, он пытается встать, но не может, валится на землю. Я бессилен что-нибудь для него сделать, не могу ни спрятать его, ни помочь бежать. Единственное, что я могу, это взять с собой, отвести в лагерь. Я помог ему встать. Ростом он мне до плеча. Подошел один из солдат, и мы вдвоем донесли его до прогалины. Пленный не сводит с меня глаз и знаками показывает, что хочет то ли есть, то ли пить, не пойму. Обе мои фляги пусты. Я прошу дать для него воды — мне не отвечают. Мы проходим сквозь строй разъяренных морских пехотинцев, они орут ему какие-то фразы на сленге, которых я не понимаю. Понятно лишь, что кричит солдат-негр, потому что он сопровождает слова выразительным жестом: проводит указательным пальцем поперек горла. Некоторые подходят с фотоаппаратами.

Прикомандированные к нашей части двое фоторепортеров — один вьетнамец из Ассошиэйтед Пресс, другой француз — тоже приступают к делу. Два солдата уводят пленного, связывают ему руки за спиной. Непонятно, какая в этом надобность: он же едва держится на ногах от слабости и страха; если его не поддерживать, он рухнет. Он смотрит на меня и, перед тем как дать себя связать, снова просит попить. Я во второй раз обращаюсь к солдатам с просьбой дать мне воды; вместо ответа — угрюмое молчание, сопровождаемое злобными взглядами. Ягодом с «маринами» пленный выглядит подростком: он раза в три-четыре меньше любого из них. Он, наверное, и американца-то ни разу в жизни не видел, не то что «марина», такого огромного татуированного детину! Я прошу вьетнамца-фоторепортера поговорить с пленным. На его вопросы он не отвечает или не хочет отвечать, он лишь тихо стонет. Репортер смеется нехорошим смехом. Этот обезьяньего вида человечешко, типичный предатель, явно разгадал мои мысли и не хочет выступать в качестве переводчика. Не переставая гнусно хихикать, он спрашивает:

— You like VC?¹

Подобная фраза в такой момент могла вызвать со стороны американцев весьма опасную реакцию. Не пойму, зачем он ее сказал, — с провокационной целью, ввиду слабого знания английского языка или просто по глупости. Чтобы не поддаться искушению оттащить его за уши, я повернулся и отошел.

Я еще долго бродил по лесу в радиусе ста — двухсот метров от прогалины, наткался на заскорузлые от запекшейся крови солдатские куртки, окровавленные бинты и другие предметы. Вот американская пластмассовая фляга и вьетнамская пластмассовая же мыльница, водонепроницаемая ткань, тетрадка. Приглядываюсь: вещи изорваны в клочья, исполосованы, изрешечены — словом, приведены в негодность, так же как и люди, которым они принадлежали. И вещь и человек изнашиваются, но как велика разница между износом, происходящим постепенно, день за днем, и тем внезапным изверским уничтожением, что происходит на войне!

¹ Вы любите вьетконговцев? (Англ.)

Вот след от пули, пробившей пластмассовую мыльницу и флягу; можно подумать, что по ним прошлись паяльником! Как резко контрастируют эти рваные края с остальной отполированной поверхностью... Штампованная пуля проделала дыру, но не штампованную, а причудливую, единственную в своем роде... Форму ее предугадать невозможно, как невозможно предугадать, куда человека ранит и где разорвется пуля — в суставах, в голове, в мышцах. Но и вещи и человеку здесь уготованы одни и те же травмы, одинаковая неподвижность, один конец.

Прибыл вертолет — должно быть, это наш, за мной и за фоторепортерами, — но капитан пока не разрешает нам садиться. Солдаты разгружают канистры с водой (мы жадно на нее набрасываемся), загружают вертолет порожними канистрами, а поверх них швыряют пленного вьетнамца. Нам придется подождать следующего рейса.

Мне опять попался на глаза этот сицилийский парнишка, Чиполлоне.

— Я проискал тебя все утро! Думал, ты убит! — признается он и, суеверный, как все южане, делает пальцами «рожки» от «сглаза». — Что ты здесь делаешь? Это твоя работа?

— Некоторым образом да.

— Когда в Италию?

— Дней через десять.

— Счастливый ты человек! А я только прибыл. Но мадонна не даст меня в обиду!

Он демонстрирует мне жестяной образок на красном сукне — вроде тех, что у нас вешают на алтари святых угодников.

— Ну, я пошел, меня зовут! Давай условимся: в случае чего ты только свистни: «Кармело!» — и я тут как тут! Идет?

Жаль, что я не лингвист, а то бы я с помощью какой-нибудь мудреной транскрипции воспроизвел звучание и интонацию этих слов. Но, пожалуй, еще выразительнее, чем его язык, весь облик Кармело, его фигура сицилийца, наконец-то подросшего, отъезжего на американских хлебах, дышащая безотказной, безропотной, молчаливой готовностью подчиниться, его специфическая сицилийско-американская манера двигаться, эта его сицилийская черноглазость и курчавость в американском оформлении, иначе говоря — сицилийская живость, смекалка, плутоватость, отяжеленные осоловелым, туповатым американским добродушием.

Приближаются самолеты — четыре «фантома» и четыре «крусейдера»: они идут на огромной скорости по вызову небольшого самолета-разведчика, высмотревшего небось тех самых вьетконговцев, которые обстреливали нас ночью из миномета. «Фантомы» начинают пикировать прямо над нашими головами и сбрасывают бомбы на соседний холм, на расстоянии чуть побольше километра. Сначала я вижу блеснувшие на солнце бомбы, потом дым, потом слышу взрыв. Затем включаются «крусейдеры»: они сбрасывают напалмовые бомбы, от которых вздымается густое черное облако; запах керосина постепенно доходит и до нас. При втором заходе я отчетливо вижу, как в пыли и дыму, распластавшись под взрывами, исчезает горб холма. Наконец раздается какое-то хрюканье или, точнее, хрип, предсмертный хрип исполина, повторяющийся с небольшими перерывами при каждом пикировании. Это скорострельные пушки «фантомов», производящие десять тысяч выстрелов в минуту.

Да Ханг, 2 апреля, вторая половина дня.

Я жду самолета — должен вылететь в Плейку, на самую крупную базу плоскогорья. Вчера в полночь (я уже забрался в палатку ПИО и улегся спать) начался сильный артобстрел: стреляли все по тому же холму, развороченному бомбами и напалмом. Стреляли из стосемидесятимиллиметровых орудий; снаряды, проделав траекторию в тридцать пять километров и прибыв на место назначения, пробурывали все новые и новые воронки среди смерти и пепла. Зачем? Я подумал, что в этой войне столкнулись не на жизнь, а на смерть не только две идеологии, но, если приглядеться, прежде всего два типа людей: естественный человек (вьетнамец) с человеком искусственным (американцем).

Это столкновение порождает подчас странное явление — своеобразный гибрид, которому свойственны одновременно и биологические и «индустриальные» черты. Из отбросов прежней и новой цивилизации вынырнули какие-то ловкие, напористые, алчные личности — «акулы» нынешнего Сайгона, все те, кто пригрелся под крылышком у американцев. Из того, что происходит вокруг них, они делают вывод, что вместо природы в мире воцарилась Америка, которая искусственным образом, с помощью своей индустрии, вершит жизнь и смерть. Одновременно с фосфорными и напалмовыми бомбами — смертоносной продукцией сильнейшей промышленности мира — оттуда приходят изделия для жизни: телевизоры, картинки «Плейбоя», бриллиантин для волос и культ денег. Короче говоря, «гибриды» привыкают к мысли, ибо убеждаются в этом воочию, что жизнь человеческая, которой распоряжалась до сих пор одна природа, имеет начало и конец и что, оказывается, никакой тайны в ней, как и в смерти, не заключено.

Однако продукция «искусственной жизни» дальше Сайгона не идет. Вьетнамской деревне пока что было дано познать лишь смерть.

В миниатюрной распивочной возле взлетной дорожки я встретил двух «коммандос» — солдат некоего загадочного рода войск, именуемых «войсками особого назначения», или «Special Forces». «Коммандос» выглядят весьма живописно и держатся особняком; на них возлагаются особые поручения. Один из них — надраенный до блеска, сверкающий металлом, как премия «Оскар», — балагурит с молодой продавщицей. Он подсовывает ей пятидесятипиастровую ассигнацию Демократической Республики Вьетнам и ждет, не разменяет ли она ее. Девушка непонимающе уставилась на него, оба молодчика ржут. Мне хочется взглянуть, какие у северовьетнамцев деньги, и я прошу показать мне ассигнацию. Парень протягивает мне целую пачку. Я поинтересовался, откуда у него столько северовьетнамских денег. Он вдруг насупился, ощерился:

— А тебе какое дело? Ты кто такой?

Я объясняю, что я итальянец, штатский, нахожусь здесь проездом. Несколько смягчившись, он отвечает:

— Наскреб в карманах у одного вьетконговца, которого я пристрелил.

— У вьетконговцев не может быть северовьетнамских денег.

Он замылся, осклабился, пожал мне руку и пошел прочь. Когда несколько минут спустя мы встретились снова, «коммандос» стали мне наперебой объяснять, что нашли деньги в кармане у солдата регулярной северовьетнамской армии. Но мне что-то не верится, что это так. Может быть, я и ошибаюсь, но думаю, что деньги добыты на Севере, куда эту парочку посылали с заданием.

Существуют также южновьетнамские «войска особого назначения». Вернее, американцы из «Special Forces» находятся во Вьетнаме официально в качестве их «advisers» — советников. Жить им положено вместе. Низкорослые вьетнамцы стараются во всем подражать своим эффектным американским советникам: одеваться, как они, носить такие же пистолеты и, главное, имитировать их походку. В результате если американские «коммандос» выглядят такими суперменами, вьетнамцы напоминают танцоров из «варьете». Зеленые беретки свои они носят, кокетливо надвинув на лоб; любят нацеплять на себя цветастые шейные платки, многочисленные эмблемы, увешиваться патрон-ташами. Они напоминают мне чернявеньких, кудрявых, напомаженных чернорубашечников из Черной бригады или из Десятой МАС¹.

Плейку, 2 апреля.

Плейку — огромная военная база США в центре обширного плоскогорья. Здесь расквартирован 4-й пехотный полк, по сравнению с которым морская пехота — голь перекатная. Вертолетами здесь пользуются запросто, как такси; офицеры живут в эле-

¹ МАС (сокращенно от «Мовименто антисоверсиво» — «Движение против подрывной деятельности») — фашистские ударные части, созданные в конце второй мировой войны в Северной Италии для подавления партизанского движения.

гантных коттеджах; у летчиков имеется великолепный клуб с оркестром гитаристов а-ля «битлз»; красивые, элегантно одетые вьетнамские девушки с замысловатыми прическами, умашенными американским лаком — бриллиантином, бродят из дома в дом или сидят на скамейках и награждают вас долгими неотразимыми взглядами. В центре большого, подстриженного по-английски газона расположилась «барбекью», где офицеры и унтер-офицеры заказывают себе внушительные бифштексы.

Вечерет. Воздух легок и свеж, как на летнем курорте. Солдатские столовые — просторные, чистые, с самообслуживанием по-американски. Здесь пьют много холодного пива. На вершине соседнего холма топорщатся два гигантских уха радара; это высшая точка военной базы Плейку, сооруженной в течение нескольких месяцев, так же, как и военные базы Да Нанг, Кам Рань Бай и другие, на голом месте, где не было даже воды.

Меня встречает майор информационной службы — мексиканец, человек степенный, ни во что и никому не верящий. Речь зашла о вьетконговцах и об упорном сопротивлении местного населения. Майор улыбается иронически, снисходительно.

— Они отлично усвоили, что значит вот это, — говорит он и потирает большой палец об указательный. — Американцев они никогда не полюбят, это точно, но полюбят звон их презренного металла.

Я спрашиваю, долго ли, по его мнению, продлится война. Он, не переставая улыбаться, степенно отвечает:

— Года два, три, а то и все четыре. Да еще лет семь-восемь понадобится для окончательного замирения.

— Но, судя по всему, они здорово держатся!

— Гм-гм... Нет, сеньор, здесь Вьетконгу крышка! Люди как глянут на этот холм, так сразу чувят, что тут богатство. Война всем осточертела. У ВК ничего больше нет. А земля-то держится на деньгах, сеньор мой! Там, где динеро¹, прости-прошай коммунизм...

После ужина я прогулялся до поселка, расположенного в нескольких километрах от базы. «Динеро, — говорит майор-мексиканец, — свое берет». А здесь денег нет. Слоняясь по поселку, я забрел в квартал «веселых домов», самый знаменитый во всем Вьетнаме. Это гениальное изобретение одного вьетнамского генерала, позаботившегося о нуждах расквартированных на здешней базе американских и вьетнамских военнослужащих. «Веселое» заведение представляет собой строение барачного типа, некое сочетание спортзала и спальни со множеством кроватей, отгороженных одна от другой занавесками. Среди многочисленных вьетнамок замечаю нескольких «профессионалок»-француженок, недурных собой. В помещении стоит запах какого-то дезинфицирующего средства и сандалового ладана. Пол деревянный, из тека, такой же, как в некоторых пагодах, — натерт до блеска и ослепительно чист; повсюду расставлены плевательницы.

На обратном пути я заглянул в бар лагеря. Он завален коробками из-под пива: пустые пивные коробки громоздятся на столах, на стойке, на стульях, валяются на полу. По расходу на душу американского населения во Вьетнаме пиво занимает второе место после боеприпасов. Американские солдаты покупают обычно корбкок по пять-шесть и выдувают их в один присест.

3 апреля, 11 часов.

Я нахожусь в одном из самых дремучих лесов Вьетнама, километрах в тридцати от Плейку. В этом месте высоченные деревья, лианы, кустарник вырублены, образовалась большая прогалина; чувствуешь себя здесь, как на дне огромного зеленого колодца. Прогалина изрыта траншеями; на небольшой площадке — четыре стопяти-миллиметровых орудия и множество пулеметных заграждений. Оглушающе громко стрекочут цикады. Потом вдруг, непонятно почему, умолкают, и в лагере воцаряется

¹ Деньги (исп.).

тишина, нарушаемая лишь жужжанием комаров. Фигуры людей, сталь пушек и снарядов как бы тоже проникаются безучастной неподвижностью природы. В такие минуты жара превращается в нечто осязаемое, в гигантскую мешанину из человеческой плоти, леса, пушек и насекомых, пронизанную сеткой кровеносных сосудов; размеренно, плавно пульсирует человеческая кровь и сок растений. Думать о чем-нибудь трудно, потому что в такие минуты, разморенный жарой, человек невольно отрешается от своего, личного, и приобщается к медлительному, неотвратимому, автоматическому течению растительной жизни.

Начальник отряда — высокий, необыкновенно изящный, полуобнаженный негр — склонился над топографической картой. Вечером лагерь будет перенесен с помощью вертолетов на другое место, километрах в семи к северу. Я спрашиваю его, в котором часу отправится в лес патруль. Мне известно, что в каждом таком лагере дважды в день — один раз утром, другой раз вечером — формируется патруль, который отправляется часа на четыре прочесывать местность. Капитан смотрит на меня в замешательстве, потом, взглянув на часы, чуть насмешливо спрашивает:

— Вы что, желаете присоединиться?

— Да, если это возможно.

— О'кэй. Будьте готовы к половине первого. У вас есть шлем?

— Нет.

— Возьмите мой.

Я беру шлем и ухожу. Он провожает меня долгим взглядом, потом вдруг подзывает снова:

— Вам известно, что мы сегодня вечером снимаемся?

— Да, мне говорили.

— И вы все равно хотите идти?

Я не понимаю, зачем он мне это говорит, и отвечаю утвердительно. Он снова смотрит на меня с легкой усмешкой в глазах и, пожимая мне руку, повторяет:

— О'кэй!

Ждать осталось полтора часа. Я наполнил свои фляжки и пошел поискать местечко в тени, где-нибудь в окопе. В окопе я познакомился с двумя солдатами — американцами мексиканского происхождения. Один — усач лет пятидесяти, похожий на Панчо Виллу, другой — тощий и запуганный восемнадцатилетний юнец. Они уже знают, что я собираюсь идти с ними, — эти двое как раз включены в патруль. Вид у них печальный, я бы даже сказал, обреченный. В укрытие заглядывают другие солдаты явно с целью посмотреть на меня. У этих вид недружелюбный, словно я перед ними чем-то провинился. Почему, не понимаю: такое враждебное отношение к себе я чувствую впервые. Беззлобно смотрят только двое мексиканцев: вражды в их взгляде нет, есть только покорность и обреченность. Я подумал: надо с ними поговорить, подружиться. Спрашиваю, были ли в последние дни атаки. Парнишка — он во Вьетнаме всего три недели — рассказывает, что четыре дня тому назад, пробираясь сквозь джунгли, их патруль попал в засаду. Американцы потеряли убитыми двадцать два человека, вьетконговцы — сто двадцать. Вьетконговцы, чтобы метче стрелять, взбирались на верхушки деревьев. Они знали, что идут на верную гибель, но знали и другое: что оттуда можно убить больше американцев. Так объяснил потом солдатам один из пленных.

Пришел начальник патруля, маленький, нервный сержант с очень светлыми глазами, которые он все время как-то странно тарашил. Я сообразил, что сержант мертвецки пьян, и встревожился. Один за другим прибывают остальные двадцать, молча меня разглядывают; некоторые, бросив едва слышное «хэлло», сумрачно переглядываются. Тогда Хесус Марна Бетанкур — так зовут усатого мексиканца — отвел меня в сторону и сказал, что патруль снаряжают специально для меня. Плаксивым, жалобным голосом он объяснил, что поход этот очень опасен: учитывая, что лагерь вечером в любом случае переведут в другое место, искать нас, если с нами что-нибудь случится, будет некому. Меня обуял страх — такой, какого я еще ни разу не испытывал: настоящий, потому что необъяснимый, неодолимый и, к сожалению, трудно скрываемый.

Я пускаю в ход свой единственный заслон: разум. Соображаю: самый логичный и в моем положении вполне законный выход: пойти к капитану и сказать ему, что снаряжать специально для меня патруль нет никакой нужды,—одним словом, что я идти отказываюсь. Но я понимаю, что это невозможно, да и бесполезно, так как приказ отдан, солдаты — в полной боевой готовности. Стало быть, если я предложу поход отменить, я-то останусь, а они все равно пойдут, будут клясть меня на чем свет стоит, но пойдут. За каких-нибудь несколько минут куртка моя промокла от пота, хоть выжимай; и ни от кого это не укрылось. Мы тронулись в путь.

17 часов.

Я вернулся. Страх, сковывавший меня в течение первого получаса пути, малопомалу прошел, сменившись бесконечным удивлением при виде открывшейся моему взору картины. Густой кустарник, порой настолько непроходимый, что пробраться через его заросли можно лишь с помощью мачете, во многих местах, на обширных пространствах, почти полностью уничтожен напалмовыми бомбами. Поэтому идешь будто по ковру из пепла, перелезаешь через дымящиеся стволы, дышишь запахом керосина. Повсюду зияют большие и малые воронки. Стоит мертвая тишина. Только вдруг отчаянно застрекочет хор цикад или проскрипит, просвистит птица. Населявшие эти леса слоны, тигры, змеи, обезьяны всех пород, дикие буйволы в ужасе умчались по направлению к Камбодже или в другие лесные массивы, на север, подальше от военных операций и самолетов.

Там и сям на покрытой пеплом земле или в густой листве деревьев белеют сброшенные с самолетов листовки. Из живых существ остались только красные муравьи, лавиной низвергающиеся с деревьев (острая боль от их укусов сравнима разве что с болью от инъекции, если игла угодит рядом с сухожилием), да невесть откуда появляющиеся тучи мельтешащих мотыльков, которые бесстрашно садятся вам на шлем, на плечи, на спину. Засада как будто не грозит. А впрочем, можно нарваться в любую минуту: пройдя с километр, мы наткнулись на длинный шалаш, покинутый явно незадолго до нашего появления. В шалаше обнаруживаем еще не остывший пепел от костра и рис. Солдаты крадутся, по-кошачьи озираясь вокруг, с автоматами наперевес. Противник почти наверняка где-то рядом — может, зарылся в землю, решил отсидеться и понаблюдать за нами, выждать. А мне почему-то весело: место очень красивое; несмотря на воронки и следы напалма, оно не утратило своего таинственного очарования и девственной чистоты. И я подумал, что оросить эту землю своей кровью, отдать ей свою кровь всю без остатка было бы не так уж плохо. А жара ускорила бы и завершила остальное.

Отряд остановился на минуту передохнуть и проверить по компасу, где мы находимся. Мы продвинулись на три километра в западном направлении, стало быть, находимся всего в шести километрах от границы с Камбоджей.

С того момента, как со мной заговорил начальник патруля, солдаты перестали на меня коситься.

— Ты первый раз в джунглях? — спросил он.

— Да.

— Very good,— похвалил сержант и, подмигнув, протянул мне флягу с водой.

Хмель у него прошел, глаза, недавно затуманенные алкоголем, смотрели зорко, пронизывающе. С его легкой руки лед тронулся, подошли солдаты, завязалась тихая беседа. Но сержант приказал отставить разговоры. Двинулись дальше. На пути нам попалась длинная саванна, потом шли, увязая по колено в трясине. Мертвые деревья торчали из болота, как колонны из белого камня,— так изъели их миллиарды муравьев, комаров и прочей живности.

В лагере капитан-негр встретил меня вопросительным «о'кэй». Ему хотелось знать, удовлетворен ли я походом.

День клонится к закату. На опушке леса, окруженный двумя десятками коленопреклоненных фигур, служит мессу католический священник в длинном маскировоч-

ного цвета стихаре из парашютного шелка. Один из ребят вторит священнику, звонит в колокольчик; все встают и, сложив руки, зажмурив глаза, будто в первый раз, вереницей подходят причащаться.

Дук Ко, 3 апреля, вечер.

Дук Ко — артиллерийская база, самая крупная в этом районе; здесь размещены четыре стосемидесятипятимиллиметровых дальнобойных орудия, десять стопятимиллиметровых и много восьмидесятимиллиметровых минометов, хотя площадь база занимает небольшую и поначалу была известна как лагерь «Special Forces». Артиллерию подключили сюда позже. Расположена база на плоскогорье, окруженном холмами, защищена и укреплена как ни одна другая: доступ к ней преграждает широкий ров, вдоль которого через каждые десять метров насажены пулеметные гнезда. База Дук Ко располагает пятью тяжелыми танками, оснащенными пушками, опоясана восемью рядами колючей проволоки, а дальше — полосой земли примерно в сто метров, утыканной по вьетнамскому образцу заостренными бамбуковыми шестами-пиками.

Командант неосторожно проговорился, что предоставить мне ночлег не составит труда, так как в лагере «Special Forces», расположенном поблизости, много свободных комнат. Он тут же послал туда человека, но, судя по тому, что переговоры сильно затянулись, получил отказ. В итоге меня уложили спать в окопчике, прикрытом мешками с землей, неподалеку от одного из стосемидесятипятимиллиметровых орудий, предварительно вытупив оттуда постоянных жильцов.

Я отправляюсь в лагерь «Special Forces», то есть к тем, кто так по-хамски отказал мне в жилье, и замечаю, что лагерь «коммандос» отгорожен от артиллерийской базы строго по уставу: дорогу преграждает шлагбаум, рядом со шлагбаумом — будка часового. Часовой — вьетнамец из «Special Forces» — хотел было меня остановить, но видя, что я энергично шагаю прямо к дому офицеров, заколебался и пропустил. Вхожу в офицерское помещение, оглядываюсь. В первой комнатухе вижу молодого светловолосого капитана с породистой внешностью; он сидит за столом в розовой майке и пижамных брюках и обедает. Рядом с ним, а также в соседней комнате у телевизора развалились какие-то звероподобные типы, нечто среднее между людьми и динозаврами: бритые головы, лица изрыты оспой, руки как грабли, глаза светятся фосфорически или подобно расплавленной смоле. Форма одежды, мягко говоря, «вольная»: простая черная, как у вьетконговцев, пижама, на ногах вьетконговского же образца сандалии (подметки из автопокрышек, тесемки, завязывающиеся вокруг лодыжек, нарезаны из автомобильной камеры) — словом, пижонство, доведенное до абсурда. Но в отличие от вьетконговцев «коммандос» носят на ковбойский манер, сбоку, увесистый кольт двенадцатого калибра.

На меня эти снобы посмотрели весьма недружелюбно, свысока. Некоторые так и остались сидеть спиной, а один — с голой татуированной грудью, в черных пижамных брюках, сползших ниже живота, — потребовал предъявить документы. Вперив сумрачный взгляд в мое удостоверение, затем молча уставившись на меня, он не спешил с ответом, видимо желая меня спровоцировать на скандал или запугать. Я был готов дать отпор, что бы ни случилось.

По затянувшемуся молчанию и по перехваченным взглядам капитан понял, что атмосфера слишком накалилась, и с улыбкой пригласил меня к столу. Это был парень из Бостона с чистыми, голубыми, как у Кеннеди, глазами, тоже сноб, но более высокого пошиба — в общем, младший отпрыск рода, отправившийся в крестовый поход. Улыбаясь и чуть склонив к плечу стройную шею, дабы придать внушительность своей пока мало внушительной юношеской фигуре, он предлагает мне разделить с ним трапезу, угощает чаем, ликерами.

Капитан старается мне внушить, что главная задача «войск особого назначения» — создание стратегически надежных поселений и помощь местным жителям, освобожденным из-под власти вьетконговцев. В то же время, продолжает он, «коммандос» обучают местные «войска особого назначения» — инструкти-

руют их, как надо осуществлять операции на вражеской территории. Создаются смешанные американско-вьетнамские отряды численностью до двенадцати человек; их направляют на разведку в джунгли. Операции длятся от пяти до пятнадцати дней. Цель их — обнаружить расположение противника, сделать соответствующие фотосъемки, завербовать информаторов и наметить план засады. Или же допросить жителей деревень, чтобы выявить среди них вьетконговцев, лиц, подозреваемых в содействии вьетконговцам и сочувствующих им. «Коммандос» обязаны жить вместе с вьетнамцами, стараться говорить на их языке, изучать их обычаи, раствориться в массе. Таковы цели официальные. Что же касается неофициальных — капитан имеет в виду, скажем, методы допроса местных жителей или разновидности операций на территории противника, — то они оглашению не подлежат. Общение с вьетнамцами, точнее с вьетнамками, по его словам, можно наблюдать на примере вьетнамских женщин или женщин из горных племен радек и ярай, работающих здесь официантками и судомойками.

Атмосфера, царящая в офицерском бараке, где я заметил также нескольких вьетнамцев, напоминает какой-то эпизод из фантастического романа или комикса типа «Гордон Флэш среди пигмеев».

Я спрашиваю капитана, во скольких операциях он участвовал.

— Я здесь всего месяц и пока участвовал в одной-единственной операции, она только вчера закончилась, длилась целую неделю. Нас атаковали. Я убил двух ВК. Остальных мы взяли в плен.

— В порядке так называемой «охоты на коммунистов»?

Он улыбается.

— А как же насчет замирения?

— В этом районе живет горное племя ярай. С вьетнамцами у них нет ничего общего, да и язык совсем другой. Когда-то они переселились сюда с островов Тихого океана. Им приходится туго: ВК забирают у них рис, заставляют вступать в партизанские отряды. Мы же снабжаем их рисом, обеспечиваем безопасность и уже приступили к строительству первых школ. Ярай и радек — люди неплохие, но очень уж примитивные.

Ко мне зашел командир вьетнамских «войск особого назначения», молодой человек из буржуазной сайгонской семьи, очень воспитанный и печальный. Учился он во Франции. Я спросил, как получилось, что он вступил в «особые войска».

— Видите ли, мсье, я выходец из буржуазной семьи, следовательно, иного выхода, кроме Америки, у меня не оставалось. Родом я из Тонкина, но на Севере людям буржуазного происхождения места нет. Там классовая ненависть. Хотя, с другой стороны, в нашей семье все националисты...

— Но ведь Фронт национального освобождения — это не только коммунисты! В него входят тридцать две политические группировки, в том числе и националистическая!

— Это неправда, мсье, неправда, поверьте мне! Так только говорится, для отвода глаз. Типичное вьетнамское очковничество. Вы же знаете, вьетнамцы очень лживый народ.

— Однако если вы действительно националист, то как вы можете терпеть, чтобы в вашей стране хозяйничали американские войска?!

Он смотрит на меня с грустной улыбкой.

— Из двух зол это меньшее. Ведь все хотят жить. К тому же американцы не такие обманщики, мсье, они на самом деле помнят о своих демократических традициях и с Макиавелли незнакомы. Потому им и не дано понять ни вьетнамцев, ни коммунизм, ни Азию. Все-таки американцы для нас кое-что делают.

— Вы думаете, война продлится долго?

— Долго, мсье, очень долго... Вьетнамцы, помимо того, что они лгуны, еще и упрямцы. Знаете, что мы делали, чтобы в течение тысячелетнего китайского владычества не ассимилироваться? Покрывали зубы черным лаком. До сих пор многие так делают. Вьетконговцы сильны, мсье, и народ — кто добровольно, кто нет — весь на их стороне. К тому же за последние двадцать лет они здорово наловчились воевать! И страну знают как свои пять пальцев.

На столе лежит несколько принесенных им небольших бамбуковых стрел.

— Это и есть их оружие? — удивляюсь я.

— Да, мсье.

— Какое же это оружие?!

— О, еще какое, мсье! Эта штука вонзается в тело по самый кончик; нередко стрелы бывают отравленными... Хуже нет получить такое ранение, особенно в лесу. Гангрены не миновать. Напрасно вы его недооцениваете, наш бамбук! Он могучее оружие. По двум причинам: во-первых, потому, что оно немудреное, сподручное, понятное, это как бы ненависть, рвущаяся из самого сердца. Во-вторых, бамбуковая стрела издревле служила вьетнамцам оружием; стрельба из лука — давняя традиция народа. Не забудьте, мсье, что Вьетнам — страна бамбука.

— А что же с замирением?

— Мы с помощью наших американских советников делаем, что можем. Но это уже другой вопрос.

Дук Ко, 4 апреля, утро.

В одиннадцать вечера начался обстрел из стосемидесятипятимиллиметровых пушек. Я было улегся спать, но ближайшее орудие — в одиннадцати шагах от моего окопчика, и при каждом выстреле казалось, у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. Над головой почти с таким же свистом, как снаряды, пролетали комья земли и щепки. Окопчик наполнило густое облако красной, мелкой, как тальк, пыли. Я не выдержал и вылез наружу, но пришлось тотчас юркнуть обратно: воздушной волной сбивало с ног. Через полчаса стрельба прекратилась. Рядом кто-то орал не своим голосом и страшно ругался. Оказалось, солдат, спавший в одном из окопчиков позади орудия, рядом со складом боеприпасов, забыл погасить свечу и загорелась балка. Я кинулся наутек, хотя знал, что бежать бессмысленно: если склад взорвется, взлетит на воздух все плато. Наконец пожар удалось потушить; обстрел возобновился. Сегодня утром я пробивался сквозь толщу пыли, как подснежник весной.

За мной заехали на «джипе» два капитана «Special Forces», американец и вьетнамец. Едем в деревню, расположенную в нескольких километрах от лагеря. Это одно из селений горного племени ярай. Жители его ходят полуобнаженными, в одной черной повязке, которая прикрывает низ живота и свисает между ног. Все, включая малолетних детей, курят толстые сигареты-самокрутки или короткие кривые трубки. Признаться, странно видеть двухлетнего ребенка с трубкой во рту! Живут они в длинных соломенных хижинах на сваях. Между сваями, под домом, держат скотину.

В одной из хижин какое-то сборище. Перед каждым из присутствующих — джара с самогоном; его здесь гонят из риса и трав. Тут же музыканты; время от времени они барабанят по ударным инструментам, издающим звуки, похожие на электронную музыку. Мужчины и женщины потягивают через длинную тонкую соломинку самогон и блаженно улыбаются. Глаза их блестят не только от хмеля: от малярии. Замечаю: у многих женщин зоб; у ребятшек огромные, вспученные животы; у девушек мочки ушей изуродованы — отвисли под тяжестью больших цилиндрических серег из слоновьей кости. Какая-то женщина знаками попросила у меня закурить. Я протянул ей сигарету. В тот же миг меня окружила ватага ребятшек — пришлось отдать им всю пачку. Они в два счета ее распотрошили, каждый взял себе по сигарете и, усевшись на пол, затаился, как заядлый курильщик.

Племена ярай и радек заселяют все плоскогорье. Уклад жизни их примитивен и основан на принципах первобытного коммунизма, строго соблюдаемых по сей день. Нравы у них пуританские. Неженатые мужчины живут все вместе, в одной большой хижине; в другой такой же хижине живут незамужние женщины. Инициатива принадлежит девушке: подобно тому, как это происходит в животном мире, где самка сама выбирает себе самца, девушка покупает себе мужа и становится его владелицей. Женщины считаются у них полными хозяйками не только своей семьи и своего мужа, но и всей деревни. Я беседую со старейшиной, задаю ему вопрос, что лежит в основе этого обычая. Старик смеется:

— Они рожают детей. А дети строят жизнь.

Деревня эта считается «стратегической»; это значит, что жители обучены самообороне. Вокруг селения натканы острые бамбуковые пики. В таких вот деревнях американцы и намерены проводить «замирение», разъяснять идеи американской демократии и свободы.

Плейку, 5 апреля.

Провел четыре часа в воздухе на разведывательном самолете. Летали над джунглями в районе Плейку и над огромными лесными массивами Контума, где, согласно сведениям, полученным мною в Камбодже, находятся главные силы Армии освобождения, а также руководство Фронта национального освобождения. По-видимому, после операции «Джанкшн сити» из провинции Тай Нинь, где главные силы партизан находились раньше, они отступили на север. Гористый Контумский район сплошь покрыт непроходимыми лесами. Лишь кое-где блеснет источник или ручей. Заглянув в такую расщелину, прикидываю, какой высоты здесь достигают деревья: пожалуй, метров пятидесяти, а то и всех ста. На западе виднеется река в форме буквы игрек; вдоль нее проходит граница с Камбоджей. Самолет пикирует, ныряет чуть не до самых деревьев и сбрасывает ракету. Она вонзается в зеленую чащобу, из-под корявого сплетения ветвей начинает сочиться желтый дым. Мы снова поворачиваем к реке, летим километров тридцать над сплошным морем леса. Затем опять пикируем, сбрасываем еще одну дымовую ракету. Минут через тридцать появляются два больших четырехмоторных самолета, которые медленно кружат над пространством, обозначенным дымовыми сигналами. На крыльях каждого из них — десять мощных разбрызгивателей, они орошают весь лесной массив едкой кислотой. Это значит, что через два дня деревья на этом участке превратятся в несметную толпу желтых скелетов — лес перестанет служить укрытием. Мы идем на посадку. Пилот, наклонившись ко мне, тычет пальцем в перчатке в какую-то точку внизу. «Это ВК», — радирует он мне и пикирует прямо в указанном направлении. Всмотриваюсь: под нами узкая расщелина, посредине виднеется небольшой водоем, струйка дыма. Еще одна ракета — и самолетик наш круто взмывает ввысь почти перпендикулярно земле. В этот момент я услышал, что вокруг нас свистит пули. Поднявшись на большую высоту и кружа все над тем же местом, пилот принял решение радировать. Снизу стреляют, но мы уже вне досягаемости. Десять минут спустя с юга подошли четыре «скайрейера». Они пикируют, сбрасывают в указанное место восемь фугасных и восемь напалмовых бомб, затем обстреливают поляну из пулеметов и наконец удаляются. Мы спускаемся ниже. Под зеленой массой деревьев ясно различаю языки пламени, алеющие в кромешной тьме.

Мы летим к камбоджийской границе; я прошу пилота снизиться, лететь поближе к реке.

— *Dangerouse, тапу, тапу VC¹*, — говорит он, но все-таки снижается.

Вижу: вдоль берегов плывут лодки, копошатся люди.

— Это Вьетнам? — спрашиваю я.

— Нет, Камбоджа.

Бак Льеу, 6, 7, 8 апреля.

Провел день в Сайгоне и снова — в путь. Бак Льеу — городок в южной точке дельты Меконга. Здесь лесов нет. Начиная от Сайгона и до южной границы Вьетнама тянутся без конца, без края одни рисовые плантации. Вдоль каналов и канальчиков, сложным лабиринтом впадающих в море, разбросаны крохотные деревеньки. Дома прячутся в тени приземистых, широко разросшихся кокосовых пальм и банановых деревьев. Это самые богатые провинции Вьетнама. Здесь собирали столько риса, что его хватало не только на то, чтобы накормить всю страну (включая север), но и в значительной мере на экспорт. Теперь крестьяне производят почти такое же количество риса, но его почему-то не хватает даже для половины населения страны, приходится им-

¹ Опасно. Много, много ВК (англ.).

портировать из-за границы. Вряд ли можно объяснить это загадочное явление тем, что партизаны тоже покупают рис у крестьян и что в Те-Лоне орудуют перекупщики — китайцы.

В Сайгоне считают, что Бак Льеу осажден вьетконговцами. А в Камбодже представители Фронта национального освобождения говорили мне, что Фронт контролирует всю провинцию.

Завожу разговор с начальником провинции, вьетнамским полковником. Он сразу начинает с вранья: делает вид, будто не знает французского языка. Битый час рассыпается в любезностях, угощает чаем, сладостями и лопочет по-вьетнамски, беспомощно разводя руками: дескать, как жаль, что я не понимаю, о чем вы толкуете. Наконец пришел переводчик. Снова поток ни к чему не обязывающих любезностей. А час спустя мой полковник, ничтоже сумняшеся, бегло заговорил по-французски!

— Я его совсем забыл,— извинялся он.

Я изложил ему то, что мне говорили о здешнем положении американцы в Сайгоне.

— В Сайгоне ошибаются. Никаких вьетконговцев здесь нет. Могу вас свозить, куда хотите, и вы убедитесь в этом собственными глазами.

— А можно сейчас?

— Пожалуйста.

Он поручает меня заботам пожилого вьетнамца — инженера. Тот, приняв меня за француза, представился так:

— Я тридцать лет верой и правдой служил французской администрации!

И даже прослезился от умиления.

Мы с ним усаживаемся в «джип», эскортируемый еще одной такой же машиной, но с вооруженной охраной. Восемь километров, отделяющих Бак Льеу от моря, проехали вполне благополучно. Вокруг солончаки, рисовые плантации, безбрежное море камыша. Лагуна. Совсем как в Венеции. Тот же запах рыбы, ила. То же небо, что на картинах Тьеполо. По небу плывут безмятежно-розовые облака.

Въезжаем в рыбацкий поселок. Навстречу нам с криком «о'кэй» высыпала вся ребятня. Поселок охраняется гарнизоном и со всех сторон обнесен колючей проволокой, вышками. Вдоль каналов, еще не обмелевших после отлива, на узких продолговатых лодках того же размера и той же формы, что венецианские гондолы, я вижу женщин в черных пижамах. И даже гребут они по-венециански!

Старик инженер явно торопится, ему не терпится поскорее вернуться.

— Зачем спешить? — спрашиваю я.

— Надо, надо! — отвечает он.

На обратном пути я прошу свернуть на боковую дорогу, ведущую в камыши. «Джип» пройдет по ней совершенно свободно.

— Сюда нельзя.

— Почему?

— Потому что она упирается в канал.

Немного погодя я вижу другую дорогу, ведущую в противоположную сторону.

— Тогда поехали сюда!

Инженер переглядывается с сопровождающими, те, ни слова не говоря, сворачивают в камыши. Но, проехав несколько метров, «джипы» резко тормозят и дают задний ход; охранники хватаются за автоматы.

— Почему же мы возвращаемся? — недоволен я.

— Потому что начальник провинции ждет вас к ужину, а темнота здесь наступает внезапно и иной раз, дорогой мой сеньор, навеки!

Я не решаюсь настаивать.

Мы расположились на открытом воздухе, в садике возле дома начальника провинции. Никакой еды нет, полковник вовсе не приглашал меня ужинать. Дело ограничивается разговорами в присутствии его престарелых родителей, когда-то преподававших во французском лицее. Но вьетнамец остается вьетнамцем: старик со старушкой за весь вечер не проронили ни слова, так и просидели, жуя бетель и выплевывая остатки в мисочку, зажатую в руке. На пальце у супруги начальника кольцо с крупным

бриллиантом. Разговор все чаще прерывается долгими паузами, во время которых хозяин тяжело вздыхает и, хлопая меня по плечу, сетует:

— Pauvre Vietnam!¹

Потом, внезапно просияв (сообразил наконец, о чем со мной можно беседовать без ущерба для собственной репутации!), начинает хвастаться своей эрудицией, и я, к унижению своему, должен еще слушать, как он произносит «макароны», «кьянти», «София Лорен» и как поет «O sole mio»² (где ее только не поют!).

Кантхо, 9 апреля.

В самолете, которым я отправляюсь из Бак Льеу в Сайгон, с пересадкой в центре дельты, в Кантхо, со мной вместе летят агент ЦРУ и низкорослый вьетнамский крестьянин. Судя по тому, как американец вокруг него увивается, вьетнамец — шпион. Агентам ЦРУ во Вьетнаме несть числа. Ходят они в штатском, но чтобы их, не дай бог, с кем-нибудь не спутали, носят на поясе пистолет. Некоторые из них любят подражать героям шпионских фильмов. Помню, один такой парень ходил в черной фуфайке, черных плотно облегающих брюках, черных сапогах и черных перчатках, а на боку у него висел позолоченный пистолет с рукояткой из слоновой кости.

Тот, что летит со мной, не столь живописен. Он нянчится со своим информатором, как с малым дитятей. Угощает его конфетами, сигаретами, воркует с ним по-английски, объясняет, как надо глотать слюну и разевать рот во время взлета. Вьетнамец ничего не понимает. Он хоть, видно, и примирился со своей злосчастной судьбой, сигареты не курит, конфеты не ест и только озирается по сторонам, сгорая от стыда, словно всякий сразу видит, что он шпион.

Поскольку самолет на Сайгон опаздывал, я решил сходить в столовую «Special Forces» позавтракать. Поев, я заглянул в соседнее помещение, где устроен небольшой музей вьетконговских трофеев. Чего тут только нет! Оружие, каски, предметы личного обихода, знамена. Все надраено, смазано, тщательно заприходовано; под каждым трофеем — билетик, а на нем по-английски и по-вьетнамски надпись, объясняющая, каково происхождение данного трофея, когда он захвачен. Такие музеи есть на всех базах, и на крупных и на мелких. В данангском музее, например, экспонированы самодельные вьетконговские капканы всех видов, а также противопехотные мины. При желании посетитель музея может испытать соответствующие эмоции: наступить на макет шнура, переброшенного через макет тропинки, вьющейся через макет леса, и взорвется макет-мина! Он может также войти в макет подземного хода под макетом рисового поля; может проверить на себе, что испытывает человек, пронзенный макетом бамбуковой стрелы.

Однако музей в Кантхо на неамериканского посетителя оказывает совсем не то действие, на которое рассчитывали его устроители. Это явный политический просчет. Простреленные, выцветшие от ветра и зноя знамена Фронта освобождения, старое оружие, приспособленное к условиям партизанской борьбы и для противовоздушной обороны, выдавшие виды полевые телефоны и гамаки — хоть и неказистые, но душевраздирающие свидетельства великого героизма. Американцы смеются. Но у того, кто видел мощь американского оружия, видел, какие брошены боевые средства, сколько сюда нагнали оружия и боеприпасов, вид этих пуль, отлитых вручную из отстрелянных гильз, подобранных ночью после боя, вызывает лишь сочувствие и восхищение.

Рах Кьен, 14 апреля.

Шестнадцатого мне уезжать, но я не хочу упустить ни одного дня и отправляюсь в Рах Кьен, небольшой артиллерийский заслон километрах в пятнадцати от Сайгона, где проводится операция под названием «Энтерпрайз». Прошлой ночью партизаны напали в Сайгоне на полицейский участок и продержались четыре часа. Потом отошли — говорят, в эти места. Вертолет доставляет меня на границу обширного района рисовых плантаций. Отсюда через несколько минут начнется облава.

¹ Бедный Вьетнам! (Франц.)

² «О, мое солнце» (итал.) — популярная неаполитанская песня.

Мы шагаем по деревушкам, укрытым в тени пальм. Жителей не слышно и не видно — притаились в домах. Мужчин нет, одни женщины и дети да несколько стариков. В каждой хижине есть глиняное бомбоубежище. Оно напоминает печь, в которой пекут хлеб, только стенки у него метровой толщины; заслышав гул самолетов, жители тотчас лезут в это самодельное укрытие.

Переводчики настойчиво спрашивают, куда девались все мужчины, но ответа добиться не могут: крестьянки упорно отмалчиваются. В хижинах на столах фрукты и чай: дескать, кто хочет — пусть угощается, сами предлагать не будем.

В полдень мы останавливаемся отдохнуть, я захожу в первую попавшуюся хижину. В углу на полу расположились хозяйка и трое детей — они плетут циновки с поразительным, выработанным веками терпением и сноровкой. Хозяйка приготовила поесть себе и детям и знаком пригласила меня к столу; я охотно присоединился к их трапезе. Заметив, что я умею есть палочками, на стол подали вяленую рыбу нескольких сортов и какие-то сладости. Угощают меня на вьетнамский лад: всякий раз, подавая миску или тарелочку, кланяются. Только мы сели за стол, как началось: застрочил пулемет. Хозяйка с детьми продолжали обедать, не обращая внимания на стрельбу, а я вышел из дома. Стреляли откуда-то из гуши пальм напротив нас, с противоположной стороны рисового поля. Солдаты первого патруля залегли и отстреливаются. Стало быть, операция началась. После десятиминутного затишья подоспели самолеты — «фантомы», «крусейдеры». Минут двадцать рвались бомбы, фугасные и напалмовые, строчили пулеметы. Я отчетливо вижу хижины под пальмами — в них живут такие же люди, как моя хозяйка и ее дети. Над головой все время снуют вертолеты, строчат из своих скорострельных пушечек (две тысячи выстрелов в минуту). Во время коротких интервалов между взрывами слышится треск автоматов: это через поле стеной пошли солдаты. Мне бы надо их догнать, а то я что-то откололся, остался совсем один. Я пытаюсь добраться до первых пулеметных точек. Там, за невысокими насыпями на рисовом поле, рядами залегли солдаты. Но снова засвистели пули, пришлось плюхнуться на землю. Целятся явно в меня — отдельную, освещенную солнцем мишень. Не пойму почему: ведь у них перед глазами двести американцев, они ближе, чем я, почему же стреляют в меня, а не в них?

Битых двадцать минут пули вгрызались в комья пыльной земли вокруг меня. Потом солдаты вскочили и, прикрываемые пулеметным огнем, ринулись вперед, беспрерывно стреляя, вставляя обойму за обоймой, швыряя гранату за гранатой.

На дом, выходящий окнами на рисовое поле, обрушивается шквал огня. В дверях появляется группа женщин и детей. Они что-то кричат, размахивают руками. Сраженные пулями, рухнули две женщины. Только после этого остальные бросились на землю. Из-под пальм появляются языки пламени; горят дома, сеновалы. Насмерть перепуганные буйволы срываются и галопом, кидаясь из стороны в сторону, мчатся неведомо куда.

Я ползу вслед за солдатами, добираюсь до первых двух домов деревни. В одном из них укрылись попавшие под обстрел женщины и дети. Три старухи ранены — в плечо, в грудь; истекая кровью, они не проронили ни слова, ни стопа. Увидев меня, женщины и дети молча, без слов, осуждающе показали мне на дверь. В другом доме между двумя балками, подпирающими крышу, висит гамак, покрытый непромокаемой тканью. Спавший в нем партизан едва успел скрыться. Быть может, его спасли вышедшие под пули женщины и дети: они на несколько минут задержали наступление.

Прилетел вертолет за ранеными. В него снесли и вьетнамок. В этот момент с другого края деревни, оттуда, где я час тому назад обедал, раздались винтовочные выстрелы: стреляли по вертолету. Бой разгорелся теперь именно там, где, казалось, все дышало покоем.

17 часов.

Бой кончился. Лишь изредка просвистит пуля, прогрехочет взрыв: уничтожают подземные ходы. В центре деревни среди пальм к небу вздымается столб огня и дыма. На сегодня все кончено. Количество жертв среди американцев, гражданского населе-

ния и вьетконговцев будет известно лишь завтра, после прочесывания местности. Судя по тому, как бомбили в полдень, в деревне остались в живых единицы.

Солнце клонится к закату. Мы опять шагаем по рисовым полям, заходим в дома. В бедной лачуге посередине рисового поля обнаруживаем двух стариков и девушку: они держатся за руки. Лейтенант-негр спрашивает у переводчика:

— Они — ВК?

Один из солдат выволок откуда-то вьетнамца лет пятидесяти. Тот присел на корточки. Солдат спросил его по-английски:

— You are VC¹

Человек испонимающе смотрит на солдата, озирается вокруг. Я растолковываю солдату, что слово «вьетконг» он, возможно, и понял бы, но американский сокращенный вариант «ВК» — ни за что. Тогда, направив на пленного автомат, солдат спрашивает:

— You are vietcong ?²

Человек отчаянно мотает головой: нет!

Переводчик приступает к допросу. Пленный говорит, что за час до этого здесь прошло много вьетконговцев.

— Many, many vietcong ³,— немедленно радирует лейтенант.

Этого достаточно, чтобы на соседнюю деревушку, в направлении, указанном пленным, обрушилась следующая лавина бомб.

Я по своей инициативе обращаюсь к переводчику по-французски (по-французски он говорит охотнее) — прошу уточнить количество проходивших здесь вьетконговцев. Пленный загибает два пальца и показывает: восемь.

Офицер у телефона скандирует по слогам мою фамилию. Оказывается, меня разыскивают по всем оперативным отрядам, я должен был вернуться на базу три часа тому назад. Десять минут спустя на вертолете прибывает встревоженный лейтенант информационной службы. Подозреваемого в причастности к вьетконговцам крестьянина отправляют вместе со мной. Вертолет открытый, и он примостился возле сиденья, между двумя просветами. Он побелел от ужаса, вот-вот потеряет сознание, но не произносит ни слова. Перед посадкой ему связали руки и завязали глаза.

Сайгон, 16 апреля.

Сегодня я влетаю в Италию, но меня это не радует: хотелось бы пожить здесь подольше. Что мне делать в Риме? В Риме я опять затоскую. Одетый с иголки английский журналист, который завтракает вместе со мной, улыбается и томно поглаживает шею Леона — ручного павлина, расхаживающего между столиками!

— Пожить во Вьетнаме? В своем ли вы уме?!

— Надеюсь, что да.

— Тогда зачем вам здесь жить? Кто вас заставляет?

— Сам не знаю. Наверное, я полюбил эту страну. А то, что любишь, всегда хочется понять.

— Никогда вы ее не поймете! За последние двадцать лет я здесь, к сожалению, в четырнадцать раз и все-таки ничего не понимаю. А посему, дорогой друг, для тех, кто любит Вьетнам, остается только один выход.

— Какой?

— Забыть его!

* * *

В первый раз я увидел генерала Уильяма Чайлдса Уэстморленда, командующего вооруженными силами США в Южном Вьетнаме и возможного кандидата в Белый дом на выборах 1968 года, в смокинге. Этот чопорный, леденяще-безупречный смокинг, заставшее в улыбке лицо-реклама и искрящийся янтарным виски бокал вызвали у меня

¹ Ты ВК? (Англ.)

² Ты — вьетконговец? (Англ.)

³ Очень много вьетконговцев (англ.).

множество ассоциаций. Вспомнился, например, господин в офицерском мундире, рекламирующий виски знаменитой марки. Сколько раз мне попадался на страницах американских журналов точно такой господин в точно таком смокинге!

Я долго к нему приглядывался. Мы обменялись несколькими словами. Я наблюдал за его серо-голубыми глазами, притаившимися в тени густых черных бровей, слегка курчавившихся у переносицы. Они светились фосфорическим светом, излучали, стремились излучать не просто властность, а нечто более интенсивное, истовое, похожее на религиозное рвение. Ага, значит, передо мной не только генерал, не только франтоватый офицер с рекламной картинки, но нечто весьма не похожее ни на то, ни на другое и во многих отношениях с тем и с другим несовместимое!

Я обратил внимание, каков он в движении. Когда он стоял, телосложением своим, высокой, сильной, мужественной фигурой он напоминал классического атлета, метателя диска. Когда же он начинал двигаться, его мужественность, сила, классические линии внезапно меркли, уступая место привычному, более банальному «рекламному» варианту. Словом, передо мной был не серийный экземпляр, а целая серия серийных экземпляров, которые постепенно сменяли и дополняли друг друга.

Потом я увидел его во второй раз. Он назначил мне встречу в своей ставке. (Спасибо послу Италии Джованни Д'Орланди, сумевшему представить меня главнокомандующему не как журналиста, а как писателя. Дело в том, что иностранных журналистов Уэстморленд никогда не принимает.) Вот он стоит передо мной, одетый в простую военно-полевую форму, какую носят все американские солдаты во Вьетнаме: до блеска начищенные короткие сапоги из черной кожи и плотной зеленой материи; подвернутые брюки со множеством карманов, куртка с засученными рукавами и тоже с многочисленными карманами, на правом нагрудном кармане черными буквами — фамилия. Рядом с Уэстморлендом, чтобы усложнить мне задачу, стоит еще один генерал, такой же рослый, такой же могучий, так же одетый и с тем же начальственным видом. Генерал наконец улыбается — оба они улыбаются, пожимая мне руку. Я наблюдаю за их губами, обнажающими короткие широкие мраморные зубы. То ли у меня двоится в глазах, то ли воскрес римский легион...

Располагаемся в кабинете главнокомандующего. Позади его письменного стола возвышаются штандарты и знамена. В комнате два кресла, диван, кубки, крылатые «победы», награды. Цветная фотография Джонсона с дарственной надписью. На полу — кошма. Два небольших окна, за окнами паутина телефонных и телеграфных проводов, радиорелейная линия.

Я сразу же предупреждаю, что не собираюсь задавать никаких специальных, спречь — военных или политических вопросов, поскольку такие вопросы предполагают сугубо официальные ответы. К тому же о стратегии Уэстморленда весь мир знает из газет. Я же, помимо всего прочего, в военном деле не разбираюсь.

Он смотрит на меня пристально, сурово и ничего не понимает. Я отлично понимаю, что он ничего не понимает и что ему от этого не по себе. Он спрашивает, не хочу ли я узнать его биографию, где он родился, где получил образование. Я отвечаю, что и это мне известно, так же как и всем. Особенно мне запомнилось название графства, в котором он родился: Спартанбург («Город спартанцев»). Это название — поистине кульминационная точка, в которой слились усилия американской военной машины, произведшей на свет генерала, и судьбы, создавшей человека. Вряд ли найдется в Америке еще один генерал, которому посчастливилось родиться в местности с таким многозначительным названием!

Но вслух я этого не говорю, так как вижу: он явно не в своей тарелке, смотрит на меня с недоверием и в то же время робеет.

В итоге вопрос задает он; я отвечаю, что нахожусь в Сайгоне около месяца. Каковы мои впечатления?

— В течение этого месяца я приглядывался к американским солдатам и офицерам — в барах, на улицах Сайгона и во время боев, в районе дельты, на плоскогорье, в демилитаризованной зоне. Американские вооруженные силы во многих отношениях напоминают мне римские легионы, некогда обрушившиеся на провинции. А вы напоминаете мне проконсула. Условья и обстоятельства почти одни и те же. Единственное

новшество — это американская военно-промышленная машина и созданный ею тип человека. Однако если призадуматься, то древние римляне производили на каких-нибудь галлов, наверно, такое же впечатление, какое американцы производят сегодня на вьетнамцев.

Он смотрит на меня сурово. Он неприятно поражен, раздосадован. Он отвечает:

— Не улавливаю никакой аналогии. Римляне силой оружия завоевывали и оккупировали провинции. Мы же выполняем диаметрально противоположную миссию, миссию, которая заключается в том, чтобы помочь вьетнамскому народу избрать себе путь, ведущий к свободе. Запомните: нас пригласило сюда вьетнамское правительство ради спасения мира. Мы явились сюда не по своей воле и хотели бы уйти, как только будут восстановлены мир и свобода. Что касается нашего поведения в этой стране, оно тоже весьма отличается от поведения древних римлян в провинциях. Если желаете узнать об этом побольше, прочтите памятку, которую обязан иметь при себе каждый американский солдат, проходящий службу во Вьетнаме. В ней девять правил...

Он умолк и полез в нагрудный карман. Не найдя в нем того, что искал, он пошел к письменному столу и выдвинул ящик. Опять безрезультатно. Тогда он отдает сухое приказание солдату, тот срывается с места и вскоре возвращается, держа в руке несколько карточек небольшого формата, которые вручает генералу. Уэстморленд одну протягивает мне, вторую сует себе в карман, а третью, метнув на него грозный взгляд, возвращает солдату. Тот, щелкнув каблуками по стойке «смирно», отчеканивает: «Вивонат, сэр» — и кладет памятку в карман.

— Каждый американский солдат обязан иметь эти девять правил при себе. Читайте!

Я читаю. Вот они:

«1. Не следует забывать, что нас сюда пригласили, что мы здесь гости. У нас нет никаких оснований претендовать на особое отношение к себе.

2. Давайте же присоединимся к народу, постараемся понять его жизнь, будем объясняться с ним на его языке, уважать местные законы и обычаи.

3. Мы должны уважительно относиться к женщинам.

4. Дружить с солдатами и народом Вьетнама.

5. Уступать дорогу вьетнамцам на улицах.

6. Быть готовыми к отпору, пользоваться своими военными знаниями для обеспечения безопасности.

7. Не давать повода упрекать нас в грубости, в нарушении тишины, в отклонении от общепринятых норм поведения.

8. Не подчеркивать свое отличие от местного населения, не кичиться богатством.

9. Главное, помнить, что мы — воины американской армии, что каждый из нас отвечает за свое поведение в общественной жизни и в быту и что от того, как мы себя ведем, зависит честь каждого из нас, честь Соединенных Штатов».

Я озадачен, потрясен. За месяц с лишним пребывания в Южном Вьетнаме я всего нагляделся. Я видел американских солдат во время боев, наблюдал их в так называемых «лагерях отдыха», в лесах, где они в любую минуту рискуют нарваться на мину или угодить под пулю вьетконговца, на их укрепленных базах, на улицах и в публичных домах Сайгона. Весьма вероятно, что поведение их ничем не отличается от поведения любого солдата, втянутого в такую же беспощадно-жестокую войну. Я был свидетелем их равнодушия, а иной раз даже благородства, но мне ни разу не удалось заметить, чтобы они соблюдали хотя бы одну из девяти заповедей, зафиксированных на карточке, которую дал мне прочесть их главнокомандующий. Прежде всего у меня ни разу не возникло ощущения, что американцы — будь то военнослужащие или гражданские лица — ведут себя во Вьетнаме, как люди, которых сюда «пригласили». О каком «приглашении» может идти речь, если идет такая кровопролитная, такая жестокая война! «Гости» сбросили на «пригласившую» их страну больше бомб, чем все их самолеты за все годы второй мировой войны в Европе! А вьетнамцы? Что и говорить, «гостеприимные хозяева»! Южновьетнамские деятели только и знают что плетут интриги за спиной американцев, при встрече не смотря в глаза, беспардонно выуживают у них все, что могут, а все, что плохо лежит, разворовывают. Они погря-

ли во взятках, живут бессовестной эксплуатацией, шантажом, контрабандой, снуют под ногами у своих «гостей» — Гулливеров, как суетливые прожорливые крысы.

Я спрашиваю, знает ли генерал обо всем этом. И что он об этом думает.

Генерал отвечает:

— Вьетнамцы всегда были ксенофобами¹. На то есть исторические причины: многовековое господство во Вьетнаме китайцев, затем колонизация его французами и, наконец, японское вторжение. Никаких оснований питать ненависть к нам у них, разумеется, нет, поскольку мы намерены как можно скорее отсюда уйти. Во всяком случае за все три года своего пребывания здесь я ни разу не заметил, чтобы вьетнамский народ проявлял по отношению к нам какие-либо признаки недоброжелательства.

— Неужели вы всерьез полагаете, что такой народ, как вьетнамский, такое общество, какое сложилось во Вьетнаме, могут понять и воспринять демократию американского типа?

— В этой стране существует демократическая конституция, в которой по возможности учтены местные обычаи. Конечно, создать во Вьетнаме демократию нелегко, ибо здесь она внове. Наша задача — выждать и следить, как сложится обстановка.

— Генерал, разрешите мне задать вам еще один вопрос! Не думаете ли вы, что в силу особенностей исторического развития этой страны здесь имеется более благоприятная почва для марксизма, нежели для демократии американского типа?

— Нет, не думаю. Взгляните, к примеру, что произошло в Южной Корее, на Филиппинах, на Формозе. В этих странах демократия строится по западному образцу. Почему бы нам не перенести ее и на вьетнамскую почву? Даже после долгих лет войны вьетнамцы не хотят коммунизма. В этом я убежден. По этой причине мы здесь и находимся.

— Признаться, у меня складывается впечатление, что вы скорее миссионер, чем профессиональный военный.

— Совершенно верно! Я считаю себя миссионером свободы и полагаю, что такими являются все находящиеся под моим командованием солдаты и офицеры. Как только во Вьетнаме будет обеспечена свобода, мы отсюда уйдем.

Пока он говорит, я за ним наблюдаю. Человек, сидящий напротив меня в небольшом кабинете командующего вооруженными силами США в Южном Вьетнаме, — законченный продукт американской военной машины. Американская военная машина произвела его на свет и остановила на нем свой выбор, ибо он как нельзя лучше удовлетворял требованиям момента и ее нуждам.

Попытаемся соединить воедино лицо римского консула, телосложение дискобола, полномочия Авраама Линкольна, напористость Джеймса Бонда, сверхчеловеческие возможности супермена и в довершение всего душистую мягкость всемирно известного мыла «Палмолив»... Если сумма этих столь несхожих между собой компонентов может дать представление о человеке, создать образ человека, то это и будет Уэстморленд. Он не принадлежит к категории военачальников типа Макартура или Эйзенхауэра, хотя был облечен на днях высочайшими полномочиями, равными тем, которыми упомянутые два генерала располагали во время второй мировой войны. Те двое, особенно Макартур, являли собой тип кондотьеров в духе своего времени, того времени, когда от генерала в Америке требовалось, чтобы о нем говорили, чтобы он обладал натурой своеобразной и даже романтической. Уэстморленду все это чуждо. Он лишен человеческих черт (и слабостей), которые еще были присущи Макартуру и Эйзенхауэру, иначе говоря — способности самостоятельно управлять своей судьбой и судьбами других людей. Зато внутри военной машины он пользуется почти неограниченной возможностью быть орудием, приводимым в движение другими орудиями, которые в свою очередь приводятся в движение орудиями орудий и так далее.

Кроме того, он абсолютно, глубоко верит в технику, в науку, в военно-промышленный потенциал США. Будучи продуктом этой военно-промышленной машины, он

¹ Ксенофобия — ненависть к иностранцам.

убежден, что войну выигрывают или проигрывают не идеи, не люди, а только и исключительно орудия — будь то люди или предметы, — производимые военно-промышленной машиной. Он жрец промышленного неопуританства, весь его с виду безукоризненный облик как бы говорит, что завод-производитель гарантирует высокое качество продукции. Настанет время, он тоже амортизируется. Он это знает, поскольку таков непреложный закон промышленного производства. Наконец, он добропорядочен и послушен, он исполнитель и одновременно жертва. Не событий, а той машины, которая автоматически дала этим событиям ход. Когда в будущем о нем будут говорить как о военном преступнике, никто не вспомнит о том, что этот человек — один из наиболее совершенных образцов продукции, произведенной этой машиной, что невероятный шум, сопровождавший его деятельность, носил чисто случайный характер и не соответствовал ее масштабам, как, впрочем, всякий шум, поднятый вокруг очередной новинки рынка, и что Уэстморленд — лишь прототип тех серийных человеческих особей, которые фабрикуются вслед за ним и будут фабриковаться в еще больших масштабах.

Я спрашиваю:

— Вы произнесли знаменитую фразу, которой пока что исчерпываются ваши высказывания о вьетнамской войне. Она гласит: «Надо уничтожить Север, чтобы победить на Юге». Вы в самом деле считаете это справедливым? Не только с военной, но и с политической (уже не говоря о человеческой) точки зрения?

— Я этого никогда не говорил; слова эти мне были приписаны коммунистической пропагандой. Я же сказал и повторяю, что необходимо продолжать бомбить военные объекты на Севере, чтобы предотвратить проникновение коммунистов на Юг, помешать им помогать Югу...

Переведена с итальянского Ю. Добровольская.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. ЯНОВСКИЙ

★

ЧЕЛОВЕК НА СЕВЕРЕ

На десять тысяч километров — от западных до восточных окраин страны — протянулся наш Север. Половина всей территории СССР и две трети России лежат в холодных широтах. Север богат. Здесь залегают все алмазы страны, нефть, уголь, газ, золото и платина, весь апатит, никель, олово, вольфрам, титан, слюда. Здесь — неисчислимы запасы древесины и величайшие в мире ресурсы гидроэнергии и пресной воды. Но Север суров. Морозы до минус шестидесяти градусов, скорость ветра больше сорока метров в секунду нередки для этих мест. Привлекая своими богатствами человека, природа здесь словно бы испытывает его целеустремленность, силу, смелость, стойкость, прежде чем вручить ему ключи от своих сокровищ.

На советском Севере сейчас живут и трудятся более пяти миллионов человек. Это и шахтеры, и строители, и токари, и пекари, и швеи. Они живут, преодолевая все тяготы безлюдных далеких мест, работают, совершая будничный, привычный подвиг: ведь из всех природных зон нашей планеты тайга и тундра преобразованы в наименьшей мере.

Население Севера растет быстро. Всесоюзные переписи населения засвидетельствовали: с 1926 по 1959 год его численность возросла почти вдвое, преимущественно за счет переселенцев из других районов страны. В нынешней пятилетке население северных районов будет расти вдвое быстрее, чем в Российской Федерации. Тайга и тундра примут сотни тысяч новоселов из России, Украины, Белоруссии, других республик страны.

Наряду с коренными народностями здесь живут русские и украинцы, белорусы и представители многих других национальностей. В этническом составе населения, как в зеркале, отразилась характерная черта нашего времени — освоение Севера стало у нас общенациональным делом.

Но не все едут на Север, чтобы постоянно жить там, — таких немного. Ежегодно десятки тысяч человек, проживших на Севере по десять и более лет, уезжают в республики, края и области, лежащие в средних и южных широтах, оставляя Север навсегда. Новые люди поселяются у оставленных, но не остывших еще очагов.

Закономерен ли этот процесс? В известной мере — да. На Севере — в большинстве его городов и промышленных поселков — формируются лишь первые поколения постоянных жителей, привлеченных из других местностей, а связь этого населения с районами, откуда оно вышло, в силу целого ряда причин достаточно сильна, и не только у первого, но часто и у ряда последующих поколений. Поэтому отлив старших возрастных групп с Севера будет, по-видимому, наблюдаться еще десятки лет.

Однако это-то и ставит перед нами ряд сложных проблем. Это проблема медико-географической оценки и разграничения северных районов на благоприятные для жизни человека и формирования постоянного населения и на такие, которые для этого противопоказаны: проблема компенсации убыли сложившихся здесь постоянных кадров равноценным пополнением за счет привлечения новых квалифицированных работников из других районов страны и за счет подрастающей местной молодежи, переходящей в трудоспособный возраст; проблемы изучения и учета демографических аспектов градостроительства, развития профессионально-технического обучения, высшего и среднего специального образования, лучшего удовлетворения материальных и духовных потреб-

ностей населения в условиях концентрированного и рассеянного расселения и много других проблем, не только не решенных, но и не сформулированных с достаточной ясностью в теоретическом плане.

Исследования этого рода проблем, включая прогноз демографических процессов на тридцать—сорок лет, начаты лишь с 1961 года Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским институтом Сибирского отделения Академии наук СССР.

Внимание исследователей сосредоточено в первую очередь на процессах формирования населения и использования трудовых ресурсов Северо-Востока СССР, потому что освоению его новых районов присущи многие черты, характерные и для других северных районов (в особенности для всей азиатской части СССР). По широкой программе изучается воспроизводство населения, миграция, расселение, занятость в общественном производстве, оседание второго поколения, использование местными жителями рабочего, вне рабочего и свободного времени. И все эти вопросы возвращают нас к задаче образования постоянных кадров в народном хозяйстве Севера.

Прошлогодний Указ Президиума Верховного Совета СССР «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» наиболее радикально способствует разрешению этой острой проблемы. Заметный перелом наступил в первые же месяцы после опубликования Указа. Тем важнее для закрепления и дальнейшего развития первых успехов тщательно проанализировать сложности и затруднения, с которыми мы сталкивались в процессе освоения северных районов, приобретающих все большее значение в нашем народном хозяйстве.

К сожалению, сменяемость работающего на Севере населения определялась главным образом не теми, кто, проработав здесь десяток—два лет, выезжает отсюда для продолжения трудовой деятельности или заслуженного отдыха в менее трудных условиях, а отъездом рабочих, техников, инженеров, имеющих общий стаж работы в северных районах один—три года, а то и несколько месяцев. При этом уезжали ежегодно не десятки, а сотни и тысячи людей. Народному хозяйству это наносило огромный ущерб уже потому хотя бы, что увольнение одного и прием нового рабочего почти всегда влечет за собой перерыв работы и простой оборудования; между тем один час простоя бульдозера, занятого на горных работах в северо-восточных районах,—это вдвое-втрое больший убыток, чем где бы то ни было. Но допустим даже, что перерыва не было и уехавший заменен сразу же вновь прибывшим; однако ведь Север есть Север, и не всякий рабочий, впервые появившийся на чукотском прииске, быстро приносится к особенностям использования здесь техники. Вроде и бульдозер тот же, и опыт есть — а дело не идет! И пройдет немало дней, пока и опытный бульдозерист начинает вскрывать торфа и подавать золотоносные пески на гидроэлеватор или промывочный прибор с такой же сноровистостью, с какой он работал на Кубани или даже в южных широтах Сибири. Так теряется уже достигнутый уровень производительности труда, ломаются подчас и дорогостоящие машины.

Почему так быстро сменяются люди, поселившиеся на Севере? Как это зло устранить? Что отличает работников, участвующих в освоении Севера, так сказать, «транзитом»? Что гонит их уже через несколько месяцев из высоких широт в умеренные и южные? Кому Север «не по плечу» и, значит, надо бы своевременно предотвратить его необдуманный вояж?

На эти вопросы нам отчасти помогло ответить анкетное обследование поступающих на предприятия и увольняющихся с них, проведенное на Колыме и Чукотке. Оно показало, что основная причина скорых отъездов — это неудовлетворительные условия жизни и быта. Здесь не приживаются не только квалифицированные рабочие и стоящие инженеры, не задерживаются надолго и многие малоквалифицированные работники. Растущее благосостояние в обжитых областях делало существовавшую систему материального стимулирования, которая применялась для привлечения на Север, малоэффективной. Будем точны и скажем: она уже никого не соблазняла из новичков и лишь задерживала до поры, до времени тех, кто прибыл на Север в пятидесятых годах и к нему привык.

В последнее десятилетие приблизительно один из трех новоселов — в основном из

числа молодых людей, прибывших на Север по комсомольскому призыву и после демобилизации из Советской Армии,— оставался в этих местах. Горячий энтузиазм молодежи здесь делает то, чего не в силах сделать система льгот. Но не лучше было бы разве, если бы и энтузиазм и материальные льготы действовали в одном направлении?

Расширение льгот, декретированное Указом 26 сентября 1967 года,— чрезвычайно большой и существенный шаг в этом направлении. От местных организаций зависит многое, чтобы шаг этот сделать увереннее и добиться наибольшего эффекта. Речь идет о том, что, кроме денежных поощрений, необходимо также улучшение бытовых условий, снабжения, культурного обслуживания людей, которые приезжают работать на Крайний Север.

Необходимые ресурсы дало бы для этого само северное хозяйство: достаточно было бы средств, полученных от уменьшения потерь и непроизводительных затрат, связанных с текучестью рабочей силы. На них уходит несколько десятков миллионов рублей в год только по Крайнему Северо-Востоку, численность населения которого, занятого в общественном производстве, составляет примерно лишь 5 процентов по отношению ко всей зоне советского Севера.

Потери, прямо связанные с чрезмерной сменяемостью кадров, далеко не исчерпывают ее экономических и социальных последствий — они гораздо глубже. Предприятие, 50—60 процентов списочного состава которого ежегодно обновляется, превращается в проходной двор; в таком коллективе трудно рассчитывать на хорошую производственную дисциплину, на хорошее качество продукции, на хорошее использование оборудования. Но положение осложняется еще одним немаловажным обстоятельством: органы управления переселением и организованным набором рабочей силы Государственного комитета Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов не имеют права приглашать на Север рабочих и служащих с предприятий истроек, отбирая наиболее там нужных.

Если не изменить действующих правил набора, приток людей на Север, едущих по собственной инициативе или по «организованному набору», может, и будет более или менее достаточен числом, но не умением, не рабочей и гражданской дисциплиной.

К сожалению, сейчас кадровая проблема по преимуществу решается путем привлечения людей, скорых на подъем, но малополезных, а то и вредных.

Систематические наблюдения, проведенные Магаданским областным психоневрологическим диспансером, показали, что среди так называемых «летунов» немало эмоционально неустойчивых, а то и психопатических личностей; число их относительно невелико, но влияние на нравы общежития они оказывают крайне отрицательное. Нечего и говорить, что профессиональная пригодность таких лиц почти всегда весьма низкая.

Все еще часты случаи, когда лицам, которым явно противопоказана жизнь на Севере, совершенно не разъясняют ошибочность их намерения.

Далеко не безразлично, в каком моральном и физическом состоянии, для какой цели человек вступает в единоборство с суровыми северными условиями. Пополнение, следующее в северные районы, должно быть тщательно проверенным. Ведь потери, о которых мы говорили,— это далеко не только потери сегодняшнего дня: их социальные и экономические последствия будут сказываться годами — например, в виде перерыва преемственности опыта в той или иной отрасли хозяйственного освоения Севера. Особенно этот перерыв ощутим, когда часто сменяются руководители района или отдельных предприятий.

Наша социальная статистика при исчислении коэффициента текучести кадров обычно учитывает лишь увольнения по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины. Правильно ли это? По нашему мнению, такой метод явно устарел. В промышленности Магаданской области, например, большую долю в текучести кадров составляют неучитываемые «увольнения по соглашению сторон» (п. 44, «а» КЗОТ). Между тем анализ мотивов этих увольнений (неудовлетворенность условиями труда и другое) показал, что в четырех случаях из пяти именно они отражают текучесть кадров, тогда как увольнения «по собственному желанию» иногда ничего общего с ней не имеют.

Другими словами, принятая сейчас методика исчисления текучести кадров затемняет, по нашему мнению, ее действительную экономическую и социальную оценку. Чтобы установить, в какой мере система льгот Крайнего Севера влияет на текучесть кадров и миграцию населения, Северо-Восточный институт совместно с работниками отделов кадров предприятий,строек, учреждений и организаций всех министерств и ведомств, имеющих свои хозяйства на территории Магаданской области, провел выборочные обследования и установил таким способом, что статистическую рубрику «текучесть кадров» приходится в основном заполнять лицами, проработавшими на Севере до трех лет, то есть имеющими лишь одну или две надбавки к окладу (или — еще недавно — не имевшими надбавки совсем). К сожалению, статистического учета рабочих и служащих по стажу работы на Крайнем Севере ЦСУ не ведет.

Эти же обследования показали, что существующая система начисления процентных надбавок на оклад недостаточно эффективна: десяти- или двадцатипроцентные надбавки не всегда способны удержать работника на предприятии.

В Магадане денег платят значительно меньше, чем на Чукотке, однако текучесть кадров здесь ниже — сказываются лучшие жилищные условия (хотя и здесь не хватает жилья), лучшее обслуживание населения, более благоприятные условия для вовлечения в общественное производство женщин, для получения специального образования молодежи.

Не рублем единым жив человек на Севере. Люди обосновываются надолго там, где есть материальные условия для жизни семей: жилище, работа для всех трудоспособных, условия для воспитания детей — и их дальнейшей жизни. Взять хотя бы гигиенические факторы: на Севере они ниже нормы. А это значит, что общие по Советскому Союзу нормативы затрат на охрану народного здоровья и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в здравоохранении, и в снабжении населения здесь непригодны. На Севере они должны быть значительно выше, чем по стране в среднем. Однако и эти вопросы решаются в основном по известной схеме, сложившейся в обжитых районах страны, без достаточного учета особого характера расселения населения на Севере — размеров поселков, их рассредоточенности, без учета, наконец, возрастной, половой и семейной структуры населения, имеющей много особенностей.

Плотность населения на Северо-Востоке, например, почти в сорок раз ниже, чем по Союзу в целом; иные горняцкие поселки отдалены от районных центров, где население обслуживается более или менее комплексно, на семьсот — восемьсот километров, а от областного — и до полутора тысяч километров. Живущие в этих поселках холостые юноши и девушки, а также молодые пары, все в основном вчерашние горожане, не имеют многого даже из того, чем пользуются их собратья в ранее освоенных северных районах. Нет ни «торговой точки», ни бани, ни парикмахерской, ни стационарной киноустановки: «не положено» по нормативам! А нормативы — считай, что в них все учтено: и сколько «посадочных мест» в столовых должно приходиться на десять тысяч человек населения, и сколько рабочих мест в магазине, и сколько киносеансов на душу населения и т. д.

Одно только не учтено, не предусмотрено: эти десять тысяч человек расселены на площади в сорок тысяч километров и частенько отдалены не только от районного центра, но и от поселкового Совета сотнями километров полного бездорожья.

В результате и получается, что и обеспеченность по всем статьям неплохая (на каждые десять тысяч человек), и деньги государство выделяет немалые, чтобы улучшить обслуживание населения на Севере, а надо, скажем, северянину, проживающему на семидесятой параллели, зубы полечить — садись в самолет и делай высадку на шестьдесят пятой, а ведь это все равно что из Москвы в Ленинград в зубоврачебный кабинет ездить! Примерно то же получается и с торговлей.

Однако дело далеко не в одних нормативах, а в том, что мы еще не нашли таких форм обслуживания, которые отвечали бы особенностям Севера. Комплексные бригады врачебного и санитарного обслуживания, посылочная торговля по образцам и каталогам, комплексные передвижные ремонтно-бытовые мастерские и многое другое, что входит в обычай в других, хоть и отдаленных, но не столь климатически суровых районах, внедряется здесь медленно. И происходит это тоже потому, что работники напуганы первыми неудачами, когда не учитывались специфические условия Севера:

слишком часто это приводило к тому, что любая на первый взгляд незначительная ошибка, копирование того, что целесообразно и оправдано в других местах, но неприменимо на Севере,— все оборачивается здесь большими потерями, большими убытками.

От руководителей различных рангов в любом деле требуется знание его и забота о человеке. Оба эти качества должны иметься вдвойне у руководителя, причастного к освоению Севера, где бы он ни работал — в Москве, Воркуте или Магадане.

Особо следует сказать о спецодежде. Нет северной спецодежды: все тот же полушубок и те же валенки. Но что хорошо в Средней России, малопригодно в Норильске. Жестокий мороз с сильным ветром заставляет заходить для обогрева в теплое помещение. Вышел на мороз — трещит полушубок на сгибах, ломается. Да и вес зимней одежды северянина под стать водолазному костюму: пятнадцать — шестнадцать килограммов.

Вспомним и здесь о нормативах. Северяне шутят: пригласить бы на Север того, кто их составлял, как бы он выглядел, когда спецодежды нет, изношена, а норматив остался... Вот и получается, что приходится «дополнять» норматив либо за собственный кошт работников, либо — «налево»...

Разработка дифференцированных по профессиям научно обоснованных гигиенических нормативов и моделей специальной одежды для северян — это нужное дело. Как в том случае, когда разбирается вопрос об эффективной системе льгот, обеспечивающей привлечение на Север и закрепление здесь квалифицированных работников, так и в решении всех вообще важных вопросов хозяйствования главное — это понимание того, что необходимо отойти от шаблона, забыть о привычке решать одинаково все вопросы для всех условий — для всех районов, во все времена. Север требует инициативы. К сожалению, на ее пути нередки надолбы рутины, излишнего, бездумного почтения к сложившимся, зачастую с самого начала неверным решениям или то, что называют «северобоязнь» — то есть северная, особо опасная модификация боязни утруждать себя решениями.

Бурное развитие экономики северных районов, образование городов и постоянно возрастающее население создают здесь базу для формирования собственных резервов труда. Для определения их не обойтись без специальных социологических исследований, которые позволили бы мерой и числом оценить особенности формирования населения Севера, а также возможность вовлечения в общественное производство вторых членов семей и подрастающего поколения. С этой целью мы провели анкетные обследования женщин, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, а также выпускников общеобразовательных школ. Одновременно в городах и рабочих поселках, где проводилось обследование, была определена численность рабочих мест с разделением их по сферам преимущественной занятости мужчин и женщин, а также перспектива по этим показателям на ближайшее время.

Обследование, не без скептицизма встреченное на первых порах местными товарищами, позволило выявить интересные данные.

В Магаданской области женщины, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, составляют всего 10—12 процентов, это вдвое ниже, чем на Дальнем Востоке.

Увеличение численности свободных женских рук здесь опережает прирост рабочих мест в сфере преимущественного использования труда женщин.

Каков социальный и экономический смысл этого явления? Стоит ли над ним задумываться или, утешая себя относительно высоким показателем занятости женщин в общественном производстве сегодня и уповая на то, что это положение сохранится еще на долгие годы, считать, что здесь все в порядке?

Сталкиваются два подхода к исследованию демографических проблем: одни полагают, что лучше ждать, пока они «вызреют» и приобретут более или менее заверченный характер; другие считают, что задача исследователя как раз в том и заключается, чтобы предвидеть ход развития, разработать рекомендации, позволяющие средствами планового хозяйства регулировать то или иное явление, не дожидаясь, когда оно станет «проблемой». Для этого необходимо тщательно следить за его динамикой. Выяснилось, например, что из каждых пяти женщин, занятых в домашнем хозяйстве, у четырех

возраст достиг сорока лет, из них половина квалифицированных рабочих и одна пятая с высшим или средним специальным образованием. Причины, по которым эти женщины не участвуют в общественном производстве, общеизвестны: недостаток мест в детских учреждениях, отсутствие работы вблизи жилья и др. Региональная особенность заключается в том, что ни климат Севера, ни специализация хозяйства его районов — преимущественно в добывающих отраслях тяжелой промышленности — не способствуют более широкому использованию женского труда в материальном производстве.

В Магаданской области сейчас занято в домашнем хозяйстве двадцать пять тысяч женщин трудоспособного возраста. Это не так уже и много, но вдвое больше, чем в 1959 году: тенденция определилась и не может не тревожить. Это означает, что примерно у такого же числа семей, составляющих около четверти всего населения, денежные доходы складываются в основном за счет заработка главы семьи. Не удивительно, что большинство опрошенных женщин хотят работать на производстве; многие предпочитают занятия с неполным или прерывным рабочим днем, а также сезонные работы. И удовлетворение их желания, одновременно улучшающее положение с рабочей силой на государственных предприятиях, во многом зависит от нашей гибкости, деловитости, умения отойти от шаблона. Почему бы не организовать на время сезонных работ детские дошкольные учреждения, отнеся часть или всю стоимость содержания детей за счет родителей? Почему бы не организовать в отдаленных малочисленных поселениях небольшие столовые домашнего типа, мастерские бытового обслуживания на кооперативно-паевых началах? Разве это не рационально, не разумно?

Анализ результатов анкетного опроса, проведенного в ряде рабочих поселков Северо-Востока, лишенных этих видов обслуживания населения, показал, что 85 процентов женщин, занятых в домашнем хозяйстве, изъявили готовность (некоторые, как мы уже сказали, при условии неполного рабочего дня) приложить свои силы именно к этому общественно полезному делу. Многие из них имеют и необходимую профессиональную подготовку.

Следует поощрять и организовывать общественную инициативу и самодеятельность в этих направлениях, снять ненужные препоны с их пути, устранить нагромождения устарелых инструкций, правил, указаний и прочего.

В преодолении затруднений с рабочей силой в период сезонных работ немалым резервом может быть и молодежь, переходящая в трудоспособный возраст. Полных сил, здоровья, энергии шестнадцати-семнадцатилетних юношей и девушек надо допускать к посильной работе на горных полигонах, рыбопромысловых судах, в строительстве, геологоразведочных партиях, не теряя при этом из виду продолжение их общего и политического образования, приобретение специальности. Если предусмотреть методы регулярного контроля их трудовой деятельности, быта и обучения со стороны соответственной инспекции при непрерывном участии комсомола, выгоды от такой меры будут велики. Юноши получат трудовое и гражданское воспитание в рабочем коллективе, вносят не лишний довесок в доходы семьи и свою лепту в народное хозяйство.

Нельзя не коснуться еще одного вопроса, весьма актуального для формирования населения на Севере.

Повсеместно установилась практика привлечения сюда из других районов страны преимущественно одиночек. Однако эта тенденция далеко не так хороша, как это представляется на первый взгляд. Прежде всего в большинстве случаев одиночки, как только появляется возможность, обзаводятся семьей. И как ни много, например, в Магаданской области детских дошкольных учреждений, а очереди для определения в ясли или детский сад ждет почти каждый второй ребенок. В итоге более десяти тысяч молодых женщин отвлечены на время от производства, постепенно деквалифицируются и теряют профессиональные навыки. Не стоит ли задуматься над тем, что иногда (сообразно с местом и временем) лучше привлекать на Север семейства, имеющие детей школьного возраста или подростков. В этом случае Север получает рабочие руки взрослых членов семьи и обеспечивает себе вдвое-втрое ускоренным в сравнении с первым вариантом темпом формирования собственных резервов труда в лице второго поколения, достигшего взрослого уже на Севере.

Нельзя не отметить, что средний возраст такой семейной пары родителей, колеб-

лющийся от тридцати до тридцати пяти лет, обуславливает — опять же в среднем — более высокий уровень квалификации, чем у совсем молодых одиночек, а наличие детей повышает оседлость, постоянство населения. При найме основного работника (главы семьи с экономической точки зрения) необходимо учитывать не только профессию и квалификацию всех трудоспособных членов его семейства, но и предусматривать для них рабочие места, в том числе с учетом сезонных работ.

За последние годы вторые члены семьи чаще, чем прежде, привлекаются на сезонные работы — настолько, что многие прииски обходятся без завоза сезонной рабочей силы. Но этого недостаточно. Необходимы материальные стимулы, которые упрочили бы заинтересованность этих людей в своем участии в общественном производстве на сезонных работах и позволили бы предприятиям уверенно планировать эту рабочую силу. Таким стимулом может стать распространение на вторых-третьих членов семей основного работника всех льгот Крайнего Севера, которые предоставлялись бы с учетом суммы рабочего времени, отработанного ими за ряд сезонов.

Наиболее полное и экономное использование собственных резервов труда должно стать основой хозяйствования на Севере. Ведь каждая новая тысяча промышленно-производственных рабочих, приезжающих из другой области или республики, в условиях Северо-Востока требует шестнадцати миллионов рублей капитальных и текущих затрат: на оплату расходов по переезду на Север работника и его семьи, на строительство жилья, на социально-культурные нужды, на прирост мощностей в каждой отрасли хозяйства, продукция которых — в материальной ли форме, в форме ли услуг — предназначена для непосредственного потребления. Когда вовлекаются в общественное хозяйство вторые члены семей, проживающих на Севере, отпадает основная часть этих дополнительных затрат.

Уже из приведенных соображений ясна экономическая целесообразность всемерного ускорения строительства и комплектования детских дошкольных учреждений. Ведь каждый новый детский сад, высвобождая рабочие руки, занятые по необходимости в домашнем хозяйстве, сокращает затраты государства на привлечение новой рабочей силы издалека и увеличивает доходы осевшей на Севере семьи.

Это же — шаг вперед в рациональном использовании ресурсов труда на Севере, в стабилизации кадров.

Север суров. Новичка, бывает, часто встретит в наших краях снежная метель в июле. Ледяные ураганные ветры Чукотки, случается, замораживают энтузиазм неопытной молодости, которая, не выдержав «испытания Севером», спешит обратно, в более теплые края.

Несколько отступая от темы статьи, скажу: развитие воздушного транспорта и приблизило для людей более южных широт Север... и отдалило. Северяне призыва сороковых, начала пятидесятых годов приезжали на Север поездами и пароходами. И сегодня по совету новичкам держаться того же! Пусть едут поездом. Со всеми остановками. С пересадками — кому в Красноярске, кому в Новосибирске, кому в Осетрове, в Находке — на речные и морские суда, следующие на Север: Енисейский, Обский, на Север Якутии и Дальнего Востока («Северов» у нас от Баренцева до Чукотского моря много!)

Почему поездом? Да просто потому, что тысяча километров в сутки в скором поезде позволяет лучше присмотреться к Северу на «подходах» к нему, подготовиться психологически к встрече с ним, чем несколько часов полета в самолете. Да и страну родную увидишь, а не только бетонные взлетные полосы да аэровокзалы в аэропортах пересадки. Нередки в поезде и на судне и попутчики-северяне, возвращающиеся из отпусков на ставший для них родным Север, — от них позаимствуешь кое-какие интересные сведения.

А то что получается? Переносят могучие крылья турбореактивных и турбовинтовых лайнеров Аэрофлота паренька с Харьковщины или Тамбовщины за десяток часов в район Норильска, и вот встречает наш Север его, еще вчера гулявшего теплой ночью в городском парке, снегопадом. Вместо могучих древесных крон над головой мгlistое, серое небо, и до самого горизонта — ни дерева, ни травинки, снег да туман, да холодные свинцовые волны Енисея ли, Оби, Лены, Колымы или самого океана.

Происходит не постепенное изменение, а ломка так называемого «динамического стереотипа», которая не всегда безболезненна и для людей, выдавших виды, поднатревших в путешествиях на Север и обратно. Иное дело — второе, а в ряде районов и третье уже поколение северян, которые здесь возмужали. Жизненные и трудовые навыки этих юношей и девушек формировались с детства в привычных для них условиях Севера. Удержать это подрастающее поколение на Севере посредством продуманной системы мер — важная и неотложная проблема.

Разрешима ли эта проблема?

Нами были опрошены выпускники общеобразовательных школ Магаданской области, и это обследование дало показательные результаты. Каждые четыре из пяти опрошенных твердо заявили: если бы могли получить специальное образование на Севере, то никогда бы его не оставили.

Есть над чем задуматься товарищам из Министерства высшего и среднего специального образования!

Примечательно, что две трети выпускников наследуют, по данным опроса, профессии своих отцов и матерей. Так первостроители Севера не только закладывают фундамент его промышленного освоения, но и формируют поколение, которое готово принять из их рук и продолжить их дело. А ведь это и есть один из важнейших видов той преемственности производственного опыта, которая особенно важна здесь, на Севере, где особые условия вносят в приемы любого труда много специфического. Но как, в каком направлении расширять и укреплять существующую здесь сеть высших и средних специальных учебных заведений? Ответ на этот вопрос вряд ли будет достаточно обоснованным, если решать его умозрительно, без предварительного обследования научными методами.

Например, нужно ли иметь почти в каждой северной области педагогический институт? Ведь методы преподавания и обучение школьников примерно одинаковы и на жарком Юге и на Севере? Педагогические кадры для преподавания в национальных северных школах, имеющих свои особенности, с успехом подготавливает Ленинград. И все же такое мнение требует серьезной проверки. Наряду с этим есть такие вопросы, которые достаточно поставить, чтобы ответ возник сам собой. На всем огромном Севере нет ни одного политехнического института с очным обучением, который готовил бы специалистов для тяжелой промышленности, в том числе и для разработки золотоносных россыпей Северо-Востока, имеющих свои особенности. Нужны ли такие институты? Потребность в них ощущается давно. Ведь на Северо-Восток ежегодно прибывают тысячи молодых специалистов — горняков, строителей и других, — каждый шаг самостоятельной деятельности которых здесь так или иначе отмечен соприкосновением с вечной мерзлотой, о которой они до приезда на Север и представления не имели никакого, не говоря уже о профессиональном знании ее на инженерном уровне! Молодые инженеры, выпускаемые этими институтами, будут крепко связаны с Севером интересами своей профессии, смогут углублять свои познания, становиться учеными, живя и работая именно здесь. Они станут важной частью постоянного населения Севера.

В последние годы на Северо-Востоке уделяется немало внимания исследованию внерабочего и свободного времени трудящихся. Требовалось обосновать проектные предложения о строительстве жилого комплекса на двадцать тысяч жителей на месторождении алмазов трубки «Удачная», расположенной в Якутии, в восьми километрах от Полярного круга; с этой целью Северо-Восточный комплексный институт и институт ЯкутНИИПромалмаз основательно изучили фонд и структуру внерабочего и свободного времени трудящихся города Мирного, причем использован был инструментальный анкетного обследования, разработанный в Сибирском научном центре, несколько измененный с учетом особенностей жизненного уклада на Севере. Трудность заключалась в том, что город Мирный и будущий город на трубке «Удачная» объединяют по существу лишь общность структуры их градообразующей группы и в известной мере географическое положение. Город Удачная (назовем его так условно) — это город завтрашнего дня — будут отличаться наиболее удобные условия жизни при максимальном сокращении затрат внерабочего времени на материально-бытовые нужды. Всесторонне развитая сфера

обслуживания населения этого города почти полностью освободит его жителей от домашних хозяйственных забот.

Население в этом городе достигнет проектной численности к середине семидесятых годов. Каков будет его состав — по возрасту, полу, профессиям? Каков будет фонд внерабочего и свободного времени? На такого рода вопросы надлежало дать конкретные ответы до принятия плана его строительства. Ведь от того, насколько правильны эти ответы, многое зависит в конечном счете в жизни, здоровье, работоспособности и просто настроении тех, кто в нем поселится.

Мы попытались выработать гипотезу формирования населения этого города на пионерной и последующей стадиях его заселения и вычислить предполагаемое свободное время горожан. Предусмотреть демографические показатели вновь создаваемого города всегда трудно. В этом случае были еще и особенности, новизна которых усугубляет эту трудность: архитектурно-планировочное решение города будет представлять собой в градостроительном отношении комплекс девятиэтажных жилых домов, соединенных друг с другом и общественным центром крытыми галереями-переходами; это обуславливает некоторую «жесткость» конструкции. Вместе с архитекторами наши социологи «проследили» шаг за шагом труд и быт будущих горожан — мужчин и женщин, занятых в общественном производстве и в домашнем хозяйстве, молодых семейных пар и больших семей во всех возрастных и профессиональных группах, измерили их свободное время, учитывая особенности ритма жизни у Полярного круга, полярную ночь и полярный день. Молодые научные работники нашего института, выполняя это задание, трудились, можно сказать, с энтузиазмом — всем хотелось, чтобы суровая природа этого края приносила жителям города не тоску и уныние, а радость и счастье.

В результате исследований удалось математически моделировать прогнозы демографических показателей города и подойти к построению логической модели рационального использования свободного времени его жителями. Эта работа, конечный результат которой мы видим в определении нормативов для проектирования объектов социально-культурного строительства в городах аналогичного типа на Сезере, позволила дать ряд конкретных рекомендаций. При этом принималось во внимание то важное обстоятельство, что город Удачная, как и его другие собратья на Севере, будет не иносказательно, а в прямом смысле вечно молодым, так как еще многие десятки лет его демография будет формироваться, испытывая влияние таких факторов, как обновление состава его населения за счет притока молодежи.

Фонд свободного времени у трудящихся города Удачная будет больше, чем у жителя сегодняшнего Мирного, в полтора раза, и в расчете на численность взрослого населения суммарный недельный фонд свободного времени увеличится на сто сорок—шестьдесят тысяч часов. Этот фонд в основном складывается из наблюдений над наиболее деятельной и подвижной частью населения—молодыми семейными парами, мало-семейными и одиночками; семи-шестичасовой рабочий день, затем восьми-девятичасовой отдых. Планировка города должна соответствовать этому.

Здесь уместно заметить, что активное воздействие свободного времени на производительность труда в последующее рабочее время далеко не определяется лишь мерой свободного времени, еще важнее, как оно используется. А это в огромной степени зависит от условий. В новом северном городе возрастают требования ко всему комплексу культурно-просветительных и спортивных помещений. Поэтому в общественном центре необходима большая дифференциация помещений для любительских занятий — «по интересам». Должно быть увеличено против нормы число спортивных сооружений (в том числе открытых, летних). Следует предусмотреть общие просторные помещения клубного типа в каждом из жилых домов-секций. Взрослое население города будет меньше проводить времени в своем жилище и больше в общественных учреждениях (в зимнее время — преимущественно в закрытых помещениях).

В связи с этим, нам думается, определив норму жилой площади на душу населения для этого города в двенадцать квадратных метров, Госстрой допускает ошибку: здесь ее не следовало бы увеличивать относительно принятой в девять квадратных метров, а высвобождающиеся капиталовложения лучше было бы обратить на строительство помещений культурно-просветительных и спортивных.

Показатели фонда и использования вне рабочего и свободного времени должны найти свое место, по нашему мнению, уже в самых ближайших народнохозяйственных планах.

Мы, по-видимому, не ошибемся, если скажем, что сегодня создаются материальные условия и исторические предпосылки для формирования постоянного населения на Севере. Заселение Севера поднимается на уровень государственной политики. Это обязывает. Это заставляет предвидеть. А для того, чтобы предвидеть, необходимо знать. Необходимо изучать человека на Севере и у колыбели младенца, и у колыбели нового города. Между тем, добившись колоссальных успехов в исследовании минерально-сырьевых и биологических ресурсов Севера, накопив огромный опыт строительства в северных районах, мы еще по существу очень немного знаем о человеке на Севере.

Научившись воздвигать на вечной мерзлоте города, строить рудники и заводы, прокладывая дороги, мы находимся еще лишь в начале изучения санитарно-демографических, гигиенических и социальных проблем. Нет динамических наблюдений за формированием населения. Еще ни одно поколение не прослежено в социальном, гигиеническом и санитарном отношениях, закономерности оседания населения мало изучены.

Между тем потребности перспективного народнохозяйственного планирования ставят в порядок дня демографические прогнозы на шестьдесят—сто лет.

Переселение на Север... Как оно скажется на рождаемости, смертности, заболеваемости населения в 1980—2000 годах и позднее? Сегодня ответить на эти вопросы мы не можем. Наш научный задел изучения человека на Севере диспропорционален тому, что достигнуто в хозяйственном освоении северных районов.

Затруднено и изучение этой проблематики отсутствием достаточных научных сил, неудовлетворительной координацией тех, которые имеются, крайней бедностью социальной статистики.

Человек на Севере должен найти отражение в государственной статистике, и не только в выборочных обследованиях, проводимых научно-исследовательским институтом.

Существующая статистическая отчетность не дает возможности наблюдать и анализировать региональные процессы формирования населения и использования трудовых ресурсов в районах Севера. Эта отчетность одинакова и для Псковщины или Киевщины, где города стоят тысячу лет, и для Севера, где большинство их насчитывает лишь первые десятилетия.

Специфика Севера должна, по-видимому, быть учтена и при проведении Всесоюзной переписи населения в 1969 году.

* * *

«Певеция,— говорят жители заполярного Певека, на берегу Восточно-Сибирского моря,— не Венеция».

В Кулунде земля промерзает на два метра и несколько глубже, зима сурова, но согреваемая весенним солнцем Кулундинская степь в считанные дни освобождается от снегов. На Севере же мощность многолетнемерзлых пород достигает местами пятисот метров и редко бывает меньше двадцати пяти, а оттаивает она где на два метра, а где и на двадцать сантиметров. В распадах северных склонов гор и сопок снега лежат вечно.

Если и западносибирская целина требовала мужества и больших усилий для ее освоения, то на Чукотке их требуется куда больше.

Человек на Севере проводит каждый день жизни в борьбе с суровой природой и нелегком труде. Необходимо сделать все, чтобы его труд был легче и успешней, чтобы его жизнь была радостней.

Магадан.



В МИРЕ НАУКИ

М. ПЕТРОВ, А. ПОТЕМКИН

★

НАУКА ПОЗНАЕТ СЕБЯ

Что такое наука? Как она влияет на общество, на его экономические и политические институты, а главное — на человека, на его быт и психику? Что она «влияет» — это теперь признают все. Даже папа римский произносит теперь речи о науке, да такие, что им могут позавидовать президенты национальных академий наук. Науку как силу признают ныне повсеместно. Но от признания до понимания того, как рождается и действует эта сила, — не близкий путь.

* * *

До самого последнего времени представления о науке строились главным образом на авторитетных мнениях великих ученых. Им лучше всех известно, что такое наука, — они ее начинали и развивали. Теперь история науки переходит к попыткам исследовать науку методами самой науки; изучая собственную анатомию, законы роста, условия, которые необходимы для нормального развития, а также причины многочисленных тяжелых и легких недомоганий, наука «познает самое себя».

Теоретическое самосознание науки направляется ее собственной природой к материализму и диалектике, но движение это противоречиво и сложно. Освободясь от власти церкви и утвердив свою независимость от умозрительной философии («Физика, бойся метафизики!»), ученые все же порой привносили в свои философские построения теологические и идеалистические предрассудки, которые гораздо больше вредят теории (или философии) науки как особого рода общественной деятельности, чем специальным научным исследованиям в той или иной сфере познания.

Вместо изучения объективных причин, движущих науку и индивидуальное научное творчество, создавалась своеобразная мифология. О каждом великом ученом складывались легенды и притчи, в которых несведущим людям сообщалось о том, какой должна быть настоящая наука, как должно вести себя настоящему ученому, какими моральными принципами он должен руководствоваться. В XIX столетии возникает ходячий образ подвижника науки — «человека-в-белом-халате», — который, по словам американского историка науки Д. Прайса, «шестьует по жизни с философским камнем «научного метода» и пишет одними только безличными оборотами в страдательном залоге». Сам по себе этот образ не был опасен для науки и не мешал научному исследованию. Он существовал как система нравственных правил, как своего рода сумма «положительных примеров». Он не связывал ученых и даже поддерживал в некоторых из них уверенность в собственных силах, твердость и упорство в сложных ситуациях. Однако им же порождалась и та моральная «непробиваемость», над которой так зло издевались Шоу, Хаксли и множество других литераторов — критиков современной науки.

Сильным ударом по нравственному снобизму ученых на Западе был экономический и политический кризис тридцатых годов. Боги научного Олимпа оказа-

лись не в состоянии ориентировать значительно возросшую армию ученых в сложном переплетении экономических и политических катастроф того времени.

Попытки исследовать науку научными же методами бывали и раньше, но только в тридцатые годы они принимают широкий размах. По мнению многих ученых, большую роль в развитии таких исследований сыграл опыт планового развития науки в СССР, вызвавший среди ученых различных стран дискуссии о планировании и о свободе науки. Прайс, один из главных теоретиков и пропагандистов научного подхода к науке, пишет: «Хотя спорящие резко делились на левых и правых, лидерам обеих партий в науке, чтобы обеспечить боеприпасами орудия главного калибра, приходилось глубоко копаться в истории науки, а также в ее социологии, психологии и экономике. В этих условиях и появился в обращении термин «наука о науке».

Со времен второй мировой войны в споре зарубежных ученых о судьбах и роли науки зазвучали новые ноты. В эти годы впервые практически осуществились такие варварские приложения науки, как «душегубки», «плановое истребление» миллионов людей, медицинские эксперименты на военнопленных или детях другого народа, атомные бомбы... «Физика познала первородный грех», — сокрушался один из создателей атомной бомбы Р. Оппенгеймер. Но не только физикам — всем ученым пришлось признать, что господствовавшие в науке нравственные принципы оказались несостоятельными. Прежде всего концепция аполитичности науки — эта разновидность апологии бездействия.

Жизнь поставила науку перед выбором: либо остаться слепым и послушным орудием в экономическом и политическом конфликте современности, примириться с угрозой термоядерных и всяких других катастроф, либо же осознать себя как политическую и нравственную силу, которая может, способствуя другим силам прогресса, участвовать в борьбе за новые человеческие формы существования.

Речь здесь идет, конечно, не о художесном споре «физиков и лириков», а о гораздо большем: как исключить возможность варварских приложений науки, как связать и обезвредить те силы «невежества и алчности», которые, по словам всемирно известного теоретика и историка науки Джона Бернала, «искажают науку, отклоняют путь ее развития к войне и разрушению».

Положение остается опасным и даже критическим. «В господстве над атомом, — замечает Бернал, — нашла одно из своих проявлений полная сила науки. Но вместе с тем стало ясно, что политические и финансовые силы, которые управляют человечеством в настоящее время, оказались неспособными использовать возможности науки. Они не в состоянии даже понять эти возможности, и только после двадцати лет существования в атомном веке мы начинаем усваивать этот урок... В возможности у нас век изобилия и досуга, но в действительности перед нами разделенный мир, в котором больше нищеты, глупости и жестокости, чем когда-либо раньше»¹.

Чтобы выйти из тупика, в котором судьбы человечества оказываются в опасной зависимости от алчности, чванства, фанатизма и невежества, необходимо, по мнению Бернала, разработать научную «программу перехода» «с минимумом напряжений и разрушений». Но прежде чем разрабатывать такую программу, придется решительно и бесповоротно расставаться с иллюзиями нравственной непогрешимости науки, отказываться от элементов теологии и мифологии в жизни самой науки.

Науку приходится теперь изучать. Причем изучать и познавать ее нужно конкретно-исторически. Нужно заставить современную науку свидетельствовать о себе языком фактов.

Самосознание и попытки изменить осознанное — вещи разные, но зачинатели, пропагандисты и активные деятели «науки о науке» заверяют, что положение здесь не безнадежно. Спрос на науку в современном мире так велик, что любое

¹ Bernal J. D. After twenty five Years. «The Science of Science». L. 1964, pp. 227, 211.

государство, говорят они, вынуждено с нею считаться, а с другой стороны, схема, по которой строятся обычно отношения между государством и наукой, сама становится сегодня источником своего рода «научного движения». Прежде всего это «невидимые колледжи» — основная форма самоорганизации науки. «Невидимый колледж» основан на личных контактах и на общности научных интересов, он использует официальные формы организации науки примерно тем же способом, каким рак-отшельник использует раковину, а человек — «жилищную площадь». «Невидимые колледжи», по мысли некоторых видных представителей «науковедения», — это как раз те «генераторы», в которых производится новое знание, и, будучи монопольными владельцами нового знания, они должны быть хозяевами «на пиру науки»: от них зависит судьба любого сотрапезника — терпеть ли его за столом или изгнать. Тот же Прайс пишет, желая, по-видимому, внушить бодрость и дух активности своим сотоварищам: «Невидимые колледжи располагают сейчас достаточно властью, чтобы вышвырнуть из науки ее «подпольных акушеров» и «отравителей», сорвать с них защитную маску аполитичности»¹.

С деятельностью «невидимых колледжей» связывают и более радикальные перспективы политического самосознания людей науки: «Ученые еще едва только начинают сознавать, какую значительную власть держат они в руках, едва только начинают пользоваться этой властью. Ряды ученых и высшей научной иерархии разрослись сейчас до таких размеров, что, мне кажется, не так уж далек тот день, когда некоторые из лучших начнут более решительно включаться в политику. Нам нужны такие люди на национальной и международной арене. Они необходимы для коренной перестройки всей социальной кухни науки и для решения проблем службы науки человеку»².

Здесь может возникнуть законное, хотя и смутное беспокойство.

В самом деле, вряд ли нужно убеждать, что положение действительно серьезно. Если вчера создана атомная бомба, то кто может гарантировать, что завтра наука не преподнесет нам что-нибудь еще более сильнодействующее и портативное, дающее, например, возможность взбесившемуся одиночке уничтожить все живое? Никаких гарантий тут дать нельзя. Поэтому, пока разговор идет о нравственном самосознании науки, об осознании учеными своей ответственности перед человечеством, вряд ли у кого могут возникнуть возражения: пусть осознают, пусть избавляются от теологических пережитков в научном сознании. Но вот когда речь заходит о политическом самосознании, о перестройке «всей социальной кухни», то сразу мелькает мысль: не выдвигается ли при этом совсем другая, значительно менее бесспорная проблема?

Опасения не беспочвенны, поскольку в конце концов «самосознание науки» кладет в основу необходимость и нужды самой науки, а затем уже, во вторую очередь, учитывает другие, гораздо более широкие нужды и социальные институты. Прайс, например, этого и не скрывает: «Особый интерес вызывает то обстоятельство, что наука во многих отношениях проявляет себя как универсальная, наднациональная и надсоциальная структура. Поведение науки определено, видимо, ее имманентными законами в значительно большей степени, чем свойствами социального окружения и стремлениями людей, идет ли речь об ученых или о патронах науки»³. Но если это так, то «политическое самосознание науки» будет через «своих людей» в политике навязывать человеку и обществу нечто такое, что не вытекает ни из нужд человека, ни из нужд общества.

Отправляясь от этой точки зрения и считая современное национальное государство неустрашимой формой социальной жизни, английский литератор и знаток науки Олдос Хаксли еще в тридцатые годы попытался изобразить в «Бравом новом мире» будущее человечества и пришел к безрадостным выводам, которых он не изменил и после войны: «Только средствами наук о жизни можно радикально

¹ Price D. Little Science, Big Science. N. Y. 1963, p. 114.

² Там же, pp. 114—115.

³ Price D. The Science of Science. «Bulletin of the Atomic Scientist», vol. XXI, № 8, Oct. 1965, p. 3.

изменить саму жизнь в глубинных ее качествах. И хотя науки о неживой природе могут найти такие приложения, которые разрушат жизнь или сделают ее невообразимо сложной и неудобной, все же пока эти науки не используются как инструмент в руках биолога или психолога, им не дано менять естественные формы и проявления самой жизни. Освобождение атомной энергии знаменует великую революцию в человеческой истории, но не последнюю и не самую радикальную революцию, если, конечно, мы не разлетимся на куски и не покончим вообще с историей. Эта грядущая, наиболее глубокая, истинно революционная революция должна быть совершена не в окружающем нас мире, а в душах и плоти самих людей». Застывший и отвратительный мир человеческих инкубаторов, гипнопедии, интеллектуально-биологических каст, наркотических суррогатов человеческих чувств, как он представлен у Хаксли, — естественное логическое завершение идей «истинно революционной революции», когда силы государства и науки направлены не на изменение условий существования человека, а на изменение самого человека под лозунгом: «Научить человека любить свое ярмо».

Естественно возникает вопрос: не получит ли человек в идеях «науки о науке», в продуктах теоретического и политического самосознания науки вместо помощи очередную угрозу?

Здесь многое смущает: и та «загадочность определения посредством числа», о которой писал еще Гегель, и те обещания творить цивилизации из полупроводниковой глины, которые совсем недавно давались «отчаянными кибернетиками», и тот душок мертвечины и воинствующей бессмыслицы, который связан для нас с самими терминами «формализм», «количественная интерпретация». Цифра, схема, модель, структура — а без них наука и шагу ступить не умеет — коварные друзья. Слишком уж просто превращаются они сейчас из средства в цель: выхватывают из жизни моменты и мгновения, чтобы вернуть их нормой, правилом, контрольной цифрой. И, намертво схваченная знаком, жизнь начинает кружиться в растянутом на десятилетия «функциональном определении», начинает стонать и жаловаться, как Дантова Беатриче: трудно ей вырваться из пут мгновения, которое и было-то прекрасным, потому что оно — мгновение.

Да, мы не любим цифр в роли указателей, повелителей, организаторов, в роли судей и исполнителей. Нам невозможно примириться и согласиться с тем количественным поветрием безответственности, которое стремится «освободить» человека от прав и обязанностей, силится посадить таблицу умножения на пустеющие иконостасы. Для нас цифра — орудие. Она — один из самых надежных способов преломить и собрать пеструю действительность в фокус понимания, но и только. Без телескопа и пятен на Солнце не разглядишь, это общезвестно, но пятна на одежде выводят не телескопами. Поэтому, взглядываясь в новое — а оно, несомненно, содержится в процессах самосознания науки, — нам нельзя терять из виду ту демаркационную линию, которая отделяет понимание от действия по понятию, телескопы от пятновыводителей.

Но стоит ли вообще взглядываться? Мало ли за последнее время появлялось и исчезало ультрасовременных, ультраколичественных и ультраструктуральных теорий, чтобы волноваться по поводу еще одной попытки количественно исследовать сложные и тонкие процессы творчества. Нам кажется, стоит. За два-три года, которые прошли с момента ознакомления нашей научной общественности с идеями, методами и первыми результатами «науки о науке», в науковедческие исследования оказались вовлеченными такие силы и организации, что теперь уже времени не хватает на конференции, встречи, совещания, симпозиумы. Когда обдумывалась эта статья, перед авторами лежали два пригласительных билета. Один из них от имени Академии наук СССР и Советского национального объединения историков естествознания и техники приглашал на расширенный пленум, другой от имени всесоюзного общества «Знание» и двух исследовательских комитетов Академии наук СССР приглашал на беседу «Информация и прогнозирование научно-технического прогресса». И там и здесь академики, доктора, кандидаты различных наук. Оба совещания в Москве, оба начинаются в один день и в один час: в 10 утра 30 мая

1967 года. Киев, Львов, Одесса, Ростов, Махачкала, Сухуми, Томск, Новосибирск, Алма-Ата, Москва, Ленинград — такова сегодня география науковедения в нашей стране. И как бы мы ни отнеслись к существованию высказываний того или иного пропагандиста новой идеи, нам следует, видимо, знать, что же так привлекает ученых в науковедении и почему оно так быстро завоевывает права гражданства.

* * *

В 1957 году, получая премию Калинга, которую Индия выдает борцам за мир и взаимопонимание между народами, Бертран Рассел сказал: «Наука и техника движутся сегодня вперед слепо, безрассудно, без определенной цели, словно танковая армада, которая потеряла своих водителей». Сказано мрачно. Рассел — один из крупнейших ученых. И все же, говорит «наука о науке», нельзя удовлетворяться и самыми авторитетными мнениями. Чтобы понять пути научного развития, нужно объективно исследовать факты.

Что же это за факты? Насколько они надежны? Насколько полно представляют науку? Нужно сказать прямо: фактическое основание, на котором воздвигается сегодня науковедческая теория, весьма специфично и ограничено. Речь идет об естествознании, только о нем — английское science! — к тому же только о «фундаментальной», или «чистой», его части, для которой научная публикация может считаться конечным продуктом научного творческого акта. Более того, этот ограниченный материал подтвержден в основном лишь материалами английской и американской статистики. Все это требует осторожного и критического подхода к составу науковедческих фактов, к выводам из этих фактов и особенно к переносу идей, методов и результатов «науки о науке» на нашу научную действительность. Отсутствие надежной статистики — сегодня главная беда нашего науковедения, и не только его, — не дает ему подняться в своих выводах выше более или менее вероятных гипотез.

При всем том нет решительно никаких резонов с порога отвергать и эти факты, и их истолкование. Энгельс в свое время, подчеркивая односторонность и относительную применимость законов Бойля, указывал, что в них все же представлены моменты истины. Так и здесь, не забывая об одностороннем и искаженном представлении науки в науковедческих фактах, мы не можем игнорировать того обстоятельства, что все же здесь звучит голос самой науки, что наметилась область объективной проверки и уточнения наших представлений о науке.

Официальной датой рождения современной опытной науки в Англии принято считать 1665 год, когда Лондонское Королевское общество начало издание первого научного журнала.

За триста лет ее существования накоплен огромный материал в форме журналов, книг, статей, имен ученых, биографических данных и т. п. Если поднять этот архив истории науки, то можно довольно точно установить общее направление, в котором движется «армада». Мы не будем входить в детали, их много, они очень интересны для специалиста, но сейчас они увели бы нас от нашей главной темы. Заметим только, что количественные исследования науки ведутся в широком масштабе и в дальнейшем изложении мы постараемся удерживаться в рамках того, что сегодня уже считается проверенным и подтвержденным в этой области.

В процессе науковедческих исследований выявлены три основных закона существования науки: закон экспоненциального роста, закон кристаллизации, закон кумуляции научного знания. И хотя названия эти законы получили совсем недавно и без объяснений звучат непонятно, действовали они на протяжении всей жизни науки и вряд ли прекратят свое действие в ближайшие годы, хотя, по мнению некоторых исследователей, современная ситуация в науке близка к кризису: приближается ее переход из «детского» во «взрослое» состояние, когда существовать ей придется по каким-то другим законам.

Закон экспоненциального роста науки, первая формулировка которого по существу была дана Энгельсом в полемике с Мальтусом, устанавливает, что по

любой количественно измеримой характеристике (число ученых, число журналов, число статей, число университетов и т. п.) объем научной деятельности растет, как говорил Энгельс, в геометрической прогрессии и, как это теперь выяснено, удваивается каждые десять—пятнадцать лет. Этот факт проверен многими исследователями из разных стран. Знаменательное исключение составляет лишь один показатель — расходы на науку. Они тоже растут экспоненциально, но в другом темпе: удваиваются каждые пять—семь лет. Серьезность возникающих при этом проблем нетрудно понять, если сравнить темпы роста науки и расходов на науку с темпами роста населения и национальных доходов. За последние столетия население удваивается каждые сорок лет, национальные доходы — каждые двадцать лет. Если не отменять таблицу умножения и не изменить законы, по которым вот уже триста лет существует наука, то где-то в начале следующего столетия «танковая армада» науки должна будет либо поглотить все человеческие и финансовые ресурсы национальных государств, либо же взломать современные социальные условия своего бытия.

Самый факт, что объем научной деятельности допускает измерения по любой характеристике и дает при этом одинаковые темпы роста, заставляет подозревать, что научная деятельность обладает внутренней формой и растет не как эпидемия или мода, а как гриб после дождя, или дерево, или ребенок: размеры увеличиваются, а пропорции остаются в основном неизменными. Это может означать только одно: если наука действительно обладает внутренней определенностью, то и требования «танковой армады» к своему социальному окружению могут оказаться также вполне определенными.

Вторая закономерность — кристаллизация — исследована главным образом американцем Прайсом и его коллегами. По этой закономерности все в науке — ученые, статьи, журналы, дисциплины, таланты, одаренности — распределяется по единому закону, как бы становится друг для друга либо «городом», либо «населением». Закономерность проявляется с тем же постоянством, с каким население не рассеивается равномерно по лицу земли, а проявляет неистребимое стремление собираться в деревни и города. Такое неравномерное распределение вытекает из так называемого закона Ципфа. Этот закон устанавливает следующее: если, например, составить для данной страны список населенных пунктов и расположить их по числу жителей, то произведение числа жителей на число населенных пунктов с этим числом жителей остается для всего списка величиной постоянной. Точно таким же способом и по тому же закону ведут себя и жители самых разных стран и «жители» науки. Статьи «заселяют» ученых, как города, и тогда ученые выстраиваются в иерархию величин от научного Ленинграда до научной Ивановки, причем самым большим «статейным городом» в истории науки был английский математик Кэли, который написал девятьсот девяносто пять работ, тогда как средний ранг научного «населенного пункта» довольно скромно: ученые пишут в среднем по три с половиной статьи за всю свою жизнь¹.

Конечно, по количеству написанного нельзя судить о качестве написанного, — но другой меры у науковедения пока что нет. И все же, при всей условности такого подхода, количество опубликованных работ кое-что говорит о ранге ученого. Например, из тридцати наиболее известных ученых XIX столетия только Г. Риман написал менее пятидесяти работ, но и умер он в возрасте сорока лет.

Закон кристаллизации создает ранговое неравенство на всех уровнях науки. Он — существенная деталь внутренней формы науки, которая дает себя чувствовать в любых попытках ее нарушить. «Реализовать закон, — замечает Прайс, — по которому одновременно создавалась бы тысяча одинаковых институтов, выпускающих по десять физиков в год, было бы ничуть не проще попытки законодательным порядком отменить города и расселить людей по стране равномерно»².

¹ Данные получены при статистических исследованиях реферативных журналов по точным и естественным наукам.

² Price D. The Science of Science. «Bulletin of the Atomic Scientist», vol. XXI, № 8, Oct. 1965, p. 7.

Закону кристаллизации подчинено и распределение одаренности, таланта, склонностей. Это явление изучено с помощью соответствующих тестов; состав и техника их не бесспорны, но все они дают одну и ту же картину распределения. Так, пользуясь шкалами армейского классификационного теста, американский исследователь Л. Гармон изучал группу выпускников высшей школы США 1958 года и обнаружил, что при современных требованиях к ученому претендовать на участие в научной деятельности может лишь шесть — восемь процентов населения США. Остальные не обладают необходимым для ученого минимумом интеллектуального развития.

Данные этого рода требуют, конечно, самого критического отношения, но нельзя не согласиться с тем, что науке нужны не «люди вообще», а люди с некоторым уровнем одаренности, специальной для данной области. В настоящее время такие люди встречаются довольно редко (по Гармону — один на пятнадцать человек), да и эти встречающиеся используются пока лишь на четыре процента. Но если история поставит задачу увеличить общий научный потенциал человечества, то это требование науки к человеку должно будет принять форму проблемы гораздо более полного использования существующего запаса и общего повышения одаренности людей.

Хорошо это для человечества или плохо?

Если повышение одаренности будет идти за счет устранения каких-то внешних препятствий, не затронет «душу и плоть» человека, то, конечно, хорошо. Если же для этой цели понадобится противоестественная «истинно революционная революция», о которой писал Хаксли, то не менее твердо следует ответить: плохо!

Чтобы уточнить ответы, нужно знать причины, которыми определен современный уровень способности к научным занятиям. А причины эти могут располагаться либо в наследственности — филогенез, — либо в системе воспитания и образования — онтогенез. Мы не будем входить в детали антропогенетики, вопрос этот сложный и болезненный, хотя такие светила генетики, как покойный Дж. Холдейн, считают, что именно этот путь, при всей его сложности, наиболее перспективен. В своей последней работе Холдейн писал: «Я верю в принципиальную возможность улучшить одаренность нашего вида до уровня способностей, которыми обладали или обладают несколько тысяч избранных в прошлом и настоящем, причем уровень одаренности одиночек в таком обществе превосходил бы возможности нашего воображения».

Что же касается «онтогенеза» одаренности, то здесь все гораздо яснее и определеннее. Воспитание и образование строятся сейчас во всех странах на более или менее общих принципах всеобщего и обязательного обучения по единым срокам и программам. Эту систему трудно было бы обвинить в насаждении одаренности, в увеличении многообразия и самобытности человеческих характеров. Традиционный процесс образования использует конвейерный принцип, методами массового производства перерабатывает «первоклассника» в «выпускника средней школы», а этого последнего — в «специалиста». Процесс организован как равномерное по времени («классы», «курсы») движение всей массы обучающихся к единому идеалу. Здесь перед нами бесплорная попытка законодательным путем «закрыть города», добиться равномерного расселения талантов и склонностей по всем человеческим головам. Поэтому те различные уровни одаренности людей, которые вскрываются в тестах, приходится понимать как явления о с т а т о ч н ы е — они существуют не б л а г о д а р я, а в о п р е к системе образования; если бы удалось идеально «хорошо поставить» систему образования традиционного типа, талант вообще не мог бы сохраниться.

С точки зрения закона кристаллизации современное образование, которое преследует цель сообщить известную и одинаковую для всех сумму знаний, выглядит как массовое убийство таланта. «Из всех видов отупления мозгов в результате образования, — пишет Джон Бернал, — особенно пагубен для гения догматический метод обучения; если любая попытка мыслить собственной головой осуждается или

хотя бы не поощряется, то способность творить новые сочетания идей — а именно она составляет сущность гения — может быть настолько подавлена, что окажется совершенно утраченной»¹.

Уже из такого предварительного и неполного анализа можно сделать вывод, что первый удар «танковой армады», о которой говорил Рассел, должен будет, видимо, принять не человек, а традиционная система образования, которая до сих пор строится на платоновской идее подражания образцам, тогда как с точки зрения науки целью образования должны быть именно различие, своеобразие, индивидуальная неповторимость: они образуют то, что приводит в движение все механизмы науки, что является ее «рабочим телом».

Здесь сразу же возникает вопрос: а не будет ли этот предполагаемый удар по традиционной системе образования простым отказом от традиций и накопленных знаний? Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть третий закон существования науки — закон кумуляции, по которому наука производит и накапливает новое знание.

Закон кумуляции еще едва только прорисовывается в исследованиях науки. Первоначально он был обнаружен Д. Прайсом при изучении цитирования и английским исследователем Д. Урквартом при изучении запросов на журналы в центральной научной библиотеке Лондона. Закон кумуляции подчеркивает преемственность чового и наличного знания, дает количественную меру этой преемственности и опровергает все фантазии о желательности и возможности уничтожить культурную традицию и строить новую культуру «с нулевой отметки».

Исследования показывают, что реализованное в публикациях знание начинает с момента появления на свет участвовать в порождении нового знания, новых публикаций, причем средняя общая мера такого участия оказывается для статей удивительно постоянной — одно цитирование в год. Конечно, и здесь действует закон кристаллизации — одни статьи цитируются часто, другие редко, — но в целом по накопленному архиву публикаций среднее количество цитирований в год составляет единицу, а среднее количество цитирований, которое необходимо для порождения новой статьи и включения нового элемента в наличную систему знаний, составляет десять — пятнадцать ссылок и заметно колеблется в различных дисциплинах. Закон этот подтверждает старую истину: не овладев знанием, которое накопило человечество, нельзя достичь в науке ничего нового.

Кумуляция — расширенное воспроизводство знания — составляет внутринаучную основу роста знаний, и в этом смысле она лишь вскрывает внутренний механизм экспоненциального роста объема науки. Эту количественную сторону дела наглядно поясняет аналогия Прайса: «Статьи ведут себя по тем же нормам, что и население, за исключением того, что статьям приходится собираться вдесятером, чтобы произвести на свет еще одну статью, тогда как у людей хватает пары»². Сторона же качественная связана с тем обстоятельством, что в каждом отдельном случае мы получаем возможность двигаться по связям цитирования, исследовать возникающие при таком движении области взаимного цитирования, их плотность, состав, возраст участвующего знания и многое другое, что конкретизирует наши представления о научном творчестве в данное время.

Из множества аспектов кумуляции для нашей темы особенно важен тот, который, по мнению Джона Бернала, составляет сущность гения — способность творить новые сочетания идей. Эту формулу Бернала можно было бы записать и несколько более распространенно: способность творить новые сочетания из наличных идей, которые входят в другие сочетания или состоят из других сочетаний. Это уточнение подчеркнет три важных для творчества момента: материал гипотезы предшествует акту ее построения; этот материал связан и дан в сочетаниях, которые подлежат разрушению; ни в

¹ Бернал Дж. Мир без войны. М. 1960, стр. 320—321.

² Price D. Little Science, Big Science. N. Y. 1963, p. 78.

материале, ни в наличных его сочетаниях нельзя обнаружить ту новую связь, которая составляет суть открытия и за которую целиком ответствен ученый.

Здесь проблема творчества сразу же соприкасается с проблемами априорности, предзаданности, психологических установок и тому подобного, что, по мнению некоторых наших философов, грозит опасностью оказаться в плену у капиталистического субъективного идеализма. И поскольку вопрос о новом сочетании, новой связи идей оказывается ключевым в науковедческой теории творчества, в нем нужна ясность.

Нужно сказать, что опасность кантианского истолкования творчества в «науке о науке» вполне реальна. И дело здесь не только в том, что Кант традиционно пользуется в буржуазной науке авторитетом первого научного философа, но и в том, что у многих ученых, как это отмечал еще Ленин, стыдливый материализм — «стихийное, несознаваемое, неоформленное, философски-бессознательное убеждение подавляющего большинства естествоиспытателей в объективной реальности внешнего мира»¹ — превосходно уживается со стыдливой мистикой, с чувством избранности, исключительности, снобизма. И хотя кому, как не ученому, знать, сколько тысяч гипотез, догадок, новых связей нужно создать и выбросить, прежде чем появится та единственная, ведущая к открытию, все же ученому нетрудно бывает дать себя уговорить, что эта единственная появилась на свет уникальным образом. Словом, откровение не откровение, но что-то вроде, а именно — кантовское благочестивое удивление по поводу объективной значимости продуктов субъективного схематизма.

И все же, это также нужно признать, «наука о науке» не выступает в этом вопросе единым фронтом. Большинство науковедов отрицает наличие прямой познавательной связи с объектом исследования, пользуясь которой мысль могла бы безошибочно, единым махом постигать неизвестное. Поэтому приходится пользоваться методом проб и ошибок. Здесь, с одной стороны, подчеркивают, что все продукты научного творчества есть априорные сочетания множества элементов, которые никогда ранее не сочетались. С другой стороны, не менее четко проводится мысль, что не всякое такое априорное сочетание истинно, что с помощью эксперимента и вспомогательных средств продукты творчества как бы проходят «естественный отбор» на истинность и полезность. «Новые идеи возникают случайно, — пишет английский историк науки А. Кестлер, — они подобны мутациям; огромное большинство из них бесполезно и похоже на те биологические отклонения, которые не способствуют выживанию».

Термин «мутация», который теперь все чаще появляется в науковедческих работах, может создать ошибочное впечатление, что науковеды испытывают какую-то неправомерную склонность к биологическим аналогиям, пытаются свести человеческое и социальное к биологии. В действительности это не так. Там, где возникает опасность откровенной биологизации, науковеды обретают способность выражаться резко. Тот же Кестлер так, например, говорит о положении в психологии: «Антропоморфный взгляд на крысу американская психология заменила крысоморфным взглядом на человека».

Биологические аналогии возникают в «науке о науке» прежде всего из-за необходимости решить проблему творчества, не потеряв при этом реального творца — способность человеческого мозга создавать новые связи идей. А теория естественного отбора — единственная пока научная теория, которая рассматривает индивидуальные различия объектов изучения не как случайные отклонения, а как необходимое звено процесса эволюции. Это последнее обстоятельство особенно важно. Ведь, анализируя процессы накопления знания, ученые сталкиваются с непривычным для науки рядом у н и к а л ь н ы х с о б ы т и й, и события в этом ряду не повторяют друг друга: плагиат в науке, как и плагиат в искусстве, — это юридическое, а не научное или художественное явление. Наука же в ее основной социальной функции ищет в окружающем нас мире устойчивое и повторяющееся, ищет законы,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 367.

которые затем можно было бы передать в производство для бесконечного повтора. Наука просто не умеет еще обращаться с уникальными предметами. Поэтому, переходя к самосознанию и самопознанию, к изучению творчества как такового, наука вынуждена обращаться к биологическим моделям. Отсюда и возникают описательные по существу и непривычные и сомнительные для уха термины вроде «популяция статей», «потенция к цитированию», «детская смертность в науке». Поясняя действие закона кристаллизации, Прайс, например, пишет: «Большинство журналов, которые вышли одним или двумя номерами, больше уже не выходят, и большинство авторов, которые опубликовали одну или две статьи, в дальнейшем уже не печатаются. Из-за этого закона наука страдает ужасающей детской смертностью. Темп роста, скажем, из семи процентов в год складывается как разность между темпом рождаемости примерно из семнадцати процентов и темпом смертности порядка десяти процентов в год»¹.

Таким образом, продукты научного творчества служат процессу познания лишь в качестве материала, из которого познание выбирает и складывает свою историю. При этом только часть продуктов научного творчества идет в дело, включается в систему наличного знания и участвует в порождении нового, а другая, причем весьма значительная часть творческого продукта оказывается ненужной, что и создает эффект «ужасающей детской смертности».

Такая постановка вопроса — подтвержденная и статистикой — интересна во многих отношениях, и в первую очередь тем, что она, подобно призме, разлагает продукт творчества на составляющие, вскрывает его сложный состав, а также и разнородность элементов, соединенных в этом продукте. Обычно мы включаем в понятие научного творчества три момента: новизну, объективную истинность, пользу. Сперва возникает момент новизны (новая связь идей, гипотеза), причем «изготавливается» новизна силами индивидуального мышления. Затем эта «новизна» проходит проверку на объективность с помощью эксперимента. Если эта проверка пройдена, что удается весьма редко, «новизна» доводится до кондиций объективного знания или «факта», допускающего многократные повторения. Наконец «факты» проходят проверку на «пользу» в различных институтах отбора — от рынка до конструкторского бюро — и только здесь становятся наличным знанием.

Два первых момента этого бесконечного процесса — порождение нового и проверка нового на объективную истинность — традиционно считаются внутренним делом самой науки. Что же касается третьего момента — проверки на «пользу», — то здесь между наукой и другими социальными институтами всегда происходили и происходят ожесточенные споры. До недавнего времени позиция науки в этом споре почти целиком укладывалась в рамки аполитичности. Науку мало интересовало то, с какими именно критериями подходили к определению «пользы» и для чего употреблялось добытое ею знание. Когда к существующему массиву знания добавлялся еще один проверенный на объективную истинность элемент, наука считала свои функции исчерпанными. Она очень любила пресекать неуместные вопросы о судьбе нового знания контрвопросом Франклина: «Мадам, а какова польза от новорожденного?» Наука и по сей день пользуется иногда этим приемом, но поскольку вместе с Хиросимами и Освенцимами наступило время повышения политической ответственности, науке приходится теперь задумываться и над критериями пользы. Взять на себя ответственность за критерий пользы значит сегодня распространить научный контроль на общество в целом. Поэтому политическое самосознание науки может у некоторых ученых принимать «агрессивный» и технократический характер, других же поведет в противоположную сторону — к социализму. Мы не станем сейчас рассматривать эту сторону дела: она, как нам кажется, целиком укладывается в марксистское учение о государстве и условиях его отмирания. Остановимся только на первом моменте рассматриваемой формулы — на порождении

¹ Price D. Regular Patterns in the Organization of Science. «Organon», № 2, 1965, p. 247.

нового, поскольку именно этот момент подчеркивается в любых теориях творчества, идет ли речь о науке или искусстве.

Но прежде нам хочется сделать два частных, но очень важных для отношения к науковедению вывода. Во-первых, «наука о науке» рассматривает индивидуальность, яркую личность, талант как необходимую компоненту существования общества. Яркая индивидуальность нужна науке для обыденных, вполне прозаических дел — для научного творчества. Без ярких творческих индивидуальностей нет науки: нет гипотез, нечего проверять экспериментом, нечего и внедрять в производство. Но расселовская «танковая армада», которая потеряла своих водителей, не так уж страшна человеку — управление ею будет находиться в надлежащих руках.

И второй вывод. Защита творческой индивидуальности — неустранимого условия существования науки — толкает науковедение к совершенно новым представлениям о природе научного формализма. Определенность, жесткость, неизменность, однозначность, которые мы обычно связываем с количественными представлениями и «методами точной науки», дают здесь явные и знаменательные осечки. Было бы преждевременно, конечно, считать, что «наука о науке» изжила то не критическое отношение к цифре и формуле, которое так ярко проявлялось в философских расширительных применениях кибернетики, математической логики, математической лингвистики, машинного перевода. И в науковедческой литературе не редкость встретить чуть прикрытый новыми терминами старинный тезис Платона: «Порядок во всех отношениях превосходнее беспорядка». На львовский симпозиум 1966 года даже доклад был представлен о науке без ученых, где, по мысли автора, администраторы должны были давать задания, а исполнители открывать указанное. Но в целом для «науки о науке» это не характерно. Момент разрушения сложившихся систем признается таким же необходимым, как и момент синтеза новых. «Наука о науке» споткнулась на традиционном понимании формализма, пришла к осознанию того, что там, где все связано и определено, никакого творчества быть не может.

* * *

В одном из павловских опытов над условными рефлексивными у собак круг и овал использовали для разных целей: круг связывали, например, с пищей, а овал — с каким-нибудь сильным и неприятным раздражителем. Когда затем круг медленно поворачивали и он становился похожим на овал, собака билась в истерику, испытывала явные нервные перегрузки. Случись такое с электронно-счетной машиной, смысл эффекта определялся бы предельно просто: короткое замыкание. Из всех живых существ только человеку удалось приучить свою психику к режиму коротких замыканий, к жизни «среди молний».

Внешнее проявление этой способности — смех. В тех ситуациях, в которых павловская собака корчилась от боли, человек смеется. «Смех — сигнал схода человека с рельсов инстинкта, — пишет Кестлер, продолжая А. Бергсона, — знамя восстания против единомыслия его биологических предков, знак отказа оставаться рабом привычки, которой управляет один набор правил игры»¹. Создание таких «коротких замыканий» и составляет суть порождения нового.

Английский теоретик и историк науки Кестлер для «короткого замыкания» предлагает термин *б и с о ц и а ц и я*. Термин этот, правда, не очень точен, но в данном случае он вполне пригоден, так как он устанавливает, что в любом продукте творчества представлены и объединены в новую связь элементы минимум двух старых систем (навыков, теорий и т. п.), которые не были прежде связаны. В качестве общего понятия для систематизированного знания Кестлер использует термин *м а т р и ц а*. Матрица в свою очередь включает в себя понятия — *к о д и с т р а т е г и я*. «Обыкновенный паук, — поясняет термины Кестлер, — развешивая паутину на дереве, выбирает в зависимости от положения земли три, четыре, а иногда до двена-

¹ Koestler A. The Act of Creation. L. 1965, p. 63.

дцати мест креплений, но при всем том радиальные нити всегда будут пересекать широтные под равными углами в соответствии с фиксированным кодом прав и л, который встроен в нервную систему паука, и центр паутины всегда будет совпадать с центром ее тяжести. Матрица — навык сооружения паутины — гибка, она допускает приспособление к условиям среды, но при этом должны соблюдаться правила кода, которые ставят предел ее гибкости. Выбор пауком мест крепления паутины — задача стратегия, которая зависит от условий среды, но форма паутины всегда будет многоугольником, который определен кодом. Функционирование навыка всегда идет под двойным контролем: а) под контролем фиксированных правил кода, которые могут быть врожденными или приобретенными в процессе обучения, и б) под контролем гибкой стратегии, производной от факторов окружения, от «положения земли»¹.

Когда Кеплер, весь еще в плену аристотелевских представлений о движении, увидел в Солнце «первый двигатель», который, по Аристотелю, «движет, оставаясь неподвижным», и тут же увидел в Солнце христианского «бога-отца», который с помощью «духа» гоняет планеты по орбитам, то это двойное видение и есть бисоциация — соединение Аристотеля и священного писания в законы Кеплера.

Внешняя простота бисоциации и самоочевидность решения, когда новое уже синтезировано, не должны порождать иллюзий насчет «легкости открытия». Открытие действительно часто означает простую фиксацию того, что всегда было перед глазами, но, как говорит Кестлер, «оставалось скрытым от глаз шорами навыка». Дело в том, что очень трудно бывает отвязаться от этих шор навыка, освободиться от привычки. Трудно увидеть рутину свежим глазом. В самом деле, столетиями бабушки вязали чулки и художники рисовали портреты. Понадобился энтузиаст статистики англичанин Гальтон, чтобы установить, что и бабушкам, и художникам, и вообще мастерам высокого класса нужно сделать двадцать тысяч движений для полного завершения труда. Три столетия журналы публиковали научные статьи в твердой уверенности, что эти статьи читают. Понадобился Джон Бернал, чтобы указать на, в общем-то, известный факт: статьи нужны ученым не для чтения, а для извлечения из них строительного материала будущих гипотез. Таких ситуаций а-ля Жюрдэн можно приводить бесконечное множество.

Матричность обнаруживается на всех уровнях жизни — от генетического наследственного кода до самых абстрактных теорий. И везде прослеживается одна и та же последовательность: разовая бисоциация, переходящая при повторах и стратегических применениях в устойчивую и гибкую матрицу, в навык, привычку. На проверку оказывается, что основная трудность творчества — не становление навыка, а попытка избавиться от него. «Приобрести навык легко, — замечает Кестлер, — основная функция нервной системы быть навыкообразующей машиной. А вот разорвать пути навыка трудно, это почти героический подвиг разума и характера»².

Как же человеку все-таки удастся разорвать пути навыка и почему это оказывается столь трудным делом?

Иногда такое случается с животными, и тогда детали бисоциации становятся прозрачными, легко доступными человеческому глазу. Вот что пишет об эксперименте с шимпанзе Султаном психолог Кёлер: «За решетку положен объект (банан), до которого обезьяна не может дотянуться. По другую сторону, в глубине экспериментальной комнаты, поставлен спиленный куст клещевины, ветви которого легко ломаются... В комнату введен Султан. Он не сразу замечает объект и, безразлично оглядывая комнату, начинает грызть ветку куста. Но вот объект замечен. Султан подошел к решетке, осмотрелся, а потом повернул, решительно направился к кусту, схватил тонкую ветвь, оторвал ее резким движением, кинулся к решетке и достал банан с помощью оторванной ветви»³.

Что здесь характерно? В активе Султана уже есть навык доставать банан с

¹ Koestler A. The Act of Creation. L. 1965, p. 38.

² Там же, p. 190.

³ Там же, p. 103.

помощью палки. Но у него нет навыка видеть в ветвях потенциальные палки, отделять ветвь от куста, от целостности. Становление этого навыка и демонстрируется в эксперименте. А навык этот сложен. Не сразу дается и человеку: разрушить целостность, «декодировать» ее удается редко.

Известный психолог Дункер проводил, например, такой опыт: человек получал гвоздь, гирию и веревку, а сделать из них нужно было маятник. Если предметы выдавались раздельно, все сразу же догадывались, что гирию можно использовать и как молоток и как груз для маятника. Но вот если гирию привязывали к веревке, то решить задачу удавалось лишь половине, остальным так и не удавалось увидеть в гири молоток.

«Развязывание» материала для новых связей — наиболее сложный момент творчества. Стоит самому наглядному элементу войти в связь с другими — и он практически исчезает из поля духовного зрения. Связь прячет то, что связано, прячет различия. Никто, например, не смог бы вспомнить при беглом чтении, каким словом начато или окончено предыдущее предложение. Сделать это очень просто, когда перед глазами текст, но для этого нужно остановиться и вернуться. То же происходит и в науке. До Ньютона, например, многие занимались проблемой тяготения. Ньютон сделал тяготение исходной посылкой своей концепции и на двести лет «закрыл» проблему, «связал» ее.

Любой процесс творчества диалектичен — он созидает и разрушает одновременно, причем психологически мы всегда подготовлены к созиданию и редко бываем готовы к разрушению. Именно поэтому, как пишет Кестлер, «вчерашние открытия выглядят сегодня общими местами, а мы постфактум готовы удивляться собственной глупости, когда не замечаем сегодня того, что станет завтра совершенно очевидным»¹.

Нечто в этом роде происходит сегодня с «наукой о науке». Еще вчера шли споры об автомате и человеке, о свободе творчества и планировании в науке, а сегодня становится «совершенно очевидным», что без теории науки, без квалифицированного, со знанием дела, руководства наукой любое государство рискует оказаться на мели. Научно-техническая гонимка, от которой нельзя отказаться, не отказываясь попутно от экономического и любого другого соревнования, выдвигает «науку о науке» в одно из важных условий соревнования двух систем. Алиса из английской сказки жаловалась: «Приходится бежать так быстро, чтобы остаться на месте». В жалобах развитых национальных государств на темпы научно-технического прогресса, на растущую дороговизну науки все чаще теперь слышится дополнительная нота: бежать приходится не только очень быстро, но и «вдумчиво». А это последнее — «вдумчивость» научно-технической гонимки — как раз и есть требование умелого и разумного использования науки. Использования не по интуиции или административному «нюху», а по законам существования и развития самой науки.

Мгновенный, «искровой» характер бисоциаций, когда работа «разрушения» уже проделана, дает возможность человеческой голове справляться с огромными потоками информации, переводить их в навык, знание. Чтобы прочитать «Улисса» Джойса, глаз должен уловить около миллиарда различий, а мозг связать их в 260 430 слов, слова — в предложения, предложения — в главы, главы — в книгу. Мы даже не замечаем всей огромности этой работы. Вместе с тем способность человека мгновенно «усваивать» и тут же забывать детали таит в себе ряд опасностей, из которых главная — омертвление навыков в устойчивые привычки. Стоит много раз повторить одно и то же — и человек перестает воспринимать знакомые связи осмысленно. Возникает гипноз имен, слов, изображений, который широко используется в рекламе и пропаганде.

Французский психолог Пиаже хорошо показал механику этого процесса: «Начинается с того, что имена помещают в объекты. Теперь они образуют свойства вещей в том смысле, в каком свойствами признаются цвет и форма: вещи обязаны иметь имена... Исказить имя вещи — значит деформировать саму вещь»². Злоупо-

¹ Koestler A. The Act of Creation. L. 1965, pp. 104—105.

² Piaget Y. The Child's of Physical Causality. L. 1930.

требление этим свойством человеческой головы — а многие современные средства массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, кино, реклама и т. д.) как раз и строятся на таком злоупотреблении — низводит человека до положения запрограммированного автомата, который теряет способность строить новые связи, творить. (Выше мы говорили о преемственности и традиционности как о существенном условии всякого творчества. Таким образом, излагаемое здесь требование новизны направлено против рутины, а не против традиции, и «модернистское» его истолкование также было бы столь же автоматизирующим злоупотреблением.)

Способность к анализу и к построению новых связей в большинстве случаев падает также и с возрастом. Исследования чешских ученых И. Фолта и Л. Нового по творчеству математиков показывают, что «пик творческой активности математика проходит в возрасте двадцати — двадцати пяти лет. К тридцати пяти годам активность снижается на две трети, а к пятидесяти — падает до десяти процентов»¹. Здесь снова «наука о науке» в поисках причин этого явления поднимает целый ряд проблем. Искать ли причины затухания творческой активности в физиологии? Возможна ли в принципе санитария умственного труда? Какими должны быть условия существования человека, его «духовный быт», чтобы до конца жизни сохранялась способность творить? Здесь для исследований еще нетронутое поле. Но важно отметить, что самый характер возникающих здесь проблем недвусмысленно говорит об отношении «науки о науке» к человеку как творцу и деятелю науки.

Последнее, на чем нам хотелось бы остановиться, знакомя читателей с новой отраслью знания, — это единство источника всех видов творчества, идет ли речь о науке или искусстве. Различия между видами творчества, конечно, есть, и очень серьезные. Научное творчество, например, ориентировано на практические приложения, оно включает проверку своего продукта на объективную истинность и доведение его до таких кондиций, которые обеспечивали бы бесконечный повтор. Тесная связь науки с производством дает возможность противопоставлять научное творчество, как творчество безличное и всеобщее, искусству, где личный момент оказывается неустранимым.

Пытаясь понять мотивы, заставляющие ученого стремиться к опубликованию, Прайс пишет: «В основе явления лежит глубокое различие между творчеством в науке и творчеством в искусстве. Если бы не было на свете Микеланджело или Бетховена, на месте их работ оказались бы совершенно другие и непохожие вклады в искусство. Если бы не было на свете Коперника или Ферми, то те же самые вклады в науку были бы сделаны другими людьми. Существует лишь один мир открытий, и как только получена какая-либо частица его понимания, первооткрыватель должен быть либо увенчан лаврами, либо забыт. Творчество художника в высшей степени индивидуально, тогда как творчество ученого безлично и требует признания со стороны коллег. Поэтому башня из слоновой кости может для художника возводиться как келья монаха, а такая же башня для ученого должна планироваться как общежитие со многими комнатами, куда он мог бы поселить своих коллег»².

И все же было бы неправомерным, по взглядам современных зачинателей «науки о науке», пытаться представить ту или иную форму творчества высшей. Искусство неповторимо, но при всем том почва для эпигонов в искусстве оказывается более благоприятной, чем в науке. Нельзя «подделать» теорию относительности, а подделать Рембрандта, Ватто, Пикассо, как это доказал Мальсгат, можно. Неповторимость вкладов в искусство относительна, и в этом смысле Пастер, автор нескольких неповторимых открытий, быть может, более неповторим в своих делах, чем любой великий мастер. Но человеческая способность к бисоциации остается единой и для художника и для ученого.

¹ F o l t a Y., N o v y L. Sur la question des methodes quantitatives dans l'histoire des mathematiques. «Acta». Prague. № 1. 1965

² P r i c e D. Little Science, Big Science. N. Y. 1963, p. 69.

Мы попытались показать отношение науки к человеку, как оно вырисовывается уже сейчас, в начале объективного исследования фактов, — и не нашли в этом отношении чего-либо угрожающего человеку в духе ужасов Кроче, Бердяева, Хаксли. В этом нет ничего неожиданного: ужасы начинаются там, где науку путают с неквалифицированным и даже преступным ее использованием либо же намертво связывают науку с технологией.

Попытки заставить науку отвечать за чужие грехи или хотя бы научить ее поддерживать своим авторитетом произвол властей предрержащих вызывают со стороны ученых естественную реакцию — стремление четко очертить пределы науки и собственной ответственности, а также не менее четко сформулировать те условия, в которых имело бы смысл говорить об ответственности науки за дела и действия, которые, собственно, не являются научными.

Чтобы решить эту задачу «правильного использования науки», ученым приходится критически анализировать собственную деятельность, налаживать конкретные эмпирические исследования самой науки. Возникает бурный процесс самосознания науки, который, естественно, пользуется привычным для науки арсеналом понятий, представлений, методов. И поскольку это так, внешне все здесь напоминает очередную попытку связать в цифре и формуле то, что в принципе не может быть связано и остановлено. Поэтому мы с законной настороженностью следим за процессом самосознания науки. Многое в «науке о науке» способно укрепить эту настороженность: слишком уж живуч штамп «вторжения» точных методов. Но есть здесь и явные отличия, которые мы старались подчеркнуть. Предмет науковедения слишком хорошо документирован, не позволяет любых вольностей. Все, что сделано в науке, сохранено в ее архиве со следами того, как это было сделано. Перед таким предметом традиционные методы истории науки оказываются недостаточными. Их приходится дополнять, перестраивать, осознавать как методы ограниченной ценности. В этом состоит общий интерес науковедения.

Естественно, что еще более интересна «наука о науке» для тех, кто руководит наукой, планирует ее развитие и финансирование. Науковедческие исследования развертываются во многих странах. Растет интерес к ним и в нашей стране.

Признаки роста многообразны. Это и информационные заметки в массовой прессе, и осторожные, как бы прощупывающие статьи в журнале «Вопросы философии», и разрозненные исследования в Киеве, Москве, Ростове, Новосибирске, и выпуск издательством «Прогресс» отдельных науковедческих работ. Значительную роль сыграл и советско-польский симпозиум, который происходил в июне 1966 года во Львове. Там был высказан ряд практических пожеланий об организации координационного центра, об издании науковедческого журнала, о широкой публикации материалов по «науке о науке». В апреле 1967 года во время социологической конференции в Сухуми более или менее четко были сформулированы ближайшие задачи науковедения.

И все же приходится отмечать малопонятную робость и медлительность в развертывании исследований науки — и прежде всего в каталогизации имеющихся материалов, в накоплении новых, в организации статистики, в привлечении к статистике ученых, интересующихся науковедением.

В нашей стране есть все условия и для развертывания исследований науки, и для подготовки специалистов-науковедов, которые, надо думать, используя достижения западных ученых, внесут в мировую научную мысль немало нового, основанного на мировоззрении советских ученых и на опыте социалистического общества.

Ростов-на-Дону.



Академик Н. КОНРАД

★

ПИСЬМА РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Предо мною — недавно вышедшая в свет книга «Глазами историка». Ее автор С. Л. Утченко — историк, специалист по европейской античности. В последние годы он совершил несколько поездок за границу: в Египет, Грецию, Италию, Францию, Англию. Его книга — записки об этих путешествиях, об увиденном и передуманном. К ним добавлена статья «Об исторической науке». И это не случайно: и в самих очерках много общих размышлений об историческом процессе, о судьбах цивилизаций. Наше время заставляет не только одних историков, но и всех нас чувствовать во всем, происходящем и в мире, и в нашей собственной жизни, глубокое дыхание большой истории.

Совершенно неожиданно чтение очерков С. Л. Утченко заставило меня обратиться к другим очеркам, когда-то очень читавшимся, но сейчас основательно забытым. Они известны под названием «Письма русского путешественника». Их автор — Н. М. Карамзин.

Казалось бы, что общего между этими двумя книжками? Автор одной из них — современный советский ученый, человек с большим жизненным и научным опытом; автор другой — в годы своей поездки совсем молодой человек, только начавший тогда свою общественную жизнь. Один описывает страны Западной Европы такими, какими они предстают перед ним в середине XX века; другой — такими, какими они были в конце XVIII века, то есть более полутора столетия тому назад. И все же эти очерки можно читать параллельно. Их интересно читать именно в сопоставлении. Полезно так читать в наше время, когда так часты поездки за границу наших современников, когда появилось так много описаний этих поездок.

Но что же ближайшим образом заставило сопоставить эти две книги путевых записок? Думаю, что прежде всего то, что на них лежит явная печать своей эпохи. А эпохи эти сопоставимы. Н. М. Карамзин побывал в Германии, Франции и Англии в 1789—1790 годах, а это был тот этап всемирной истории, когда рушился феодализм как господствовавшая доселе мировая социально-экономическая система и на его место вступала другая система — капиталистическая. С. Л. Утченко был в Италии, Франции и Англии в шестидесятых годах XX века, а это тот этап всемирно-исторического процесса, когда мировая система капитализма переживает свой кризис и уже вынуждена терпеть рядом с собой новую социально-экономическую систему — социалистическую. Вероятно, именно критический характер своей эпохи, несомненно ощущаемый одним путешественником и ясно осознаваемый другим, неожиданно и приблизил эти две очень разные книги друг к другу: заставил обоих авторов не только наблюдать, но и размышлять, причем на темы, выходящие за рамки непосредственно наблюдаемого. Сопоставить эти книги побудило и то, что обе они представляют весьма любопытный сплав непосредственных впечатлений от увиденного в странах Запада с уже сложившимся знанием описываемых стран. Наличие такого знания у советского ученого естественно, но у «молодого человека» конца XVIII века оно не может не восхищать. В самом деле, о том, что он, отправляясь в Западную Европу, счел необходимым предварительно овла-

деть тремя европейскими языками, и говорить нечего: тогда для людей его круга это было само собою разумеющимся; удивляет то, что он хорошо представлял себе, кто определил лицо этих стран в тот век: в Германии для него это были Клопшток, Готшед, Гердер, М. Мендельсон, Виланд, Гёте; во Франции — Буало, Вольтер, Монтескье, Руссо, Бомарше; в Англии — Шекспир, Стерн, Ричардсон, Голдсмит, Шеридан, Локк, Гоббс. Карамзин знал и многих других замечательных людей своего времени, например таких разных, как Лафатер и Кант. Приходится при этом удивляться, что шумная слава Лафатера, этого непререкаемого авторитета в вопросах физиогномики, столь модной в те годы науки, не затмила для Карамзина тихой известности скромного кенигсбергского профессора. Карамзин, может быть, тогда еще ясно и не понимал, что значило для познавательного мышления человечества появление философского критицизма, но огромную важность его он уже несомненно чувствовал.

Читаешь «Письма» Карамзина и видишь, какую великолепную, широкообразованную, умную интеллигенцию создал в России «екатерининский век», — интеллигенцию поистине европейского масштаба, а тогда это было высшим мерилем культурности. Поэтому так радостно оглянуться на эти письма и нам в социалистической стране — с ее интеллигенцией, кругозор которой уже не ограничен одним Западом, а сознание включает весь пережитый человечеством исторический опыт.

Сопоставимы записки обоих авторов и в еще одном отношении: это не трактаты, не рассуждения; это действительно путевые очерки — в них отражена жизнь наблюдений, искренность эмоций. Любопытно, что авторы как бы извиняются за это перед читателем. «Пестрота, неровность в слогe есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника», — оправдывается Карамзин. «Хотелось бы сохранить для читателя свежесть и непосредственность этих впечатлений (пусть даже в ущерб тому, что обычно называют «стройностью изложения»)», — вторит ему С. Л. Утченко. Но читатель скажет: и хорошо, что все это сохранилось! Тем самым обе книги стали живым голосом своих авторов. А что может быть для читателя ценнее?

1

Список «предметов, которые действовали на душу» нашего путешественника-историка, в значительной степени определялся маршрутом его поездок, а маршрут этот устанавливался не самим путешественником, как это было во время Карамзина, а «конторой Кука». Все же С. Л. Утченко даже в обстановке Кукиной «предустановленной гармонии» удавалось вырваться из нее и бродить там, куда несли его собственные стопы, смотреть на вещи не по команде гида, видеть их не так, как предписывалось писаным или неписаным «бедеккером», а так, как это определялось собственным сознанием. И как он ценил эти часы! «Представьте себе на минуту, что вы без определенной цели и плана, без какого бы то ни было путеводителя бродите по городу, в который вы попали впервые. Что может быть увлекательнее такого занятия! Какие открытия, какие очаровательные неожиданности подстерегают вас почти на каждом шагу. Вот вы набредаете на маленькую улочку (как и было со мною во Флоренции); она совершенно прелестна, и вдруг вы, к своему удивлению, читаете на дощечке, что она называется Виа Алигьери! А вот и дом, где жили его родные, и, кажется, он сам тут же, совсем неподалеку; маленькая часовня с воздушными фресками неизвестного вам, но изумительного художника. Если на все это вы натолкнулись случайно, неожиданно, в этом всегда есть какая-то радость первооткрытия, это запоминается, оставляет свежий след в памяти и чувствах».

Можно понять С. Л. Утченко, но только при одном условии: если слово «Алигьери» в названии улицы, на которую вы попали, для вас не просто Данте, а целый мир, в каком-то из своих аспектов входящий и в вашу душу, если «Флоренция» для вас — не просто географическое наименование. При таком условии дей-

ствительно многое может стать источником неожиданных переживаний. «Стóит, очень стóит проплутать чуть ли не полдня по узким, часто дурно пахнущим улицам — как это было и со мною,— чтобы потом, выйдя из-под какой-то арки или из-за поворота, неожиданно для самого себя очутиться на площади святого Марка. Стóит потому, что она на самом деле хороша, пожалуй, слишком — до неправдоподобия — хороша, эта площадь, в которую даже не веришь», — пишет С. Л. Утченко... и выдает себя словами «на самом деле». Не значит ли это, что он уже бывал на этой площади? Вообще в Венеции? Пусть умозрительно, воображением, но все же бывал?

Тут возможен вопрос: а всегда ли так уж нужно это «на самом деле»? Ведь иногда можно, никуда не уезжая, увидеть гораздо больше, чем при поездке. Можно, например, выехать в Венецианскую лагуну не на мотоскафе, а на самом Буцентавре, присутствовать при обручении с морем самого дожа, вслушиваясь — внутренним слухом — в слова: «Моря царица — Веденец славный»; побывать «под пломбами», в свинцовых камерах Венеции, пройдя к ним через «Мост вздохов» по мемуарам Казановы. Все же одного нельзя получить посредством таких умозрительных путешествий. С. Л. Утченко пишет, что никакие снимки, никакие воспроизведения — «даже в кино» — не могут передать очарования площади святого Марка и Пьяццетты. Он объясняет это тем, что картина, даваемая такими снимками, всегда остается плоскостной, а «неизъяснимая прелесть этих двух площадей... в удивительно найденных пропорциях расстояний, в какой-то предельной наполненности воздухом, пространством, светом».

Да, лишь непосредственное впечатление делает предмет полностью живым. Карамзин был у Гердера: «Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь, мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума, вспоминая вид и голос автора». Хорошо сказано! Особенно о голосе: ведь для многих именно голос и создает облик человека сполна.

Но бывает всякое... Вот С. Л. Утченко говорит, что реальная встреча с тем, что до сих пор было известно лишь умозрительно, может приводить к неожиданным, даже к открытиям. Бывали открытия и у Карамзина, иногда даже весьма своеобразные. Ему, например, был хорошо известен — по слухам, рассказам — Вестрис, прославленный парижский танцовщик. Но вот он увидел Вестриса на сцене: «Какая фигура! Какая гибкость! Какое равновесие!» — восклицает он (кстати сказать, любопытно определив, из чего складывается «невыразимая прелесть» виртуозного мужского танца). А вот и открытие почти метафизическое: «Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах».

У С. Л. Утченко были свои открытия. Вот одно из его впечатлений — из числа устойчиво повторяющихся. В первый раз оно появилось в той же Венеции.

«Ну, а затем, конечно, Большой Канал. Но он произвел на меня какое-то двойственное впечатление. Канал по обеим своим сторонам уставлен бесконечным рядом дворцов. Они великолепны, спору нет, но все же эти дворцы... что они такое? Только пышные надгробья, окаменелые памятники былого величия или есть в них какая-то жизнь и теперь?.. Я не знаю этого, да и не особенно интересовался знать, но когда проезжаешь эту часть канала, возникает странное и даже тягостное ощущение... словно ты в городе из снившегося тебе сна, городе, который, быть может, вовсе и не существует». Словом, вроде города, который снится старому доктору в «Земляничной поляне»... Это действительно тягостно. Впечатление нереальности появляется у С. Л. Утченко и от мавзолея Галлы Плакидии в Равенне. Тут решающую роль сыграл свет, который проникал внутрь «не сквозь стекла или слюду, а сквозь прозрачный алебастр». Показалось, что это «воистину мистический *lumen coeli*».

Я не был в мавзолее Галлы Плакидии, но для меня вообще вся Равенна представляется погруженной в *lumen coeli*. А так ли нереален этот свет? «*Lumen*

coeli, sancta Rosa!» — восклицал он, дик и рьян, и как гром его угроза поражала мусульман» — так процитировал Пушкина Достоевский. Пушкин не создавал ирреальностей. Да разве историку не известно, что сражались — побеждали и умирали — во время крестовых походов именно «бедные рыцари», а их вел на подвиг именно *lumen coeli*?

Как свидетельствуют очерки С. Л. Утченко, у современного советского путешественника по зарубежным странам может появляться мысль: что в этих странах настоящее, что ненастоящее? Под «настоящим» же подразумевается обычно современное, под «ненастоящим» — прошлое.

«Есть два Неаполя, — пишет С. Л. Утченко. — Один из них — это Каstellь Нуово, это вид с Позилиппо — все тот же вечный, избитый и все же неотразимый вид на залив и на Везувий, — это дворец донны Анны и, наконец, знаменитая гавань Санта-Лючия... Но есть, конечно, и второй Неаполь — улочки, где трудно разбегаться двум велосипедистам, где мусор и отбросы свалены прямо на мостовую... где ничем не прикрытая вопиющая нищета... Но, как ни удивительно, именно к этому Неаполю я бы отнес и роскошные отели, и знаменитые эспланады Виа Карачоло и Ривьера ди Киайя, и все магазины, кафе и рестораны, ибо только этот Неаполь есть живой современный город со всеми свойственными нашей современной жизни контрастами и противоречиями. А вышепоименованные Каstellь Нуово, Палаццо донны Анны и даже сама Санта-Лючия — это прошлое, это, собственно говоря, музейные экспонаты».

Такое же впечатление может создавать и целая страна. «Греция в моем восприятии, а следовательно, и в моем изображении, как ни обидно в этом признаваться, — не живая страна, а то, против чего я в принципе встаю всеми силами души: страна-музей».

Но кто в этом повинен? Страна? Народ? Ни в коем случае! Виновата... организация, обеспечившая автору «определенный маршрут», иначе говоря — «контора Кука». Но разве «контора Кука» не современность, да еще ультра? И не значит ли это, если идти вслед за автором, что такая «контора» и есть «настоящее»? Сказав при характеристике «двух Неаполей», что «Каstellь Нуово и даже сама Санта-Лючия, собственно говоря, музейные экспонаты», автор тут же добавляет: «...если еще как-то поддерживаемые, то лишь в интересах той своеобразной индустрии, которая при отсутствии на юге Италии серьезной промышленности, пожалуй, одна только и процветает, — индустрии туризма». А разве эта индустрия — не самая настоящая современность, и притом далеко не только для тех стран, где отсутствует промышленность «серьезная»? И так ли уж несерьезна эта индустрия туризма, если доходы с нее составляют весьма солидную долю государственных доходов вообще, а в некоторых странах и вообще главную? С. Л. Утченко — историк греческой и римской древности, и он как бы обижен за эту древность, но он понимает, что его любимая древность сейчас стала товаром и что в товарном капиталистическом обществе иначе и быть не может. Да, и вид на Везувий, и Гермес Праксителя, которым автор восторгался в музее Олимпии, — товар: ими торгуют, за них берут деньги; особенно охотно валюту — это подлинное божество современных финансистов. Неаполь открыток, Неаполь туристов, как его именует автор, входит в состав Неаполя роскошных отелей и жалких улочек: он — также современность и также «настоящий». Автор восклицает: «Этим жить нельзя!» Можно, и как еще можно! Другой вопрос — хорошо ли это, должно ли быть так? Нет, не хорошо и не должно. Но для этого надлежит освободиться от «туристского» отношения к памятникам прошлого, к этим самым «музейным экспонатам». И автор показывает, каким отношение к ним должно быть. Самим автором оно было осознано в Помпеях.

С. Л. Утченко не раз бродил по этому когда-то засыпанному пеплом Везувия и недавно открытому римскому городу. И вдруг «в какой-то неуловимый момент, — сообщает он, — произошло поистине чудесное превращение и этот мертвый город вдруг ожил во мне». Ожил, однако, подчеркивает автор, совсем не так, как у исторических романистов: никакой картины «шумной и говорливой толпы», заполняю-

щей форум, ему не представилось; не показалось, что вот «из соседнего дома кто-то выйдет и заговорит». «Скучное воображение историка повело меня по совсем иному пути. Помпей ожили для меня в том смысле, что я понял, вернее, ощутил их продолжающееся, непрерывное бытие».

Читателю хорошо видны условия, при которых подобное ощущение могло появиться: автор не ходил по городу с группой туристов по заранее определенной — в пространстве и во времени — программе, а бродил по нему один, и не раз, и как ему хотелось; он бродил не как любопытный, «жаждущий увидеть что-то непременно новое, а скорее как старый знакомец, который уже прекрасно знает, что ждет его вот за этим углом...». Чем создалось у него это близкое знакомство? Тем, что он многократно бродил по этому городу? Конечно, и этим, но, думаю, еще более другим — знанием истории этого города, да еще на фоне общей истории Римской империи той поры; было же оживлено это историческое знание тем, что пишущему эти строки историку-филологу особенно понятно — голосом подлинного документа. У автора такой документ был, и ярчайший, — описание извержения Везувия, приведшее к гибели трех городов, сделанное очевидцем — Плинием Младшим. Как хорошо, что автор привел отрывки из этого документа! Таковы два условия, предопределившие оживление мертвого города в душе автора.

Но было и еще одно условие — как раз то, о чем постоянно мечтал автор: Помпей предстали перед ним не как музей, не как собрание экспонатов, а как реальный город. Таким его сделали просвещенные, умные археологи новейшего времени: они поняли, что, снимая чуть ли не двухтысячелетний пласт земли, они не ищут сенсаций, поражающих воображение, музейных экспонатов, а восстанавливают город, каким его застала катастрофа. Фиорелли, зачинатель такого подхода к раскопкам, еще в шестидесятых годах прошлого века имел смелость утверждать, что для науки, для изучения Помпей богатые дома или виллы, полные произведений искусства, и жалкие домишки бедняков имеют одинаковую ценность.

Таковы те условия, которые и создали у автора столь драгоценное живое ощущение старого, ушедшего, прошлого. Но оказывается, таким ощущением дело не ограничилось: оно увлекло его на путь очень далеко идущих размышлений.

Автор писал: «Помпей — лучшее и наиболее убедительное доказательство того, что в истории человеческого общества... ничто не умирает, не исчезает бесследно. Даже то, что представляется нам исчезнувшим навеки, сгинувшим без следа... в какой-то иной форме или воплощении неизбежно продолжает свое бытие и будет продолжать его до тех пор, пока только существует человечество». Заявление очень ответственное. Оно у С. Л. Утченко связано с особой темой, конечно, занимавшей его как историка и раньше, но во всей своей обнаженной реальности представшей перед ним именно во время его поездок по Греции, Италии, Египту — странам, где прошлое так вещественно-реально.

Представьте себе, читатель, что тема эта затронута и автором «Писем русского путешественника». При этом она сформулирована им так, что хочется привести это место «Писем» полностью.

Карамзин описывает свою поездку по Франции. «На обеих сторонах реки простираются зеленые равнины; изредка видны пригорки и холмики, везде прекрасные деревеньки, каких не находил я ни в Германии, ни в Швейцарии; сады, легкие домики богатых купцов, дворянские замки с высокими башнями; везде земля обработана наилучшим образом; везде видно трудолюбие и богатые плоды его.

Я воображаю себе первобытное состояние сих цветущих берегов... Здесь журчала Сона в дичи и мраке, темные леса шумели над ее водами: люди жили, как звери, укрываясь в глубоких пещерах или под ветвями столетних дубов, — какое превращение!.. Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с природы все знаки первобытной дикости!

Но, может быть, друзья мои, может быть, в течение времени сии места опять запустеют и одичают; может быть, через несколько веков (вместо сих прекрасных девушек, которые теперь перед моими глазами сидят на берегу реки и чешут

гребнями белых коз своих) явятся здесь хищные звери и заревут, как в пустыне африканской!.. Горестная мысль!

Наблюдайте движения природы, читайте историю народов, поезжайте в Сирию, в Египет, в Грецию — и скажите, чего ожидать не возможно? Все возвышается или упадает; народы земные подобны цветам весенним; они увядают в свое время — придет странник, который удивлялся некогда красоте их; придет на то место, где цвели они... и печальный мох представится глазам его! — Оссиан! Ты живо чувствовал сию плачевную судьбу всего подлунного и для того потрясашь мое сердце унылыми своими песнями! Кто поручится, чтобы вся Франция — сие прекраснейшее в свете государство, прекраснейшее по своему климату, своим произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам — рано или поздно не уподобилась нынешнему Египту?»

В новейшем издании «Избранных сочинений» Н. М. Карамзина к этому месту «Писем» присоединено примечание: «Карамзин излагает модную во второй половине XVIII в. теорию циклов, согласно которой в истории человечества повторяются периоды зарождения, расцвета и гибели различных культур».

У С. Л. Утченко после его поездки в Грецию осталось и никуда не уходило «ощущение какого-то внутреннего события», как он выразился. Что могло это ощущение вызвать: памятники искусства, памятники архитектуры? — спрашивает он сам себя. Нет, не они. Природа? Нет, и не она, хотя «в природе Греции есть нечто первозданное и вместе с тем нечто, уже облагороженное человеческим гением — трудом Прометея». Это ощущение создало «зрелище, причем увиденное собственными глазами... зрелище смены великих исторических цивилизаций».

«Любезный читатель, — хочется сказать языком Карамзина, — не удивляйся!» Не удивляйся, что у русского путешественника конца XVIII века и у русского путешественника середины XX века появились очень сходные настроения, приведшие обоих к одной и той же теме. Человечество в их время перестраивалось, переходило от одного большого этапа своего исторического пути к другому, а в такие моменты история предстает перед людьми с особой реальностью, и весьма ощутимой.

Понятно, что в такие эпохи в мышлении человека возникает мысль о ходе истории как о зарождении, расцвете и гибели различных народов, цивилизаций, культур. Карамзин не упоминает, кто в его время придерживался циклической теории. С. Л. Утченко назвал тех, кто в наши годы развивал и развивает ее, назвал многих, но выделил двух — Шпенглера и Тойнби, обстоятельно изложив их взгляды (особенно второго), которые в настоящее время в странах Запада властвуют над умами многих. Для Тойнби, поясняет С. Л. Утченко, наименьшей исторической единицей, доступной изучению, является то, что он называет «цивилизацией». Это, конечно, не значит, что Тойнби игнорирует такую историческую категорию, как «общество», но, по мнению С. Л. Утченко, он решительно ставит между этими двумя понятиями знак равенства.

Что же, как полагает Тойнби, происходит с такой исторической монадой? Вот «непреложные стадии внутреннего развития каждой цивилизации: зарождение, рост, надлом (breakdown), разложение и гибель».

Дело, однако, не только в том, что каждая цивилизация неизбежно приходит к своей гибели, а в том — и это, пожалуй, самое важное, — что они, эти различные цивилизации, в своем круговороте бесконечно повторяют друг друга, причем каждая из них проходит через все стадии. Тойнби считает, что в наше время сохранились и существуют всего лишь пять цивилизаций — дальневосточная, индийская, исламская, восточнохристианская (с ее русской ветвью!) и западнохристианская. Первые четыре, полагает Тойнби, уже прошли через свой «брейкдаун» и, следовательно, находятся на ущербе и только последняя, то есть западнохристианская, сохранила «божественную искру творческой мысли». Так передает С. Л. Утченко концепцию А. Тойнби. Следовало бы все-таки добавить: видимо, и западнохристианская цивилизация должна исчезнуть; значит, и тут «брейкдаун» — всего только вопрос времени...

Не будем здесь разбирать эту концепцию Тойнби, тем более что он не раз вносил в нее различные изменения. Обратим внимание на другое.

Очень показательны, что теории циклического хода истории особенно развились в XVIII и в XX веках. XVIII век — действительно время «брейкдауна» феодализма как мировой социально-экономической системы; XX век — время такого же «надлома» капиталистической системы. Тот, кто связывает себя с уходящим, естественно утешается тем, что все на свете в конце концов кончается: так было до нас, так будет и после нас. Тот же, кто чувствует себя принадлежащим к приходящему, отнюдь не грустит: он видит обновление жизни.

Именно к таким людям принадлежал наш Карамзин. «Одно утешает меня, — пишет он, — то, что с падением народов не упадет весь род человеческий: одни уступают свое место другим, и если запустеет Европа, то в середине Африки или в Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и художества». И приводит доказательство этого: «Там, где жили Гомеры и Платоны, живут ныне невежды и варвары, но зато в Северной Европе существует певец «Мессиады», которому сам Гомер отдал бы лавровый венец свой; зато у подошвы Юры видим Боннета, а в Кенигсберге — Канта, перед которыми Платон в рассуждении философии есть младенец».

Не будем спорить насчет того, что лавровый венец перешел от автора Илиады к Клопштоку, что Платон «в рассуждении философии» перед Кантом — младенец, а имя Боннета вообще имеет право стоять рядом с именами Клопштока и Канта. Это место у Карамзина важно как свидетельство общественных оценок его времени; оно и очень знаменательно, так как открывает, что Карамзин смену цивилизаций рассматривает как смену народов, выступающих на авансцену истории, и что в этой смене создается прогресс: для Карамзина Клопшток действительно выше Гомера. Проехав по передовым тогда странам Запада, он почувствовал, что и в его стране существовавшие в ней тогда порядки должны смениться другими. Да разве читатель и почитатель Руссо и Монтескье, Гоббса и Локка мог думать иначе? С. Л. Утченко, как историк, также хорошо знает, что в истории одни народы то уступали свое место другим, то совсем сходили со сцены, но, как советский историк, знает, что в драме истории главное — не смена действующих лиц, а общий ход действия: «...путь, пройденный человечеством за эти тысячелетия, как бы он ни был тяжел, прихотлив и извилист, отнюдь не замкнутый и бесцельный круговорот обреченных на гибель цивилизаций (делающий, как полагает Тойнби, иллюзорным самое понятие прогресса), а именно непрерывный (подчеркнуто мной. — Н. К.) путь человеческого развития — от начальных, примитивных форм общественного бытия к самому высокому и справедливому устройству общества».

Но это все, так сказать, в плане общего хода истории, то есть в какой-то мере абстрактно. Между тем непрерывность этого хода понимается автором и вполне определенно — он написал: «Ничто в истории не исчезает бесследно».

«Сменяются эпохи, земля и песок покрывают опустевшие города, гибнут цивилизации, море поглощает берега, но в животворной памяти людской сохраняются какие-то непреходящие ценности, и иной раз в ничтожном глиняном черепке или в одной строке безвестного поэта для нас оживает душа целого народа». Эти взволнованные, чуть ли не «карамзинские» строки звучат уже конкретно. Попытаемся их конкретизировать еще больше.

Когда размышления о гибели одних цивилизаций и появлении других, об общем ходе исторического процесса впервые с такой силой возникли у автора? Когда он увидел Львиные ворота Микен, тиринфский замок-крепость, критский Кносский дворец — словом, следы цивилизации, по местам ее остатков названной крито-микенской. Цивилизация эта была представлена целыми государствами — ахейскими, как их теперь именуют. Расцвет их начался в XVII веке до нашей эры. XV—XIII века ознаменованы особым подъемом материковых ахейских государств, которые затем распространяют свою власть на Крит и другие острова Эгейского моря, на малоазиатское побережье, а на рубеже XIII—XII веков ряд этих ахей-

ских государств предпринимает грандиозную по тем временам военную экспедицию, известную под именем Троянской войны.

Кратко, но выразительно обрисовав сложную и увлекательную историю открытия этой цивилизации. С. Л. Утченко, оставаясь историком, вынужден был, правда не без горечи, сказать и о том, что эта блестящая — даже по обнаруженным остаткам — цивилизация была погублена! Кем? Дорийцами, обрушившимися с севера на ахейский мир. «Центры ахейской культуры разрушаются, население истреблено или порабощено... опустевшие города заносятся песком и землей, выдающиеся достижения науки и искусства стираются в памяти поколений». На смену этой погубленной и уничтоженной великой цивилизации приходит новая — «не менее высокая», пишет автор, но «...в и т о г е (подчеркнуто мной. — Н. К.) своего развития»: в начале же — просто варварская, следовало бы добавить. Напомним, что эта новая цивилизация и есть та самая эллинская, «классическая», «заря человечества» и т. д., которая стала «бесспорной основой и источником цивилизации современной», — пишет С. Л. Утченко. Не буду спорить с этим, но не могу не заметить, что автору следовало бы сказать не «современной», а «современной европейской», так как современная цивилизация, если иметь в виду все человечество, создалась на разных основах. Современные китайцы или индийцы, да и арабы, несомненно, считают свою цивилизацию «современной», и они в этом правы, но вряд ли они согласятся, что их цивилизация выросла из эллинских источников.

Но вернемся к вопросу: что же остается от погибшей цивилизации? Только ли память о ней? Только то, что благодаря уцелевшим реликвиям исчезнувшее может «вдруг снова предстать перед нами зримо и реально, как ныне предстали погребенные, казалось бы, навсегда Помпеи»? Мне кажется, что автор думал о другом, когда писал: «То, что представляется нам исчезнувшим навеки, сгинувшим без следа, в каком-то ином качестве, в какой-то иной форме или воплощении, неизбежно продолжает свое бытие...» Думаю, что эту свою мысль С. Л. Утченко мог бы подтвердить на материале соотношения цивилизаций ахейской и эллинской. Ведь эта разрушенная дорийскими варварами цивилизация, одна из блестящих цивилизаций древнего мира, древнего даже для эллинов, не только оставила по себе память Львиными воротами и Кносским дворцом, то есть руинами, но и чем-то, вошедшим в сознание, в культуру своих губителей, причем вошедшим так властно, что эти губители стали видеть в ней чуть ли не самое высокое, что у них есть. Я говорю об Илиаде и Одиссее.

Мы привыкли считать эти две «гомеровские» поэмы началом греческой, то есть эллинской, литературы и не обращаем внимания на то, что материал этих поэм ахейский. С. Л. Утченко пишет, что поход на Трои был нашествием некоторых из ахейских государств, расположенных в европейской части древней Эгеиды, на ахейское же государство в ее малоазиатской части. Добавим к этому, что ахейский не только самый фабульный материал Илиады, но и «культурный уровень» этого материала. Разве могло у варваров, разрушивших ахейскую цивилизацию, быть что-либо хотя бы отдаленно похожее на то, какими словами и с какими мыслями и чувствами прощается с Андромахой Гектор, как говорит и о чем говорит в ставке Ахиллеса Приам? Разве могли бы они рассказать так: о щите, как рассказано о нем в Илиаде, даже если бы такой щит у них и был бы? Нет, Илиада никак не начало литературы; это — вершина ее, по высоте равная своей великой цивилизации. Слишком высок, слишком сложен, слишком прекрасен, подлинно пластичен мир Илиады и Одиссеи, чтобы считать его созданием варваров. Подлинное начало эллинской литературы — в произведениях так называемой послегомеровской эпохи, вероятно, со времен Гесиода, образующего в этой части великого афро-евро-азиатского культурного круга как бы мост от старого древнего мира к новому древнему миру.

Тема, затронутая С. Л. Утченко, действительно очень важна: речь идет ведь не столько о смене цивилизаций — гибели одних, зарождении других, — сколько об их преемственности, а тем самым о непрерывности исторического процесса, —

непрерывности, не всегда проявляющейся в его конкретном содержании, но всегда в его глубинных течениях. Мысль о такой преемственности никогда не оставляла историков и — что еще важнее — никогда не уходила из исторического сознания человечества. Раскрытие этой преемственности — как в глубинах человеческого духа, так и в содержании культуры — может наглядно показать несостоятельность тех циклических теорий, которые соединены с мыслью о бесконечном повторении одного и того же — неизвестно почему, непонятно зачем.

Выше я позволил себе предложить видеть в Илиаде и Одиссее реальные знаки связей двух цивилизаций даже в тех случаях, когда налицо, казалось бы, ясный факт разрушения одной, высокоразвитой, и утверждения на ее месте другой, создаваемой разрушителями первой. Поскольку этот случай относится к очень далекой древности и не может быть достаточно полно освещен (во всяком случае пока), постольку вопрос и о преемственности лучше освещать более поздним и гораздо лучше известным историческим материалом. Остановлюсь только на одном очень важном в истории цивилизации моменте — на разрушении арабами эллинистической цивилизации, процветавшей в афро-азиатских частях эллинистически-римского мира, и на последующем создании ими своей собственной, так блестяще и всесторонне впоследствии развившейся культуры.

Как известно, аравийские арабы, несомненно, в первое время своей большой исторической активности были варварами по сравнению с эллинизированными народами Сирии, Палестины, Египта. В сороковых годах VII века они обрушились сначала на азиатские части эллинистически-римского круга земель, затем на африканские. В сущности, это и был подлинный конец древней европо-афро-азиатской античности и переход ее к средневековью, но уже в урезанном, только европейском масштабе.

В 641 году арабы взяли египетскую Александрию — все еще культурную и научную столицу эллинистически-римского мира, где все еще как-то поддерживалась замечательная образованность античного мира, поддерживалась, несмотря на разрушительную ярость проповедников различных ветвей христианства, обращавшуюся на ненавистное им «язычество». Арабами был окончательно разрушен знаменитый Мусейон — «Музей», этот научный институт и одновременно библиотека. Вождю завоевателей приписывается заявление: «Если все книги, имеющиеся тут, содержат то же, что в Коране, они не нужны и их можно сжечь, если они содержат не то, что в Коране, они вредны и их нужно сжечь».

И вот те же арабы стали читать и изучать Платона и Аристотеля, Гиппократа и Эвклида тогда, когда прямые наследники эллинистической культуры — греки и римляне, — а за ними новые варвары, разгромившие Рим, и знать не желали великих людей «языческой» древности. Арабы сохранили для нас многое из наследия античности, и им, арабам, многим обязаны лучшие умы средних веков — гуманисты Возрождения, — когда они обратились к своей античности.

Да, конечно, были в истории человеческой культуры свои катастрофы, моменты яростного отталкивания, слепого разрушения, но такие моменты проходят, преемственность постепенно восстанавливается. Не это ли и имел в виду С. Л. Утченко, когда писал: «То... что кажется нам бесследно исчезнувшим, может вдруг снова предстать перед нами зримо и реально, как ныне предстали погребенные, казалось бы, навсегда Помпеи, может и не предстать, но это не важно: важно лишь то, что все прошлое в этом смысле входит в настоящее...» Я добавил бы: не как в неприкосновенности хранимое «наследие», а как один из действующих факторов нашей нынешней исторической жизни. Вот таким и должно быть настоящее, не «туристическое», отношение к прошлому, к его памятникам, пусть и созданное туристскими поездками.

2

А «настоящее входит в будущее», — закончил С. Л. Утченко процитированную фразу. Это ощущение, естественно, появилось у него, когда он в своих поездках наблюдал современное.

Современное, конечно, достаточно представлено в его очерках, как, впрочем, и в «Письмах русского путешественника», причем и там и тут — далеко не одними только общими впечатлениями, сопровождаемыми оценками: это — нравится, это — нет. Впечатления всегда ограничены маршрутом и условиями путешествия; оценки — дело вкуса. На одного Пантеон в Париже с фресками Пюви де Шаванна или капелла Дома Инвалидов с гробницей Наполеона производят очень сильное впечатление; по мнению С. Л. Утченко, они «просто никуда не годятся». Для одного Лувр есть «Лувр», для С. Л. Утченко этот музей «за исключением нескольких шедевров... скучен, хаотичен и, честное слово, хуже нашего Эрмитажа».

Все же Париж и для нашего требовательного путешественника Париж! «Прежде всего — это город великолепно найденных уличных мизансцен...» «Париж — город ансамблей. Но если бы он — не дай бог! — состоял из одних только ансамблей, он бы не был Парижем. Поэтому и ночная Плас Пигаль, и предместье Сен-Дени или почти сельские улицы окраин, чахоточные бульвары, одноэтажные домики с пыльными газонами за решеткой, подслеповатые лавчонки, заборы, заборы, заборы, торчащая проволока, груды строительного мусора — это тоже Париж... и он восхитителен. Он всегда и всюду — живой, трепещущий, постоянно ощутимый».

Не мог не дать общую картину Парижа и русский путешественник конца XVIII века:

«Взойдите на большую террасу (сада Тюльери. — **Н. К.**), посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы — красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет — взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом в свете, столицей великолетия и волшебства. Оставайтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите... тесные улицы, оскорбительное смещение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира — кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, — зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость... Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты — так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным (примечание автора: «потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже». — **Н. К.**) и самым вонючим городом». Не могу не сказать: когда читаешь у Карамзина такие — и им подобные — строки, невольно спрашиваешь себя: почему учителя словесности в прежних гимназиях так настойчиво внушали нам, что Карамзин — «сентименталист», и ничего другого?

Однако город городом, страна страной, но в них идет и жизнь, — а именно жизнь в конце концов характеризует и город и страну. Вот Карамзин — о Лондоне, куда он приехал после Парижа. «Лондон — прекрасен! Какая разница с Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительно чистотою, там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единое изображение общего достатка (подчеркнуто мной. — **Н. К.**); там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровые и довольные, с благородным и спокойным видом — лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко — везде светлый простор, несмотря на многолюдство».

«Мои общие впечатления от Англии вполне определены. Это — страна основательная и солидная (подчеркнуто мною. — **Н. К.**). Пожалуй, именно и прежде всего — солидная, лучшего определения и не подыщешь». В ней «очень устроенная жизнь — неторопливая, устойчивая и даже как будто (под-

черкнуто мной.— **Н. К.**) вполне благополучная»,— пишет С. Л. Утченко. Карамзин писал свои строки в 1790 году. С. Л. Утченко — в 1960 году. Если бы не это «как будто», то написанное последним можно было бы принять за резюмирующую концовку в записи первого. Но в этом «как будто» и весь секрет.

Нетрудно понять, что от Англии конца XVIII века впечатление у Карамзина должно было сложиться именно такое, какое он изложил. Революция, закрепившая эту страну на капиталистическом пути, была уже позади. Позади был и промышленный переворот — «промышленная революция», как назвал его Энгельс. Мы знаем, что это была действительно великая научно-техническая революция. На ее основе стало развиваться новое производство. Карамзин создал то русское слово, которое обозначало тогда именно это принципиально новое явление в экономической жизни: *промышленность*. Пока не появилось выражение «социалистическая промышленность», это слово только и означало производство, выросшее на базе научно-технической революции XVIII века, то есть производство капиталистических стран. Именно эта установившаяся впервые в Англии промышленность и создала тот «общий достаток», который сразу же бросался в глаза гостю из екатерининской России.

Но тому же гостю бросилось в глаза и другое: так сказать, гражданское самочувствие англичан. Оно, по его мнению, определялось их конституцией. «Спросите у англичанина,— пишет Карамзин,— в чем состоят его главные выгоды? Он скажет: «Я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов». Эти слова Карамзин написал под впечатлением «славного Британского музеума», в котором ему показали «оригинал Магны Харты, или славный договор англичан с их королем Иоанном, заключенный в XIII веке и служащий основанием их конституции». «Разогните же Магну Харту: в ней король утвердил клятвенно свои права для англичан — и в каково время? Когда все другие европейские народы были еще погружены в мрачное варварство».

Так было тогда, во времена Карамзина. А как теперь? Как будто так и сейчас. «Англия, конечно, и сейчас крупнейшее западноевропейское государство с первоклассной промышленностью, с высокоразвитой экономикой, государство богатое, умное и авторитетное»,— пишет советский путешественник шестидесятых годов нашего века.

И в наше время рядовой англичанин, по его наблюдениям, «интересуется тем, чтобы у него был дом, уют, некоторая обеспеченность... Те, у кого этого нет, стремятся именно к этому». «Ничего удивительного,— добавляет С. Л. Утченко,— рядовому англичанину сызмалства внушаются подобные устремления — в семье, в школе, прессой, «общественностью», т. е. по существу самой английской демократией», тем строем, отдаленное начало которого восходит к Магне Харте. Карамзин наблюдал английское капиталистическое общество на первом этапе его пути, во всяком случае тогда, когда этот путь шел в гору. С. Л. Утченко наблюдал это общество, когда этот путь идет... Впрочем, не будем торопиться, пока скажем просто: на современном его этапе.

Есть в очерках обоих путешественников и свой «текущий момент», то есть современность в ее наиболее остром пункте. Карамзин особенно отчетливо почувствовал этот пункт, естественно, во Франции: он был в ней в 1790 году, то есть после 14 июля 1789 года — взятия Бастилии. А какова была Франция в канун этого события? Карамзин описывает ее словами одного из своих французских собеседников:

«Жан Ла (Джон Лоу—финансист, разоривший страну.— **Н. К.**) бежал в Италию, но истинная французская веселость была уже с того времени редким явлением в парижских собраниях. Начались страшные игры; молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево (вспомним «Пиковую даму».— **Н. К.**) и забывали искусство граций, искусство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и экономисты, академические интриги и энциклопедисты, каланбуры и магнетизм, химия и драматургия, метафизика и политика... О спектаклях, опере, балетах говорили мы, наконец, математически-

ми посылками и числами изъясняли красоты «Новой Элоизы». Все философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели,—и я не знаю, к чему бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром революции». Таково начало. А что пошло дальше? Тут Карамзин говорит уже от собственного лица: «Не думайте... чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре... С 14 июля все твердят во Франции об аристократах и демократах, хвалят и бранят друг друга сими именами, по большей части не зная их смысла... Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция — отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства», — философски замечает двадцатитрехлетний «молодой человек» своей эпохи, начитавшийся «истории Греции и Рима».

А вот «текущий момент» в той же Франции, но уже шестидесятых годов ХХ века, такой, каким его увидел советский историк, специалист по Греции и Риму. Остроту своего момента он почувствовал, как мне кажется, в жизни «средних» или, как он иначе говорит, «рядовых» французов, то есть в жизни так называемых «средних слоев» общества капиталистических стран на современном этапе их исторической жизни.

Что же можно сказать об этих средних слоях во Франции? «Французы живут веселее англичан, но озабоченнее, чем итальянцы. В их жизни заметна какая-то нервозность, какая-то даже неуверенность. Скорее всего это — неуверенность в будущем. Не чувствуется также довольства своей жизнью и своим положением. Отсюда, как мне кажется, несколько более значительный интерес рядового француза к вопросам политики. Но политическая обстановка в стране сложна и мало благоприятна для простых людей Франции. Тем не менее или именно благодаря этому здесь как-то сильнее чувствуется внутреннее движение, внутренняя жизнь общества и нет той оцепенелости, что так неприятно поражает в Англии», — пишет С. Л. Утченко.

Нередко «острое» в жизни общества есть то новое, что в этой жизни возникает. В таких случаях появляется и слово — для обозначения этого нового. В Англии его обозначили словом «middle class (middle classes)». С. Л. Утченко говорит: *средние слои*.

Уже то, что С. Л. Утченко многократно обращается к средним слоям, свидетельствует, что явление это само весьма настойчиво обратило на себя его внимание. Посмотрим, что и как он об этих слоях пишет.

«В Италии, где была и остается значительной силой мелкобуржуазная стихия, очень велико значение так называемых «средних слоев»... Эти слои населения — и в смысле своего социального положения, и в отношении своих политических симпатий — пестрый конгломерат, своеобразный сплав, который в политической жизни и борьбе часто выполняет функции некоего амортизатора», — с этого С. Л. Утченко начинает свой разговор о средних слоях. Пока все очень просто. Далее предмет становится сложнее: «Мне хотелось бы с самого начала подчеркнуть возросшую роль и значение в классовой структуре европейского общества так называемых «средних слоев», то есть огромной, многомиллионной толщи (и средостения!) между господствующей верхушкой и низами. Я думаю, что положение, а следовательно, и роль этих слоев еще не всегда оцениваются нами в должной мере, особенно в условиях современного капитализма». Это уже сложнее. Читаем дальше. Сказав, что для современного капитализма характерен «переход к новым формам, методам, тактике», С. Л. Утченко замечает: «Одним из таких новых методов или тактических приемов следует считать борьбу, которая ведется ныне за «средние слои», за превращение их в резерв господствующей верхушки». Наконец, как бы заключение, своего рода приговор: «И вот миллионные массы людей — это и есть так называемые «средние слои» — живут как будто вполне устроенной и благополучной, а по-моему, страшной жизнью. Это — выхолощенная, оглушенная жизнь, где политика заменена газетными сенсациями и светскими сплетнями,

литература — низкопробным, машинной выработки чтивом, театр — глупейшими ревью с обязательными стриптизом... где за последнее время даже кинематограф... все больше и больше вытесняется телевизором».

Думаю, что С. Л. Утченко, заговорив о «средних слоях», затронул действительно исторически важную и политически острую тему. Она у нас не нова: многие историки и публицисты, ученые и журналисты касались ее. И общая трактовка социального качества и социальной роли этих средних слоев у почти всех, писавших о них, примерно такая же, как и у С. Л. Утченко: это, в общем, мелкая буржуазия, которую капиталистическая верхушка, хозяева монополий частично «подкармливают», частично идеологически обрабатывают. «Подкармливание» — допущение к участию в прибылях предприятий, передача некоторого числа акций, предоставленные разнообразные и, на первый взгляд, подчеркивает автор, весьма выгодных форм кредита. Идеологическая обработка сводится, по мнению С. Л. Утченко, главным образом к пропаганде идеи личного благополучия. Эта пропаганда, пишет автор, ведется ежедневно, ежечасно, всеми средствами — печатью, рекламой, кинокартинами. И свои результаты она дает. «Личное благополучие! — восклицает он. — Это — альфа и омега, святая святых каждого «среднего» обитателя на Западе. Личное благополучие! Это то, к чему стремится, как к земле обетованной, мелкий буржуа, до смерти напуганный двумя мировыми войнами, революционными переворотами и вообще всякими потрясениями основ. Личное благополучие! Вот оно: замкнуться бы на всю жизнь, как моллюск, в семейной скорлупе, в уюте и достатке, «мой дом — моя крепость». При этом, добавляет С. Л. Утченко, попутно «внушается мысль о некоей страшной угрозе и дому-раковине, и уюту, и всему безоблачному существованию... угрозе, которая исходит, мол, всем понятно откуда и всем известно от кого». «В результате, — заканчивает С. Л. Утченко, — крайнее измельчание, дробление, я бы даже сказал, атомизация общественной жизни, отсутствие объединенных и согласованных усилий. Где общенациональное дело? Какова общенациональная идея?»

Повторяю, мне кажется, что С. Л. Утченко подошел к исключительно важной теме. Впрочем, «средние слои» — не столько тема, сколько проблема, в первую очередь — историческая; я сказал бы даже — остро историческая.

Прежде всего какова действительная социальная природа этих «средних слоев»? Исчерпывается ли она простым определением — это массы мелкой буржуазии? Ответить на этот вопрос сейчас, в наше время, во вторую половину XX века, не так легко. Но некоторые соображения все же высказать можно: они напрашиваются сами собой, и именно если посмотреть на эти средние слои «глазами историка».

Вернемся к промышленному перевороту XVIII века. Энгельс назвал его «революцией», то есть событием, поднимающим исторический процесс на новую ступень. Ленин сказал, что этот переворот означал «крутое и резкое преобразование всех общественных отношений». Словом, эта научно-техническая революция была органически сопряжена с революцией экономической и социальной. Мы знаем, что в процессе технического преобразования производства его хозяева превратились в то, что мы называем капиталистами, а те, кто в этом производстве работал, из мастеровых — в рабочих, в то, что мы называем пролетариями.

В настоящее время мы живем — это признают как будто все — в эпоху второй научно-технической революции, еще большего масштаба и большей силы, чем первая. Разумеется, как та, так и другая — не один какой-нибудь момент, а процесс, и природа каждой из этих двух революций и все их аспекты выявляются далеко не сразу и не всегда с полной ясностью: все раскрывается в ходе истории. Первая научно-техническая революция — принадлежность истории; она принадлежала истории уже в эпоху Энгельса и тем более Ленина, почему они и могли так полно охарактеризовать ее общее историческое значение. Вторая научно-техническая революция — текущая действительность, и полностью подметить все ее аспекты, понять, с чем она в весьма сложной жизни современного высокоразвитого общества связана и куда ведет, — мы пока не можем. Но в то же время не можем

не видеть, что она происходит в обстановке явного «брейкдауна» капиталистического строя (во всяком случае в его нынешней форме) в одних государствах, перехода к строю социалистическому — в других. Мы хорошо видим, что «брейкдаун» происходит в обстановке роста демократии, роста прежде всего по численности и составу: сейчас в высокоиндустриализованных капиталистических странах действует огромная масса работников «физического и умственного труда», как именуется этот общественный слой в документах Коммунистической партии Франции, масса трудящихся различных специальностей и профессий, — как обычно говорим мы. Эта масса, организованная в профсоюзы, высокосоциальная и общественно активная, составляет в настоящее время в этих странах весьма внушительную общественную силу, решительным образом воздействующую на всю жизнь своей страны. Такова главная сторона исторического процесса, развертывающегося в передовых капиталистических странах на нынешнем этапе их истории. Мы также хорошо знаем историческое существо социалистического преобразования общественного строя: отказ, принципиальный и практический, от всякой эксплуатации человека человеком и — на этой почве — построение общества бесклассового, то есть такого, в котором не только нет классов антагонистических, но и само понятие «класс», если оно в какой-то мере и сохраняется, приобретает совершенно иное значение. Возникновение такого общества — факт эпохального исторического значения, меняющий самое течение дальнейшей истории. Будущее. надо полагать, подтвердит правильность понимания социалистического строя как перехода к бесклассовому обществу и вместе с тем покажет, какими путями этот переход может происходить... Весьма вероятно, что и не всегда так, как мы сейчас себе это представляем. Во всяком случае не так, как мы порой представляли себе в первые десятилетия нашей революции. К сожалению, отголоски старых, упрощенных представлений можно слышать и до сих пор.

Именно в такой исторический план и может, как мне кажется, быть поставлена проблема «средних слоев» в таких странах, в каких наблюдал эти слои С. Л. Утченко: в Италии, Франции, Англии, короче говоря — в наиболее развитых, высокоорганизованных капиталистических странах. Достаточно ли считать, что «средние слои» в таких государствах — просто мелкая буржуазия? Генетически это, может быть, и так, но только генетически: сейчас же это далеко не только мелкая буржуазия. Сейчас в состав «средних слоев» входит значительная часть трудящихся — очень многих видов труда и профессий. Не следует упускать из виду и то, что в современном производстве, построенном на базе науки и техники, изменился и тип рабочего, и его уровень. Одним из последствий первой научно-технической революции было то, что рабочий завода или фабрики стал совсем иным, чем мастеровой прежних мануфактур. Может ли сохраниться тот же тип рабочего при второй научно-технической революции?

С. Л. Утченко очень подчеркивает в умонастроениях «средних слоев» силу идеи личного благополучия. Вероятно, это верно. Но нельзя ли вместе с этим увидеть в этом стремлении к личному благополучию, что означает в первую очередь, конечно, желание достигнуть более высокого материального достатка, — и нечто другое? Тут опять невольно вспоминается Карамзин. Что он особо отметил в Англии в годы ее бурного промышленного развития? «Единообразие общего достатка», как он выразился, то есть сравнительно высокий материальный уровень жизни. Поскольку же он подметил такой уровень именно в массе, дело, видимо, шло о «средних слоях» того времени. Но что означал тогда этот «общий достаток»? Скорее всего общий экономический результат научно-технической революции. Поэтому нельзя ли стремление к личному благополучию, отмечаемое С. Л. Утченко в Англии, рассматривать как психологический аспект известного повышения материального уровня жизни довольно широких кругов общества, уровня, создаваемого нынешней научно-технической революцией? С. Л. Утченко, конечно, прав, когда говорит, что капитализм всегда остается капитализмом: «Волк, в какую бы шкуру он ни рядился, — все волк». Но нельзя и относиться к капитализму как к чему-то неподвижному, всегда существующему в одной и той же форме. С. Л. Утченко пря-

мо говорит, что капитализм не только самая мощная, но и «самая гибкая система эксплуатации человека человеком». Эта же гибкость отражает необходимость приспособляться к постоянно меняющимся условиям и требованиям исторической жизни. Далеко не всегда именно капиталисты создают эти условия: большей частью условия ставит перед ними непрерывно развивающийся общественный процесс, а в этом процессе весьма ощутительно действуют именно трудящиеся.

С. Л. Утченко считает, что в современном капиталистическом обществе происходит дробление, атомизация общественной жизни: политическими вопросами занимаются профессиональные политики, дипломаты; экономическими — предприниматели, хозяева; социальным страхованием — профсоюзные организации. Все это так и есть, и указать на подобные явления необходимо. Но в равной мере есть и обратное. Что такое постоянные политические демонстрации, шествия, кампании в печати, пикетирование правительственных учреждений, посылка делегаций, создание специальных обществ? Разве это не знаки огромного, именно широкого общественного интереса, внимания к политическим, социальным и экономическим вопросам? Разве это не прямое участие широких масс — именно средних слоев — в общей жизни страны?

Говоря об измельчании общественной жизни, С. Л. Утченко спрашивает: «Где общенациональное дело? Какова общенациональная идея?» Он снова прав и тут. Но рядом с этим есть и другое: одну из самых примечательных черт нашего времени составляет способность широких масс, в том числе и средних слоев, воодушевляться большой общей идеей и энергично бороться за ее осуществление. Вспомним развернувшееся на наших глазах поистине мировое движение за мир. Мне кажется, что для общественных движений нашей эпохи характерны как раз идеи не столько национальные, сколько интернациональные и именно в этом состоит ее историческое значение. История в дальнейшем еще покажет силу интернациональных, общечеловеческих мотивов в действиях общества, хотя антагонистические классы еще существуют, а нации — со всеми присущими им их собственными интересами — не только существуют, но и бурно развиваются: социалистический строй не уничтожил нации, он даже укрепил их, утвердив их подлинную суверенность, но вместе с тем ввел их активность, да и самое их бытие в интернациональное русло.

С. Л. Утченко взволнованно пишет о «выхоленной, оглупленной» жизни средних слоев западноевропейского общества, о том, что литература заменена там низкопробным, машинной выработкой чтивом, театр — стриптизом и т. д. У нас часто пишут об этом, и это хорошо: во-первых, потому, что все это правда и видеть ее необходимо; во-вторых, потому, что важно предупредить развитие сходных явлений в нашем собственном обществе. Однако не следует забывать и об обратном: о богатой духовной жизни в тех же странах, о широкообразованной, культурной интеллигенции, о замечательной, многообразной литературе, о смелых и неустанных творческих поисках в различных областях искусства, о бурно развивающейся науке, о философской мысли, проникнутой тревогой за человечество, болью за то, что оно, человечество, допустило в своей истории так много такого, что позорит гордое имя человека. Все это есть — так же, как есть и то, что отметил С. Л. Утченко. И не к этому ли и следует присматриваться в первую очередь, как к чему-то близкому нам? Пусть пути мыслятся и по-разному; это естественно, так как каждый народ проходит свою собственную историю, но цель у всех честных людей на земле все-таки одна и та же — построить жизнь, действительно достойную человека.

С. Л. Утченко написал: прошлое входит в настоящее, а настоящее в будущее. Совершенно верно, это действительно так. В качестве примера можно привести Египет, о котором так красноречиво пишет С. Л. Утченко. И не только тем, что в нем можно видеть вещественные следы великой цивилизации времен фараонов, «старого древнего мира», как я позволил себе выразиться выше, но и тем, что там есть еще и следы «нового древнего мира», особенно его конца — эпохи эллинизма

и раннего христианства. Вместе со средневековым пришедшие сюда арабы в своей культуре многим обязаны культуре этого второго Египта — эллинистически-римского, той культуре, которая в свое время была синтезом великих цивилизаций как «старого», так и «нового» древнего мира. Дальнейшее движение истории в Египте проявилось в том, что арабский Египет вошел в общее русло новой исламской цивилизации. Наконец, в новейшую эпоху он входит в общее русло мировой цивилизации, в своем высшем техническом облике представленной в нем Асуанской плотинной. Нил действительно исторически течет от пирамид к Асуану.

И вместе с тем есть и обратное движение — не менее реальное, чем описанное: будущее входит в настоящее, а через настоящее и в прошлое. Об этом с чрезвычайной ясностью свидетельствует историческая наука: в ней движение идет именно так.

Здесь не место останавливаться на этой теме. Скажу только одно: не лежит ли печать нашего нынешнего сознания, нашего нынешнего понимания исторического процесса, на наших работах по раскрытию этого процесса? Разве сами очерки С. Л. Утченко — даже там, где он пишет о погибших цивилизациях, — не озарены светом современной мысли, то есть нашей современности? Нил, оказывается, течет в обе стороны: и от пирамид к Асуану, и от Асуана к пирамидам.

С. Л. Утченко допускает, что какой-нибудь читатель, прочитав его книгу, недоуменно спросит: «Почему все, что вы написали, связано с поездками в разные страны? Разве не могли те же самые мысли появиться у вас дома, за письменным столом?» С. Л. Утченко отвечает на этот вопрос: «Да, могли бы. Но у меня они появились именно благодаря поездкам!» Что же, поездки могут очень помогать нам: впечатления, полученные от поездок, могут делать более отчетливыми и конкретными многие наши мысли, зародившиеся и даже выношенные ранее. Видимо, так и вышло у С. Л. Утченко. В результате получилась умная, богатая содержанием, чрезвычайно современная, особенно в своих дискуссионных частях, что и естественно, и нужная книга. И поскольку она является результатом поездок, мне хочется заключить свои заметки словами другого русского путешественника:

«Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!»



В МИРЕ ИСКУССТВА

ИГОРЬ ЗОЛУТУССКИЙ

★

ДОБАВЛЕНИЕ К ЭПОСУ

(Толстой в романе и Толстой в фильме)

Каждый раз, когда кто-то берет «Войну и мир», жизнь книги начинается сызнова. И это не та жизнь, которую жила книга до сих пор.

Толстого читает стар и млад, читают люди, только научившиеся читать, и ученые-эрудиты. Он равно открыт умным и глупым, философам и тем, кто не заботится о философии. Толстой — как храм на дороге. Один пройдет мимо — перекрестится по привычке. Другой зайдет внутрь и ничего не увидит. Третий и увидит — да золоченую ризу попа. Четвертый останется там и побудет.

В школе «Войну и мир» проходят как роман-эпопею. В школе Толстой должен учить, и он учит. Он показывает Отечественную войну, народного полководца Кутузова. Он рисует барскую жизнь и обличает крепостное право. И он приводит своего Пьера к декабристам.

В обыденной жизни, в быту читают «Войну и мир» как роман. Наташа влюбляется в князя Андрея, потом в Курагина, потом выходит замуж за Пьера.

Строгие историки и философы читают рассуждения Толстого. Им важно установить, в чем был прав Толстой, а в чем он заблуждался, чего он «недопонимал».

Но есть и еще один род чтения. Это чтение внезапное, непреднамеренное. Наступает момент, когда человек чувствует, что он не прохожий в храме Толстого. Дорога его жизни сворачивает в этот храм, она не может миновать Толстого.

Когда это случается и с кем? Наверное, с каждым, кто задумывается над своей

жизнью и кто помнит, что есть Толстой. Он является в этот храм, истоптав башмаки. Не важно, долго ли он ходил. Важно, сколько он прошел.

Это сколько относится к его душе, к его пониманию своей души. Именно об этом думают Пьер Безухов и Андрей Болконский, и думает сам Толстой в «Войне и мире».

Внешне это книга о том, как русские проиграли Аустерлиц, а потом выиграли войну, как воевали и жили, умирали, женились, рожали детей. Как Беннигсен интриговал против Кутузова, а Александр встречался с Наполеоном в Тильзите.

Внешне это история семьи Болконских и семьи Ростовых, история России с 1805 по 1820 год, это жизнь крестьян и дворян, это Сперанский, Аракчеев, масоны, декабризм.

Все это есть в романе, и все это еще не роман.

Вспомним начало его.

Салон Шерер — «прядельная мастерская» света. Вертятся колеса веретен — колеса толков, восклицаний, французской речи. Перед нами скучающий, пустой свет, сливки общества, отделенные от молока. Они давно скисли, но все еще считают себя лучшим в молоке, высшим в молоке. И они говорят от имени истории, народа, России.

Они говорят от имени мира, воображая, что их брожение и есть движение его.

Мы видим здесь и маленькую княгиню, видим, как презрительно обходит ее князь Андрей, как тычется в разговоры, словно молодой теленок, двадцатилетний Пьер.

Что это — раут для представления героев, пролог — разговоры о Бонапарте и войне?

И это.

Но вслушайтесь, о чем спорит в этом кружке Пьер. Взгляните на эту маленькую беременную княгиню. Вдумайтесь в мысли Андрея Болконского. Они недаром собрались здесь, и соседство их — не просто выход перед началом спектакля к зрителю.

О чем думает князь Андрей? Он думает о своей цели, о своем герое. Его герой Наполеон — тот Наполеон, которого поносят гости Шерер. Он убил герцога Энгийенского, он — выскочка, он — тиран.

Пьер защищает своего любимца. Он говорит, что Наполеон поступил так ради «общего блага». «Казнь герцога Энгийенского, — настаивает Пьер, — была государственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке».

Его поддерживает князь Андрей.

Речь идет о праве на убийство, и это право признает за Наполеоном Болконский, который сам собирается на войну. Он признает это право и за собой, ибо тоже отправляется убивать. Кого и за что — он не знает (это еще не война 1812 года, это война за интересы Австрии), но так нужно. Этого требует «общее благо» и его, Болконского, самолюбие.

А маленькая княгиня? Она глупа. Она вся устремлена на новую жизнь в себе, погружена в свое — животное — спокойствие. И это спокойствие бесит князя Андрея.

Но прав ли гордый Болконский? Прав ли младенец Пьер, который пороку не нюхал и судит о праве убивать? И так ли уж презренна эта маленькая женщина со вздернутой губкой, слушающая глупости Ипполита?

Так начинается роман. Он начинается с начала внутреннего, которое заключено во внешнем.

Внешне герои сходятся, чтоб познакомиться и представиться нам и друг другу. Внутренне их сталкивает и разводит мысль Толстого. Роман начинается в салоне Шерер, и роман начинается в душе князя Андрея и Пьера, в сцеплении их и других душ.

В блестящем и пустом салоне Шерер под шутки уроды Ипполита и французскую речь зарождаются вопросы романа. Зачем? — спрашивает Толстой. Зачем война? Зачем самолюбие? И для чего рождается человек:

для «государственной необходимости» или для жизни?

Конечно, мы не сразу поймем это. Не сразу свяжусь для нас вопросы романа и его жизнь. Но позже мы свяжем их. Мы почувствуем эту двуединость книги.

Толстой весь — в вешности мира, в его материальности. И он взрывает эту материальность изнутри — он борется с ней, признавая и отрицая ее. Толстой не может удовлетвориться сущим: ему нужно высшее, нужно моральное оправдание физического бытия.

Искания этого высшего, этого ответа на вопрос «зачем?» и есть «Война и мир». Ради этого она написана, этим она и держится. И все огромное здание ее возведено духом Толстого, искавшим ответа.

Вот почему «Война и мир» — это и книга событий, книга историческая, и книга исповеди Толстого.

С одной стороны, Толстой пишет двенадцатый год, с другой — он пишет и себя в двенадцатом году. С одной стороны, Андрей и Пьер, Наташа и Кутузов одеты в мундиры и платья двенадцатого года, говорят и танцуют, как в двенадцатом году, с другой — думают и чувствуют так, как сам Толстой пятьдесят лет спустя. И так же ищут ответ на мучающий их вопрос: зачем?

Этот вопрос задает Пьер на станции в Торжке, его задаст князь Андрей на Аустерлицком поле, Наташа — в церкви после разрыва с князем Андреем, княжна Марья — над умирающим отцом. И снова Пьер — под Бородином, в плену, после плена, и князь Андрей — в Богучарове, в палатке для раненых, в Ярославле.

«Что дурно? Что хорошо? — спрашивает вместе с ними Толстой. — Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я?»...

...Из темноты экрана возникает зеленая точка, она раскручивается, растет, и вот уже камера плывет над Бородинским полем, и с нею наплывают на нас слова: **ВСЕ МЫСЛИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВСЕГДА ПРОСТЫ. ВСЯ МОЯ МЫСЛЬ В ТОМ, ЧТО ЕЖЕЛИ ЛЮДИ ПОРОЧНЫЕ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И СОСТАВЛЯЮТ СИЛУ, ТО ЛЮДЯМ ЧЕСТНЫМ НАДО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО ЖЕ САМОЕ. ВЕДЬ КАК ПРОСТО».**

Слова Пьера из последней главы романа... Они возникают перед титрами как эпиграф, как мысль фильма, как ответ на вопросы Толстого.

С первых кадров мир размежевывается: на одном полюсе оказываются люди порочные, на другом — честные. На одной стороне Курагины, свет, Шерер и на другой — князь Андрей, Пьер, Наташа. И дальше мир расслаивается: царь, Наполеон, война — и охота, святки, Ростовы, дядюшка.

Сцены войны мешаются со сценами светской жизни, танцы — со смертью Безухова, Тильзит — со спальней графини. И самое начало фильма — музыкальное вступление его — говорит нам: мы вам покажем жизнь личную и историческую, судьбы России и судьбы людей. Два хора сменяют один другой — сначала торжественный, патетический, потом интимный, женский.

Фильм делится на войну и мир, эпос и лирику, на историю и роман.

Камера то отлетает от земли, то вновь опускается на нее. Движения камеры тоже делают фильм надвое: на жизнь земную и жизнь духа.

Но эти противоположности статичны, они не влияют друг на друга. Картины войны и мира, мира «большого» и «малого», чередуются, не двигаясь, а повторяясь. И текст стоит на месте: он придан только тому действию, с которым появляется на экране.

Мы смотрим сцены в салоне Шерер и видим, что это все те же сцены света, мы попадаем в дом Ростовых и видим, что это все те же милые добряки, русские хлебосолы Ростовы. Мы смотрим одно сражение, другое и понимаем, что Аустерлиц дублирует Шенграбен, а Бородино — Аустерлиц.

Все как будто идет по роману, все чередуется последовательно, как у Толстого. И небо Аустерлица, и дуб князя Андрея возникают в фильме вовремя. Но мы спрашиваем себя: а в каких отношениях они находятся, что их связывает, где нить этого всего?

Нить ли это — сам Болконский, который сначала идет на войну, потом воюет, потом остается в деревне? Или нить — Пьер, который появляется то в салоне Шерер, то на пирушке у Курагина, то у Болконского, в Английском клубе и вновь у Болконского? В чем смысл их передвижений, встреч, отсуствий и присутствий?

Фильм отвечает: в самих этих присутствиях. Он переносит нас из Петербурга в Москву, из Москвы в деревню, из России

в Австрию. И мы вспоминаем: да, князь Андрей здесь был, да, он отчитывал этого адъютанта, и побитый Мак являлся в ставку Кутузова. И старый Безухов умирал, и родственники его ссорились из-за наследства, и Пьер стрелялся на дуэли. И Багратион приезжал в Английский клуб, и там в его честь ели и пили.

Фильм следует за событиями, и события прежде всего интересуют его. События поглощают нас, они уносят князя Андрея и Пьера, их велищей руке подчиняется на экране человек.

«Внешний» Толстой переселяется из романа в фильм со всей тяжестью своего скарба, со всеми пожитками, обозами, реквизитом. Тысячи и тысячи солдат, лошадей, интерьеры дворцов, сами дворцы переезжают из девятнадцатого века в двадцатый, заполняя экран. И вместе с ними — как путники при обозе — перебираются князь Андрей и Пьер, старый Болконский и княжна Марья. Они перебираются с фрагментами своих монологов, своих мыслей, своей тайной «внутренней» жизнью.

История поглощает их. Она растворяет их в своей величественности, своей громадности.

Мы тоже вступаем в этот поток и незаметно отдаемся ему. Это втягивает, как роман: знаешь, что есть продолжение, знаешь, что до конца далеко. И хочется пожить чужой жизнью, забыть себя.

Роман Льва Толстого «замедлен»: жизнь не опережает самое себя, она течет, как жизнь: весну сменяет лето, люди рождаются, взрослеют, женятся. И в этой медленности, «натуральности», приторможенности «Войны и мира» есть что-то целительное. Есть что-то отвлекающее и приближающее нас к себе.

Каждый человек рождается на свет, чтобы жить — и жить долго. Война и насилие — это неестественно, говорит Толстой. Естественна юность Наташи, ее увлечения, то, что Наташа растет, из девочки становится женщиной.

«Война и мир», как музыка Баха, величественно-спокойная и круглая, растворяет нас в себе. Это не Толстой «Крейцеровой сонаты» и «Отца Сергия» — Толстой, страшущийся смерти, разрывающийся между духом и плотью, проклинаящий то дух, то плоть. Это Толстой гармонический, примиряющий жизнь и смерть на весах бытия.

Фильм как будто следует за Толстым. Он щедро распахнут видимому миру его: ба-

лам, сражениям, схоте, святкам. Он открыт для неба и земли, для облаков, для лунной ряби на темной реке, для длинной дороги, по которой, покачиваясь, едет возок князя Андрея.

Он открыт цветению и увяданию, пространству жизни и воздуху ее.

Жизнь вливается в вас через это широко распахнутое панорамное окно — и вы чувствуете ее успокаивающий ток в себе, ее веяние, ее переход в вас.

Можно понять критиков Франции, Японии, Мексики, которые с восторгом пишут о русском колере «Войны и мира», о его русской атмосфере. Для них эти виды России уже есть Россия и дух ее. Это цвет ее неба, ее типы, ее загадочная огромность.

Да и сами мы поддаемся очарованию вечера у дядюшки, треньканью балалайки, бегу тройки на святках. И в тихом зимнем доме Ростовых, где томится Наташа и слепо смотрят в зал замерзшие окна, где все полусонно остановилось, полудремлет, полуживет, нам делается покойно и мягко, сосредоточенно-хорошо.

Толстовский текст помогает этому. Он грустно-значителен, вдумчив, сердечен. С. Бондарчук читает его в ритме фильма, в ритме эпоса.

Да, это эпос. Это эпос истории и эпос жизни, это прошлое, величественно воскрешенное для настоящего, обращающееся к нему, глядящее на него.

Мы с любопытством всматриваемся в обстановку комнат, в костюмы, лица, волнуясь, поднимаемся вместе с Наташей по лестнице в бальный зал, вступаем в него. Звучит музыка, и нам кажется, что мы на самом деле перенеслись в XIX век и этот вальс, старинно-плавный, и колышущаяся богатая толпа, и горящие гроздьи люстр — все оттуда, все настоящее.

И настоящих осетров несут на широких блюдах к столу Ростовых, и настоящее шампанское льется из запотевших, завернутых в салфетки бутылок, и настоящие гербовые орлы светятся на пуговицах солдат.

Мир прошлого в фильме веществен, неподделен. Толстой дорожит его подробностями, дорожит ими и С. Бондарчук.

Он боится смахнуть даже пылинку с портрета, если она принадлежит портрету, и девятнадцатый век оживает в фильме. Он оживает в красках гостиных, блеске навошенного пола, в костюмах, голосах, же-

стах. Он оживает в лицах — в лице князя Василия (Б. Смирнов), старика Болконского (А. Кторов), капитана Тушина (Н. Трофимов). Это и те люди, тот век, и это мы с вами, чувствующие так же, как они.

Мы не можем отделаться от мысли, что старик Болконский — А. Кторов — это тот самый старый князь, генерал, которого писал Толстой, который жил, страдал и умер в толстовском романе, ибо он не только внешне Болконский, но и внутренне он, именно он, и только он.

И когда Наташа — Л. Савельева — забирается в постель к матери (К. Головки) и целуется и шепчется с ней, и когда она одна в лунном сиянии кружит по комнате, что-то говоря с собой, когда она плачет, кричит, бьется в истерике, призывая Анатоля, — мы верим ей и живем вместе с ней.

Но мы забываем при этом, что она героиня Толстого, что все это происходит в «Войне и мире», в самом Толстом.

Толстой связывает капитана Тушина и старика Болконского, вспышку Наташи и вопросы романа.

Фильм не делает этого.

То, что здесь случается с Наташей, случается с нею одной. Ее страсть к Курагину, ее измена князю Андрею не имеют отношения к браку Пьера и Элен, к спорам в салоне Шерер, спорам князя Андрея и Пьера, к дубу и небу, к чувствам Николая Ростова на фронте и даже к тому, что происходит в театре, где встречаются Наташа и Анатолий.

Эта сцена есть в фильме, но театр здесь — фон, место действия, где случайно оказываются влюбленные. Они могли оказаться и на балу, где угодно — фон здесь просто фон, и все.

У Толстого это фон, бросающий свет на их чувства, на смысл этих чувств, на сам роман.

В театре дают оперу. Напудренные актеры и актрисы поют и танцуют, изображая любовь. Опера слащавая и лживая. И так же лживы их движения, их слова, их грим, декорации за их спиной.

И этой лжи внимает зал. Он приемлет эту ложь и аплодирует ей.

А между Наташей и Анатолем начинается то, что должно смести эту ложь, обрушить ее.

Падают декорации искусственных влюб-

ленностей, и на сцену выступает чувство — грубо-искреннее, живое.

Толстой пишет, что Наташа не ощущала нравственной «преграды» между собой и Курагиным. Это было не то, что с Болконским, а неизвестно что. Она не знала, хорошо это или плохо, стыдно или нет. Она знала: это есть.

То же чувствует и Пьер, когда видит Элен. Зверское, сильное, то, что сильнее его разума, овладевает им.

Элен груба, и Пьер груб в своем чувстве к ней, и зверское выражение видит княжна Марья на лице Анатоля, когда он целует француженку, и лицо Наташи отталкивающее зло, когда она кричит на Сою и на тех, кто разлучил ее с Анатодем.

Эта откровенность и грубость чувственного есть одновременно и правда его. Это сама жизнь, не стыдящаяся себя.

В театре встречаются не только Наташа и Анатоль — там сходится театральность и правда, природа и искажение ее. То, что происходит на сцене, отражает то, что происходит в зале. И тут и там те же парики, грим, искусственные слова.

В ложе напротив Наташи сидит Жюли Карагина с красной шеей. Над ней склоняется Борис Друбецкой — ее жених, женившийся на ней из-за миллионов. А в партере прогуливается Долохов в театрально ярком персидском костюме.

Все они что-то разыгрывают, в кого-то играют.

И разве не играли до этого Пьер — в масонство, князь Андрей — в героя, Наташа — в любовь? Они не знали, что это была игра, но это оказалось игрой. И разве не игрой была австрийская кампания Наполеона, приемы, которые устраивала у себя Элен, чувства людей у одра старого Безухова, дуэль Пьера и Долохова?

Фильм не чувствует этой иронии Толстого, не улавливает ее. В театре идет настоящая пьеса, Долохов вовсе не театрален, дуэль их с Пьером только серьезна, только трагична.

Меж тем весь этот театр, все эти наряды, лжестины, псевдолюбви должны рухнуть в войну, как срывается Наташа Ростова в страсть к Курагину.

Война срывает со лжи блестящую пелену, она отделяет театр от жизни. Но она сама тоже является как продолжение театра, продолжение правды и лжи мира.

У Толстого война — реальность, хотя она

и игра, схватка самолюбия, тщеславия, идей, мнящих себя реальностью.

В фильме она — зрелище.

Что и говорить, зрелище это величественное. Это можно сравнить с чувством человека, попавшего под купол Севастопольской панорамы, человека, вдруг оказавшегося посреди события, внутри его.

Событие захватывает дух. Оно величественно по масштабам, по количеству участвующих в нем, по способности камеры объять размеры его.

Но Толстой, рисуя сражения, недоверчиво относится к величественности. Панорама Бородина, скрытая утренним туманом, панорама, которую видит Пьер накануне сражения, покоряюще хороша. Все это еще не расстроено, цельно. И цвета войск, и их построение, и пушки на редутах, и всадники в треуголках с плюмажами — все это красиво.

Но вот начинается бой. И все это исчезает. Все смешивается — смешиваются грязь и пот, кровь и дым пороха. Ряды уже не ряды, каре не каре, все движется не по правилам, а бессмысленно клубится без всякого порядка, разрушает и уничтожает симметрию.

И вовсе это не величественно. Это отталкивающее страшно, глупо, нелепо, это избиение, убийство, какая-то воровчающаяся каша, в которой ничего не разобрать.

На поле сражения сходятся не только войска французов и русских, не только две армии. Здесь сходятся жизнь и насилие над ней, действительность и химеры тех, кто считает, что они руководят ею.

Этим людям кажется, что они держат в руках рычаги события. Наполеон, возвратившись после осмотра позиций и приготовившись к созерцанию Бородина, говорит: «Шахматы поставлены, игра начнется завтра». Для него это игра, перестановка и съедение фигур. Это тот же театр, где статисты сыграют свои роли.

Да, это театр, говорит Толстой. Но это кровавый театр. Театрально выглядят поле битвы, театрально одеты войска (зачем им эти яркие одежды, эти кивера и плюмажи — чтоб умереть красиво?), театрально красиво они расставлены. И только одно не театр — их жизнь, которая уничтожается на этой громадной сцене.

Толстой все время пишет, что войска идут не туда, ядра падают не там, приказы не выполняются, роли не сыгрываются.

Текст пьесы, составленный накануне сценаристами в штабах, летит к черту.

Багратион под Шенграбеном почти спит. Он спокойно возвышается на своей лошади и спокойно выслушивает адъютантов. «Князь Багратион,— пишет Толстой,— только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями».

Лучшее, что может Багратион,— это не влиять на события, не препятствовать им. И он не препятствует.

Так же ведет себя и Кутузов. Он даже не рассчитывает на роль шахматного игрока, как Наполеон. Он ждет, когда все само собой разрешится.

Так или не так было в 1812 году, но так как видит войну Толстой.

Война для него не эпос. Это цари и их свита скачут на хороших лошадях, чистые, выбритые, и осматривают ряды «молодцов». Сами же молодцы гибнут без пафоса. Они валяются на земле, как лежит уже гниющий солдат под ногами лошади Александра I, и над ними летают мухи.

Вот что происходит в романе накануне Аустерлица. «На дворе Кутузова слышались голоса укладывающихся денщиков; один голос, вероятно кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал князь Андрей и которого звали Титом, говорил: «Тит, а Тит?»

— Ну,— отвечал старик.

— Тит, ступай молотить,— говорил шутник.

— Тыфу, ну те к черту,— раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг».

Сцена эта повторяется в конце сражения. Она окаймляет его иронией Толстого. Она окаймляет само сражение и честолюбивые желания князя Андрея, которые в этом сражении превратятся в прах.

И пока гордец и себьялюбец Болконский будет лежать на Аустерлицком поле и казнить свое тщеславие и свою гордость, в потоке отступающих войск повторится тот же разговор. «Впереди... шел берейтор Кутузова, ведя лошадей в пополах. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик дворовый, в картузе, полушубке и с кривыми ногами.

— Тит, а Тит!— сказал берейтор.

— Чего?— рассеянно отвечал старик.

— Тит! Ступай молотить.

— Э, дурак, тыфу!— сердито сплюнув, сказал старик.

Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась та же шутка».

Так относится Толстой к войне. Это отношение злое, отношение боли и насмешки, негодования и отчаяния. Толстой не может выводить из войны баланс прогресса. Будь то даже воинский прогресс, прогресс тактики, прогресс данной кампании.

Для России война двенадцатого года была справедливой войной. Но зачем нужна она была французам? Они пролили кровь за «общее благо» по «государственной необходимости»? Но эта необходимость была только необходимостью Наполеона, и он то не платил за нее.

Платили другие.

Плата эта и ожесточает Толстого. Его ожесточает ложь о цели, якобы оправдывающей кровь.

Война тоже изображается Толстым как жизнь, и в этой жизни Толстой видит людей, которым он сострадает. Не на стороне жестокого Долохова, приказывающего уничтожать пленных, а на стороне Кутузова, говорящего своим солдатам, чтоб они пожалели врага, стоит он.

Толстой гордится Бородином, Красным, изгнанием Наполеона. Он русский, но не тот русский, который забыл, чего это стоило.

Толстой пишет, что русские защищали в войне не государство Россию, а свою страну, свой дом, родных и близких. Он сравнивает два города — Петербург и Москву, город-столицу, город — резиденцию правительства и света и город-«дом», где спокойно и уютно русской душе.

Государственный колосс Петербурга безличен рядом с низенькой домашней Москвой, которая горит в дни прихода Наполеона, которая сгорает дотла и все-таки остается. Как остается на пепелище семья Ростовых, Наташа и Николай, их дети, их продолжение.

Это русское — естественное, коренное — гораздо крепче, чем государственный патриотизм двора, растопчинские афишки, вздохи дам в салонах, корпия, которую щиплет Жюлю.

И это величественно, хотя и не помышляет о величии.

Величественны Ростовы, отдающие свои подводы раненым, величественны чувства

солдат под Бородином, величествен Кутозов, плачущий при известии о бегстве Наполеона из Москвы. И величествен Петя Ростов, протягивающий руку французскому барабанщику.

Величественно то, что происходит в душе людей, величественна жизнь и смерть (и в том числе жизнь на войне), а не ложь об этой жизни и смерти.

Иначе видит войну С. Бондарчук. Война в фильме — это величественное движение войска, это эпос без трагического смысла его. Есть и в этой войне кровь и раны, и люди падают с лошадей, и шальное ядро выхватывает из строя солдат, но все это смотрится без боли, без сострадания.

Багратион выхватывает из ножен шашку и идет впереди атаки. Князь Андрей в белом мундире и черной треуголке присоединяется к нему. И величественно мерно покачиваются идущие строевым шагом ряды, а лица торжественны и серьезны. И все это красиво, красиво!

Красиво вспыхивают и наливаются густым молочно-белым дымом выстрелы пушек, красиво воют гранаты, красиво хлопают, красиво расплескивают медно-яркий огонь. И красиво падают убитые, красиво трепещут знамена на ветру, красиво смешиваются, как на палитре, цвета киверов, касок, мундиров, штандартов, неба и поля. И князь Андрей, уже раненный, красиво лежит на расстеленном знамени, изогнув углом ногу в натянутой белой лосине.

Глазу больно от красоты, глаз устает, просит пощады. А на него снова и снова надвигаются волны войска, и звучит музыка...

И мне вспоминается атака кавалергардов в романе. Кавалергарды — красавцы и молодцы на красавцах и молодцах конях — несутся на французов. Они молоды, возбуждены, они сильны и прекрасны в своем порыве. Но только на миг. Ибо через миг от них не останется ничего. И вся эта масса здоровых тел, красивых лиц, красивой сбруи превратится в тряпье и кровь, в грязь и останки человека.

И мне вспоминается, как Николай Ростов, наскочив на француза-офицера, никак не может зарубить его, и видит его мелькающее испуганное лицо, и сам он испуган, сам трясется от страха, от отвращения к необходимости убивать.

«Батальные сцены» романа — это не атаки и не эффектные падения через голо-

вы приседающих на скаку коней. Это и тылы сражения, кровавая палатка под Бородином, где оперируют Курагина и князя Андрея, это тифозный госпиталь в Австрии, где мертвые тела не убирают с постелей и бродит капитан Тушин с оторванной рукой. Это бессмысленное, наугад, добывание русских на плотине под Аустерлицем, бессмысленная гибель польских улан при переправе через Неман, это толкотня идущих не туда войск, давка на мостах, это первый бой Николая Ростова, когда он впервые спрашивает себя: а что там, за чертой, отделяющей жизнь от смерти?

Впервые это «там» возникает в сцене у моста, когда через головы гусар перелетают ядра, а на холме, спускаясь к ним, показывается противник. «Неприятель перестал стрелять, — читаем мы, — и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельские войска.

Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую мертвых от живых, и — неизвестность, страдания и смерть. И что там? кто там? там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать; и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне черты, как и неизбежно узнать, что там, по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен и окружен такими здоровыми и раздраженно-оживленными людьми».

Так чувствует Николай Ростов. На миг война как будто останавливается — останавливается в его сознании. Все происходит, как в немом фильме. Неприятель движется, ядра летят, а звука не слышно. Только, аккумулируя пережитое, работает мысль.

Много раз Толстой будет так останавливать действие войны и отлетать от него мыслью. Много раз герои его, вдруг замедляя, вспомнят об этом «там», неведомом и влекущем.

Что такое это «там»? Это святая минута сознания, ясности, откровения. Это желание людей понять себя и свою жизнь, поднявшись над ней.

Это не отлеты камеры на вертолете, которые совершает оператор фильма. Это возвышение внутреннее, которому не нужна высота физическая.

Толстой лишь внешне связывает его с небом. Фильм принимает это внешнее за единственное. Парения камеры здесь навязчиво часты. То это полет под углом к земле, то ввинчивание ввысь, когда камера удаляется от поля сражения, то тихое скольжение над лесами, полями, речками под монолог Наташи.

Съемки сверху говорят нам: вот вы поднялись над событиями, возвысились, отвлеклись. Это и есть философия Толстого, его дух, его эпос. Но ничего, кроме ощущения взлета на вертолете — ощущения, знакомого тем, кто летал, — мы не чувствуем. Мы летаем, а не мыслим.

Мысль Толстого земна, и тянется она в небо с земли. Она не смотрит на землю сверху — она тянется ввысь, оставаясь с землею.

И когда Николай Ростов думает о «там», когда Болконский смотрит в небо Аустерлицы, а Пьер в небо Москвы 1812 года, то речь идет не о том небе, которого достигает «МИ-4», а о небе духа.

Это то же небо, где Пьер и князь Андрей задают вопрос «зачем?», это небо Наташи, к которому она обращается после разрыва с князем Андреем, это небо совести княжны Марьи, которая мучается от желания земной любви и страха перед нею.

К этому небу обращается и старик Болконский, смиряясь перед лицом смерти, и Пьер в плену, когда сознает, что душа его свободна, и князь Андрей, понимая, что любит Наташу. «Главное, о чем ему хотелось плакать, — пишет Толстой, — была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неодолимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она».

Эту противоположность чувствуют все в романе. Это жизнь уходит из старого тела князя Николая Андреевича, и оттого он так бесится, тиранит княжну Марью, запрещает сыну жениться на Наташе. Это его уже умершая плоть восстает против здоровья молодой плоти, эгоизма и расцвета ее. Это его дух бунтует против смертности земного, физического, телесного.

И это Наташа плачет и рыдает оттого, что ее разрывает чувство к Курагину и верность князю Андрею, идеальное и реальное, ее «земля» и «небо».

И Пьер бросается из масонства в раз-

врат и опять в масонство, в спасение крестьян, в войну, потому что его душа не на месте, потому что ее давит бремя «внешнего человека».

«Земля» и «небо» спорят в самом человеке, в судьбе и чувствах его.

После встречи в салоне Шерер, после духовного пролога романа начинаются искания ответов, нахождение и разочарование в них.

Пока князь Андрей испытывает себя при Аустерлице, пока старый Болконский вымещает свое бессилие на княжне Марье, пока Наташа бессмысленно кружится в кругу своих детских loves, а Николай Ростов играет в мальчика, воина, патриота, Пьер, пережив страсть и отвращение к Элен, комедию дуэли и комедию своего положения в свете, обращается к богу.

Первой о боге говорит в романе княжна Марья. Она первая вешает князю Андрею образок, напутствуя его перед отъездом на войну. Она призывает его смирить «гордость мысли», смириться в боге.

Но бог княжны Марьи — хотя и добрый — все-таки книжный бог. Это бог вынужденный, бог, родившийся из пустоты ее женской жизни, ее некрасивости.

Так же книжен и масонский бог Пьера. Это бог условностей, белых фартуков, неосвященных лож, лопат — всего этого масонского реквизита. Но через него должен пройти Пьер. Как должен он пройти и через отношения с Элен.

В фильме это отношения романические. Пьер женится на красивой Элен, а потом, узнав, что она ему изменила, бросает ее. В книге Пьер проходит через это, познавая себя. Это он, Пьер, желает Элен, это он же казнит в себе сластолюбца.

В фильме Пьер поднимается со гвечой по лестнице и произносит отрывки из своих монологов, в романе он любит женщин и ищет бога, раздваивается между масоном Баздеевым и Элен.

Баздеев — чистый дух, дух, отрешившийся от плоти, взявший верх над ней. Элен — только эта плоть. Это две крайности, два искажения, совместить которые не может в себе Пьер.

И он будет писать дневники, исповедоваться, искать в цифре «666» таинственный смысл. И он будет помнить о скрипе корсета Элен, о ее роскошном теле и срыгиваться в «нижнее» в себе...

Человеку все время тесно в себе, он ищет преодоления этой тесноты, освобождения. И он освобождается то в войне, то в вине, то в «боге», то в чувственном.

Но это освобождение мнимое. Пьер поймет это уже в плену, когда пройдет через расстрел, через смерть Каратаева, через Бородино. Однажды, на привале, он захочет подойти к французам, но часовой не пустит его. И тогда Пьер засмеется над ним, над своей несвободой. «Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня... Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!..»

..Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я!.. И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!..»

Здесь, в плену, Пьер поймет, что «бог» в нем, а не над ним. «Жизнь есть всё. Жизнь есть бог», — скажет он, выйдя из плена.

Но до этого будут еще и масоны, и Элен, и разрыв с ней, и снова она, и реформы в киевских поместьях, желание убить Наполеона, расстрел, Каратаев, плен.

И будет встреча с князем Андреем в деревне.

Эту встречу Толстой называет эпохой в жизни князя Андрея. Была она тем же и для Пьера.

Это было первое подведение итогов, первая ступень отрешения и возвышения.

Князь Андрей был под Аустерлицем, был при австрийском дворе, лежал на поле убитый. Он видел ложь двора, ложь этой не нужной никому войны, ложь Наполеона. Наполеон сиял от счастья, глядя на раненых и плененных, выставленных для его обозрения. Он тшеславился при виде их боли, их горя и унижения. И ради этого, подумал тогда князь Андрей, и велась война? И это-то и было «общее благо»?

И тут же по возвращении домой на него взглянули другие глаза, глаза мертвой жены, которые спросили: «Ах, что вы со мной сделали?»

Этот вопрос был обращен к князю Андрею, и он имел отношение к тому выражению счастья, которое он увидел в глазах Наполеона. «Величие души» Наполеона, величие его «цели» обесценивалось этим взглядом жены, просившим о пощаде.

И потом, в гробу, она еще раз спросила его: «Ах, что вы со мной сделали?» И это «вы» относилось и к князю Андрею, и к Наполеону, и ко всем, кто хочет управлять жизнью, не думая о живом.

Поэтому князь Андрей поднял на смех реформы Пьера. Для него они были тем же внешним, что и война, самолюбивой попыткой спастись во внешнем.

В фильме их встреча обставлена поэтически. Князь Андрей и Пьер бродят по аллеям парка и говорят о «вечном». У Толстого они сидят за столом и обедают. И «вечное» в их разговорах вырастает из конкретного, из только что пережитого, живого.

Пьер хвастается своими деяниями на пользу мужика. Он велел построить для него школы и больницы, перевести его с барщины на оброк. Но мало того, что управляющие одурачили Пьера и мужик понес на этом расходы (князь Андрей догадывается об этом), — что решил этими реформами Пьер?

Может ли это снять то страдание, которое пережил, потеряв жену и веру в жизнь, Андрей? Есть ли это выход, ответ на вопрос: «Зачем жить?»

Толстой трезво смотрит на отношения барина и мужика. Каратаев умирает на дороге, и Пьер даже не подходит к нему. Николай Ростов бьет мужика по лицу, и тот подчиняется. И Пьер в конце романа говорит, имея в виду декабристов: «Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей...»

Пьер все время ищет близости с мужиком и сближается с ним, но это сближение случая — сближение войны, плена.

Эти люди далеки от Пьера — и они изумляют Пьера. Они близки ему — и они для него загадочны. Они кормят его после Бородина «кавардачком», они, как Каратаев, согревают его в плену, они сеют, и пахут, и гнут спину на него — и они гонят Наполеона прочь из России.

Это те самые мужики, которые по первому крику Ростова прекращают «бунт», вяжут своих зачинщиков и бегут исполнять приказания барина. И это они же стоят под Бородином и вызывают удивление Наполеона и своих собственных генералов, не понимающих, как они еще стоят.

Пьер хочет их понять, с ними сойтись, стать таким же, как и они. Но он этого не может. Они для него остаются «они», и он

думает о них как о чем-то громадном, но далеком от его «я».

Все попытки Пьера сделать что-то доброе для этих людей кончаются неудачей. Мужик смотрит на Пьера как на блаженного, как на барина-чудака, смотрит без уважения, без любви. Его раздражает этот богач, который рядится под простолюдина, этот толстый бездельник и фантазер.

Гораздо понятней ему «хозяин» Ростов, крепкий помещик, который и свою выгоду знает, и мужику даст заработать. Николай крут, может и по щекам отхлестать, но зато дело знает, зато при нем порядок.

И даже чопорный Болконский, этот аристократ духа, понятнее мужику, потому что не витает в облаках, не надеется на управляющих, а сам во все вникает и действительно строит больницы и школы и переводит крестьян на оброк.

Он не бахвалится этим, не называет это «счастьем жить для других». Он просто делает дело.

Поэтому и нелеп рядом с ним Пьер, видящий в своих реформах спасение души.

В фильме Пьер отговаривает князя Андрея от черных мыслей, от эгоизма, от одиночества.

В романе Толстой иронизирует над книжностью Пьера. Здесь, в этой встрече, сталкиваются головной опыт Пьера и реализм князя Андрея, иллюзия «счастья жить для других» и насмешка над этой иллюзией.

Болконский ближе к мужику, чем Пьер. Он будет ближе к нему и позже, когда станет командиром полка и в полку его станут называть «наш князь». Но он всегда будет достаточно далек от мужика и от солдата, он всегда будет чувствовать пропасть, разделяющую их.

Вопрос о жизни и смерти не отделяется для героев Толстого от вопроса об их отношении к мужику. Ибо мужик — это не только крестьянин, крепостной. Это люди мира, это мир, это его большинство.

Жизнь ставит князя Андрея и Пьера в такие условия, когда они становятся частью массы, частью события, которое сильнее и выше их. Это событие истории — война. В войне смешиваются Пьер и бомбардиры Шевардинского редута, князь Андрей и солдаты его полка. Они вместе делают одно дело, они тесно стоят друг к другу. И в романе возникает мысль о близости и единении людей — всех людей,

будь это Алпатыч, Тушин, Николай Ростов, Кутузов, Долохов, партизаны, ополченцы на рытье окопов.

Без этой близости невозможно никакое движение общества, никакая жизнь. Народ выигрывает войну в романе Толстого, и как бы ни относился к войне Толстой, он признает это. Война была выиграна, событие совершилось, и это сделали люди, объединившиеся для него.

Пусть близость, которую чувствует к мужику Пьер, случайна. Пусть временна. Она кончается, как только Пьера освобождают из плена. Он снова становится баринном, а мужик — мужиком.

Но что-то от этого сближения остается. Остается сочувствие, доброта, которые они передали друг другу. Остается что-то неопределимое, что делает всех их людьми.

Это уносит в себе Пьер, и это дает ему освобождение.

На первых порах это получает имя «бог». Неопределенное «там», о котором допытывается Николай Ростов, «там», которое повторяется в вопросе капитана Тушина под Шенграбенном, в «небе» Болконского и которое раньше всех чувствует в себе княжна Марья, это — ответ на вопрос, зачем живет человек и кто он.

Это не религиозно-мистический, воплотившийся в реакционной утопии «толстовства» бог. Это понятие нравственное, это потенциал человека, который имел в виду Толстой.

В фильме бог присутствует как антураж: иконы в комнате княжны Марьи, соборованные старого Безухова, образок на шее князя Андрея. Это то, что имеет значение только религиозное, значение земной церкви и атрибутов ее.

Стоя на пароме, князь Андрей и Пьер говорят о боге. Вот этот текст в фильме: «Князь Андрей. ...Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа!

Голос Пьера. Ну да, ну да...

Князь Андрей. Нет, я только говорю, что убеждают не доводы, а то, когда идешь рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезает там, в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул.

Небо. ПНР над лесом и вниз по стволам берез.

Голос Пьера. Ну да, ну да. Разве

не то же самое и я говорю! Надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно, во всем...»

А вот текст Толстого.

Князь Андрей: «Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть...»

— Ну да, ну да,— говорил Пьер,— разве не то же самое и я говорю!

— Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезает там, в нигде, и ты сам остаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул...

— Ну, так что ж! Вы знаете, что есть там и есть кто-то? Там есть — будущая жизнь. Кто-то есть — бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены, и уже солнце скрылось до половины, и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

— Ежели есть бог и будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить,— говорил Пьер,— что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всем (он указал на небо).

Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома, и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «Правда, верь этому».

С. Бондарчук убирает бога и это второе «там» Пьера. Жить вечно будем «там», говорит Пьер, и это «там» есть жизнь духа.

Пока это называется «бог», потому что для этого нет других слов.

Без этого бога, без перехода к следующей истине — «бог — это жизнь» — нельзя понять души Пьера и князя Андрея, движения души романа.

Ибо уже и здесь, хотя они все время

говорят о «там», хотя «на земле, именно на этой земле (Пьер указал на поле), нет правды — все ложь и зло», не слова Пьера, не его рассуждения о вере и любви лечат князя Андрея. А сама эта любовь, которую он прочел в глазах Пьера.

Выздоровление было в весне, в волнах, которые плескались у парома и говорили: «Верь, это правда», в молодости и желании жить князя Андрея. И в молодости и желании жить Пьера.

Они обращались к богу, но жизнь уже исцеляла их, звала идти дальше, и это был ответ.

Ответ был здесь, на земле, хотя они и не сознавали это.

Ни масонские книги Пьера, ни его реформы в деревне, никакие внешние оправдания жизни не могли дать этот ответ. Это могла сделать только жизнь, только этот вечер на пароме, который соединил в себе духовное и земное и осветил духовное земным.

Позже князь Андрей и Пьер еще не раз обратятся к богу. Еще не раз спросят они себя: «Зачем?» Но всегда их ответ будет тянуться к этому вечеру, к этой весне, когда они не поняли, а почувствовали, что ответ не в ком-то, а в них самих.

Вот почему смеется Пьер над французами, которые думают, что пленили его. Вот почему, вернувшись из плена, он скажет себе: вот ты все смотрел вверх, там искал цели, а цель — жизнь, и надо жить и в этом видеть смысл своего назначения на земле.

Но начало этой свободе положит их встреча с князем Андреем, их споры, минута молчания на пароме — этот миг жизни, который пролетит и останется в них.

Именно после этой встречи князь Андрей поедет в Отрадное, встретит Наташу, и начнется, как пишет Толстой, «хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь». И именно после нее — в третий и последний раз — посмотрит на него с портрета умершая жена.

Она не задаст ему того страшного вопроса. Она улыбнется и посмотрит на него с любопытством. Она как будто благословит его, поняв, что он смирился, принял то, чем была она, и сам стал тем же.

В фильме этого нет. Весь путь князя Андрея здесь разбит на вехи, на символы, которые говорят: вот он был тем-то, а стал тем-то.

Вехи эти — из «Войны и мира». Это и толстовское «небо», и толстовский «дуб». Но как бедны они, когда вырваны из того, что им предшествовало!

Они одиноки, однозначны.

Когда читаешь сейчас про этот дуб и это небо, думаешь: сами по себе они ничего не стоят. Да и хрестоматийными они стали потому, что ими все легко объяснялось. Указывая на них, всегда можно было сказать: Толстой имел в виду то-то и то-то.

Толстой действительно «имел в виду», но до этого что-то происходило! И это и было Толстым — истинным Толстым, который лишь завершается этими сценами, повторяется в них, подводит итог свершившемуся.

Небо и дуб — символы состояния князя Андрея. Но их не понять без самого состояния, без движения к нему. Как нельзя судить о дороге по обозначающим ее километры столбам, так нельзя судить по этим вехам Толстого. Он — дорога, движение, течение жизни, преодоление ею себя.

Он та «тайная, нелогичная», происходящая в его героях «внутренняя работа», которая движет «Войну и мир».

В фильме эта работа отсутствует. Мы видим ее результаты, а не процесс. Процесс остается за кадром, а мы наблюдаем только, как выводы сменяют друг друга. При чем они стоят так близко, что мы не успеваем запомнить расстояние между ними, не успеваем приготовиться к смене их.

Вот князь Андрей отправляется в свои рязанские имения и встречает по дороге дуб. Тот мрачен, гол. Дуб говорит князю Андрею скептические слова о жизни.

Еще несколько кадров: Отрадное, смех Наташи, лунная ночь у окна. И вот уже коляска с князем Андреем катит обратно. И расцветший дуб говорит ему совсем другие слова. И князь Андрей соглашается с ними, он тоже уже «другой».

По фильму это совершается в одну ночь. В три минуты князь Андрей делается другим, в три минуты одевается зеленью дуб, разрешаются сомнения, на которые ушли годы.

Но сколько было до этого «дуба» и сколько еще будет после него!

Вернувшись к жизни, князь Андрей вновь уверится в своем влиянии на эту жизнь. Новая вспышка «гордости мысли» толкнет его к Сперанскому — к этому второму Наполеону, Наполеону без крови. И он вновь

возвысится в чувстве к Наташе и вновь низвергнется, оскорбленный «низостью земного» в ней.

И опять судьба бросит его на войну и опять заставит смириться, хотя он не захочет смириться, не захочет упасть на землю, когда возле него хлопнется и завертится волчком граната. Но она разорвется, и в кровавой палатке Бородина на хирургическом столе он увидит своего мучающегося врага Анатоля и простит и ему и жизни все.

И еще раз жизнь поднимет его с земли и еще даст надежду. Но будет уже поздно — придет смерть.

Конечно, фильм не роман, и он не мог, не в силах был все взять из него. И дело не в том, сколько взято и сколько оставлено. Дело в духе романа и духе фильма.

Так в духе романа, духе Толстого, снята сцена расстрела поджигателей. И не потому, что фабричный, которого расстреливают на глазах Пьера, тот самый, что у Толстого, фабричный. И не потому, что расстреливают на огороде — так же, как в романе.

Снята идея толстовская, мысль его. Снята глухота Пьера во время выстрелов, снята безумие и нелепость убийства.

Играет военный оркестр, трещат выстрелы, но Пьер не слышит их. Он видит только, как оседает у столба фигура фабричного, как выступает у него в месте попадания пуль кровь, как бесшумно, бесплотно, как во сне, переходит тот из жизни в смерть. И тот же переход совершается в душе Пьера.

И потом, когда три четверти экрана заполняет земля могилы и мы видим склонившегося над ней Пьера, с ужасом глядящего, как закапывают убитых, и слышим, как гложет музыка под слоем земли, мы чувствуем: это Толстой.

Это духовное, это толстовское.

Французы все бросают и бросают землю, она растет, край ее доходит до верха экрана, и гложет, гложет музыка, меркнет свет — уничтожается жизнь. И вот уже узкая полоска неба вверху, и еле слышен оркестр, и вот уже не слышно, не видно их — экран черен: конец, немота.

Это страшнее, чем крики Бородина, равное мясо раненых, хрипы лошадей, кровь и количество убийства, снятые в третьей серии.

У Толстого Бородино — перелом в романе. Это перелом в князе Андрее и Пьере, в Кутузове и Наполеоне, в войне между Россией и Францией.

Дух войска здесь возобладал над количеством войска, тщеславие Наполеона было разбито, ожесточение Болконского сломлено.

«Волшебный фонарь жизни», в ложных цветах которого видел князь Андрей мир, погас. И все осветилось раздевающим светом истины.

В фильме мы видим одно: сражение. То же, что и под Аустерлицем, но грандиознее. То же, что и под Шенграбенем, но величественнее. Так же свистят ядра, и падают кони, и скачут офицеры с докладами.

Только все это дольше, длиннее.

Факты романа прочно берут здесь верх над смыслом его. И дальше мы смотрим только факты. Факты пожара Москвы, смерти князя Андрея, смерти Пети Ростова, отступления французов. Досказать события, «допоказать» их, довести их скорей до конца — вот желание фильма.

И мы встречаемся с французом Рамбалем в занятой врагом Москве. Молоденький офицерик, которого мило играет актер-француз, ест и пьет на экране, кашляет от русской водки и болтает о женщинах. Он каламбурирует, смеется и радуется нас чистой-шей французской речью.

Так, сцена с Рамбалем оказывается равновеликой куску с Каратаевым. Меж тем Каратаев — этап в жизни Пьера, а что Рамбаль?

В стремительном движении фильма к концу стираются искания Пьера, смерть князя Андрея, путь княжны Марьи и Наташи. Их лица появляются и исчезают. Наташа все так же искренна, княжна Марья все так же тиха и добра, а князь Андрей все так же суров и замкнут.

И вот финал: Пьер возвращается после войны в Москву, встречает Наташу. Они смотрят друг на друга, глаза Наташи увлажняются, Пьера — тоже, и повторяется эпиграф фильма: «ВСЕ МЫСЛИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ...»

И камера летит над землей.

Но это ли конец мысли Толстого, конец романа?

Толстой пишет, что князь Андрей умер раньше, чем наступила физическая смерть. Он умер, когда понял: после него его не

будет. Он отвернулся от живущих, не подавшись иллюзии, что он продолжится в них.

Он понял, что после него не он будет жить в Николеньке, не он будет любить Наташу. А это сам Николенька будет жить, и кто-то другой будет любить Наташу. Ибо они останутся, а он уйдет.

Он умер тогда, когда понял это. И это и была его смерть.

Дух князя Андрея в последнюю минуту не смирился перед жизнью, не отдался ей. Даже когда пришла смерть.

Князь Андрей — единственный в «Войне и мире», кто не сделал этого. Смерть здесь — высший судья, перед ней нельзя лгать, нельзя играть, и люди становятся теми, кто они есть, заглядывая ей в глаза. Смиряется старик Болконский. Он просит прощенья у княжны Марьи, у сына, у жизни. Смиряется и сам князь Андрей не раз. Но в этот — последний — раз он уходит один, одинокий.

Он слишком хорош, чтобы жить, говорит о князе Андрее Наташа. «Твоя дорога — это дорога чести», — говорит ему Кутузов. Сами они не так «хороши», и они остаются жить. Истина принадлежит им, а не князю Андрею. Она принадлежит жизни, а не «гордости мысли».

Спор Пьера и князя Андрея кончается здесь. Он кончается этим поражением «гордости мысли» перед лицом естественного. Первое поражение ей нанесла Наташа. Второе наносит жизнь сама.

Наташа оттого и центр романа, что она и есть эта жизнь, воспроизводящая себя «природа». Она — истина книги, и именно потому к ней приходит Пьер. Она и поэзия жизни и проза ее одновременно.

Князя Андрея нельзя представить в конце романа окруженным детьми и пленками. Он выше этого. И поэтому жизнь вычеркивает его из своих списков.

«Для историка. — писал Толстой, — в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди».

Это принцип, из которого растет здание «Войны и мира». Не великие исторические события, не идеи, претендующие на руководство ими, не сами руководители-наполеоны, а человек, соответствующий «всем сторонам жизни», находится в осно-

вании всего. Им меряются и идеи, и события, и история.

Вот почему у завершения его книги стоит не гордый Болконский, не какой-нибудь деятель или герой, а Пьер — муж Наташи, Пьер-семьянин, Пьер, нашедший духовный ответ в земном.

Отлётел гордый дух князя Андрея, кончилась эта идеальная жизнь, и осталась просто жизнь: Наташа, Пьер, графиня Марья, дети.

Финал романа напоминает берег, к которому пристала наконец долго плутавшая житейская ладья. Все вышли из нее, все высадились, все оказались на этом зеленом берегу.

Имя этому берегу — жизнь, и в нем истина, в нем и то и другое.

Но ответ ли это?

В конце романа все укладываются спать. Ложатся Николай Ростов и Марья, Наташа идет на ночь кормить сына, засыпает в своей комнате Николенька Болконский. Как в большом доме Ростовых в Лысых Горах гаснет свет, так гаснут огни и в романе Толстого.

И только в одной комнате еще горит лампадка. Это комната Николеньки. И он просыпается, вскакивает, вспоминает разбудивший его сон.

В этом сне ему явился отец. Он был как будто отец и как будто Пьер. Это было одно лицо, и вместе с тем он помнит неясное ощущение отца — отца, который «не имел образа и формы, но... был».

Это дух князя Андрея возвращается в свой дом. Это дух Толстого пробуждает его ото сна.

И проснувшийся, оцепеневший от непонятного видения мальчик, мальчик, смущенный этим явлением духа отца, остается в нашем сознании как последнее переживание романа, последняя его мысль.

Не рассуждения Пьера о переустройстве жизни, не его декабристские иллюзии (Толстой говорит о них, что Пьеру казалось, что он «призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру»), не его слова о необходимости объединиться против порочных людей венчают «Войну и мир», а это — проснувшийся и вслушивающийся в темноту Николенька, новый оборот жизни, начинающийся в нем.

Вот он сидит, испуганный и дрожащий, и восторженно шепчет кому-то: «Отец!

Отец!» И его слова не слышит уснувший дом.

Но мы слышим их.

Они отдаются в нашем сознании, они говорят, что выход еще не найден, вопросы не разрешены.

Пусть Пьер самолюбиво думает, что нашел ответ. Это не ответ Толстого. Ибо Николенька Болконский проснулся и начал жить. И для него все начинается сызнова.

Что ждет его? Что ждет того неродившегося ребенка, которого носит в себе графиня Марья, его тетка?

Да, они должны будут пройти через свои Аустерлицы, своих Элен, своего бога. Им все это предстоит. И для них это будет не повторением уже прожитой жизни, а жизнью же — их страданием и любовью, их истинами и отвержением этих истин.

Но это другой роман, другая книга. А в «Войне и мире» Толстой ставит точку.

* * *

Поставим точку и мы.

Но перед тем перенесемся на сто лет назад.

«Война и мир» печаталась частями, и так же, по частям, оценивала ее критика.

Писарев и Анненков написали свои статьи, не дожидаясь выхода книги. Страх поступил так же. Газеты и журналы шли по следам романа, отвечая на спрос публики.

Спрос был велик. Роман читали даже там, где никогда не интересовались литературой. Книготорговцы сбывали его вкупе с изданиями, не имевшими хода. Они перевязывали «Войну и мир» Толстого с «Войной и миром» Прудона, и политический трактат шел вместе с романом.

Публика роман читала, критика его оценивала.

Мнения были разные. Одни не приняли «Войну и мир». «Искра» откликнулась на него сатирическими стихами Минаева. Толстого упрекали в отсутствии обличений крепостного права. Писали, что его роман — это «апология старого барства», что сам Толстой — «отживший писатель».

Салтыков-Щедрин отзывался так: «Эти военные сцены — одна ложь и суета... Багратион и Кутузов — кукольные генералы. А вообще — болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше так называемое «высшее общество» граф лихо прохватил».

С последними словами Щедрина солидаризовался Писарев. В статье «Старое барство» он писал, что роман Толстого есть «образцовое произведение по части патологии русского общества». Из всех лиц «Войны и мира» Писарев выбрал только двоих — Николая Ростова и Друбецкого, разбор которых доказывал его мысль.

Патриоты негодовали. Им книга о 1812 году показалась кощунственной. Бывший министр просвещения Норов, которому под Бородином оторвало руку, писал в «Военном сборнике»: в романе Толстого «об их (русских генералов.— И. З.) удачах говорится только мельком и часто с иронией». Сам Норов «не мог без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть историческим». «Петербургский листок» иронизировал: «Гением признает графа Толстого один только Страхов».

Каждый хотел видеть в «Войне и мире» то, что ему хотелось видеть.

Но Толстой существовал сам по себе.

И чем дальше отдалялся его роман от своего времени, тем меньше спорили о нем. Умирали точки зрения, рассеивались партии, и оставалось только одно — сама книга. Оставалась жизнь, изображенная Толстым, и долголетие этой жизни.

Прошел срок, и «Война и мир» вовсе освободилась от своего времени. Она стала книгой канонической, стала классикой. Если

раньше — в те годы, когда один за одним выходили ее тома, — время прикасалось к ней свободной рукой, то теперь она, как экспонат в музее, стала неоспоримой.

Из книги, равно родившейся среди других книг, она стала реликвией.

Вот отчего мы завидуем тому времени, когда Толстой еще не был Толстым и его книга шла по рукам, не зная своей судьбы.

Гипноз очень силен в нас. Даже тогда, когда нам кажется, что мы судим о Толстом по своему впечатлению о нем, мы часто судим о нем по канону.

Ибо наши чувства не свободны от знания о Толстом. От знания того, что о нем написано. Вернуться к Толстому, прочесть его свободно и заново — для этого нужно освободиться от гипноза.

«Война и мир» С. Бондарчука — похожа она или непохожа на Толстого — сделана по роману Толстого. Она носит его имя, она уже выступила в связи с Толстым.

Никто из смотревших фильм не скажет, что его не было. Что лица Пьера — С. Бондарчука, князя Андрея — Н. Тихонова, Наташи — Л. Савельевой не остались в его памяти. Таков гипноз кино: виденное спорит с прочитанным.

Но оттого-то стоит спорить и с виденным. И если мы сейчас говорим и думаем о фильме, то мы думаем не только о сходстве или несходстве его с романом, а прежде всего о самом романе, о Толстом.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

РОМАН М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

1

Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком в художествах? — говорит Винкельман. Старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях.

Пушкин.

В странную фантастическую лунную ночь после бала у сатаны, когда Маргарита волею магических чар встречается с ее возлюбленным, всемогущий Воланд просит мастера показать ему свой роман о Понтии Пилате. Мастер не в силах этого сделать — ведь он сжег свой роман в печи. «...Этого быть не может, — возражает ему Воланд, — рукописи не горят». И в то же мгновение кот, привстав с толстой пачки рукописей, с поклоном протягивает мессире аккуратный экземпляр погибшей книги.

«Рукописи не горят» — с этой верой в упрямую, неуничтожимую силу искусства умирал писатель Михаил Булгаков, все главные произведения которого лежали в ту пору в ящиках его письменного стола неопубликованными и лишь четверть века спустя одно за другим пришли к читателям. «Рукописи не горят» — эти слова как бы служили автору заклинием от разрушительной работы времени, от глухого забвения его предсмертного и самого дорогого ему труда — романа «Мастер и Маргарита».

И заклиние подействовало, предсказание сбылось. Время стало союзником Булгакова, и роман его не только смог явиться в свет, но и среди других, более актуальных по теме книг последнего времени оказался произведением насущным, неувядающим, от которого не пахнет архивной пылью.

«Рукописи не горят». Прочтенная множеством читателей, вызвавшая немало споров, толков, вопросов и догадок, книга Булгакова стала жить своей жизнью в литературе. Возникло даже что-то вроде «моды на Булгакова» со всеми крайностями, наблюдаемыми при такого рода поветриях. На вечера памяти Булгакова стекались толпы новых поклонников его таланта, журнал «Москва», где печатался его роман, невозможно было достать никакой ценою. Тут были, вероятно, издержки сенсационности, но был и серьезный художественный успех. Книга привлекла внимание многих думающих читателей. Известные советские писатели приветствовали публикацию романа, К. Симонов сопроводил ее своим предисловием. Переводы книги и отклики на нее появились более чем в двадцати странах мира: Англии, Венгрии, ГДР, Италии, Чехословакии, США, Франции, Норвегии и т. д.

На появление романа сочувственно отзывалась «Литературная газета», журналы «Сибирские огни», «Подъем» и другие.

Заметно обеспокоились лишь некоторые профессора литературы. До сих пор Булгакову не находилось места в их монографиях и стабильных курсах литературного процесса, как несколько раньше не находилось в них места Есенину, Бабелю или Цветаевой: чем сложнее, непривычнее творчество писателя, тем больше с ним хлопот

и неприятностей. И они невозмутимо взялись объяснять читателю, что в нашей литературе есть и другие имена, есть более устойчивые и солидные репутации, так что Булгаков, обремененный многими противоречиями и предрассудками, заведомо уступает им как художник.

Худший способ изучения литературы — сравнивая двух талантливых писателей, попрекать одного из них достоинствами другого. Нет ничего проще, как, даже не обращаясь к разбору творчества Булгакова, указать на односторонность его таланта, субъективность его социальных критериев и эмоций, заметно сужавшую его художественный обзор, на его склонность к фантастике, мистицизму и т. п. В этом будет, должно быть, немало справедливого, но так и останется неясным, в чем же сила таланта Булгакова, что нового принес с

собой этот писатель в русскую советскую литературу?

Не состоит ли первая обязанность критика в том, чтобы самому понять образный строй, замысел книги, прежде чем вынести о ней свой суд? Ведь если художественный, поэтический язык автора невятен тому, кто имеет с ним дело, недоразумения тут неизбежны. Я думаю, надо любить талант писателя, чтобы верно оценить достоинства его книги, а коли уж приходится говорить о его слабостях, то делать это надо без обидной самоуверенности или, тем паче, злорадства.

В этой попытке комментария к роману мне хотелось бы показать, что действительно ценного и замечательного находим мы в наследии писателя и чем может служить такой необычный, сложный роман, как «Мастер и Маргарита», живому делу нашей культуры.

2

Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить...

А. Блок. «Ямбы».

Перевертываешь последнюю страницу книги и еще не успеваешь: дать себе отчет в своих впечатлениях, сопоставить и совместить разнообразие картины, наблюдения и мысли (чтобы угадать их общий смысл и единство, надо как бы немного отдалиться от них), но в ушах стоит гул голосов огромной толпы, теснятся в памяти лица, краски, звуки...

Люди в современных пиджаках и древних хитонах, в кепках и золотых шлемах с перьями, люди с портфелями под мышкой и с копытами наперевес, люди разных эпох и возрастов, профессий и состояний: писатель, бухгалтер, домоуправ, прокуратор Иудей, первосвященник, кентурнион, буфетчик Варьете, конферансье, вагоновожатый, литературный критик, римские воины, разбойники, мытари, совслужащие, актеры, администраторы, врачи, официанты, домашние хозяйки, следователи, шоферы такси, билетеры, милиционеры, продавщицы газированной воды, члены правления жилтоварищества, редакторы, медицинские сестры, пожарные — я, кажется, так и не сумею перечислить всех, а ведь здесь еще не поименованы главные лица и те, кого рискованно называть персонажами: дьявол и его свита, ведьмы, покой-

ники, русалки, демоны и черти всех видов и мастей и, наконец, огромный говорящий кот с кавалерийскими усами. О да, тут есть от чего прийти в смущение литературному педанту!

Весь этот плотно населенный и ярко костюмированный мир, покоряясь воле автора, перезнакомившего героев друг с другом, чреват неожиданными встречами, превращениями, сближениями, калейдоскопом чудес, совершающихся на самом заурядном, самом житейском фоне. Свободный, артистичный, легкий, но не легковесный, переливающийся избытком сил талант автора создает удивительный по темпу и разнообразию поток повествования. Веселый анекдот обрывается сценой ужаса, мистическая фантазмагория граничит с фарсом, а лирическая страница начинена, как порохом, взрывчатыми комическими подробностями. Вспомнишь одно — рассмеешься, другое — задумаешься, от третьего станет вдруг тоскливо, беспокойно на душе. Но как всегда после встречи с истинным искусством — о веселом или невеселом оно рассказывает, — остается впечатление пережитого праздника.

В романе Булгакова, пусть и не все в нем отделано ровно и до конца, внимание любо-

го читателя остановит, я думаю, его форма — яркая, увлекательная, непривычная. И мне не хочется спешить к итогу. Пускаясь в путь, я нарочно выбираю на этот раз не самую короткую, но более привлекательную и живописную дорогу. Быть может, она вернее выведет нас к цели, существенному содержанию романа. Ведь не зря же, прочтя последнюю страницу, испытываешь искушение перевернуть книгу и начать перечитывать сызнова, вслушиваясь в пение булгаковской фразы: «В тот час, когда уже, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея».

Помните ли вы этот закат на Патриарших? Солнце, которое, как живая и беспощадная сила, затопив Москву зноем, само изнемогло от жаркой своей работы и устало валилось за Садовое кольцо? И эту зловещую музыку безлюдья, предвещающую появление на сцене загадочного консультанта: «...никто... никто... пуста...» Здесь каждое слово на точном своем месте. Скажите: «аллея была пуста» — и сразу погаснет магический свет, идущий из глубины фразы, все станет обычным, заурядным. «Пуста была аллея» — тут что-то загадочное, недосказанное, а в слове «пуста» — гулкая глубина и угроза.

Вот из этого-то сухого зноя и должен «соткаться» престранный господин — берет заломлен на ухо, одна бровь выше другой, трость, глаза разные... А рядом с этой мистической и волнующей загадкой — жанровая натура, быт, юмор, точность обыденных подробностей вплоть до физиологии ощущений томительно жаркого городского дня. Двое московских литераторов, ищущих тени под липами, — и теплая апельсиновая вода в киоске и мучительная от нее икота.

А потом — странный разговор на скамейке, и с удивительной плавностью, почти без толчков и внешних скреп, повествование переходит в иной регистр: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Эти литые, словно из старинной бронзы, строки хочется помнить, выучить, твердить наизусть. Они как бы даже рассчитаны не на

одно чтение глазами, но на торжественное произнесение вслух.

Уже в первых, кстати сказать наиболее гармоничных и отделанных во всех частностях главах романа Булгаков без всякого насилия над нашим воображением сводит рядом высокое и низкое, временное и вечное: допрос прокуратором Иудеи бродяги-философа в голубом хитоне на балконе дворца в древнем Ершалаиме — и смех «какой-то гражданки в лодочке», скользящей по Патриаршим прудам; ужасная смерть Берлиоза — и кот, присевший на остановке трамвая и чистящий себе гривенником усы.

То, что автор свободно соединяет несоединимое: историю и фелетон, лирику и миф, быт и фантастику, — создает некоторую трудность при определении жанра книги. Основываясь на трудах М. М. Бахтина, ее уже пробовали называть мениппеей. Не берусь спорить. Но с тем же успехом ее можно было бы, вероятно, назвать комической эпопеей, сатирической утопией и еще как-нибудь иначе. Приблизит ли нас это, однако, к пониманию самой книги?

Вероятно, прав Толстой, считавший, что значительное искусство всегда создает и свои формы, не укладывающиеся в обычную иерархию жанров. Книга Булгакова — еще одно тому подтверждение. Для удобства словоупотребления годится сказать о ней и просто: роман. Но свободная, яркая и порой причудливая ее форма вобрала в себя весь запас мысли, настроений, жизненного опыта автора в ту пору, когда он эту книгу писал. А поскольку писал он ее долго и без надежды на скорую публикацию, обогреваясь самим процессом писания, видя в ней книгу-завещание, все, о чем думал и что пережил автор, выразилось в романе с большой полнотой и искренностью. Роман строился так, как улитка строит дом, примеривая его по себе и не оставляя пустот. В «Мастере и Маргарите» Булгаков нашел форму, наиболее адекватную его оригинальному таланту, и оттого многое, что мы находим порознь в других вещах автора, как бы слилось здесь воедино.

Реалистическое мастерство Булгакова в бытовых сценах никем не ставится под сомнение. Но надо быть слишком скучным и постным человеком, чтобы не оценить и свободу фантазии автора, блеск его выдумки, заподозрить что-то сомнительное в поэтической легенде о страдании и смерти бродяги-философа Иешуа или в рассказе о том, как

навестил Москву таинственный Воланд. Но, быть может, тут и впрямь сокрыта новая религиозность, апология чертовщины и мистики? Нет, это отголоски «вечных» сюжетов, знакомых литературе и фольклору многих стран и народов, к которым искусство прибегало всегда для решения своих философских и нравственных задач. В этом смысле роман «Мастер и Маргарита» связан с религиозностью и мистикой ничуть не больше, чем «Божественная комедия» Данте или «Фауст» Гёте, хотя никто не усомнится в «светском», или, лучше сказать, гуманитарном, человеческом содержании этих великих книг. Злые и добрые страсти людей издавна обретали плоть в персонажах народных апокрифов, библейских и христианских легенд, а искусство находило в этом благодатную почву для поэзии.

Одну из сильных сторон таланта Булгакова составляла редкая сила образительности, та конкретность восприятия жизни, которую называли когда-то «тайновидением плоти», способность даже явление метафизическое воссоздать в прозрачной четкости очертаний, без всякой расплывчатости и аллегоризма — словом, так, как будто это происходит у нас на глазах и едва ли не с нами самими. Булгаков обладал силой художественного внушения и мог сообщить читателю чувство, как будто он сам вслед за Берлиозом, тщетно цепляясь за злосчастный турникет, неудержимо съезжает на рельсы навстречу своей гибели; или мог так изобразить kota со стопкой водки в одной лапе и маринованным грибом на вилке — в другой, что мы готовы побиться об заклад, будто сами видели этот чудесный феномен природы и даже успели заметить, как недовольно топорщит он усы, смущенный, что его застали в столь непринужденной позе.

Легенда и вера в чудо питаются условностью и аллегоризмом. Вводя мистический и религиозный элемент, Булгаков тут же убивает его своей верностью житейским подробностям, а в результате отчетливо выявляется обобщенно-поэтический смысл книги.

Особой заботой автора была точность в колорите времени и места. Я говорю прежде всего о булгаковской Москве, Москве тридцатых годов. В этом романе Москва для Булгакова не просто место действия, не просто город, каких тысячи, но любимый, знакомый, исхоженный вдоль и поперек и ставший ему родным дом. После города детства — Киева, воспетого в «Белой гвардии»,

Булгаков принес поэтическую дань Москве. Он так привычно точен в городской топографии, что и сейчас нет, кажется, труда разыскать ту самую скамейку в сквере «у самого выхода на Бронную», на которой двое литераторов свели знакомство с таинственным консультантом, а потом вслед за Иваном проделать весь путь его погони по пятам зловещей шайки: из Патриаршего переулка на Спиридоновку, потом к Никитским воротам, затем на Арбатскую площадь, к улице Кропоткина, потом — переулком — на Остоженку... Москва — город, который привязывает к жизни мастера: здесь, в одном из арбатских переулков, — особняк с фонарем, где живет Маргарита, а где-то неподалеку — подвальчик в доме у застройщика, где он писал свой роман о Понтии Пилате... Сколько улиц, площадей и закоулков Москвы — самых знакомых, самых памятных, самых зовущих — успевают незаметно обойти Булгаков вместе с читателем своей книги. Александровский сад, Тверская, Арбат, Садовая, набережная Москвы-реки и, конечно, Патриаршие пруды. С каких только избранных точек не приглашает он взглянуть на город: с каменной террасы «одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутора столетия назад», где Воланд на закате солнца поджидает перед отлетом свою свиту, — легко угадать в этом описании Пашков дом, и с Воробьевых гор, откуда так хорошо виден «раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на приличные башни Девичьего монастыря».

Не диво, впрочем, что автор так хорошо знает Москву. Но отчего он так неоспоримо верно описывает древний Ершалаим, в котором никогда не был, с его висячими мостами, колоннадой Иродова дворца, мрачной Антониевой башней, площадями, храмами, шумными, грязными базарами и узкими, ломаными переулками Нижнего города? Конечно, он читал труды историков и археологов, знаком с географией и топографией древней Иудеи, но главное все-таки — реализм в описании мастера, о котором мы уже говорили. Во всяком случае кажется, что густой запах розового масла, бряцание лат, крики разносчиков воды в сожженном палящим солнцем Ершалаиме писаны с природы и не менее реальны, чем троллейбус, торгсин, представление в Варьете, дом писателей — Массолит и другие

приметы Москвы тридцатых годов, за достоверность которых нам легче поручиться.

Во всем как будто несходный любимый город мастера — Москва и ненавидимый Понтием Пилатом варварский Ершалаим. Но есть одна подробность в городском пейзаже Булгакова, которая художественно объединяет эпизоды, столь далеко разведенные в пространстве и времени. Все главные сцены действия, разговоры, картины сопровождают в романе два немых свидетеля, присутствие которых автор аккуратно отмечает. Лунный и солнечный свет, заливающий страницы книги, — это не просто эффектное освещение исторических декораций, но как бы масштаб вечности, позволяющий легче перебросить мост от душного дня 14 нисана в Ершалаиме два тысячелетия тому назад к четырем апрельским дням 193... года в Москве. Два небесных светила, попеременно льющих свой свет на землю, становятся почти участниками событий, действующими силами романа.

Жаркое предвечернее солнце на Патриарших прудах — и яркий круг, в который с отчаянием уперся глазами Понтий Пилат в минуту объявления им приговора, палящее солнце над выжженной Лысой горой в Ер-

шалаиме... И лунный свет: полная луна, которая раскалывается на части для Берлиоза, поскользнувшегося на трамвайных рельсах; и луна над балконом римского прокуратора, и в саду, где был зарезан Иуда; и лунная дорога в окне больницы, где томится Иван Николаевич; и бесконечная светлая лента, по которой в финале идут, дружески разговаривая между собою, Иешуа и Понтий Пилат.

Солнце — привычный символ жизни, радости, подлинного света — сопровождает Иешуа на крестном его пути как излучение жаркой и опалюющей реальности. Напротив, луна — это фантастический мир теней, загадок и призрачности — царство Воланда и его гостей, пирующих в полнолуние на весеннем балу, но, кроме того, и холодящий свет успокоения и сна. А вместе и дневное и ночное светила — два единственно неоспоримых очевидца и того, что произошло неведомо когда в Ершалаиме, и того, что случилось недавно в Москве. Ими ознаменована связь времен, единство человеческой истории.

И это лишь одно из образных соответствий, тайных переключек и взаимных отражений, которые определяют художественную структуру книги.

3

...Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание.

Салтыков-Щедрин.

В самой природе романа Булгакова есть нечто парадоксальное. В нем присутствует ирония — не как черта стиля или прием, но как часть общего миропонимания автора. Булгаков ошеломляет читателя новизной и непривычностью своего сюжета, да и самого подхода к событиям и людям.

В ходе жизни каждый из нас незаметно усваивает множество ходячих истин, готовых и не проверенных опытом представлений, наследственных предрассудков. Парадокс разрушает дидактику и рутину — и оттого его так любит искусство. Но есть два рода парадоксов. Одни демонстрируют лишь остроту и изобретательность ума автора. Другие же только поначалу кажутся парадоксами, смущая уравновешенный рассудок и обленившееся воображение. Привыкнув к ним, мы готовы признать за ними достоинства неоспоримых истин.

Реалистическое искусство спорит с пред-рассудком читателя, показывая ему необычность обычного, обычность казавшегося необыкновенным. Что можно представить себе чудеснее, необычнее истории Иисуса Христа, канонизированной церковью, ставшей главным религиозным догматом? Но писатель рассказывает ее так, как если бы речь шла о реконструкции реального эпизода истории, происшедшего в римской Иудее в I веке нашей эры и послужившего позднее поводом для легендарных толкований и религиозных канонов. Само неблагозвучие плебейского имени героя — Иешуа Га-Ноцри, столь приземленного и «обмирщенного» в сравнении с торжественным церковным — Иисус, как бы призвано подтвердить подлинность рассказа Булгакова и его независимость от евангельской традиции. Вспомним и то, как Иешуа у Булгакова жалуются

на своего ученика Левия Матвея, который ходит с козлиным пергаментом, записывая за ним каждое слово, и все — неверно. «Решительно ничего из того, что там записано, я не говорю», — как бы заранее опровергает он будущий текст евангелия. Да и сама судьба бродяги-философа, павшего жертвой религиозного фанатизма своих соотечественников и трусливого предательства римского прокуратора, лишена у Булгакова привычных черт мифа. Со старой евангельской легенды снят религиозный покров чудесного. Мы видим здесь человеческую драму и драму идей. Но в отличие, скажем, от Эрнста Ренана, желавшего в своем исследовании «Жизнь Иисуса» изобразить Христа как реальное историческое лицо, Иешуа у Булгакова прежде всего художественное создание, и сама его реалистическая «подлинность» — лишь способ поставить перед читателем насущные нравственные и философские вопросы.

Булгаков пользуется мотивами евангельской легенды в том же роде, как воспользовался ими когда-то Чехов в своем замечательном рассказе «Студент», который он назвал как-то любимым своим рассказом. В холодную весеннюю ночь, возвращаясь домой пустынным полем, студент Иван Викопольский встречает у костра двух женщин-огородниц и, греясь у огня, рассказывает им, как в такую же весеннюю ночь апостол Петр трижды отрекся от Христа и как его посетило тяжкое раскаяние. Случай и обстановка ли тому причиной или так выиграно и красиво рассказывает студент, но только слышанное, должно быть, ими не раз в торопливом бормотании священника старое предание вдруг оживает и действует на двух женщин с той же неотразимостью, с какой обычно действует на людей высокое искусство. Старуха Василиса и ее дочь — забитая деревенская баба Лукерья — отчего-то смущаются и плачут, и студент понимает, что если Василиса всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра, то это значит, что прошлое связано с настоящим непрерывной цепью и что «правда и красота, направившие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...».

Так и у Булгакова — в необыкновенном и легендарном открывается по-человечески

понятное, реальное и доступное, но оттого не менее существенное: не вера, но правда и красота. Зато в обыкновенном, житейском и примелькавшемся остро-иронический взгляд писателя обнаруживает немало загадок и странностей.

Автор «Мастера и Маргариты» потешается над самодовольной трезвостью, которая спешит найти простейшее и бытовое объяснение непонятным ей явлениям. Понтий Пилат, пораженный пронизательностью Иешуа, угадавшего его болезнь и предсказавшего ему избавление от приступа гемикрании, беспокойно допытывается: «Может быть, ты великий врач?» — и тщетно ждет услышать подтверждение этой своей догадке. И точно так же собеседники Воланда хотят видеть в нем не более чем искусного гипнотизера, а развязный конференсье Жорж Бенгальский, улыбаясь «мудрой улыбкой», пытается успокоить публику Варьете тем, что маэстро просто прекрасно владеет техникой фокуса. Найдя такое конкретное и близко лежащее объяснение, люди обретают душевное равновесие, им как будто становится легче жить. Если же объяснение не находится сразу, они, как испуганный Варенуха, отделяются житейской и, по замечанию автора, «совершенно нелепой» фразой: «Этого не может быть!»

Иронический ум Булгакова бросает вызов этой уравновешенности и трезвости. И вовсе не вербуя среди читателей сторонников суеверия или мистицизма, он требует от нас допущения: а что, если однажды апрельским вечером дьявол в самом деле посетил Москву? Случай неправдоподобный, что и говорить, но все же интересно узнать, кто и как стал бы реагировать на это непрошеное явление? Узнать это тем более поучительно, что люди, казалось бы столь непримиримые ко всякой чертовщине и мистике, легко уживаются со многим диковинным и необъяснимым в своем быту.

Булгаков обнаруживает подлинные чудеса и мистику там, где их мало кто видит — в обыденщине, которая порой выделяет шутки постраннее выходок Коровьева. Это и есть основной способ, основной рычаг булгаковской сатиры, фантастической по своей форме, как сатира Щедрина, но оттого не менее реальной в своем содержании.

Вот, к примеру, Коровьев и Бегемот, назвавшись писателями, хотят проникнуть в ресторан Массолита, но их не пускают без удостоверения. Однако разве удостове-

нием определяется личность писателя, а не тем, что и как он пишет? «...Чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверения? — негодует Коровьев.— Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем». Но эту простую мысль трудно втолковать гражданке, стоящей на контроле, с ее почти мистической верой в силу кусочка картона с фотографией и печатью. Так разве это не суеверие своего рода?

Человеком, верующим в чудеса, неожиданно оказывается и такой трезво мыслящий мужчина, как председатель жилтоварищества Никанор Иванович Босой. Этот взяточник получает от Коровьева деньги за квартиру самым привычным для себя и лишенным мистики способом. Но, попавшись, он иначе объясняет дело: «...Тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. пачка сама вползла к нему в портфель».

Похоже, что бюрократы, вралы, подхалимы, взяточники в деле изобретения «странностей» и чудес могут потягаться с нечистой силой. Воланд владеет тайной пятого измерения и скромную квартирку на Садовой способен раздвинуть до размеров необъятного зала. Но, оказывается, эти чудеса — не монополия всемогущего сатаны. Коровьев рассказывает об одном скромном гражданине, который, «получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную», а далее собирався путем мошеннических обменов превратить ее в пятикомнатную и обязательно сделал бы это, если бы его деятельность не была своевременно пресечена.

В сущности, нечистая сила не способна выдумать ничего оригинального. Прodelки Коровьева есть чаще всего лишь доведенные до очевидности и гротеска нелепости самой жизни. Когда по внушению «бывшего регента» бухгалтеры, курьеры, секретари солидного учреждения в разгар рабочего дня запевают «Славное море священный Байкал» и никак не могут освободиться от этого популярного напева, так что в конце кошсов грузовики увозят их поющих, как на массовке, в клинику Стравинского, — это не более чем логическое следствие той мании организации кружков, которой был одержим

в своей каждодневной деятельности заведующий филиалом.

Коровьев совершает как будто доподлинное чудо, когда по его воле за письменным столом заведующего филиалом остается один лишь «руководящий» костюм, исправно подписывающий бумаги, — чисто щедринский, кстати говоря, способ насмешки. Однако реальность и тут оставляет выдумку Коровьева позади. Потому что достойно удивления не то, что проделала с Прохором Петровичем нечистая сила, а то, что, вернувшись в свой костюм, заведующий одобрил все резолюции, которые костюм наложил в его отсутствие!

Целый сонм бытовых чудес и феноменов житейской мистики подмечает иронический взгляд Булгакова в тех достойных сатиры явлениях действительности, которые связаны с недоверием, страхом, подозрительностью и иными психологическими следствиями нарушений законности, отмеченных нашей памятью о 1937 году. Приметы этого времени ненавязчиво разбросаны там и тут по страницам книги Булгакова.

Воланд — мастер устраивать таинственные исчезновения людей. И, освобождая для себя квартиру № 50, он посылает Берлиоза под трамвай, а Степу Лиходеева переносит волшебным образом в Ялту. Но, как вскользь роняет Булгаков, эта «нехорошая квартира» и прежде пользовалась дурной славой, потому что еще до появления Воланда из нее бесследно исчезали жильцы... И понятна мгновенная реакция Степы Лиходеева, который, едва увидев, как опечатают квартиру погибшего Берлиоза и еще ничего не зная толком о его судьбе, привычно трусит и с огорчением вспоминает, что как раз недавно всучил Берлиозу статью для напечатания и вел с ним сомнительный разговор.

Следы той же атмосферы легко заметить в нервной подозрительности Ивана, который в разговоре с иностранцем предлагает отправить в Соловки философа Канта, а попав в психиатрическую клинику, встречает доктора словами: «Здорово, вредитель!»; и в мгновенной отговорке преддомкома Босого, уличенного во взятке: «Подбросили враги»; и в зловещих фигурах клеветников и наушников — барона Майгеля и Алоизия Могарыча, польстившегося на квартиру мастера; и в психозе подозрительности, вызванном в провинции слухами о шайке Воланда, когда, как о том рассказано в эпило-

ге, в Армавире один гражданин доставил в милицию черного кота, скрутив ему передние лапы зеленым галстуком, а в некоторых других городах оказались задержанными граждане, чьи фамилии были созвучны имени Воланда, а заодно и — «уж совершенно неизвестно, почему — кандидат химических наук Ветчинкевич».

Жизнь полна, таким образом, странностей и чудес, к которым люди привыкли, — они ленятся или не решаются их замечать. Простейшее подтверждение этому — поведение кондуктора трамвая, на котором пытался прокатиться кот. Увидев, как он уцепился лапой за поручень и протянул гривенник за проезд, кондукторша «со злобой, от которой даже тряслась, закричала: — Котам нельзя!» «Ни кондукторшу, ни пассажиров, — комментирует Булгаков, — не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить!»

Парадоксы искусства — лишь отражение житейских парадоксов. Сделав как бы лег-

кообразимыми явления, обычно числимые по ведомству мистики и чудес, автор в то же время сумел показать, как много странного и призрачного скрыто под оболочкой примелькавшей обыденности.

Мудрено ли, что «девственный» в отношении образованности Иван Николаевич не узнаёт на скамье у Патриарших прудов традиционного литературного Мефистофеля? Еще труднее угадать черта в его бытовом облике — в облике Коровьева с его усиками и треснувшим пенсне, с грязными носками и в клетчатых панталонах: таким он явился когда-то Ивану Карамазову и с тех пор не тревожил воображение читателей.

Зато не составляет большого труда увидеть, как отравляют жизнь людей злоба, трусость, подозрительность, ложь в их конкретных, бытовых проявлениях, то есть все то, о чем в народе говорят: «чертова сила», «бес попутал», — и Булгаков как бы возвращает и материализует эту метафору в своем романе.

4

Эй, вы! Место! Идет господин Воланд! Дорогу, почтенная шваль, дорогу!

Гёте, «Фауст». Сцена Вальпургиевой ночи.

У демона зла без счета имен, прозваний и кличек. Популярность этого персонажа в устных преданиях разных народов — неоспоримое свидетельство того, как часто приходилось людям иметь дело со злыми, разрушительными и враждебными им силами. Не умея их понять, а тем более справиться с ними, они находили для них пугающее и нелестное олицетворение.

Нам поневоле придется, следуя прихоти фантазии автора, пуститься в некоторые подробности демонологии, так что при чтении этих страниц суверенному читателю стоит осенить себя втихомолку крестным знаменем, а остальным настроиться на слегка юмористический лад с тем, однако, необходимым минимумом серьезности, какой не даст пропасть существенной стороне дела.

Имя Faland — что значит «обманщик», «лукавый» — употреблялось для обозначения черта уже средневековыми немецкими писателями. Так что когда кассирша из Варьете в романе Булгакова, напрягая свою память, напоминает на следствии, что таинственного мага, наделавшего переполоху

в театре, звали как будто Фаланд, она не совсем ошибается. Столь близкий ему по созвучию Воланд, «господин Воланд», под этим самым именем появляется однажды в тексте «Фауста» как одно из иносказательных определений дьявола.

Но как бы ни были различны прозвания сатаны, главное по традиции его занятие неизменно: без устали сеет он соблазн, разрушение и зло, смущая добрых людей. И в этом смысле напрашивается самое легкое решение загадки, заданной Булгаковым читателю: быть может, автор имел в виду простое противоположение двух сил, извечно враждующих в мире, антитезу добра и зла, воплощенную на этот раз в фигурах Иешуа и Воланда?

Однако, присмотревшись внимательнее, можно с некоторым удивлением убедиться, что для такой безусловной, как тень и свет, антитезы Воланду не хватает, пожалуй, черных красок. К тому же автор слишком охотно предоставляет ему слово для объяснений и самооправдания.

«Не будешь ли ты так добр, — язвительно

спрашивает Воланд посланца Иешуа, — подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь Земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?»

Этой апологии зла нельзя отказать в остроумии и даже диалектической ловкости. Но неужто автор и впрямь хочет нас уверить, что раз уже зло — неразлучный спутник жизни, реальности, нам ничего не остается, как только благодарить судьбу за то, что оно существует в мире? Неужели к этой безрадостной мысли клонится философия романа?

Впрочем, самые скорые догадки не всегда самые верные. И мы не спешим приписать автору сочувствие к словам «старого софиста», как назвал Воланда его собеседник.

А между тем непосредственное чувство говорит нам, что в булгаковской «нечистой силе» есть что-то неоспоримо привлекательное. Воланд обладает своим мрачным обаянием. Боюсь вымолвить, он даже симпатичен, и это чисто эмоциональное впечатление требуется как-то объяснить. Едва оправившись от первого испуга после злодейского убийства Берлиоза и еще досадуя вместе с Иваном на неудачу погони за таинственной тройкой, мы с удивлением замечаем, что нам мало-помалу начинают нравиться участники этой шайки. Даже развязный и предпримчивый Коровьев при более коротком знакомстве с ним уже не кажется таким отталкивающим, как с первого взгляда. Еще более сочувствия вызывает угрюмый и немногословный Азazelло в крахмальном белье и с обглоданной куриной костью в кармане, неумело, но настойчиво обаживающий Маргариту на скамейке Александровского сада. Я уж не говорю про кота, появление которого на страницах книги всякий раз вызывает у нас улыбку, страхующую его от неприязни. Булгаковский кот — это целый характер: озорной, тщеславный, хвастливый, обидчивый, бесцеремонный и жеманный одновременно. Вспомним хотя бы, как хочется ему выглядеть джентльменом и блистать на балу в галстукe, или как за ужином у сатаны он перчит и солит ананас, преамбициозно отвергая всякие попыт-

ки научить его приличным манерам: «... сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!» А каков он, этот смиренный, с примусом в лапах присевший на камине и внутренне изгоговившийся к сопротивлению перед штурмом квартиры № 50? «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот, — и еще считаю долгом предупредить, что кот — древнее и неприкосновенное животное».

Вся эта нежить и нечисть получила у Булгакова черты человеческих характеров, характеров комических, рельефных до осязаемости... и в чем-то неоспоримо приятных! В их поступках есть дерзкое озорство, но отнюдь не пахнет мстительным злонамерением, и оттого читатель готов понять Маргариту, восклицаящую в избытке чувств: «Милый, милый Азazelло!»

Сам Воланд исполнен неторопливого достоинства, спокойствия и мудрости. Загримированный автором под Мефистофеля, он в то же время мало напоминает традиционного демона зла, дьявола-искусителя. Тут к месту придется слова Лермонтова:

...этот черт совсем иного сорта.
Аристократ, и не похож на черта.

Чтобы понять своеобразие трактовки Булгаковым Воланда, надо заглянуть в литературную родословную героя. Роман «Мастер и Маргарита» пронизан бесчисленными отголосками гётевского «Фауста», и преемственная связь Воланда с Мефистофелем очевидна. Но мы бы ошиблись, если бы решили, что Воланд у Булгакова — лишь новое имя для того же характера, вариация знаковой мысли.

Мефистофель у Гёте — зол, эгонистичен, безнравствен. С иезуитской усмешкой он вкрадывается в доверие, орудует посредством вероломства, соблазняет грехом и с наслаждением губит попавшие в его сеть невинные души. Он бросает Фауста в низкую чувственность, приводит его к лжесвидетельству, заставляет Гретхен совершить преступление — утопить своего ребенка, подсыпает яд ее матери, убивает благородного Валентина — и пакостно злорадствует, глядя на дела рук своих.

Но рядом с Мефистофелем в сложных отношениях подчинения ему и соперничества с ним возникает у Гёте фигура Фауста — воплощение жажды познания,

господства над природой, всемогущества человека, вознамерившегося открыть все тайны вселенной и познать всю низость и величие жизни. Фауст заимствует у Мефистофеля могущественную силу, но это не сила зла и разрушения, а власть познания и исследования. Порыв к всеведению и всезнанию слишком долго считался первородным грехом и злом мира. Гёте реабилитировал его, оставив дьяволу область деятельного зла, но отняв у него привилегию познания, отданного им человеку.

«Фауст» Гёте, как известно, в свою очередь восходит к фольклорным источникам — «Народной книге о Фаусте» Шписа (1587) и другим, еще более далеким преданиям о талантливом средневековом ученом, которого молва нарекла магом и волшебником. Герой этих легенд едва ли не ближе Воланду, чем сам Мефистофель. В трактате Леонгарта Турнейсена (1583) перечислены дарования магов, которые «понимают кое-что в философии, как, например, доктор Фауст».

Обращает на себя внимание, что тут дана как бы полная опись чудес, какие будут совершены в Москве булгаковским Воландом. Эти маги, говорит Турнейсен, могут «силой своего колдовского искусства превратить все, что человек держит в руках, в нечто иное, а также доставить в назначенный час и в условленное место любое известное лицо, как бы далеко оно ни находилось, да и сами они могут мгновенно переноситься, куда им только заблагорассудится. Могут они, кроме того, так рассказать все, что говорилось о них в их отсутствие, как если бы они сами присутствовали при разговоре и слышали его...». А в книге Шписа Фауст поражает студентов тем, что приводит им цитаты из безвозвратно погибших от времени, огня и воды комедий Плавта и Теренция. «Все очень этому удивились,—сообщает доверчивый биограф Фауста,—и спросили его, откуда он знает, что стояло в этих комедиях. На это он заметил, что они вовсе не пропали и не погибли, как это думают...» Тут, пожалуй, остается лишь воскликнуть: «Рукописи не горят!»

Словом, Воланд у Булгакова способен проделать все то, что приписывает доктору Фаусту старинная легенда. Но, если взглянуть попристальнее, можно узнать в булгаковском герое и некоторые черты более позднего Фауста классической трагедии. Не будет преувеличением сказать, что Воланд как бы соединяет в себе дьявола Мефисто-

феля и мага Фауста с его страстью к исследованию и познанию.

В Воланде, каким он написан Булгаковым, явствен мотив деянния, протеста против рутины жизни, застоя, предрассудков. В своих московских похождениях он как бы осуществляет программу, какую задает Мефистофелю у Гёте господь-бог в «Прологе на небесах»: «Человеческая деятельность усыпляется слишком легко. Безусловный покой часто делается людям дорожкой, а потому я охотно посылаю им в товарищи даже чертей, с тем чтобы они подстрекали их и возбуждали»¹.

Заметим, что Мефистофель у Гёте — не столько, однако, посланец благой силы, сколько повелитель теней, соблазнитель и разрушитель. Не зря Фауст бросает ему укор, что «вечному движению и спасительной творческой деятельности» он противопоставляет свой «ледяной чертов кулак». Воланд Булгакова не таков. Как ни взгляни, он дает пример куда большего благомыслия и благородства, даже, я бы сказал, неожиданного морализма.

Князь тьмы, дьявол, сатана, вельзевул, черт — у этой публики издавна были две основные роли, два призвания. Одно — смущать добрых людей, вводить их в искушение, соблазнять, пускаться в разрушительное злодейство. Другое, более достойное, — служить палачом порока, воздавать за грехи: недаром в аду к котлам с кипящей смолой приставлены, как известно, черти. Дьявол по обыкновению сам губит человеческую душу и сам же эту погубленную им душу с вождением казнит и наказывает.

Воланд как бы намеренно суживает свои функции, он склонен не столько соблазнять, сколько наказывать. В самом деле, чем по преимуществу заняты он и его присные в Москве, с какой целью автор пустил их на четыре дня гулять и безобразничать в столице?

Слишком многих задела действия злодейской шайки, отдающие, как было признано на следствии, «совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и отчетливой уголовщины...». Одни погибли, другие натерпелись страху, третьи оказались в сумасшедшем до-

¹ Мы цитируем «Фауста» в старом прозаическом переводе А. Д. Соколовского (СПб. 1902), не отличающемся большими художественными достоинствами, но ближе передающем текст оригинала.

ме. Но нельзя сказать, между тем, что наказания эти пали на головы вовсе безвинных жертв. Напротив, почти всегда читатель воспринимал их как должное. Они смущали резкостью и легкостью расправы, как будто дьявол, обремененный своим всемогуществом, не всегда умел рассчитать силу удара, но в общем-то отвечали естественному чувству справедливости. И едва ли не после каждой проделки Воланда читатель, улыбувшись, мог сказать про себя: «И поделим!» Потому что все пострадавшие в этой необыкновенной истории из-за происков нечистой силы пострадали, кажется, не совсем зря.

Иван Николаевич наказан безумием за плохие и фальшивые стихи, Степа Лиходеев — за безделье и разврат, преддомкома Босой — за взяточничество, Варенуха — за ложь, Семплеяров — за двоеженство, заведующий филиалом — за бюрократизм, дядя Берлиоза — за то, что он хапуга, буфетчик — за жульничество, Аннушка — за корысть, барон Майгель — за доносы... Разве что Берлиоз — невинная жертва сатанинских проказ. Но, быть может, все-таки и в этом есть доля справедливости. Самодовольный болтун, чужой искусству, слишком он важничал, слишком гордился тем, что все превзошел, слишком чванился своим рассудком — и за это потерял голову... Что и говорить, эта дьявольская шутка жестока, да ведь надо чем-то потешиться и сатане? Тем более что большой потери со смертью Берлиоза литература, как видно, не понесла. Помудревший и отрезвевший Иван Николаевич рассуждает так: «Важное, в самом деле, происшествие — редактора журнала задавило! Да что — от этого журнал, что ли, закроется?.. Ну, будет другой редактор и даже, может быть, еще красноречивей прежнего!»

Но пусть даже убийство Берлиоза останется на совести Воланда (если у дьявола есть совесть), зато во всех других случаях он морально безупречен.

Сам Воланд и его свита нимало не скрывают, что едва ли не во всех своих действиях они руководствуются добродетельными и даже назидательными целями.

Изгнание Степы Лиходеева из его квартиры основателем могивировано спутниками Воланда.

«Вообще они в последнее время жутко свинячат, — говорит о Степе Коровьев. — Пьянствуют, вступают в связи с женщина-

ми, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!

— Машину зря гоняет казенную! — наядничал кот, жуя гриб».

Не удивительно, что после этого компетентного обсуждения пороков Степы приговор следует незамедлительно, и чудесная сила уносит директора Варьете за тысячу верст и заставляет его растерянно озираться на ялтинском молу.

Нечто подобное происходит и с администратором Варенухой. «Хамить не надо по телефону, — отчитывает его Азazelло. — Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?» Фагот — Коровьев разоблачает двойную жизнь важного и самодовольного гражданина Семплеярова, публично выводя его на чистую воду при его супруге и любовнице. Волшебная мазь Азazelло, одарившая чудной красотой Маргариту, превращает ее соседа, плотоядного Николая Ивановича, в борова, тем самым как бы проявляя его свинячью суть. А тот же Азazelло, стиснув холодными и твердыми, «как поручни автобуса», пальцами горло «чумы Аннушки», заставляет вернуть похищенную ею бриллиантовую подкову и обращается при этом к ней со словами отеческого внушения: «Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь!»

Выходит, нечистая сила в романе Булгакова вовсе не склонна заниматься тем, чем по традиции она бывает поглощена — соблазном и искушением людей. Напротив, шайка Воланда защищает добропорядочность, чистоту нравов, и как забавна и неожиданна эта апелляция к авторитету милиции в устах беса Азazelло! (Я так и вижу, как усмехнулся довольный получившимся эффектом Булгаков, сочинив эти строки.)

Собственно, только одна сцена в романе — сцена «массового гипноза» в Варьете — показывает дьявола вполне в его исконном амплуа искусителя. Но Воланд и здесь поступает точь-в-точь как исправитель нравов или, иначе сказать, как писатель-сатирик, что весьма на руку придумавшему его автору. Он обнажает низкие вождения и страсти лишь затем, чтобы заклеить их презрением и смехом, а тем самым убить. На сенсационном представлении в Варьете у него нет по отношению к

людям и тени злорадства. Он будит у толпы инстинкты лютости и заставляет зрителя хватать летящие дождем денежные бумажки, он разогревает женское тщеславие последними парижскими модами, но не ради того, чтобы погубить грешные души. Напротив, кажется, что он брезглив к порокам людей, приобретенным ими в земной жизни и без всякого его участия. Когда он испытывает публику на жестокость и Фагот отрывает голову болтливому конферансье, а сердобольные женщины требуют опять поставить ее на место, великий маг говорит с интонацией усталого понимания: «Ну что же... они — люди как люди... Ну легкомысленны... ну что же... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... — и громко приказал: — Наденьте голову».

Как-то мало напоминает этот задумчивый гуманист безжалостного беса пренсподней!

И уж совсем вразрез с ожиданиями читателя идет то, что у Воланда и его спутников есть еще и желание помочь добрым людям, попавшим в беду, обиженным судьбою. Ведь не кто другой, как они, соединяют мастера и Маргариту, возвращают мастеру его погубшую рукопись, так что для главных героев романа это не демоны зла, но скорее ангелы-хранители. В их поведении проглядывает порой нечто рыцарское, и нет ничего удивительного, что, когда колдовские черные кони уносят их из Москвы, непрезентабельные участники Воландовой шайки обретают графически четкий облик героев старой немецкой баллады: скачет, тихо звеня золотой цепью, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим лицом, и мы с трудом узнаем в нем «витурушу-регента», самозванного переводчика Коровьева; а рядом — закованный в стальные доспехи Азазелло и бывший кот Бегемот, «лучший шут, какой существовал когда-либо в мире», обернувшийся худеньким юношей, демоном-пажом.

Так самобытно переосмыслен Булгаковым образ Воланда-Мефистофеля и его присных. Антитеза добра и зла в лице Воланда и Иешуа не состоялась. Нагоняющий на непосвященных мрачный ужас Воланд оказывается карающим мечом в руках справедливого и едва ли не волонтером добра.

Теперь нам легче понять смысл многозначительного эпиграфа к роману, заимствованного Булгаковым из трагедии Гёте: «...Так кто ж ты, наконец? — Я — часть той

силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Не лишено интереса то обстоятельство, что в «Фаусте» эти слова Мефистофеля несли совсем иной смысл, чем тот, какой они получили, будучи повторены на заглавной странице романа «Мастер и Маргарита».

У Гёте слова Мефистофеля звучали лишь как ловкая увертка опытного спорщика. Дело в том, что «благо» в устах дьявола — это и есть зло. Припомним продолжение знаменитого диалога, где Мефистофель договаривает все до конца. «Как понять эту загадку?» — спрашивает Фауст, имея в виду как раз слова, вынесенные Булгаковым в эпиграф, и слышит цинический ответ: «Я дух, все отрицающий, и, поступая так, бываю совершенно прав, потому что все существующее кончает непременно погибелью, вследствие чего лучше было бы, если бы оно не существовало совсем. На этом основании все, что вы называете грехом, разрушением или, короче говоря, злом — моя настоящая стихия».

Дьявол по обыкновению лукав. «Благо», о котором он было заикнулся, для него — гибель всего живого. Но у Булгакова слова о силе, «что вечно хочет зла и вечно совершает благо», несут иной смысл, лишенный оттенка мрачной иронии и более близкий буквальному. Автор «Мастера и Маргариты» как бы не желает понимать дьявольскую насмешку Мефистофеля. Он берет для своего Воланда эти слова всерьез — как девиз его деятельности.

В самом деле, что значит в применении к Воланду слова: «вечно хочет зла»? Это значит, что Воланд воплощает в себе стихию сомнения, отрицания, скептицизма — свойства, кстати говоря, вовсе не однозные для Булгакова-сатирика. Но какой смысл имеет тогда признание, что, даже пожелав зла, он «вечно совершает благо»? А тот, что в контраст к холодному и наглую Мефистофелю зло для героя Булгакова (теперь уже, кажется, можно назвать так Воланда) — не цель, а средство, средство справиться с людскими пороками и несправедливостью. Воланд разбивает рутину жизни, наказывает подлость и неблагородство, унижает прохвостов, мелких и грязных людишек — плутов, мошенников, наушников, приобретал, и оттого самым парадоксальным и непредвиденным для читателя образом выступает в конечном счете едва ли не слугою добра.

5

Играя предательскую роль в голгофской казни, государство нанесло себе самый тяжелый удар. Полная неуважения к власти легенда одержала верх и обошла мир. В этой легенде предержавшие власти играют гнусную роль, обвиняемый прав, а судьи и полиция соединяются вместе против правды.

Эрнест Ренан, «Жизнь Иисуса».

По внешней видимости главы о Иешуа и Понтии Пилате, грижды прерывающие современное повествование, живут в романе отдельно, самостоятельной жизнью. И, по правде говоря, мы готовы помириться с ними даже в таком качестве — настолько ярки по краскам и правдивы эти сцены, такой запас новых мыслей и душевных впечатлений они с собою несут. Однако, строже обдумывая значение этих «вставных глав» в общей структуре романа, начинаешь улавливать их единство с целым. Философский роман, а именно так мы вправе назвать «Мастера и Маргариту», движем не столько интересом действия, единой сюжетной интриги, сколько развитием авторской мысли, способной найти себе опору в эпизодах, внешне далеких друг от друга. Так что следя за поединком Понтия Пилата с бродягой-философом Иешуа Га-Ноцри, а потом становясь свидетелями его ужасной казни, мы оказываемся в кругу тех же проблем добра и зла, бессилия и могущества человеческой воли, какие занимали автора в рассказе о московских похождениях Воланда. Только здесь из плана современно-бытового они переключены в план историко-легендарный, развиты, осложнены новыми мотивами и оттенками мысли.

С самим Воландом мы в этих главах не встретимся — и это нельзя считать случайностью. Похоже, что автор оберегает своего мрачного героя, боясь, как бы на него не пала слишком густая тень гонителя добра, и оттого старательно прячет его за кулисами действия на страницах, посвященных гибели Иешуа.

А казалось бы, какой соблазн для беллетриста представить трусливое предательство Понтия Пилата как внушение сатаны! Тем более что сам Воланд определенно утверждает, будто присутствовал на балконе у прокуратора и в саду, когда он с Каифой разговаривал...

Булгаков искушает воображение читателя лишь одной вскользь оброненной деталью. Ожидая в сумерках известия о погребении Га-Ноцри, прокуратор начинает вдруг ис-

пытывать непонятный страх и почему-то вздрагивает, взглянув на пустое кресло, на спинке которого висит его плащ. «Приблизилась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле».

Но за вычетом этой мимолетней подробности, которая к тому же психологически так полно мотивирована, что может показаться лишенной всякого оттенка мистики, мы не находим следов присутствия Воланда в главах о Иешуа. Это еще раз подтверждает удивившую нас было сначала благосклонность Булгакова к Воланду. Если в Иешуа воплощена идея добра, то придется признать, что Воланд относится к своему извечному антагонисту на редкость почтительно и, я бы сказал, дружелюбно. Ведь это он, дьявол, пытается убедить Берлиоза, что Иешуа действительно существовал, и сам начинает рассказывать легенду, продолжение которой мы узнаем из спасенных тетрадей мастера.

Однако достойные примечания отсутствие Воланда в сценах, посвященных Иешуа Га-Ноцри, важно еще и в другом смысле: Булгаков не может позволить Понтию Пилату ту уловку оправдания, будто он скверно поступил не по своей воле, точно бес его толкнул под руку. Он оставляет прокуратора один на один с Иешуа, предъявляя нравственный счет только к его человеческой совести и лишая его всякой защиты перед судом времени.

Вот он сидит неподвижно в своем тяжелом кресле, пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат, и, мучимый нестерпимой головной болью, смотрит исподлобья на стоящего перед ним в ссадинах и синяках арестанта. В руках прокуратора огромная мощь власти, он наводит слепой страх на окружающих, слуги боятся приступов его ярости. Ему кажется, что он всемогущ: его дворец окружает бдительная стража, за ним когорты римских воинов, легионы конных и пеших. По малейшему его зову приходит в действие тайная полиция во главе

с молчаливым человеком в капюшоне — Афранием...

Но сейчас ему предстоит убедиться, что все это — ничто, что он слаб, труслив и жалок, что ему надо презирать и стыдиться себя. И докажет ему это неловкий, торопливый и с испугом глядящий на него, но с наивной уверенностью отвечающий — ничтожный бродяга в разорванном голубом хитоне.

Тот, кто читал книгу Булгакова, вспомнит, конечно, большую террасу в саду, простор колоннады (ласточка очерчивает ее наискось из конца в конец, чтобы мы ощутили ее объем), пение воды в фонтане, густой, душный запах розового масла и мучимого своей гемикранпей прокуратора в кресле на мозаичном полу, а сбоку — секретаря, записывающего допрос на пергаменте и время от времени изумленно оглядывающегося на дерзкого арестанта.

Понтий Пилат, монотонно ведущий допрос, неожиданно чувствует силу, стоящую за нищим философом, силу спокойно и в упор выговариваемой истины. И это вызывает у прокуратора невольное уважение.

Он еще пробует, правда, заглушить это впечатление с помощью дешевой риторики, бросая Иешуа вопрос: «Что такое истина?» — этот прославленный в веках возглас фарисейства. Он еще пытается посмеяться над наивностью Га-Ноцри, упорно и вопреки всему твердящего, что человек — добр, и отбивается привычной ссылкой на условность всякой морали и относительность всякой истины. Но в тайне души он уже знает, что бродяга в чем-то прав...

Понтий Пилат, моральный суд над которым как будто заранее предreshен, рассмотрен Булгаковым изнутри как сложная и в своем роде драматическая фигура. Он не чужд раздумий, человеческих чувств, живого сострадания. Ему явно не хочется губить попусту жизнь Иешуа. Бродячий философ с его смелыми и непривычными уху прокуратора речами нравится ему, его интересует: любопытно в самом деле взглянуть на человека, свободного от внутренних запретов и табу, которые всегда над тобой тяготеют, бесстрашно и просто выговаривающего вслух то, от чего привычно цепенеет душа. Пилат готов запрятать его к себе в Кесарию Стратонову, спасти от фанатизма соотечественников и сделать чем-то вроде своего придворного мудреца.

Однако всему своя мера. Пока Иешуа проповедует, что все люди добры, Пилат склонен снисходительно взирать на это безвредное чудачество, плоды детского идеализма. Он готов спустить ему и то, что бродяга слишком много знает о нем такого, в чем не решился бы признаться себе сам прокуратор: что он одинок, замкнут, тяжело и, может быть, безнадежно болен, что он устал править ненавистным ему Ершалаимом и окончательно потерял веру в людей.

Но вот подследственный из Галилеи неосторожно коснулся верховной власти и опрометчиво заявил, что будет время, когда власти кесарей не будет над людьми. И участь его решена.

Пилата пронзает острый страх, что он доверительно беседует с государственным преступником. Перед его внутренним взором появляется плешивая голова кесаря в золотом венце и гнусавый голос тынет слова: «Закон об оскорблении величества...» На этом рубеже кончается терпимость и либерализм Пилата.

Прокуратор уже знает, что он не сможет переступить через себя, что он жалок и бессилен, что страх перед кесарем больше его самого и он отдаст Иешуа на смерть. Но он еще пытается вести торг со своей совестью, еще пробует склонить Иешуа на компромисс, чтобы сохранить ему жизнь. Своими вопросами он хочет незаметно подсказать арестанту ответы, которые облегчили бы его участь. Он намекает, подмигивает, выручает, но Иешуа, словно отказываясь его понимать, упорно и слепо, не склоняясь к малейшей сделке с совестью, идет навстречу верной гибели. Какая досада! Ему бы немного уступить, промолчать, слукавить, но наивный арестант твердит свое: «Правду говорить легко и приятно» — и тем лишает прокуратора надежды спасти его.

Всесильный прокуратор уже весь во власти страха, он теряет остатки гордого достоинства и спокойствия. «Я твоих мыслей не разделяю», — с суетливой поспешностью восклицает он. И в ужасе, что его заподозрят в сочувствии к крамольным идеям, кричит, спеша опровергнуть опасное пророчество Иешуа, будто настанет царство истины: «Оно никогда не настанет!» Страшный этот крик должен заглушить спокойный, ровный и непобедимый голос истины.

Понтий Пилат кричит так не только в расчете на длинные уши. Он пытается убедить, успокоить самого себя, сохранить привычное равновесие. Для него одна защита — не верить в конечный приход справедливости, в истину, потому что иначе он — пропал. Он пропал, ибо давно приучил себя думать, что его единственный долг на земле — славить кесаря, не оглядываясь в прошлое, не думая о будущем. Вера в грядущее торжество справедливости подрывает этот короткий расчет.

Приходится признать, что храбрый воин, умный политик, человек, обладающий несслыханной властью в покоренном Ершалаиме, склонен к постыдному малодушию. Сначала он трусит перед тенью кесаря, впадает в донос, боится погубить свою карьеру, потом, неожиданно для себя, робеет перед Иешуа, колеблется, путается, желая и не решаясь его спасти. После того как Иешуа уже безнадежно скомпрометировал себя опасным выпадом против власти кесарей, Понтий Пилат делает последнюю попытку ему помочь и, перешагнув через собственную слабость, пробует уговорить Каифу помиловать безвредного мечтателя. Но религиозный фанатизм еще страшнее и упорнее фанатизма гражданской власти, и прокуратор пасует перед первосвященником. Сознывая, что совершает ужасное преступление против совести, он соглашается казнить Иешуа.

Его трусость стоит рядом с предательством, ибо он внутренне сочувствует несчастному бродяге. И даже когда уже все свершилось и гроза смысла следы страшной казни на Лысой горе, автор не выпускает Пилата из клещей психологического анализа, бесконечно растягивая эту пытку совести.

Ведь это Пилат у Булгакова пытается облегчить последние страдания Иешуа на кресте, посылая через Афрания секретный приказ добить его копьем. И он же с помощью тайной службы мстительно убивает предателя Иуду и позорит синедрион, велая подбросить за ограду дворца первосвященника проклятые тридцать тетрадрахм. Как видим, он берет на себя и исполняет именно то, что хотел, но не смог сделать ученик Иешуа Левий Матвей, желавший хлебным ножом избавить от крестных мук учителя, а потом отомстить за него предателю Иуде.

Но нет и не может быть морального выкупа за предательство. Понтий Пилат зря надеется в кровавой мести Иуде очистить себя и облегчить свою вину. В его душе как бы живут и борются между собой оба ученика Га-Ноцри — верный Левий и предатель Иуда. Но убив одного, он не обретает доверия другого. Прокуратор пробует уговорить Левия поехать к нему в Кесарию и, как прежде самому Иешуа, сулит свое покровительство, но наталкивается на решительный отказ: «Нет... ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне, после того как ты его убил». Это первое наказание прокуратору и первое — со стороны — подтверждение, что совесть его навсегда запятнана и что ему не ждать прощения.

Трусость — главная беда Понтия Пилата. Но неужели бесстрашный на поле боя воин, всадник Золотое копье — в самом деле трус? И отчего Булгаков так настаивает на этом обвинении? «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков», — слышит во сне Понтий Пилат слова Иешуа. «Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!» — неожиданно вмешивается и говорит уже в полный свой голос автор книги. Почему же обычная сдержанность изменила здесь Булгакову и заставила его, нарушив условность рассказа, вынести личный приговор своему герою?

Прокуратор не хотел зла Иешуа, трусость привела его к жестокости и предательству. Иешуа не может его осудить — для него все люди добры. Но Булгаков осуждает без пощады и снисхождения, осуждает потому, что знает: не так опасны люди, поставившие своей целью зло — таких, в сущности, немного, — как те, что словно бы и готовы споспешествовать добру, но малодушны и трусливы. Страх за себя делает неплохих и лично храбрых людей слепым орудием злой воли.

Парадокс, много раз отмеченный искусством: мужественный воин, герой на поле брани бывает порой слаб и жалок в обыденной жизни — робеет, теряется, едва на него повысят голос. А дело в том, что в ратном бою он не одинок: здесь правота общего порыва, плечо товарищеской помощи. «На миру и смерть красна» — говорит пословица. А вот быть храбрым в одиночку, отстаивать свою правоту, поддерживаемую лишь собственным чувством справедливости, — на это способен только человек на-

стоящей силы духа и высокого самосознания. Бессознательная храбрость такого испытания не выдержит.

Трусость — крайнее выражение внутренней подчиненности, несвободы духа, и раз смирившись с ней, от нее уже трудно отделаться. Она продолжает подчинять себе человека даже на пороге смерти, когда это выглядит особенно нелепо. Ну что, казалось бы, Понтию Пилату поступить на этот раз свободно, прислушавшись к голосу совести? Ведь прокуратор тяжело болен, он с воодушевлением думает о яде, который прекратит его страдания, и готов окончить счеты с земной жизнью, а все же жалко трусит перед кесарем, по инерции признавая его лишь волю над собой.

Оттого-то не зло, само по себе слепое и маломощное, а трусость, которая легко покоряет человека злу, делает его безвольным орудием в чужих руках — самое тяжелое проклятие для Булгакова. Человека умного, смелого и благожелательного она способна превратить в жалкую тряпицу, обессилить и обесславить. Единственное, что может его спасти, — внутренняя стойкость, доверие к собственному разуму и голосу своей совести.

Об этом, по мысли Булгакова, и должен напомнить нам арестант, стоящий со связанными руками перед креслом могущественного прокуратора. Бродяга-философ крепок своей наивной верой в добро, которую не могут отнять у него ни страх наказания, ни зрелище вопиющей несправедливости, чьей жертвой становится он сам. В нем, в Иешуа, — воплощение чистой идеи добра, упорной и неизменной веры, существующей вне обыденной мудрости, вопреки наглядным урокам жизни.

Эта идея добра, увы, должна показать свою слабость в житейской практике: святая — она не защищена, благородная — она терпит беду. Иешуа не устает твердить, что все люди добры и даже Иуда, предавший его, — «очень добрый и любознательный человек». Но уже в слове «любознательный», отмечающем излишнее любопытство соглядастая, скользнула легкая тень булгаковской насмешки над доверчивой близорукостью морали всепрощения.

Слабость проповеди Иешуа — в ее идеальности. Понтий Пилат отдал его в руки палачей, Марк Крысобой бил бичом, другие «добрые люди» улюлюкали ему вслед

на площади, когда прокуратор объявлял приговор. Но Иешуа упрям, и в абсолютной цельности его веры в добро есть своя сила. Огромный, жестокий и звероподобный, с изуродованным германской палицей лицом Марк Крысобой не кажется ему безнадежным: это лишь несчастный, обиженный судьбою и оттого ставший жестоким человек. «Если бы с ним поговорить... я уверен, что он резко изменился бы», — мечтательно произносит Иешуа.

Эта вера в то, что злых людей нет на свете и каждого человека можно удержать добрым словом от дурного поступка, слишком часто спотыкается на каменной дорожке жизни, оказывается обманутой и немощной. Сам Иешуа не в силах спасти жизнь хотя бы самому себе, убедив своей проповедью Понтия Пилата, готового его выслушать. А великан Крысобой с ним, верно, и разговаривать не станет. Что же касается Иуды, то он имел случай целый вечер поговорить с ним, но зедь это не удержало его от самого черного предательства. Нет, не изустной проповедью добра может быть спасен свет.

Что и говорить, Булгакову близка исповедуемая его героем вера в добрую природу человека, в конечное торжество справедливости. Но он вовсе не разделяет утопических надежд достичь этого лишь усилиями благородного внушения и проповеди или хотя бы ценой великой жертвы, самоотверженного примера. Автор «Мастера и Маргариты» не гонится в правоверные ученики Иешуа — он смотрит на жизнь земнее, реальнее, жестче. В прекрасной и человеческой проповеди Иешуа не нашлось места для наказания зла, для идеи возмездия. Булгакову трудно с этим примириться, и оттого ему так нужен Воланд, изъятый из привычной ему стихии разрушения и зла и как бы получивший взамен от сил добра в свои руки меч карающий. Воланд словно чувствует над собой власть Иешуа и, подчиняясь ей, переносит в ближайшую реальность закон справедливости. Но еще прежде ученик Иешуа Левий Матвей вопреки заветам учителя захочет немедленно покарать смертью предателя Иуду и не сделает этого лишь потому, что его уже опередит тайная служба прокуратора. Булгаков не хочет ждать, пока идея справедливости сама собою завоеует сердца, он торопит возмездие предательству.

Столь же как будто утопична и другая идея философа Га-Ноцри, которая так напугала прокуратора: его вера в то, что «всякая власть является насилем над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». Эти слова невыносимо слышать римскому наместнику. «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!» — громко, напоказ, словно защищаясь, кричит Понтий Пилат. Но этот яростный крик лучше всего выдает его неуверенность и поражение.

Беззащитный и слабый в земной жизни и личной судьбе, Иешуа велик и силен как провозвестник новых человеческих идеалов. По-своему рассказав легенду о Христе, Булгаков выделил в ней мотив христианского социализма, демократических тенденций, свойственных, как указывают историки, раннему христианству и столь разнообразно преломившихся в дальнейшей истории человечества. В отличие от евангельского Иисуса, уклончиво заявлявшего: «Богу — богово, кесарю — кесарево», Иешуа у Булгакова не знает компромисса с римской властью, а возникающее в его мечтах «царство истины и справедливости» имеет скорее социальный, чем религиозный характер. Вот почему и сама сцена казни, изображенная Булгаковым с наглядностью очевидца этого события, во многом независима от церковной традиции.

...Давно разошлась толпа любопытных, солдаты истомились от жары и скуки, солнце стало спускаться над Лысой горой, а на столбе, распятый и сжигаемый солнцем, доживает последние свои минуты Иешуа Га-Ноцри, так безрассудно веривший в добро. Бессильно свесив набок голову в размотавшейся чалме, мучимый слепнями, это умирает не всесильный и наутро воскресший бог, но смертный, немощный человек, пошедший до конца за свои убеждения, принявший за них крестную муку и тем придавший им непобедимую силу. Содержание этого образа все растет, поднимается в своем значении, и за той позорной казнью в Ершалаиме мы различаем в тумане двух тысячелетий взошедшего на костер Джордано Бруно, и казнимую Жанну д'Арк, и пять теней повешенных

на кронверке Петропавловской крепости — длинный ряд жертв, принесенных человечеством на его пути к справедливости и истине как выкуп за медленное и нелегкое их признание. Эти люди хотели остаться верными себе и своей идее, которая казалась их современникам слишком новой, дерзкой или опасной, и они должны были заплатить за нее своей жизнью и тем обеспечить своему делу посмертную славу.

Вот почему Иешуа, при всем своем бессилии, так силен и непобедим, вот почему одно воспоминание о нем, погубленном и забытом, приводит в содрогание всемогущего прокуратора и навечно приковывает к себе его «исколотую совесть». Нет, не только религиозного проповедника и реформатора видит в нем автор. Образ Иешуа у Булгакова воплощает в себе свободную духовную деятельность вообще.

Поэт-пророк, презираемый, оскорбляемый, гонимый, непонятый, побиваемый камнями, — старая тема поэзии, давшая неуываемые строфы в лирике Пушкина и Лермонтова.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды...

В Иешуа Га-Ноцри Булгаков видит такового пророка, вышедшего «до звезды» и опередившего свое время своей проповедью.

Так в перспективе времени возникает проблема духовного могущества в сравнении с авторитетом предрассудка, могуществом силы, в сущности говоря, та же проблема, которая занимала Булгакова и в биографии Мольера, и в пьесе о последних днях Пушкина.

Понтий Пилат всесилен, он так высоко вознесен над бродягой Иешуа, что может вовсе пренебречь им и волен в его жизни и смерти. Но это видимое могущество, которому, кажется, нет границ и предела, — лишь миг в исторической судьбе человечества. И, напротив, кругом несчастный, беспомощный и бессильный спасти себя Иешуа обладает непонятной властью, признать которую заставит время.

Тут мы начинаем понимать, какой тайный и мстительный смысл имеет неожиданный приступ тоски, охватившей прокуратора во время допроса, когда он понял, что арестанту несдобровать. «Мысли по-

неслись короткие, бессвязные и необыкновенные. «Погиб!..» Потом — «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них, о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску».

Позвольте, о чем идет речь, кто же «погиб»? Погиб, бесспорно погиб в этот миг не пожелавший себя спасти крохотным лицемерием Иешуа. Но отчего же тогда — «Погибли!..»? Откуда этот панический возглас, это множественное число, объединившее судьбу и подсудимого? Или прокуратор Иудеи, посылая Иешуа на казнь, гибнет вместе с ним?

Да, именно так, он гибнет в эту минуту, и гибнет навсегда, проклятый сознанием человечества сын короля-звездочета всадник Понтий Пилат. Вот отчего так отравляет его покой мысль о бессмертии, явившаяся ему впервые неведомо почему во время допроса и заставившая его похолодеть на солнцепеке.

Понтию Пилату суждено бессмертие, это неоспоримо. Имя его, пятого прокуратора Иудеи, останется в веках, тогда как имена четырех его предшественников умрут в человеческой памяти и их сможет назвать вам разве дотошный историк. Но это не то бессмертие, какое Понтий Пилат мог бы пожелать себе. Всадник Золотое копье — он остался в памяти людей не тем, чем сам в себе гордился: не подвигами на поле брани, не могуществом власти, не мудростью политика. В длинном ряде поколений его имя стало проклятием, символом фарисейства и трусости, неразрывно связанное с именем погубленного им человека. «Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга... — раз один, то, значит, тут же и другой! Помянут меня, сейчас же помянут и тебя!» Но лучше бы не знать Пилату такого бессмертия!

Тема всеислия творчества, посмертного и прочного торжества духовной деятельности не однажды возникает в булгаковском

романе в разных поворотах и регистрах, от трагических до фарсовых. «Достоевский бессмертен!» — развязно орет кот, опровергая, при полном сочувствии автора, трезвое замечание гражданки, проверяющей пропуски в Массолите, что Достоевский, насколько ей известно, умер. А бездарный поэт Рюхин мучится черной завистью, глядя на памятник Пушкину: «Повезло, повезло!.. стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...» Тут уже ревнивое чувство к бессмертию поэта переходит, похоже, в зависть и к позорной славе его убийцы Дантеса. На худой конец Рюхин готов прицепиться к бессмертию гения и въехать в века хотя бы так.

Мольер и Людовик XIV, Пушкин и Николай I, Пушкин и Дантес, Иешуа и Понтий Пилат — вот эти стоящие попарно в памяти Булгакова имена, где один, получившие бессмертие как заслуженную награду от человечества, одевают им как позорным клеймом других. Королю Франции было бы не слишком приятно узнать, что его имя спустя века люди чаще всего вспоминают по случаю юбилеев его придворного комедианта. Объект гонений и насмешек, камер-юнкер Николая Павловича делает сто лет спустя всемогущего императора второстепенным персонажем своей биографии. И Понтий Пилат готов на любое искупление, чтобы освободить себя от этой тягостной славы погубителя бродяги-философа из Галилеи, от ига позорного бессмертия.

Упрямая сила искусства, истины, творческого духа неизбежно прокладывает себе дорогу и торжествует в жизни, какие бы преграды, большие и малые, ни лежали на ее пути. Вот почему одним концом связанная с проблемой добра и зла, таинственной тенью Воланда, история Иешуа и Понтия Пилата другим своим концом прямо ведет нас к разгадке судьбы мастера и его возлюбленной.

6

Но ты, мой бедный и окровавленный мастер! Ты нигде не хотел умирать — ни дома и ни вне дома!

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера».

Герой, чьим именем назван роман, появляется лишь где-то в середине первой части книги, и явление его внезапно и странно: в больничном халате, пугливо озираясь, он заглядывает в палату Ивана Николаевича

с балкона, окружающего по фасаду клинику Стравинского.

В описании внешности героя вдруг промелькнет что-то отдаленно знакомое: «бри-тый, темноволосый, с острым носом, встре-

воженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми». Это похоже на попытку скрытого автопортрета — совсем другое лицо и в то же время очень знакомое. Будто записанное художником поверху полотно: снимите верхний слой красок, промойте холст — и вы увидите профиль автора «Дней Турбиных». То же можно сказать и обо всей истории жизни мастера, превратностях его судьбы: за ними угадывается немало личного, выстраданного, биографического, но преображенного искусством и возведенного, как говорили в старину, в «перл создания».

Такая близость к герою, доставляющая свои выгоды, должна была в чем-то и стеснять писателя, привыкшего рельефно обрисовывать типы обозримой со стороны натуры, и оттого его главный герой — чуть условен, расплывчат, будто намеренно растушеван, чтобы не слишком напоминать своего создателя, а вместе с тем удержать и воскресить мир личных впечатлений и переживаний автора. В фигуре мастера меньше живой плоти, реальных подробностей, чем то привычно нам у Булгакова. Окруженный реальным бытом, мастер в то же время высоко вознесен над ним. Но некоторая условность и бесплотность героя искупается поэтической значительностью двух мотивов, двух тем, питающих этот образ: творчества и любви. Булгаков назвал свой многолюдный и многослойный роман именами мастера и его возлюбленной. И это не просто название, но как бы и посвящение, не только дань сюжетной роли двух героев, но выражение задушевной стороны жизни автора.

В посторонних глазах мастер должен казаться человеком «не от мира сего». Он весь во власти воображения, способного вызвать из немоты тысячелетий тени Иешуа и Понтия Пилата. Работа, творчество — всепоглощающая его страсть.

Летят за окнами квартирки в доме у застройщика дни и недели, стремительно сменяют друг друга времена года: то вырастут сугробы у забора и заскрипит снег под окнами, то солнце заглянет в подвал, и потекут весенние потоки, угрожая залить тихий приток, и расцветет во дворе куст сирени, — а мастер не поднимет головы над рукописью.

Он в вечной тревоге, в волнении не успеть, в беспокойстве о том, чтобы лучше сказать свое слово. Роман не сулит ему скорого

признания и успеха; его награда — в другом. Ему суждено пережить лишь одну, кратчайшую минуту своего торжества, гордости тем, что он верно угадал своих героев и воскресил угасшее прошлое. «О, как я угадал! О, как я все угадал!» — обрадуется он, услышав рассказ Бездомного о Понтии Пилате.

Мастер упорно отклоняет от себя честь зваться писателем-профессионалом. Но это не скромность, а гордыня. То, ради чего он пишет, для него не беллетристика, не средство заработка или сочинение «на потребу», а род подвижничества, добровольно принятого обета. С настороженным и едва ли не враждебным чувством относится он к писательской корпорации, к профессиональной литературной среде. Еще не зная стихов Ивана Николаевича, он отчего-то заранее убежден, что они отчаянно плохи («чудовищны»), — неожиданно соглашается Иван, и умоляет его бросить писать. Он почти обижается, когда его собеседник признает в нем собрата по перу.

«Вы писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:

«Я — мастер ..»

Мастер для Булгакова — больше, чем писатель. Слово это объемно, оно гулко отзывается разными оттенками смысла. В нем слышно уважение к образцовому умению, совершенному владению ремеслом. Но не только это. Есть в нем и оттенок посвященности, служения некоей высшей духовной задаче, начисто чуждой той праздной жизни возле искусства, какую ведут литераторы за столиками «Грибоедова» или в коридорах Массолита. В каком-то смысле мастером можно было бы назвать и Иешуа.

Некоторые подробности внешности мастера — его черная засаленная шапочка с вышитой Маргаритой желтой буквой «М», символика молчаливых жестов и то, что он скрывает свое имя, — заставляют уловить в слове «мастер» и еще один, неожиданный для читателя, дальний исторический отголосок. «Мастер» — слово, бытовавшее в обществе «свободных каменщиков», масонов начала прошлого века. Среди напечатанных впервые в 1933 году документов декабриста Батенькова Булгаков мог прочесть его «Записку о масонстве», в которой, между прочим, говорилось: «Масоны сохраняют пре-

данис, что в древности убит злодеями совершенный мастер, и надеются, что явится некогда мастер, не умом только перешедший через смерть, но и всем своим бытием. Такое предание, должно быть весьма не новое, и составляет стимул надежды на высшее на земле просвещение и цивилизацию, на освобождение от неотвратимого жала смерти при шестивии судеб человеческих к свету и правде через тьму и рожденную в ней отрицательную природу зла...»¹.

Не должна ли напомнить нам эта легенда рассказ о казненном на Лысой горе философе Иешуа, получившем вторую жизнь две тысячи лет спустя под пером мастера? Я не вижу ничего невероятного в том предположении, что Булгакову, живо интересовавшемуся в те годы русской историей, могла попасть в руки книга о декабристах с рассказанным в ней масонским преданием. Но если даже тут простое совпадение, не следует пренебрегать им. Быть может, оно поможет нам понять тот торжественный, необыденный смысл, каким насыщено у Булгакова слово «мастер».

Презрение к жалкой суете и тщеславию, гордость своей задачей, сознание того, что добрая и смелая человеческая мысль никогда не погибнет и не угаснет, восхищают нас в мастере. Непрерывна нить духовной культуры, настоящее связано с прошлым бесконечной цепью, и стоит, как говорил Чехов, дотронуться до одного ее конца, как дрогнет другой.

Ближе глядяваясь в мастера, мы найдем в нем черты, родственные Иешуа: верность убеждениям, неумение, даже вопреки заглавной робости и страху, скрывать правду, внутреннюю независимость, так сильно вредящую его личному благополучию. Подобно бродяге из Галилеи, мастер чутко откликается на человеческое страдание, боль. «...Я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде,— говорит он Ивану Николаевичу.— В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик».

Но мы бы поторопились, если бы сочли мастера слепым последователем Иешуа. В одном, и очень важном, моменте они решительно расходятся. Герой Булгакова не

разделяет идеи всепрощения, ему трудно поверить в то, что всякий человек добр и надо забывать людям любую обиду. Оттого, наверное, он, рассказавший нам о бесконечной доброте Иешуа, сам находит себе покровителя и заступника в могущественном дьяволе — Воланде.

Вспомним, как странно реагирует мастер на скорбное повествование Иванушки об ужасной смерти Берлиоза. Его глаза вспыхивают злобой. «Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровнича!» — восклицает он в приступе непонятной ярости. Какое уж тут христианское прощение... Пожалуй, с самим Воландом недругам мастера показалось бы как-то уютнее!

Да и то сказать, мастеру было за что возненавидеть этот мирок. Пока он сидел в своем подвальчике с пером в руках, одной его заботой было сладить со своим романом, «угадать» героев, вдохнуть жизнь в свою книгу. Но романы пишутся, чтобы их читали; настает день, когда книге надо явиться в свет, показаться перед людьми, и как трудна бывает порой ее дорога к читателям!

У врат литературного мира мастера встречает секретарь редакции Лапшенникова со «скошенными к носу от постоянного вранья глазами». Беседующий с ним редактор больше интересуется безупречностью биографии автора, чем его рукописью, и задает мастеру «кидотский вопрос»: кто это надоумил его «сочинить роман на такую странную тему»? Рукопись читают близкие к журналу критики, и уже после того, как Лапшенникова возвращает автору его книгу, объяснив, что вопрос о ее публикации «отпадает», в газетах появляются статьи, клеймящие ненапечатанный роман. Критик Ариман бранит книгу мастера за попытку «апологии Иисуса Христа», литератор Лаврович призывает «ударить, и крепко ударить, по пилатчине», а Латунский превосходит всех своей грубостью, поместив статью под ядовитым названием «Воннговующий старообрядец». (Булгакову почти ничего не пришлось здесь выдумывать: у него под руками был достаточный материал рапповской критики такого рода. 298 враждебно-ругательных отзывов о своей писательской работе собрал в альбоме вырезок автор «Дней Турбиных».)

¹ Цитирую по книге «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. II, стр. 118. М. 1933.

Не мудрено, что, подобно Максудову из «Театрального романа», впервые попав в мир литературы, автор вспоминает потом о нем «с ужасом». В нем кипит ненависть к Лапшенниковой и Ариману, Лавровичу и Латунскому. Пережив трагедию непризнания, преследований в литературной среде, мастер не может легко смириться и простить своих недругов. Он мало похож на праведника, христианина, страстотерпца. И не оттого ли в символическом конце романа Иешуа отказывается взять его к себе «в свет», а придумывает для него особую судьбу, награждая его «покоем», которого так мало знал в своей жизни мастер.

Но книга должна пережить своего создателя — ведь «рукописи не горят». И хотя главный враг мастера — Латунский куда ничтожнее и мельче Понтия Пилата, гонителя Иешуа, а сама проблема, будучи перенесена в близкую современность, решается Булгаковым в ином, более частном и скромном, плане, мы различим в рассказе о судьбе мастера пульсацию знакомой мысли: подлинная духовная сила неизбежно одолеет и докажет свою правоту. Что бы ни случилось, книгу мастера еще будут читать люди, а Латунский получит по заслугам от потомства: его имя будет окружено презрением и никогда не простится ему его злобный навет.

Но утешительность этой веры в будущее не заглушает бед и тревог настоящего. И пока справедливость не пришла, пока не настал ее срок, что может поддержать уставшего, ослабевшего мастера? Вера в важность своего труда. Внутренняя стойкость. И верность, любовь хотя бы немногих, хотя бы ее одной, Маргариты, которая поможет поверить, что ты живешь не напрасно, утешит и охранит в минуту смятения и растерянности.

Как этого мало! — воскликнем мы. Как ненадежна, хрупка такая гарантия жизни и творческого труда! Да, это так. И сам автор, наверное, сознавал, что это так. Но в иных случаях — это все.

Любовь является к мастеру как неожиданный дар судьбы, спасение от холодного одиночества. Теперь их двое, и ничто уже, кажется, не может быть страшно им, пока они вместе. Широко и свободно льется лирическая речь Булгакова:

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной

любви! Да отрежут лгуну его гнусный язык!

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»

Булгаков словно предвкушает радость рассказать о любви поэтической и вдохновенной, любви с первого взгляда, «как только в романах бывает».

Женщина в черном весеннем пальто, несшая в руках «отвратительные, тревожные, желтые цветы», поразила мастера необыкновенным, никем не виданным одиночеством в глазах. Только что они шли чужие друг другу шумной Тверской среди тысяч других незнакомых людей и вдруг оказались одни в скучном, кривом переулке, где не было ни души... Почти физически ощутил этот переход от гудящего многолюдья улицы к настороженному безмолвию. «Любовь выскочила перед нами, — вспоминает герой, — как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!»

Чудо то, что во всем этом рассказе о заурядном уличном знакомстве нет ни одной пошлой, избитой интонации. Прозвучит низкий, со срывами женский голос: «Нравятся ли вам мои цветы?» И неожиданно прямой, лишенный тени заигрывания ответ мастера: «Нет». Двум одиноким людям, как будто давно ждавшим этой встречи, незачем приотворяться. И летят в грязную канаву желтые ветки мимозы, а Маргарита, спасаясь от постылой жизни с нелюбимым мужем в готическом особняке, спасает и его, мастера.

Явившаяся как внезапное озарение, мгновенно вспыхнувшая любовь героев оказывается долговечной. В ней мало-помалу открывается вся полнота чувства: тут и нежная влюбленность, и жаркая страсть, и необыкновенно высокая духовная связь двух людей.

Женщина, ставшая «тайною женою» мастера, возникает в его жизни очень вовремя. И не для того только, чтобы готовить по утрам кофе и красиво накрывать завтрак на овальном столе. Подобно Левии Матвею, она готова бросить все по дороге, как когда-то сборщик податей бросил в пыль свои деньги и как она сама бросила цветы в канаву, чтобы идти за мастером и, если надо, погибнуть с ним вместе. Ее вера в роман о Понтии Пилате — настоящий

подвиг верности. Она — его единственный читатель, его сочувственный критик, его защитник и наследница, и пока она с мастером — пусть все латунские на свете захлебнутся в бессильной ярости — он не смят, он работает, он напишет великую книгу!

Нежное, благодарное чувство внушает нам автор к этой женщине, и, надо думать, не зря: верность в любви и стойкость в творчестве для Булгакова, в сущности, явления одной природы. Не оттого ли мастер и его возлюбленная так хорошо понимают друг друга?

Тщетно будет потом мечтать Маргарита, чтобы время пошло вспять и чтобы все снова «стало как было». Никогда не вернутся больше эти дни их недолгого счастья в подвальчике у застройщика, заполненные работой мастера над романом и ее любовью к нему.

Маргарита не может отвести от мастера грозящих ему невзгод. Но откуда хватает сил, она пытается бороться с его ужасной и непонятной болезнью, отравляющей всю их жизнь. Что это за болезнь? Откуда она пришла? Мастер называет ее страхом.. «Холод и страх, ставший моим постоянным спутником,— рассказывает он Ивану,— доводили меня до иступления», «...страх владеет каждой клеточкой моего тела».

Мастера одолевают мрачные предчувствия. Темными осенними вечерами к нему приходит тоска и давит его подобно спруту. В такую минуту он бросает в огонь рукопись своего романа. И только Маргарита может еще облегчить ему эти приступы злобнейшей болезни, только она способна подержать в нем волю к жизни и не дать угаснуть слабому огоньку надежды. И она выхватывает из печи остатки обуглившейся рукописи, чтобы сохранить жизнь лучшей части души мастера — его роману.

С болезнью мастера трудно бороться потому, что она не относится к роду индивидуальных душевных недугов. Ведь указания на сходную болезнь мы найдем и у драматурга Афиногенова в пьесе «Страх», и у Леонида Леонова в драме «Метель». Этот страх возбуждали носившиеся в воздухе бациллы подозрительности, недоверия, ожидание внезапного ночного стука в дверь — то есть те приметы времени, которые мы относим теперь к атмосфере репрессий, нарушений законности в конце тридцатых годов.

Вот почему Маргарита способна бороться с болезнью мастера лишь до какой-то черты, за которой и она бессильна. Единственное, что еще в ее власти, это разделить уготованную ему судьбу до конца. Но однажды, простившись в полночь с мастером и пообещав прийти на другое утро, она не находит его в подвальчике у застройщика. «Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно!» — осыпает себя упреками Маргарита. (Левий и Маргарита — эту параллель не случайно проводит Булгаков.)

Куда, однако, исчез мастер ноябрьской ночью из своей квартирki? И почему он снова, зябко переминаясь в пальто с оборванными пуговицами, оказался в январе под окнами своего дома? Где провел он эти три долгих месяца? И почему, услышав звуки патефона, которые неслись из его подвальчика, он круто повернул со двора и пошел пешком через морозный город в клинику Стравинского?

Тут много недоговоренного и смутного, о чем можно только догадываться. Ясно одно: окончательно погубила мастера статья Латунского, прочтя которую находчивый Алоизий со странной добавкой к имени — Могарыч (го ли это отчество, то ли фамилия, то ли указание на род занятий?) живо смекнул, что можно, не прилагая больших усилий, освободить для себя квартирку мастера. Похоже, что автор не слишком даже и гневается на Алоизия, понимая, что по его понятиям тот иначе поступить не мог. В конце концов печатная ябеда ведет порой к последствиям худшим, чем та, что сочиняется малограмотным прошельгой в одном экземпляре. Во всяком случае мерзкое чувство страха приходит к мастеру как раз после чтения им статей о своем романе.

Но, может быть, мастер просто трус и заслуживает того самого суда, каким наказан в романе за трусость Понтий Пилат? Нет, трусость и страх, при видимой родственности этих понятий, совсем не одно и то же. Мастер не труслив. Страх может довести его до безумия, но не толкнет к малодушному бесчестью. Потому что трусость — это страх, помноженный на подлость, попытка сохранить покой и благополучие любой ценою, хотя бы и уступками совести.

Мастер никогда не поступится своей совестью, честью. И все же страх разрушительно действует на человеческую душу, в особенности на душу художника. Он вызы-

бает отвращение к своему труду, апатно, тошнотворное чувство затравленности. Еще вчера гордившийся своим романом мастер охладевает к любимой работе и готов ее возненавидеть. Он не хочет вспоминать о романе, чтобы не причинить себе боль, и после трехмесячной отлучки из дому, отравленный страхом, добровольно отправляется в клинику Стравинского — самое удобное место для тихих размышлений и откровенных разговоров с такими же безумцами, как он сам. Страшна эта апатия мастера, угнездившееся в его душе равнодушие, ужас удовлетворения четырьмя стенами палаты для человека, мечтавшего обойти и объехать весь Земной шар, все перевидеть и узнать самому...

Но Маргарита сопротивляется этому опеченению души, она не хочет смириться с гибелью мастера. Страх, внушающий покорность и бессилие, она пытается рассеять и победить своим мужеством и верностью. Громко заклинает она судьбу: «За что это, за что? Но я тебя спасу, я тебя спасу».

И чтобы не напрасной была эта мольба, чтобы сбылось это обещание, автор переступает в своей книге некий порог, как в сказочном спектакле, переменяет декорации, и кончается печальная явь, и начинается волшебный сон Маргариты — ее мечта, желание, надежда, пересозданные художником в фантастическую реальность.

В этой второй части романа читателя ждет такое изобилие фантазмагорических подробностей, что оно рискует даже показаться чрезмерным: нескончаемый весенний шабаш, хороводы русалок, козлоногих и ведьм, оркестр из лягушек, «какой-то подозрительный телефон из двух сучков», «буланая (!) открытая машина», поданная Маргарите и приземлившаяся на Дорогомиловском кладбище, чудесные мраморные залы, гробы с отравителями, убийцами, висельниками, вылетающие из Воландова камина, а рядом нагие дамы, купающиеся в бассейне с шампанским, обезьяний джаз и прочая, и прочая, и прочая. Похоже, что Булгакову так любя вся эта комическая чертовщина, что его сам собою несет сумасшедший и головокружительный полет фантазии; он не в силах удержать себя и готов бесконечно наслаждаться напором озорного воображения, игрой мистического вы-

мысла. Но в этих же фантастических главах найдут себе место существенные мысли книги, которые читатель не в праве проглядеть или обойти.

Ради встречи с мастером Маргарита готова стать ведьмой, и она совершает свое веселое путешествие на метле по Арбату. Летя над электрическими проводами и вывесками нефтелавок, она чувствует себя теперь в силах осуществить все то, что прежде казалось несбыточным. Если она и не отравила Латунского, как обещала, то по крайней мере произвела чудовищный разгром в его фешенебельной квартире. Если ей и не удалось спасти мастера, то во всяком случае на весеннем балу полнолуния он был возвращен ей, и вновь чудесным образом воскресла сожженная им рукопись.

Так, пусть хотя бы в сказочном, фантастическом сне, Маргарита восстанавливает порушенную справедливость, доказывая свою «настоящую, вечную, верную любовь», ту самую, какую обещал показать нам автор.

Но тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит, говорится в книге. И Маргарита делит участь мастера до конца, погибая в одно мгновение с ним.

Булгаков трижды возвращается к этой роковой минуте. Он рассказывает нам, как, чарами волшебства вновь оказавшись с мастером в его квартирке, счастливая Маргарита пьет со своим возлюбленным фалернское вино, отравленное Азazelло и мгновенно переносящее героев в иной мир.

Но как бы не удовлетворяться этой условно-поэтической картиной, Булгаков дает и другую, менее красивую и клинически более точную версию смерти обоих. В тот миг, когда больной, помещенный в 118 номер клиники Стравинского, скончался на своей койке, в тот самый миг на другом конце Москвы в готическом особняке вышла из своей комнаты, чтобы позвать домработницу Наташу, и внезапно упала, схватившись за сердце, Маргарита Николаевна.

Теперь в нашей памяти они навсегда останутся вместе, даже и после смерти, мастер и его подруга, — как в утешающем древнерусском сказании о Петре и Февронии, как в пятой песне «Божественной комедии» Данте, где носятся в небесном эфире две навечно слившиеся тени Паоло и Франчески.

...Несбывшееся — воплотить.

А. Блок.

Теперь, когда перед нами прошли судьбы всех главных героев книги, пора отметить то общее, что сближает многообразные и на первый взгляд автономные пласты повествования. И в истории московских похаживаний Воланда, и в духовном поединке Иешуа с Понтием Пилатом, и в драматической судьбе мастера и Маргариты неумолчно звучит один объединяющий их мотив: вера в закон справедливости, правого суда, неизбежного возмездия злу.

Булгаков верит в этот закон с примерной истовостью. Справедливое воздаяние за добро и зло служит у автора средством развязки всех узлов и разрешения всех конфликтов. В такой безусловной вере в справедливость заключена большая моральная сила, но есть в ней и какая-то трогательная в своей наивности беспомощность. Верно, многое надо было пережить и во многом отчаяться, чтобы призвать на помощь сатану и сделать Воланда с его шайкой добрым разбойником наподобие Робина Гуда.

Справедливость в романе неизменно празднует победу, но достигается это чаще всего колдовским, непостижимым образом. Я уже говорил, какой грозой становятся Воланд и его свита для всякого рода грязных людишек, мошенников и лжецов. Но, вероятно, апофеоз карательной миссии Воланда — преследование им ябедников и соглядатаев. На великом балу у сатаны Азazelло, не ведая жалости, убивает барона Майгеля, прославившегося в Москве чрезмерной любознательностью и «не менее развитой разговорчивостью», и мессир с наслаждением пьет из чаши кровь напросившегося к нему, чтобы подсмотреть и подслушать, гостя. А немного спустя Воланд вызывает пред грозные свои очи тень человека в одном белье и с чемоданом в руках, близкого к умонаступлению. Это знакомый нам Алонзий Могарыч, написавший жалобу на мастера, чтобы переехать в его комнатушки. «Я ванну пристроил...— стуча зубами, кричал Могарыч и в ужасе понес какую-то околесину,— одна побейка... купорос...» Но жалкие оправдания ябедника тут ему не в помощь, и вот уже натерпевшегося страху Алонзия сдуло неведомо куда, а квартирка в особняке у застройщика освобождена для мастера и Маргариты их великодушным покровителем.

Нравственное чувство читателя удовлетворено: быть может, так оно и не было, скорее всего, что не было, но ведь так должно было быть!

И тот же закон справедливости, воздаяния за добро и зло неукоснительно торжествует в стародавней истории Иешуа Га-Ноцри. Булгакову показалось мало, чтобы предатель Иуда казнил сам себя, повесившись на смоковнице, и, вразрез с версией евангелия, он убивает его с помощью подсланных Пилатом наемных убийц. Слишком большой честью для Иуды было бы разрешить предателю раскаяние и самоубийство, внушенное угрызениями совести. Зато Понтия Пилата автор накажет бесконечной мукой, заставив две тысячи лет терзаться бессонницей, головной болью и пыткой вечного воспоминания о той роковой минуте, когда он выдал палачам Иешуа. Пусть же теперь трусливый властитель Иудей посидит и покорчится в своем каменном кресле на безрадостной плоской вершине, видя всегда перед глазами невысыхающую чернокрасную лужу — то ли пролитое когда-то неловким рабом вино, то ли напоминание о невинной крови Иешуа — и ничего на свете не желая более, чем прекратить эту пытку вечности.

А неожиданная и даже чуть смешная в своем неистовстве, но правая месть Маргариты Латунскому? Убедившись, что она не застала его дома, Маргарита наказывает недруга мастера яростно и притом чисто женски. Она колотит окна в его квартире, разбивает роуля, открывает краны с водой, раскалывает шкафы и, наконец, топит в ванне новый костюм критика. Что ужаснее этой картины разорения и ущерба в уютно обжитом доме может представиться женскому воображению?

Колдовским восстановлением справедливости выглядит и возвращение мастеру его сожженной рукописи, соединение мастера и Маргариты под кровом любимого их дома. Устроивший все это чудо Воланд, улыбаясь довольной улыбкой благодетеля, желает счастья героям романа, как добрый их дух, их кум и сват. Кстати, и к литературной судьбе мастера он относится с куда большим вниманием, чем редактор журнала, и заинтересованно расспрашивает о его дальнейших творческих планах. «Но ведь надо

же что-нибудь описывать?» — укоризненно говорит Воланд мастеру. «Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы, что ли, Алоизия...»

К Маргарите же дьявол определенно питает слабость: эта женщина правится ему своей отчаянной решимостью и гордостью. Явившись ради мастера на бал к сатане, Маргарита не спешит просить Воланда о встрече с ним. И, довольный выдержанным ею испытанием, мессир подает ей совет, которому она, впрочем, инстинктивно следовала и прежде: «...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут».

Выходит, что всеведущий и скептический Воланд искренне верует в то, что каждому воздастся по делам его, и поощряет гордое ожидание расплаты. Все сбудется для того, кто умеет ждать! Недурная философия для сатаны.

В законе справедливости, трубадуром которого выступает дьявол, есть, впрочем, одна сторона, неприятная ему самому. Воланд ставит правилом своей деятельности возмездие, воздаяние, но совершенно глух при этом к идее милосердия. А между тем без милосердия, как и без возмездия, убежден Булгаков, не может жить в мире справедливость. И женскому сердцу Маргариты дано в романе выразить эту мысль.

Маргарита отказывается от любезного предложения Воланда покарать Латунского мгновенной смертью и успокаивает Азazelло, уже вскочившего с места и готового по первому слову королевы разрядить в прохвоста свой револьвер. Ей достаточно и ее скромной женской мести — разгрома, учиненного в квартире критика.

Еще более досаждают Воланду история с несчастной Фридой. Эта Фрида, обманутая хозяином кафе и удушившая платком ребенка, — вариация гётевской Гретхен. Маргарита обещает ей свое заступничество и не может обмануть. Она обращается к Воланду с просьбой помиловать Фриду. Но Воланд не в силах тут помочь, прощать должно другое ведомство, и это легче сделать, пожалуй, самой Маргарите, а он закроет глаза на эту ее прихоть.

Милосердие и всепрощение — не одно и то же. В отличие от Иешуа, заранее простившего всех и вся, Маргарита не склонна прощать зло. Ей ведомо сладкое чувство мести, но сердце ее жалостливо, отходчиво.

Что поделаешь, если Маргарите жалко Фриду, которой каждое утро уже тридцать лет подряд подают отравленный платок, напоминая о ее преступлении. Ей жаль и Понтия Пилата, сидящего две тысячи лет в своем каменном кресле. Справедливые эти наказания, бесконечно лежащие во времени, кажутся ей жестокими и едва ли не превьсившими вину.

Человеческая чувствительность готова свести на нет все усилия дьявола по наказанию преступников. И понятно, что милосердие Маргариты вызывает раздражение Воланда и поддакивающего ему кота: видно, надо плотнее затыкать все щели в спальне сатаны тряпками, если даже туда грозит просочиться коварное милосердие. Но любопытно, что сам Воланд, недовольный попыткой заступничества Маргариты за человека, сидящего в каменном кресле, мимоходом формулирует главную мысль романа в словах, чеканных, как заповедь. «Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд. — Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир».

«Все будет правильно, на этом построен мир» — в этих словах, звучащих из уст дьявола, еще раз подтверждена неизбывная вера автора в закон справедливости. Но, как мы теперь начинаем понимать, справедливость в представлении Булгакова не сводится к наказанию, расплате и воздаянию. Справедливостью распоряжаются два ведомства, функции которых строго разделены: ведомство возмездия и ведомство милосердия. В этой неожиданной метафоре заложена важная мысль: зовя отмщение, правая сила не способна уживаться жестокостью, бесконечно наслаждаться мстительным чувством торжества. Милосердие — другое лицо справедливости.

Понтий Пилат, как и Фрида, получает в конце концов прощение, и Воланд говорит мастеру, что теперь он может закончить свой роман одной фразой. «Свободен! Свободен!» — кричит мастер, сложив руки рупором. Эти слова прощения, напоминающие голос с неба «Спасена!» в «Фаусте» Гёте, и есть последние слова романа мастера о Понтии Пилате.

Но роман самого Булгакова пока не закончен, и нам предстоит напоследок сказать еще кое-что о нем.

Разбор романа привел нас к мысли о «законе справедливости» как о главной идее

булгаковской книги. Но существует ли и впрямь такой закон? В какой мере оправдана вера писателя в него? И нет ли в признании нравственного закона некой доли религиозным пережиткам?

Нет, чтобы верить в справедливость, не нужно быть непременно религиозным человеком. Известно, что когда Лермонтов восклидал, обращаясь к убийцам Пушкина:

Но есть и божий суд, наперсники
разврата!
Есть грозный судня. он ждет...—

этим выражалось не его религиозное чувство, но вера в неизбежное возмездие злу. С не меньшим основанием можно сказать это о Булгакове.

Наблюдение над реальным ходом жизни, историческим прошлым и настоящим часто заставляло людей подмечать одно удивительное и на первый взгляд необъяснимое явление: как бы неблагоприятно для истины ни складывались обстоятельства, рано или поздно история все расставляет по местам, правда выходит наружу и превращает в пыль самую искусно сплетенную клевету и ложь, а талант, смелая мысль, творчество торжествуют над своими завистниками и ненавистниками. Правду не спрячешь. Это неизменное в перспективе времени восстановление справедливости, отражающее по существу оптимистическую идею прогресса человеческого общества, разными мыслителями, философами и литераторами обозначалось по-разному: возмездие, суд истории, ирония истории. Особые обстоятельства — и лично биографические, и общие — усилили интерес Булгакова к этой коренной морально-философской проблеме.

Известно, что Булгаков тяготел к гуманизму общечеловеческого склада. Он никогда не был писателем с осознанным политическим мировоззрением. Упреки в том, что он далеко не все понял и принял в новой революционной действительности, по большей части справедливы. Изображение социальной конкретности новой жизни — наиболее уязвимая сторона его таланта.

Но будем, в согласии со старой марксистской традицией, судить художника не по тому, чего он нам не дал в своем творчестве, а по тому, что он нам дал. «Общечеловеческое» искусство может оказаться средством ухода от социальных вопросов или, напротив, приближения к ним. Порой гуманизм общечеловеческого склада, как то

бывало у Толстого и Достоевского, способен бросить новый свет и на само социальное. Булгаков приводит нас в мир моральных ценностей — совести, чести, справедливости, — и здесь нам важны его наблюдения и открытия, кстати сказать, безразличные и для жизни самого общества.

Это не значит, что Булгаков разрешил те огромные проблемы, какие перед ним стояли. Скорее наоборот, он нагромоздил на старые вопросы новые и дал им в сюжете книги чисто условное, иллюзорное разрешение. Но заслуга его в том, что он решился прикоснуться к самым крупным нравственно-философским проблемам времени, не умея о них забыть и о них не умалчивая. Он поставил их в центр блестящего по форме и неожиданного романа, надеясь приковать к ним внимание своих читателей.

Писатель испытывал досаду и боль, встречая людей, которые, формально исповедуя верность общественному долгу, освободили себя от личной нравственности и живут, ни о чем не задумываясь. «Нам с тобою думать неча, если думают вожди», — отметил черты той же психологии Маяковский. Такая вера позволяла, не нарушая общественных приличий, порадеть и о своей пользе, соблюсти корыстный интерес.

Пойманный с поличным на взятке Никанор Иванович Босой сознается: «...Брал, но брал нашими советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало... Но валюты я не брал!» Заметьте, как тонко проводит Никанор Иванович это различие своего самоощущения как советского гражданина и как заурядного мошенника. Ему кажется, что он заслужит снисхождение, если ему удастся отделить свою общественную нравственность от личной.

Когда-то человека удерживала от дурных поступков вера в бога, во второе пришествие, страх наказания на том свете. Освобождение от этого морального ига не всех стало душевно подготовленными. «Если бога нет, то все дозволено», — рассуждали герои Достоевского. Но социалистическая мораль основана совсем на ином. И сам Булгаков думает иначе. Раз бога нет и нет насаждаемого церковью страха возмездия — это не значит, что все нравственные ценности относительны, а человеку остается верить лишь в справедливость, регулирующую административной дисциплиной, и ожидать возмездия в виде сотрудника угрозыска, который схватит мошенника за руку.

Справедливость, являющаяся в образе милиционера, еще не покрывает всех нравственных потребностей человека и не служит гарантией душевного благоустройства. Так же, как не может служить достойным средством насаждения нравственности «чудо, тайна и авторитет» — старый католический способ воздействия на массовую психологию.

Человек должен привыкнуть везде и всегда поступать справедливо, по совести, даже без всякого понуждения извне, и в этом случае бесспорная моральная ему опора — это сознание того, что жизнь и история развиваются по законам справедливости; при всех своих противоречиях, попятных движениях и обходах, история неизбежно воздает по заслугам всем и вся.

Теперь, глядя из шестидесятых годов, мы лучше, чем когда-либо, сознаем, что коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы, поскольку речь идет о победе новых начал в сознании каждого из людей, составляющих наше общество. Общественная нравственность неотделима от личной. Ведь и сама социальная справедливость в конечном счете не что иное, как переведенное в масштаб всего общества чувство личной справедливости, морального идеала.

Вот почему написанная в тридцатые годы книга Булгакова оказалась удивительно ко двору в литературе шестидесятых годов, когда обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной нравственности.

Конечно, на романе Булгакова лежит отчетливая печать его времени и его личной судьбы. В художественной философии книги нашли отражение и литературные невзгоды, и тяжкие предсмертные раздумья автора. Писатель веровал в несомненное торжество справедливости, в том числе и по отношению к себе, к своему творчеству. Он знал, что рано или поздно настоящее искусство всегда завоевывало себе признание. Рано или поздно... Но каждому хочется, чтобы это случилось раньше и во всяком случае при его жизни. Нельзя жить вечным ощущением приносимой жертвы и упованием на грядущую справедливость. При некотором перенапряжении ожидания завтрашнего дня, веры, подминающей под себя живую плоть настоящего, является невольная досада на

жизнь, ощущение тщетности своего труда, апатия и опустошенность.

И чтобы прогнать от себя эти чувства, расслабляющие волю к творчеству, Булгаков погоняет время, торопит справедливость, которая должна восторжествовать на этот раз немедленно, хотя бы в его поэтической фантазии.

Так в русской народной сказке утешение приходило волшебным образом, и даже тогда, когда сюжет вовсе не обещал счастливой развязки, сказка завершалась необъяснимо благополучным концом, достойно вознаграждая добро и наказывая зло. В этом было не просто желание убаюкать, успокоить того, к кому обращалась сказка, но и та неизменная вера в конечное торжество справедливости, которая всегда жила в народе.

Пусть личная литературная судьба Булгакова не сулила ему утешений. Но за своим письменным столом он был создателем подвластного ему мира, демиургом своей действительности, где все могло быть фантазией, выдумкой, небылицей, кроме одного: реальных отношений людей и высказавшихся в книге моральных идеалов автора.

Как привлекала Булгакова эта способность Воланда и его свиты мгновенно распорядиться по-своему с жалкими и ничтожными людишками! Пусть не думают они, что отвергнутся от правого и скорого суда! И с каким удовольствием награждал Булгаков Воланда пророческим знанием того, что ждет впереди других героев книги. «Грядущие годы таятся во мгле», и люди редко могут сказать с уверенностью, что станется с ними завтра. Так, ничего не подозревал о близости своего ужасного конца рассудительный Берлиоз. Но подсевший к нему на скамейку иностранец мог рассказать ему это все заранее.

Пророчество будущей судьбы, способность знать наперед, что случится с героями, как знают это Воланд и Иешуа, — это в мистифицированной форме та же идея о неотвратимости суда истории, напоминание о том, что не все исчерпывается одним нынешним днем.

Мы уже говорили, что в благородной вере Булгакова в закон справедливости есть наглядный недостаток: ее созерцательность, слабость, наивность. Не реальные способы борьбы за утверждение справедливости в отношениях людей проповедует Булгаков:

скорее он утешает себя, наслаждаясь ее сказочным, волшебным торжеством.

Как ни жаль, но что-то не слышно, чтобы безотказно действовал закон, согласно которому никого и ни о чем не надо просить: «Сами предложат и сами все дадут». И книги не печатаются сами собою. И у недобросовестных, лживых критиков целы, наверное, все окна в их квартирах. И тираны, подобно Понтию Пилату, не всегда мучаются бессонницей и головной болью, страдая от «исклотовой совести». Часто у них крепкий сон и хороший аппетит.

Но ведь надо понять и автора — он не мог оставить их безнаказанными. Они должны были понести свою кару, они не могли уйти от возмездия просто так, и он испытал бы страшнейшее разочарование, если бы его в этом разуверили. Так пусть хотя бы в книге ему позволено будет расправиться с Латунским, который пока еще так неуязвим в жизни, и покарать мукой совести Понтия Пилата, спокойно почившего некогда в сознании исполненного долга и ничего не подозревавшего о позднем суде над собою потомства.

Эта возможность наказания, немедленно восстановления справедливости в сюжете романа остается привилегией Воланда. Но той же привилегией обладает и еще одно лицо: писатель-демиург, властный распоряжаться судьбами своих героев. Наш автор все знает о них наперед и каждому вправе определить заранее его долю.

Делает он такой выбор и для своего мастера. В последних главах книги чувствуешь всю горечь близящегося расставания с жизнью, последнего расчета с ней. В предисловии к публикации романа К. Симонов верно писал, что есть в этой книге «какая-то предсмертная ослепительность большого таланта, где-то в глубине души своей чувствующего краткость оставшегося ему жизненного пути».

Но при всей бесконечной печали конца «Мастера и Маргариты» — смерти обоих, когда сцена действия будто задерживается глухим, черным пологом, есть в последних главах книги и какое-то мудрое, добытое добрым сердцем утешение.

Мастеру и его подруге не суждено остаться в подвальчике у застройщика; им не придется идти и вслед за Иешуа «в свет» — ведь мастер не заслужил «света». Воланд обольщает их другим «вечным домом», где мастер будет гулять с Маргаритой под вшнями, начинающими зацветать, а вечерами слушать музыку Шуберта, где он будет писать при свечах гусиным пером и, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде вылепить нового гомункулуса... «По этой дороге, мастер, по этой!» — ободряет его Воланд.

Мастеру дан «покой», но покой странный, деятельный. Снова работа за письменным столом, снова раздумье и снова познание. В этой иной жизни мастеру суждено насладиться тишиной и сосредоточенным трудом, нежностью своей подруги. А Маргарите уже видится и венецианское окно их дома, и вьющийся по крыше виноград, тихие прогулки вдоль ручья, а ночью спокойный сон мастера в его засаленном и вечном колпаке... Тут слишком много примет комфорта, плоти, быта, только что проклятой и оставленной, но обожаемой земной жизни: какое-то подобие подвальчика у застройщика, но лучше, краше, желаннее.

Пусть это не прозвучит выпренно, потому что чистая правда: здесь победа искусства над прахом, над ужасом перед неизбежным концом, над самой временностью и краткостью человеческого бытия. Победа как будто иллюзорная, но бесконечно важная и утоляющая душу.

Не менее дорог, впрочем, и иной итог: судьба романа, предсказанная в книге. «...Ваш роман вам принесет еще сюрпризы», — обещает Воланд мастеру, прощаясь с ним после волшебного бала. Мы читаем эти слова так, будто они обращены к роману «Мастер и Маргарита».

Поэтическую силу воздействия книги Булгакова на нынешнего ее читателя еще усиливает сбывшееся четверть века спустя пророчество: жизнь дописала этот роман в романе, она подарила новую судьбу книге и тем сделала еще неотразимее в своем торжестве идею справедливости, в которую так верил и которой так дорожил автор «Мастера и Маргариты».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



Литература и искусство

М. Хитров. «Полесская хроника» продолжается.— **Ф. Левин.** Три поездки писателя.— **В. Швейцер.** Семейная история.— **А. Дементьев.** Роман о Маяковском.— **И. Левидова.** Бернард Маламуд рассказывает разные истории.

Политика и наука

В. Борнычева. Ленин и статистика.— **Г. Водолазов.** Ленинский принцип историзма.— **Г. Федоров.** Где был Медвежий угол.— **Л. Пономарева.** Монархия Республика. Диктатура.— **С. Владимиров.** Психология открытия.

Литература и искусство

«ПОЛЕССКАЯ ХРОНИКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Иван Мележ. Дыхание грозы. Из полесской хроники. Роман. Перевод с белорусского Дм. Ковалева. «Советский писатель». М. 1967. 519 стр.

Роман «Дыхание грозы» подтверждает серьезность намерения прозаика Ивана Мележа представить читателю обстоятельную художественную летопись села Куреневка — небольшого островка среди болот белорусского Полесья. Первая книга этой летописи — роман «Люди на болоте» — была сочувственно встречена читателем и критикой, но она, пожалуй, еще не воспринималась как начало большой, на многие годы, работы писателя. Правда, некоторые рецензенты задавались вопросом: как сложится дальше судьба Василя Дятла, Ганны Чернушки, Миканора и других обитателей Куреневки? Однако и в этом случае чувствовалось скорее простодушное читательское любопытство, чем действительное ожидание новых книг этой летописи.

Но вот — продолжение «полесской хроники». Герои в основном те же. И так же неторопливо начинает рассказывать автор об их дальнейшей судьбе.

Совсем недавно отшумела свадьба в хате Глушаков — главных куреневских богатеев. У Евхима Глушака и Ганны Чернушки родилась дочь. Василь Дятел тяжело пережил

замужество Ганны — неожиданное, но, ему кажется, вполне объяснимое: Чернушки на богатство позарились! Сам Василь, окончательно изверившись в возможности иной доли, тоже женился не по любви, выбивается в крепкие хозяева. Куреневцы живут своими обычными крестьянскими заботами, и ничто как будто не грозит нарушить традиционный ход их жизни.

«Истомный, безмятежный покой над Куренями» — это сказано автором не просто о той деревенской поре, когда весенняя страда прошла уже, а летняя еще не начиналась. Самый характер начальных страниц романа — спокойно-описательных и по стилю намеренно традиционных — должен как бы подчеркивать эту кажущуюся вечной устойчивостью и дремотную медлительность куреневского быта.

...Утром, еще до солнца, по холодку, «брел посреди улицы, покрикивал пастух с кнутом; заспанно скрипели ворота, заспанные хозяйки и хозяева выпихивали со дворов коров и телок». А вечерами в Куренях опять «исподволь утихало все... Спали хаты с черными окнами, пустые дворы, молчали-

вая улица...». Даже в описании всеобщих сборов на покос (редко у кого из «деревенских» прозаиков оно не связывается с праздничным оживлением, особым душевным подъемом!) И. Мележ остается верен взятому тону — бесстрастному, деловому и даже до однообразия размеренному. «Обычным, казалось, было лето. Еще одно лето, одно из многих, что познали в извечных хлопотах Курени...»

А было лето 1929 года. И оно только казалось обычным. И «полесская хроника» в своем спокойном, «равнинном» течении подходит к такому порогу, который уже самим своим приближением не может не изменить ее характера: первые шаги «сплошной коллективизации» слышны уже довольно отчетливо.

Внешне все так же. Так же спокоен и объективен автор, рассказывая о каждодневных заботах, радостях, тревогах и даже о горе своих героев. После смерти дочки в Ганне — теперь уже окончательно — вызревает ненависть к Евхиму, ко всем Глушкам, в доме которых она стала обыкновенной батрачкой. Ей надо уйти от Глушаков. Надеждам Ганны на то, что и Василь так же круто повернет свою жизнь, не суждено сбыться: Василь не может покинуть немилую ему семью — его дом, его хозяйство, его маленькая полоска земли у цагельни уже стали для него единственным убежищем от всяких жизненных невзгод... Таково вкратце дальнейшее развитие главной сюжетной линии «Людей на болоте». Она вполне естественно продолжилась во второй книге «полесской хроники», и автор ведет ее все в той же повествовательной манере, все с тем же неотступным вниманием к подробностям.

И все-таки «Дыхание грозы» — роман совсем иного характера. Резко обозначилась разветвленность сюжетных линий, связи между ними далеко не всегда очевидны. Прежнее прочное русло повествования как бы разбилось на рукава и протоки — фарватер отыскивается не сразу. Зато судьбы отдельных персонажей прямее соотносятся с социально-историческим фоном, с его разнородными, контрастными красками. Роман теряет черты бытописания, традиционной семейной хроники, преобладавшие в «Людах на болоте».

Решительно уплотнено время действия —

от начала покоса до первых «белых мух» над дорогой, когда из райцентра возвращается Василь Дятел, так и не отстояв свою лучшую полосу земли у цагельни, взятую в колхоз. Вместе с тем действие выходит далеко за курневскую околицу. Собственно «курневские» главы постоянно перемежаются другими: здесь и изложение стенограммы заседаний Белорусского ЦИКа, и подробнейший рассказ о партийной чистке, которую проводит в райцентре приехавшая из Минска специальная комиссия, и своеобразный «репортаж» из кабинета председателя райисполкома Апейки... Эти «перемежающие» главы составляют особый, новый для «хроники» Мележа пласт повествования.

Такое дробное построение романа и очень медленное его развитие связаны, конечно, с немалым риском, но Иван Мележ — по всему видно — сознательно идет на такой риск, стремясь как можно более полно и всесторонне рассказать о сложной и трудной поре в жизни полесского края. Очевидно, по той же причине автор избегает и напрашивающихся сюжетных ходов, которые связали бы воедино разные линии повествования и сделали роман «интригующим».

И все же к концу второй книги «полесской хроники» связь разных, как бы не влияющих друг на друга пластов повествования постепенно проясняется. Она — не в сюжетных взаимопересечениях, а в общем фоне жизни на разных ее уровнях, в непредвзятом воссоздании атмосферы лета и осени 1929 года.

Дыхание грозы — незамысловатая метафора, вынесенная Мележем в название романа. Первые летние грозы, пришедшие в Курневку в самую сенокосную пору и спалившие сразу три курневских единоличных гумна, становятся, по прямой ассоциации, предвестием иных перемен в прочно устоявшемся укладе, деревенской жизни — перемен коренных, ошеломляющих.

В жизни курневцев появилась какая-то беспокойная неизвестность, чувство тревоги, которое испытывают в лето и осень 1929 года почти все основные персонажи — и не только сами курневцы, ждущие перемен, но и председатель райисполкома Апейка, для этих перемен живущий и самоотверженно для них работающий.

Апейка как раз и назначена в романе роль — объединить разные пласты жизни,

изображенные автором. Этот герой, бывший в первой книге фигурой эпизодической, оказывается по существу в центре нового романа. Через его восприятие И. Мележ стремится раскрыть противоречивые тенденции тех лет.

Самый выбор героя характерен. В биографии Апейки немало примет, как будто обычных для его литературных сверстников. В родное село Апейка вернулся с белопольского фронта тяжело раненным. Потом руководил сельсоветом. В поездках на сельсоветском коняге опять случилось и смерти в глаза смотреть — на лесной дороге в волость выходили ему навстречу бандиты.. Однако в отличие от иных литературных персонажей такого рода все это не сделало из Апейки сурового аскета, не ожесточило его сердца — автор не склонен проводить прямую линию от трудных, порой жестоких обстоятельств жизни героя к его характеру. Апейка — убежденный партизнец, его убежденность вытекает из трезвого взгляда на жизнь, из упрямого стремления разобраться в сложном и противоречивом ее течении. Самостоятельность и цельность его характера раскрыта не столько в поступках, сколько в размышлениях, в неспешных разговорах с людьми, в той напряженно-острой наблюдательности, которая делает для нас понятным, жизненно оправданным его поведение.

Вот вернувшийся из поездки по селам Апейка идет к себе в исполком. Там — он знает — наверняка уже выстроилась к его кабинету очередь: иные из полесских крестьян, ожидая Апейку, по несколько суток ночуют у знакомых. Жалобы разные: тому землю нарезали неверно, тому пригрозили, что если не вступит в колхоз, чтобы на Соловки готовился. «Редко кто не спрашивал: это разве справедливо, это разве по советским законам?»

В этих вопросах для Апейки, как правило, нет ничего неожиданного, он сознает их неизбежность «в такое сложное время». И хотя устранять несправедливости, решать каждое дело и по закону и по совести не просто и не легко, он делает все, что может, не теряя при этом душевного равновесия, трезвой рассудительности, умения точно соразмерять необходимую твердость со столь же необходимой отзывчивостью к людям. Подобная устойчивая уверенность могла покониться только на счастливом сознании того, что общий ход жизни, при

всей негладкости, вполне отвечает его, Апейки, личному взгляду на то, как ей надо идти, согласуется с его гражданскими и нравственными убеждениями.

Однако среди будничных забот и размышлений Апейка все чаще ощущает «беспокоящую неизвестность». Вот, к примеру, встречает он по пути в райком знакомого человека: «Перед телегой сивый конек трусит рысцей; дядька сидит ссутулясь, будто дремлет, безразличный ко всему, но спокойствие напускное, глаза из-под бараньей шапки с отвислыми ушами поглядывают остро, настороженно. Узнал его, Апейку, однако отвел глаза, вяло нокнул на коня и снова будто задремал. На телеге — ничего: сено только для отвода глаз, — но Апейка поручиться мог бы — не порожняком едет, везет что-то. Мясо зарезанной телушки или, может, коровы знакомому портному или спекулянту...»

Тревожное чувство, вызванное случайной встречей, — не от подозрительности. И реакция Апейки — не мгновенный порыв к действию, а резко вспыхнувшая трезвая мысль: «Режут скотину чем дальше, тем больше.. Если не приостановить это сумасшествие, черт знает что будет..» Мысль мимолетна, как и сама встреча. Но застревает в мозгу, заставляет иначе, чем прежде, взглянуть и на многое другое вокруг.

Так начался один из обычных дней работы предрика Апейки. А дальше И. Мележ даст нам подробную хронику этого дня. И многое в ней окажется важным, необходимым для общего движения романа.

Краткий утренний разговор в кабинете Башлыкова. Обмениваясь информацией, секретарь райкома как бы ненароком напоминает Апейке о его брате — кулаке Савчике, и в этом напоминании прозвучит недвусмысленный намек на предстоящую партцестку, плохо скрытая гордость Башлыкова «классовой чистотой» своих «анкетных данных». Спокойно, определенно скажет Башлыков и о необходимости добиться первого места в округе по темпам коллективизации — и простая мысль Апейки о том, что надо больше внимания уделять уже созданным колхозам, станет выглядеть почти оппортунистической.

Беседа с Башлыковым, как будто тоже повседневная, резко усиливает чувство тревоги — в ней снова улавливается отзвук каких-то еще не до конца ясных перемен в жизни. Потому-то и сдают нервы, и хочет-

ся грубо оборвать разговор о брате: «А я его сам выбирал?!» Потому-то убежденность Башлыкова, будто, проводя твердую линию в коллективизации, надо поменьше считаться с настроениями людей — убежденность, явно противоречащая взгляду Апейки, — лишь внушает мысль о бесполезности спора.

Потом, в своем кабинете, перед началом приема Апейка снова обретет уверенность, равновесие, даже душевную бодрость. Но первые же посетители — ребята из школы, требующие восстановить на работе несправедливо уволенного учителя, — опять вернут его в прежнее состояние. Апейка уже сделал все, что мог, отстаивал учителя перед Башлыковым. Секретарь райкома и так пошел на компромисс, внял настояниям Апейки хотя бы не прибегать к аресту. Но на увольнении Башлыков настоял: надо же как-то «реагировать» на письмо, подписанное анонимным «Непримиримым селькором» и пересланное в райком из столичной газеты.

Апейка знает, что ребята правы: их учитель никакой не чуждый элемент. Знает, но решить дело по совести не может...

Эта смена настроений Апейки, растущее в нем ощущение какого-то внутреннего разлада сообщает роману И. Мележа динамизм, напряженность мысли (хотя и не может полностью искупить его очевидной растянутости).

Когда в начале романа куряневы, встревоженные неожиданным приездом предрика к ним на покос, напрямую спрашивают: «Скоро в коллектив нас погонят?» — Апейка твердо отвечает, что совсем гнать не будут: «Сами проситься будете — придет пора!» Однако очевидно, что Апейке скоро все же придется напрямую столкнуться с известными нам «перегибами» периода коллективизации. Очевидно и то, что Апейка — из тех партийцев, которые будут выправлять «перегибы».

Все это не значит, однако, что главную проблематику нового романа И. Мележа можно свести к вопросу о методах осуществления коллективизации, хотя один из первых рецензентов этого романа — критик Ф. Кулешов — склонен считать, что в романе вопрос поставлен именно так. Впрочем, критик, кажется, сам же и признает неправомерность подобного определения. «Кто же сейчас не знает, — пишет он, — что везде и во всем должно неукоснительно и

свято соблюдать ленинский принцип добровольности!» (журнал «Неман», № 4, 1966).

Действительно, ленинский принцип добровольности известен всем. Добавим: в программном, установочном смысле он был ясен и тогда, сорок лет назад, и это не раз подчеркивалось в известных партийных документах, определявших «курс на коллективизацию». И если бы И. Мележ и вправду решил своей «хроникой» отвечать на давно ясные вопросы, его роман мало стоил бы как художественное произведение. Во всяком случае он наверняка не заслуживал бы той категорической похвалы, которой критик удостоил первую часть «хроники», написав, что самая высокая ее оценка «не должна показаться чрезмерной...».

Не дело искусства иллюстрировать общепризнанное. Существенным достоинством нового романа И. Мележа (не дающим, однако, права на «чрезмерные» оценки) как раз и является то, что писателя занимают не столько известные формулы, лозунги, декларации, сколько реальная сложность жизни. Его Башлыков и Апейка — не просто представители известных доктрин, а живые люди, отразившие воздействие разных типов общественной психологии тех лет. И именно это выводит «хронику» И. Мележа к более широким жизненным горизонтам.

Очевидная противоположность характеров Апейки и Башлыкова пока не привела к их прямому столкновению. Но его первые симптомы раскрываются автором с той «человековедческой» устремленностью, которая отмечалась критикой как неоспоримое достоинство начала «полесской хроники». И. Мележ стремится проследить связи характеров героев с глубинными тенденциями общественного развития.

Так, оказывается, что для Башлыкова, при абсолютной чистоте его «пролетарской» биографии, характерна восприимчивость к той системе взглядов, которую марксисты связывали обычно с мелкобуржуазной революционностью. Люди для Башлыкова — лишь объект исторических преобразований, некая нетронутая почва, которую дано перепахать тем, кто лучше всех знает, согласно каким идеалам надо вершить дело: «Им тянуться и тянуться надо, чтобы понять справедливость нашу, пролетарскую!.. Отдирать надо их от старого, не жалея!..»

Да, реальность опасений Апейки — в назревающем неизбежном конфликте с Баш-

лыковым. Между тем, если бы только в этом было дело, роман стал бы всего лишь еще одной вариацией на тему о двух руководителей районного масштаба: о догматике, стороннике «силовых приемов» в партийной работе, и о хлебнувшем жизни, реально мыслящем партийце, эти приемы отвергающем. Однако — и это важно — размышления Апейки, его разговоры с Башлыковым сопряжены у Мележа с судьбами куруневцев: здесь, в Куруневке, поверяется истинность представлений о формах и методах общественных преобразований.

Куруневский мир в романе — малая ячейка огромного крестьянского мира, оказавшегося в то лето перед крутым поворотом. По социальному составу мир этот неоднороден. Здесь и кулаки, с бессильной яростью встречающие рождение колхоза, и бедняки, решительно поддерживающие новые начала деревенской жизни. Однако по преимуществу это, конечно, мир трудового среднего крестьянства, колеблющегося, сомневающегося, но и твердо верящего в главное — в справедливость советской власти. И автору удалось написать его так, что самые слова «средний», «средняк», верно определяющие социальную суть явления, нередко кажутся совершенно недостаточными в применении к индивидуальному облику, к непохожим судьбам куруневцев, к обстоятельствам их частной, семейной жизни.

Правда, нельзя сказать, что все куруневские персонажи отмечены в «хронике» той необходимой мерой «отречения» от авторской воли, которая дала бы И. Мележу возможность увидеть в каждом из его героев вместе с социально-характерным прежде всего личность. Печать сочиненности, литературности лежит, например, на куруневской говорухе Сороке: и прозвище у нее «говорящее», и сама-то она уж воистину слова в простоте не скажет — обязательно в рифму. Явно литературного происхождения и Андрей Рудой — доморощенный куруневский философ, к месту и не к месту демонстрирующий свою начитанность. Досадно, что автор вот так просто поддается соблазну взять напрокат кое-что из обязательного реквизита посредственной «деревенской» беллетристики, по канонам которой «мужик» будет уже не человек, коли не наделить его для вящего колорита какой-нибудь «чудинкой»...

Хорошо, что подобные украшения не

заслоняют подлинности, не выдуманности других персонажей «полесской хроники» — Василя Дятла, Миканора, Хони, Ганны, Хадоськи. Это люди вполне живые, они вызывают искренний читательский интерес именно своей человеческой индивидуальностью, своеобразием психологического склада, очевидной неспособностью быть уложенными в привычные среднестатистические формулы.

К Василю Дятлу, например, никак не идут привычные слова «типичный представитель среднего крестьянства», хотя, если составить опись его однолошадного хозяйства, он, по башлыковским реестрам, как раз и будет «представлять» те непролетарские слои, которые надобно безжалостно «отдирать от старого», не копясь во всякой там психологии.

Характер Василя — цельный, прочный. В нем очевидно противоречие: душа труженика — душа собственника, и все-таки это верное и точное определение психологической двойственности среднего крестьянства в целом применимо к Василю Дятлу лишь в его действительном, строго диалектическом, а значит, и глубоко «личном» смысле. Если же следовать, скажем, угрюмому догматизму Башлыкова, тогда названная противоречивая двойственность окажется простым двоедушием. И тогда останется только обличать, уничтожать двоедушие, насильственно выдирать из Василя «душу собственника», дабы оставить стерильной чистоты «душу труженика» и тем самым немедленно водворить ее в лоно «пролетарской справедливости»...

Странно, но «железная» логика Башлыковых, ее иллюзорная янственность, оказывается, способна порой завораживать и сегодня, почти четыре десятилетия спустя. Трудно чем-либо иным объяснить тот факт, что в некоторых откликах на первую книгу «полесской хроники» И. Мележа образ Василя Дятла представлен как едва ли не исчадие «собственнического» ада. «Этот «цвет ряски», — писал, например, критик В. Чалмаев, — ползучая мудрость копающегося на одиноличной куче навоза крестьянина, покорность судьбе, составляющие основу мировосприятия Василя, погубили счастье Ганны...» — и дальше в том же роде¹.

Если вернуть таким «обличительным» ха-

¹ См. сборник «Литература и современность». «Художественная литература». М. 1965, стр. 103—104.

рактикам, Василь Дятел, один из главных героев «полесской хроники», не заслуживает не только читательского снисхождения, но и простого человеческого внимания. В самом деле, как иначе можно относиться к этому персонажу, когда, копаясь «на одиночной куче навоза», он способен так грубо оскорблять самые возвышенные чувства?

Однако образ, созданный фантазией критика, удивительно не вяжется с действительными чертами характера Василя Дятла. И прежде всего с его необыкновенно обостренным чувством собственного достоинства, какое бывает свойственно людям, привыкшим только своим трудом устраивать свою судьбу. Да, в привязанности Василя к маленькой, но своей полоске земли сказывается «душа собственника». Но нельзя не учесть также и того, что каждая пядь земли на той полоске полита его собственным, а не чьим-нибудь потом, что в его отношении к земле нет холодной глушаковской жадности. В утро последнего прощания Василя тянет к этой полоске у цагельни, как тянет к живому существу, чтобы исполнить сердечный долг, чтобы «вместе поболеть душою».

Душою — собственника? Нет, пожалуй, больше все-таки труженика! И то, что Василь с таким отчаянием держится за эту полоску земли, не вина его: тяжкий крестьянский опыт приучил Василя пуше всего цепляться за свою землю, за свое хозяйство, а в преимуществах коллективных форм жизни он пока еще не имел случая убедиться. И в этом правда характера Василя, раскрытая писателем бескомпромиссно, без оглядки на ходячие предрассудки. Ведь именно эту реальную сложность психологии трудового крестьянства имел в виду и Ленин, не раз предостерегая от комчулства, от всякого высокомерия в отношении к середняку. Отсюда же ленинское понимание неизбежной необходимости, но и небывалой трудности той исторической задачи, которую предстояло решить партии, переводя миллионные массы крестьянства на новые, справедливые основы жизни.

Иван Мележ видит главных своих героев в их истинном облике, и потому его «полесская хроника» обещает стать заметным явлением в советской прозе.

М. ХИТРОВ.



ТРИ ПОЕЗДКИ ПИСАТЕЛЯ

Д. Гранин. Примечания к путеводителю. «Советский писатель». Л. 1967. 292 стр.

Если попытаться в нескольких словах объяснить читателю, о чем написана книга Д. Гранина, то можно, конечно, сказать, что она посвящена поездкам автора в Австралию, Германскую Демократическую Республику и Англию.

Но сказать так — это значит еще решительно ничего не объяснить. Ибо книги о поездках за рубеж могут быть и бывают очень разные. Этнограф расскажет о своей поездке не так, как историк или политик, а три писателя, вместе посетившие какой-либо уголок планеты, напишут три книги, непохожие друг на друга, хотя в главном, быть может, все они верно осветят и оценят увиденное.

Очерки Д. Гранина о его поездках имеют, разумеется, много общего между собой — уже потому, что написаны одним человеком. Характерные особенности авторского стиля, его ирония, его юмор, манера порою мистифицировать читателя, «остра-

нять» повествование неожиданной выдумкой или особым ракурсом рассмотрения вещей и явлений — все это присутствует во всех трех очерках, образующих книгу. Д. Гранин предупреждает: «У меня гораздо больше впечатлений, чем сведений». А впечатления, конечно же, всегда субъективны, и потому, о чем бы ни рассказывал автор, он все время рассказывает нам и о себе. Мы знакомимся с талантливым, живым, много видевшим человеком, за плечами которого нелегкий опыт минувшей войны, — человеком умным, порою насмешливым, нетерпимым к пошлости, банальщине, трюизмам — короче говоря, мы знакомимся с Д. Граниным.

Но каждый очерк — в пределах того общего авторского «угла зрения» на жизнь, который объединяет всю книгу, — вместе с тем и своеобразен. И каждый имеет свой особый сюжет.

«Месяц вверх ногами» — так назван пер-

вый очерк, и, разумеется, речь в нем идет об Австралии, где живут наши антиподы по планете. Он, пожалуй, ближе всех к обычному путевому очерку и содержит немало познавательного материала. В этом есть свой резон. Ведь даже превосходные специалисты по Австралии, работающие в Институте антропологии и этнографии Академии наук, знают Австралию, как с грустью сообщает нам Д. Гранин, только по книгам — никто из них в этой стране, увы, не был. С тех пор как шестьдесят лет назад в Австралии побывал русский ученый А. Яценко, Музей антропологии и этнографии не получал новых пополнений коллекций, собранных еще Миклухо-Маклаем и помянутым Яценко. Не удивительно, что Д. Гранин поневоле чувствовал себя как бы новооткрывателем и не мог не посвятить несколько страниц истории открытия Австралии, не рассказать о Канберре и Сиднее, о заповеднике под Мельбурном, о знаменитом всячем мосте в Сиднее, об улице Кинг-Кросс, где по вечерам в бесчисленных кабаре и ресторанчиках собираются сиднейские «битники», об их танце «стопп», об автоматах для игры в покер, об аборигенах Австралии, одной из древнейших человеческих рас, и о многом другом.

Знакомя нас со страной, с ее писателями, певцами, с поэтом-фермером Роджером Макнайтом, с художницей Элизабет Дьюрак и замечательным художником-аборигеном Альбертом Наматжирой, приобретшим мировую славу, автор вводит читателя в круг своих размышлений. «В чужой стране всегда сравниваешь», — замечает Д. Гранин, и если, скажем, иной раз сравнения эти заставляют пожалеть, что у нас ни под Ленинградом, ни под Москвой нет таких больших национальных парков, населенных никем не преследуемыми ежами, зайцами, белками, лосями, утками, глухарями, бобрами, выдрами, то в других случаях увиденное заставляет задумываться и о более серьезных вещах. Д. Гранин обращает, например, внимание на то, что в Австралии нет паспортов и люди отлично обходятся без них. Но в то же время наш корреспондент «Правды» не может выехать из Канберры без специального разрешения австралийских министерств. Писатель не хочет «пользоваться шаблонными схемами, которые валяются под рукой», — он умеет в, казалось бы, раз и навсегда закрепленном ходячей формулой увидеть нечто лежащее за

поверхностью явления. Поэтому он не довольствуется только осуждением Кинг-Кросса: «Живешь вовсю — глазами, ногами, что-то жуешь, пьешь, куришь. Участвует все, кроме головы. Как будто ее нет. Она не нужна. Очень удобно, а главное — современно. Можно ни о чем не думать. Глотаешь пустоту. Великолепно оформленную пустоту». Д. Гранин стремится еще и понять причины этого своеобразного бунта молодежи против обывательщины, бунта без идей, но против заведенного порядка вещей.

Посмотрев гонки собак за электрическим зайцем, он видит за этой азартной игрой нечто более значительное, чем тотализатор: «Заяц скользит всегда где-то впереди.

Что там впереди — деньги, удача, впечатления? За чем гонятся? Кого хотят настигнуть? Все силы ума, изощренная хитрость, опыт, расчеты — ради попытки выиграть. Выиграть — что?

Взамен подлинной жизни, взамен музыки, спорта, природы — впереди скользит электрическое чучело. За ним собаки, за ними люди, за ними букмекеры, за ними, наверное, еще кто-то, не знаю».

Так за пестротой встреч, наблюдений, бесед советскому писателю открывается лицо современной Австралии, ее прогрессивные силы и ее тупики, «вакуумы» ее духовной жизни.

Иной сюжет в «Прекрасной Уте» — очерке о поездке в ГДР. «Путевые картины» мне кажутся идеалом прозы, — говорит писатель, вспоминая Гейне, — в них свобода, о которой всегда мечтаешь, — свобода от сюжета, от хронологии, от географии. Эта проза свободней, чем стихи. О чем она? В том-то и секрет ее, что она ускользает от подобного вопроса. Обо всем, но не пресловутый поток сознания, а скорее поток жизни, поэзии, размышлений, фантазии; поступки и воспоминания, описания и исповедь». Писатель восклицает: «Если бы я сумел написать такую свободную прозу...»

Так он и стремился написать «Прекрасную Уту». Но через весь очерк проходит неотвязный, разными сторонами поворачиваемый вопрос: как ему, солдату минувшей войны, оборонявшему Ленинград, отнестись к вчерашнему германскому солдату, обстреливавшему и бомбившему Ленинград? Пусть даже этот солдат был только профессиональным военным, а не оголтелым фашистом. Пусть даже сегодня он понял,

чем была война, чем был он на войне, и теперь стал сознательным участником строительства социалистической Германии.

Писатель выходит ночью во двор замка, где его поселили, когда он приехал в ГДР. «Зачем я один, ночью, посреди Германии стою безоружный, вроде бы свободный, не в плену? Я в Германии, и не на танке? Что скажут в полку?.. Чего я тут ищу? Спокойно сплю, сижу в пивных, здороваюсь, смеюсь...»

Д. Гранин пишет о людях, не понимающих этих чувств и мыслей, потому что они либо вообще не воевали, либо участвовали в военных действиях где-то далеко от своих оставшихся в безопасности родных мест. Могут ли они представить себе, чем мы жили? «Я помню, как нужны нам были статьи Эренбурга, ненависть была нашим подспорьем, а иначе чем было еще выстоять. Мы не могли позволить себе роскошь разделить немцев на фашистов и просто мобилизованных солдат, шинели на них были одинаковые и автоматы». И вот прошли годы, и настало другое время, и возникли вопросы, на которые писателю трудно ответить. Немцев нельзя отождествлять с фашистами, народ не может быть плохим, немецкий народ дал миру великих ученых, композиторов, писателей и т. д. Но разве народ не отвечает за своих правителей, за то, что они делали, за фашизм?

Снова и снова возникает тот же вопрос. В беседе со старым учителем. В воображаемом разговоре с Фаустом и ограниченным филистером доцентом Вагнером.

Писатель гуляет по Ленинграду с тем самым бомбившим Ленинград летчиком, ныне работающим в ГДР. А гуляют не двое, а четверо: прежний и сегодняшний Даниил Гранин, прежний и сегодняшний Макс Л. Трое против одного — вчерашнего гитлеровца. Бывший летчик говорит писателю: «Я знаю, что осталось. Недоверие. Вот даже вы, сознайтесь, вы не до конца верите мне?» И писатель вынужден ответить себе: «В чем-то он был прав».

Нельзя ненавидеть народ, нацию. Это расизм. Но Гранин вынужден честно сказать себе, что ему было трудно с Максом Л.: «Как бы мы ни старались с ним, вряд ли сумеем мы до конца преодолеть то, что стоит между нами, так это и останется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем из жизни». Для их детей, для пятнадцати-

летних, уже не будет этого невидимого средостения, для них война и блокада — история. Они не стояли друг против друга с оружием в руках.

Таков сюжет «Прекрасной Уты», и хорошо, что Д. Гранин, не скрывая ничего, не замазывая, не заваливая шаблонными словами внутреннего душевного противоречия, сказал о нем. Он сказал и о своей дружбе с теми немцами, которые отстояли честь немецкого народа, борясь против фашистской чумы, — с Анной Зегерс, Эрнстом Бушсм. Через них «я полюбил Германию, — вот, пожалуй, в чем они были немцами». «Пусть я не знаю истину, — говорит писатель, — но что я могу, так это не скрывать своих чувств, ошибок, размышлений».

За эту прямоту и честность читатель будет благодарен автору.

Третий сюжет — в очерке об Англии, заглавие которого очень точно: «Примечания к путеводителю». Действительно, о Лондоне, например, все уже так известно, что надо все время следить за собой, чтобы не повториться. «Все оказалось на своих местах». «Я шел, как завхоз, проводящий инвентаризацию». По газонам в парках можно ходить, в Гайд-парке по утрам можно увидеть всадников. «Я шел и думал о том, что когда-то люди путешествовали, чтобы открывать новые земли, новые народы, обычаи, природу — словом, открывать. А нынче? Я вспомнил ежегодные тучные стада туристов...» На трех страницах писатель очень точно перечисляет, о чем пишут в очерках о Лондоне. Как избежать штампов и шаблонов? Д. Гранину это удается. Если он и вводит что-либо тривиальное, ставшее общим местом, то лишь для того, чтобы поиронизировать над ним, поиздеваться. Так начинал он и очерк об Австралии: все спрашивают о кенгуру — как там они, прыгают? Nate вам кенгуру, посмотрите. Это делается по пушкинскому образцу: «Читатель ждет уж рифмы розы; на, вот возьми ее скорей!» Но и тут Д. Гранин верен себе: кенгуру он увидел по-своему, глазом художника, и у него кенгуренок прыгает в материнскую сумку, как мяч влетает в баскетбольную корзину. А вот в Вестминстерском аббатстве на экскурсии он видит под ногами маленькую, истертую тысячами ног плиту с надписью «Михаил Фарадей». «...Я остановился и застыл, сперва без мыслей и чувств, а потом что-то во мне мучительно дрогнуло, и я почувствовал са-

мого себя». И дальше следуют взволнованные страницы о Фарадее, который был героем детства писателя, и через личное, пережитое, обновляясь, воскресает образ гениального ученого, и все приближается, как в морском бинокле. Именно так, через личное восприятие, воскресает в очерке и Петербург Достоевского, и даже музей восковых фигур мадам Тюссо.

Этим «примечания к путеводителю» более всего и интересны — они интереснее путеводителя. Тут есть и справедливые мысли о том, что почему-то русский зритель лишь в таких музеях, как Тэйт-галерея, может увидеть картины Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, тогда как мы

до сих пор держим в запасниках музеев этих и других художников первых лет революции — Татлина, Филонова, Кончаловского, Фалька, Кузнецова, Штеренберга, Шагала, Кандинского, Григорьева. Тут и верные слова о том, как необходима родная старина современному человеку. Впрочем, многое еще найдет читатель в книге, где раздумье сменяется новеллой, реально-бытовое описание — гротеском, причудливым вымыслом, полемика — лирикой.

Словом, Д. Гранин написал интересную книгу. Выразим надежду, что он не раз еще поедет в иные страны и о тех поездках напишет не хуже.

Ф. ЛЕВИН.



СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Н о р а А д а м я н. Вторая жена. Роман. «Советский писатель». М. 1967. 231 стр.

Семья переезжает в долгожданную новую квартиру, а через два дня женщина, забрав детей, уезжает из нее навсегда. В опустевший дом входит вторая жена. Такова завязка этой книги.

«Роман Норы Адамян «Вторая жена» посвящен завоеванию и утрате любви, человеческому достоинству, женской гордости, прощению и нетерпимости... Что такое счастье и как его достичь? Этот извечный вопрос задают себе и по-своему решают герои этого романа...» — вполне естественно, что такая рекомендация, помещенная на обороте титульного листа, как и само название романа, не дает ему залежаться на полках магазинов. Интерес к частной жизни человека, отраженной в литературе, огромен и закономерен. И не только потому, что на протяжении многих лет герои повестей и романов, видимо, по многим причинам то ли забывали, то ли вовсе не имели потребности заняться своими семейными делами. Более важно, на мой взгляд, то, что в повествовании о чужой «личной» жизни читатель часто ищет параллелей со своей собственной, надеется найти в книге не только совет, но и утешение, ждет сочувствия автора к своим семейным сложностям и огорчениям.

Книги Норы Адамян не обманывают таких надежд читателя. Их конфликты затрагивают самые разные случаи жизни. Одинокая тридцатитрехлетняя девушка, впервые встретившая любовь и отказавшаяся

от нее ради блага любимого («Девушка из министерства»). Женщина, после многих лет счастливого супружества вдруг на мгновение увлекшаяся чужим и недостойным человеком («Ноль — три»). Молодая пара, столкнувшаяся с первыми жизненными трудностями и преодолевшая их («У синих гор»). Молоденькая девушка, потерявшая «женскую гордость», обманувшаяся в любимом и одна воспитывающая сына («Новый сосед»). В центре интересов писательницы всегда стоят проблемы интимной жизни людей, книги ее посвящены любви, подчас драматически сложной и не приносящей людям счастья. «Вторая жена» не составляет исключения.

Действие романа охватывает всего один год, но год этот необычайно значителен в жизни главных героев. Оставив разлюбившего ее мужа, уезжает в далекий горный поселок Нина с родной дочерью Гаяной и приемным сыном Артюшей. Ей, женщине без профессии, приходится начинать жизнь заново: устраиваться на работу, заниматься нелегким деревенским бытом, одной заботиться о детях... Приходит новая, вторая жена в дом Нининого мужа — главного инженера Гидростроя Георгия. Он любил Эвнику с детства, но война их разлучила. Эвника вышла замуж. Потом и Георгий женился и был счастлив с Ниной. Встреча после двадцатилетней разлуки всколыхнула прежнее юношеское чувство, Георгий и Эвника начали видеться тайно, и только

после того, как не выдержавшая ложного положения Нина оставила мужа, Эвника переехала в его новую квартиру.

Казалось бы, Георгий и Эвника должны быть счастливы. Георгию их любовь кажется такой необычайной, Эвника — не похожей ни на одну женщину, прекрасной и смелой в любви — ведь это она первая пришла к нему в ночь, когда Нина покинула свой ставший безрадостным дом. Однако не получается не только необыкновенного счастья, но даже самого заурядного семейного благополучия.

Эвника оказывается ничтожным и отвратительным человеком, но для того, чтобы понять это, Георгию потребовался целый год, потому что он видел в Эвнике не то, что она собой представляла, а то, что ему хотелось бы видеть в любимой женщине. Эвника же только после официальной регистрации их брака и свадьбы считает возможным перестать притворяться и открыто высказывает ему все, что думает об их отношениях и его бывшей семье. Потрясенный Георгий — первый раз за весь год — едет к Нине и детям. Георгий и Нина встречаются в заповедном лесу.

«Он шел именно такой, какого она ждала. Без чехомодана, в измятом костюме, небритый и измученный.

Он тоже увидел ее издали, свернул с дороги и пошел прямо по лесу, отстраняя руками березовые ветки, не видя, куда ступает. Потом молча опустился рядом с ней на землю и протянул ей пустые ладони.

Он хотел сказать, что у него теперь ничего нет, что Эвника не отдаст ему ничего, что единственное их пристанище — комната бабушки Заруи. Опершись на его плечи, Нина встала с камня. Привычным, забытым жестом поправила лацканы его пиджака и выбросила из петлицы почерневший сморщенный цветок, который украшал Георгия в день его свадьбы».

В этот трогательный момент мы расстаемся с героями Норы Адамян.

Перевернув последнюю страницу «Второй жены», невольно вспоминаешь известную поговорку: «старый друг лучше новых двух» — уж не это ли и есть главная мысль автора? Что произошло в романе? Что заставило писательницу взяться за перо? Мужчина разлюбил женщину, мать его детей, и женился на другой, оказавшейся недостойной его любви. Так бывает. Он вер-

нулся к первой жене — вероятно, и такое случается. Беда в том, что все это выглядит в романе Норы Адамян слишком назидательно. Как бы поставив себе целью убедить читателей, что бросать жен нехорошо и к тому же бессмысленно, автор непрерывно «нажимает», стремясь всячески очернить Эвнику и возвысить Нину. В результате Нина выглядит сплошь розовой, чуть ли не ангелом, Эвника — чрезмерно черной, этаким женщиной-вамп. Нина, прожив с Георгием много лет и воспитав двоих детей, ни разу не заговорила с ним о регистрации брака — Эвника только и мечтает о том, чтобы как можно скорее отвести его в загс и даже идет по этому поводу к секретарю райкома. Нина уезжает, взяв лишь свою и детскую одежду, оставив в доме все, что в нем было, — Эвника «не стдаст ему ничего» и даже тайно от Георгия откладывает деньги на тот «черный день», когда он ее бросит. Нина заботливая жена и мать — Эвника не интересуется жизнью своего сына и не заботится об обеде или о чистых рубашках для едущего в командировку мужа. Нина честно и добросовестно работает в поселковой летней закуской, Эвника с отвращением вспоминает о своей работе в геологическом управлении, и т. д. и т. п. Это сравнение постепенно разворачивается перед читателем, изумленным слепотой Георгия. Впрочем, любовь, как известно, слепа, к тому же глаза Эвники «всегда озарялись», оживали и гасли от его слов», и она умела смеяться «тем особенным, негромким смехом, которым безошибочно поражала Георгия», а Нина, по всей вероятности (автор умалчивает об этом), ничем подобным похвастаться не могла.

Противопоставив таким образом женщины-соперниц в своем романе, Нора Адамян упростила конфликт: добро и зло в чистом виде встречаются не так уж часто. Здесь автор просто облегчает свою задачу, не стремясь воссоздать ни человеческий характер во всей полноте, ни жизненную ситуацию во всей ее сложности. Что бы делала Нора Адамян, если бы Эвника оказалась человеком достойным, что, вероятно, бывает и со вторыми женами? Ей пришлось бы всерьез вникать в конфликт, в глубину психологических переживаний каждого из героев. Теперь же автор довольствуется характерами схематическими и как бы не требующими специального углубления. Герои выглядят не то масками, не то фигурка-

ми в игре с заранее заданными правилами. Георгий — передовой и смелый инженер, человек открытый, честный и гостеприимный. Нина — женщина, серьезно сознающая свое человеческое достоинство. Эвника — мелкая и не очень удачливая хищница. Условия игры (то есть герои) и направляют всю игру (то есть сюжет романа) по определенной схеме. О второстепенных персонажах и говорить нечего — они лишь подыгрывают.

Кстати, некоторый схематизм и одноплановость были заметны и в других произведениях Норы Адамян. В повести «Девушка из министерства» немолодая Рузанна полюбила художника Гранта, моложе ее восьмью годами. Им хорошо вместе, Рузанна ждет ребенка, но Гранта тянет в дальние края. И Рузанна во имя весьма возвышенных соображений скрывает от него свою беременность и разрывает отношения с ним. «Уезжай. Пусть насытятся твои глаза и созреет твое сердце. Это придет слишком поздно для меня, но ты в этом не виноват. Я могла бы сделать так, чтоб ты никуда не уехал. Но я отпущу тебя. Так я решила. И это правильно, потому что я лучше знаю и себя и тебя...» — так думает Рузанна, и, видимо, ей вместе с автором кажется, что она разрушает привычную схему. Однако это все та же схема, «антисхема», если можно так выразиться: мещанка вцепилась бы в отца своего будущего ребенка, а передовая девушка сама отталкивает его. Замечу, что без особых уважительных причин.

В «Новом соседе» легкомысленная, сама виноватая во всех своих неудачах и разочарованная в жизни Галя, навязывающая своим возлюбленным и тем топчущая свое женское достоинство, впервые встречается с серьезным немолодым человеком, требующим от человеческих отношений гораздо больше того, о чем Галя могла предполагать. Девушка выражает свою «философию» прямо и недвусмысленно: «Чепуха! Все, что вы говорите, чепуха. Все девушки ждут героев и принцев, а влюбляются в первых попавшихся. Одной повезет больше, другой меньше. Может быть, только одной на миллион, и то не самой лучшей, достается принц и алые паруса. Это бывает. Только не с моим счастьем». Александр Семенович призван автором, чтобы противостоять этой «мелкой философии» и продемонстрировать, что на свете существуют

«настоящие» человеческие отношения: «Он прижал к своей груди ее голову, гладил волосы и плечи, едва прикрытые шелком... Невыносимо трудно было выпустить ее из рук. Но он не мог иначе... Многого хотел он от любви. Только не молчаливой покорности». И опять «антисхема»: другой бы воспользовался одиночеством и тоской Гали, а положительный Александр Семенович приглашает ее на рассвете погулять по новогодней Москве. И здесь, как и во многих других произведениях, все понятно, все разграничено.

Несмотря на специфичность тематики, герои Норы Адамян не замкнуты в узколичном бытовом мирке. Каждый из них, помимо родных и близких, окружен товарищами по работе, занят творческими и производственными заботами и планами. В своих повестях и романах Н. Адамян стремится создать вполне реальный фон: в «Ноль — три» это одна из подстанций московской «скорой помощи», в «Новом соседе» — коммунальная квартира и приемный пункт химчистки, где работает Галя. Во «Второй жене» даже два фона: один из них связан с деятельностью Георгия как главного инженера Гидростроя, другой — с жизнью Нины в горном поселке. Читатель побывает на разных строительных объектах, в московском министерстве, которому подчинен Георгий, услышит принципиальные споры с перестраховщиками и полупьяный разговор в «забегаловке» о творчестве и бессмертии человеческого дела, увидит любовный бой оленей в заповеднике, где в конце романа работает Нина. Совсем мимоходом автор касается и трагедии карачаевского народа (Нина поселилась у подруги в карачаевском поселке), и проблемы доверия и личной ответственности каждого за порученное ему дело.

Все это должно, по мнению автора, воссоздать ту живую атмосферу, в которой страдают и мучаются от своих личных неурядиц герои романа. И воссоздает в известной мере. Нора Адамян пишет легко, умеет подметить живые детали быта и поведения людей, особенно достоверно передает черты детской психологии. В ее романе все действительно похоже на правду, и все, что случилось с героями, могло бы произойти на самом деле. Почему же в таком случае роман вызывает чувство неудовлетворенности, определенное ощущение сентиментальной «душещипательности»?

Вероятно, это происходит прежде всего потому, что требования автора к героям и к литературе как-то снижены. Говоря о вещах действительно высоких: о любви, верности, отношениях людей в семье,— Нора Адамян низводит эти понятия до какого-то «среднего» уровня. Где-то в другом измерении Ромео и Джульетта умирали ради своей любви, Татьяна Ларина отказывалась от любви ради чувства долга, беззащитная и слабая «дама с собачкой» ставила на каргу честь и благополучие ради редких встреч с любимым. В измерении же «Второй жены» понятия благородства и низости, олицетворенные Ниной и Эвникой, чересчур тесно связываются с отношением к материальным благам, коврам и холодильникам.

Норе Адамян непременно хочется утешить читателя, убедить его в том, что доб-

ро обязательно восторжествует, а порок будет наказан. К сожалению, в жизни это встречается не столь обязательно, как в литературе, жизнь жестка, а подчас и жестока. Стремление же к «утешительности» приводит писательницу к тому, что внешним правдоподобием прикрывается у нее по сути фальшивая нравственная ситуация. В ранних ее повестях и рассказах это просвечивало меньше и прощалось ради самой темы, одним из приоритетов возрождения которой была Нора Адамян, ради ее доброго отношения к людям, ради достоверности «подробностей жизни». Теперь же хотелось бы, чтоб автор в своем взгляде на личные отношения между людьми поднялся на более высокую ступень и повел за собою не только своих героев, но и читателей.

В. ШВЕЙЦЕР.

★

РОМАН О МАЯКОВСКОМ

Анатолий Никульков. На планете, мало оборудованной. Роман. «Сибирские огни», №№ 10, 11, 1967.

Журнал «Сибирские огни» напечатал первую книгу романа Анатолия Никулькова «На планете, мало оборудованной» — романа историко-биографического, о Маяковском.

Как известно, Маяковский в своих стихах, статьях, письмах, выступлениях сам рассказал «о времени и о себе», а близкие друзья и знакомые поэта написали о его жизни и деятельности немало интересных воспоминаний. Создать в таком случае еще и роман о поэте и очень легко, и очень трудно... Но — обратимся к произведению А. Никулькова.

По словам автора, Маяковский, работая над поэмой «Хорошо!», выбрал трудную задачу: «он все документы и мемуары превращал в стихи, не отступая от документальности». Но еще более трудную задачу выбрал себе сам Никульков: ему часто приходится, «не отступая от документальности», так или иначе превращать поэзию в прозу. Дело это для прозы, полагающей себя художественной, прямо-таки невыгодное. Во всяком случае в романе подобные превращения вызывают, как правило, чувство неловкости. Посмотрите, например, во что превратились строки известного стихотворения «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». А. Никульков пишет: «До осто-

чертения гоняли чаи, читали друг другу стихи. Вспоминали общего знакомого Романа Якобсона, работника по культуре советского посольства в Чехословакии. Перед сном Нетте расстегивал полевую сумку и проверял целостность сургучных печатей на своих секретных пакетах».

Памятная строфа о Некрасове из стихотворения «Юбилейное» тоже видоизменилась и выглядит в романе так: «Он вселился в свой прежний, 68-ой, номер с балконом. в тот самый, где жил до революции Некрасов. Коля, сын покойного Алеши, мужик хороший, который нам компания, пускай стоит». Как видно, читатель вправе сетовать и на порчу стихов в романе. и на просчеты вкуса его автора.

Впрочем, подобного рода «подстрочники» связаны с основной целью произведения — с изображением творчества Маяковского. И то, что всякого рода житейские события, быт и личные отношения не заслонили от автора романа главного в жизни поэта, заслуживает, разумеется, похвалы.

Однако воспроизвести более или менее убедительно процесс создания художественных произведений — не менее трудно, чем пересказать стихи прозой. Автор историко-биографического романа должен при этом подняться до уровня размышле-

ний, переживаний, стремлений героя своего произведения. В частности, мы помним, как писал Маяковский о труде поэта, о своей работе, о том, как делаются стихи, как добывается драгоценное слово из «словесной руды» и «артезианских людских глубин».

Анатолий Никульков, понятно, не ограничился пересказом сведений, почерпнутых из произведений Маяковского и сочинений мемуаристов. Он пользуется и своим правом на домысел. Но здесь-то его и подстерегали новые опасности...

Несколько страниц в романе занимает рассказ о том, как было создано Маяковским стихотворение «Сергею Есенину». Начинается с описания того, как Маяковский «метался по Москве», охваченный стремлением «аннулировать» предсмертное стихотворение Есенина, ответить стихом на стих. Все идет своим порядком, в общем, в соответствии с известной статьей Маяковского «Как делать стихи», но неожиданно появляются странные строки: «Тень Есенина подымалась над всей Москвой, нависала над ней в смертоносной нежности. А он, Маяковский, славный тем, что молниеносно умел откликаться стихами на любое событие, не мог выдать из себя ничего». И только над строительством Центрального телеграфа «мертвая тень Есенина блекла», «рассеивалась в пыльном воздухе». Однако и это не помогло поэту «выдавить из себя» что-либо. К тому же в прославленном Московском Художественном театре, куда Маяковский зашел на вечер памяти Есенина, смерть поэта, по свидетельству романа, отметили совсем недостойным и неприличным образом: «На сцену один за другим вышло несколько ораторов и проникновенно пожевало мочалу, передавая ее друг другу изо рта в рот». Понятно, что Маяковскому оставалось только одно: броситься в поезд, «чтобы вырваться из рыдающей, отпевающей, стреляющей Москвы на просторы страны, где можно вздохнуть не печально».

Так вот как, оказывается, объясняется отъезд Маяковского из Москвы в январе месяце 1926 года, о котором в известной книге В. Катаняна «Маяковский. Литературная хроника» всего только и сказано, что поэт выехал в лекционную поездку по городам Украины, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии с докладом «Мое открытие Америки» и новыми стихами. Те-

перь мы знаем — причина другая: Москва оказалась «мало оборудованной» для ответа на стихотворение Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...»

Правда, в подсознании Маяковского уже накапливались рифмы и образы этого ответа. В романе говорится, что главные строки стихотворения Есенина — «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей» — «лежали там как некое радиовещное ядро, непрерывно излучающее напряжение. И все поиски, все рифмы, все образы, накапливающиеся так скупко, рождались в этом напряженном поле и прорывались к тому ядру, чтобы взорвать его. опровергнуть».

В Ростове Маяковский узнал о героической гибели Теодора Нетте. И «опять все нарушилось в душе, словно радиовещное ядро исчерпало свои излучения и лежало теперь обыкновенной, холодной и тяжелой, галькой. Какая эфемерная штука — этот поэтический настрой! — сетует автор романа. — Чуть что не так — и он испарился, и только погремывают на дне холодные осколки мыслей, которые ничем не превратишь в поэзию».

Но после того как Маяковский побывал на Бакинских промыслах и «погремливающие на дне холодные осколки мыслей» уступили место идее, что «мужество и оптимизм всегда непровержимей безысходности, иначе кто бы согласился жить на земле», тревожное излучение последних есенинских слов вызвало наконец желанный «поэтический настрой» и возникли строки:

В этой жизни помереть нетрудно,
Сделать жизнь значительно трудней.

«Теперь, — рассказывается в романе, — можно было окончательно срабатывать стихотворение, теперь оно появилось».

В таком же выпретенном духе изображается в романе появление и других произведений Маяковского. Меняются лишь детали. Так, возникновение поэмы «Хорошо!» уже не уподобляется автором романа процессам излучения радиовещного ядра. Но зато мы читаем: «И без того писание стихов похоже на вольтову дугу, сжигающую концы тех самых проводников, по которым гечет к ней электричество; а тут еще дополнительное напряжение возникло в электросети нервов! И пока не вспыхнуло все бессмысленным пожаром, надо переключо-

чать в стихах и это чрезмерное напряжение». Или: «Так усиленно шла конденсация под атмосферным давлением траурно-красных дней, что без всякой настройки сразу пошла поэма...»

Сохранилась и склонность автора романа к «проникновенному» психологическому анализу: «Страна революции продолжала проецироваться в поэму через огражающую призму душевного настроения поэта»; или: «Нервы не умеют долго защищаться отупением, на усталость они реагируют обострением»; или: «Он пребывал в дальнорекости...» Здесь, пожалуй, уместно вспомнить слова, сказанные в романе, кажется, В. Шкловским и почему-то «бочковым голосом»: «Понятные по отдельности слова лишаются смысла во взаимосвязи».

А разве не смешно это назойливое применение словечек: «вольтова дуга», «радиевое ядро», «электросеть», «проводники», «излучение», «напряжение», «конденсация», «переключение» и т. п. к процессу создания стихов? Между тем автор в этом отношении весьма последователен. Что такое, скажем, память, играющая столь важную роль в художественном творчестве? «Память,— говорится в романе,— это не листок блокнота, по которому царапашешь чернильным пером. В глубине серой массы мозга прокладываются все новые и новые связи, а на поверхности, над теми местами, где идет тектоническая деятельность нервных клеток, прорезаются новые извилины, как вулканические силы внутри земли прорезают на ее поверхности хребты и ущелья».

А как осуществляется воздействие действительности на художественное творчество? Очень просто: «жизнь на этой мало оборудованной планете продолжала подкидывать в сознание, как в бездонную плавильную печь, все новые факты, ударяющие по сердцу то смехом, то яростью, то недоумением. И печь, содрогаясь от напряжения, привычно переплавляла их в мысли».

Итак, наши представления о художественном творчестве существенно обогатились: «радиевое ядро», «тектоническая деятельность нервных клеток», «вулканические силы», «плавильная печь», переплавляющая факты в мысли, и т. п. Откуда эти уподобления у Анатолия Никулькова? Может быть, это особым образом «проецируется» в романе «атмосферное давление» научно-го центра, расположенного под Новосибир-

ском? Может быть, автору романа такие уподобления кажутся необыкновенно свежими, современными (безусловно материалистическими) и он находит в них особую красоту и выразительность?

Может быть. Но скорее всего такой род письма порожден довольно распространенной боязнью простоты в художественной литературе и стремлением к «красивой» или «украшенной прозе», к псевдоромантической высокопарности.

Еще в 1822 году А. С. Пушкин в заметке «О прозе» иронизировал над теми писателями, которые, «почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные», думают оживить прозу «дополнениями и вялыми метафорами». «Эти люди,— писал Пушкин,— никогда не скажут дружба, не прибавя: «сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.»... Ах, как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее».

Это стремление произнести вместо «дружба» слова «сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.» сказалось в романе Анатолия Никулькова не только на страницах, рисующих художественное творчество Маяковского, но пронизывает все произведение, определяет характер изображения любого эпизода, любой сцены. Все простое и обыкновенное превращается под пером автора романа в нечто вычурное и манерное. Вот еще несколько наугад выбранных примеров.

В квартире на Гендриковом закрылась дверь — «громыкнула дверь и, тускло отливая железной обивкой, впечаталась в простенок, как несокрушимый страж тишины».

Мейерхольд налил стакан чаю — «Поднятый чайник соединился с чашкой стеклянным жгутом кратко прожурчавшей струи».

Маяковский сел в поезд — «вскоре он с облегчением замкнулся в тонких стенках купе, ощутив всем телом движение».

Маяковский читает газету — «Он бросился в нее, как цирковой гимнаст в затянутый обруч, чтобы, пробив бумагу, очутиться по ту сторону обруча в другом, настоящем мире».

Маяковский разговаривает в ГИЗе — «Огненным шквалом он совсем подавил сабельное взвизгивание противника».

это относится и к тем или иным стихотворным строчкам поэта. Можно ли, скажем, в наше время согласиться со всем тем, что он писал о Горьком, об Алексее Толстом, о Шаляпине, о Стеклове, о Воронском, Полонском, Гладкове и других деятелях нашей культуры? Кажется, исторический опыт, годы, прожитые после смерти Маяковского, дают нам возможность подойти к некоторым событиям и людям с более объективными позиций. Так почему же автор романа «На планете, мало оборудованной» не воспользовался этой возможностью?

Приведу только один пример.

Всем известно стихотворение Маяковского «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Оно проникнуто высоким революционным пафосом и продиктовано желанием видеть Горького в Советском Союзе активным и непосредственным участником и руководителем литературного движения в стране. Но несомненно, что в стихотворении этом есть и очень неверные ноты, и упрощенные характерно лэфовские мотивы: «горько думать им о Горьком-эмигранте», «или с Вами начали дружить по саду ползущие ужи?», «бросить Республику с думами, с бунтами, лысинку южной зарей озарив», и т. п. В наши дни каждый знает, что Горький в 1921 году уехал за границу по настоянию В. И. Ленина для лечения, что его отъезд и жизнь за рубежом ничего общего не имели с эмиграцией, что Горьким в годы пребывания за границей были написаны «Дело Артамоновых», ряд других произведений и большая часть романа «Жизнь Клима Самгина», что ни на один день не прерывалась связь Горького с нашей страной и нашей литературой. Знает обо всем этом, конечно, и Анатолий Никульков. Так почему же он, приводя в своем романе «Письмо писателя...», ограничивается лишь фразами вроде: «Намеками и экивоками не умел выражаться Маяковский, уж если выкладывал, то выкладывал все...»? Что это значит: «выкладывал все»?

Мой отзыв о романе «На планете, мало оборудованной» получился, кажется, не только пространным, но и чересчур суровым. Произошло это, вероятно, потому, что все, что мне хотелось сказать о ряде романов, подобных роману Анатолия Никулькова, я сказал об одном из них. Но зато и наибольшую пользу из критики (а я на-

деюся, что она полезна) может в данном случае извлечь автор рецензируемого романа. На мой взгляд, он вполне способен это сделать.

А. ДЕМЕНТЬЕВ.

Уже после того, как эта рецензия была набрана, появилось еще одно произведение о Маяковском — «Любовь поэта» В. Воронцова и А. Колоскова («Огонек», № 16, 1968), а вслед за ним за подписью уже одного А. Колоскова публикация «Трагедия поэта». И хотя это не роман, а, так сказать, исследование, оно все же произвело на меня столь сильное впечатление, что хочется поделиться им с читателем. Как справедливо писал в «Правде» Ярослав Смеляков, эти публикации отмечены налетом сенсационности и односторонности.

В. Воронцов и А. Колосков подошли к своему «научному труду» во всеоружии. Достаточно ознакомиться с привлеченными ими источниками. Среди них и русская и зарубежная печать, и малозвестные мемуары, и записи бесед с очевидцами, и впервые публикующиеся («в нашем распоряжении имеется...») письма полусенсационного характера.

Задачи, которые ставят перед собой В. Воронцов и А. Колосков, поистине грандиозны. Они стремятся рассказать о любви поэта, «когда и какой она была» и даже «когда ее не было», и доказать, вопреки существующим представлениям, что той любви, которая была, — не было, а та, которая могла быть, — была. Со свойственной им любознательностью авторы «Любви поэта» доискиваются, о ком именно идет речь в том или ином произведении Маяковского, где говорится о любви. Например, ими твердо установлено, что названная в «Облаке в штанах» Мария — это не «обобщение» и — тем более — не «Сонька, 17-летняя девушка из Одессы», а Мария Александровна Денисова, в замужестве Щаденко. Иногда, конечно, на пути такого «исследования» нашим авторам приходится встречаться с препятствиями и отступать перед ними. Так им осталось неизвестно, любила ли Мария Маяковского? Очень хотелось бы им выяснить, был ли поэт счастлив в любви с ноября 1921 года до февраля 1922 года, но, увы, выяснить не удалось. «Может быть, хоть в этот

БЕРНАРД МАЛАМУД РАССКАЗЫВАЕТ РАЗНЫЕ ИСТОРИИ

Б. Маламуд. Туфли для служанки. Рассказы. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. «Молодая гвардия». М. 1967. 270 стр.

«Маламуд нередко похож на нашего Чехова, временами — на Бабеля, но более всего — на самого себя», — пишет Юрий Нагибин в кратком введении к сборнику «Туфли для служанки». Имена Твена, Джеймса, Хемингуэя — художников, сформировавших традицию близкой Маламуду темы «американца в Европе», — названы в критическом этюде В. Скороденко, завершающем книгу. Упоминается им и Шолом-Алейхем; по специфическим трудностям, которые представляет для переводчика проза Маламуда, она соотносится с прозой Лескова, того же Бабеля, Зощенко... Указательные стрелки ведут, как видим, в разных направлениях, но, кажется, не взаимоисключающих. Где-то на пересечении «бытового эпоса», фантастического гротеска, скупого психологического репортажа, усталой, но неистребимой еврейской иронии существует американский писатель Бернад Маламуд. Он уже немолод, но лишь в последние восемь-девять лет стал заметной, геперь очень заметной фигурой среди современных прозаиков США; впрочем, он и печататься начал поздно. За плечами у Маламуда четыре романа и две книги рассказов, из которых переводчица Р. Райт-Ковалева и отобрала тринадцать вещей, образующих эту небольшую книжку.

Отобраны они продуманно, в сборник вошли очень хорошие рассказы, но крен сделан скорее в сторону Маламуда — автора социально-бытовых рассказов, чем мастера гротеска и фантазмагии. Вероятно, это правильно для первого знакомства, да и в этих рассказах достаточно определенно выступают особенности художественного облика Маламуда — те черты, которые и делают его похожим «более всего — на самого себя».

Писатель он не из «приятных», к человеческим иллюзиям относится довольно сурово и сам не склонен создавать успокоительные иллюзорные зрелища. Подчеркнутая антиромантичность многих ситуаций и сцен в его книгах бьет по глазам, как свет голей лампочки, вверченной в потолок. Воспринимается он как график — как художник черно-белых и серых тонов, резких штрихов, четкой, не знающей расплывчато-

сти композиции. В том, как Маламуд повествует о человеческих бедствиях, о человеческом прозябании, о трагикомических заблуждениях и внезапных духовных прозвещениях, есть как будто бы суховатая отстраненность, даже, как верно отмечает В. Скороденко, назидательность, некая дидактическая придиричность. Но все это лишь тон, свойственная Маламуду манера повествования, и она вовсе не скрывает человеческой сущности писателя — его глубокой доброты, подлинности его боли за людей, доверия к их внутренним возможностям.

В финалах его рассказов не торжествуют ни порок, ни добродетель, действительность чаще всего остается неизменной, проблема неразрешенной, но какие-то сдвиги, проблески возникают в сознании героя, растерянного, незадачливого, капля жизненной — не житейской — мудрости падает в унылую неразбериху быта, и это приносит ощущение завершенности.

Рассказы этого сборника делятся по своему содержанию на две неравные группы: большая часть их связана с бытом мелких лавочников, ремесленников, «людей воздуха», студентов и свободных художников, кое-как перебивающихся на свои неверные заработки в угрюмых и скученных кварталах нью-йоркской бедноты. А несколько рассказов посвящено другой теме, издавна занимающей Маламуда: американский интеллигент, еврей, человек со скромными средствами и смутными художественными тяготениями, пытается найти «синюю птицу» — себя, свое призвание — под синим итальянским небом.

Некоторые пристрастия Маламуда-новеллиста довольно устойчивы. Маламуд, например, явно любит нью-йоркских лавочников — не коммерческих акул, а маленьких торговых рыбешек; любит, жалеет, досконально знает, собственной кожей чувствует неизбывные тяготы их существования, эту скрипучую карусель от рассвета до ночи, эту борьбу за каждый доллар. Рассказы «В кредит», «Тюрьма» и опубликованная в журнале «Вокруг света» (№ 10, 1966; переводчица Т. Хейфец и М. Кригер) «Лавка» — варианты миниатюрной летописи та-

кой вот жизни, отупляющей и скудной, прожитой, как оказывается, впустую. Жизнь прошла впустую, по-чеховски печально размышляет автор, и «собственность», от которой некуда деться, не более чем грошовая приманка, черствый кусочек сыра, заложенный в мышеловку.

В этих рассказах Маламуд ведет повествование ровно, сдержанно, бережно, почти не давая воли своему дару острой иронической игры. Но все равно сквозь сплошной, как будто бы натуралистически описанный быт ненавязчиво пробивается тот второй, «обобщающий» план, о котором говорит В. Скороденко. Это делается не с помощью авторских отступлений или доведка — «моралите», — есть двойственность в самом ходе рассказа: неприметные повороты от обыденного к поэтической метафоре, от факта к символу. Чаше всего этот поворот происходит ближе к финалу, и тогда по-иному освещается все рассказанное. И в рассказе «В кредит», и в «Плакальщиках», и в одной из лучших новелл Маламуда «Волшебный бочонок» (так был назван и первый его сборник 1958 года, получивший премию Пулитцера) мы наблюдаем эту передвижку планов.

В «Волшебном бочонке» действует Пиня Зальцман, классический местечковый сват, только живущий в Нью-Йорке в середине нашего века. Его диалоги с ученым Лео — будущим раввином, который хочет жениться по сватовству, потому что так принято, а влюбиться ему было некогда, — исполнены причудливого и печального юмора, — все это словно в традициях Шолом-Алейхема. Но вот Лео случайно увидел снимок Стеллы, дочери Зальцмана, «погибшей» для отца, и добивается встречи с ней. И в том, как описана эта встреча, нет уже ничего от трезвого реализма бытового рассказа. «...Скрипки и зажженные свечи закружились в небе. Лео бросился к ней, протягивая цветы».

Не всегда, однако, Маламуд «снимает» свой подчеркнутый прозаизм экстравагантно поэтическим финалом. Порой происходит обратное: умышленно незначительный, деловитый тон заключительных строк говорит о значительности всего, что произошло. Так построен рассказ «Туфли для служанки» — пожалуй, самое «чеховское» произведение сборника. Казалось бы, не в чем упрекнуть пожилого американского профессора-юриста, который, поселившись

на зиму в Риме, нанял себе итальянскую служанку Розу. Он и платит хорошо, и разрешает Розе мыться в своей ванне, и покупает ей пару туфель, и даже скрепя сердце дает ей советы, и сам ведет ее к врачу — правда, потому, что не рискует давать деньги в руки. И если в конце концов с Розой приходится расстаться и она возвращается в свое нищее жилье к грубияну-сыну и злючке-невестке, то чья в этом вина? Профессору — человеку нервному, занятому — надо работать, а не вникать в путаные и неприглядные жизненные обстоятельства «этих людей». В рассказе нет иронии, хотя стык между двумя этими полярными человеческими характерами, за которыми — две страны, два социальных уклада, показан с острым чувством комической, абсурдной «несовместимости». Автор не иронизирует, не осуждает, но впечатление горечи, остающееся у читателя, укрепляется последними строками. Уходя, Роза оставила злополучные туфли, подарок хозяина, и... «когда приехала его жена, она перед Днем благодарения подарила туфли швейцарихе, а та, поносив их с неделю, отдала своей невестке».

Нат Лайм, еврей из Гарлема, владелец винной лавки, произносящий длинный монолог под заглавием «Мой любимый цвет — черный», тоже оказался жертвой «несовместимости»: «Я им сердце готов отдать, а они мне — в зубы». «Они» — это негры. К неграм у Ната с самого детства неодолимая симпатия, но взаимностью он не пользуется также с самого детства. Мальчик, которого он избрал себе в приятели, ни за что поколотил и обругал его; женщина, которую он любил — здесь была даже взаимность, — так и не вышла за него замуж; уборщица, которая приходит раз в неделю помочь ему по хозяйству, завтракает в ванной, потому что он в первый же ее приход имел неосторожность сесть с ней за стол на кухне. Все время подшучивая над собой, Лайм говорит о страшных вещах — о цепной реакции расовой нетерпимости, об извечном недоверии черных к белым, о ненависти черных к тем белым, которые так часто сами бывают обездолены.

Добрый Лайм со своим отвергнутым сердцем верит, что «один только цвет у людей и есть — цвет их крови». Негры ему нравятся, но и от своей национальности он не отрекся. Иначе обстоит дело с героем в

рассказе «Дева озера». Как будто бы незначай молодой служащий Генри Левин, поехал путешествовать по Европе (он получил небольшое наследство), стряхнул с себя тягостный груз еврейства и стал Генри Р. Фрименом, чистокровным американцем. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Девушка, которую он пылко полюбил на берегу итальянского озера, которую принимал за аристократку из разоренного древнего рода и которая настойчиво попытывалась, не еврей ли он (предположение это наш герой категорически отрицал), оказалась еврейкой, в детстве пережившей Бухенвальд. Она гордится своим народом и только за еврея хочет выйти замуж. «Дева озера» — рассказ, написанный в манере, вообще не очень свойственной Маламуду, — он словно бы подернут легкой романтической дымкой, лиричен, обращивается резким, не склонным к прощению сарказмом: «Девушка скрылась за статуями, и Фримен, бормоча ее имя, протянул руки в туман, поднявшийся с озера, но обнял только мрамор, озаренный лунной». (Заметим, кстати, что все эти мраморные статуи в парке возле дворца итальянских аристократов были скверными копиями.)

Здесь начинается та самая тема, которая проходит через новеллистику Маламуда — тема американца в Европе, в Италии, американца в поисках духовных ценностей, которыми сам он пока не обзавелся.

В цикле рассказов о злоключениях Артура Фидельмана в Италии — в этот сборник вошли два из них: «Последний из могикан» и «Нагая натура» — резкость штриха заметно усилена. Это своего рода современная «пикарескная новелла», герой которой (здесь герой не плут-пикарро, а жертва плутов) предстает в весьма жалком свете. Артур Фидельман — такой розовенький, такой толстенький, столь трогательно уверенный в своем внутреннем праве жить в Италии на скудные средства своей старшей сестры Бесси и, поскольку художник из него все равно не получился, работать над монографией о Джотто — узнает, почему фунт лиха в этой древней, прекрасной, нищей и коварной стране. Его дурачат и эксплуатируют все, кому не лень, а лентяев в этом смысле среди встреченных им аборигенов, увы, что-то не наблюдается. Великолепны портреты «учителей житейской мудрости», вступающих на тернистом пути несчастного Фидельмана:

это свободный художник от коммерции, бесштаный, но вольнолюбивый Зускинд, это достойные друг друга зловещие мошенники Скарпио и Анджело, которых вконец отчаявшийся Фидельман все же сумел осилить.

Но что важно и что отличает Маламуда от многих писавших в жанре «жесточкой» прозы: есть в нем и сочувствие Фидельману — его слабости, его простодушию, есть даже вера в Фидельмана. Когда этот несостоявшийся художник по заказу Анджело и Скарпио делает копию с полотна Тициана, которое они хотят украсть из музея, в нем просыпается настоящая, бескорыстная страсть к искусству, и муки творчества, переживаемые им, и ощущение счастья, которое приносит ему удачно сделанная работа, — это все истинно, как ни грязен, как ни уродливо комичен мир, в который его швырнули обстоятельства и собственный характер.

Эти рассказы — точная графика, здесь нет ни одного смазанного пятна, все — в действии, почти на одних глаголах, скупое до предела. Переводить все это без всяких украшений, но с воссозданием всех оттенков отношения автора к происходящему — задача из самых трудных; впрочем, как известно, легко переводят лишь не думающие и по-настоящему не читающие подлинник переводчики. Р. Я. Райт-Ковалева — мастер тонкий и в высшей степени артистичный — во многих рассказах этой собранной ею книжки превосходно передает и стиль и ритм Маламуда. Очень хорошо, например, оба рассказа о Фидельмане, «Волшебный боценок», «Плакальщики», «Беженец из Германии». А вот в «Туфлях для служанки», в рассказе «Мой любимый цвет — черный», на мой взгляд, есть потери. В «Туфлях для служанки» особая трудность заключена в том, что в повествовании все время встречаются две речевые линии — Розы и профессора, хотя диалог как таковой занимает не столь уж много места; в переводе эти контрастные линии иногда стерты, заменены нейтральными, «объясняющими» фразами, и от этого пропадают некоторые краски — внутренний юмор, рожденный полным, «гармоничным» взаимонепониманием двух этих людей. Монолог Ната Лайма в рассказе «Мой любимый цвет — черный» весь выдержан в очень характерной интонации — горестная еврейская ироничность проби-

вается в отрывистых, сжатых, всегда тяготеющих к афоризму, к каламбуру речах. Стилль этот в целом уловлен переводчицей, но не везде выдержан, нет-нет да и возникнет и литературная, и непринужденная, а

все же «среднеарифметическая» фраза. Эти замечания, разумеется, придирки — книга читается хорошо, и разговор идет уже, так сказать, об идеале.

И. ЛЕВИДОВА.

★

Политика и наука

ЛЕНИН И СТАТИСТИКА

- В. Е. Овсиенко, Е. Г. Виталина. Вопросы статистической науки в трудах В. И. Ленина. «Статистика». М. 1967. 207 стр.
- А. С. Либкинд. Анализ американских сельскохозяйственных цензов в работах В. И. Ленина. «Статистика». М. 1967. 131 стр.
- И. Г. Малый. Вопросы статистики народного потребления в трудах В. И. Ленина. «Статистика». М. 1964. 62 стр.
- И. Ю. Писарев. Вопросы статистики труда в работах В. И. Ленина. «Статистика». М. 1964. 96 стр.
- С. М. Гуревич. В. И. Ленин и статистика социалистического государства. Госстатиздат. М. 1963. 181 стр.

«Целый ряд вопросов, и притом самых коренных вопросов, касающихся экономического строя современных государств и его развития, которые решались прежде на основании общих соображений и примерных данных, не может быть разрабатываем сколько-нибудь серьезно в настоящее время без учета массовых данных, собранных относительно всей территории известной страны по одной определенной программе и сведенных вместе специалистами-статистиками¹, — писал Ленин, и эти его слова не только не устаревают, а, наоборот, приобретают все более насущное значение. Задачи, стоящие перед нашим народным хозяйством, усложняются, и потребность в умении «установить такой фундамент из точных и бесспорных фактов, на который можно было бы опираться, с которым можно было бы сопоставлять любое из тех «общих» или «примерных» рассуждений, которыми так безмерно злоупотребляют в некоторых странах в наши дни» (30, 350—351), ощущается все сильнее.

За последнее десятилетие появилось больше работ о ленинских методах статистического анализа, чем за весь предшествующий период. Авторы этих работ стремятся показать, какую роль в деятельности Ленина играла статистика, названная

им «одним из самых могущественных орудий социального познания» (19, 334), в том числе земская статистика, которую Ленин высоко ценил, хотя и критиковал за недостаточно осмысленную обработку сведений. «Если пензенские статистики обследуют всю губернию по вышеуказанной программе, то собранные данные будут — без преувеличения можно сказать — близки к идеальным... Крестьянское хозяйство Пензенской губ. было бы изучено... превосходно — несравненно лучше, чем при западноевропейских переписях (которые, правда, охватывают не губернии, а всю страну в целом). Все дело только за *обработкой* этих превосходных данных. В этом — главная трудность. Здесь — самый больной пункт нашей земской статистики, великолепной по тщательности работы и детальности ее» (24, 276), — писал Ленин об изданной в 1913 году в Пензе подворной переписи крестьянского хозяйства.

Использовал Ленин и данные дореволюционной казенной статистики, хотя отзывался о ней весьма критически: «В сколько-нибудь демократических и свободных государствах возможна сносная правительственная статистика. У нас об этом говорить не приходится. Наша правительственная статистика плоха, нелепо раздроблена между «ведомствами», недостоверна и поздно выходит в свет» (23, 392). «...Кроме земской статистики... — заметил он в другой работе, — у нас имеется лишь лживая, не-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 19, стр. 323. В дальнейшем все ссылки даны по этому изданию: первая цифра указывает том, вторая — страницу.

ряшливая, канцелярски-путаная статистика разных «ведомств», скорее заслуживающая названия полицейской отписки» (12, 354).

Работы о ленинских статистических исследованиях знакомят читателя с общими требованиями, которые Ленин предъявлял к статистике, с его методами разработки и анализа статистического материала, с тем, как он критиковал ошибки и разоблачал фальсификаторские приемы буржуазной статистики: злоупотребление средними цифрами («общие и огульные «средние» имеют совершенно фиктивное значение») (3, 141), выхватывание отдельных фактов, которые, «если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже» (30, 350), и «жалкий прием людей, которым велено кричать ура» (23, 358) и которые в угоду начальству стремятся «не столько *обследовать*, сколько *обманывать*, не столько *изучать* дело, сколько *извращать* его» (23, 356).

«Огромные возможности, которые дает статистика для социального познания, должны быть прежде всего использованы в строительстве социализма, коммунизма — эта мысль красной нитью проходит через все ленинские высказывания о советской статистике», — пишет С. М. Гуревич в своей книге «В. И. Ленин и статистика социалистического государства», представляющей общий обзор работы Ленина со статистикой. В той части книги, которая посвящена собственно советской статистике, указывается, как сам Ленин в качестве главы первого Советского государства использовал эти возможности, каких точных экономических расчетов требовал для обоснования выдвигаемых предложений, называя «бюрократическими утопиями планы нереальные, не подкрепленные тщательно продуманными соображениями, основанными на учете действительного положения вещей, на цифровых расчетах и выкладках». С. М. Гуревич сообщает, в частности, что «статистические материалы для составления плана электрификации отдельных районов составили, как указывалось в отчете о деятельности комиссии ГОЭЛРО, солидный том в 500 страниц таблиц, содержащих необходимые сведения по 71 губернии России».

В книге изложены те задачи, которые Ленин ставил перед статистическими орга-

нами, добиваясь, чтобы они были органами «социалистического строительства, проверки, контроля, учета того, что надо социалистическому государству знать теперь, сейчас, в первую голову» (45, 156). С. М. Гуревич перечисляет переписи и статистические обследования, которые были проведены при Ленине, несмотря на то, что в первые годы советской власти это было связано с чрезвычайными трудностями: переписи населения, промышленности, рабочих и служащих промышленных предприятий, выборочная перепись десяти процентов крестьянских хозяйств, обследование бюджетов рабочих и крестьян и др.

С. М. Гуревич останавливается на том, какое большое значение придавал Ленин доведению статистических данных до населения, считая необходимым «печатание отчетов, превращение их в доступные для широких масс... чтобы втянуть более широкие массы в работу хозяйственного строительства» (43, 346). Гласность Ленин считал одним из условий действенного «контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень возможности извращения Советской власти, чтобы вырывать повторно и неустанно сорную траву бюрократизма» (36, 206).

Автор отмечает сдвиги, которые произошли за последние годы в советской статистике: в 1959 году после двадцатилетнего перерыва была проведена перепись населения, в 1960 — инвентаризация и переоценка основных фондов, в 1962 — перепись оборудования и машин, введен статистический учет производительности труда в колхозах и т. п.

Появившись одной из первых в ряду подобных работ, книга С. М. Гуревича до сих пор имеет определенный познавательный интерес.

«Вопросы статистики труда в работах В. И. Ленина не всегда возможно и не всегда целесообразно выделить из общей связи статистического анализа. Поэтому вопросы статистики труда в работах В. И. Ленина рассматриваются нами на фоне более общих вопросов», — сообщает в начале своей брошюры И. Ю. Писарев. Но хотя автор и предварил таким образом возможные претензии к его работе, они все же возникают. То, что на ее страницах вопросы труда существуют почти на равных правах со многими другими вопросами, не представляется вполне оправданным. Автор затра-

гивает предметы, имеющие лишь косвенное отношение к основной теме, но даже не упоминает такую, например, ленинскую работу, как «Рецензия на книгу «Экспонаты по охране труда на Всероссийской гигиенической выставке в С.-Петербурге в 1913 г.», где Ленин прямо формулирует свои требования к подобного рода публикациям.

«По целому ряду вопросов рабочей жизни издание дает массу ценных статистических данных — число рабочих в некоторых отраслях промышленности, женский и детский труд, рабочий день и заработная плата, санитарные условия и охрана труда, заболеваемость и смертность рабочих... и т. д., и т. д.,— говорится в этой рецензии.— ...Недостаток книги — отсутствие во многих случаях абсолютных цифр (указаны только относительные цифры) и общего предметного указателя, который давал бы возможность быстро находить соответствующие данные по отдельным вопросам... При следующих изданиях она могла бы и должна бы превратиться в систематический свод материалов по вопросам положения и охраны труда в России» (24, 282).

В брошюре И. Ю. Писарева ни слова не сказано ни о прежнем, ни о современном состоянии статистики охраны труда. Между тем она и теперь оставляет желать лучшего.

Ленин указывал, что повышение заработной платы в капиталистических странах нередко сводится на нет повышением цен, уменьшение же рабочего дня реально лишь тогда, когда достаточно оплачивается труд: «Если заработная плата при сокращении нормального (урочного) рабочего дня останется у большинства русских рабочих так же безобразно низка, как и теперь, тогда рабочему из нужды придется согласиться на сверхурочную работу и положение его не улучшится» (2, 299). Так было в царской России, так сплошь и рядом происходит в капиталистическом мире и сейчас.

После революции Ленин самое пристальное внимание направлял на вопросы оплаты труда. Как известно, уравнилное распределение эпохи военного коммунизма вскоре было отвергнуто им. Опробовались поощрение лучших коллективов, сдельная оплата труда, оплата долей из прибыли бывших капиталистов, используемых в качестве организаторов производства. Не без влияния этих мер народное хозяйство молодой Страны Советов стало быстро набирать силу. Изучение данных, на основании

которых Ленин делал свои выводы, представляет огромный и отнюдь не только исторический интерес. Однако И. Ю. Писарев не счел возможным хотя бы кратко охарактеризовать эти данные.

Безусловно, в сравнительно небольшой брошюре нелегко даже поставить, а не только сколько-нибудь обстоятельно разобрать все вопросы статистики труда, но тем более автору следовало дорожить ее площадью.

Более содержательной представляется книга А. С. Либкинда «Анализ американских сельскохозяйственных цензов в работах В. И. Ленина», где рассматривается ленинский анализ аграрного вопроса на материалах американских сельскохозяйственных переписей, которые давали «такой точный и богатый материал, какого нет ни в одной стране мира...» (27, 133). Здесь каждые десять лет проводятся переписи населения (цензы), соединенные с подробными описаниями промышленных и сельскохозяйственных предприятий (сельскохозяйственные переписи с 1925 года проводятся каждое пятилетие), поясняет автор книги. Он показывает, как Ленин, пользуясь этими данными, опроверг выгодную для эксплуататоров легенду о процветании мелкого фермера, о том, что Америка идет по пути не укрупнения, капитализации, а укрупнения сельского хозяйства. Ленин доказал, что «один и тот же материал дает диаметрально противоположные выводы при различных приемах группировки. С увеличением размеров хозяйства интенсивность земледелия *понижается* — если судить... по величине площади земли; *повышается* — если судить... по стоимости продуктов хозяйства» (27, 190), и что на небольшом участке земли может иметь место весьма крупное капиталистическое хозяйство с большими капиталовложениями, большим количеством машин и наемной силы. «Ленин пришел к выводу,— заключает А. С. Либкинд,— что интенсификация земледелия есть «...общее явление всех цивилизованных стран» (27, 168).

А. С. Либкинд утверждает, что «разработанная В. И. Лениным система статистических показателей интенсификации сельского хозяйства важна и для анализа интенсификации производства в колхозах и совхозах», отмечает в этой связи ряд недостатков нашей сельскохозяйственной статистики и ~~вносит конкретные предложения,~~

которые представляются справедливыми. Но если выводы о современном сельском хозяйстве США он обосновывает обширными статистическими данными, то, говоря о нашем сельском хозяйстве, лишь единственный раз делает попытку опереться на цифры.

Отсутствие обстоятельной, а зачастую и всякой фактической аргументации выводов и предложений, относящихся к нашей современной статистике, — недостаток отнюдь не только работы А. С. Либкинда.

И. Г. Малый, автор брошюры «Вопросы статистики народного потребления в трудах В. И. Ленина» показывает, как, опровергая народнические иллюзии, Ленин перерабатывал материалы земской статистики о потреблении, а также статистический материал такого рода по другим капиталистическим странам.

Некоторые положения автора имеют актуальное экономическое значение. Напомнив указание Ленина о том, что продуктовой нормой следует «считать, сколько надо человеку, по науке, хлеба, мяса, молока, яиц и т. под., т. е. норма не число калорий, а количество и качество пищи» (40, 342), И. Г. Малый с огорчением констатирует, что, несмотря на это, «калорийная оценка питания до сих пор довлеет над умами исследователей». Действительно, подобная оценка порой значительно искажает картину фактического питания.

Книга В. Е. Овсиенко и Е. Г. Виталиной «Вопросы статистической науки в трудах В. И. Ленина» представляет собой попытку обобщения ленинских методов статистического исследования. Авторы рассматривают общие вопросы методологии статистического наблюдения, группировки и обработки данных, проблему статистической средней и т. д.

Главное место в книге отведено группировкам, которые применял Ленин. Сопоставляя их с группировками, принятыми в современной статистике, авторы сообщают, что «в соответствии с ленинскими указаниями о необходимости положить в основание группировки размеры и типы хозяйств один из важнейших группировочных признаков в советской статистике — признак формы собственности»; что «группировкой, широко применяемой в практике советской статистики, является группировка по территориальному признаку», на необходимость применения которой Ленин указывал в

своей первой работе «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», и что, «следуя ленинским заветам, наша советская статистика применяет группировку по размеру предприятий».

Важность использования ленинского опыта группировки не подлежит сомнению, однако следовало бы, на наш взгляд, иметь в виду и такое указание Ленина: «...статистика, если бы она была поставлена осмысленно, разумно, должна бы была видоизменять свои методы исследования, приемы группировок и т. д. в соответствии с формами проникновения капитализма в земледелие...» (27, 138). Вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что это указание относится не только к условиям капитализма и не только к аграрной статистике.

Прочитывая высказывание Ленина, в котором дореволюционная фабрично-заводская статистика критиковалась за отсутствие группировки фабрик «*по числу рабочих, по роду двигателей и по величине производства*» (4, 33), авторы в качестве примера того, как современная статистика исправляет указанное упущение, приводит группировку промышленных предприятий по численности рабочих в современных публикациях ЦСУ (сборник «Народное хозяйство СССР в 1964 году»). По мнению В. Е. Овсиенко и Е. Г. Виталиной, соответствующая таблица этого сборника «содержит очень интересные и важные сведения. Ее данные позволяют сделать ряд выводов». Выводы эти таковы: «Группа предприятий с наименьшим числом рабочих выгодно отличается в экономическом отношении от всех других... Здесь... на одного рабочего и на рубль основных фондов приходится больше валовой продукции, чем во всех остальных группах предприятий».

Между тем В. Е. Овсиенко и Е. Г. Виталина сами тут же оговариваются, что «группировка предприятий по численности рабочих, несмотря на ее важность, не в полной мере характеризует размеры предприятий... Рост техники, механизации труда, автоматизации производственных процессов, автоматизация управления предприятиями приводит к уменьшению числа рабочих на механизированных и автоматизированных предприятиях. Для ряда отраслей промышленности число рабочих как показатель величины предприятия уже мало характерен или совсем не характерен». Действительно, группировка предприятий по

объему валовой продукции, которая помещена в сборнике ЦСУ рядом с группировкой по числу рабочих, дает прямо противоположные результаты: свидетельствует, наоборот, о выгодности наиболее крупных предприятий.

Но если пример, который В. Е. Овсиенко и Е. Г. Виталина выбрали для иллюстрации того, как в нашей статистике реализуются ленинские принципы, и нельзя признать удачным, то сама по себе попытка подтвердить свои заключения конкретными статистическими данными — факт, несомненно, положительный. Их книга становится наиболее содержательной именно там, где они делают наибольшее количество таких

попыток. В основном это относится к последней главе, посвященной оценке статистических данных, их сопоставлению.

Этот обзор не претендует ни на исчерпывающее рассмотрение затронутых изданий, ни — тем более — на полный охват литературы, исследующей ленинское наследие в области статистического анализа. Но, думается, и такой краткий обзор может дать представление о том, что хотя интересная, нужная, актуальная работа по изучению этого наследия начата, ведется, однако она еще не достигла такого уровня, чтобы в полной мере способствовать развитию нашей статистики.

В. БОРНЫЧЕВА.



ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА

Ю. А. Красин. Ленин, революция, современность. «Наука». М. 1967. 563 стр.

Среди работ, посвященных актуальным проблемам социалистической революции, книга «Ленин, революция, современность» займет особое место. Говоря так, мы имеем в виду в первую очередь методологию исследования Ю. А. Красина. В основе ее лежит принцип историзма, принцип развития, применяемый автором не только при изучении исторических явлений и событий, но, что особенно важно подчеркнуть, при анализе взглядов Маркса и Ленина.

Ю. А. Красин справедливо пишет, что в прошлом в литературе существовала «приверженность к абстрактным схемам и догмам по вопросам теории социалистической революции», «затушевывался творческий характер ленинского учения о революции, насаждался догматический подход к нему, затруднялось изучение эволюции ленинских идей, поощрялось цитатническое отношение к ним».

Под пером иных исследователей ленинское учение превращалось в простую сумму высказываний, в «свод застывших положений, взятых статически». Естественно, в такой форме оно не могло быть инструментом познания действительности.

Другой подход, также имевший место в прошлом, несколько тоньше. Его приверженцы рассуждали примерно так: в один

период Ленин давал одно решение проблемы (и решение это в точности соответствовало условиям данного периода), в другой период он «отбрасывал» прежние решения и решал проблему иначе (и новое решение в точности соответствовало новой исторической ситуации). Этот принцип «отбрасывания», как показывает Ю. А. Красин, нашел отражение и в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Там относительно вывода о возможности победы социализма в одной стране говорилось, что это была «новая, законченная теория социалистической революции», которая «в корне расходилась с той установкой, которая имела хождение среди марксистов в период до монополистического капитализма». Ю. А. Красин справедливо замечает по этому поводу: «Акцентируя внимание на отличии ленинских идей о закономерностях социалистической революции пролетариата от взглядов основоположников марксизма, сталинская постановка вопроса оставляла в тени их органическое единство».

Что касается самого Ленина, то он решительно выступал против сведения принципа развития к «отбрасыванию».

В 1909 году И. И. Скворцов-Степанов, узнав о том, что Ленин считает необходимым разработать целый ряд новых, существенно важных теоретических положений,

связанных с вопросом о двух путях развития капитализма,— в растерянности писал ему в том смысле, что эти новые положения по существу зачеркивают, отбрасывают анализ русского капитализма, сделанный в девяностые годы В. Ильиным (то есть самим же Лениным), и что для оправдания его новой позиции «В. Ильин должен быть уничтожен». Знаменателен ленинский ответ:

«Что доказывал и доказал Ильин? Что развитие аграрных отношений в России идет капиталистически и в помещичьем хозяйстве и в крестьянском, и вне и внутри «общины». Это раз. Что это развитие уже бесповоротно определило не иной путь развития, как капиталистический, не иную группировку классов, как капиталистическую. Это два.

Из-за этого был спор с народниками. Это надо было доказать. Это было доказано. Это остается доказанным. Вопрос сейчас ставится (и движением 1905—1907 гг. поставлен) иной, дальнейший... Нельзя оставаться при общем решении вопроса о капитализме, когда *новые* события... поставили вопрос более конкретный, более детальный, вопрос о борьбе *двух* путей или методов *капиталистического* аграрного развития»¹.

Прежнее решение, таким образом, не отбрасывается, не уничтожается (если оно верное), а является необходимым истоком нового движения, исходным пунктом для решения «дальнейших» вопросов. Новое решение должно вырастать из предшествующего так же, как новая действительность «вырастает» из действительности прошлой. В новой исторической реальности присутствует в «снятой форме» и старая реальность, как в стебле пшеницы «присутствует» посеянное в землю зерно.

Именно так, диалектически, понимаемый принцип развития и лежит в основе методологии исследования Ю. А. Красина, поставившего перед собой задачу — «проследить развитие основных ленинских идей, уловить тенденции этого развития в связи с важнейшими этапами международного революционного движения».

Такой анализ необходим, чтобы, следуя логике ленинского учения, решать

новые, «дальнейшие» вопросы, которые перед Лениным не стояли, вопросы, связанные с происшедшими за последние сорок лет коренными сдвигами, такими, как «превращение мировой системы социализма в решающий фактор современной истории», как экономические и социальные изменения, происходящие в развитых империалистических странах под влиянием современной научно-технической революции, как современное национально-освободительное движение и другие. Эти изменения дают Ю. А. Красину полное право сказать: «Сейчас, как никогда, необходимо творческое развитие марксизма-ленинизма». Автор констатирует, что этот «качественно новый этап» в развитии марксизма-ленинизма начался, и он справедливо связывает его начало с серединой пятидесятых годов, когда указанные сдвиги особенно ясно обозначились, поставив те вопросы, на которые дали ответ съезды нашей партии начиная с XX съезда КПСС.

Главная задача, которую Ю. А. Красин ставит перед собой, состоит в том, чтобы «проследить неко горые линии связи ленинской теории социалистической революции с современностью». Автор ясно осознавал ее трудности. «Каждая из затронутых проблем ленинской теории,— пишет он,— могла бы стать предметом самостоятельного фундаментального исследования». Но Ю. А. Красин и не претендует на подробное, во всех тонкостях, исследование тех или иных отдельных связей, он пытается «осмыслить эти проблемы комплексно». И это особенно важно сейчас, когда плохо ли, хорошо ли, но отдельные аспекты современной действительности разрабатываются, тогда как система проблем, их взаимосвязь и единство почти не исследуются.

Исследование проблем социалистической революции начинается в книге с анализа ее исторической неизбежности, корняющейся, как показывает автор, в открытом Марксом противоречии между общественным характером производства, требующим общественного планирования и регулирования в интересах всего общества, и частной собственностью, препятствующей этому. Это — самая общая истина, лежащая в основе всего марксистско-ленинского учения о социалистической революции. И она, естественно, должна быть конкретизирована, потому что, как верно замечает

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 227—228.

Ю. А. Красин, это противоречие непосредственно революции не порождает, противоречия способа производства должны преломиться через призму всей сложной системы социально-политических, классовых отношений, через цепь передаточных звеньев, несущих основное противоречие от способа производства к классовым интересам. Система этих звеньев и составляет предмет анализа Ю. А. Красина.

Анализ проблемы в каждой главе книги начинается с изучения высказываний Маркса по этой проблеме, затем выявляется связь с ними ленинских идей, показывается, как развивалось и конкретизировалось решение проблемы Лениным, устанавливается тенденция развития ленинских взглядов, затем автор переходит к анализу современных проблем, решение которых представляет собой дальнейшее развитие этой тенденции.

В разделах, где говорится об эволюции идей Маркса и Ленина, имеется немало интересных, оригинальных (хотя порой и не бесспорных) наблюдений. Однако, как пишет сам автор, «исторический аспект носит в книге подчиненный характер», главное — современность.

Уже первый вопрос, с которого начинается всякое исследование перспектив социалистической революции в высокоразвитых странах, оказывается весьма сложным: является ли современный капитализм следующей, после империализма, особой, качественно своеобразной стадией или нет? К сожалению, Ю. А. Красин не только весьма неопределенно ответил на этот вопрос, но и поставил его недостаточно четко, что сказало затем и на рассмотрении ряда других важных вопросов.

Ю. А. Красин решительно критикует современных догматиков, которые видят «разницу между вчерашним и сегодняшним днем лишь в степени обострения противоречий, другими словами, только в количественных показателях». Он подчеркивает качественное своеобразие современного капитализма по сравнению с капитализмом первой четверти века. Вследствие «развития и распространения государственно-монополистического регулирования экономики», «использования колоссальных результатов научно-технической революции», а также в результате борьбы рабочего класса произошла, отмечает Ю. А. Красин, «ча-

стичная разрядка старых форм противоречий капиталистического строя». В этой связи автор обращает внимание на такое явление, как возрастание темпов роста производства, «известное увеличение занятости» трудящихся, «некоторое ослабление кризисов перепроизводства», рост реальной заработной платы рабочих¹. Вместе с тем Ю. А. Красин указывает на целый ряд новых противоречий, характерных для современного этапа капиталистического развития.

Таким образом, мысль о качественном своеобразии современного этапа получает в книге разностороннее подтверждение. И читатель, естественно, ждет от автора вывода: достаточны ли охарактеризованные им социально-экономические изменения, чтобы считать современный капитализм особой стадией развития этой общественной формации или нет. Но автор переходит к другим вопросам, и разговор прерывается на самом интересном месте.

Та же непоследовательность в оценке современных форм собственности: с одной стороны, «отношения собственности не изменяются ни в малейшей (!) степени» (стр. 73), с другой стороны, «прогрессирующий процесс обобществления производства приводит к изменению форм капиталистической собственности» (стр. 74).

Нечетко поставлен и вопрос о структуре современного рабочего класса. В частности, Ю. А. Красин пишет о том, что «в настоящее время» необходим «союз» рабочего класса с интеллигенцией, что внутри интеллигенции существует «сильная тенденция к сближению с рабочим классом». И сближение это происходит потому, что «сознание обреченности капиталистического строя толкает интеллигенцию к пролетариату, борющемуся за социализм».

Это — старая постановка вопроса. Автор фактически отделяет интеллигенцию от пролетариата, рассматривая ее как внешнее по отношению к рабочему классу социальное образование. А рядом с этими формулировками — другие. Например: «Инженер-

¹ По данным, которые приводятся в книге, «за период с 1960 по 1964 год реальная заработная плата в обрабатывающей промышленности США выросла на 7%, в Англии — на 11, во Франции — на 16, в Японии — на 19, в Италии — на 27, в ФРГ — на 28».

но-технические работники и служащие капиталистических предприятий... утратили в наше время свое привилегированное положение по отношению к рабочим и по существу влились в состав рабочего класса»; или: инженерно-технические работники «в значительной части фактически вошли в его (рабочего класса.— Г. В.) состав».

Это важные утверждения, и для них есть достаточно веские основания. Под воздействием научно-технической революции изменяется структура рабочего класса. С одной стороны, растет число, если так можно сказать, «рабочей интеллигенции» (мы имеем в виду процесс, связанный с резким повышением квалификации рабочих, их образовательного уровня — как того требует современное высокоразвитое производство), с другой стороны, идет процесс формирования «умственного пролетариата», превращения интеллигенции в один из рядов эксплуатируемого класса — это тоже результат специфики современного производства, в котором наука и, следовательно, ее служители становятся непосредственно производительной силой. Эта многомиллионная армия инженерно-технических работников¹ отделена от средств производства, работает по найму, производя прибавочную стоимость, которая присваивается современным капиталистом. Тут большое отличие от прошлого века, когда в силу малочисленности лиц умственного труда и их особого, по сравнению с рабочими, положения в производстве капиталист имел возможность и необходимость делиться с ними частью прибавочной стоимости.

Но если инженерно-техническая интеллигенция все больше и больше становится в самом прямом смысле слова «современным рабочим классом», то надо уже говорить о

¹ В книге приводятся данные, согласно которым за последние пятьдесят лет доля инженерно-технических работников и служащих в промышленности среди лиц наемного труда увеличилась в США с 12 до 28 процентов, в Англии — с 8,6 до 22 процентов, в Западной Германии — с 7,6 до 23 процентов (по данным начала шестидесятых годов). В новых же отраслях промышленности, в частности в химической и атомной, доля ИТР и служащих достигает 50—60 процентов общего числа занятых в этих отраслях работников.

ней не как о «союзнике пролетариата, переходящем на его сторону», а как о части современного пролетариата. Определенность в этом вопросе крайне важна, ибо перспективы революционного движения В. И. Ленин учил оценивать в зависимости от того, «какой класс стоит в центре той или иной эпохи, определяя главное ее содержание, главное направление ее развития, главные особенности исторической обстановки данной эпохи»¹.

С изменениями в структуре рабочего класса тесно связана проблема ведущих мотивов, стимулов, которые побуждают широкие слои трудящихся высокоразвитых капиталистических стран подниматься на революционное действие. Издатель Ю. А. Красин столь же непоследователен. На вопрос, каковы же эти стимулы сегодня, он отвечает: «Тяжелое экономическое положение масс». И совсем уже категорически заявляет: «Утверждать, что революционная ситуация не связана с экономическими бедствиями масс,— значит по сути дела отрицать одну из важнейших причин назревания социалистической революции». Но ведь сам же Ю. А. Красин в другом месте своей книги пишет о росте реальной заработной платы рабочих ведущих капиталистических стран (даже если этот рост отстает от быстро растущих потребностей, то все-таки слова «экономическое бедствие» этой ситуации не отражают), о том, что рабочий класс «добился значительного улучшения своего экономического положения», что «в целом его жизненный уровень выше, чем в начале века... а по некоторым показателям выше, чем в социалистических странах». И сам автор резко критикует тех, кто полагает, что улучшение материального положения ведет к исчезновению «классовых сил, способных совершить социалистическую революцию», потому что если капитализм и может в определенной степени обеспечить рабочему «материальный достаток», то он «не может обеспечить ему социального равенства», удовлетворения потребностей, связанных с «духовным ростом личности, утверждением ее достоинства и равноправия».

Другое дело, что воздействие «экономической нужды» пока еще сильно, а потреб-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 142.

ности, связанные с раскрепощением личности, с ее духовным ростом, не стали массовыми. Справедливы приведенные в книге слова Г. Дилигенского: «Рабочему часто нелегко поспеть мысленно за быстро меняющейся действительностью, осознать новые потребности, пересмотреть старые мерки, которыми он или его отец привыкли оценивать свое положение и окружающий мир». Теоретик, идеолог может помочь здесь рабочему. Но для этого сам теоретик должен поспевать за «быстро меняющейся действительностью» и вовремя отказываться от мерок, которыми ныне мало что можно мерить.

Говоря о нечеткости постановки Ю. А. Красиным ряда проблем, надо все же отметить, что, как бы там ни было, все наиболее важные для сегодняшнего дня проблемы автором указаны. Читатель получил хорошую основу для самостоятельного размышления, чему, кстати сказать, способствуют многочисленные ссылки автора на первоисточники, документы комму-

нистических и рабочих партий, обширную литературу.

Нельзя не отметить убедительную разработку автором ряда сложных проблем, в частности соотношения борьбы за социализм с борьбой за демократию. Глубоко раскрыто положение о возможности мирного перехода к социализму с использованием завоеванных при капитализме демократических форм и процедур.

В предисловии к книге говорится: «Настоящая монография не претендует на какие-то окончательные выводы. Автор будет вполне удовлетворен, если ознакомление с этой работой натолкнет читателя на размышления и в известной степени поможет более глубокому пониманию открытых В. И. Лениным закономерностей революционного движения и их значения для современности».

На наш взгляд, книга, несмотря на указанные недостатки, полностью достигает этой цели.

Г. ВОДОЛАЗОВ.



ГДЕ БЫЛ МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Б. Носик. По Руси Ярославской. «Мысль». М. 1968. 234 стр.

Автор этой книги — московский писатель Б. Носик, однажды случайно попав на Ярославщину, поразился ее красотой, ее причастностью к нашей истории. С тех пор исколесил и исходил он этот край во всех направлениях, побывал во многих его городах и селах, осмотрел много предприятий — от таких современных, как часовой завод в Угличе или фабрика киноплёнки в Переславле, до таких традиционных, уходящих в глубь столетий, как золотобойный цех в Пошехонье, познакомился с десятками людей. Ко многим из них автор относится с подлинной любовью, слегка вуалируя ее добрым юмором, отчего, впрочем, его персонажи становятся еще ближе и симпатичнее читателю. Писатель создает обаятельный образ секретаря обкома; интересных, по-настоящему государственных людей разглядывает автор и в реставраторе из Углича, и в директоре музея в Переславле, и в колхозном бригадире из села Кештома, и в леснике из Усоля. Некоторые из встреченных им людей поражают грудностью своих су-

деб, благородством и силой натуры. Вот двое ученых из Дарвинского заповедника. Аспирант-вьетнамец Чан Кын занимается в лесах Ярославщины изучением змей. Это необходимо для развития медицины в его стране, и его отправили набирать нужные знания в трудное время, когда над Вьетнамом нависли американские бомбардировщики. А вот старый ученый Н. К. Арендт. Арестованный по обвинению «в убийстве Кирова», сосланный в Карелию, он и там в тяжелых условиях сделал интересные наблюдения и написал об этом статьи. С чувством гордости за советских людей читаешь, как в те годы видные ученые Римский-Корсаков, Цинзерлинг и другие хлопотали за своих несправедливо арестованных коллег, а Ю. Д. Цинзерлинг даже печатал их статьи в журнале «Природа», хотя и без подписи. Правда восторжествовала, и Арендт по свое время все свои силы отдает науке.

Встречались на пути автора и люди малопривлекательные. Здесь и «бронейбойный» поэт, в стихах которого есть все что угодно,

кроме поэзии, и умный, знающий научный работник, ни разу, однако, не нашедший в себе мужества поступить по велению совести, а лишь ловко приспосабливающийся то к одному, то к другому «веянию». Острую неприязнь вызывают у автора, а вместе с ним и у читателя люди, которые равнодушно или даже враждебно относятся к замечательным историческим памятникам, — те, кто начальственной рукой подписывает приказы об их уничтожении, и те, кто портит эти памятники, изображая на древних фресках свои «бессмертные» имена.

Хороши в книге описания самих этих исторических памятников Ярославщины — будь то стройный и мощный Ростовский кремль или праздничные ярославские храмы. Автор в высокой степени обладает чувством историзма, понимаем взаимосвязи явлений, обнаруживает не только хорошее знакомство с краеведческой литературой Ярославщины, начиная от самого зарождения местного краеведения, но и способность точной ее оценки. Так, например, в краеведческой литературе по Ростову Великому он выделяет два главных направления: празднично-оптимистическое, с налетом официального патриотизма, представленное жившим столет назад купеческим сыном И. Храниловым, и другое — реалистическое, проникнутое критицизмом и гневом за судьбу родного края. Этого второго направления, которое автору гораздо более симпатично, в те же самые годы придерживался другой ростовский краевед — А. Титов.

Перед читателями проходит целая галерея интереснейших исторических персонажей, так или иначе связанных с Ярославщиной. Местные легенды и сказания, извлечения из старинных книг и летописей, соединившись с непосредственными впечатлениями и наблюдениями, не только способствуют яркости рассказа, но и создают то ощущение связи времен, которое входит в чувство родины.

Пожалуй, почти единственная серьезная претензия, которую может предъявить Б. Носику читатель-историк, состоит в том, что, говоря о времени основания различных городов, он порой бывает весьма далек от научной точности, да и сам признается, что ему больше нравится выражение «с незапамятных времен». Между тем время основания города не случайно: оно, как правило, связано с рядом других исторических событий. Автору, когда он описывает на-

чальную историю городов Ярославщины, следовало бы использовать данные археологии. Очень много интересного дали, в частности, раскопки, проведенные под руководством Н. Н. Воронина, в древнейшей части Ярославля, где когда-то было языческое поселение под названием Медвежий угол. Я вовсе не за то, чтобы искусственно удревнять время возникновения наших городов и других явлений нашей истории, и в этом отношении полностью разделяю точку зрения выдающегося русского историка Византии Ф. И. Успенского, который еще несколько десятилетий назад писал: «Ни с точки зрения национального самолюбия, ни со стороны политических интересов всего славянского племени нет большой разницы в том, начинать ли славянскую историю со II и III века и даже ранее или с V и VI, но методологические приемы, которыми достигается та или иная постановка этих вопросов, несомненно обнаруживают большое значение и характеризуют состояние нашей научной зрелости».

Можно было бы указать и на некоторые другие неточности, но вряд ли в этом есть смысл. В общем-то, памятники Ярославщины описаны верно и вместе с тем свежо, интересно. И хотя в книге Б. Носика не так уж много новых фактов, она читается с увлечением: читателю передается радость узнавания, которую испытывает автор, и ты сам как бы по-новому видишь и ощущаешь знакомое, пережитое.

Многое попадает в поле зрения автора: старинные промыслы, о необходимости возрождения которых он так убедительно пишет, знаменитые еще в XVIII веке ростовские ярмарки... Рыбацкая слобода на Плещеевом озере, с XV века поставлявшая в Московский Кремль на торжественные обеды знаменитую ряпушку, отвечат которую специально приезжал в Переславль французский писатель Александр Дюма-отец...

Одно из лучших мест в книге — описание путешествия по переходам Ростовского кремля, ростовских колоколов, замечательных фресок, например, тех, что в церкви Иоанна Богослова в Ростове.

Описывая фрески, Б. Носик не раз вынужден пересказывать содержание того или иного ветхозаветного или евангельского мифа, на сюжет которого они написаны. Вот тут и встает один вопрос. В наших школах и гуманитарных вузах изучают египетскую,

греческую и римскую мифологию, а вот о библейских мифах не говорят ни слова. Между тем без их знания, хотя бы элементарного, невозможно понять содержания, а значит, и оценить по достоинству многие прекраснейшие произведения русских и зарубежных художников, в том числе целиком творчество таких великих мастеров, как Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Это серьезный недостаток в эстетическом и общекультурном развитии нашей молодежи, устранив который мы немало способствовали бы, между прочим, и атеистическому ее воспитанию. Ведь поскольку христианство и сейчас живая религия, то тем более следует знакомить с его мифами и легендами с наших атеистических позиций, а не отдавать это дело целиком в руки бабушек.

Чувство историзма, вообще свойственное автору, не покидает его и при описании природы Ярославщины, которую он видит и такой, какой она была десятилетия и даже столетия назад, и такой, какова она сейчас, и такой, какой ей предстоит стать. Это общает описаниям природы особый динамизм, широкую перспективу. С интересом читаешь в книге описания различных работ в заповеднике: попытки разведения глухарей в неволе, установку дуплянок для гоголей и т. д. Но и тут, увы, не все в идеальном порядке: в одном и том же месте завозят в лес ценные и интересные виды зверей, устанавливают для них кормушки и солонцы, а с другой стороны, бесшабашной вырубкой леса и неконтролируемой охотой этих же самых зверей распугивают, уничтожают.

Среди многих проблем, связанных с природой Ярославщины, далеко не все раскрылись Б. Носику сразу, с первого знакомства. Вот, например, Рыбинское море. Не раз он любовался его просторами, даже процитировал чьи-то восторженные стихи:

Там, подобно сбывшейся надежде,
Засверкало Рыбинское море.

Но когда побывал в разных селах и городах на побережье этого моря, поговорил со знающими людьми: рыбаками, капитанами, зоологами, лесоводами, пахарями, животноводами, ихтиологами, орнитологами, — туристское любование уступило место другим чувствам. В селе Кештома и в других местах автор видит замусоренный корягами берег, стоящие в воде засохшие деревья.

Местный бригадир говорит ему о море: все луга затопило, скот кормить нечем. Директор Пошехонского рыбозавода рассказывает о трудностях лова в этом море, об уничтожении таких ценнейших пород рыб, как осетровые, из-за затопления рек и прежде всего из-за электростанции, забирающей воду без учета потребностей рыбного хозяйства. Сотрудники Дарвинского заповедника сообщают ему о том, что огромный диапазон колебания уровня воды (до шести метров) не позволяет здесь гнездиться птице и приспособить затопляемую зону под более или менее постоянные посевы, о гибели богатейшей фауны во время весенних наводнений. Только возле берега, на котором находится база заповедника, было затоплено 260 квадратных километров леса. Навигация и рыбная ловля над затопленным лесом очень опасна, грозит гибелью и повреждением не только сетям, но и судам, со дна всплывают сучья и целые торфяные острова, из-за гниения этого леса рыба дохнет зимой от недостатка кислорода...

Подобные рассказы и наблюдения внушают автору большие сомнения в целесообразности появления моря в этой далеко не засушливой зоне. Разумеется, не будучи специалистом, он не претендует на решение сложнейшей народнохозяйственной проблемы, но его гражданская озабоченность, желание удовлетвориться однозначными, поверхностными ответами оправданны и понятны.

Автор уделяет внимание и сельскому хозяйству, тем огромным преобразованиям и достижениям, которые произошли в результате революции, а в последние годы все ускоряются благодаря интенсивному внедрению научных методов и развертыванию инициативы тружеников земли. Обычный для автора историзм позволяет и нагляднее обрисовать имеющиеся в этом деле недостатки. Так, в книге сообщается, что в Ростовском районе огородничество на протяжении многих столетий было одной из традиционных и высокоразвитых отраслей сельского хозяйства. Ростовские огородники славились не только в России, но и на европейских рынках. Поэтому особенно обидно и непонятно отсутствие в настоящее время изобилия овощей даже на самом ростовском рынке. Между тем и наличие великолепных удобрений — ила из озера Неро — и успехи

агрономии позволяют возродить славу ростовского огородничества.

Любопытные сведения, заставляющие задуматься, сообщил автору первый секретарь Любимского райкома партии. Любимский район — один из важных сельскохозяйственных районов области, имеющий значительные успехи. Животноводство в районе дает 65 процентов дохода, план по нему был у них выполнен за девять месяцев. В том же году был получен неплохой урожай льна — по 4,5 центнера льноволокна с гектара. И здесь же на 2,7 процента пашни, которые находятся в личном пользовании, производится 30 процентов всей сельскохозяйственной продукции района. Вызывают озабоченность и некоторые другие цифры: в 1908 году в районе накашивали 41 тысячу тонн сена, а в тот год на 6 тысяч тонн меньше. Из имеющихся в районе 29 тысяч гектаров угодий скосили только 21 тысячу. И это при том недостатке кормов, который характерен не только для Любимского района. В колхозах района, из которых каждый вбирает в себя до двадцати деревень, имеется лишь по одному, редко по два клуба; один магазин приходится в среднем на четыре населенных пункта. Это значит, что даже за хлебом приходится ходить в села, что не так легко, особенно в весеннюю и осеннюю распутицу или зимнюю стужу. А с другой стороны, во многих деревнях, где осталось всего по не-

скольку семейств, и невозможно открыть магазины. Надо бы оборудовать автолавки, которые, объезжая все эти деревеньки, давали бы возможность их жителям на месте покупать все необходимое. Однако и это не так просто. Дело тут не только в нерасторопности торговых организаций, но и в бездорожье. Так что здесь целый сложный комплекс проблем, и решать их нужно именно в комплексе, основываясь на строгом учете всех факторов, на настоящем научном анализе.

Для рассказа об этих острых проблемах Ярославщины, как и для всей книги в целом, характерны государственный подход к экономическим и культурным вопросам, трезвая реалистичность, живая озабоченность, глубокое уважение к народу, к его историческому опыту, его современным надеждам и свершениям.

Нужно сказать и о добротном, точном языке, которым написана книга. Иногда, впрочем, встречаются в ней какие-то странные сравнения, например, сравнение легендарного пожара в Ростове с фильмом Феллини «Джульетта и духи» или самого Ростова с праздничным тортом. Однако такие эффектные красоты встречаются в книге редко. Интонации ее близки к разговорной речи, просты и естественны.

Г. ФЕДОРОВ,

доктор исторических наук.

★

МОНАРХИЯ. РЕСПУБЛИКА. ДИКТАТУРА

Хосе Гарсиа. Испания XX века. «Мысль». М. 1967. 486 стр.

«Испания XX века» Х. Гарсиа — оригинальное историческое исследование, привлекающее внимание уже самой своей темой. В этой книге впервые в нашей литературе исследуется весь период новейшей истории Испании, дается последовательный анализ развития основных процессов политической и социально-экономической жизни испанского народа от начала века до наших дней. Х. Гарсиа первый из советских историков-испанистов подробно исследовал становление и развитие франкистской диктатуры, описанию которой посвящена почти половина книги. Многие ее страницы содержат обстоятельную характеристику духов-

ной жизни испанского общества, испанской культуры. Книга написана на основе разнообразных источников, и в частности — весьма интересных и превосходно использованных автором мемуаров испанских политических деятелей (Романонеса, Х. де ла Сиэрва, Ф. Ларго Кабальеро, А. Маура, Д. Ридруэхо, А. Оссорио-и-Гальярдо и многих других).

Исследование Х. Гарсиа состоит из трех больших разделов: «Монархия», «Республика», «Диктатура».

Х. Гарсиа вносит существенные коррективы в распространенное представление о монархии Альфонса XIII как о некоем за-

стывшем псевдопарламентарном режиме. Он показывает все убыстряющуюся эволюцию этого строя, в рамках которого уверенно утверждалась в качестве постоянно действующей политической силы легальная республиканско-социалистическая оппозиция. Правящие партии консерваторов и либералов соревновались друг с другом в выработке проектов реформ. Автор констатирует вместе с тем, что практически результаты этой реформаторской политики ограничили внедрением в стране наиболее элементарных норм демократического законодательства, давно уже принятых в главных европейских странах.

Не занимаясь специально задачами социально-психологического анализа, Х. Гарсиа отмечает тем не менее факты, свидетельствующие о том, что в сознании какой-то части испанского общества постепенно укоренилась мысль о неминуемой альтернативе — «краха» или «спасения» страны. К этой мысли с диаметрально противоположных позиций приходили как левые, так и крайне правые, и даже консервативно-либеральные министры Альфонса XIII пытались представить свои, в общем, весьма умеренные реформы как своеобразную «революцию, совершенную правительством», как якорь спасения. Испанское общество оказалось, следовательно, частично предрасположенным к тем ловым формам политического мессианства, которые стали распространяться в Испании после первой мировой войны. Именно под флагом спасения Испании в сентябре 1923 года в стране была установлена военная диктатура Примо де Ривера, ставшая для испанского народа прелюдией франкизма.

Определяя характер диктатуры Примо де Ривера, Х. Гарсиа приходит к выводу, что, сохранив многие черты традиционных военных диктатур, она уже использовала и отдельные элементы фашистской политики, заимствованные в основном у итальянского фашизма. Истории этой диктатуры была посвящена другая монография Х. Гарсиа («Диктатура Примо де Ривера». М. 1963) которая открывалась следующими словами испанского философа Мигеля де Унамуну: «Ничто не может держаться на лжи. Вот корень корней печального кризиса, который переживает Испания, наша родина...» И действительно, как в своем специальном исследовании, так и в соответствующей главе «Испании XX века» Х. Гарсиа, ка-

жется, прежде всего сталкивает читателя с этим отвратительным ощущением плотной паутины лжи, которую неизбежно порождает тоталитаризм. Разрыв демократических традиций, насильственный роспуск парламента, запрещение партий, преследование интеллигенции и наряду с этим — граммофонная болтовня глашатаев официальной линии о «подлинной свободе», о спасении, возрождении страны. Между тем, рассматривая диктатуру Примо де Ривера в свете последующих событий, следует признать ее сравнительно умеренной. Предпринятое ею строительство «нового типа» государства так и осталось незавершенным. Под давлением постепенно усилившейся негласной оппозиции диктатура пала через шесть лет после своего создания.

Диктатуру Примо де Ривера отделяет от франкистской Испани восьмилетний период Второй Испанской республики, история которой рассматривается в четвертой и пятой главах. «Испанская республика 1931 г. — явление исключительно сложное и заслуживающее пристального внимания, — пишет Х. Гарсиа. — Левые политические силы обычно упрекают ее в нежелании и неспособности завершить буржуазно-демократическую революцию в стране. Правые и реакционные силы утверждают, что республика ввергла страну в хаос «красной» революции... Перед республикой стояли трудные и острые проблемы: аграрный и национальный вопросы, проблемы церкви и армии, демократизации страны, повышения жизненного уровня масс, улучшения образования, просвещения и т. п. Все эти вековые проблемы, оставшиеся от старой Испании, предстояло решить республике. Так ставила вопрос большая часть испанского общества».

История Испанской республики вносит в книгу Х. Гарсиа новый круг проблем — о путях построения политической и социальной демократии, о взаимозависимости средств и целей борьбы. Это была пора надежд и разочарований, напряженной политической жизни, постоянных колебаний в балансе политических сил. Мало кто был удовлетворен тем реальным, из чего складывалась повседневная жизнь республиканской Испании, и даже либерально-демократическая интеллигенция позволяла себе повторять устами Х. Ортега-и-Гассета: «Это не то» И все же, как справедливо отмечает автор, завершая свой анализ того,

«что сделала и чего не сделала республика», республиканский режим был огромным завоеванием испанского народа. «Сегодня, спустя более четверти века фашистской диктатуры генерала Франко, особенно ощутимо то, чем была для Испании начала 30-х годов ее буржуазная республика».

Семнадцатого июля 1936 года группа генералов, которая сумела повести за собой большую часть армии, подняла против республики военно-фашистский мятеж. Началась гражданская война, один из самых героических и трагических периодов в истории Испании. Мятежники располагали поддержкой церкви и влиятельных кругов финансовой и земельной олигархии. Важнейшим событием в лагере мятежников было объединение 19 апреля 1937 года монархистов, карлистов и фалангистов в единую партию под руководством Франко, который провозглашался и «главой государства», и генералиссимусом, и каудильо (вождем) испанского фашизма. Испанская республика пала. В марте 1939 года, после тридцати двух месяцев героической борьбы, в которой вместе с испанскими республиканцами сражались и антифашисты пятидесяти четырех стран мира, вся страна оказалась под властью фашистской диктатуры.

Характеристика этой диктатуры в книге Х. Гарсиа привлекает конкретностью и полнотой.

Франкистская диктатура (в своем классическом виде, до разложения) — это прежде всего государственная машина. претенциозное «сверхгосударство», созданное таким образом, чтобы все подчинять себе. все унифицировать: политику, экономику, систему мышления, самый характер человека. Около миллиона человек — в тюрьмах и концлагерях, свыше ста пятидесяти тысяч расстрелянных только в период с 1940 по 1945 год. «Страх был цементом, скреплявшим все здание». Но фашистская диктатура лицемерна, и, уничтожая человека — физически или духовно, — она делает это только во имя «общего блага». Лицемерием проникнута сама франкистская конституция («Хартия испанцев»), где есть, например, такая статья: «Каждый испанец может свободно выражать свои идеи, если они не являются посягательством на основные устои государства».

Лицемерная подтасовка понятий «государственное благо» — «общенародное благо» позволяет наполнять пафосом офи-

циальную пропаганду, маскировать своекорыстные интересы высших слоев. «Фашистское государство, используя различные методы и почти неограниченные возможности администрирования и вмешательства в экономику, оказывается в состоянии создать тонкую и глубоко замаскированную систему эксплуатации трудящихся», — замечает автор.

Другое официальное «оправдание» франкизма — экономическое развитие. После окончания гражданской войны, пишет автор, «экономическая разруха достигла катастрофических размеров. Не хватало топлива, металла, оборудования, машин. В ужасающем состоянии находился транспорт. В стране ощущалась острая нехватка продуктов питания. Города и деревни были опустошены. Испания лишилась десятков и сотен тысяч лучших квалифицированных рабочих». Восстановительный период испанской экономики затянулся по 1951 год. В этих условиях диктатура бросила лозунг «За индустриализацию Испании» и стала осуществлять его путем ярко выраженной политики автаркии. В сентябре 1941 года был создан Институт национальной промышленности, который «приступил к разработке плана развития основных отраслей экономики: электроэнергетики, горного дела, металлургии, кораблестроения, авиационной промышленности, транспорта и т. д.». В результате такой политики были достигнуты некоторые успехи в развитии ряда отраслей, однако в 1945 году общий индекс промышленного производства лишь на 14 процентов превысил средний уровень 1929—1931 годов. Причем этот средний уровень все еще не был достигнут в добыче металлических руд, выплавке цветных металлов, черной металлургии, химической и цементной промышленности. Только в самом конце сороковых и начале пятидесятих годов обнаружился действительно быстрый рост испанского промышленного производства: с 1948 по 1953 год его объем увеличился более чем на 60 процентов, что составляло свыше 10 процентов среднегодового прироста. Х. Гарсиа пишет в связи с этим, что «холодная война, постепенный выход франкистской Испании на международную арену и ее сближение с США, бесспорно, способствовали известному росту испанской промышленности и оживлению экономической жизни страны в целом».

В то же время «сельское хозяйство страны буквально топталось на месте». В 1945 году индекс сельскохозяйственного производства достиг лишь 72 процентов уровня 1931—1935 годов, в 1946 году — 101 процента, в 1950 году — 86 процентов. «Казалось, испанская деревня была полностью забыта. В городах и промышленных центрах строились новые фабрики, заводские корпуса и электростанции, а в сельских местностях все оставалось без существенных изменений». Но было и нечто худшее, чем простое забвение: «Фашистское государство, вмешиваясь в вопросы регулирования сельскохозяйственного производства, фактически лишало крестьянские массы свободы действия. Крестьянин как бы терял свою власть над землей и урожаем. Широко проводимая политика реквизиции сельскохозяйственных продуктов по ценам, выгодным государству, разоряла тысячи крестьян и вела в конечном счете к известному перераспределению собственности на землю». Испанские деревни пустели. Такова была «цена» франкистской индустриализации.

Тяжелое положение сельского хозяйства отражалось на всей экономической жизни страны. Отсюда в значительной степени и ограниченный экспорт традиционных испанских товаров — фруктов, овощей и оливкового масла, отсюда и трудности материального положения масс. Только в 1951 году в Испании была отменена карточная система на основные продукты питания, просуществовавшая целых пятнадцать лет.

Х. Гарсиа пишет также о других обстоятельствах, сопровождавших испанский промышленный прогресс. Рабочие получали мизерную заработную плату. В 1948 году уровень номинальной заработной платы составлял 175 процентов от уровня 1936 года, тогда как стоимость жизни поднялась за это же время более чем в шесть раз. Страна переживала острейший жилищный кризис. «Большие города быстро обростали «терновым венком» — поселками из шалашей и пещер, где обитали сотни тысяч людей».

Х. Гарсиа приводит многочисленные факты, свидетельствующие о том, что фашистская диктатура генерала Франко растлевала человеческую личность, стирая индивидуальности, сознательно поощряя самые низменные побуждения и чувства. На фабриках, в конторах, в университетах — всю-

ду франкисты постарались насадить своих осведомителей. «Нашлись,— пишет автор,— предатели, провокаторы, трусы, карьеристы, фанатики, глупцы, оболваненные, завистники, прямые агенты фашизма, оказавшие немалые услуги франкизму в создании аппарата слежки и контроля над чужими мыслями и настроениями». В системе фашистской диктатуры каждый осведомитель и палач мог ощущать себя добропорядочным гражданином. Франкистские идеологи создали свой «кодекс чести» (вернее сказать — бесчестья), в котором на первом месте стояла фанатическая преданность фашистскому государству.

«Испанская фаланга и ХОНС,— высокопарно провозглашалось в программе фаланги,— выступает за новый порядок. Она стоит за прямое действие — пламенное и воинственное. Жизнь — это борьба, и ее надо прожить, не запятнав духа служения и самопожертвования». В заповедях фашистской фаланги человеческая личность исчезла, и взамен ее культивировалась стадность, единство бездумных людей, заранее считавших всякое сомнение предательством.

Франкистская диктатура уничтожила старые представительные учреждения и взамен их создала новые, имевшие, по выражению Х. Гарсиа, «чисто декоративное значение». Франкистские кортесы, учрежденные законом от 17 июля 1942 года, «были лишены законодательных функций и обречены на повиновение правительству и главе государства». Депутаты («прокурадоры») занимали свои места по положению, назначались Франко или избирались муниципалитетами и руководящими органами различных официальных коллегий. Издевательством над элементарными принципами демократии был и референдум, проведенный в 1947 году, который должен был утвердить предложение Франко о провозглашении Испании королевством. «К урнам потянулись избиратели. Из 17 миллионов избирателей свыше 14 миллионов голосовали за провозглашение Испании монархией. Столь широкое участие масс в референдуме было обусловлено его тщательной подготовкой... За каждый голос в избирательном списке отвечали десятки и даже сотни устройств референдума. Неучастие в голосовании расценивалось властями как бойкот или враждебное отношение к режиму. Страх перед репрессиями побуждал

многих участвовать в нелепой «консультации с народом».

Важной опорой франкистского режима стала созданная в 1940—1941 годах система «вертикальных профсоюзов», которые, «так же как и фаланга, превратились в пристанище бездарных бюрократов и карьеристов. Сама газета «Пуэбло», профсоюзный орган, признавала, что так называемые профсоюзные деятели заботятся, как правило, лишь о своей собственной политической карьере и благополучии. Пренебрежение, равнодушные и враждебность к франкистским профсоюзам со стороны рабочих объяснялись главным образом тем, что они справедливо рассматривали фашистскую корпоративную систему лишь как еще один рычаг диктатуры, служащий эксплуатации трудящихся масс».

Последняя глава книги посвящена периоду разложения франкистского тоталитарного режима и постепенной либерализации испанской общественной жизни.

В апреле 1964 года франкизм праздновал свое двадцатипятилетие. «Двадцать пять лет мира!» — трубила вся франкистская пропаганда во главе с Франко, его министрами, генералами, епископами. Между тем, как справедливо пишет Х. Гарсиа, четверть века франкистского режима — не победа испанского фашизма, а его поражение. За эти годы для самых широких слоев испанского народа, в том числе и для тех, кто был в свое время обманут франкистскими лозунгами, «обнаружилась несостоятельность главных идей испанского фашизма, идей диктаторской фашистской власти».

Пятидесятые — шестидесятые годы были временем важных перемен в политической и общественной жизни Испании. Один из параграфов этой главы носит название «Потеря страха», и трудно лучше передать смысл того, что наполняет жизнь испанского общества. В течение 1962 года в Испании произошло более четырехсот забастовок и других выступлений рабочих, в которых участвовало свыше шестисот пятидесяти тысяч человек. В последующие годы таких выступлений, в организации которых большую роль играют коммунисты, становится еще больше. 1965 год стал годом «невиданных при франкизме антидиктаторских выступлений студенческой молодежи, профессоров и преподавателей высших учебных заведений». В разгар студенческих волнений министру информации и туризма М. Фраге Ирибарне

было вручено письмо, подписанное 1161 представителем интеллигенции и рабочих, среди которых были тридцать университетских профессоров, девять видных деятелей католического движения, писатели, поэты. «Нет сомнения, — отмечалось в письме, — что проблемы, стоящие перед страной, нельзя решить теми мерами, которые применяются против студентов и рабочих, — путем репрессий и специальных трибуналов...»

Х. Гарсиа показывает, что «время, события, политические перемены сильно отразились даже на главных устоях франкистской диктатуры». В первой половине пятидесятых годов произошло событие, оказавшее особенно большое влияние на политическую обстановку в стране: единственная партия диктатуры, Испанская фаланга, распалась на несколько фракций, была постепенно отстранена от власти и заменена более аморфным политическим объединением, так называемым Национальным движением. «Конец 50-х и начало 60-х годов составляют тот период, — пишет автор, — когда старые и новые оппозиционные партии продолжали оставаться в подполье, но их существование уже признавалось повсюду. Для франкизма это был серьезный удар...»

Характеризуя антифранкистскую оппозицию, Х. Гарсиа подчеркивает ее чрезвычайную разнородность: компартия и социал-демократы, анархо-синдикалисты и республиканцы, христианские демократы и монархисты. В оппозицию перешла и часть фалангистов, обвиняющих Франко в отходе от первоначальных принципов фалангистского движения, сформулированных в начале тридцатых годов Хосе Антонио Примо де Ривера. Между этими разнородными силами существуют, разумеется, большие идеологические разногласия. Но в настоящее время все они преследуют одну общую цель — ликвидацию режима франкистской диктатуры.

Подводя итог минувшему десятилетию, Х. Гарсиа констатирует, что политика либерализации пока еще «не привела к особо существенным политическим переменам. В стране несколько смягчились репрессивные методы, но по-прежнему сажают в тюрьмы за политические взгляды. В 1963 г. были распущены специальные военные трибуналы, но созданные на их месте «трибуналы общественного порядка» выносят один за другим строжайшие приговоры». «Испании еще предстоит научиться ходить по широким дорогам XX в — дорогам демократии и свобо-

ды», — пишет Х. Гарсиа в заключение своей книги.

Можно упрекнуть автора в недостаточно разносторонней, а иногда и в недостаточно последовательной разработке отдельных вопросов — например, проходящей через всю книгу проблемы экономической отсталости Испании. В течение шести десятилетий XX века структура испанской экономики сильно менялась, соответственно изменялось и содержание понятия «экономическая отсталость» страны. Этому вопросу следовало, быть может, уделить специальное внимание. В книге иногда встречаются и некоторые

неточности. Так, Х. Гарсиа пишет, что каталонский автономный статут 1932 года признавал каталонский язык официальным языком Каталонии (стр. 174), но не добавляет, что другим ее официальным языком оставался кастильский, — факт, которому современники придавали в те годы немалое значение. Такого рода частные погрешности не меняют, разумеется, общего весьма благоприятного впечатления от работы Х. Гарсиа. Его книга — полезный вклад в литературу по новейшей истории Испании

Л. ПОНОМАРЕВА.

★

ПСИХОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ

С. Н. Пушкин. Эвристика — наука о творческом мышлении. Политиздат. М. 1967. 272 стр.

Сейчас все больше становится книг, написанных специалистами, содержащих соображения и аргументы, которые мы привыкли видеть на страницах строго научных изданий, но в то же время адресованных широкому кругу читателей. Книга В. Н. Пушкина, появившаяся в серии «Над чем работают, о чем спорят философы», принадлежит к их числу. Интерес к ее теме — эвристике¹ — тесно связан со все возрастающей ролью науки в современном мире.

Объясняя причину появления за последние годы большого количества исследований, посвященных природе творческого мышления, указывают обычно на три обстоятельства.

Во-первых, число научных работников увеличивается с огромной скоростью: население СССР удвоилось примерно за семьдесят лет, удвоение же числа научных работников произошло у нас за десять лет — с 1949 по 1959 год, а для следующего удвоения хватило всего пяти лет — с 1959 по 1964 год. К этому нужно добавить, что творческое мышление характерно и для многочисленной армии изобретателей, и для многих администраторов, хозяйственников, военных.

Во-вторых, как писал недавно известный американский химик Джеймс Конант, «даже десять второсортных ученых не могут заменить одного первосортного... Второсортные ученые принесут больше вреда, чем пользы,

в решении первосортной проблемы». Поэтому вопрос о воспитании или хотя бы о выявлении первосортных ученых должен решаться в организованном порядке, как важнейшая государственная задача. А для этого необходимо понять природу творческого мышления и установить объективные критерии для оценки способности к нему.

В-третьих, указывают еще и на то, что развитие кибернетики, создание вычислительных машин, которые хотя бы отчасти и огрубленно имитируют творческое мышление (например, сочиняют музыку, играют в шахматы), поставило вопрос о принципиальной возможности воспроизвести мышление вне человеческого мозга, а тем самым с полной научной точностью исследовать природу творческого мышления.

Определяя предмет эвристики, автор книги пишет: «Человек должен совершить некоторую совокупность действий, решить ту или иную задачу, однако наличные условия не подсказывают ему способа решения этой задачи и весь арсенал прошлого опыта не содержит никакой готовой схемы, которая была бы пригодна для данных условий. Чтобы найти выход из подобной ситуации, человеку необходимо создать новую, не имеющую у него ранее стратегию деятельности, т. е. совершить акт творчества. Такую ситуацию называют обычно проблемой или проблемной ситуацией, а психический процесс, с помощью которого решается проблема, вырабатывается новая стратегия, обна-

¹ От «Эврика!» («Нашел!») — легендарного восклицания Архимеда.

руживается нечто новое, носит название продуктивного мышления или, если употребить термин, идущий еще от Архимеда, «эвристической деятельности».

При ближайшем рассмотрении оказывается, что творческая деятельность распадается на три этапа: первый — постановка задачи, логический анализ всех ее условий, накопление знаний и навыков, без которых решение задачи невозможно; второй — нахождение принципиального решения проблемы; и, наконец, третий — реализация найденной идеи, воплощение ее в логически безупречную гипотезу, в реальную конструкцию и т. д.

Первый и третий этапы легко поддаются логическому анализу, расчлняются на последовательные стадии. Что же касается промежуточного этапа, момента рождения нового, то он, как правило, представляется самому ученому или изобретателю как мгновенное озарение, целостное «видение» искомого решения. Этот главный этап творческой деятельности обычно связывают с интуицией.

«Немалое место,— замечает автор,— отводил роли интуиции в научном творчестве А. Эйнштейн. С его точки зрения, интуитивные процессы — это собственно творческий компонент исследовательской деятельности в теоретической физике. Логический аппарат, логическое рассуждение как таковые, сами по себе не дают еще возможности создать нечто новое». Несколько дальше, разбирая природу творческой деятельности шахматиста, В. Н. Пушкин уже от своего имени указывает: «...«видение» содержит столь очевидные преимущества перед расчетом, что систематически используется шахматистом. Оно срабатывает там, где для детального, полного расчета не хватает времени (например, в цейтноте)». Поскольку до этого автор показал, что игра в шахматы — достаточно полная модель творческого мышления, мы вправе утверждать, что интуиция является обязательным и существенным элементом в решении проблемной ситуации. Не удивительно поэтому, что главное внимание эвристик направлено на анализ интуиции.

Природа интуиции еще далеко не раскрыта. Ее изучение крайне затруднено тем, что, как пишет академик Б. М. Кедров, «...никто из сделавших научные открытия обобщающего теоретического характера, по сути дела, не в состоянии точно описать, каким образом у него родилась мысль... открытие

кажется исследователю внезапным озарением или даже наитием, словно внутренний голос подсказал то, что находилось перед глазами, но было задержано какой-то пеленой...

Отчего создается такое впечатление?.. Это можно объяснить ситуацией другого рода: нельзя, например, оставаясь в бодрствующем состоянии, обнаружить переход самого себя в состояние сна, поскольку сон предполагает прекращение состояния бодрствования» (Б. Кедров. Логико-психологический анализ открытия. «Наука и жизнь», № 12, 1965).

В результате обстоятельного экскурса в область психологии подсознательного В. Н. Пушкин приходит к выводу, что логическое мышление сопровождается очень большим количеством ассоциаций, наблюдений и даже умозаключений, остающихся неосознанными. В момент «озарения» они реализуются, складываются в целостную картину, что и создает иллюзию мгновенного «видения». Такое понимание интуиции срывает с нее покров таинственности, хотя не дает еще возможности понять и описать механизм ее действия.

Другое направление исследований, с которым нас знакомит автор книги, это изучение поведения животных, наблюдения за тем, как они решают «проблемные» ситуации. Эти наблюдения позволили выявить в качестве метода исследований метод «проб и ошибок», метод перебора всех возможных вариантов в поисках искомого решения. Большая часть программ для вычислительных машин составляется как раз по этому же способу. В то же время зоопсихологи установили, что животным также свойственно внезапное «озарение», нахождение выхода из проблемной ситуации без того, чтобы вслепую, бессистемно испытывать один возможный вариант за другим.

В тех случаях, когда число возможных вариантов (например, ходов в шахматах) достигает астрономических величин, метод «проб и ошибок» обнаруживает свою непоценность. Составление же программ, соответствующих возможностям творческого мышления человека, невозможно до тех пор, пока не раскрыты механизмы интуитивного решения сложных задач.

Так автор приводит нас к выводу, что дальнейшее развитие кибернетики требует углубленных психологических исследований.

С другой стороны, ряд положений кибернетики — понятия обратной связи, информации и другие — помогают изучению интуитивного мышления.

В одной из статей, посвященных психологии научного творчества, профессор М. С. Бернштейн («Вопросы философии», № 6, 1966) справедливо подчеркнул, что «...фундаментальные исследования в этой области требуют комплексного подхода, активного и органического участия целых коллективов исследователей: философов и социологов, психологов и физиологов, педагогов и математиков». Книга В. Н. Пушкина служит убедительным доводом в пользу

такого комплексного исследования эвристической деятельности. Однако в его изложении некоторые аспекты изучения научного творчества остались незамеченными и не раскрытыми. В частности, автор ничего не сообщает об интересных попытках академика Б. М. Кедрова дать исторический и логический анализ крупных научных открытий.

Эвристика пока еще делает первые шаги. Но и они уже внушают надежду на то, что в обозримом будущем молодая отрасль науки начнет оказывать потомкам Архимеда реальную и действенную помощь.

С. ВЛАДИМИРОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Г. ТРИНЧЕР, К. ТРИНЧЕР. Рутгерс. «Молодая гвардия». Серия «Жизнь замечательных людей». М. 1967. 192 стр.

Жизнь Себальда Рутгерса шла по двум линиям, которые долго не соприкасались друг с другом. Одна линия — жизнь высокооплачиваемого специалиста, инженера, крупного администратора в колониальной Голландской Индии и в США. Вторая — жизнь члена партии, страстного агитатора-пропагандиста, активного борца за Третий Интернационал, издателя и распространителя газеты «Нью интернэшнэл».

Так пишут о Себальде Рутгерсе его дочь Гертруда Тринчер-Рутгерс и ее муж Карл Тринчер. Авторы описывают детство и отрочество Себальда, годы его учебы в высшем техническом училище и широко освещают обе линии его деятельности как на родине, в Голландии, так и в других странах и, наконец, в той стране, где «две параллели сомкнутся, опрокидывая все законы математики, и появится единый Себальд Рутгерс — инженер-коммунист».

Летом 1918 года Рутгерс уезжает в Москву. Увлекательно описана эта поездка, вернее многодневное, многотрудное, полное опасностей путешествие через три фронта, через Сибирь, через области, занятые интервентами и белыми, где Рутгерсу приходится изображать знатного иностранца и с надменным видом протягивать патрулям свой синий голландский паспорт и визитную карточку Королевского общества инженеров Голландии. И отдых от этой надоевшей роли в местах, занятых красными, где можно наконец вынуть из потайного кармана партийный билет, поговорить с товарищами, проинформировать их о рабочем движении за океаном, о митингах сочувствия Советской республике.

Деятельность Рутгерса в Советском Союзе была тесно связана с помощью международного пролетариата первому в мире государству пролетарской диктатуры. Себальд Рутгерс был инициатором, организатором и руководителем Автономной индустриальной колонии в Кемерово, состоящей из рабочих двадцати шести национальностей, которые приехали в Советский Союз, чтобы помочь своим трудом и своими средствами восстановлению народного хозяйства. История организации и становления колонии, трудности ее роста и ее достижения занимают

центральное место в книге, как, несомненно, и в деятельности самого Рутгерса. Уже покидая Кемерово, он, как бы подытоживая все там сделанное, говорит: «Наш маленький интернационал в Сибири создал большое индустриальное предприятие. И все это остается и будет расти. Мы показали, что может сделать международная солидарность рабочих».

В предисловии к этой книге Гертруда Тринчер-Рутгерс выражает сомнение, удалось ли приблизить к читателю, особенно молодому, образ Себальда Рутгерса. Мы находим, что удалось. Его воля, мужество, его вдохновение и азарт в труде, упорство в стремлении к большой общечеловеческой цели остаются в памяти.

Е. Городецкая.

★

ЛИДИЯ ЛАТЬЕВА. Страна, из которой мы все пришли. Издательство «Лумина». Кишинев. 1967. 194 стр.

Страна, из которой мы все пришли, — это, конечно, детство. Как говорится, самая счастливая, солнечная пора...

А вот и лирический герой повести — шестилетняя Люська. Мы знакомимся с ней, когда она пробуждается ото сна, начиная свой новый день. Каким он будет для Люськи? Светлым, радостным или серым, печальным? Книга именно об этом и в то же время о гораздо большем.

Все вроде бы просто в повседневной Люськиной жизни, но и не просто. Девочка хочет разгадать ее. Ей не понятно, отчего мать робеет в доме, а бабушка смотрит на нее так, словно хочет что-то угадать в ней.

Впечатления, запавшие в детском возрасте, часто окрашивают дальнейшую жизнь человека, определяют его характер. Хорошо, если это светлые впечатления. А если они ранят душу ребенка, отравляют ее? Вот Люська узнала из разговора баб у колодца, что она — «фронтовая любовь», запомнила интонацию, с какой была произнесена эта фраза, увидела жалость в чужих глазах, и мир для нее погас. А потом она слышит непонятные ей, но жестокие слова бабушки, которая бросает матери, решившей уехать из дому и наладить свою личную жизнь: «На этот раз ты успела рас-

смотреть лицо?» Мать в слезах выбегает из дома. Люська устремляется за ней и видит деда, который стоит над рыдающей мамой, разминая самокрутку. А мама вдруг поднимает голову и говорит: «Он же обгорел, на нем лица не было, папа... Я же пожалела его... он умирать уходил...»

И мать уходит из дому, надеясь позже взять и Люську. Торопливо, горячо целует дочку и уходит. А сердце девочки наполняется чувством жгучей обиды и ожесточения, и она кричит вслед матери бранное словечко, которое до этого не произносила даже в уме, и добавляет: «Фронтная любовь!»

Лидия Латьева пишет о детстве искренне и точно, не обходя «запретных тем» и не сглаживая «острых углов». Она не боится показать драматизм, а порой и трагизм жизни ребенка, хотя внешне в повести она, эта жизнь, течет плавно и размеренно, в чередовании порой незначительных, но характерных эпизодов, которые сохранила детская память.

Воспоминания детства писательница не испортила умчленным сюжетанием и не «перевзрослила» их. Ей удалось найти верный тон, позволивший соединить непосредственность и чистоту детского восприятия жизни с пониманием ее, свойственным зрелому человеку.

Образом маленькой героини Л. Латьева убеждает нас, что внутренний мир ребенка далеко не так прост, как иногда думают. И связь детства со всей остальной жизнью гораздо более тесна, чем это зачастую представляется взрослым. Страна, из которой мы все приходим, действительно должна быть светлой, гармоничной, доброй и ясной. И она будет такой тогда, когда столь же гармоничным и ясным станет наш, взрослый мир.

Т. Николаева.

★

БОРИС ГУСЕВ, ДМИТРИЙ МАМЛЕЕВ. Смерть комиссара. Политиздат. М. 1967. 128 стр.

Двадцать три года мало кто знал о заброшенной могиле недалеко от деревни Коломовки Чудовского района, Новгородской области. Но вот два года назад сюда пришли коломовские школьники и вписали в историю Великой Отечественной войны еще одно героическое имя Имя Ивана Васильевича Зуева, крупного армейского политработника, члена Военного Совета 2-й ударной армии, похороненного в этой могиле. Наташа, Аня и Сережа Орловы вместе с их подругой Снеймой Ивановой сумели восстановить историю трагической гибели И. В. Зуева. И вдова комиссара, и его двое сыновей, все эти долгие годы считавшие мужа и отца «пропавшим без вести», что ложилось мрачной тенью на жизнь семьи, узнали, что он предпочел смерть фашистскому плену. Вскоре в газете «Известия» появилась статья, вызвавшая поток писем от друзей и соратников И. В. Зуева. Эти письма вместе с

фронтным дневником его боевого товарища Якова Степановича Бобкова, ныне полковника запаса, и легли в основу документальной повести, написанной журналистами Б. Гусевым и Д. Мамлеевым.

Каждый, знавший и помнивший комиссара, старался в своем письме прибавить какую-нибудь черту к привлекательному облику этого мужественного и доброго человека, талантливого военачальника. Одни, как подполковник К. Беляк, вспоминают его участие в интернациональной бригаде танкистов в Испании, куда он направился добровольцем в 1936 году. Другие, например генерал-майор запаса А. Новиков, рассказывают о его работе в армии в предвоенные годы: «Мы, политработники, хотя и старше его были годами, всегда восхищались Зуевым. Такой он был энергичный, общительный, душевный товарищ...» Третьи сообщают то, что им известно о последних неделях и месяцах жизни И. В. Зуева — уже во время Отечественной войны, на Волховском фронте, где тридцатипятилетний дивизионный комиссар возглавил операцию по выходу из окружения отрезанных противником наших частей.

Ценность таких свидетельств неоспорима, однако складывается впечатление, что, ограничившись ими, Б. Гусев и Д. Мамлеев пошли легким путем. Особенно это относится к тем главам, где рассказывается о гибели И. В. Зуева. Насколько сильнее, выразительнее прозвучал бы этот рассказ, если бы, обратившись к документам, архивным материалам и пр., авторы более полно осветили бы трагические страницы истории 2-й ударной армии, командующий которой, генерал Власов, стал предателем, а комиссар — погиб как герой!

Документальной повести о жизни и смерти комиссара не хватает реального исторического фона, без чего невозможно ни понять до конца воинский долг И. В. Зуева, ни представить себе его живой образ.

Хочется надеяться, что об Иване Васильевиче Зуеве еще будут написаны новые книги.

Л. Давыдова.

★

А. СТУДИТСКИЙ. Разум вселенной. Роман. «Молодая гвардия». М. 1966. 384 стр.

В послесловии к книге «Разум вселенной» А. Студитский называет свой роман научно-фантастическим. Согласиться с этим определением можно только в том случае, если к нему добавить: научно-фантастический роман особого рода. В самом деле, в жанре научной фантастики еще не встречалось книги, где бы ставилась задача внушить читателю истинность идей, опровергнутых всем ходом развития науки, идей, никогда не имевших научного значения или полностью его утративших. Научная фантастика во имя лженауки.

В романе А. Студитского действие происходит в ближайшем будущем в нашей стране. Отрицательные или по меньшей мере заблуждающиеся персонажи — про-

фессор кафедры биологии Брандт и его помощник доцент Штейн — руководствуются хромосомной теорией наследственности, молекулярной биологией гена, исходят из того, что план развития организма, план синтеза белков закодирован в ДНК клетки, а опасность лучевого поражения связана, по их мнению, с воздействием радиации на ДНК, то есть, в сущности, высказывают взгляды, разделяемые всей современной генетикой.

Брандту и Штейну противостоят положительные герои — профессор Панфилов, ищущий студент Чернов. Панфилов исходит из «единства живых тел и окружающей их среды». Он о генах говорит следующее: «Гены? Неужели вы думаете, что... молекулярная биология всерьез относится к этому термину?» Чернов же считает, что нет доказательств непосредственного участия ДНК в синтезе белка.

Автор книги, доктор биологических наук, вполне солидаризуется со своими положительными героями. В послесловии он говорит о том, что события, описанные в книге, относятся к самому ближайшему будущему, что они определены «перспективами развития современной науки и культуры».

Словом, роман задуман как полное опровержение современной генетики и молекулярной биологии. Автор отстаивает те самые представления Т. Д. Лысенко, во имя которых насильственно тормозилось развитие советской биологии. Не выступая с этими идеями в научной печати, А. Студитский проповедует их теперь в романе. Апофеоз его таков: Панфилов и его друзья создают на основе этих идей действенное средство борьбы с лейкозом, а Брандт и Штейн, руководствуясь молекулярной биологией, губят больного этой страшной болезнью.

В книге говорится много хороших слов о терпимости в науке. Панфилов — образец высокой морали и внимания к собеседнику. «Любого научного противника можно и нужно уважать», — говорит он. «Дисциплина познания заключается прежде всего в уважении к чужой мысли». Ах, как хорошо прозвучали бы эти слова лет двадцать тому назад в борьбе, в которой А. Студитский принимал участие отнюдь не как миротворец. Сейчас А. Студитский призывает к мирному сосуществованию сторонников и противников современной генетики. Но мирное сосуществование различных теорий в науке возможно лишь до тех пор, пока не хватает экспериментальных фактов для решения вопроса. Современная генетика и молекулярная биология опираются на громадную совокупность фактов, а то, что им иногда пытаются противопоставить, сводится к бессодержательным общим фразам. Гибридизовать науку с лженаукой нельзя.

Роман — не научная работа. Поэтому неуместно здесь заниматься научным спором с автором. Но и художественные до-

стоинства романа достаточно скромны. Отрицательные персонажи, как им и положено, эlegantны и говорят «хорошо поставленными» голосами. Напротив, Панфилов «ораторскими способностями не отличался». Автор очень любит все красивое. Героини (положительных) зовут Виола и Майя. «Море у берега пестрело разноцветными купальными костюмами, как гигантский цветущий и волнующийся под ветром луг». (Значит ли это, что цветущий луг тоже пестрел купальными костюмами?)

«Зоя взмахнула темными ресницами». «Она подбежала к столу, погрузила лицо в пышные лепестки темно-красных пионов. «Какой дивный запах!». «Букет пионов в руках Майи благоухал радостным, праздничным запахом». А жители далекой планеты (такие тоже есть в романе) говорят языком, известным по многим книгам этого сорта, — языком, состоящим почти из одних гласных: эи ао, илале эйе и т. д. В общем, налицо парадоксальное внесение стиля дореволюционной дамской литературы в современную научную фантастику.

Можно по-разному отстаивать свои научные идеи. Общепринятый путь состоит в публикации работ, в печатной или устной дискуссии по их поводу. А. Студитский воспользовался другим методом. Никто не может запретить ему обнародовать свою концепцию в форме романа. Но естественно, что и отклик на это событие появляется не в научном, а в литературном журнале.

М. Волькенштейн,
член-корреспондент Академии наук СССР.

★

С. Н. АРТАНОВСКИЙ. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. «Просвещение». Л. 1967. 267 стр.

Рецензируемая книга — это по существу первое в советской науке цельное монографическое исследование сложной проблемы единства человечества и взаимовлияния самых различных культур. Утвердившийся в прошлом столетии в этнографии сравнительно-исторический метод позволил рассматривать человечество в его развитии. Труды Л. Г. Моргана, Э. Тэйлора, М. Ковалевского и других выявлялось общее в человеческой культуре. Оно расценивалось как результат психического единства человечества. Что же касается своеобразия отдельных народов, то его объясняли обычно этапностью эволюционного процесса.

Однако недостатки сравнительно-исторического метода не позволили правильно объяснить обширный материал, собранный исследователями. Возобладали концепции, биологизирующие общественную жизнь, сводящие единство человечества к сходству инстинктивных механизмов реагирования человека на окружающую среду. Но

понимание единства человечества лишь как биопсихологического феномена бессильно объяснить факт многообразия культур. С другой стороны, оно легко уживается с широко распространенным в современной буржуазной этнографии принципом культурного релятивизма, рассматривающим множественность культур как доказательство их неповторимости и несравнимости между собой. Полемизируя с критиками марксистского понимания единства человеческой культуры, С. Н. Артановский убедительно показывает, что культурный релятивизм отрицает предпосылку общения между народами. Настаивая на абсолютной изолированности культур друг от друга, сторонники этой концепции вольно или невольно выступают против общечеловеческих норм, соблюдение которых обязательно для всех народов, вступающих в контакт друг с другом. В самом деле, можно ли было осудить нацистских преступников в Нюрнберге, если бы обвинение согласилось с релятивистским тезисом защиты о том, что заправили третьего рейха могут быть судимы лишь по законам «своего» общества, которых они вовсе не нарушали?

Всего же больше внимания автор уделяет изучению закономерностей развития мировых культурных связей и синтезу культур. Всегда ли различные культуры влияют друг на друга и что служит условием положительного воздействия одной культуры на другую? Отвечая на эти вопросы, С. Н. Артановский показывает, что широко бытующее мнение о том, что почва для восприятия и усвоения чужого всегда подготавливается внутренним развитием, не всегда себя оправдывает. В сфере материального производства заимствуется лишь более прогрессивное. Освоив орудия из металла, ни один народ не испытывал потребности вернуться к каменному инвентарю, применяемому соседями. В духовной же культуре возможны заимствования и отрицательных ценностей, что всякий раз обусловлено особенностями конкретной социально-психологической ситуации.

Автор рассматривает сложный вопрос о влиянии европейской экспансии на культуру колониальных народов. Насильственно сдерживая развитие самобытной культуры этих народов, ограничивая их экономическую и политическую самостоятельность, применяя изощренно-жестокое средства колониализма, эта экспансия в то же время проделала и известную созидательную работу, которую, по его мнению, также не следует сбрасывать со счетов. Все это создает теоретическую основу для более всесторонней и полной оценки творчества и практической работы таких деятелей культуры, как Р. Киплинг, А. Швейцер.

Книга завершается интересным рассмотрением внутреннего мира личности, стоящей на грани двух культур.

Любопытными сопоставлениями и извлечениями из истории сближения, столкновения культур книга С. Н. Артановского при-

влечет к себе внимание всех, кто заинтересован культурным сотрудничеством и укреплением дружбы между народами.

В. Букин,

кандидат философских наук.

Ленинград.

★

С. ИВАНОВ. Схватка с роботом. «Детская литература». М. 1967. 212 стр.

Самые абстрактные области знания возбуждают сегодня пристальный интерес — наука стала социальным фактором. Через технику она соприкасается с каждым человеком в каждую минуту его жизни. Это общеизвестно. Менее известно то, что зона соприкосновения техники с человеком контролируется наукой, ее контрольными постами: физиологией труда, технической эстетикой, инженерной психологией. Эти дисциплины обычно ускользают от внимания популяризаторов — здесь не грохочут джинны, выпускаемые из лабораторных колб, здесь нет «драмы идей», как говорил Эйнштейн о физике. Наоборот, эти науки приручают джиннов.

Название книги С. Иванова, одной из первых наших популярных книг, посвященных наукам-контролерам, имеет в виду философский тезис Норберта Винера: «Робот восстает против своего творца». В данном случае он неожиданно и остроумно расширен: на место робота — «мыслящей» машины — подставляется любая машина, любое орудие труда.

Это сложные и давние взаимоотношения. Машина, орудие, даже такое примитивное, как молоток, воздействует на того, кто держит его в руках, и часто вредит ему. Молоток уродует руку мозолями, от работы за станком сводит спину. Пыль, шум, вибрация вредны по-своему, излишняя сложность или простота работы — по-своему. На протяжении всей истории техники труд был схваткой человека с орудиями труда. Хлеб добывался в поте лица, не иначе...

Книга С. Иванова рассказывает о первых успехах новой системы взаимоотношений человека с орудиями труда. Наука не только создает новые полчища роботов, она придиричиво, шаг за шагом проверяет все, сделанное прежде. И появляются ручкоятки, не набивающие мозолей; стулья, в которых удобно сидеть; цеха, в которых приятно и неутомительна работа. Появляется неожиданный вывод: «схватка с роботом» — не обязательно условие трудового процесса.

Хорошо, когда научно-популярная книга увлекательна. Вдвойне хорошо, если она гуманистична. Такова «Схватка с роботом». Эта книга привлечет новых сторонников к комплексу наук, оздоравливающих производство.

А. Мирер.

★

И. Е. ВЕРЦМАН. Проблемы художественного познания. «Искусство». М. 1967. 342 стр.

Первые работы И. Верцмана, посвященные вопросам эстетики, теории литературы и искусства, появились более тридцати лет тому назад. Некоторые из них можно по праву причислить к лучшим в нашей искусствоведческой и литературоведческой литературе. Это относится, например, к небольшой книге «Рембрандт» (1936), отмеченной тонким пониманием мудрой человечности и демократизма этого великого художника.

В книге «Проблемы художественного познания» И. Верцман собрал статьи, написанные в последние годы и посвященные по преимуществу истории эстетики и художественной мысли. На первый взгляд статьи эти могут по своим темам показаться читателю далекими друг от друга: наряду с этюдами о художественных идеях Шекспира, Гёте, Бальзака, эстетике Дидро и Гегеля в книгу вошли статьи о Ницше, об эстетике экзистенциализма, об отношении русских и западных художников и мыслителей XIX—XX веков к Рембрандту и Рафаэлю, полемические размышления, обращенные против адептов различных направлений современного буржуазного искусства и эстетики. Но при более внимательном чтении становится очевидно, что работы, вошедшие в книгу, связаны между собой: в них угадывается единое авторское понимание вопросов искусства и эстетики, разные стороны которого раскрываются в отдельных статьях.

Эстетические идеи в изложении И. Верцмана не являются простой функцией современных им философских теорий. На всем протяжении эстетики от эпохи Возрождения и до наших дней они, как хорошо показывает автор, всегда были обусловлены живым движением художественного творчества и в центре их стояли проблемы осмысления современного человека и современной культуры. Задача историка эстетики состоит не в том, чтобы своим анализом отодвинуть эстетические контрверсы и дискуссии прошлых веков в некую условную, обезличивающую «даль времен», а наоборот — в том, чтобы снять с них «хрестоматийный глянец», дав читателю возможность ощутить их живой смысл для настоящего.

Уже небольшая статья о Шекспире, открывающая книгу, обнаруживает характерную особенность авторского подхода к анализу истории эстетики. Статья эта посвящена, казалось бы, второстепенному вопросу — о сравнительной оценке Шекспиром достоинств живописи, поэзии и музыки. Но, как показано в книге, вопрос этот далеко не является столь уж «частным». В отличие от мастеров Высокого Возрождения Шекспир жил в эпоху трагических противоречий в жизни человечества, на которые он призывал смотреть «духов-

ными глазами» Свойственная итальянскому Возрождению высокая оценка живописи, передающей зримый облик вещей, сменяется поэтому у Шекспира предпочтением сценического искусства и музыки со свойственным им глубоким постижением внутренней напряженности, драматизма личной и общественной жизни эпохи.

Подобное же неразрывное сочетание мысли и творчества было, как показывает далее И. Верцман, характерно в следующую эпоху для Гёте и Бальзака. Особенно удачно и интересно это продемонстрировано в статье «Эстетика Бальзака»: споря с выводами реакционных бальзаксведов и опираясь на работу, начатую В. Р. Грибом, И. Верцман на основании тщательного исследования художественной ткани романов Бальзака показывает, какое место занимает в них философская и эстетическая критика буржуазной цивилизации, тесно связанная с социальным анализом общества.

То же стремление раскрыть внутреннюю, глубинную связь между эстетикой и общественной жизнью характерно для автора и в главах, посвященных философско-эстетической мысли — прошлой и современной. Вот почему Дидро или Гегель предстают в книге И. Верцмана перед читателем не просто как создатели логически стройных, законченных эстетических систем, а как беспокойные творческие умы, внимательные к новым веяниям истории.

В статьях об эстетике Ницше, об эстетических взглядах экзистенциалистов и теоретиков абстрактного искусства И. Верцман непосредственно вмешивается в философские и эстетические споры сегодняшнего дня.

Следует отметить и чисто литературные достоинства книги — автор ее не только изучал Дидро, Руссо, Стерна как ученый, но и по мере сил учился у них как писатель: ответ стили и языка философской эссенстики прошлого, лежащий на лучших страницах его книги, делает чтение ее — не только при первом, но и при повторном обращении к ней — интересным и увлекательным.

Г. Фридендер.

Ленинград.

★

Э. МУРЗАЕВ. Путешествие в жаркую зиму. Записки географа. «Мысль». М. 1967. 136 стр.

Если нанести на карту маршруты путешествий известного советского географа Э. М. Мурзаева, большинство из них пролегло бы через Центральную и Среднюю Азию. С результатами своих исследований профессор Э. М. Мурзаев ознакомил не только коллег-ученых во множестве своих научных публикаций, но и широкого читателя — в книгах «Непроторенными путями», «Путешествия без приключений и фантастики» и других. 1963—1964 годы раздвинули границы путешествий Э. М. Мурзаева: вместе с профессором В. Г. Завриевым он совершил по-

ездку по Демократической Республике Вьетнам, куда наши ученые были приглашены Государственным комитетом наук ДРВ. Этой поездке и посвящена новая его книга, одновременно и научная, и популярная, и художественная, лирическая.

В начале книги автор делится с читателем своими сомнениями: «Современного читателя нелегко удивить еще одним повествованием о походной жизни разведчиков тайн природы. Он искушен в литературе, опытен в кинопутешествиях и, кажется, сидя на месте, подобно Жюльо Верну, побывал во всех странах мира». Сомнения эти, справедливые в своей общей форме, в данном случае напрасны: Э. М. Мурзаев написал о Вьетнаме так, как не напишет ни журналист, ни писатель, ни путешественник-любитель. Он увидел страну глазами географа.

Э. М. Мурзаев — в первую очередь физико-географ. Но, наблюдая природу, он никогда не теряет из виду человека. Проблема «природа и человек» — та красная нить, которая определяет основной сюжет записок автора. Следуя этой нити, автор сумел в небольшой книге много сказать читателю о Вьетнаме: его горах, равнинах, реках, климате, городах и селах, народах — больших и малых. И везде Э. М. Мурзаев не просто описывает, но анализирует, вскрывает сложные связи, существующие между природой и человеком.

Автор книги — человек широкой эрудиции. Поэтому так часты и уместны приводимые им сравнения, отступления в область больших общечеловеческих проблем, экскурсы в область изящной словесности.

Э. М. Мурзаев — один из первых, кто привлек внимание нашей общественности к интереснейшей области науки, стоящей на стыке лингвистики, географии, истории, — к учению о происхождении географических названий, топонимике. Не обошел он этой темы и здесь: специальный очерк посвящен географическим названиям Вьетнама.

Очерки Э. М. Мурзаева увидели свет, но нельзя не пожалеть, что очень уж долго они издавались: введение подписано автором 17 сентября 1965 года, рукопись сдана в набор 27 июля 1966 года, книга подписана к печати 7 июля 1967 года. Не слишком ли большие сроки для работы объемом около восьми печатных листов?

Ю. Дмитриевский,
профессор, доктор географических наук.

★

А. А. ЕЛИСТРАТОВА. Английский роман эпохи Просвещения. «Наука». М. 1966. 472 стр.

Русским читателям давно и хорошо известны имена английских прозаиков эпохи

Просвещения — Дефо, Ричардсона, Фильдинга, Смоллета, Гольдсмита, Стерна и Годвина. Их книги постоянно переводятся и переиздаются в нашей стране. О них довольно часто пишут и наши критики. Новая книга А. А. Елистратовой — первая русская работа, охватывающая всю эту интереснейшую и столь богатую талантами эпоху в целом, весь первоначальный период развития английского романа, так сильно изменивший самый характер английской художественной прозы и давший такой мощный толчок ее дальнейшему развитию.

Книга Елистратовой — это не только история фактов. В ней как бы постоянно присутствуют три времени: XVIII век и его блестящая плеяда писателей, их предшественники (по мнению автора, предшестория просветительского романа представляет собой сложный сплав традиций плутовского романа, просветительского нравоописательного очерка, комедии времен Реставрации и литературного наследия Сервантеса и Свифта) и, наконец, наши современники — английские писатели XX века, продолжающие некоторые традиции просветителей, и критики, по-новому осмысливающие их творчество.

Именно такого широкого по обобщениям и насыщенного литературно-критическими ассоциациями исследования мы и ждали от автора после ее монографии об английских поэтах-романтиках. Эти работы дополняют и продолжают друг друга, причем последняя из них непосредственно подводит нас к первой, помогая точнее понять ее смысл.

Каждому из писателей А. Елистратова посвящает отдельную главу своей новой монографии, особо подробно останавливаясь на философской проблематике их книг. Наш взгляд, этот анализ социально-политической и этической сторон творчества английских романистов-просветителей удался критику более всего другого. И вся работа в целом подтверждает мысль ее автора, высказанную еще во введении: «Не будет преувеличением, если мы скажем, что при всей значительности того вклада, какой внесли в мировую культуру философы, экономисты, историки английского Просвещения, английский просветительский роман в области человековедения и обществоведения совершил переворот, еще более значительный».

Ясность изложения, сочетающая искусство исследователя и популяризатора, умение просто рассказать о сложном, как нам кажется, делают книгу полезной не только для ученого-специалиста, но и для широкого круга читателей, интересующихся историей английской культуры.

А. Горбунов.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАШИ ЗАБОТЫ

И в «Новом мире», и в других журналах и газетах я не раз за последние годы встречала размышления о том, как соединить личный интерес, в том числе прямой, материальный, с общественной необходимостью. Проблема эта большая и сложная, и я не берусь, конечно, решать ее в общем теоретическом плане, а просто хочу вам рассказать, как мне в моей собственной работе приходится со всем этим сталкиваться.

Недавно возчик кормов с молочнотоварной фермы Семенов бросил лошадь с телегой и ушел домой. Коровы сутки стояли неокормленные. Я прибежала к Семенову на квартиру. В чем дело, спрашиваю. Не уговаривайте, говорит, больше работать на коровник не выйду. И жена за него вступилась:

— Не просите. Без выходных человек работал, каждый день дотемна, а ему за месяц закрыли наряды всего на двести рублей. Это с его-то десятью надбавками!..

Так и не уговорила.

Никого не могу сосватать работать плотником на звероферме: мал оклад. Норочки клетки без ремонта изнашиваются, звери бегут на волю. Каждый день — по три-четыре норки. А это ни много ни мало — сто шестьдесят потерянных рублей в день. Опять деньги. Вот и попробуй отыщи ту единственно верную точку зрения, с которой можно было бы правильно оценить все эти денежные конфликты.

Помнится, семь лет назад, окончив звероводческое отделение Московской ветеринарной академии и сразу оказавшись на должности самостоятельной — зоотехника в одном из приморских зверосовхозов, — я краснела и торопилась запрятать в карман свои первые заработанные деньги, когда кассирша мне строго говорила: «Пересчитайте». Я презирала девчат, которые отказывались работать доярками и просились ко мне на звероферму, потому что здесь были заработки гораздо выше. Я до сих пор не могу без смущения вспомнить, как отругала одну пожилую женщину: отказалась ехать вместе со всеми за черемшой для зверей. (Черемшу мы рвали после работы. Бесплатно.) Нет, я не заставляла своих женщин-звероводов и не приказывала. Но помню, что горячо и заинтересованно убеждала их в том, как это необходимо и как это здорово — «собственными силами заготовить».

Незаметно, в суете и горячке, прошли годы.

Теперь я объясняю ту себя молодостью и близкой памятью студенческих лет, когда уж что-что, а слова об энтузиазме и бескорыстии мы усвоили на все пять баллов. Время и жизнь продолжили мои академии. Они научили ценить человеческий труд. Ценить и оплачивать. Я стала рьяным защитником принципа «каждому по труду». Неожиданно обнаружила в себе готовность драться с кем угодно, если ущемляются интересы рабочего, готовность отстаивать их и защищать. Да что тут говорить. Все ясно. И ни к чему мне было бы садиться за стол, за это самое письмо, если бы, кроме интересов рабочих, я — в силу своего служебного положения и собственных принципов — еще не защищала и интересы государства (проще говоря, совхоза). Потому и ставит передо мной каждый новый день трудные задачи: как сделать, чтобы рабочий был заинтересован в экономии совхозной копейки так же, как своей собственной; как сбалансировать, чтобы эта копейка экономилась не за счет снижения зарплаты рабочего; как повысить эту зарплату, не допустив перерасхода фонда; как заинтересовать рабочих в повышении качества продукции. И еще десяток подобных вопросов. Понятно, что здесь мои пылкие речи: «Давайте работать лучше!» — увы, не помогут. Потому что со зверофермы, пожалуй, хоть несколько человек, но вслух спросят:

— А лично мы что будем иметь от этого?

Каждый год, когда стихают новогодние праздники, когда наконец после долгих ночей и дней в бухгалтерии сведен баланс прожитого года, когда подсчитаны все до копейки «вложенные средства» и «расходованные фонды», солидные люди собираются вокруг стола, чтобы оценить этот самый год. Заседает балансовая комиссия.

Так было и прошлой зимой. Позвонили из Магадана и вызвали в управление всех старших специалистов. Даже день помню — 6 февраля к десяти часам утра.

В большом кабинете начальника Областного управления сельского хозяйства Грозина стоял стол буквой «т». Короткую палочку этого «т» занимал первый заместитель Грозина — Киселев, длинную — все начальники отделов. А в сторонке — мы. Директор совхоза, главный агроном, главный инженер, главный бухгалтер, главный экономист, главный ветврач, главный зоотехник, то есть я, — сидим, волнуемся. Хотя, кроме меня, все мужчины, да и возраст такой, когда ничего не бояться сам бог велел — почти всем нам по тридцать или около того — однако голос у нашего директора пересел, лицом сам стал красный. Поперхнувшись, директор начал свой отчет:

— Зверсовхоз «Арманский» организован на базе колхоза «Пробуждение Севера» в пятьдесят восьмом году. Расположен он на побережье Охотского моря, на территории Ольского района Магаданской области. Центральная база совхоза размещена в поселке Армань. Связь с районным центром осуществляется в основном воздушным и автотранспортом. Но из-за ветров и снежных заносов совхоз зачастую испытывает недостатки в материалах и кормах. Расстояние до райцентра 100 километров, до Магадана — 63. Совхоз занимается, кроме основной отрасли — звероводства, — растениеводством, животноводством молочного направления, рыболовством — для корма зверей, — заготовкой делового леса и дров. Основные производственные фонды ведения работ недостаточны. — Марченко, окончательно оторвавшись от блокнота, перешел к цифрам. Лицо его приняло горестное выражение. — Площади в истекшем году совхоз засеял полностью — все 230 га, но урожайность всех культур неудовлетворительная и себестоимость значительно выше плановой...

А далее для простоты восприятия я попытаюсь свести в таблицу все цифры, которыми по памяти и зло закидывал аудиторию молодой директор (молодой и по возрасту, и по своему директорскому стажу; это была его первая балансовая комиссия, на которой он отчитывался за весь совхоз).

Итак, вот они, цифры:

Наименование культур	Урожайность (в ц/га)		Себестоимость (в руб.)	
	плановая	фактически	плановая	фактически
Картофель	90	50	27	43,40
Капуста	210	98	20	33
Однолетние травы на силос	60	58	5,26	11,16
Травы на выпас	60	30	4,21	13,73
Овощи закрытого грунта	8	4	275	830

Все эти цифры враз зачеркивали годовой труд совхозных растениеводов.

Агроном, самый старший среди нас и переживший столько, сколько не приведи бог никому (его сюда привезли в 1937 году), сидел, неловко сгорбившись. Было жалко смотреть, как подрагивают на коленях уже состарившиеся руки агронома...

Но директор перешел к звероводству, и наступил мой черед опускать голову.

Совхоз получил самый низкий деловой выход щенков норок среди зверсовхозов Союза, зато себестоимость выращенных шкурок — самая высокая в Союзе — 61 рубль 85 копеек при плане 45 рублей 5 копеек. Шкурки, однако, получились низкого качества и были проданы государству по цене чуть ли не самой низкой в стране. От реализации пушнины совхоз имел убытков 60 тысяч рублей.

Когда настал мой черед отчитываться, я не оправдывалась и не объясняла ничего (потому что как можно объяснить, скажем, 61 рубль 85 копеек себестоимости, если большинство зеросовхозов страны давно снизили эту цифру до 30 рублей).

Балансовая закончилась к полуночи. Усталые, мы разом вышли из кабинета, как из зала суда, и не почувствовали облегчения. Хотя и был справедливым многочасовой гнев наших начальников, но было и что-то оскорбительное в их единогласном решении: «Высчитать по $\frac{1}{3}$ месячного заработка с директора и старших специалистов совхоза». Дело, вероятно, не в этой, в общем-то мизерной, сумме «возмещения нанесенного государству ущерба», — дело в том, что боль наша за совхоз была выше всяких денег. Однако думать о прошлом уже не хотелось, надо было, как неоднократно повторялось в решении, «искать пути». Двести шестьдесят тысяч прошлогодних убытков были красноречивее всяких слов.

Искать пути... И вот тут я опять, но уже основательно столкнулась с проблемой денежных взаимоотношений. Было это так. В совхозе мы как раз готовили экономическую конференцию. Я сидела над тезисами своего доклада, перечитала всю, что была, литературу по звероводству, перебрала «по косточкам» свое немудреное хозяйство: звероферму с тремя тысячами самок норок основного стада, зверокухню, ледник. Но никаких существенных резервов, чтобы снизить затраты, не находила. Можно, конечно, кое-что сэкономить, аккуратней расходуя корма, лишний раз не прибегать к транспортным расходам, бережливее обращаться с сеном, которое используется на подстилку зверям. Но все это были пустяки в сравнении с убытками, которые совхоз имел от норковой фермы. На экономической конференции хотелось выступить с каким-то конструктивным предложением. И тогда я решила вот на что. После гона (это период спаривания норок) забить всех самцов (а на племя подрастет молодняк, который родится в мае). Дело в том, что самцы с конца марта и до следующего забоя, то есть до ноября, совершенно праздно сидят в своих клетках. Я села за расчеты. Получалось то, что надо. Только на кормах за счет забитых самцов мы можем сэкономить 15 тысяч рублей.

Примчалась я в теплушку на звероферму, велела бригадирам звать рабочих: собрание. На дворе уже кончался март. Гон подходил к концу, и настроение у моих женщин было отличное, я это знала. Хотя и устали все за этот период изрядно. Работали без выходных, отказывались ходить в поселок на обед, наскоро пили чай в теплушке и бежали к своим шедам. На стене в теплушке висел мой нелепый лозунг: «Гон — сев, что посеешь, то и пожнешь». И без того каждая знала, что от гона зависит, каким будет шен, то есть сколько самки принесут щенков по весне, а значит, и каким будет заработок. И будто все мы были в тайном сговоре: уж в этом-то году во что бы то ни стало получить плановое поголовье щенят (в совхозе еще ни разу не был к концу года выполнен план по деловому выходу молодняка).

Отвлеклась... Минут через пятнадцать в теплушке стало людно. По лавкам, а кому не хватило — прямо на перевернутых вверх дном ведрах, расселись женщины, приготовились слушать. Они всегда слушают меня со вниманием, рассказываю ли я о войне во Вьетнаме или об ответственном периоде на ферме — забое и обработке пушнины. И теперь я видела на каждом лице ожидание: не соберут же по пустяку в такое горячее время. Начала я издали. О том, что делом нашей чести является снизить наконец ту громадную сумму убытков, которые мы, то есть наша ферма, даем государству. Потом стала говорить о прямой выгоде реализовать шкурки самцов-норок теперь, о том, насколько легче будет работать и им, женщинам, и какой экономией это обернется государству.

Увлечшись, я не почувствовала тишины, окружившей мой голос. Кончила и вместо ожидаемых возгласов участия (женщинам этим, слава богу, смелости не занимать, жизнь научила их быть бойкими) — враждебное молчание. Я смотрю непонимающе на них: в чем же дело, наконец? Тут встает Нина Шабалина, обводит всех глазами и говорит:

— Пошли, бабы! Пускай тут начальство считает государственные деньги, раз им нет дела до наших. А на какие такие шиши я своим трем ребятишкам обушку в школу куплю? Может, кто и согласен на эту экономию, а у меня мужика нет, рассчитывать не на кого.

Этого она могла бы не говорить. До сих пор стоит в ушах ее пронзительный крик, когда прошлым летом утонул в реке Гошка, ее муж. Знаю я с ее собственных слов и всю прежнюю жизнь Нины. Девочкой шестнадцатилетней она в голодном сорок пятом году украла в пекарне буханку хлеба. И попала в трудовую колонию. Покидала ее по свету и в нужде и в горе. Муж первый попался — бил ее и пил крепко. Пришлось разойтись. А и то упрекала себя: может, лучше было стерпеть, все ж не осиротила бы двух ребятшек. Потом с другим сошлась. Можно бы жить, да только ненавидел этот чужих ребят лютой ненавистью. Какое же материнское сердце стерпит. Выгнала, хоть сама уже третьим ходила. Так и стала одна троиц растить. Где сама не доест, где люди добрые помогут.

И вот только на закате бабьей жизни счастье узнала — как с Гошей жить начала. Он местный, ороц, ласковый, как ребенок. Муху зря не обидит. Старшего парнишку к себе приручил, на тракториста стал обучать. И для дома старался. Бочку только приготавливали — думали рыбы к зиме засолить...

Да как же я могла за своими расчетами забыть обо всем этом, забыть о Шабалиной или об Иннокентьевне, у которой тоже четверо ртов и все на ее шее, о тихой и застенчивой Вале Кравцовой, у которой муж не приносит в дом ни копейки — пропивает всю зарплату! Как же я могла отнять у этих женщин по двадцать рублей из их месячного заработка! Ведь если убьем самцов, зарплата рабочих сразу понизится.

В теллушке тем временем творилось что-то невообразимое.

Я постаралась перекрыть шум:

— Тише, женщины! Я обещаю вам добиться, чтобы увеличили расценки за одного зверя и сохранили вам дневной тарифный заработок.

— Знаем, увеличивали не раз! — заставил меня замолчать чей-то сердитый голос.

И опять пошло...

— Нам уже однажды облегчили труд. Подвели к шедам водопровод — расценки срезали. А сколько мы при этих холодах-то пользуемся водопроводом? От силы два месяца. А десять — на себе ведра, как ишак, таскаешь.

— Нагрузку зверей на одного человека увеличили, а зарплату небось забыли увеличить.

— Подвесную дорогу сделали... Так ведь как ее сделали — сразу зарплату урезали. А вы попробуйте покатайте ту тележку. Мне на коромысле легче корм таскать!..

Я ждала — пусть выговорятся. Когда немного успокоились, обещала все хорошенько обдумать и без решения общего собрания самцов не забывать.

Для меня это было хорошим уроком того, как нельзя, не подумав о людях, становиться «бизнесменом» хоть на час, будучи руководителем одного из участков нашего социалистического хозяйства.

Помню такой случай. Готовились мы к забою зверей. Пора эта в звероводстве — самая ответственная: уборка урожая. Я в этом совхозе забой проводила впервые. Спрашиваю бригадиров:

— Ну, как женщины обрабатывают пушнину? Стараются?

— Где там стараются, лишь бы день да вечер... — отвечает мне Поля Котикова. Я удивилась.

— Что ж тут удивляться? — вступила в разговор Майя Константиновна Бушманина; у нее высшее зоотехническое образование, и потому, наверное, она любит все объяснять научно. — Мы ж не можем материально заинтересовать звероводов в лучшей обработке. Премии пообещать можно лишь при условии, что совхоз получит сверхплановые деньги от реализации пушнины. А мы и плановых-то никогда не получали.

Конечно, бригадиры были правы. Но надо как-то улучшать обработку. Иначе не вырваться из заколдованного круга. Плохо обрабатывают, дешево продаем, нег премиальных. И все уже привыкли, что премиальных не бывает, — значит, нечего и стараться.

— А что, если на каждом процессе обработки поставить приемщика-контролера? Он будет просматривать каждую шкурку и брак возвращать на доработку.

На том и сошлись. Но этому самому контролеру надо платить. А обработка одной шкурки стоит ровно 50 копеек. Значит, оплату ему можно выкроить только за счет снижения расценок всем остальным. Так я и решила: убавить у всех по одной копейке.

До забоя все обошлось мирно. Как мне показалось, женщины поняли «важность задачи» и добровольно отдали эту копейку. Прошло дня два или три. Был вечер, мы с бригадиром по забоям Машей Солониной раскладывали первые готовые шкурки для сортировки в забойном пункте; распахивается дверь и появляется наш возчик дядя Коля Шахурдин, или, как его дразнят ребяташки, «Коля Бо-Бо», за то, что он русские слова путает со своими. Он орох. Дядя Коля протягивает мне записку. Записка адресована Маше, но я уже успеваю прочесть: «Девчата побросали работу. Сидят и требуют тебя с зоотехником и директором. Говорят, чтобы им вернули копейку. Срочно приезжайте, необезжиренные шкурки могут попортиться. Копасова».

Копасова — это приемщик-контролер на процессе обезжиривки шкурок.

Через минуту дядя Коля везет нас в своем коробе-санке на ферму. От сплошного морозного тумана дорога обрывается в двух шагах. Лошадь, теряя колею, натывается грудью на сугробы. Трижды мы вываливаемся в снег, потом не выдерживаем, слезаем и идем за санями. От мороза у Маши выросли мохнатые белые ресницы. Я вижу это, когда дядя Коля оборачивается и китайским фонариком высвечивает нам дорогу. Наверное, ему кажется, мы заблудились. На память приходят строки:

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за реальными вслед.

У меня-то вроде и бед никаких нет, а вот поди ж ты, иду и волнуясь, словно чего-то боюсь.

Уже у самой теплушки останавливаю Машу за руку и кричу под ее толстую мохнатую шапку:

— Слушай, Маша, если не удастся их уговорить, придется нам с тобой оставаться без упаковщика. Отдадим им копейку, а обшивать и заколачивать ящики будем сами. Соглосишься?

В теплушке, где работали обезжиривщицы, нас встретили шепотком. Переглянулись, подтолкнули вперед Бобкову Антонину Тимофеевну, про которую говорят — палец в рот не клади. Антонина Тимофеевна выдвинула перед нами всеобщее требование: верните копейку.

Оказывается, женщины, долгие часы работая ножами (шкурки обезжиривают на специальных болванках ножами), подсчитали, что за день по одной копейке со шкурки они теряют рубль. А рубль — это деньги. Если ж к нему прибавить семьдесят копеек магаданских, то и вовсе жалко даром отдавать. Не знаю, может быть, в иные времена я и стала бы терпеливо объяснять, что копейка эта — пусть не сразу, через год, два — обернется для них рублями. Может, и нашла бы какие-то хорошие слова о бедах совхоза. Но теперь на меня вдруг подействовал их грубый выстраданный материальный расчет, и я просто... вернула копейку. Конфликт был решен наивно, но-школьному. Я это понимала, когда приходили в забойный пункт наши с Машей мужья и до трех-четырех часов ночи заколачивали ящики с пушниной (упаковщика пришлось сократить). А что мне было делать? И что я буду делать нынче во время забоя, когда пушнина будет чуть не вдвое больше и уже никакие мужья вместе с близкими и дальними родственниками не справятся? А от контролера я не откажусь, качество обработки улучшилось намного.

...Дома я сажусь за расчеты. Расчищаю место на столе. Платонов прошай, Плеханов тоже. Газеты... Ну, радио бы послушать и то ладно. Что за жизни! Сколько знаю специалистов сельского хозяйства, всегда одно и то же: работа, работа.

Наконец расчет оплаты готов. Я увеличила расценки за одну голову основного стада норок так, что дневной тарифный заработок оставался прежним, хоть и забудем самцов. Совхоз же на таком увеличении ничего не теряет, зарплата оставалась в размере фонда. Утром со своими расчетами я пришла к инженеру-нормировщику. Он посмотрел, покачал головой:

— Думаю, в управлении не утвердят. Они там неохотно идут на такие вещи.

Я и сама так думала. За семь лет работы не раз расшибала себе лоб, когда

пыталась что-то сделать в обход кем-то раз и навсегда заведенного правила. Пусть даже отстаивала и защищала самые высокие принципы. Никого это не интересовало.

На сей раз я опять была готова выдержать драку, но отступить не собиралась. На всякий случай написала подробную объяснительную записку. Перепечатали, дали на подпись директору (он у нас в таких делах вполне революционер) и отправили в управление. Вскоре оттуда звонок, весьма дружелюбный:

— А вы все хорошо взвесили?

«Однако времена меняются» — улыбнулась я телефонной трубке.

— Да, да! Надо только скорее решать, пока шкурка выходная и ее можно дорого продать.

Через неделю мы забивали самцов. Я зачитала специальный приказ по совхозу о том, что увеличили расценки, и женщины с легким сердцем принялись за обработку пушнины. Работу свою старались делать как можно лучше. А посторонним, кто случайно забредал в теплушку, как-то лично гордясь, говорили:

— Знаете, какая выгода от этого забоя совхозу? На одних кормах пятнадцать тысяч рублей экономии.

И все-таки это не жизнь. Мало тебе своих хлопот и суеты, так ты еще постоянно должен перед кем-то отчитываться. То из управления звонят: почему не высылаете акт проверки готовности к зимовке скота? Будто об этой зимовке кто-то беспокоится больше, чем ты. То из района телеграммы: у вас падают удои молока, срываете досрочное выполнение плана.

А ты уже из-за этих самых удоев вторую неделю недосыпаешь.

Недавно отчитывались даже на бюро райкома партии. Вопрос так специально о нас и стоял: о социалистической дисциплине труда в «Арманском» зверосовхозе. Марченко был на совещании в Москве, и поэтому на бюро вызвали меня как исполняющую обязанности директора совхоза, парторга и представителя райкома. Инструктор райкома за неделю до этого жил у нас в совхозе, собрал материал, как выражаются в таких случаях, и составил для бюро большую справку о том, что за девять месяцев совершенно триста прогулов, что после аванса и зарплаты бывают коллективные пьянки и что из-за нарушения трудовой дисциплины в хозяйстве произошел несчастный случай.

Нас ругали. Но мне все время казалось, что этого мало, что в вину нам ставят сущие пустяки, а вот сейчас начнется разговор о самом главном: о том, порой массовом среди рабочих, безразличии к труду, когда весь день сплошь состоит из перекуров.

Мысли мои прервал первый секретарь Чапланов. Он обращался прямо ко мне:

— Скажите, а сколько у вас ударников коммунистического труда?

— Мало, человек двадцать. Чуклаев, Зедгенизов, братья Сметанины...

Я стала перечислять фамилии, но остановилась. Что-то мне мешало говорить. Конечно, все, кого я назвала и кого могла еще назвать по памяти, были отличные мастера. Скажем, братья Сметанины — лучшие в поселке плотники. Любую, даже самую ювелирную работу сделают — залюбуешься. Да и без дела сидеть не могут. Когда расширялась звероферма, нужны были новые домики для норок, Сметанины ночевали в своей столовке. Пожалуй, в совхозе никто больше них не зарабатывает, получают рублей по пятьсот в месяц. Правда, на низкооплачиваемую работу не пойдут — не заставишь. Да и верно сделают. Зачем им, таким мастерам, дешевая работа? Они себе цену знают: мы вам классную работу — вы нам денежки.

Только я как-то совсем по-другому представляла себе коммунистический труд.

Но ни о чем таком разговору не было. И вообще мне иногда кажется, что одинаково со мной об этом думает только Алексей Васильевич Гаськов, наш совхозный конюх. Хотя с ним на такие темы мы больше молчим.

На конюшню я захожу редко, только в самых крайних для себя случаях, когда на работе «со всех сторон» плохо, как говорит Васильевич. Я захожу к нему набраться душевного спокойствия.

В старенькой, износившейся конюшне у него какой-то странный уют. Накатник посыпан опилками, под потолок — яркие лампочки, окна завешаны старыми одеялами и матрацами.

— Чтоб вода в бочке не застывала. Лошадь, она, знаешь, без воды еще потяжелей, чем без овса, дышит.

Алексей Васильевич вздыхает и, не жалуясь и не ворча, да будто и совсем без упрека, говорит мне:

— Что ж ты, Ивановна, говорила — на неделю коров поставишь, а они здесь уж второй месяц ночуют.хлопотно больно. Да и животине тут худо. Все ж конюшня.

Он не ждет моего ответа — что новый коровник никак не достроят и что негде держать этих коров, — берет ведра и идет в кочегарку за горячей водой для доярки. Я останавливаю, говорю, что не его это забота — воду носить, возчик сейчас подвезет. Но он машет рукой: когда, мол, подъедет этот возчик.

Пока его нет, Люба, наша лучшая доярка, рассказывает, что конюх ей и зеленку привозит, чтобы посвежее была, чем та, что возчик на поле собрал, и соли откуда-то для ее коров привез два мешка, и чистить всегда помогает. Хотя никто ему за это не платит.

Я думаю: вот были бы все такие, как он, и так же душевно любили бы дело, к которому пришли на этот свет...

Но люди все разные. Очень разные. И потому завтра на звероферме мне предстоит, наверное, самый неприятный разговор в своей жизни: о краже норок.

Вообще-то все это даже трудно назвать кражей. Как-то одна новенькая работница, с неделю, не более, проработавшая звероводом и потому без сноровки, осталась во время своего обеда прибрать в шед. Вышла она за метлой и видит, как другая рабочая, уже старая и опытная, несет из чужого шед в свой двух маленьких щенков. Новенькая даже не сообразила, с какой целью это делается. Вернулись с обеда женщины. У одной вдруг обнаружилось, что в домике вместо двух здоровых щенков лежат два мертвых. Она схватила их и со слезами к бригадиру. Клянется, что утром все были живы, сама кормила, всех внимательно разглядывала. Не могли они за пару часов умереть. Значит, кто-то ее живых щенков забрал, а этих подкинул. Бригадир, конечно, возмутилась: не может, мол, такого быть, кто станет марать свою душу из-за каких-то копеек? (За обслуживание одного щенка платили по 9 копеек в месяц.) Ушла женщина ни с чем. Однако случаи такие нет-нет да и повторялись в то лето. Спорили, пытались посвятить этому собрание, но, как говорят, не пойманный не вор. Новенькая же работница почему-то промолчала, не призналась, что видела виновницу всех этих разговоров. К зиме щенки подросли, их забрили на шкурку, зверей на ферме осталось мало, и вроде все затихло. Нынче же щенки опять стали пропадать, и довольно часто. Теперь уже нельзя было ограничиться разговором о копейках за обслуживание. Щенков было много, и каждая работница за своих сверхплановых зверей к осени рассчитывала получить премиальные. А тут как назло исчезают звери. То одна бежит в теплушку со слезами: пришла утром на работу — дверь в домике открыта, и зверя нет. То другая клянется, что вчера у нее в этом домике сидел большой здоровый самец, а сегодня нашла вместо этого самца мертвую самочку.

Я стараюсь приучить женщин к разговорам начистоту. Попыталась и на этот раз вызвать их на такой разговор. Моя боль, с какой говорила я о том, как это недостойно отдаваться злобе из-за денег, видно, на них подействовала. Снова поднялась Шабалина:

— Девки, или мы заелись? Или мы забыли про настоящее горе и про нужду, раз у кого-то поднимается рука на чужую копейку, раз кому-то будут в радость эти разнесчастные премиальные за чужой счет?!

Скажи эти слова кто-нибудь другой, может, и не значили б они для меня столько. Но их говорила Шабалина, которая сама когда-то вытравивала с себя клеймо воровки. Значит, все можно изменить, переделать. Конечно, одним этим разговором сразу мир на ферме не установишь, я это понимала.

Дня через два после этого, помню, засиделись мы допоздна с бригадиром Машей Солониной. Говорили о том, о сем, тогда и задала мне Маша вопрос.

— Вот я все думаю, — сказала она, — неужели действительно деньги портят людей? Раньше у нас и щенков было меньше, и зарплата хуже, и ни о каких премиальных

не мечтали, а, бывало, убежит у кого-нибудь зверь, так ходим, всей фермой нищем. Теперь же и чужого поймают — отдавать не хотят.

Постеснялась я тогда рассказать Маше в ответ на ее вопрос ту историю про черемшу, о которой уже упоминала в начале этого письма. Да, я не лгу, мне стыдно теперь, через столько лет, вспоминать, что заставляла усталых женщин после работы бесплатно рвать эту самую черемшу. Но рядом с этим стыдом живет другое чувство. Во мне что-то замирает и сжимается, когда я перечитываю письмо, полученное полтора года назад из моего первого совхоза от старой работницы Ольги Петровны Назаровой.

«Мы теперь разводим цветных норок,— писала она,— работы с ними столько же, но зарабатываем больше. Холодильник давно построили, так что с кормами мы теперь не страдаем, как при вас. Приезжайте, совхоз наш теперь не узнаете. А за черемшой нас больше никто не зовет. Вы не обижайтесь, что мы ворчали иногда, не хотели идти. Мы теперь с бабами часто вспоминаем те наши походы и как обучали вас в поле есть черемшу с хлебом и солью. Веселые были времена.»

Нет, конечно, деньги сами по себе не портят людей. Просто мы, партийные и хозяйственные руководители, действительно порой слишком невнимательны к людям.

Много лет подряд на зверсферме уборщиком мусора работал Николай Саввич Шахурдин, дядя Коля, родившийся и выросший в этих местах ороц. Я о нем уже упоминала. Работал лениво и беспечно, и оттого вся ферма утопала в грязи. Пробовали его наказывать, ругались. Бесполезно. Попытались заставить работать лучше, угрожая иначе уволить. Тогда он бросил лошадь, накинул на себя телогрейку и ушел в лес. День проходит — нет Шахурдина. Мотя, жена его, слезы льет, над двумя сыновьями уже причитает. Собрались люди, пошли в лес искать. С трудом нашли на третьи сутки. Лежит, в небо смотрит. Спрашивают: ты что, мол, совсем с ума спятил? Лопочет что-то в ответ, путая русские слова со своими. Только и разобрали, что ушел в лес помирать — от такой работы. Вернули домой. Стал опять на ферме работать, только еще хуже прежнего. Видим мы — дело плохо. Советовались с профсоюзом. Уволить вроде жалко, жена малограмотная, в конторе уборщицей работает, а сыновей растить надо. И решили мы переменить к дяде Коле отношение: не ругать, а попробовать хвалить, если какой пустяк сносно сделает. Смотрим, вроде повеселел. Я на каждом собрании старалась о нем упомянуть, говорю — самый главный человек на ферме, без него порядок не навести, и звери все попередохнут от заразных болезней, и результатов нам хороших не добиться. А тут праздник какой-то подвернулся, я Шахурдину премию вручила в конверте за то, что больше стараться стал. Николай Саввич прямо расцвел. Но дня через три смотрю — нет его на работе. Говорят, напился. Ну, думаю, ничто ему не впрок. К счастью, ошиблась. В следующий выходной он сам, без чьих-либо выговоров и предупреждений вышел на работу и честно отработал за тот пропущенный день.

Не очень давно праздновали мы в клубе День работников сельского хозяйства. И вручала я Николаю Саввичу теперь уже заслуженную премию. Он смущался:

— Будет, будет моя стараться. Ай, как хорош.

А на следующий день поймала меня жена его около конторы, говорит:

— Знаешь, а мой-то снова запил, сказал — больше работать не пойду. Мала премировка.

Вот я и думаю: будет ли мир у меня на ферме?..

Валентина Юдина,

*главный зоотехник совхоза «Арманский»
Магаданской области.*



«НОВЫЙ МИР» В 1969 ГОДУ

В 1969 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать следующие произведения:

повесть **Ч. Айтматова** «Долгая память»;
роман **А. Азольского** «Степан Сергеевич»;
роман **Г. Бакланова** «Друзья»;
«Мой Дагестан» **Р. Гамзатова** (книга вторая);
книгу **Е. Дороша** «Древнее рядом с нами»;
книгу о Чехове **С. Залыгина**;
автобиографическую прозу **М. Исаковского**;
повесть **Ф. Искандера** «Сандро из Чегема»;
рассказы **В. Некрасова** «Городские прогулки»;
«Из литературного наследия» **К. Паустовского**;
повесть **Е. Ржевской** «Февраль — кривые дороги»;
роман **Ю. Трифонова** «Исход».

Кроме того, будут опубликованы новые произведения: **Ф. Абрамова**, **В. Астафьева**, **А. Бека**, **В. Белова**, **В. Быкова**, **Г. Владимова**, **В. Войновича**, **Л. Волынского**, **Е. Герасимова**, **Д. Гранина**, **И. Грековой**, **Ю. Домбровского**, **Н. Дубова**, **Н. Ильиной**, **В. Каверина**, **В. Катаева**, **А. Кузнецова**, **В. Лихоносова**, **Н. Мельникова**, **Б. Можаяева**, **Е. Носова**, **А. Рыбакова**, **В. Семина**, **К. Симонова**, **С. Славича**, **И. Соколова-Микитова**, **Г. Троепольского**, **К. Федина**, **В. Фоменко**, **А. Шарова**, **В. Шукшина**.

В журнале будут также напечатаны воспоминания: Маршала Советского Союза **Н. И. Крылова** об обороне Севастополя; Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова** «Студенты 20-х годов»; маршала авиации **А. А. Новикова** «Рассказы о летчиках»; художницы **Вал. Ходасевич** «Портреты словами» (воспоминания о Маяковском, Ал. Толстом, Бабеле); **Цецилии Кин** «Годы тридцатые».

В поэтическом разделе журнала будут опубликованы новые стихи и поэмы: **И. Абашидзе, М. Алигер, М. Бажана, О. Берггольц, Д. Вааранди, О. Вацетиса, Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Р. Казаковой, М. Карима, Вл. Корнилова, А. Кулешова, Д. Кугультинова, К. Кулиева, С. Липкина, В. Лифшица, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, С. Орлова, П. Панченко, Расула Рзы, Д. Самойлова, Я. Смелякова, М. Танка, А. Твардовского, В. Шефнера** и других.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка на «Новый мир» принимается во всех отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными распространителями печати без всяких ограничений.

О всех случаях отказа в оформлении подписки просим сообщать в редакцию журнала.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗАТ

Великое наследие. О втором издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Коллектив авторов. 286 стр. Цена 63 к.

П. Виноградская. События и памятные встречи. 240 стр. Цена 33 к.

Внешняя политика России XIX и начала XX вена. Документы Российского министерства иностранных дел. Том 5. Апрель 1809 г.—январь 1811 г. 784 стр. Цена 2 р. 40 к.

Документы внешней политики СССР. Том 13. 1 января — 31 декабря 1930 года. 884 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Маскулия. Михаил Григорьевич Цхакая. 168 стр. Цена 17 к.

«МЫСЛЬ»

В. Добрянов. Методологические проблемы теоретического и исторического познания. 318 стр. Цена 1 р. 13 к.

История национально-государственного строительства в СССР. Национально-государственное строительство в СССР в переходный период от капитализма к социализму (1917—1936). 504 стр. Цена 2 р.

Коллектив авторов. Птицы СССР. 638 стр. Цена 2 р. 12 к.

И. Плотников. Героическое подполье. Большевикское подполье Урала и Сибири в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920). 342 стр. Цена 1 р. 14 к.

«ЭКОНОМИКА»

Коллектив авторов. Краткий экономический словарь-справочник мастера и начальника цеха. 280 стр. Цена 1 р. 42 к.

Я. Лапкес. Технический прогресс и производительность труда в сельском хозяйстве. 296 стр. Цена 1 р. 38 к.

В. Либерман, Ф. Русинов. Механизация и автоматизация управленческих работ на предприятии. 144 стр. Цена 40 к.

А. Покровский. Беседы о питании. Издание 2-е, дополненное. 358 стр. Цена 1 р. 53 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Байдебур. Молодой запов. Повесть и рассказы. Авторизованный перевод с украинского П. Панченко. 288 стр. Цена 47 к.

А. Бибин. К широкой дороге. Роман. 526 стр. Цена 92 к.

Н. Королева. Озерные вокзалы. Стихи. 80 стр. Цена 24 к.

В. Липатов. Самолетный кочегор. Рассказы. Зуб мудрости. Повесть. 303 стр. Цена 53 к.

Поэты 1860-х годов. Сборник стихов. Вступительная статья И. Г. Ямловского. «Библиотека поэта». Малая серия. 763 стр. Цена 87 к.

И. Цюпа. Грозы и радуги. Роман. Авторизованный перевод с украинского. 547 стр. Цена 95 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Джон Рид. Восставшая Мексика. Десять дней, которые потрясли мир. Америка 1918. Перевод с английского. Вступительная статья И. Анисимова. 663 стр. Цена 2 р. 49 к.

Стихи о Марксе и Энгельсе. Перевод с немецкого. Предисловие и редакция переводов Л. Гинзбурга. 126 стр. Цена 29 к.

Р. Тагор. Последняя поэма. Роман. Перевод с бенгальского. Вступительная статья Ф. Мендельсона. 143 стр. Цена 18 к.

М. Фигули. Вавилон. Роман. В 2-х книгах. Перевод со словацкого. Книга 1. 407 стр. Цена 1 р. 32 к. Книга 2. 366 стр. Цена 1 р. 19 к.

Г. Фридлиндер. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. 606 стр. Цена 1 р. 56 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Э. Манов. Кручи. Роман. Перевод с болгарского Т. Рузской. 256 стр. Цена 98 к.

Г. Семенов. Кто он и откуда. Повесть и рассказы. 255 стр. Цена 56 к.

М. Стрельцов. Что будет сниться. Рассказы. Перевод с белорусского Э. Корпачева. 253 стр. Цена 27 к.

Р. Фрост. Избранная лирика. Перевод с английского. Предисловие Э. Межелайтиса. 48 стр. Цена 14 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Гессен. ...Москва, я думал о тебе! Пушкин в Москве. 344 стр. Цена 1 р. 61 к.

Б. Лобков. Зачем нам чучела? 62 стр. Цена 13 к.

С. Машинский. Чемодан Адеркаса. 136 стр. Цена 42 к.

С. Михалков. Басни в прозе. 48 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Перфильева. Пять моих собак. 128 стр. Цена 29 к.

«НАУКА»

Р. Бродский. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны. 244 стр. Цена 1 р. 17 к.

Проблемы этнографии и этнической истории народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Сборник статей. 284 стр. Цена 1 р. 34 к.

Экономические проблемы химизации сельского хозяйства. Сборник статей. 400 стр. Цена 1 р. 48 к.

Энергетические ресурсы СССР. Коллективная монография. В 2-х томах. Том 1. Топливо-энергетические ресурсы. 632 стр. Цена 4 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Инбер. Почти три года. Ленинградский дневник. 298 стр. Цена 51 к.

С. Манитов. Синие горы. Стихи. Перевод с балкарского. 112 стр. Цена 28 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Карл Маркс о государстве и праве. К 150-летию со дня рождения. Сборник статей. 208 стр. Цена 91 к.

А. Ковалев. Психологические основы исправления правонарушителя. 136 стр. Цена 42 к.

А. Конев. Местные Советы и общественные самостоятельные организации. 96 стр. Цена 14 к.

«ПРОГРЕСС»

Зарубежная поэзия в русских переводах. От Ломоносова до наших дней. 400 стр. Цена 1 р. 76 к.

У. Кекконен. Дружба и добрососедство. Речи и выступления. 1963—1967. Перевод с финского. 136 стр. Цена 53 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Г. Буров. В гостях у далеких предков. Сыктывкар. Коми книжное издательство. 78 стр. Цена 14 к.

Ф. Голубев. Последнее желание. Рассказы. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 173 стр. Цена 41 к.

В. Губарев. Предчувствие весны. Стихи. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 91 стр. Цена 28 к.

М. Фарбер. А. М. Горький в Нижнем Новгороде. 1889—1904. Очерк жизни и творчества. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 248 стр. Цена 1 р.

*К сведению читателей*

В связи с тем, что предыдущий — пятый — номер «Нового мира» вышел в сокращенном объеме, редакция выпускает шестую книжку журнала соответственно бóльшим объемом — 23 печатных листа.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва. К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 23.IV 1968 г. Объем 23 п. л. Подписано к печати 19/VIII 1968 г.
А 05295 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (35,18 усл. п. л.)
Зак. 1323. Тираж 127.850 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636